

РОБЕРТ МУЗИЛЬ

ЧЕЛОВЕК
БЕЗ
СВОЙСТВ

Annotation

Вторая книга романа выдающегося австрийского писателя Роберта Музиля (1880–1942) не закончена. В настоящем издании представлены 38 глав, вышедших в 1932 году, и еще 14 глав, нумерация которых условна, опубликованных посмертно вдовой писателя в 1943 году. В центре второй книги — нравственные искания ее главного персонажа — Ульриха.

- [Роберт Музиль](#)
 - [КНИГА ВТОРАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)

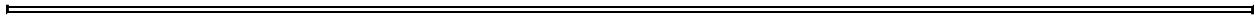
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)

- [ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО ПОСМЕРТНО!](#)

- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)



Роберт Музиль
Человек без свойств
(Книга 2)

КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО (ПРЕСТУПНИКИ)

1

Забытая сестра

Когда Ульрих, приехав к вечеру того же дня в... *, вышел из вокзала, перед ним открылась широкая, похожая на мелкую чашу площадь с улицами с обеих сторон, и зрелище это наполнило его память чуть ли не болью, как то бывает, когда глядишь на места, которые ты часто видел и всегда забывал.

«Уверяю вас, доходы сократились на двадцать процентов, а жизнь стала на двадцать процентов дороже — получается сорок процентов!» — «А я уверяю вас, что шестидневные велогонки — это событие, соединяющее народы! „Голоса эти выходили сейчас из его ушей — голоса купе. Затем он явственно услышал, как кто-то сказал: „Все равно для меня нет ничего выше оперы!“ — „Это, видимо, ваше увлечение?“ — «Нет, страсть...» Он наклонил голову, словно вытряхивая воду из уха. Поезд был полон, а ехали долго; капли общего разговора, просочившиеся в него за время пути, вытекали обратно. Среда веселой суматохи приезда, хлынувшей из двери вокзала, как из жерла трубы, в тишину площади, Ульрих подождал, пока эта струя не сделалась тоненькой, прерывистой струйкой; и вот он стоял в вакууме тишины, которая следует за шумом. И одновременно с непокоем слуха, возникшим отсюда, ощутил непривычный покой перед глазами. Все зримое было в этом покое резче, чем где-либо, и когда он взглянул через площадь, совершенно обычные переплеты окон на другой стороне чернели среди бледного блеска стекла так, словно они были крестами Голгофы. И все, что двигалось, отделялось здесь от неподвижного не так, как это бывает в очень больших городах. Тому, что находилось в движенье, и тому, что стояло на месте, здесь явно хватало простора расширять свою значимость. Он отмечал это с некоторым любопытством свиданья после разлуки, разглядывая большой провинциальный город, где прошло несколько коротких, но малоприятных полос его жизни. В характере этого города было, как он прекрасно знал, что-то безродно-колониальное. Древняя ветвь немецкого бюргерства, попавшая несколько

столетий назад на славянскую землю, здесь захирела, и о ней мало что напоминало теперь, кроме немногих церквей и фамилий, да и от прежней резиденции земского представительства, которой был этот город позднее, почти ничего не осталось, кроме хорошо сохранившеюся красивого дворца; но на это прошлое во времена абсолютной власти лег густой слой императорской администрации с ее провинциальными штаб-квартирами, начальными и высшими учебными заведениями, казармами, судами, тюрьмами, дворцом епископа, залом для танцев, театром и всеми причастными к ним людьми, а также с торговцами и ремесленниками, которых эти люди за собой потянули, а уж потом развилась и промышленность — благодаря приехавшим предпринимателям, чьи фабрики, крыша к крыше, заполнили предместья и при последних поколениях влияли на судьбу этого уголка земли сильнее, чем все другое. У этого города была история, было у него и лицо, но такое, где глаза не соответствовали рту, а подбородок — волосам, и на всем лежали следы бурной, но внутренне пустой жизни. Возможно, что при особых личных обстоятельствах это благоприятствовало экстраординарному и недюжинному.

Если выразиться столь же осторожно и точно, то Ульрих чувствовал какую-то «духовную бессодержательность», в которой ты терялся настолько, что это склоняло к необузданной игре воображения. Странная телеграмма отца была у него в кармане, и он помнил ее наизусть: «Ставлю тебя в известность о последовавшей моей кончине», — велел сообщить ему старик — или следовало сказать: «сообщил», как на то и в самом деле указывала подпись «твой отец»? Его превосходительство, действительный тайный советник, никогда не шутил в серьезные минуты} причудливая формулировка была и впрямь чертовски логична, ибо оповещал сына все-таки не кто иной, как он сам, когда в ожидании своего конца писал или диктовал этот текст, приурочивая вступление в силу возникающего таким путем документа к мгновению своего последнего вздоха. Точнее выразить ситуацию, пожалуй, даже нельзя было, и все же от этого акта, где настоящее пыталось овладеть будущим, до которого оно дожить не могло, жутковато веяло трупным запахом злобно истлевшей воли!

При мысли об этом поступке, по какой-то ассоциации напомнившем ему прямо-таки нарочито неуравновешенный нрав маленьких городков, Ульрих не без тревоги подумал о своей жившей в провинции замужней сестре, с которой он, наверно, через несколько минут встретится. Он думал о ней уже и в пути, ибо знал о ней мало что. Время от времени через письма отца до него доходили очередные семейные новости, например:

«Твоя сестра Агата вышла замуж», после чего следовали дополнительные подробности, ибо Ульрих тогда не смог съездить домой. А приблизительно через год он уже был оповещен о смерти молодого супруга; а года, если он не ошибался, через три пришло сообщение: «Твоя сестра Агата, к моему Удовлетворению, решила снова выйти замуж». На этой второй свадьбе пять лет назад он присутствовал и видел сестру несколько дней; но помнил он только, что дни эти были как гигантское колесо из белошвейных изделий, непрестанно вертевшееся. Помнил он и супруга, который ему не понравился. Агате было тогда, наверно, двадцать два года, а ему самому двадцать семь лет, ибо как раз тогда он получил докторскую степень; значит, сейчас его сестре было двадцать семь, и с тех пор он ни разу не видел ее и не обменивался с ней письмами. Он помнил только, что позднее отец часто писал: «В браке твоей сестры, по-видимому, не все, увы, обстоит так, как могло бы, хотя супруг ее человек превосходный». Были и такие строки: «Я был очень рад недавним успехам мужа твоей сестры Агаты». Таков был, во всяком случае, смысл писем, которым он, к сожалению, никогда не уделял внимания; но один раз, это Ульрих сейчас отчетливо вспомнил, с осудительным замечанием о бездетности его сестры связывалась надежда, что она все-таки довольна своим браком, хотя ее нрав никогда не позволит ей это признать. «Как она теперь выглядит?» — думал он. Характерно для старика, который так тщательно извещал их друг о друге, было то, что обоих он в хрупком возрасте, сразу после смерти их матери, выдворил из дому; они воспитывались в отдаленных друг от друга учебных заведениях, и Ульриху, который вел себя скверно, часто не разрешали съездить на каникулы домой, так что свою сестру он с детства, когда они, впрочем, очень любили друг друга, толком не видел, если не считать одного-единственного довольно продолжительного свидания, когда Агате было десять лет.

Ульриху казалось естественным, что при таких обстоятельствах они и не переписывались. О чем они могли друг Другу писать? Когда Агата в первый раз вышла замуж, он, как он теперь вспоминал, был лейтенантом и лежал после ранения на дуэли в госпитале. Боже, каким он был ослом! Каким, в сущности, множеством разных ослов! Ибо он вспомнил, что лейтенантская история с дуэлью тут ни при чем: он был тогда уже почти инженером и занимался чем-то «важным», отчего и не стал участвовать в семейном празднике! А о сестре он слышал потом, что она очень любила своего первого мужа. Он уж не помнил, через кого он это узнал, но что, в сущности, значит «она очень любила»?! Это ведь так говорится. Она опять вышла замуж, «и второго ее мужа Ульрих терпеть не мог — вот это не

подлежало сомнению! Неприязнь к нему основывалась не только на личном впечатлении, но и на нескольких написанных им книгах, прочитав которые Ульрих, может быть, не совсем случайно выкинул из памяти сестру. Поступок был не очень красивый; но он не мог не признаться себе, что даже в истекшем году, когда он о стольком думал, он ни разу не вспомнил о ней, и при известии о смерти отца тоже не вспомнил. Но на вокзале он спросил встретившего его старого слугу, прибыл ли шурин, и обрадовался, узнав, что профессор Хагауэр ожидается лишь к самым похоронам, и хотя до похорон оставалось не больше двух-трех дней, это время показалось ему неограниченным сроком затворничества, который он проведет вместе с сестрой так, словно они самые близкие люди на свете. Напрасно спрашивал бы он себя, какая тут связь; наверно, мысль о „незнакомой сестре“ была одной из тех просторных абстракций, где находят себе место многие чувства, которые нигде не бывают уместны по-настоящему.

И, занимаясь такими вопросами, Ульрих медленно входил в этот незнакомо-знакомый город, перед ним раскрывавшийся. Свой багаж, куда он перед самым отъездом сунул довольно много книг, он отправил в коляске вместе со встретившим его старым слугой, которого помнил с детства и который совмещал обязанности лакея, дворецкого и университетского служителя таким образом, что с годами их внутренние границы стали нечеткими. Вероятно, этому скромно-замкнутому человеку отец Ульриха и продиктовал телеграмму о своей смерти. Ноги Ульриха удивленно и с удовольствием шли дорогой, которая вела их к дому, а чувства его бодро и с любопытством вбирали теперь те свежие впечатления, какими поражает всякий растущий город, если ты давно не видел его. На определенном месте, которое ноги Ульриха вспомнили раньше, чем он сам, они свернули с главной улицы, и вскоре он оказался в узком переулке, образованном лишь двумя стенами садов. Перед пришедшим, чуть наискось, стоял двухэтажный дом с мезонином, сбоку от него была старая конюшня, и, все еще прижавшись к стене сада, стоял маленький домик, где жили старый слуга и его жена; домик этот выглядел так, словно старик хозяин, несмотря на все доверие к ним, отодвинул их от себя как можно дальше и все-таки замкнул своими стенами. Ульрих в задумчивости подошел к запертому входу в сад и постучал большим металлическим кольцом, висевшим там вместо звонка на низкой, почерневшей от старости калитке, но подбежавший слуга исправил его ошибку. Они должны были вернуться, обойдя стену, к главному входу, где стояла коляска, и только в тот миг, когда Ульрих увидел перед собой

закрытую дверь дома, он обратил внимание на то, что сестра не встретила его на вокзале. Слуга сообщил ему, что у госпожи мигрень и она после завтрака удалилась, велев разбудить ее, когда господин доктор приедет. Часто ли бывает у его сестры мигрень? — продолжил расспросы Ульрих и тут же раскаялся в этой неловкости, выдавшей его отчужденность старому отцовскому домочадцу и коснувшейся семейных отношений, о которых лучше помалкивать. «Молодая госпожа велела подать чай через полчаса», — ответил старик с непроницаемо-вежливым лицом вышколенного слуги, осторожно показывавшим, что он не смыслит ни в чем, что не входит в его обязанности.

Ульрих непроизвольно взглянул на окна с мыслью, что там стоит, наблюдая за его прибытием, Агата. Интересно, поладит ли он с ней? — спросил он себя и с неудовольствие. Он отметил, что пребывание здесь будет довольно тягостным, если она ему не понравится. То, что она не встретила его на вокзале и не вышла к дверям, внушало, во всяком случае, доверие к ней и свидетельствовало об известном родстве ощущений, ибо спешить ему навстречу было в сущности, так же нелепо, как если бы он, едва войдя в дом, ринулся к гробу отца. Передав, что будет готов через полчаса, он немного привел себя в порядок. Комната, для него приготовленная, находилась в мезонине. Она была его детской, но теперь меблировку ее чудно дополняли предметы, собранные явно наспех для удобства взрослых. «Устроить все иначе, пока покойник в доме, вероятно, нельзя», — подумал Ульрих, располагаясь среди развалин своего детства, хоть и с усилием, но все-таки и с довольно приятным чувством, поднимавшимся, как туман этой почвы. При переодевании ему вздумалось надеть похожий на пижаму домашний костюм, который попался ему, когда он распаковывал вещи. «Могла бы встретить меня хотя бы в доме!» — подумал он, и была в этой небрежности при выборе костюма доля укоризны, хотя чувство, что у сестры есть какая-то причина для ее поведения, которая ему понравится, — чувство это тоже присутствовало, придавая переодеванию долго той вежливости, которая заключена в непринужденном выражении дружеской близости.

Он надел просторную, мягкошерстную, чуть похожую на костюм Пьеро пижаму в черно-серую шашку, плотно прилегавшую лишь на запястьях, щиколотках и в талии; любил он ее за удобство, которое после бессонной ночи и долгой дороги с удовольствием ощущал, спускаясь по лестнице. Но, войдя в комнату, где его ждала сестра, он был поражен своим нарядом, ибо по тайной воле случая оказался перед рослым, светловолосым, облаченным в серовато-рыжеватую полосато-шашечную

материю Пьеро, который на первый взгляд был очень похож на него самого.
— Я не знала, что мы близнецы! — сказала Агата, и ее лицо просияло.

2

Доверие

Они не поцеловались, а просто приветливо постояли друг перед другом, затем расступились, и Ульрих смог рассмотреть сестру. По росту они подходили друг к другу. Волосы у Агаты были светлей, чем у него, но кожа ее была хороша той же душистой сухостью, которая только и нравилась ему в собственном теле. Грудь ее не расплылась, а была маленькая и крепкая, и все члены сестры были, казалось, той узкопродолговатой, веретеноподобной формы, что соединяет в себе природную энергию с красотой.

— Надеюсь, твоя мигрень прошла, следов ее уже не видно, — сказал Ульрих.

— Никакой мигрени у меня не было, я сказала это для упрощения, объяснила она, — ведь не могла же я сообщить тебе через слугу более сложную вещь — что мне было просто лень. Я спала. Я привыкла здесь спать каждую свободную минуту. Я вообще лентяйка — наверно, от отчаяния. И узнав, что ты приедешь, я сказала себе: теперь, надеюсь, моя сонливость кончится, и погрузилась в сон, так сказать, выздоравливающей. А слуге я все это, хорошенько подумав, назвала мигренью.

— Ты совсем не занимаешься спортом? — спросил Ульрих.

— Немного играю в теннис. Но я терпеть не могу спорт.

Он еще раз, пока она говорила, рассмотрел ее лицо. Оно показалось ему не очень похожим на его собственное; но, возможно, он ошибался, оно, может быть, походило на его лицо, как пастель на гравюру на дереве, и поэтому различие в материале скрывало от глаза соответствия в линиях и плоскостях. Лицо это чем-то его беспокоило. Через мгновение он понял, что просто не может сказать, что оно выражает. В лице ее не хватало того, что обычно позволяет судить о человеке. Это было лицо, полное содержания, но в нем не было ничего подчеркнутого, ничего такого, из чего вообще складываются характерные черты.

— Как вышло, что ты оделась так же? — спросил Ульрих.

— Сама не знаю, — ответила Агата. — Я думала, что это мило.

— Это очень мило! — со смехом сказал Ульрих. — Но ведь настоящий трюк случая! И смерть отца тебя тоже я вижу, не очень-то потрясла?

Агата медленно поднялась на цыпочках и так же медленно опустилась.

— Твой муж тоже уже здесь? — спросил брат, чтобы что-то сказать.

— Профессор Хагауэр прибудет только к похоронам.

Казалось, она была рада поводу произнести это имя так официально и отстранить его от себя, как что-то чужое.

Ульрих не знал, что на это ответить.

— Да, да, слышал, — сказал он.

Они снова взглянули друг на друга, а потом пошли, как того требуют приличия, в маленькую комнату, где лежал покойник.

Весь день эта комната была затемнена; она была насыщена черным. В ней пахло цветами и горящими свечами. Оба Пьеро стояли выпрямившись перед покойником, словно следя за ним.

— Я не вернусь к Хагауэру! — сказала Агата, чтобы покончить с этим. Можно было подумать, что это предназначалось и для ушей покойника.

Он лежал на своем катафалке так, как об этом распорядился: во фраке и крахмальной рубашке, видневшейся из-под доходившего до середины груди покрывала, со сложенными руками, без распятия, при орденах. Маленькие, резко выступающие надбровные дуги, глубоко впавшие щеки и губы. Он был как бы зашит в отвратительную, безглазую, трупную кожу, которая еще составляет часть человека и уже чужеродна ему. Дорожный мешок жизни. Ульрих невольно почувствовал удар в том корне своего существа, где нет ни чувств, ни мыслей; но дольше нигде. Если бы ему пришлось облечь это в слова, он смог бы только сказать, что закончились тягостные отношения без любви. Так же, как плохой брак делает плохими людей, которые не могут освободиться от него, точно так же портят людей всякие, рассчитанные на вечность, давящие узы, когда под этими узами сходит на нет жизнь.

— Мне хотелось, чтобы ты приехал раньше, — продолжала Агата, — но папа не соглашался. Обо всем, что касалось его смерти, распорядился он сам. Я думаю, ему было бы мучительно умирать у тебя на глазах. Я живу здесь уже две недели. Это было ужасно.

— Тебя-то он хоть любил? — спросил Ульрих.

— Он обо всем распорядился, все препоручил своему старому слуге и после этого производил уже впечатление человека, которому нечего делать и незачем жить. Но чуть ли не через каждые четверть часа он поднимал голову и смотрел, нахожусь ли я в комнате. Так было в первые дни. Потом через каждые полчаса, позднее — через каждый час, а в последний ужасный день это случилось вообще только два-три раза. И за все дни он не говорил мне ни слова, разве только если я о чем-нибудь его спрашивала.

Ульрих подумал, когда она это рассказывала: «Она, в сущности, твердая. Еще в детстве она умела проявлять необыкновенное упрямство молча. Но с виду-то она уступчива?» И вдруг он вспомнил давнее. Однажды он чуть не погиб в разоренном лавиной лесу. Она была всего лишь мягким облаком снежной пыли, которое под действием неудержимой силы стало твердым, как падающая гора.

— Это ты отправила мне телеграмму? — спросил он.

— Нет, отправил ее, разумеется, старик Франц! Распоряжение было уже отдано. И ухаживать за собой он тоже не разрешал мне. Он, несомненно, никогда не любил меня, и я не знаю, зачем он вызвал меня. Я плохо себя чувствовала и старалась почаще запирается у себя в комнате. И в один из таких часов он умер.

— Наверно, он хотел доказать тебе этим, что ты совершила ошибку. Пойдем! — сказал Ульрих горько, потянув ее к двери. — А может быть, он хотел, чтобы ты погладила ему лоб? Или преклонила колени у его одра? Хотя бы только потому, что он всегда считал, что так полагается прощаться с отцом. Но попросить тебя об этом у него не повернулся язык.

— Может быть, — сказала Агата.

Они еще раз остановились и посмотрели на него.

— В сущности, все это ужасно! — сказала Агата,

— Да, — ответил Ульрих. — И так мало знаешь об этом.

Когда они выходили из комнаты. Агата еще раз остановилась и сказала Ульриху:

— Я лезу к тебе с вещами, до которых тебе, конечно, нет дела; но именно во время болезни отца я решила ни в коем случае не возвращаться к своему мужу!

Ее упорство вызвало у брата невольную улыбку. У Агаты появилась между глазами вертикальная складка, и говорила она с ожесточением; она, по-видимому, боялась, что он не станет на ее сторону, и напоминала кошку, которая от великого страха смело нападает сама.

— Он согласен? — спросил Ульрих.

— Он еще ничего не знает, — сказала Агата. — Но он не согласится!

Брат вопросительно посмотрел на сестру. Но она резко покачала головой.

— О нет, не то, что ты думаешь. Никакие третьи лица тут не замешаны! — сказала она.

На том этот разговор пока кончился. Извинившись за невнимание к голодному и усталому брату, Агата повела его в комнату, где уже ждал чай, и, заметив, что чего-то на столе не хватает, вышла, чтобы принести это.

Ульрих воспользовался одиночеством и попытался по мере сил представить себе супруга Агаты, чтобы лучше понять ее. Он был среднего роста, держался очень прямо, ходил в мешковатых штанах, не скрывавших округлости его ног, носил при довольно пухлых губах усы щеточкой и питал страсть к галстукам с крупными узорами, которая по-видимому, означала, что он не обычный, а передовой человек. Ульрих почувствовал, как в нем опять пробуждается старое недоверие к выбору Агаты, но вообразить, что этот человек скрывает какие-то тайные пороки, никак нельзя было вспоминая, каким чистым сияньем светились чело и глаза Готлиба Хагауэра. «Да это же просвещенный, деятельный человек, молодчина, который движет вперед человечество на своем поприще, не вмешиваясь в далекие от него дела», — констатировал Ульрих, вспоминая при этом и сочинения Хагауэра, и погрузился в не совсем приятные мысли.

Таких людей можно распознать уже в их школьные годы. Они учатся не столько добросовестно — как это называют, путая следствие с причиной, сколько рационально и практично. Каждую задачу они сперва подготавливают, как нужно с вечера приготовить одежду, вплоть до последней пуговицы, если хочешь быстро и без задержек собраться утром; нет такого хода мыслей, которого они не могли бы такими пятью или десятью приготовленными пуговицами закрепить в собственном уме, и надо признать, что ум этот потом довольно хорош на вид и проверку выдерживает. Они становятся таким путем примерными учениками не вызывая неприязни товарищей, и люди, которые, как Ульрих, склонны по натуре то к легкой чрезмерности, то к столь же незначительной недостаточности усердия, люди эти, даже будучи гораздо способнее, отстают от них так же постепенно и потихоньку, как постепенно и потихоньку подкрадывается судьба. Он заметил, что в общем-то втайне побаивается этой породы «примерных и образцовых», ибо точность их ума делала его собственный восторг перед точностью немного пустым. «У них нет ни чуточки души, — думал он, — но люди они добродушные; после шестнадцати лет, когда молодежь начинает интересоваться духовными вопросами, они как бы несколько отстают от других, не имея настоящей способности понимать новые мысли и чувства, но они и тут орудуют своими десятью пуговицами, и приходит день, когда они могут засвидетельствовать, что всегда все понимали, „правда, без всяких ненужных крайностей“, и ведь они-то в конечном счете и проводят в жизнь новые идеи, когда для других эти идеи давно уже стали отшумевшей молодостью или буйством одиночества!» Таким образом, когда вошла сестра, Ульрих, правда, все еще не представлял себе толком, что у нее

страслось, но чувствовал, что борьба против ее мужа, даже несправедливая, могла бы доставить ему удовольствие весьма низкого свойства. Агата явно не надеялась разумно объяснить свое решение. Ее брак пребывал, чего и следовало ожидать от такого человека, как Хагауэр, в полнейшем внешнем порядке. Никаких споров, почти никаких расхождений во мнениях — хотя бы уж потому, что Агата, как она сказала, не делилась с ним своим мнением ни по какому поводу. Конечно, никаких эксцессов, ни пьянства, ни карт. Даже никаких холостяцких привычек. Справедливое распределение доходов. Налаженное хозяйство. Спокойные переходы от светской многолюдности к часам, когда оставались вдвоем.

— Если ты, значит, покинешь его просто так, без причины, — сказал Ульрих, — брак будет расторгнут по твоей вине. При условии, что он предъявит иск.

— Пускай предъявляет! — с вызовом сказала Агата, — Может быть, следовало бы пойти на какие-то материальные уступки, если он согласится решить дело мирно? — Я взяла с собой только то, — ответила она, — что нужно для поездки на три недели, несколько детских пустячков и какие-то сувениры времен, когда я еще не была за ним замужем. Все остальное пусть оставит себе, мне это не нужно. Но в будущем он ничего из меня не вытянет! Она снова говорила с поразительной горячностью. Понять Агату можно было так, что она хочет отомстить этому человеку за то, что прежде позволяла ему вытягивать из себя слишком много. Боевой задор, спортивный азарт Ульриха, его изобретательность в преодолении трудностей теперь пробудились, хотя он и отмечал это с неудовольствием. ибо это походило на действие возбуждающего средства, которое, вызвав внешние симптомы волнения, совершенно не задело глубин души. Он перевел разговор на другое, пытаясь как-то оглядеться.

— Я читал кое-что из его сочинений и кое-что слышал о нем, — сказал он. — Насколько мне известно, в области педагогики он слывет даже восходящей звездой!

— Да, слывет, — сказала Агата.

— Судя по его трудам, он не только разносторонний педагог, но и зачинатель реформы наших высших учебных заведений. Помню, я как-то читал его книгу, где, с одной стороны, речь шла об исключительной ценности историко-гуманитарных дисциплин для нравственного воспитания, с другой стороны — об исключительной ценности естественно-математических дисциплин для воспитания ума, а в-третьих, об исключительной ценности той энергии, которую дают спорт и военная подготовка, для воспитания человека действия. Так?

— Наверно, так, — сказала Агата, — Но ты замечал, как он цитирует?

— Как он цитирует? погоди, кажется, меня и правда что-то там поразило. Он цитирует очень много. Он цитирует классиков. Он... ну, конечно, современников он тоже цитирует. А, вспомнил: он цитирует — для педагога это прямо-таки революция — не только столпов педагогики, но и нынешних авиационных инженеров, политиков и художников... Но ведь это же я, в сущности, и раньше сказал? — закончил он с той растерянностью, которую чувствуешь, когда какое-то твое воспоминание идет не по тому пути и заходит в тупик.

— Он цитирует вот как, — пояснила Агата. — В музыке, например, ему ничего не стоит дойти до Рихарда Штрауса, а в живописи — до Пикассо. Но никогда, даже как пример чего-то неверного, он не назовет имени, которое не приобрело уже какого-то веса в газетах хотя бы лишь тем, что они неодобрительно склоняют его!

Совершенно верно. Это-то и искал в памяти Ульрих. Он поднял глаза. Ответ Агаты обрадовал его как свидетельство хорошего вкуса и наблюдательности.

— Так он со временем стал вождем, одним из первых плетясь в хвосте у времени, — добавил он со смехом. — Все, кто приходит еще позже, видят его уже впереди себя! Но любишь ли ты наших первооткрывателей?

— Не знаю. Во всяком случае, я не цитирую.

— Как бы то ни было, будем скромнее, — сказал Ульрих. — Имя твоего супруга означает программу, которая сегодня для многих — высочайший идеал. Его деятельность есть добротный маленький прогресс. Его внешнее возвышение не заставит ждать себя долго. Раньше или позже из него выйдет по меньшей мере университетский профессор, хотя он и прозябал ради хлеба насущного в учителях средней школы. А погляди на меня! Мне только и надо было делать, что идти по своему прямому пути, а достиг я того, что меня и в доценты-то едва ли возьмут. Это уже кое-что значит!

Агата была разочарована, и, наверно, поэтому лицо ее приняло фарфорово-дамское, ничего не говорящее выражение, когда она любезно ответила: — Не знаю, может быть, ты и должен уважать Хагауэра.

— Когда он прибудет? — спросил Ульрих.

— К самым похоронам. Больше времени он на это не отведет. Но здесь, в доме, он жить не будет, этого я не допущу!

— Как тебе угодно! — с неожиданной решительностью сказал Ульрих. — Я встречу его и отвезу в гостиницу, скажу: «Комната для вас приготовлена здесь!»

Агата поразилась и вдруг пришла в восторг.

— Это его ужасно разозлит, потому что придется раскошелиться, а он собирается, конечно, остановиться у нас!

Ее лицо мгновенно изменилось, в нем снова появилось что-то ребячески-озорное, проказливое.

— А в каком мы положении? — спросил брат. — Кому принадлежит этот дом — тебе, мне или нам обоим? Есть завещание?

— Папа велел передать мне большой пакет, где, наверно, сказано все, что нам нужно знать!

Они пошли в кабинет, находившийся по другую сторону от комнаты, где лежало тело.

Они снова проплыли через блеск свечей, аромат цветов, через поле этих двух глаз, которые уже ничего не видели. В мерцающем полумраке Агата стала на миг лишь переливчатой, золотой, серой и розовой дымкой. Завещание нашлось, но, вернувшись с ним к чайному столу, они забыли вскрыть пакет.

Ибо когда они сели, Агата сообщила брату, что живет с мужем врозь, хотя и под одной крышей; она не сказала, давно ли уже.

Сперва это произвело на Ульриха скверное впечатление. Глядя на мужчину как на возможного любовника, многие замужние женщины рассказывают ему эту сказку; и хотя сестра сообщила это смущенно, даже ожесточенно, с ясно чувствовавшейся неловкой готовностью дать какой-то толчок, ему стало досадно, что она не придумала для его ушей ничего лучшего, и он счел это преувеличением.

— Я вообще никогда не понимал, как ты могла жить с таким человеком! — ответил он откровенно.

Агата сказала, что этого хотел отец; а что она могла поделать? — спросила она.

— Но ведь ты была тогда уже вдовой, а не несовершеннолетней девушкой.

— В том-то и дело. Я вернулась к папе. Все говорили тогда, что я еще слишком молода, чтобы жить одной, ведь хоть я и была вдова, мне было всего девятнадцать лет. А потом я здесь как раз и не выдержала.

— Но почему ты не поискала себе другого мужа? Или не поступила учиться, чтобы начать самостоятельную жизнь? — бесцеремонно спросил Ульрих.

Агата только покачала головой. Лишь после небольшой паузы она ответила:

— Я уже сказала тебе, что я лентяйка.

Ульрих чувствовал, что это не ответ.

— У тебя, значит, была особая причина выйти за Хагауэра?!

— Да.

— Ты любила кого-то другого, который был тебе недоступен?

Агата помедлила.

— Я любила моего умершего мужа.

Ульрих пожалел, что употребил слово «любовь» так обыденно, словно считал незыблемым и важным общественное установление, которое этим словом обозначают. «Когда хочешь утешить, бросаешь какую-то нищенскую подачку», подумал он. Но его так и подмывало продолжать в том же духе.

— А потом ты поняла, что с тобой произошло, и устроила Хагауэру нелегкую жизнь, — сказал он.

— Да, — подтвердила Агата. — Но не сразу... А позже, — прибавила она. Даже очень поздно.

Тут у них вышел небольшой спор.

Видно было, что эти признания стоили Агате усилий, хотя она делала их добровольно и явно, как то и подобало ее возрасту, считала проблемы половой жизни темой интересной для всех. Вздумав, казалось, сразу же выяснить, сочувствуют ей или нет, она искала возможности довериться и была полна прямодушной и страстной решимости завоевать брата. Но Ульрих, все еще настроенный бросать моралистические подачи, не был способен пойти ей навстречу сразу же. Несмотря на свою душевную силу, он отнюдь не всегда был свободен от предрассудков, которые отвергал его ум, ибо Ульрих слишком часто предоставлял своей жизни течь наудачу, в то время как ум шел другими путями. А поскольку своим влиянием на женщин он слишком часто пользовался и злоупотреблял с тем наслаждением, с каким ловит и отслеживает добычу охотник, то ему почти всегда рисовалась и соответствующая картина, где женщина — жертва, повергнутая любовным копьем мужчины, и в памяти у него жило сладострастие унижения, на которое идет любящая женщина, в то время как мужчина очень далек от подобной покорности. Это самоуверенно мужское представление о женской слабости довольно обычно и поныне, хотя наряду с ним, по мере того как одна волна молодежи сменяет другую, возникают и более новые взгляды, и естественность, с какой Агата говорила о своей зависимости от Хагауэра, задела ее брата. Ульриху показалось, что его сестра, сама того не сознавая, опозорилась, когда поддавалась влиянию человека, который ему так не нравился, и жила в позоре долгие годы. Он этого не высказал, но, видимо, Агата прочла что-то

такое в его лице, ибо она вдруг сказала:

— Не могла же я сразу сбежать, раз уж вышла за него замуж: это было бы сумасбродно!

Ульрих — все еще Ульрих в роли старшего брата и в состоянии покровительственно-воспитательной тупости — встрепенулся и воскликнул:

— Неужели это было бы сумасбродно — почувствовать отвращение и сразу же сделать из этого все выводы?!

Он попытался смягчить свои слова, улыбнувшись после них и как можно ласковее взглянув на сестру.

Агата тоже взглянула на него; ее лицо стало совсем открытым от напряжения, с каким она вчитывалась в его черты.

— Ведь здоровый человек не так уж чувствителен к маленьким неприятностям?! — повторила она свое. — Что в них в конце концов!

Это привело к тому, что Ульрих сосредоточился и перестал передоверять свои мысли какой-то одной части себя. Он был снова теперь человеком объективного ума.

— Ты права, — сказал он, — что, в конце концов, в происходящем как в таковом! Важна система представлений, через которую смотришь на происходящее, и та система личности, в которую оно включается!

— Как это понять? — недоверчиво спросила Агата.

Ульрих извинился за абстрактность сказанного, но пока он искал доходчивой аналогии, к нему вернулась братская ревность, что и определило его выбор.

— Предположим, что женщину, которая нам небезразлична, изнасиловали, — сказал он. — По героической системе представлений надо ждать мести или самоубийства. По системе цинично-эмпирической — что она стряхнет это с себя, как курица. А то, что произошло бы сегодня на самом деле, было бы, пожалуй, смесью первого со вторым. И это отсутствие внутреннего критерия отвратительнее всего.

Но и с такой постановкой вопроса Агата не согласилась,

— Неужели это, по-твоему, так ужасно? — спросила она просто.

— Не знаю. Мне казалось, что это унижительно — жить с человеком, которого не любишь. Но теперь... как тебе угодно!

— Это, по-твоему, хуже, чем если женщина, выходящая замуж раньше, чем через три месяца после развода, обязана пройти официальный гинекологический осмотр, чтобы, установив, беременна ли она, можно было определить права наследников? Такое бывает, я сама читала.

В оборонительном гневе лоб Агаты словно бы округлился, а между

бровями опять появилась вертикальная складочка.

— И любая проходит через это, если нужно! — сказала она презрительно.

— Я не спорю с тобой, — ответил Ульрих. — Все, когда до этого и впрямь доходит дело, проходит как дождь и сиянье солнца. Наверно, ты гораздо разумнее, чем я, если ты считаешь это естественным. Но естество мужчины не естественно, его природа меняет природу и потому сумасбродна.

Улыбка его просила дружбы, а глаза его видели, как молодо ее лицо. Когда оно волновалось, на нем почти не было морщинок, от того, что происходило за ним, оно напрягаясь, еще больше разглаживалось, как перчатка, в которой рука сжимается в кулак.

— Я никогда не думала об этом в такой общей форме, — ответила она теперь. — Но после того как я послушала тебя, мне опять кажется, что я жила ужасно неверно!

— Все это лишь оттого, — шутя повинился в ответ на ее признание брат, что, столько уже сказав мне по доброй воле, ты все-таки не сказала самого существенного. Как я могу попасть в точку, если ты ничего не говоришь мне о мужчине, из-за которого ты наконец бросаешь Хагауэра!

Агата посмотрела на него как маленький ребенок или как школьница, которую обидела учительница.

— Неужели нельзя без мужчины? Неужели это не может получиться само собой? Я сделала что-то не так, удрав от него без любовника? Не стану врать тебе, что у меня никогда не было любовника, это было бы смешно. Но сейчас у меня его нет, и я бы обиделась на тебя, если бы ты считал, что мне непременно нужен любовник, чтобы уйти от Хагауэра! Брату ничего не осталось, как уверить ее, что страстные женщины уходят от мужей и без любовников и что это, по его мнению, даже более достойный поступок... Чай, за который они сели, перешел в беспорядочный и преждевременный ужин, — по просьбе Ульриха, который очень устал и хотел лечь пораньше, чтобы выспаться к завтрашнему дню, сулившему много всяких хлопот. Они курили, перед тем как разойтись, и он еще не мог разобраться в своей сестре. В ней не было никакой эмансипированности и ничего от богемы, хотя она так и сидела в этих широких штанах, в которых вышла к незнакомому брату. Скорее уж что-то гермафродитское — так показалось ему теперь; когда она двигалась во время разговора, ее легкий мужской костюм полупрозрачно, как зеркало воды, намекал на скрытые под ним нежные формы, и по контрасту с вольной независимостью ног прекрасные ее волосы были строго уложены

самым женственным образом. Но главным для этого двойственного впечатления по-прежнему было лицо, наделенное женской прелестью в очень высокой мере, но с какой-то урезкой, какой-то оговоркой, сущность которой определить он не мог.

И то, что он так мало о ней знал и так доверчиво с ней сидел, хотя совершенно иначе, чем с женщиной, для которой он был бы мужчиной. — это все было чем-то очень приятно, особенно при усталости, теперь все больше одолевавшей его.

«Многое изменилось со вчерашнего дня!» — подумал он.

В благодарность за это он попытался сказать Агате на прощанье что-нибудь братски-сердечное, но по непривычке к таким словам ничего не придумал. Поэтому он просто обнял и поцеловал ее.

3

Утро в доме, пребывающем в трауре

На следующее утро Ульрих проснулся рано и с такой легкостью, с какой выпрыгивает из воды рыба: усталости прошедшего дня не было и в помине, он спал без снов и прекрасно выспался. В поисках завтрака он совершил обход дома. Траур еще не набрал силу, только аромат траура витал во всех комнатах. Это напомнило ему магазин, открывший свои ставни ранним утром, когда на улице еще нет ни души. Затем он извлек из чемодана свою ученую работу и отправился с ней в кабинет отца. В печи здесь горел огонь, и комната выглядела человечнее, чем вчера вечером. Хотя создал ее педантичный ум, взвешивавший все «за» и «против», позаботившийся даже о том, чтобы гипсовые бюсты на книжных полках симметрично стояли друг против друга, множество брошенных мелких личных вещей — карандаши, лупа, термометр, раскрытая книга, коробочки с перьями и подобное — придавали кабинету трогательную пустынную только что покинутого обиталища. Ульрих сидел среди всего этого, правда, вблизи окна, но за письменным столом, составлявшим все-таки истинный центр этой комнаты, и чувствовал странную усталость воли. На стенах висели портреты его предков, и часть мебели осталась еще от их времен; тот, кто здесь жил, слепил из скорлупок их жизни яйцо собственной. Теперь он умер, а вещи его еще стояли здесь, вырисовываясь так резко, словно их выпилили из окружающего пространства, но порядок их был уже готов искрошиться, подчиниться преемнику, и чувствовалось, что большая долговечность вещей опять потихонечку заиграла под их траурной маской.

В таком настроении раскрыл Ульрих свою работу, прерванную много недель и даже месяцев назад, и взгляд его тут же упал на то место с гидродинамическими уравнениями, дальше которого он не пошел. Он смутно помнил, что стал думать о Клариссе, когда на примере трех главных состояний воды попытался продемонстрировать новую математическую возможность; и Кларисса отвлекла его тогда от этого. Но порой память восстанавливает не слово, а атмосферу, в которой оно было произнесено, и Ульрих вдруг подумал: «углерод», и у него ни с того ни с сего возникло чувство, что он продвинулся бы вперед, если бы только знал сейчас, во скольких состояниях встречается углерод; но вспомнить это не удалось, и вместо этого он подумал: «Человек бывает в двух состояниях. Мужчиной и женщиной». Думал он об этом долго, как бы оцепенев от удивления, словно это бог весть какое открытие — что человек живет в двух разных перманентных состояниях. Но за этим застоем его мысли пряталось нечто другое. Ведь можно быть жестоким, эгоистичным, активным, как бы обращенным наружу, и можно вдруг, оставаясь тем же Ульрихом Имярек, почувствовать себя совершенно другим, погруженным в себя, самоотверженно-счастливым существом при неописуемо отзывчивом и тоже каком-то самоотверженном состоянии всего окружающего. И он спросил себя: «Сколько времени прошло с тех пор, как я в последний раз это ощущал?» К его удивлению, оказалось, что немногим больше суток. Тишина, окружавшая Ульриха, действовала бодряще, и состояние, сейчас вспомнившееся, не показалось ему таким необычным, каким казалось всегда. «Мы же все организмы, — думал он умиротворенно, — которые должны изо всех сил и со всей жадностью бороться друг с другом в неприветливом мире. Но каждый из нас вместе со своими врагами и жертвами есть все же частица и дитя этого мира, и он, может быть, вовсе не так обособлен от прочих и самостоятелен, как ему представляется». А если так, то не было ничего непонятного в том, что над миром иногда поднимается чувство единства и любви, почти уверенность, что насущные нужды жизни позволяют обычно познать лишь одну половину всей взаимосвязи живых существ, В этом не было совершенно ничего оскорбительного для человека математического, научно-точного ума. Ульриху напомнило это даже работу одного психолога, с которым он был лично знаком: речь в ней шла о существовании двух больших, противоположных друг другу групп представлений, одна из которых основана на том, что субъект охвачен содержанием воспринятого, другая — на том, что он сам охватывает его. Высказывалось убеждение, что такое «пребывание внутри чего-то» и «разглядывание снаружи», такая

«вогнутость» и «выпуклость» ощущения, «пространственность» и «созерцательность» повторяются и во стольких других противоположностях восприятия и соответствующих ему формул языка, что за этим таится изначальная двойственность человеческого восприятия. Работа эта не являлась строгим, объективным исследованием, она была из тех, что рождены уносящейся вперед фантазией и обязаны своим возникновением импульсу, лежащему за пределами каждодневной научной деятельности, но она строилась на твердых основах и была очень убедительна в своих выводах, указывавших на скрытое за архаическими туманами единство восприятия, единство, на хаотических развалинах которого, как предположил Ульрих, в конце концов и возник нынешний взгляд, более или менее сводящийся к противоположности мужского и женского способов восприятия и таинственно затемненный древними мечтами.

Тут он попытался застраховаться — совершенно так же, как при опасном спуске со скалы пользуешься веревкой и крюками, — и начал рассуждать дальше:

«Древнейшие, для нас уже до непонятного темные философские учения часто говорят о мужском и о женском „начале“!» — подумал он.

«Богини, существовавшие в древних религиях наряду с богами, для наших чувств уже непостижимы, — подумал он. — Для нас всякое отношение к этим сверхчеловеческой силы женщинам было бы чистейшим мазохизмом!»

«Но природа, — думал он, — наделяет мужчину сосцами, а женщину рудиментом мужского члена, из чего, однако вовсе не следует, что наши предки были гермафродитами. Значит, и психологически они двучастны не были. А следовательно, возможность двойного, дающего и берущего видения принята извне, как двойное лицо природы, и все это каким-то образом старше, чем различие полов, которые позднее дополнили этим свое психологическое одеяние...»

Так думал он, но затем ему вспомнился один случай из времен его детства, и это отвлекло его, потому что ему — чего давно уже не бывало — доставляло удовольствие вспоминать. Надо предварительно заметить, что его отец раньше ездил верхом и держал лошадей, о чем и сегодня еще свидетельствовала пустая конюшня у стены сада, первым делом бросившаяся Ульриху в глаза, когда он приехал. Вероятно, это была единственная аристократическая привычка, которую позволил себе восхищавшийся своими друзьями-помещиками отец; Ульрих был тогда маленьким мальчиком, и та бесконечность, та, во всяком случае,

безмерность, какой обладает высокое, мускулистое тело лошади для восхищенного ребенка, снова возникла теперь перед ним сказочно-жутковатой горой, где шерсть росла, как трава на склонах, а дрожь по коже пробегала, как волны ветра. Это было, заметил он, одно из тех воспоминаний, блеск которых идет от неспособности ребенка исполнить желаемое; но слова эти мало что говорят о прямо-таки неземной яркости этого или того, другого, но менее дивного блеска, до которого маленький Ульрих немного позднее дотронулся пальцами, когда искал первого. Ибо в то время по городу были расклеены афиши цирка, на которых попадались не только лошади, но и львы, тигры, а также большие, великолепные, живущие с ними в дружбе собаки, и он уже долгое время разглядывал эти объявления, прежде чем ему удалось достать один такой пестрый плакат и, вырезав животных, укрепить их на маленьких деревянных подпорках. Но то, что произошло потом, можно сравнить лишь с жаждой, которую, сколько бы ты ни пил, нельзя утолить до конца; она не прекращалась, не уменьшалась неделями, тяга перелиться в эти существа, которыми он восхищался теперь с невыразимым счастьем одинокого ребенка и владельцем которых, глядя на них, мнил себя с такой же силой, с какой чувствовал, что тут не хватает чего-то последнего, ничем невосполнимого, и от этой нехватки желание как раз и получало безмерную, лучистую, пронзающую тело мощь. А с этим удивительно беспредельным воспоминанием самым естественным образом выплыло теперь из забвенья другое, лишь чуть более позднее впечатление той же нежной поры и, несмотря на свою ребяческую пустячность, целиком завладело большим, грезившим сейчас с открытыми глазами телом. Это была девочка, у которой было только два свойства — обязанность принадлежать ему и его неизбежные драки из-за нее с другими мальчиками. И реальны из двух этих свойств были только драки, ибо девочки не существовало на свете. Странная пора, когда он, как странствующий рыцарь, нападал на незнакомых противников, особенно если они были выше ростом и встречались на пустынной, способной сохранить тайну улице, и неожиданно для них вступал с ними в драку! Он не раз бывал за это бит, хотя порой одерживал и большие победы, но всегда, каков бы ни был исход, чувствовал себя обманутым, ибо ожидаемого удовлетворения не получал. Естественную мысль, что девочки, которых он знал в действительности, — такие же существа, как та, из-за кого он дрался, — эту мысль чувство его просто отвергало, потому что, как все мальчики его возраста, он только глупел и цепенел в женском обществе, пока однажды, впрочем, не случилось одно исключение. И тут Ульрих так ясно, словно картина эта

стояла в окуляре глядящей сквозь толщу лет подзорной трубы, вспомнил вечер, когда Агату нарядили для детского праздника. На ней было бархатное платье, и волосы ее стекали на него волнами светлого бархата, и вдруг при виде ее, хотя он и сам был в устрашающем костюме рыцаря, он так же несказанно, как о зверях с цирковых афиш, затосковал о том, что он не девочка. О различии полов он знал тогда столь мало, что не считал такое превращение совершенно немыслимым, но все-таки уже и столь много, что и не пытался, как это обычно делают дети, тут же исполнить свое желание; сейчас, когда он подбирал определение, этому двойственному своему состоянию, ему представлялось что он искал на ощупь дверь в темноте и, встретив вдруг какое-то теплое, как кровь, приятное своим теплом сопротивление, стал прижиматься к этой сопротивляющейся массе, и она нежно уступала его желанию проникнуть в нее, но не пропускала его в себя. Возможно, что это походило и на какую-то невинную форму вампирической страсти, пожирающей вожденное существо, однако тот маленький мужчина хотел не притянуть к себе ту маленькую женщину, а целиком занять ее место, и происходило это с той слепящей нежностью, которая свойственна лишь ранним пробуждениям пола.

Ульрих встал и потянулся, удивляясь своим мечтам. Меньше чем в десяти шагах от него, за стеной, лежало тело отца, и он только теперь заметил, что вокруг них обоих довольно давно уже копошится словно выросший из земли народ, хлопоча в этом выморочном и продолжающем жить доме. Старухи стелили ковры и зажигали новые свечи, на лестницах стоял стук, вносили цветы, натирали полы, и вот эта деятельность подобралась уже и к нему самому: ему докладывали о людях, поднявшихся так рано, потому что им нужно было что-то получить или узнать, и цепь их уже не прерывалась. Университет прислал справиться о похоронах, пришедший старьевщик робко спросил насчет одежды, от имени какой-то германской фирмы явился, рассыпаясь в извинениях, местный букинист, чтобы предложить цену за редкий юридический труд, предположительно имеющийся в библиотеке покойного, некоему капеллану нужно было по поручению прихода разобраться с Ульрихом в каком-то недоразумении, представитель страхового общества пришел с какими-то долгими объяснениями, кто-то хотел купить по дешевке пианино, какой-то маклер оставил свою визитную карточку на случай, если вздумают продать дом, один отставной чиновник предложил свои услуги, если понадобится писать адреса на конвертах, и так уж и не прекращался в эти удобные утренние часы поток приходявших, уходивших, спрашивавших, чего-то желавших, увязывавших со смертью какое-то дело и отстаивавших свое право на

существование устно и письменно — и у парадного, где старик слуга по мере сил отсеивал их, и наверху, где Ульриху тем не менее приходилось принимать всех прорвавшихся. Он не представлял себе, сколько людей вежливо ждет смерти других и сколько сердец приводишь в бурное движение в тот миг, когда останавливается твое собственное; он был немало удивлен, и виделось ему это так: мертвый жук лежит в лесу, а другие жуки, муравьи, птицы и хлопающие крыльями бабочки к нему подтягиваются. Ибо в усердии всего этого корыстного мельтешения было что-то от мерцанья и порханья в темной лесной чаще.

Корысть светилась сквозь стекла растроганных глаз, как зажженный среди бела дня фонарь, когда человек с черной повязкой на черном костюме, представлявшем собой нечто среднее между соболезнованием и одеждой для службы, вошел и остановился у двери с таким видом, словно ждал, что либо он сам, либо Ульрих сейчас разрыдается. Но когда ни того, ни другого не произошло, его через несколько секунд, по-видимому, и это устроило, ибо теперь он окончательно вошел в комнату и совершенно так же, как это сделал бы любой коммерсант, отрекомендовавшись директором похоронного бюро, осведомился, доволен ли Ульрих тем, что уже выполнено. Он заверил Ульриха, что и дальнейшее будет выполнено в манере, которую непременно одобрил бы и сам покойный, а ему, как известно, угодить было не так-то легко. Вручив Ульриху печатный бланк со множеством незаполненных граф, он заставил его прочесть отдельные слова типового договора, предусматривавшего все виды обслуживания: «восьмериком... пароконным... катафалк с венками... число... вид упряжки... с форейтором, серебряная плакировка... вид процессии... факелы по-мариенбургски... по-адмонтски... число провожающих... вид освещения... время горения... какого дерева гроб... цветы в горшках... имя, дата и место рождения, пол, род занятий... фирма не несет ответственности за непредусмотренные...» Ульрих не знал некоторых старинных терминов и спросил об их происхождении директора. Тот посмотрел на него удивленно, он тоже не знал. Он стоял перед Ульрихом как рефлекторная дуга в мозгу человечества, которая соединяла стимул и действие так, что сознания не возникало. Многовековая история была доверена этому дельцу от траура, и он волен был обращаться с ней как со списком товаров. Почувствовав, что Ульрих открыл в его механизме не тот клапан, он постарался поскорее закрыть его замечанием, возвращающим беседу к ее деловой задаче. Он сказал, что всех этих граф, к сожалению, требует типовой договор имперской ассоциации похоронных бюро, но они не имеют ровно никакого значения, если их, как то обычно делают —

прочеркнуть, и если Ульрих подпишет, — сестрица не захотела вчера подписывать без брата, — то это будет означать лишь то, что он подтверждает указания, оставленные его отцом, а уж за первоклассное исполнение ему ручаются.

Подписывая, Ульрих спросил этого посетителя, случилось ли тому видеть здесь в городе электрическую колбасную машину с изображением на корпусе святого Луки — покровителя мясников и колбасников; сам он видел однажды такую машину в Брюсселе... Но ответа он так и не услышал, ибо на месте этого человека перед ним уже стоял кто-то другой, чего-то от него хотевший, и был этот другой журналистом, которому нужны были сведения для некролога в провинциальной газете. Ульрих дал их и отпустил похоронщика, но, начав отвечать на вопрос о важнейших событиях в жизни отца, уже не знал, что важно и что нет, и посетитель вынужден был прийти ему на помощь. Только теперь, благодаря похожим на акушерские щипцы наводящим вопросам, которые задавало натасканное профессиональное любопытство, знающее толк в интересном, только теперь дело двинулось, и Ульриху почудилось, что он присутствует при сотворении мира. Журналист, человек молодой, спросил, умер ли старик после долгой болезни или неожиданно, и когда Ульрих ответил, что отец до последней недели читал лекции, тот сделал из этого: «в расцвете сил и на трудовом посту». А потом стружки так и летели от жизни старика, пока не осталось от нее нескольких ребер и узлов: родился в Противне в 1844 году, получил образование там-то и там-то, назначен тем-то... назначен тогда-то; пятью назначениями и наградами существенное было почти исчерпано. В промежутке женитьба. Несколько книг. Однажды чуть не стал министром юстиции; не выгорело из-за чьего-то сопротивления.

Журналист писал, Ульрих подтверждал, что все верно. Журналист был доволен, у него выходило нужное число строк. Ульрих подивился маленькой кучке пепла, которая остается от жизни. Для всех сведений, какие он получил, у журналиста были наготове шести— и восьмиконные формулы: выдающийся ученый, широкий круг интересов, дальновидный политический деятель, разносторонняя одаренность и так далее; долгое время, видимо, никто не умирал: слова эти давно не употреблялись и жаждали пойти в ход. Ульрих задумался; он с удовольствием сказал бы об отце еще что-нибудь хорошее, но факты уже ухватил вопросами хроникер, укладывавший сейчас свои письменные принадлежности, а остаток походил на попытку взять в руку содержимое стакана воды без стакана. Суэта приходов и уходов между тем приутихла, ибо накануне Агата направляла всех к брату, а теперь этот поток схлынул, и Ульрих остался

один, когда репортер откланялся. Отчего-то у него стало горько на душе. И прав ли был отец, что таскал мешки знания и перекапывал потихоньку зерно в его закромах, а в остальном просто подчинялся той жизни, какую считал самой могучей силой?! Ульрих подумал о своей работе, которая лежала без движения в ящике стола. О нем, Ульрихе, наверно, нельзя будет даже сказать, как об отце, что он перекапывал! Ульрих вошел в комнатку, где лежал покойник. В этой застывшей, с прямыми стенами келье, среди суматошной деятельности, ею же вызываемой, была фантастическая жуткость: оцепенело, как деревяшка, плавал мертвец среди волн деловитости, но в какие то мгновенья образ этот превращался в свою противоположность, и тогда застывшим казалось живое, а он словно бы двигался, жутковато-спокойно скользя. «Какое дело плывущему, говорил он тогда — до городов за причалами? Я жил здесь и вел себя как того требовали, а теперь я плыву дальше!» Неуверенность человека, который, живя среди других, хочет чего-то другого, чем они, сжала Ульриху сердце. Он заглянул отцу в лицо. Может быть, все, что он считал своей особенностью, было не чем иным, как неким зависящим от этого лица протестом, которым он когда-то по-ребячески загорелся. Он поискал зеркала, но зеркала рядом не оказалось, и единственным, что отражало свет, было это слепое лицо. Он стал искать в нем сходства с собой. Возможно, оно и было. Возможно, в нем было все — была раса, связанность родством, был элемент неличного, был поток наследственности, где каждый — всего лишь пена на волне, были определение границ, уныние, вечное повторение мысли и ее возвращение на круги своя, которое он всей глубиной своей воли к жизни так ненавидел!

Охваченный вдруг этим унынием, он подумал, не уложить ли ему чемоданы и не уехать ли до похорон. Если он и правда мог еще чего-то добиться в жизни, то что ему было здесь делать!

Но выйдя, он столкнулся в соседней комнате с искавшей его сестрой.

4

«Был у меня товарищ...»

В первый раз Ульрих увидел ее одетой по-женски, и после вчерашнего это произвело на него впечатление даже нарочитости. Проникавший через открытую дверь искусственный свет смешивался с дрожащей серостью утра, и эта светловолосая фигура в черном стояла, казалось, в каком-то лучисто сверкающем гроте из воздуха. Волосы Агаты были причесаны

глаже, отчего лицо ее сделалось женственнее, чем накануне, изящная грудь покоилась в черноте строгого платья с тем совершеннейшим равновесием между податливостью и плотностью, что свойственно легкой, как пушинка, твердости жемчужины, а ее стройные, высокие, как у него самого, ноги, которые он видел вчера, были сегодня завешены юбками. И поскольку в целом она сегодня меньше походила на него, он отметил сходство их лиц. Ему почудилось, что вошел в дверь и шагает ему навстречу он сам — только красивей, чем он, и погруженный в сиянье, в каком он никогда не видел себя. В первый раз мелькнула тут у него мысль, что его сестра — это какое-то сказочное повторение и видоизменение его самого; но такое ощущение длилось только один миг, и поэтому он забыл его.

Агата пришла срочно напомнить брату об обязанностях, исполнение которых сама чуть не проспала. Держа в руках завещание, она обратила его внимание на пункты, не терпевшие отлагательства. Прежде всего надо было учесть довольно витиеватое распоряжение насчет орденов, о котором знали слуга Франц, и Агата старательно, хотя и несколько непочтительно, отчеркнула это место Последней Воли красным карандашом. Покойный хотел быть похороненным с орденами, каковых у него было немало, но поскольку похороненным с ними он хотел быть не из тщеславия, то к этому пункту было присовокуплено длинное и глубокомысленное обоснование, из которого его дочь прочла только начало, предоставляя своему брату объяснить ей остальное.

— Как мне объяснить это тебе! — сказал Ульрих, ознакомившись с текстом. — Папа хочет быть похороненным с орденами, потому что индивидуалистическую теорию государства он считает неверной! Он рекомендует нам универсалистскую. Только благодаря творческому единению в государстве человек приобретает сверхличную цель, обретает доброту и справедливость. Один он ничто, и поэтому монарх — это духовный символ. Короче говоря, после смерти человека следует, так сказать, завернуть в его ордена, как заворачивают, перед тем как бросить в море, умершего моряка в полотнище флага!

— Но ведь я читала, что ордена полагается возвращать? — спросила Агата.

— Наследники обязаны вернуть ордена в канцелярию управления двором. Поэтому папа заказал дубликаты. Но ордена, купленные у ювелира, кажутся ему все-таки ненастоящими, и он хочет, чтобы мы заменили на его груди настоящие купленными лишь в самую последнюю минуту, когда надо будет закрывать гроб, вот в чем вся штука! Кто знает, может быть, это немой протест против правила, выразить который иначе он не хотел.

— Но до этого здесь соберется тьма народу, и мы вдруг забудем! — встревожилась Агата.

— С таким же успехом мы можем сделать это сейчас!

— Сейчас некогда. Прочти-ка следующий пункт — что он пишет насчет профессора Швунга: профессор Швунг может появиться в любую минуту, я уже вчера ждала его весь день!

— Ну, так сделаем это после ухода Швунга.

— Как-то неприятно, — возразила Агата, — не исполнить его желание.

— Он-то ведь не узнает.

Она посмотрела на брата с сомнением.

— Ты в этом уверен?

— Вот как?! — воскликнул Ульрих со смехом. — Может быть, у тебя нет в этом уверенности?

— Я ни в чем не уверена, — ответила Агата.

— Но даже если в этом и нет уверенности, он ведь все равно никогда не был доволен нами!

— Это верно, — согласилась Агата. — Значит, сделаем это позже. Но скажи мне одну вещь, — прибавила она, — тебя никогда не волнует то, о чем тебя просят?

Ульрих помедлил с ответом. «Она хорошо одевается, — подумал он. Напрасно я беспокоился, что у нее окажется провинциальный вид!» Но поскольку с этими словами был как-то связан весь вчерашний вечер, ему захотелось дать ей такой ответ, который запомнился бы и пошел ей на пользу; он только не знал, как это начать, чтобы она ни в коем случае не поняла его неверно, и сказал наконец с ненужной, как сам чувствовал, молодцеватостью:

— Мертв не только отец, мертвы и церемонии, которые вокруг него совершаются. Мертво его завещание. Мертвы люди, здесь появляющиеся. Не хочу сказать этим ничего дурного. Видит бог, надо, наверно, быть благодарным тем, кто делает нашу землю прочнее. Но все это известняк жизни, а не ее океан!

Он заметил нерешительный взгляд сестры и понял, как туманно он разглагольствует.

— Добродетели общества — это пороки для святого, — добавил он со смехом.

Он полупокровительственно-полуигриво положил руки ей на плечи — только от смущения. Но Агата строго отступила от него, не принимая такой игры.

— Ты это сам придумал? — спросила она.

— Нет, это сказал один человек, которого я люблю.

В ней было что-то от негодования ребенка, вынужденного напрячь свой ум, когда она подвела итог ответам Ульриха:

— Значит, человека, который честен просто по привычке, ты бы не назвал добрым? А вора, который крадет в первый раз и душа у него прямо-таки уходит в пятки, его ты назовешь добрым?!

Ульрих удивился этим странноватым словам и стал серьезнее.

— Право, не знаю, — сказал он коротко. — Мне иной раз и правда неважно, считается ли что-то правильным или неправильным, но я не могу вывести тебе правило, которым нужно тут руководствоваться.

Агата медленно отвела от него ищущий взгляд и вернулась к завещанию.

— Надо читать дальше, тут еще кое-что отчеркнуто! — сказала она, как бы понукая себя самое.

Прежде чем окончательно слечь, старик написал ряд писем и дал в своем завещании разъяснения по поводу их содержания и их отправки. Отчеркнутое относилось к профессору Швунгу, а профессор Швунг был тот старый коллега, что отравил последний год жизни отца борьбой вокруг параграфа об ограниченной вменяемости, после того как они всю жизнь были друзьями. Ульрих сразу узнал давно знакомые долгие споры о представлении и воле, о точности закона и неопределенности природы, споры, которые отец еще раз обобщающе изложил перед кончиной. Больше всего, кажется, занимало отца в его последние дни разоблачение социальной школы, к которой присоединился профессор Швунг, как проявления прусского духа. Он как раз начал работать над брошюрой под названием «Государство и право, или Последовательность и донос», когда почувствовал, что слабеет, и с горечью увидел, что поле боя осталось за неприятелем. В торжественных словах, высказать которые способна лишь близость смерти и борьба за священное благо репутации, он обязывал своих детей спасти его труд от забвения, а сына, в частности, — использовать связи, установленные им с руководящими кругами благодаря неустанным увещаниям отца, чтобы разбить всякие надежды профессора Швунга на осуществление своих целей.

Когда человек напишет такое, не исключено, что после исполненного или, вернее, намеченного труда у него возникнет потребность простить бывшему другу его вызванные низменной суетностью ошибки. Тяжко рвется по швам его брэнная оболочка, человек становится склонен прощать и просить прощения; а почувствовав себя лучше, он берет все это обратно,

ибо в здоровом теле есть от природы какая-то непримиримость. То и другое старик явно изведal при переменах самочувствия перед смертью, и первое представлялось ему, конечно, столь же правомерным, как и второе. Но такое положение для уважаемого юриста невыносимо, и поэтому его искушенный в логике ум нашел способ выразить свою волю так, чтобы никакие позднейшие взбрыки эмоций не отняли у нее значения последней воли; он написал письмо с прощением, но не подписал его и не поставил на нем даты, а поручил Ульриху проставить дату своего смертного часа и подписаться с сестрой в качестве свидетелей, как то делают при устном завещании, когда у умирающего нет сил приложить руку. Он был, в сущности, хотя никогда не признался бы в том, тихий чудак, этот старичок, подчинявшийся мирской иерархии, усердно служивший ей и ее защищавший, но таивший а себе всякие мятежные побуждения, выразить которые он на избранном им поприще не мог. Ульрих невольно вспомнил полученную им телеграмму о смерти отца: она была, наверно, составлена в таком же умонастроении. Он увидел тут чуть ли даже не сходство с собой, но на этот раз не разозлился, а посочувствовал — хотя бы в том смысле, что при виде этой жажды самовыражения понял ненависть к сыну, облегчившему себе жизнь непростительными вольностями. Ведь подход сыновей к жизни всегда кажется отцам именно таким, и Ульрих испытал какое-то почтительное чувство, подумав, сколько еще нерешенного в нем самом. Но он не успел облечь это в подходящую, понятную и Агате форму, он только начал ее искать, когда полумрак одним махом внес в комнату человека. Тот прошагал, как бы бросая себя вперед, к освещенному свечами месту и там, в нескольких шагах от катафалка, поднес широким жестом руку к глазам, прежде чем поспешавший за ним слуга, которого он обогнал, доложил о его прибытии.

— Досточтимый друг! — воскликнул посетитель торжественным голосом, и теперь маленький старичок лежал со сжатыми челюстями перед своим врагом Швунгом. — Молодые друзья мои, над нами величие звездного неба, а в нас величие нравственного закона! — продолжал тот, бросая затуманенный взор на однокашника. — В этой охладевшей груди жило величие нравственного закона!

Лишь теперь он повернул свой корпус и пожал руки брату и сестре.

Но Ульрих воспользовался первой же возможностью разделаться с возложенной на него задачей.

— Господин надворный советник и мой отец были, к сожалению, последнее время противниками? — позондировал он почву.

Седобородому, казалось, надо было напярчь голову, чтобы это понять.

— Расхождения во мнениях, не стоящие и упоминания! — великодушно ответил он, проникновенно глядя на покойника. Но когда Ульрих, вежливо стоя на своем, дал понять, что речь идет о последней воле, атмосфера в комнате стала напряженной, как в кабаке, когда все знают: сейчас под столом вынули нож и в следующий миг начнется драка. Старик умудрился-таки, даже умирая, насолить своему коллеге Швунгу! Такая старая вражда давно уже была, конечно, не чувством, а привычкой мышления; если что-либо не оживляло эмоций враждебности, то их вообще не было, и совокупное содержание бесчисленных неприятных эпизодов в прошлом спрессовалось в форму такого презрения друг к другу, что оно не зависело от появления или исчезновения чувств, как не зависит от них объективная истина. Профессор Швунг ощущал это сейчас в точности так же, как ощущал это прежде его мертвый теперь противник; прощать казалось ему совершенно ребяческим излишеством, ибо какой-то там порыв терпимости перед самым концом, к тому же чистейшая эмоция, а не научный пересмотр взглядов, не имел никакой доказывающей силы на фоне многолетнего спора и должен был, как виделось это Швунгу, лишь самым бессовестным образом унизить его, когда он воспользуется победой. Совсем другое дело, конечно, потребность профессора Швунга попрощаться с умершим другом. Боже мой, ведь знакомы-то они со времен доцентуры, когда оба еще женаты не были!

Помнишь, как мы в Дворцовом саду чокались с вечерним солнцем и рассуждали о Гегеле? Сколько солнц зашло с тех пор, а мне особенно запомнилось то! А помнишь наш первый научный спор, который нас уже тогда чуть не сделал врагами? Как это было славно! И вот ты мертв, а я, к своей радости, еще на ногах, хотя и у твоего гроба! Таковы, как известно, чувства пожилых людей, когда умирают ровесники. На склоне лет прорывается поэзия. Многие, кто с семнадцати лет не писал стихов, вдруг возьмут да и сочинят стихотворение на семьдесят седьмом году, составляя завещание. Как на Страшном суде мертвых выкликают поодиночке — хотя на дне времени они лежат вместе со своими веками, как груз затонувшего корабля, точно так же и в завещании вещи выкликают по именам, и к ним возвращается их индивидуальность, которую они при употреблении утратили. «Бухарский, прожженный сигарой ковер из моего кабинета», — читаешь в таких последних рукописях, или: «Зонтик с ручкой из кости носорога, приобретенный мною в мае 1887 года у „Зонпеншейна и Винтера“; даже пакеты акций перечисляются по номерам и упоминаются каждый в отдельности.

И не случайно, что одновременно с этой последней вспышкой каждого

отдельного предмета пробуждается и потребность привязать к ней какую-то мораль, какой-то наказ, какое-то благословение, какой-то закон, которые какой-то энергичной формулой охватят все это неожиданное множество, еще раз всплывшее вокруг места ухода ко дну. Одновременно с поэзией поры завещания пробуждается поэтоу и философия, и на свет, понятное дело, вноуь извлекается обычно какау-нибуду старая и пыльная философия, забытая пятьдесят лет назад. Ульрих вдруг понял, что ни один из этих двух стариков не мог уступить. «Пусть жизнь выделяет что угодно, лишь бы принципы оставались неприкосновенны!» — это потребность очень естественная, если знаешь, что через небольшое число месяцев или лет твои принципы тебя переживут. И ясно было видно, как в старом надворном советнике все еще боролись два импульса: его романтичность, его молодость, его поэзия требовали широкого, красивого жеста и благородного слова; а его философия, напротив, требовала, чтобы он демонстрировал непреклонность закона разума перед внезапными порывами чувств и приступами душевной слабости, которыми как ловушкой пользовался его умерший враг. Уже два дня Швунг представлял себе: тот мертв, и никто больше не ставит палок в колеса швунговской концепции ограниченной вменяемости; широкими волнами устремились поэтоу его чувства к старому другу, и, как тщательно разработанный план мобилизации, который ждет только сигнала, чтобы быть выполненным, продумал он сцену прощания. Но окропивший ее уксус подействовал проясняюще. Швунг начал с великим волнением, но осекся, как если бы, сочиняя стихи, вдруг образумился и оказался не в силах придумать последние строчки. Так пребывали они друг перед другом, белая колючая борода и белая щетина на небритом лице, и тут и там непреклонно сжатые губы.

«Что же он сделает?» — спрашивал себя Ульрих, с интересом наблюдавший за этой сценой. Наконец радостная уверенность, что статья 318 Уголовного кодекса будет теперь исправлена согласно его предложениям, одержала в надворном советнике Швунге верх над досадой, и, освободившись от недобрых мыслей, он охотнее всего запел бы сейчас: «Был у меня товарищ...», чтобы выразить свое единственное уже доброе чувство. А поскольку запеть он не мог, он повернулся к Ульриху и сказал:

— Поверьте мне, молодой сын моего друга, сначала идет нравственный кризис, а за ним уже следует социальный упадок!

Затем он повернулся к Агате и продолжал:

— Величие вашего покойного отца состояло в том, что он всегда помогал идеализму утвердиться в основах правопорядка.

Затем схватил руку Агаты и руку Ульриха, пожал их и воскликнул:

— Маленьким разногласиям, неизбежным при долгой совместной работе, ваш отец придавал слишком большой вес. Я всегда был убежден, что он делал это в угоду своему обостренному чувству справедливости, не желая ни в чем себя упрекнуть. Множество ученых придет прощаться с ним завтра, но среди них не будет ни одного такого, как он!

Таким образом, сцена эта закончилась мирно, и, уходя, Швунг даже заверил Ульриха, что тот может рассчитывать на друзей отца, если все-таки решит избрать академическую карьеру.

Агата слушала с широко раскрытыми глазами, разглядывая жутковатую конечную форму, которую придает человеку жизнь.

— Это было как лес, где деревья из гипса! — сказала она брату позднее.

Ульрих, улыбнувшись, ответил:

— Я чувствую себя сентиментальным, как собака в лунную ночь!

5

Они поступают нехорошо

— Помнишь, — спросила через некоторое время Агата, — как однажды, когда я была еще маленькая, ты, играя с мальчиками, упал в воду по пояс? Ты хотел это скрыть и сел за стол, так что видна была только твоя сухая верхняя половина, но выдал себя, застучав зубами.

Когда Ульрих в детстве приезжал домой на каникулы — что, собственно, только в тот раз и произошло за долгое время — и когда этот маленький, сморщенный труп был для них чуть ли не всемогущей персоной, нередко случалось, что Ульрих не хотел признаваться в каком-нибудь проступке и показывать, что в нем раскаивается, хотя и не в силах был его отрицать. Так и в тот раз у него начался жар, и его быстро уложили в постель.

— И кормили тебя одним супом! — продолжала Агата.

— Помню! — подтвердил, улыбнувшись, брат. Воспоминание о том, что он был когда-то наказан, показалось ему в этот миг совершенно непричастным к нему: увидь он сейчас на полу свои детские башмачки, они тоже не имели бы уже к нему отношения.

— Из-за жара тебе и нельзя было ничего есть, кроме супа, — сказала Агата, — и все же так было ведено еще и в наказание!

— Верно! — подтвердил Ульрих еще раз. — Но ведено было не со зла,

а во исполнение так называемого долга.

Он не понимал, к чему клонила сестра. Сам он все еще видел детские башмачки. Не видел их; видел только, будто их видит. Так же ощущал и обиды, из которых давно вырос. Подумал: «В этой „непричастности“ как-то выражается то, что ни в какое время жизни ты не бываешь вполне собой!»

— Но тебе все равно нельзя было есть ничего, кроме супа!! — повторила Агата еще раз и прибавила: — Мне кажется, я всю свою жизнь боялась, что я единственный, может быть, человек, который не способен это понять!

Могут ли воспоминания двух людей, говорящих о прошлом, которое известно обоим, не только дополнить друг друга, но и срастись, причем еще до того, как слетят с языка? В эту минуту произошло нечто подобное! Одинаковый ход мыслей поразил, даже смутил обоих, как руки, высунувшиеся из-под плащей в местах, где их не ждали, и внезапно друг до друга дотронувшиеся. Каждый вдруг помнил о прошлом больше, чем то мнилось ему, и Ульрих снова ощутил лихорадочный свет, который некогда наползал с пола на стены так же, как расползалось по этой комнате, где они стояли сейчас, мерцанье свечей: затем вошел отец, перешел вброд лучевой конус настольной лампы и сел у его кровати. «Если твое сознание последствий твоего поступка было в значительной мере ослаблено, то он может предстать в более мягком свете, но тогда ты должен сначала признаться в этом себе!» Может быть, памяти его просто подвернулись слова из завещания или из писем о статье 318? Вообще-то он не отличался хорошей памятью на подробности и на точные тексты, поэтому было что-то из ряда вон выходящее в том, что ему вдруг вспомнились целые фразы, и это связалось со стоявшей перед ним сестрой, словно такая перемена в нем была вызвана ее близостью.

— «Если у тебя нашлась сила самовольно, независимо от какой-либо принуждающей тебя необходимости, совершить дурной поступок, то ты должен признать и свою виновность!» — продолжил он и сказал: — С тобой он, наверно, тоже так говорил!

— Может быть, не совсем так, — уточнила Агата. — В моем случае он допускал «смягчающие обстоятельства, обусловленные моими внутренними задатками». Он всегда ставил мне на вид, что хотеть — это значит думать, а не действовать по указке инстинкта.

— «В процессе развития ума и сознательности, — процитировал Ульрих, — размышляющая и выносящая решение воля должна подчинить себе желание или инстинкт!»

— Это правда? — спросила сестра.

— Почему ты спрашиваешь?
— Наверно, потому, что я глупая.
— Ты не глупая!
— Я всегда училась с трудом и ничего толком не понимала.
— Это не доказательство.
— Ну, тогда я, наверно, плохая, потому что того, что я понимаю, я не впускаю в себя.

Они стояли лицом к лицу, почти рядом, прислонившись к косякам двери, которая вела в соседнюю комнату и после ухода профессора Швунга осталась открытой; дневной свет и свет свечей играл на их лицах, а голоса их переплетались, как при церковном попеременном пении. Ульрих молитвенно пропевал свои фразы, а губы Агаты спокойно вторили. Старая попытка увещаниями, состоявшая в том, что в нежный, непонятливый детский ум вдавливался жестокий и чуждый ему порядок, доставляла им удовольствие, и они ею играли.

И вдруг, без какого-либо непосредственного к тому повода, Агата воскликнула:

— Ты только представь себе это распространенным на все, и получится Готлиб Хагауэр!

И она принялась передразнивать своего мужа, как школьница:

— «Разве ты не знаешь, что ламииум альбум — это белая яснотка?» «А как же иначе продвинемся мы вперед, если не пройдем с надежным руководителем того же трудного пути дедукции, который шаг за шагом, через тысячелетия труда и заблуждений, привел человечество к нынешнему уровню знаний?!» «Разве ты не понимаешь, дорогая Агата, что думать — это тоже нравственная обязанность? Сосредоточиваться значит постоянно преодолевать собственную лень». «А духовная дисциплина означает такую тренировку ума, благодаря которой человек все больше способен разумно, то есть безупречными силлогизмами, цепями заключений и замыканиями этих цепей, индукциями или выводами из фактов, вести вперед, постоянно сомневаясь и вопреки собственным догадкам, длинные ряды мыслей и подвергать полученный наконец вывод верификации до тех пор, пока все мысли не придут к полной гармонии!»

Ульриха поразил такой подвиг памяти. Агате доставляло, казалось, безмерное удовольствие произносить без запинки эти педантично-нудные фразы, которые она бог весть откуда взяла, — наверно, из какой-нибудь книги. Она утверждала, что Хагауэр так говорит.

Ульрих этому не поверил.

— Как могла ты запомнить такие длинные, тяжелые фразы на слух?

— Они застряли у меня в уме, — ответила Агата. — Такова уж я.

— Да знаешь ли ты вообще, — удивленно спросил Ульрих, — что такое вывод из знака или верификация?

— Понятия не имею! — со смехом призналась Агата. — Он тоже, наверно, это просто где-нибудь вычитал. Но так он говорит. А я, слушая его, выучила это наизусть, как попугай. Видимо, от злости, именно потому, что он так говорит. Ты устроен иначе, чем я: во мне застревает всякая всячина, потому что я не знаю, что с ней делать, — вот и вся моя хорошая память. У меня ужасающе хорошая память, потому что я глупая!

У нее был такой вид, словно тут заключена какая-то печальная истина, от которой нужно отделаться, чтобы озорничать дальше.

— Даже с теннисом у Хагауэра получается то же самое: «Когда я, обучаясь игре в теннис, в первый раз намеренно придаю своей ракетке определенное положение, чтобы направить мяч, полетом которого я был дотоле доволен, в определенную сторону, я вмещаюсь в ход событий, я экспериментирую!»

— Он хорошо играет в теннис?

— Я побиваю его со счетом шесть — ноль.

Они засмеялись.

— Знаешь ли ты, — сказал Ульрих, — что, говоря все, что ты приписываешь ему, Хагауэр по существу прав?! Только это смешно.

— Возможно, он и прав, — ответила Агата, — я ведь в этом не смыслю. Но как-то один мальчик из его школы дословно перевел из Шекспира: «Труссы часто умирают до своей смерти. Храбрые вкушают от смерти только один раз. Из всех чудес, о которых я слышал, самым поразительным кажется мне, что люди боятся, видя, что смерть, неизбежный конец, придет, когда она захочет прийти». И он исправил это, я сама видела тетрадь:

Десятки раз умрет до смерти трус, А храбрецы вкушают смерть однажды.

Из всех чудес, мне ведомых, одно Мне величайшим кажется...

И так далее, тютелька в тютельку по-шлегелевскому переводу!

И помню еще такое место. У Пиндара, кажется, сказано: «Закон природы, царь всех смертных и бессмертных, одобряя насилие, правит всемогущей рукой!» А он навел на это «последний лоск»: «Закон природы, царящий над всеми смертными и бессмертными, правит всемогущей рукой, одобряя даже насилие».

— А ведь это прекрасно, правда, — спросила она, — что малыш, которым он был недоволен, перевел так до жути дословно, как будто слова

лежали перед ним кучей рассыпавшихся камней? — И она повторила: — «Труссы часто умирают до своей смерти... Храбрые вкушают от смерти только один раз... Из всех чудес, о которых я слышал... самым поразительным кажется мне, что люди боятся... видя, что смерть, неизбежный конец... придет, когда она захочет прийти!»

Охватив пальцами косяк двери, словно ствол дерева, она выкрикивала эти топорные стихи с такой же прекрасной дикостью, какая была в них самих; ей не мешало, что под ее взором, горевшим гордостью молодости, лежало несчастное съежившееся тело.

Ульрих глядел на сестру нахмурившись. «Человек, который не прилизывает старые стихи, а оставляет их в разорении полувыветрившегося смысла, совершенно схож с тем, кто не станет приставлять к древней безносой статуе новый мраморный нос, — думал он. — Это можно назвать чувством стиля, но это не чувство стиля. И это вовсе не человек с настолько живым воображением, что отсутствие чего-то ему не мешает. Нет, это скорее человек, который вообще не придает значения цельности, а потому не требует и от своих чувств, чтобы они были „цельными“. Она, наверно, и когда целовала, — заключил он из этого в неожиданном повороте мысли, — не теряла голову окончательно!» Ему сейчас показалось, что достаточно было услышать это пламенное чтение сестры, чтобы узнать, что она никогда «не входит ни во что целиком», что она, как и он, человек «страстной нецельности». Он даже забыл за этим другую половину своего естества, взыскующую меры и самообладания. Он мог бы теперь с уверенностью сказать сестре, что ни один ее поступок не подходит к ее ближайшему окружению и что все ее поступки зависят от окружения самого широкого и очень сомнительного, нигде не начинающегося и ничем не ограниченного, и противоречивые впечатления первого вечера нашли бы тем самым благоприятное объяснение. Но сдержанность, к которой он привык, оказалась все же еще сильнее, и он стал с любопытством, даже не без сомнений, ждать, как спустится Агата с высокой ветки, на которую она забралась. Ведь она все еще стояла перед ним, прижимаясь поднятой рукой к косяку, и один лишний миг мог бы испортить всю сцену. Он терпеть не мог женщин, которые ведут себя так, словно их явил на свет божий художник или режиссер, или которые после такой, как сейчас у Агаты, взволнованности переходят на искусственное пиано. «Может быть, — размышлял он, — она вдруг соскользнет с вершины энтузиазма с помощью какой-нибудь нелепой, сомнамбулической реплики, с какой порой выходит из транса медиум; ничего другого, наверно, ей не останется, и это тоже будет довольно тягостно!» Но Агата,

казалось, и сама это знала или угадала по взгляду брата, какая подстерегает ее опасность: она весело прыгнула со своей высоты на обе ноги, показав Ульриху язык!

Но затем стала серьезна и молчалива и, не сказав больше ни слова, пошла за орденами. Так принялись они выполнять последнюю волю отца.

Выполнила ее Агата. Ульрих явно сробел прикоснуться к беспомощно лежавшему старику, но у Агаты была такая манера поступать нехорошо, которая не допускала и мысли, что она поступает нехорошо. Движения ее взгляда и ее рук походили при этом на движения ухаживающей за больным женщины, и еще была в них порой естественная трогательность молодых животных, которые вдруг перестают играть, чтобы удостовериться, что хозяин смотрит на них. Хозяин же брал у нее из рук снятые ордена и давал ей поддельные. Он напоминал себе вора, у которого душа уходит в пятки. И если ему казалось, что в руке сестры звезды и кресты сверкают ярче, чем в его собственной, превращаясь чуть ли не в магические предметы, то так оно могло и впрямь быть в этой черно-зеленой комнате с бликами свечей на крупных листьях растений, а может быть, дело было просто в том, что он чувствовал медляще-властную волю сестры, молодо овладевавшую его волей; и поскольку ничего умышленного тут не ощущалось, в эти мгновения ничем не отягощенного согласия снова возникло почти лишенное протяженности и потому аморфно сильное чувство их двуединства.

Агата остановилась, закончив работу. Оставалось сделать еще одну вещь, и, на миг задумавшись, она сказала с улыбкой:

— А что, если каждому написать на клочке бумаги что-нибудь хорошее и положить это ему в карман?

На сей раз Ульрих сразу понял, что она имеет в виду, ибо таких общих воспоминаний было немного, и он вспомнил, как в определенном возрасте они очень любили грустные стихи и печальные истории, где кто-нибудь умирал и был всеми забыт. Причиной тому была, наверно, заброшенность их детства, и часто они придумывали такие истории вместе; но Агата уже и тогда склонялась к осуществлению таких историй, а Ульрих главенствовал в более мужественных затеях, отличавшихся дерзостью и бессердечием. Поэтому принятое ими однажды решение — отрезать по ногтю и похоронить оба ногтя в саду — было идеей Агаты, и она еще прибавила к ногтям прядку своих светлых волос. Ульрих гордо заявил, что через сто лет кто-нибудь, возможно, найдет все это и удивленно спросит себя, чьи бы это могли быть останки, и руководило им тогда намерение пережить свой век; маленькой Агате, напротив, важнее был самый процесс закапывания, у нее

было такое чувство, что она прячет часть себя, надолго скрывая ее от бдительности мира, педагогические требования которого, хотя она и не уважала их, пугали ее. А поскольку как раз тогда на краю сада строился небольшой дом для слуг, они и сговорились сделать нечто необычное. Они хотели написать на двух листках замечательные стихи и подписаться под ними, чтобы замуровать эти бумажки в стену дома. Но когда они пытались сочинить стихи, которые были бы особенно прекрасны, у них ничего не получалось, а дни шли, и стены уже вырастали из котлована. Наконец в самый последний час Агата выписала какую-то фразу из учебника арифметики, а Ульрих написал «Я —» и затем свою фамилию. Однако у них страшно колотились сердца, когда они прокрались через сад к работавшим там двум каменщикам, и Агата просто бросила свой листок в котлован, где те стояли, и убежала. Ульрих же, который, как старший и как мужчина, боялся, конечно, еще больше, что каменщики задержат его и удивленно спросят, что ему нужно, от волнения вообще не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, и тогда Агата, осмелев оттого, что с ней ничего не случилось, вернулась и взяла также его листок. С невинным видом, словно прогуливаясь, она сделала несколько шагов, высмотрела кирпич в дальнем конце только что выложенного ряда и, приподняв его, всунула в стену имя Ульриха, прежде чем кто-либо успел прогнать ее, а сам Ульрих нерешительно шел за ней, и в тот миг, когда она всовывала бумажку, почувствовал, что страшная его скованность превратилась в колесо с острыми ножами, которые вращались в его груди с такой скоростью, что в следующий миг из них вышло искрометное солнце, как при фейерверке... На это-то и намекнула Агата, и Ульрих очень долго не отвечал и лишь отвергающе улыбался, считая, что повторять такую игру с мертвецом непозволительно.

Но Агата уже нагнулась, сняла с ноги широкую шелковую подвязку, какие носят в помощь корсету, подняла покрывало и сунула ее отцу в карман.

Ульрих? Он сперва глазам своим не поверил при виде этого вернувшегося в жизнь воспоминания. Потом он чуть не подскочил к ней и не помешал ей — просто потому, что это ни в какие ворота не лезло. Но потом он поймал в глазах сестры сиянье чистейшего росистого утра, еще не тронутого будничной мутой дня, и это удержало его.

— Что ты делаешь?! — сказал он, тихо одергивая ее. Он не знал, хочет ли она задобрить покойника, потому что с ним поступили нехорошо, или сделать ему какой-нибудь добрый подарок, потому что он сам столько раз нехорошо поступал. Он мог бы спросить, но от этой варварской мысли

снабдить ледяного мертвеца подвязкой, еще хранящей тепло ноги его дочери, у него, Ульриха, сжалось горло и учинился полный беспорядок в уме.

6

Почтенный старик наконец обретает покой

Недолгое время, еще остававшееся до похорон, было заполнено бесчисленными непривычными маленькими задачами и протекло быстро, и в конце концов из посетителей, чьи приходы пробегали через все часы черной нитью, в последние полчаса перед выносом тела получился какой-то черный праздник. Люди из похоронного бюро стучали и скребли еще больше, чем прежде, — с такой же важностью, как хирург, доверяя которому свою жизнь уже ни во что не вмешиваешься, — и проложили среди нетронутой обыденности остальных частей дома тропу торжественных чувств, ведущую от парадного через лестницу в комнату с гробом. Цветы и вечнозеленые растения, драпировки из черного сукна и крепа, серебряные канделябры и дрожащие золотые язычки свечей, принимавшие посетителей, знали свою задачу лучше, чем Ульрих и Агата, обязанные приветствовать от имени семьи каждого, кто приходил отдать последний долг покойному, но мало о ком знавшие, кто это, если старый слуга отца тихонько не обращал их внимание на особенно высокопоставленных гостей. И все, кто являлся, подплывали к ним, отплывали от них и в одиночку или маленькими группами бросали якорь где-нибудь в комнате, неподвижно наблюдая за сыном и дочерью, У обоих на лицах стыла маска строгого самообладания, когда наконец содержатель технического имущества или владелец похоронного предприятия (тот, что приходил к Ульриху со своими формулярами и за эти последние полчаса сбегал и взбегал по лестнице не меньше двадцати раз), — когда он наконец подскочил к Ульриху сбоку и с осторожно выставленной напоказ важностью, как на параде адъютант генералу, доложил ему, что все готово.

Процессия должна была сперва медленно проследовать пешком через город, а уж потом предстояло рассестись по экипажам, и Ульрих открывал шествие, шагая рядом с кайзеровским и королевским наместником, который в честь уснувшего последним сном члена Верхней палаты явился лично, а по другую сторону от Ульриха шествовал столь же высокий гость, руководитель делегации из трех человек, направленной на похороны Верхней палатой; позади следовали два остальных делегата, затем ректор и

сенат университета, и лишь за ними, но перед необозримым потоком цилиндров разных официальных лиц, важность которых медленно убывала по мере приближения к хвосту процессии, шагала в окружении черных женщин Агата, обозначая то место, какое надлежало занимать частной скорби среди административных вершин; ибо неорганизованное шествие «просто соболезнующих» начиналось лишь позади явившихся по долгу службы, и возможно даже, что оно состояло всего лишь из двух старых слуг, супружеской четы, одиноко шагавшей в хвосте. Процессия была, таким образом, преимущественно мужская, и рядом с Агатой шагал не Ульрих, а ее супруг, профессор Хагауэр, чье румяное лицо со щетинистой гусеницей над верхней губой успело стать ей чужим и сквозь густую, черную вуаль позволявшую ей наблюдать за ним скрытно, казалось синим. У самого Ульриха, который все предшествующие часы был рядом с сестрой, появилось вдруг такое ощущение, что этот старинный порядок похорон, идущий еще от времен основания университета, оторвал ее от него, и, не смея оглянуться в ее сторону, он остро чувствовал ее отсутствие; он придумывал шутку, которую скажет ей, когда они снова увидятся, но у мыслей его отнимал свободу наместник, молча и властно шагавший с ним рядом, но все же нет-нет да обращавшийся к нему с каким-нибудь тихим замечанием, на которое надо было ответить, да и вообще все эти их превосходительства, академичества и юридичества оказывали ему внимание, ибо он слыл тенью графа Лейнсдорфа и недоверие, постепенно распространившееся повсюду к его, графа, патриотической акции, придавало Ульриху вес.

На тротуарах и за окнами тоже скопились любопытные, и, зная, что через час, совсем как в спектакле, все кончится, он в этот день тем не менее ощущал все, что происходило, особенно живо, и всеобщее участие в его судьбе лежало у него на плечах, как тяжелая, отороченная мехом мантия. Впервые почувствовал он величавую осанку традиции. Трепет, прокатывавшийся волной впереди процессии по болтавшей, замиравшей и вновь оживлявшейся человеческой массе на тротуарах, церковная магия, предчувствие глухого стука комьев земли по дереву, дружное молчание шествия — все это пробирало до позвонков, перебирало их как струны первобытного музыкального инструмента, и Ульрих с удивлением чувствовал в себе неопикуемый резонанс, в вибрации которого выпрямлялось его тело, словно приподнятость окружающего действительно приподнимала его. И, оказавшись в этот день ближе к другим, он вдобавок представлял себе, как было бы все и вовсе иначе, если бы он сейчас, в соответствии с первоначальным смыслом этой

полумашинально перенятой современностью пышности, шествовал и правда как наследник какого-то большого могущества. Печаль исчезала при этой мысли, и смерть превращалась из страшного частного дела в переход, совершающийся общественно и торжественно; уже не зияла больше, ужасая глядящего на нее, та дыра, которую в первые дни после своего исчезновения оставляет человек, к чьему существованию привыкли, уже на смену умершему шагал преемник, толпа дышала единством с ним, праздник похорон был одновременно торжеством возмужания для того, кто принимал теперь меч и впервые один, без кого-либо впереди себя, шагал к своему собственному концу. «Я должен был, — подумал невольно Ульрих, — закрыть глаза отцу! Не ради него и не ради себя, а...» Он не сумел довести эту мысль до конца; но то, что ни он не любил своего отца, ни тот его, представилось ему в свете этого порядка вещей мелочной переоценкой личной важности, да и вообще перед лицом смерти личные мысли приобретали пресный привкус ничтожности, а все, что было в этой минуте значительного, исходило, казалось, от исполинского тела, образуемого следовавшим сквозь шпалеры людей шествием, даже если оно и было пронизано праздностью, любопытством и бездумной стадностью.

Музыка, однако, играла, был легкий, ясный, великолепный день, и чувства Ульриха колыхались, как балдахин, который несут над святыней во время крестного хода. Иногда Ульрих глядел в зеркальные стекла ехавшего перед ним катафалка и видел в них свою голову в шляпе и плечи, а время от времени он замечал на полу экипажа, рядом с украшенным гербом гробом, старые, не отскобленные как следует после прежних похорон чешуйки воска, и тогда ему становилось просто, без всяких мыслей, жаль отца, как жаль собаку, попавшую под колеса на улице. Взгляд его делался тогда влажным, и когда он направлял его сквозь черное свое окружение к толпившимся на тротуарах зрителям, те выглядели как пестрые, опрыснутые водой цветы, и думать, что все это видит сейчас он, Ульрих, а не тот, кто всегда жил здесь и к тому же любил торжественность гораздо больше, чем он, было так странно, что ему казалось просто невозможным, чтобы его отец не присутствовал при своем уходе из мира, который он в общем считал неплохим. Это трогало сердце, но при этом, от внимания Ульриха не ускользнуло, что агент или распорядитель похорон, который руководил этой католической процессией и вел ее на кладбище, был рослый, дюжий еврей лет тридцати: украшенный длинными светлыми усами, он нес в кармане какие-то документы, как нарочный, бегал вперед и назад, то поправлял сбрую лошади, то шептал что-нибудь музыкантам. Это каким-то образом напомнило Ульриху, что в последний день тело отца не

находилось дома и было доставлено туда перед самыми похоронами — согласно внушенной свободным исследовательским духом последней воле, отдавшей его в распоряжение науки, и можно было с уверенностью предположить, что после этого анатомического вмешательства почтенного старика зашьют лишь кое-как; за этими стеклами, стало быть, отражавшими облик Ульриха, катилась вперед, будучи средоточием всех этих великих, прекрасных, торжественных помыслов, какая-то небрежно зашитая штука. «Без орденов или с орденами?!» — озадаченно спросил себя Ульрих; он ведь уже забыл об этом и не знал, одели ли в анатомической отца снова, прежде чем в дом вернулся закрытый гроб. Да и насчет судьбы, постигшей подвязку Агаты, можно было только гадать; ее могли найти, и ему легко было представить себе шутки студентов по этому поводу. Все это было крайне неприятно, и от таких вторжений действительности чувства его снова распались на мелкие части, после того как на миг округлились и стали чуть ли не гладкой оболочкой живой мечты. Он ощущал только абсурдность, расплывчатость всего человеческого устройства и свою собственную. «Я теперь совсем один в мире... — думал он, — якорный канат оборвался... я поднимаюсь!» В это воспоминание о первом впечатлении, которое произвела на него весть о смерти отца, снова облеклось теперь его чувство, в то время как он шагал дальше между стенами зрителей.

7

Приходит письмо от Клариссы

Ульрих не оставил своего адреса никому из знакомых, но Кларисса узнала его от Вальтера, которому он был известен так же, как его собственное детство.

Она написала:

«Мой дорогой человечиска... мой трусишка, мой шка!

Знаешь, что такое шка? Я никак не могу докопаться до этого. Вальтер, наверно, никудышка. (Слог «шка» был везде жирно подчеркнут.) Думаешь, я пришла к тебе пьяная?! Я не могу опьянеть! (Мужчины пьянеют быстрее, чем я. Примечательно.) Но я не знаю, что говорила тебе; не могу вспомнить. Боюсь, ты вообразишь, что я говорила вещи, которых я не говорила. Я их не говорила.

Но это будет письмом — сейчас! Сначала: тебе известно, как открываются сны. Во сне ты иногда знаешь: здесь ты уже была. с этим человеком ты уже один раз говорила или... Ты как бы снова находишь свою память.

Я не во сне знаю, что все было не во сне.

(У меня есть друзья по снам.) Помнишь ли ты вообще, кто такой Моосбругер? Я должна кое-что рассказать тебе.

Его имя вдруг опять появилось.

Три музыкальных слога.

Но музыка — это обман. То есть когда она сама по себе. Музыка сама по себе — эстетство или что-то в этом роде. Но когда музыка соединяется с виденьем, тогда стены шатаются, и из могилы нынешнего встает жизнь грядущих. Я не только слышала эти три музыкальных слога, я и видела их. Они всплыли в памяти. Вдруг понимаешь: там, где они всплывают, есть еще что-то другое! Я ведь однажды написала твоему графу письмо о Моосбругере. Как можно забыть такое! Я теперь слышу-вижу мир, где вещи стоят на месте, а люди движутся совершенно так же, как это всегда с ними бывает, но звучаще-зримо. Я не могу ясно описать это, потому что из этого всплыли только три слога. Ты это понимаешь? Может быть, говорить об этом еще рано.

Я сказала Вальтеру: «Я хочу познакомиться с Моосбругером!»

Вальтер спросил: «А кто такой Моосбругер?»

Я ответила: «Друг Уло, убийца».

Мы читали газету; дело было утром, и Вальтеру пора уже было идти на службу. Помнишь, мы один раз втроем читали газету? (У тебя слабая память, ты, конечно, не помнишь!) Так вот, я развернула ту часть газеты, которую дал мне Вальтер — одна рука слева, другая справа. Вдруг я чувствую твердое дерево, я пригвождена к кресту. Я спрашиваю Вальтера: «Не было ли вчера в газете чего-то насчет железнодорожной катастрофы в Ческе-Будеевице?» «Да, — ответил он. — Почему ты спрашиваешь? Небольшая катастрофа, погиб один человек или два».

Через несколько мгновений я сказала: «Потому что в Америке тоже произошла катастрофа. Где находится Пенсильвания?»

Он этого не знает. «В Америке», — говорит он.

Я говорю: «Машинисты никогда не сталкивают паровозы

нарочно!»

Он смотрит на меня. Было ясно, что он меня не понимает.

«Конечно нет», — говорит он.

Я спрашиваю, когда к нам придет Зигмунд. Он точно не знает.

Ну, так вот: конечно, машинисты никогда не сталкивают поезда нарочно, со злым умыслом; но почему же они это делают? Я скажу тебе: в огромной сети рельсов, стрелок и сигналов, охватывающей весь земной шар, мы все теряем силу совести. Ведь если бы у нас нашлась сила еще раз проверить себя и еще раз взглянуть на нашу задачу, мы бы всегда делали все необходимое и избегали несчастья. Несчастье — это наша остановка на предпоследнем шагу!

Конечно, нельзя ожидать, что Вальтер сразу это поймет. Я думаю, что могу достичь этой огромной силы совести, и мне пришлось закрыть глаза, чтобы Вальтер не заметил в них молнии.

По всем этим причинам я считаю своим долгом познакомиться с Моосбругером.

Ты знаешь, мой брат Зигмунд — врач. Он мне поможет.

Я ждала его.

В воскресенье он к нам пришел.

Когда его кому-нибудь представляют, он говорит: «Но я ни ... ни музыкален». Это он так острит: поскольку его зовут Зигмунд, он не хочет, чтобы его принимали за еврея или за человека музыкального. Он зачат в вагнерианском восторге. Добиться разумного ответа от него невозможно. Сколько я его ни убеждала, он мычал только какой-то вздор. Он швырнул камень в птицу и ковырял палкой снег. И хотел расчистить лопатой дорожку; он часто приходит к нам работать, как он говорит, потому что не любит быть дома с женой и детьми. Удивительно, что ты никогда не встречал его. «У вас есть fleurs du mal^[1] и огород!» — говорит он, Я трепала его за уши и толкала в бок, но это не помогало.

Потом мы пошли в дом к Вальтеру, который, конечно, сидел за пианино, и Зигмунд сунул пиджак под мышку и поднял совершенно грязные руки.

«Зигмунд, — сказала я ему при Вальтере, — когда ты понимаешь музыкальную пьесу?»

Он ухмыльнулся и ответил: «Да никогда».

«Когда ты сам внутренне проигрываешь ее, — сказала я. —

Когда ты понимаешь человека? Ты должен его проиграть». Проиграть! Это великий секрет, Ульрих! Ты должен быть как он — но не чтобы ты вошел в него, а чтобы он вошел в тебя. Мы спасаем, выводя наружу. Вот что такое сильная форма! Мы принимаем участие в поступках людей, но мы наполняем их и поднимаемся за их пределы.

Прости, что я столько об этом пишу. Но поезда сталкиваются, потому что совесть не делает последнего шага. Миры не всплывают, если их не вытаскивать. Подробней об этом в другой раз. Гениальный человек обязан нападать! У него есть жуткая сила для этого! Но Зигмунд, трусишка, посмотрел на часы и напомнил об ужине, потому что ему пора было домой. Зигмунд, знаешь, всегда держится посередине между чванством опытного врача, который не очень высокого мнения о возможностях медицины, и чванством современного человека, который вышел за пределы интеллектуальной традиции и вернулся опять к гигиене опрощения и работы в саду. Но Вальтер закричал: «Господи, зачем вы мелете такую чепуху?! Дался же вам этот Моосбругер!» И это помогло.

Потому что теперь Зигмунд сказал: «Он либо душевнобольной, либо преступник, это верно. Но что делать, если Кларисса воображает, что она может исправить его? Я врач, я не могу не позволить больничному священнику воображать то же самое! „Спасти“ — говорит она? Ну, так почему бы ей хотя бы не увидеть его?!»

Он вычистил щеткой штаны, принял спокойный вид и вымыл руки; за ужином мы потом обо всем договорились.

Мы уже побывали у доктора Фриденталя; это виновник, которого он знает. Зигмунд сказал напрямик, что берет на себя ответственность за то, чтобы меня пропустили под каким-нибудь выдуманым предлогом: я, сказал он, писательница и хочу взглянуть на Моосбругера.

Но это была ошибка, на такой откровенный вопрос тот мог ответить только отказом. «Будь вы Сельмой Лагерлеф, я был бы в восторге от вашего визита, хотя я, разумеется, в восторге и так, но здесь признают, к сожалению, только научные интересы!»

Славно было сойти за писательницу. Я твердо посмотрела на него и сказала: «В данном случае я больше, чем сама Лагерлеф, потому что мне это нужно не для какого-то там изучения!»

Он поглядел на меня и сказал: «Единственное, что могу посоветовать, это обратиться к шефу клиники с рекомендацией от вашего посольства». Он принял меня за иностранную писательницу и не понял, что я сестра Зигмунда.

В конце концов мы сошлись на том, что я увижу не Моосбругера — больного, а заключенного Моосбругера. Зигмунд добудет мне рекомендацию какого-то благотворительного общества и разрешение окружного суда. Потом Зигмунд сказал мне, что доктор Фриденталь считает психиатрию полуискусством-полунаукой, и назвал его директором дьявольского цирка. Но мне это понравилось.

Самое приятное, что клиника расположена в старом монастыре. Нам пришлось ждать в коридоре, а лекционный зал — в часовне. Там большие церковные окна, и я заглянула туда через двор. Больные одеты в белое и сидят рядом с профессором, у кафедры. И профессор вполне дружелюбно склоняется над их креслами. Я подумала: сейчас, может быть, приведут Моосбругера. У меня было такое чувство, что тогда я влечу в зал через высокое стеклянное окно. Ты скажешь — летать я не могу, значит — впрыгнула бы через окно? Но прыгать я бы наверняка не стала, потому что этого я не чувствовала.

Надеюсь, ты скоро вернешься. Никогда не выразить всего. Особенно в письме».

Под этим, жирно подчеркнутая, стояла подпись: «Кларисса».

8

Семья вдвоем

Ульрих говорит:

— Когда двум мужчинам или двум женщинам приходится более или менее долгое время делить одно помещение, — в поездке, в спальном вагоне или в переполненной гостинице, — они нередко удивительно сдружаются. У каждого своя манера полоскать рот, наклоняться, снимая обувь, или сгибать ногу, улегшись в постель. Белье и верхнее платье в целом одинаковы, но в мелочах тут есть бесчисленное множество различий, которые теперь и открываются глазу. Вначале — вероятно, из-за крайнего индивидуализма нынешнего образа жизни — возникает некое

сопротивление, сходное с легким отвращением и обороняющееся от чрезмерной близости, от посягательств на собственную личность, но когда оно преодолено, образуется общность, происхождение которой так же необычно, как происхождение шрама. Многие становятся после этой перемены веселей, чем обычно; большинство — простодушнее; многие разговорчивее, почти все приветливей. Личность изменилась, чуть ли даже не сменилась под кожей другой менее самобытной: на место прежнего «я» пришел первый, явственно ощущаемый как некое неудобство и некий ущерб, но неодолимый росток нового «мы».

Агата отвечает:

— Это отвращение при тесном контакте особенно часто возникает между женщинами. Я никогда не могла привыкнуть к женщинам.

— Оно случается и между мужчиной и женщиной, — полагает Ульрих. — Просто там оно перекрывается амурными обязательствами, которые сразу завладевают вниманием. Но отнюдь не редко спутавшиеся вдруг пробуждаются и видят, — с удивлением, иронией или желанием убежать, кто как, все зависит от нрава, что рядом разлеглось совершенно чужое существо; а со многими это бывает и после многих лет. Тогда они не в состоянии сказать, что естественнее — их союз с другими или оскорбленное отскакивание их «я», стремящегося уйти от этого союза в химеру своей исключительности, — ведь и то и другое заключено в нашей природе. И в Понятии семьи запутано и то и другое! Жизнь в семье — это неполная жизнь; молодые люди чувствуют себя обобранными, ущемленными, лишенными права быть самими собой, когда они находятся в кругу семьи. Посмотри на старых, незамужних дочерей: семья высосала у них всю кровь; из них вышли странные помеси «я» с «мы».

Письмо Клариссы Ульрих воспринял как помеху. Заскоки и завихрения в нем беспокоят его гораздо меньше, чем спокойная и почти разумная с виду работа, которую она проделывает глубоко внутри себя ради явно сумасшедшего плана. Он сказал себе, что по возвращении потолкует, пожалуй, об этом с Вальтером, и с тех пор намеренно говорит о другом.

Агата вытянулась на диване, одно ее колено приподнято, она оживленно отвечает ему.

— Тем, что ты говоришь, ты ведь сам объясняешь, почему мне пришлось опять выйти замуж! — сказала, она.

— И все-таки в этом «священном чувстве семьи» что-то есть, в этом растворении друг в друге, служении друг другу, в этом самоотверженном движении в замкнутом кругу, — продолжает Ульрих, не обращая внимания на сказанное сестрой, и Агата удивляется тому, что его слова так часто

удаляются от нее снова, когда они уже были совсем близко.

— Обычно это коллективное «я» — всего лишь коллективный эгоист, и тогда сильное чувство семьи — самая невыносимая вещь, какую только можно вообразить, но я могу представить себе эту непереносимую взаимовыручку, эту обязанность вместе бороться и вместе страдать от ран и как архиприятное, исконно человеческое, даже уже и в стаде животных развитое чувство, — слышит она его слова; но они мало что говорят ей. Мало что говорит ей и следующая фраза: — То-то и оно, что это состояние легко вырождается, как все древние состояния, происхождение которых уже нельзя установить. — И лишь когда он заключает словами: — И надо, наверное, каждому в отдельности быть уже чем-то особенно порядочным, чтобы целое, которое образуют отдельные лица, не стало бессмысленной карикатурой! — она снова чувствует себя близ него покойно и, глядя на него, боится мигнуть, чтобы он вдруг не исчез, когда она закроет глаза: ведь это так замечательно, что вот он сидит и говорит вещи, которые теряются в вышине и вдруг снова падают, как застрявший в ветвях резиновый мячик.

Брат и сестра встретились перед вечером в гостиной, после похорон прошло уже несколько дней.

Этот продолговатый салон был меблирован не только во вкусе, но и подлинной утварью бюргерского ампира; между окнами висели высокие прямоугольники зеркал в гладких золотых рамах, а степенно окостенелые стулья стояли у самых стен, отчего казалось, что пустой пол затопил комнату темным блеском своих квадратов и наполнил мелкий бассейн, в который не сразу решишься ступить ногой. На краю этой строгой неуютности салона, — ибо кабинет, где Ульрих расположился в первое утро, так и остался за ним, приблизительно там, где в угловой нише суровой колонной стояла печь с вазой на оголовке (и единственным подсвечником точно на осевой линии, на выступе, который обегал печь на высоте бедер), устроила себе весьма персональный полуостров Агата. Она велела поставить там оттоманку, а рядом постелила ковер, чьи старые красно-синие краски вместе с турецким узором дивана, повторявшимся бессмысленно-бесконечно, были сластолюбивым вызовом нежной серости и спокойной неуловимости очертаний, прижившимся в этой комнате по воле предков. Еще оскорбляла она эту дисциплинированную и благородную волю каким-то зеленым, крупнолистным растением высотой с человека, которое она сохранила от траурного убранства дома и вместе с кадкой поставила в головах в виде «сени», — напротив большого светлого торшера для удобного чтения лежа, каковой на фоне классического

ландшафта комнаты производил впечатление прожектора или антенны. Этот салон с клетчато-лепным: потолком, пилястрами и шкафчиками-горками мало изменился за сто лет, потому что им редко пользовались и он никогда по-настоящему не бывал вовлечен в жизнь позднейших хозяев; возможно, во времена предков стены были обтянуты нежными тканями, а не окрашены, как теперь, светлой краской, и обивка стульев была, возможно, другая, но таким, как он выглядел сейчас, Агата помнила этот салон с детства и даже не знала, обставили ли его так ее прадеды или чужие люди, ибо она выросла в этом доме и единственная памятная ей особенность этой комнаты состояла в том, что она всегда входила в нее с той робостью, какую прививают детям перед чем-то, что они легко могут сломать или испачкать. Но теперь она сбросила последний символ прошлого, траур, опять надела свою пижаму, улеглась на мятежно вторгшийся сюда диван и уже с утра стала читать книги, которые нахватала, хорошие и плохие, время от времени прерывая это занятие, чтобы поесть или поспать; и когда проведенный так день подошел к концу, она взглянула через темнеющую комнату на светлые занавески, которые, уже совсем окунувшись в сумерки, надувались на окнах, как паруса, и почувствовала себя так, словно она путешествовала в твердом венке лучей лампы по этой окостенело-нежной комнате и вот вдруг остановилась. В этот миг ее и застал брат, с одного взгляда оценивший ее освещенный уголок; ибо он тоже знал этот салон и мог даже рассказать ей, что первоначальным владельцем дома был, говорят, один богатый купец, которому потом пришлось туго, благодаря чему их прадед, кайзеровский нотариус, и приобрел этот красивый особняк по сходной цене. Да и вообще Ульрих многое знал об этом салоне, который успел хорошенько рассмотреть, и особенное впечатление на его сестру произвело замечание, что во времена их прадедов такое окостенелое убранство считалось как раз наиболее естественным; ей было нелегко это уразуметь, ибо оно казалось ей каким-то исчадием урока геометрии, и понадобилось некоторое время, чтобы Агате стал понятен вкус эпохи, пресытившейся назойливыми формами барокко настолько, чтобы не видеть своей собственной симметричной оцепенелости и тешиться прекраснодушной иллюзией верности духу чистой, незатейливой и как бы рационалистичной природы. Но когда Агата наконец представила себе эту перемену понятий во всех деталях, которые Ульрих тоже привел, ей показалось славным знать много, хотя до сих пор весь опыт ее жизни внушал ей презрение к этому; и когда брат пожелал узнать, что она читает, она быстро прикрыла телом свой запас книг, смело заявив, впрочем, что плохое и хорошее читает с одинаковым

удовольствием.

Ульрих утром работал, а потом выходил из дому. Его надежда сосредоточиться не сбылась до сегодняшнего дня, и благотворное действие, какого следовало ждать от этого нарушения привычного хода жизни, новая ситуация своими отвлекающими следствиями свела на нет. Лишь после похорон тут произошла перемена, когда отношения с внешним миром, такие поначалу кипучие, вдруг прекратились. Брат и сестра, которые в течение нескольких дней только ведь как дети своего отца были центром всеобщего участия и чувствовали разнообразные связи, обусловленные их положением, не знали в этом городе никого, кого бы они могли навестить, кроме старого отца Вальтера, а их никто не приглашал к себе ввиду траура, и лишь профессор Швунг не только присутствовал на похоронах, но и явился на следующий день, чтобы осведомиться, не оставил ли его покойный друг какой-нибудь подлежащей посмертному опубликованию рукописи, посвященной вопросу об ограниченной вменяемости. Этот резкий переход от волнения, непрестанно пускавшего пузыри, к последовавшей за ним свинцовой тишине был почти как физический удар. Вдобавок они все еще спали в прежних своих детских, ибо комнат для гостей в доме не было, наверху, в мансарде, на складных кроватях, окруженные скудной утварью детства, чем-то напоминающей голость палаты для буйнопомешанных и вторгающейся в сны позорным блеском клеенки на столах или линолеумом на полу, в пустыню которого ящик с кубиками извергал некогда навязчивые идеи своей архитектуры. Ввиду этих воспоминаний, таких же бессмысленных и бесконечных, как жизнь, к которой они должны были подготовиться, брату и сестре показалось приятным, что их спальни, разделенные только кладовкой, находились по крайней мере рядом; и поскольку ванная была этажом ниже, они общались, встречаясь с самого утра в пустоте лестниц и дома, считаясь друг с другом и вместе отвечая на вопросы, которые задавало им чужое хозяйство, оказавшееся вдруг на их попечении. Конечно, они чувствовали и комизм, неотъемлемый от столь тесного и столь непредвиденного сосуществования: он походил на фантастический комизм кораблекрушения, вернувшего их на пустынный остров их детства, и все это привело к тому, что сразу же после первых дней, ход которых от них не зависел, они стали стремиться к самостоятельности, но каждый из них стремился к ней больше ради другого, чем ради себя.

Поэтому Ульрих встал раньше, чем Агата устроила себе полуостров в салоне, и тихо прокрался в кабинет, где принялся за свое прерванное математическое исследование, больше, впрочем, чтобы убить время, чем в

надежде на удачу. Но, к немалому своему удивлению, он за несколько утренних часов довел до конца все, к чему не притрагивался месяцами, — кроме каких-то мелочей. Добиться этого неожиданного решения задачи ему помогло одно из тех озарений, сказать о которых, что они приходят лишь тогда, когда их не ждешь, можно с меньшим правом, чем сравнить их с любимой, которая давно уже была среди других твоих приятельниц, прежде чем ты вдруг перестал понимать, как можно было приравнять ее к другим. В таких наитиях участвует не только ум, но всегда и какая-то доля страсти, и у Ульриха было такое чувство, будто он в этот миг с чем-то разделался и освободился, а поскольку никакой видимой причины и цели для того не было, ему показалось даже, что он разделался преждевременно, и оставшаяся энергия устремилась в мечтания. Он увидел возможность применить мысль, решившую его задачу, к гораздо более широким проблемам, шутя набросал первый эскиз такой теории и почувствовал даже в эти минуты счастливой разрядки соблазн послушаться профессора Швунга, вернуться к своей профессии и поискать путь, ведущий к почету и авторитету. Но когда он после нескольких минут этой умственной убаженности трезво представил себе, к чему это приведет, если он поддастся своему честолюбию и теперь с опозданием свернет на академическую дорогу, он впервые почувствовал себя слишком старым, чтобы что-либо предпринимать, а со времен детства он никогда не воспринимал это полубезличное понятие «годы» как нечто имеющее самостоятельное содержание и никогда до сих пор не знал мысли: тебе уже не сделать чего-то!

Рассказывая это потом сестре перед вечером, он случайно употребил слово «судьба», которое вызвало у нее интерес. Она спросила, что такое «судьба».

— Нечто среднее между «моя зубная боль» и «дочери короля Лира»! — ответил Ульрих. — Я не из тех, кто любит это слово.

— Но молодые люди не могут выкинуть его из песни жизни; они хотят, чтобы у них была судьба, и не знают, что это такое.

Ульрих возразил ей:

— Позднее, в более осведомленные времена, слово «судьба», вероятно, приобретет статистическое значение.

Агате было двадцать семь. Она была достаточно молода, чтобы еще сохранять кое-какие пустые формы восприятия, которые образуются в человеке прежде всего; достаточно немолода, чтобы уже догадываться о другом содержании, которым наполняет их жизнь. Она ответила: «Старение — это уже само по себе, наверно, судьба!» — и была очень недовольна

этим ответом, в котором ее молодая грусть выразилась, ей показалось, как-то пустопорожне.

Но брат пропустил это мимо ушей и привел пример.

— Когда я занялся математикой, — сказал он, — я хотел добиться успеха в своей науке и стремился к нему изо всех сил, хотя и считал это лишь ступенькой к чему-то другому. И первые мои работы действительно — в несовершенном виде, конечно, как то всегда бывает вначале, — содержали идеи, которые тогда были новы и либо остались незамеченными, либо даже встретили сопротивление, хотя все остальное принималось благосклонно. Так вот, можно, пожалуй, назвать судьбой то, что мне вскоре надоело всаживать в этот клин всю свою силу.

— Клин? — прервала его Агата, словно в самом звучании этого мужественно-производственного слова таилось что-то неприятное. — Почему ты называешь это клином?

— Потому что только это я сначала и хотел сделать: я хотел вогнать свой труд, как клин, но потом потерял терпение. А сегодня, когда я закончил свою последнюю, может быть, работу, еще восходящую к тем временам, мне стало ясно, что я, вероятно, не без основания мог бы считать себя главой новой школы, если бы мне тогда чуть больше повезло или если бы я проявил чуть больше упорства.

— Ты мог бы еще все наверстать! — сказала Агата. — Мужчина ведь не так быстро становится слишком старыми для чего-то, как женщина.

— Нет, — ответил Ульрих, — я не хочу наверстывать! Как оно ни удивительно, но практически — в ходе вещей, в развитии самой науки — от этого ничего не изменилось бы. Возможно, что я опередил свое время лет на десять. Но чуть медленнее и другими путями другие люди и без меня пришли к тому, к чему я привел бы их разве что чуть раньше, а вот достаточно ли было бы такого изменения моей жизни, чтобы продвинуть меня тем временем дальше той цели, — это еще вопрос. Вот тебе образчик того, что называют личной судьбой, но сводится она к чему-то поразительно безличному.

— Вообще, — продолжал он, — чем старше я становлюсь, тем чаще случается, что то, что я ненавижу, идет все-таки позднее и обходными путями в том же направлении, что и мой собственный путь, и настает, следовательно, момент, когда я уже не могу отказывать этому в праве на существование. Или случается, что порочность обнаруживается в идеях или процессах, за которые я ратовал. Значит, по большому счету, совершенно, видимо, безразлично, волновался ли ты и в каком смысле ты волновался. Все приходит к одной и той же цели, и все служит развитию,

которое необъяснимо и непогрешимо.

— Раньше это приписывали неисповедимой воле божьей, — ответила Агата, нахмурившись, тоном человека, который говорит о том, что испытал сам, и говорит отнюдь не почтительно.

Ульрих вспомнил, что она воспитывалась в монастыре. Он сидел в изножье дивана, где она лежала в своих длинных, завязанных у лодыжек штанах, и торшер освещал обоих, образуя на полу большой лист света, на котором они плыли в темноте.

— В наши дни судьба производит скорее впечатление самоуправляющегося движения какой-то массы, — сказал он. — Ты находишься внутри нее, и она катит тебя с собой.

Он вспомнил, что однажды у него уже возникала мысль, что сегодня любая правда является на свет разделенной на свои полуправды, и все-таки этим ненадежным и скользким путем достигается в итоге большее, чем если бы каждый строго и одиноко стремился выполнить свой долг целиком. Эту мысль, застрявшую в нем занозой на самолюбии и все же не исключавшую возможность величия, он даже выдвинул уже как-то с фривольным выводом, что, стало быть, можно делать все, что угодно! В действительности он был как нельзя более далек от этого вывода, и именно теперь, когда его судьба, казалось, дала ему отставку, не оставив ему больше никакого дела, в этот опасный для его самолюбия миг, когда он, благодаря какому-то странному толчку закончил и то последнее, что связывало его с прежними его временами, эту запоздалую работу, именно в этот миг, стало быть, когда он лично остался ни с чем, он вместо расслабленности чувствовал ту новую напряженность, которая возникла с момента его отъезда. Она не поддавалась определению; пока можно было сказать, что молодая, родная ему женщина ждет от него совета, или с таким же правом сказать что-нибудь другое. Но он поразительно отчетливо видел сверкающую подстилку из светлого золота на черно-зеленом фоне комнаты, а на золоте — ромбики шутовского костюма Агаты, и себя самого, и сверхрезко очерченный, выхваченный из темноты случай их встречи.

— Как ты сказал? — спросила Агата.

— То, что сегодня еще называют личной судьбой, вытесняется коллективными и в конце концов поддающимися статистическому учету процессами, — повторил Ульрих.

Агата подумала, потом рассмеялась.

— Я, конечно, этого не понимаю, но разве это не было бы чудесно — раствориться в статистике? Ведь раствориться в любви давно уже не удается! — сказала она.

И это подбило Ульриха вдруг рассказать сестре, что было с ним после окончания работы, когда он пошел из дому в центр города, чтобы чем-то заполнить оставшуюся ему неприкаянность. Он не собирался говорить на эту тему, потому что она казалась ему слишком личной. Каждый раз, когда его поездки приводили его в города, с которыми он не был связан никаким делом, он очень любил возникавшее отсюда особое чувство одиночества, и редко бывало оно таким сильным, как на сей раз. Он видел краски трамваев, экипажей, витрин, ворот, формы церковных башен, лица и фасады, и хотя в них заметно было общеевропейское сходство, взгляд пролетал мимо них, как насекомое, которое заблудилось над полем с манящими, но незнакомыми красками и не может сесть, хоть и радо бы. Это хождение без цели и ясной задачи в деятельно занятом самим собой городе, эта повышенная напряженность восприятия при повышенной чуждости, еще усиливаемой убеждением, что важен не кто-то один, а важны только эти суммы лиц, эти оторванные от тел, собранные в армии рук, ног или зубов движения, которым принадлежит будущее, способны вызвать чувство, что если ты еще целостен и бродишь сам по себе, то ты уже чуть ли не асоциален и чуть ли не преступник; но если поддаться этому чувству еще больше, то может возникнуть такая глупая физическая приятность и безответственность, словно тело принадлежит уже не миру, где чувственное «я» заключено в нитях сосудов и нервов, а миру, полному сонной сладости. Этими словами описал Ульрих сестре то, что было, наверно, следствием состояния, когда нет ни цели, ни честолюбия. или следствием ослабленного ощущения собственной личности, а возможно, не чем иным как «первоначальным мифом богов», тем «двойным ликом природы», тем «дающим» и «берущим видением», за которыми он прямо-таки охотился. Он с любопытством подождал, подаст ли Агата какой-нибудь знак согласия или покажет, что и ей знакомы такие ощущения, и когда этого не произошло, объяснил еще раз:

— Это как легкое расщепление сознания. Чувствуешь себя объатым, охваченным и насквозь пропитанным сладостно-безвольной несамостоятельностью. Но, с другой стороны, остаешься бодр, сохраняешь взыскательность вкуса и даже готов вступить в спор с этими вещами и людьми, полными косной самоуверенности. В нас есть как бы два относительно самостоятельных пласта жизни, которые обычно уравниваются где-то в глубине. А поскольку мы говорили о судьбе, то есть как бы и две судьбы: подвижно-несущественная, которая вершится, и неподвижно-существенная, которой так и не узнаешь.

Тут Агата, долгое время слушавшая и не шевелившаяся, внезапно

сказала:

— Это как целовать Хагауэра!

Она оперлась на локти и засмеялась; ноги ее все еще были вытянуты во всю длину на диване. И прибавила:

— Конечно, это не было так прекрасно, как в твоём описании!

И Ульрих тоже засмеялся. Было не совсем ясно, почему они смеялись. Как-то вдруг напал на них этот смех, навеянный то ли воздухом, то ли домом, то ли следами удивления и неловкости, которые оставили в них торжественные события последних дней, все коснувшиеся того света, то ли необыкновенным удовольствием, которое они нашли в этой беседе; ведь всякий предельно разработанный человеческий обычай уже несет в себе зародыш перемены, и всякое волнение, выходящее за рамки обычного, подергивается вскоре пеленой грусти, нелепости и пресыщенности.

Так и таким окольным путем пришли они наконец, словно бы для отдыха, к более простому разговору о «я», «мы» и «семье» и к полунасмешливому-полуудивительному открытию, что они вдвоем составляют семью. И в то время, как Ульрих говорит о тяге к общности, — опять уже с запальчивостью человека, причиняющего себе направленную против его природы боль; только он не знает, направлена ли она против его истинной или против его напускной природы, — Агата слышит, как приближаются к ней и снова удаляются от нее его слова, а он замечает, что долгое время искал в ней, которая так беззащитна сейчас перед ним при этом ярком свете и в этой прихотливой одежде, чего-то такого, что могло бы его оттолкнуть, искал, как то, увы, стало его привычкой, но ничего не нашел, и он благодарен за это, благодарен с простой и чистой приязнью, какой никогда не испытывал. И он в восторге от их беседы. Но когда она кончается, Агата непринужденно спрашивает:

— А ты, собственно, за то, что ты называешь семьей, или против этого?

Ульрих отвечает, что это совершенно неважно, ведь говорил-то он о нерешительности мира, а не о своей личной нерешительности.

Агата размышляет об этом.

Но наконец она вдруг произносит:

— Нет, судить об этом я не могу! Но мне хотелось бы оказаться в полном ладу и единстве с собой и... ну, жить как-то так! А тебе разве не хочется сделать такую попытку?

Агата, когда она не может говорить с Ульрихом

В тот миг, когда Агата села в поезд и отправилась в неожиданную поездку к отцу, произошло нечто очень похожее на внезапный разлом, и обе части, на которые раскалывается момент отъезда, разлетелись в разные стороны так далеко, словно они никогда не были чем-то единым. Муж провожал Агату, он снял шляпу и держал ее, эту твердую, круглую, черную, заметно уменьшавшуюся шляпу, как полагается при прощании, поднятой перед собой наискось, когда Агата отъезжала, и ей казалось, будто крытый перрон катится назад с такой же скоростью, как поезд вперед. В этот миг, хотя она еще только что предполагала пробыть в отъезде не дольше, чем то будет необходимо по обстоятельствам, она решила больше не возвращаться, и ум ее стал беспокоен, как сердце, вдруг видящее, что оно ушло от опасности, о которой и ведать не ведало.

Когда Агата размышляла об этом впоследствии, она отнюдь не испытывала полного удовлетворения. Ей не нравилось в ее поведении то, что своей формой оно напоминало странную болезнь, которой она болела в детстве, вскоре после того, как начала ходить в школу. Больше года страдала она тогда от довольно высокой температуры, не подсакивавшей и не падавшей, и отощала до худобы, вызывавшей тревогу у врачей, которые не могли найти никакой причины тому. Заболевание это и позже так и не распознали. Агате явно доставляло тогда удовольствие наблюдать, как великие врачи из университета, входившие в первый раз в ее комнату с важным и мудрым видом, теряли какую-то долю своей уверенности от недели к неделе; и хотя она послушно принимала все прописанные ей лекарства и даже в самом деле рада была бы выздороветь, потому что этого от нее требовали, она все-таки радовалась, что врачи ничего не могут поделать, и чувствовала, что находится в каком-то неземном или по меньшей мере необычайном состоянии, в то время как от нее оставалось все меньше и меньше. Она гордилась тем, что порядок, установленный взрослыми, утрачивал власть над ней, пока она была больна, и не знала, как удастся ее маленькому телу добиться этого. Но в конце концов оно выздоровело добровольно и как бы столь же необыкновенным образом.

Теперь она почти ничего не помнила об этом, кроме того, что позднее рассказали ей слуги, а они утверждали, что тогда на нее навела порчу одна часто заходявшая в дом нищенка, которую однажды грубо прогнали с порога; и Агата так и не выяснила, сколько в этой истории правды, ибо домочадцы хоть и не скупилась на всяческие намеки, но никогда не давали

никаких объяснений, явно страшась какого-то строгого запрета, наложенного, как видно, отцом Агаты. От той поры в памяти ее сохранилась одна-единственная, яркая, впрочем, картина — как отец в пылу гнева набросился на какую-то подозрительного вида особу и отхлестал ее по щекам; только один раз в жизни видела она тогда этого маленького, рассудительного и обычно мучительно справедливого человека таким непохожим на себя в таком неистовстве; но насколько она помнила, было это не до, а уже во время ее болезни, ибо ей казалось, что она лежала тогда в кровати, а кровать эта находилась не в детской, а этажом ниже, «у взрослых», в одной из гостиных, куда слуги не посмели бы пустить нищенку, хотя в хозяйственных помещениях и на лестницах она была частой гостьей. Агате сдавалось даже, что произошло это скорее в конце ее болезни и что спустя несколько дней она выздоровела и ее подняло с постели какое-то странное нетерпение, которым это заболевание закончилось так же неожиданно, как началось.

Правда, она не знала, восходили ли эти воспоминания к фактам или были выдумкой лихорадки, «Наверно, во всем этом любопытно лишь то, — думала она мрачно, — что картины эти сохранились во мне чем-то промежуточным между правдой и вымыслом, а я не находила тут ничего необычного! Тряска такси, ехавшего по скверно вымощенным улицам, мешала разговаривать. Ульрих предложил воспользоваться сухой зимней погодой для прогулки и даже придумал цель, которая не была целью в обычном смысле слова, а состояла в том, чтобы поглядеть на полуожившие в памяти окрестности. Сейчас они находились в машине, которая везла их на окраину города.

«Конечно, только это и любопытно!» — еще раз подумала про себя Агата. Ведь таким же точно манером училась она в школе, отчего и не знала, глупа она или умна, усердна или неусердна: ответы, которых от нее требовали, застревали у нее в памяти с легкостью, но смысл этих вопросов ей так и не открывался, она чувствовала себя защищенной от него глубоким внутренним безразличием. После своего заболевания она ходила в школу с таким же удовольствием, как прежде, а поскольку одному из врачей показалось полезным вывести ее из одиночества в отцовском доме и свести со сверстницами, ее отправили в монастырское учебное заведение; там тоже она слыла веселой и послушной девочкой, а потом поступила в гимназию. Если ей говорили, что что-то необходимо или верно, она этим руководствовалась и с готовностью соглашалась со всем, что от нее требовали, потому что так было меньше хлопот; ей показалось бы нелепым как-либо бунтовать против твердых установлений, которые не имели

никакого к ней отношения и явно были частью мира, построенного согласно воле отцов и учителей. Но она не верила ни одному слову из того, что заучивала, а поскольку, несмотря на свое кажущееся послушание, примерной ученицей отнюдь не была и в тех случаях, когда ее желания шли вразрез с ее убеждениями, спокойно делала то, что хотела, она пользовалась среди соучениц уважением и даже той восхищенной симпатией, которую вызывают в школе те, кто умеет не осложнять себе жизнь. Возможно даже, что и свою странную детскую болезнь она устроила себе уже по этой системе, ведь за этим единственным исключением она всегда была здорова и нервным ребенком ее никогда не находили. «Значит, просто ленивый и никудышный характер!» — неуверенно констатировала Агата. Она вспоминала, насколько энергичнее, чем она, восставали ее подруги против жесткой интернатской дисциплины и какими принципами нравственного негодования оправдывали они свои нарушения порядка; однако, насколько ей удалось проследить, как раз те, что особенно страстно бунтовали против частностей, позднее лучше всех ладили с жизнью в целом, и из этих девочек вышли хорошо пристроенные женщины, которые воспитывали своих детей приблизительно так же, как воспитывали их самих. Поэтому, несмотря на все недовольство собой, она не была убеждена, что характером деятельным и твердым обладать лучше.

Агата ненавидела женскую эмансипацию в той же мере, в какой презирала женскую потребность в приплоде, заставляющую мужчину вить для нее гнездо. Она любила вспоминать время, когда впервые почувствовала, как платье натягивается у нее на груди и когда она проносила свои горящие губы сквозь охлаждающий воздух улиц. Но та эротическая хлопотливость женщины, что вылезает из-под покрыва девичества, как круглая коленка из-под розового тюля, всю жизнь вызывала у нее презрение. Когда она спрашивала себя, в чем она, собственно, убеждена, какое-то чувство отвечало ей, что она избрана изведать что-то необычное и совсем другого рода — уже тогда, когда она еще почти ничего не знала о мире и не верила тому немногому, чему ее учили. И всегда ей виделось какое-то таинственное, соответствующее этому чувству поприще в том, чтобы когда-нибудь, если уж так сложится, пойти на все, не придавая всему слишком большого значения.

Агата искоса смотрела на Ульриха, который, мрачно застыв, качался в машине; она вспомнила, как трудно было ему в первый вечер понять, что от своего супруга она убежала не в брачную же ночь, хотя тот ей и не нравился. Она испытывала ужасное почтение к своему великому брату,

пока ждала его приезда, но сейчас она улыбалась, втайне вспоминая то впечатление, которое производили на нее в первые месяцы толстые губы Хагауэра, когда они влюбленно округлялись под щетиной усов: все лицо его стягивалось тогда толстокожими складками к уголкам рта, и она чувствовала, словно насытившись: «О, как безобразен этот человек!» И его мягкую наставническую суетность и доброжелательность она сносила как чисто физическую тошноту, которая больше снаружи, чем внутри. Когда первая ошеломленность прошла, она обманывала его то с одним, то с другим — «если угодно назвать так тот факт, — думала она, что существу без опыта, чья чувственность молчит, усилия мужчины, который не доводится мужем, кажутся в первый миг громовыми ударами в дверь!». Ибо она проявила весьма небольшую способность к неверности: любовники, как только она узнавала их, представлялись ей отнюдь не более неотразимыми, чем супруги, и вскоре ей казалось, что танцевальные маски какого-нибудь негритянского племени она могла бы принять всерьез с такой же легкостью, как любовный маскарад, устраиваемый европейским мужчиной. Не то чтобы она никогда не теряла от этого голову, но при первых же попытках повторения такое состояние пропадало! Осуществленный мир фантазий и театральность любви не опьяняли ее. Эти режиссерские указания для души, разработанные главным образом мужчиной, которые в общем сводятся к тому, что жизнь сурова и в ней нужен порой час слабости — с какой-нибудь разновидностью слабости (погрязаешь, угасаешь, тебя берут, ты отдаешься, покоряешься, сходишь с ума и так далее), — казались ей балаганным переигрываньем, потому что не было часа, чтобы она не чувствовала себя слабой в мире, так великолепно построенном силой мужчин.

Философия, усвоенная таким путем Агатой, была просто философией человека женской породы, который не даст себя провести и невольно наблюдает, как человек мужской породы старается его провести. Да и вообще это была не философия, а просто упрямо скрываемое разочарование — все еще смешанное, впрочем, со сдержанной готовностью к какому-нибудь неведомому растворению, которая, может быть, даже возрастала в той мере, в какой шел на убыль внешний протест. Начитанной, но от природы не склонной к теоретизированию Агате часто случалось, когда она сравнивала собственный опыт с идеалами книг и театра, удивляться, что ни ее соблазнители не ловили ее, словно капкан дичь, как то соответствовало бы дон-жуановскому автопортрету, осанку которого обычно принимал тогда мужчина, ступая на скользкий путь с женщиной, ни ее жизнь с мужем не принимала, как у Стриндберга, формы

борьбы полов, где женщина-пленница, что тоже было модно, с помощью хитрости и слабости насмерть замучивала своего деспотично-беспомощного повелителя. Напротив, ее отношения с Хагауэром, в отличие от ее более глубоких чувств к нему, оставались всегда вполне хорошими. Совершенно невпопад употребил Ульрих в первый вечер такие сильные слова, как испуг, шок и насилие. Ей жаль, ерепенилась даже сейчас, вспоминая об этом, Агата, — но ее никак нельзя было изобразить ангелом, все в этом браке шло очень естественным ходом. Ее отец поддержал сватовство Хагауэра разумными доводами, она сама решила выйти замуж вторично. Что ж, так и быть; надо претерпеть все, что с этим связано; это не особенно прекрасно, но и не так уж неприятно! Ей даже и сейчас еще было жаль, что она намеренно обижала Хагауэра, когда хотела во что бы то ни стало обидеть его! Любви она не желала себе; она думала, что все как-нибудь образуется, он был ведь хороший человек.

Скорее, впрочем, он был одним из тех, кто всегда хорошо поступает; в них самих доброты нет, думала Агата. Похоже, что доброта уходит из человека в той мере, в какой она превращается в добрую волю или в добрые дела! Как сказал Ульрих? Поток, который приводит в движение фабрики, теряет свой напор. Это он тоже, тоже говорил, но вспомнить она пыталась не это. Вспомнила: «Похоже, что, в сущности, только те, кто делает мало добра, способны сохранить всю свою доброту». Но в тот миг, когда она вспомнила эту фразу, прозвучавшую так убедительно в устах Ульриха, она показалась ей совершенно бессмысленной. Ее нельзя было вырывать из забытого контекста их беседы. Она попробовала переставить слова и заменила их сходными; но тут оказалось, что первая фраза была правильной, ибо остальные были пустым звуком и от них не осталось совсем ничего. Значит, Ульрих выразил это так, но: «Как можно людей, которые ведут себя плохо, назвать хорошими? — подумала она. — Это же действительно вздор!» И поняла: в тот миг, когда он делал это утверждение, оно, хоть и не было более содержательным, было чудесно! «Чудесно» даже не то слово: ей стало чуть ли не дурно от счастья, когда она услышала эту фразу! Такие фразы объясняли всю ее жизнь. Эта фраза, например, была брошена во время их последней большой беседы после похорон, когда профессор Хагауэр уже уехал; и вдруг до ее сознания дошло, как опрометчиво она всегда поступала, и в частности тогда, когда просто решила, что с Хагауэром все «уж как-нибудь образуется», потому что «человек он хороший»! Такие замечания, наполнявшие ее на мгновение счастьем или горем, Ульрих делал часто, хотя «сберечь» эти мгновения нельзя было. Когда, спрашивала себя Агата, сказал он, например, что при

случае мог бы полюбить вора, но никогда не полюбил бы человека, честного по привычке? Она не могла сейчас это припомнить, но самое замечательное было то, что очень скоро она поняла, что утверждение это принадлежало не ему, а ей самой. Вообще о многом из того, что он говорил, она уже и сама думала — только без слов, ибо таких определенных утверждений она, предоставленная самой себе, как то было прежде, никогда бы не сделала!

Агата, преспокойно чувствовавшая себя до сих пор среди прыжков и толчков автомобиля, который ехал по ухабистым улицам предместья и, окутывая обоих седоков сетью механической тряски, лишал их способности говорить. пускала в свои мысли имя супруга тоже без какого-либо беспокойного чувства, просто для обозначения определенного времени и содержания; но теперь, без особого к тому повода, ее медленно пробрал бесконечный ужас: ведь Хагауэр же был с нею во плоти! Объективность, с какой она думала о нем до сих пор, исчезла, и горечь сдавила ей горло.

Он приехал в утро похорон, с любовной настойчивостью пожелал, несмотря на свое опоздание, увидеть тестя, отправился в морг, отсрочил закрытие гроба, был, проявляя при этом такт, искренность и строгую сдержанность, очень взволнован. После похорон Агата сослалась на усталость, и Ульриху пришлось закусить с зятем вне дома. Как он потом рассказал, длительное общение с Хагауэром привело его в неистовство, как слишком тесный воротник, и уже поэтому он сделал все, чтобы выпроводить его как можно скорее. Хагауэр предполагал поехать на педагогический конгресс в столицу и посвятить там еще один день переговорам в министерстве и осмотру достопримечательностей, а до этого он собирался провести, как внимательный супруг, два дня с женой и позаботиться о ее доле наследства; но Ульрих, по уговору с сестрой, придумал какую-то историю, из-за которой Хагауэра якобы нельзя было устроить в доме, и сообщил, что ему заказано пристанище в лучшей гостинице города. Хагауэр, как и ожидали, заколебался: гостиница окажется, конечно, неудобной, дорогой, а платить за нее придется для приличия ему самому; с другой стороны, переговорам и осмотру достопримечательностей в столице можно посвятить и два дня, а если поехать ночью, то сэкономишь и на ночевке. И, лицемерно выразив сожаление, что ему очень трудно будет воспользоваться предупредительностью Ульриха, Хагауэр в конце концов сообщил о своем уже едва ли отменимом решении уехать в этот же вечер. Оставалось, таким образом, уладить только наследственные дела, и тут Агата улыбнулась

опять, ибо по ее желанию Ульрих сказал ее мужу, что завещание может быть вскрыто лишь через несколько дней. Ведь в конце концов есть Агата, сказал Ульрих, чтобы отстаивать его, Хагауэра, права, и, во всяком случае, он получит полагающееся по закону уведомление, а что касается мебели, сувениров и подобного, то у Ульриха нет никаких притязаний, которыми он, как холостяк, не был бы готов поступиться, если того пожелает сестра. Наконец, он спросил Хагауэра, будет ли тот согласен, если они захотят продать дом, которым никто ведь не собирается пользоваться, — ориентировочно, конечно, ведь еще никто из них не видел завещания, и Хагауэр заявил — ориентировочно, конечно, — что в данный момент у него никаких возражений против этого нет, но на случай, если дело и правда пойдет на то, он должен, конечно, резервировать свое мнение. Все это придумала Агата, и брат говорил по ее подсказке, совершенно бездумно, желая только избавиться от Хагауэра. Но вдруг Агата снова почувствовала себя несчастной, ибо, когда они все это уже так славно уладили, муж в обществе ее брата пришел с ней попрощаться. Агата была донельзя нелюбезна и заявила, что никак нельзя сказать, когда она вернется. Зная его, она сразу заметила, что он не был готов к этому и его обидело то, что из-за своего решения уехать тотчас же он представал теперь человеком черствым; он вдруг разозлился, спохватясь, на то, что ему предложили остановиться в гостинице, и на прохладный прием, который ему оказали, но, будучи человеком планомерных действий, он ничего не сказал, решил, что поставит все это на вид жене позднее, и поцеловал ее, взяв шляпу, как положено — в губы. И этот поцелуй, при котором Ульрих присутствовал, сейчас убивал Агату. «Как получилось, смущенно спрашивала она себя, — что я так долго выдерживала этого человека? Но разве я не принимала безропотно всю свою жизнь?!» Она страстно упрекнула себя: «Если бы я хоть чего-то стоила, до этого, бы я никогда не дошла!»

Агата отвернула лицо от Ульриха, которого дотоле рассматривала, и выглянула в окно. Низкие дома предместья, замерзшие улицы, закутанные люди — все это, проносясь мимо, казалось безобразной пустыней, укоризненным напоминанием о той пустыне жизни, куда она попала из-за своей опрометчивости. Она сидела уже не прямо, а чуть соскользнув на пахнувшие старостью подушки автомобиля, чтобы удобнее было смотреть в окно, и уже не меняла этой неизящной позы, в которой тряска машины отдавалась у нее грубыми толчками под ложечкой. Это тело, когда его трепало, как тряпку, вызывало у нее какую-то жуть, ибо оно было единственным ее достоянием. Порой, когда она, пансионеркой, просыпалась в утренней полутьме, ей казалось, будто она плывет в своем

теле, как между дощечками лодки, навстречу будущему. Сейчас она была приблизительно вдвое старше, чем тогда. И в машине было так же полутемно, как тогда. Но она все еще не могла представить себе свою жизнь и понятия не имела, какой она должна быть. Мужчины были дополнением и довершением твоего тела, но не духовным содержанием; ты брала их, как они брали тебя. Ее тело говорило ей, что всего через несколько лет оно начнет терять свою красоту — терять, стало быть, чувства, которые, возникая непосредственно из его самоуверенности, поддавались выражению словами или мыслями лишь в небольшой степени. Тогда все минуло бы, хотя ничего так и не было. Ей вспомнилось, что Ульрих говорил что-то похожее о бесполезности своих занятий спортом, и, принуждая свое лицо оставаться повернутым к окну, она решила расспросить брата об этом.

10

Дальнейший ход экскурсии на шведский редут Мораль следующего шага

У последних низких и уже совсем деревенских домов на краю города брат и сестра вышли из машины и пошли в гору пешком по широкому, в колдобинах, полого поднимавшемуся проселку, замерзшие колеи которого превращались в пыль у них под ногами. Обувь их вскоре покрылась унылой серостью этого кучерского и крестьянского паркета, составившей заметный контраст с их изящной городской одеждой, и хотя было нехолодно, сверху им дул в лицо резкий ветер, от которого у них горели щеки и коченели, так что трудно было говорить, губы.

Воспоминание о Хагауэре толкало Агату объяснить себя брату. Она была убеждена, что этот неудачный брак непонятен ему во всех отношениях, даже по простейшему социальному счету; но хотя внутри у нее слова были уже готовы, она не решалась преодолеть сопротивление подъема, холода и бьющего в лицо воздуха. Ульрих шагал впереди нее, по широкой колее, которая служила им тропинкой; она видела его широкие, крепкие плечи и медлила. Она всегда представляла себе его жестким, неподатливым и несколько авантюристичным, возможно, лишь по неодобрительным замечаниям о нем, которые слышала от отца, а порой и от Хагауэра, и стыдилась перед этим совсем отколовшимся от семьи братом собственной податливости в жизни. «Он был прав, что не заботился обо мне!» — подумала она и снова смутилась оттого, что так часто мирилась с

неподобающим положением. Но на самом деле в ней была та же бурная, противоречивая страсть, что заставила ее в дверях комнаты, где лежало тело отца, прочесть те дикие стихи. Она догнала Ульриха, отчего запыхалась, и вдруг раздались, вырвавшись, вопросы, каких, наверно, никогда не слыхала эта целесообразная дорога, и ветер разорвали слова, не звучавшие ни на одном ветру этих сельских холмов.

— Помнишь... — воскликнула она и назвала несколько знаменитых примеров из литературы. — Ты не сказал мне, можешь ли ты простить вора. Но ведь эти убийцы, по-твоему, люди хорошие?

— Конечно! — крикнул Ульрих в ответ. — То есть... нет, погоди. Может быть, это люди с хорошими задатками, полноценные люди. Это остается у них и потом, когда они уже стали преступниками. Но хорошими людьми они перестают быть!

— Но почему же ты любишь их и после их злодеяния?! Не ради ведь их прежних хороших задатков, а потому, что они все еще тебе нравятся!

— Так ведь всегда бывает, — сказал Ульрих. — Человек придает поступку тот или иной характер, а не наоборот! Мы различаем добро и зло, но в душе знаем, что они составляют одно целое!

Агата покраснела еще сильнее, чем от холода, когда для страсти ее вопросов, которая в словах одновременно выражалась и пряталась, у нее нашлись только ссылки на книги. «Образованностью» так злоупотребляют, что могло возникнуть чувство, будто она неуместна там, где дует ветер и стоят деревья, словно человеческое образование не есть обобщение всего, что творит природа! Но, храбро совладав с собой, Агата взяла брата под руку и почти на ухо, благодаря чему не нужно было больше кричать, ответила ему с какой-то особенной, изменившей ее лицо заносчивостью:

— Поэтому, наверно, мы уничтожаем злых людей, но любезно угощаем их перед казнью последним обедом!

Немного догадываясь о кипевшей рядом с ним страсти, Ульрих наклонился к сестре и сказал ей на ухо, хоть и достаточно громко:

— Каждый готов думать о себе, что он-то уж не учинит зла, потому что он-то человек хороший.

Тем временем они вышли наверх, где проселок шел уже не в гору, а наперерез волнам широкого, безлесного плато. Ветер вдруг улегся, и было уже не холодно, но в этой приятной тишине разговор умолк, словно потеряв нить, и продолжить его не удалось.

— Что навело тебя на этом ветру на мысли о Достоевском и Бейле? — спросил Ульрих немного спустя. — Если бы кто-нибудь наблюдал за нами, он принял бы нас за сумасшедших!

Агата засмеялась.

— Он так же не понял бы нас, как птичий крик!.. Кстати, ты совсем недавно рассказывал мне о Моосбругере...

Они прибавили шагу.

Через некоторое время Агата сказала:

— Но мне он не нравится!

— Да я уже почти забыл о нем, — ответил Ульрих.

Они еще некоторое время шли молча, потом Агата остановилась.

— Как же так? — спросила она. — Ты ведь, кажется, тоже совершал безответственные поступки? Помню, например, что однажды ты лежал в госпитале с пулевым ранением. Ты тоже, конечно, не все обдумываешь вовремя?..

— Ну и вопросы задаешь ты сегодня! — сказал Ульрих. — Что же мне на это ответить тебе?!

— Ты никогда не раскаиваешься в том, что сделал? — быстро спросила Агата. — У меня такое впечатление, что ты никогда ни в чем не раскаиваешься. Что-то похожее ты и сам как-то сказал.

— Боже правый, — ответил Ульрих, зашагав снова, — в каждом минусе есть свой плюс. Может быть, я и говорил что-то подобное, но не надо это понимать так уж буквально.

— Во всяком минусе — плюс?

— Во всем плохом — что-то хорошее. Или хотя бы во многом плохом. Обычно в отрицательном с точки зрения человека варианте заключен нераспознанный положительный вариант. Это я, вероятно, и хотел сказать. А если ты в чем-то раскаиваешься, то ведь именно это может дать тебе силу сделать что-то так хорошо, как у тебя иначе не получилось бы. Решающее значение имеет не то, что ты делаешь, а только то, что ты делаешь затем!

— А если ты кого-то убил, что можешь ты сделать затем?!

Ульрих пожал плечами. Ему хотелось, просто для последовательности, ответить: «Может быть, это дало бы мне способность написать стихотворение, которое даст тысячам людей духовную жизнь, или сделать какое-нибудь великое открытие!» Но он сдержался. «Никогда бы этого не произошло! — подумал он. Только душевнобольной мог бы это вообразить. Или восемнадцатилетний эстет. Это мысли, — бог знает, откуда они берутся, — противоречащие законам природы. Впрочем, — поправился он, — у первобытного человека так оно и было: он убивал, потому что человеческая жертва была великим религиозным стихом!»

Он не сказал вслух ни того, ни другого, но Агата продолжала:

— Может быть, мои возражения глупы, но когда я в первый раз

услыхала от тебя, что важен не тот шаг, который делаешь, а всегда только следующий, я представила себе: если бы человек мог внутренне лететь, лететь, так сказать, в нравственном смысле, непрестанно становясь все лучше и лучше, он не знал бы раскаянья! Я страшно позавидовала тебе!

— Это чепуха, — решительно возразил Ульрих. — Я сказал: важен не неправильный шаг, а тот, что за ним последует. Но что важно после следующего шага? Опять-таки, очевидно, шаг, следующий за ним? А после энного — энный плюс единица, не так ли?! Человеку пришлось бы жить без окончательных решений, по сути — без реальности. И все-таки важен всегда только следующий шаг. Истина состоит в том, что у нас нет способа верно обходиться с этим неостанавливающимся рядом. Дорогая моя, — закончил он без перехода, — я часто раскаиваюсь во всей своей жизни!

— Но ведь именно это у тебя не должно получиться! — сказала сестра.

— Почему же? Почему именно это?

— Я, — отвечала Агата, — никогда ничего по-настоящему не делала, и поэтому у меня всегда было время раскаяться в своих немногочисленных начинаниях. Я уверена, что тебе это неведомо — такое омраченное состояние! Приходят тени, и то, что было, приобретает власть надо мной. Оно оживает в мельчайших подробностях, и я не могу ничего ни забыть, ни понять. Это неприятное состояние...

Она сказала это без аффектации, очень скромно. Ульриху и правда был неведом такой обратный поток жизни, потому что его жизнь всегда стремилась стать шире, и это просто напоминало ему, что сестра уже несколько раз как-то странно жаловалась на себя самое. Но он не стал ни о чем спрашивать, ибо тем временем они взобрались на холм, который он выбрал целью их прогулки, и шагали к противоположному его склону. Это была внушительная возвышенность, которую предание связывало со шведской осадой в Тридцатилетнюю войну, ибо он походил на редут, хотя и был слишком велик для редута, этот зеленый, без кустов и деревьев, бастион природы, обращенный к городу высоким, светлым скалистым обрывом. Пустой мир низких холмов окружал это место; не было видно ни деревень, ни домов, кругом были только тени облаков да серые луга выгонов. Ульриха опять захватил этот запомнившийся с юности пейзаж: по-прежнему далеко впереди и внизу лежал город, испуганно сгрудившись вокруг нескольких церквей, которые до того походили в нем на наседок с цыплятами, что невольно возникало желание достичь их одним прыжком и примоститься среди них или схватить их гигантской рукой.

— Славное, наверно, чувство было у этих шведских авантюристов, когда они после многодневной тряски в седле достигли такого места и с

коней увидели впервые свою добычу! — сказал он, объяснив сестре, что это за холм. — Тяжесть жизни — наше тайное недовольство тем, что все мы умрем, что все так кратко и так, наверно, напрасно! — эта тяжесть слетает с нас, собственно, только в такие мгновения!

— В какие мгновения, по-твоему?! — сказала Агата.

Ульрих не знал, что ответить. Он вообще не хотел отвечать, Он вспомнил, что в юности каждый раз испытывал на этом месте желание сжать губы и помолчать. Наконец он ответил:

— В авантюристические мгновения, когда происходящее несет нас, как закусившая удила лошадь, то есть, по существу, в бессмысленные!

При этом ему показалось, что на плечах у него вместо головы пустой орех, а в нем всякие старые присловья, вроде: «костлявая», «безносая» или «все трын-трава»; и одновременно он почувствовал отзвучавшее фортиссимо тех лет, когда еще не встало стены между надеждами на жизнь и самой жизнью. Он подумал: «Что было у меня с тех пор определенного и счастливого? Ничего».

Агата ответила:

— Я всегда поступала бессмысленно, от этого бываешь только несчастна.

Она подошла к самому обрыву; слова брата не доходили до ее сознания, она не понимала их, она видела перед собой суровый, голый ландшафт, печаль которого отвечала ее собственной печали. Обернувшись, она сказала:

— Вот местечко для самоубийства, — и улыбнулась. — Пустоту моей головы бесконечно мягко вобрала бы в себя пустота этого пейзажа! — Она сделала несколько шагов назад к Ульриху. — Всю мою жизнь, — продолжала она, — меня упрекали в том, что у меня нет силы воли, что я ничего не люблю, ничего не чту, — словом, что я не тот человек, у которого есть настоящая воля к жизни. Папа корил меня за это, Хагауэр ставил мне это в вину. Так скажи мне ты, ради бога, скажи наконец, в какие мгновения нам что-нибудь в жизни необходимо?

— Когда ворочаешься в постели! — отрезал Ульрих.

— То есть?!

— Извини, — сказал он, — за вульгарный пример. Но так оно и есть. Ты недоволен своим положением. Ты непрестанно думаешь о том, чтобы его изменить, и принимаешь одно решение за другим, но не выполняешь их. Наконец, тебе это надоедает — и на тебе: ты повернулся. По такому же в точности образцу мы поступаем и тогда, когда нами движет страсть, и тогда, когда мы долго взвешиваем свои решения.

Он не смотрел на нее при этом, он отвечал себе самому. Он все еще чувствовал: «Здесь я стоял и хотел чего-то, а это желание так и не было удовлетворено».

Агата улыбнулась и теперь, но рот ее искривился, как от боли. Она вернулась на прежнее место и стала молча глядеть в авантюристическую даль. Ее меховое пальто казалось на фоне неба особенно темным, а стройная ее фигура настойчиво спорила с широкой тишиной этого простора и тенями летящих над ним облаков. Зрелище это наполнило Ульриха неописуемо острым чувством происходящего. Он чуть ли не устыдился, что стоит здесь в обществе женщины, а не рядом с оседланным конем. И хотя он ясно сознавал, что причиной тому спокойствие всей этой картины, исходившее сейчас от сестры, ему казалось, что не с ним, а где-то в мире что-то происходит и он это промаргивает. Он сказал себе, что он смешон. И все же было что-то верное в его наобум сорвавшемся с языка утверждении, что он раскаивается в своей жизни. Он часто мечтал о том, чтобы ввязаться в какое-то дело как в спортивный бой, и пусть оно будет бессмысленно или преступно, было бы оно только настоящим, окончательным, а не тем постоянно временным делом, при котором человек остается выше того, что с ним происходит. «В дело, иными словами, настоящее тем, что оно завершается в себе самом», — размышлял Ульрих, ища какой-то формулы, и мысль эта внезапно перестала кружить вокруг воображаемых дел, а сосредоточилась на зрелище, являемом самой Агатой, которая казалась в эти мгновения зеркалом себя самой. Так стояли они долгое время порознь, каждый сам по себе, и наполненная противоречиями нерешительность не позволяла им сойти с места. Но самым, наверно, странным было то, что Ульриху и в голову не пришло, что к этому времени уже все-таки что-то случилось, поскольку, по поручению Агаты и чтобы отвязаться от Хогауэра, он наврал своему ничего не подозревавшему зятю, будто существует запечатанное завещание, вскрыть которое можно будет лишь через несколько дней, и, опять-таки покрывив душой, заверил его, что Агата соблюдает его интересы, — позднее Хагауэр назвал это пособничеством.

Все же они как-то сошли с этого места, где каждый был погружен в себя, и вместе пошли дальше, так и не выговорившись. Ветер опять посвежел, и, видя, что Агата устала, Ульрих предложил передохнуть в домике пастуха, находившемся, как он знал, неподалеку. Они быстро нашли эту каменную хижину, входя в которую им пришлось наклонить головы, и жена пастуха уставилась на них в почти враждебном смущении. На смешанном немецко-славянском наречии тех мест, которое Ульрих еще

смутно помнил, он попросил разрешения погреться и перекусить в доме захваченными с собой припасами и так щедро подкрепил свою просьбу деньгами, что женщина стала клясть мерзкую нищету, не позволяющую ей оказать «таким славным гостям» лучший прием. Она вытерла засаленный стол, стоявший у окна хижины, затопила печь хворостом и поставила козье молоко на огонь. Агата, однако, сразу протиснулась мимо стола к окну, не обращая на все эти действия никакого внимания, словно само собой разумелось, что где-нибудь найдется пристанище, а где — безразлично. Она глядела сквозь мутный маленький квадрат окна из четырех стеклышек на местность, простиравшуюся за «редутом» и без широкого кругозора, который давала его высота, напоминавшую скорее ощущения пловца, окруженного зелеными гребнями воды. День хоть и не клонился еще к концу, но уже перевалил за свою вершину и потускнел. Агата вдруг спросила:

— Почему ты никогда не говоришь со мной серьезно?!

Как мог Ульрих ответить на это правильнее, чем бросив на нее взгляд, изображавший невинность и удивление?! Он как раз раскладывал ветчину, колбасу и яйца на листке бумаги между собой и сестрой.

Но Агата продолжала:

— Нечаянно столкнувшись с тобой, ощущаешь боль и пугаешься огромной разницы между твоим телом и моим. Но когда я хочу добиться от тебя какого-нибудь решающего ответа, ты растворяешься в воздухе!

Она не прикоснулась к еде, которую он ей пододвинул, больше того, в своем нежелании завершить сейчас день сельской пирушкой она держалась так прямо, что не касалась даже стола. И тут повторилось нечто похожее на то, как они шагали в гору. Ульрих отодвинул в сторону кружки с козьим молоком, только что поданным на стол с печи и распространявшим очень неприятный для тех, кто не привык к нему, запах; и трезвая, легкая тошнота, которую он при этом почувствовал, подействовала так же упорядочивающе, как порой внезапная горечь.

— Я всегда говорил с тобой серьезно, — возразил он. — Если тебе это не нравится, не моя вина, ибо то, что тебе не нравится в моих ответах, есть, стало быть, мораль нашего времени.

В эту минуту ему стало ясно, что он хочет как можно полнее объяснить сестре все, что ей нужно знать, чтобы понять себя самое, а немного и брата. И с решительностью человека, считающего любые оттяжки излишними, он начал довольно длинную речь:

— Мораль нашего времени, что бы там ни говорили, это мораль достижения цели. Пять более или менее ложных банкротств вполне

хороши, если за пятым следует пора благословения и благодать. Успех может предать забвению все. Достигнув точки, когда ты даешь деньги на избирательную компанию и покупаешь картины, ты обеспечиваешь себе снисходительность государства. При этом существуют неписанные правила: если даешь деньги на церковь, благотворительные дела и политические партии, можешь ограничиться не более чем десятой долей того, что тебе пришлось бы выложить, вздумай ты доказать свою добрую волю покровительством искусству. Есть еще и границы успеха: еще нельзя достигать любой цели любым путем. Некоторые принципы монархии, аристократии и общества оказывают какое-то тормозящее действие на «выскачку». Но, с другой стороны, когда дело касается его собственной, так сказать, сверхличной персоны, государство откровенно держится принципа, что можно грабить, убивать и обманывать, лишь бы из этого возникали мощь, цивилизация и блеск. Я, конечно, не утверждаю, что все это признается и теоретически, нет, теоретически это как раз очень неясно. Но я назвал тебе сейчас лишь самые обычные факты. В свете их моральные доводы — это только еще одно средство достижения цели, боевое средство, которым пользуются примерно так же, как ложью. Так выглядит мир, созданный мужчинами, и я хотел бы быть женщиной, если бы женщины... не любили мужчин!

Хорошим сегодня считается все, что дает нам иллюзию, что оно приведет нас к чему-то. Но эта убежденность есть в точности то, что ты назвала летящим, не знающим раскаянья человеком, а я определил как проблему, решить которую у нас нет способа. Будучи человеком научного мышления, я всегда чувствую, что мои знания неполны, что они — только указатель пути и что, может быть, уже завтра у меня будет какой-то новый опыт, который заставит меня думать иначе, чем сегодня. С другой стороны, и человек, целиком захваченный своим чувством, «человек в полете», как ты его расписала, тоже будет ощущать каждый свой поступок как ступеньку, через которую он поднимается к следующей. Значит, есть в нашем уме и нашей душе что-то такое, что можно назвать «моралью следующего шага», но есть ли это просто мораль пяти банкротств, проникает ли предпринимательская мораль нашего времени так глубоко внутрь, или это только видимость тождества, или мораль карьеристов — это урод, преждевременно рожденный более глубокими феноменами, — дать тебе на это ответ я сейчас не могу!

Маленькая передышка, которую сделал в своей речи Ульрих, была чисто риторической, ибо он собирался продолжить свои рассуждения. Но Агата, слушавшая дотоле со свойственной ей иногда смесью живости и

безжизненности, продвинула разговор вперед и перевела его на другое простым замечанием, что ответ этот ей безразличен, ибо ей хочется только знать, как считает сам Ульрих, а охватить все, что можно представить себе, она не в состоянии.

— Но если ты в какой-либо форме потребуешь от меня, чтобы я чего-то достигла, то пусть лучше у меня не будет никаких моральных принципов, — прибавила она.

— Слава богу! — воскликнул Ульрих. — Я ведь каждый раз радуюсь, когда гляжу на твою молодость, красоту и силу, а потом слышу от тебя, что у тебя совсем нет энергии! Наша эпоха и так насквозь пропитана активностью. Она не хочет больше мыслей, а хочет видеть только дела. Корень этой ужасной активности в том, что людям нечего делать. Внутренне — я хочу сказать. Но в конце концов каждый и внешне только повторяет всю жизнь одно и то же действие. Он уходит в какое-нибудь занятие и продвигается в нем. Тут, по-моему, мы возвращаемся к вопросу, который ты задала мне на холме. Проще простого обладать энергией для действий и труднее трудного найти действиям смысл! Это сегодня мало кто понимает. Поэтому люди действия похожи на игроков в кегли, способных с наполеоновскими жестами сбить каких-то там девять деревяшек. Я бы не удивился даже, если бы они в конце концов набросились друг на друга — просто от несносной для них непонятности того факта, что всех их действий недостаточно!..

Он начал оживленно, но постепенно опять стал задумчив и даже на несколько мгновений умолк. Наконец он с улыбкой поднял глаза и ограничился тем, что сказал:

— Ты утверждаешь, что разочаровала бы меня, потребуй я от тебя какого-либо морального усилия. А я утверждаю, что разочаровал бы тебя, потребуй ты от меня каких-либо советов морального характера. Я считаю, что ничего определенного нам друг от друга требовать нечего — нам всем, я имею в виду. По правде, нам надо бы не требовать друг от друга действий, а создавать для них предпосылки — так мне кажется!

— А как это сделать?! — спросила Агата. Она заметила, что Ульрих отклонился от начатой было им большой обобщающей речи и сбился на что-то более личное, но и это было на ее вкус чересчур обще. У нее, как известно, было предубеждение против общих анализов, и всякое усилие, выходившее, так сказать, за пределы ее кожи, она считала более или менее напрасным; считала с уверенностью, если утруждаться надо было ей самой, но и чужим обобщениям она тоже не доверяла. Тем не менее она довольно хорошо поняла Ульриха. От нее не ускользнуло, что когда брат,

опустив голову, тихо обличал активность, он, безотчетно играя перочинным ножом, долбил и царапал лезвием доску стола, и все жилы на его руке напряглись. Бездумное, но почти страстное движение этой руки и то, что он так откровенно сказал об Агате, что она молода и красива, — это был бессмысленный дуэт над оркестром других слов, которому она тоже не придавала никакого смысла, кроме того, что она сидела здесь и смотрела.

— Что следовало бы сделать? — отвечал Ульрих все тем же тоном. — Однажды у нашей кузины я предложил графу Лейнсдорфу учредить всемирный секретариат точности и души, чтобы и те, кто не ходит в церковь, знали, что им делать. Конечно, я сказал это в шутку, ибо хотя для определения истины мы давно уже создали науку, тому, кто потребовал бы чего-то подобного для всего остального, пришлось бы сегодня чуть ли не стыдиться своей глупости. И однако же, все, о чем мы с тобой до сих пор говорили, привело бы нас к этому секретариату!

Он перестал держать речь и, выпрямившись, откинулся к спинке скамьи.

— Я, наверно, опять растворюсь, если прибавлю: но чем бы это обернулось сегодня?! — спросил он.

Агата не ответила, и воцарилась тишина. Через некоторое время Ульрих сказал:

— Впрочем, я и сам порой думаю, что мне не выдержать этой убежденности! Когда я смотрел, как ты стояла там на редуте, — продолжал он вполголоса, — у меня, не знаю почему, было дикое желание что-то вдруг сделать. Ведь раньше я и правда делал иногда необдуманные вещи. Волшебство тут вот в чем: после того как это происходило, со мной рядом присутствовало еще что-то. Иногда я могу представить себе, что человек становится счастлив даже с помощью преступления, потому что оно дает ему известный балласт и тем самым, быть может, большую остойчивость.

И на этот раз сестра ответила не сразу. Он глядел на нее спокойно, может быть — даже испытующе, но не чувствуя теперь того желания, о котором только что говорил, да и вообще ни о чем, в сущности, не думая. Спустя несколько мгновений она спросила его:

— Ты был бы зол на меня, если бы я совершила преступление?

— Что я могу тебе на это ответить?! — сказал Ульрих, снова склонившись над своим ножиком.

— Никакого решения нет?

— Нет, никакого настоящего решения сегодня нет.

После этого Агата сказала:

— Мне хочется убить Хагауэра.

Ульрих заставил себя не поднимать глаз. Слова эти проникли в него легко и тихо, но, пройдя, оставили в памяти что-то вроде широкой колеи. Он сразу забыл их интонацию, ему нужно было увидеть ее лицо, чтобы узнать, как понимать эти слова, но ему не хотелось придавать им значение даже настолько.

— Ну, что ж, — сказал он, — почему бы тебе не сделать этого? Есть ли вообще сегодня на свете хоть кто-нибудь, кто не желал чего-то подобного?! Сделай же это, если действительно можешь! Это все равно как если бы ты сказала: мне хочется любить его за его недостатки!

Только теперь он опять выпрямился и заглянул сестре в лицо. Оно было упрямое и удивительно взволнованное. Не отводя взгляда от ее лица, он стал медленно объяснять:

— Тут, видишь ли, что-то не так: на этой границе между тем, что происходит в нас, и тем, что происходит вне нас, не хватает сегодня какого-то связующего звена, одно преобразуется в другое только с огромными потерями. Впору сказать, что наши злые желания — это теневая сторона жизни, которую мы действительно ведем, а жизнь, которую мы действительно ведем, это теневая сторона наших добрых желаний. Представь себе только, что ты это действительно сделала: это было бы совсем не то, что ты имела в виду, и ты была бы по меньшей мере ужасно разочарована...

— А может быть, я стала бы вдруг другим человеком: ты же сам это признал! — прервала его Агата.

Взглянув в этот миг в сторону, Ульрих вынужден был вспомнить о том, что они не одни, что разговор их слушали два человека. Старая бобылиха — ей было, впрочем, едва ли намного больше сорока, но ее старили лохмотья и следы унижений — сидела с радушным видом возле печи, а рядом сидел пастух, который во время разговора успел вернуться в свою хижину, но не был замечен столь увлеченными собою гостями. Положив руки на колени, старики польщенно, казалось, и удивленно слушали беседу, которая наполняла их хижину, и были очень довольны таким разговором, хотя и не понимали в нем ни единого слова. Они видели, что молока гости не пили, колбасы не ели, это было зрелище, и зрелище, пожалуй что, возвышающее. Хозяева даже не шептались друг с другом. Взгляд Ульриха окунулся в их широко открытых глаза, и от смущения он улыбнулся, на что из хозяев ответила только женщина, в то время как мужчина строго соблюдал почтительную дистанцию.

— Надо поесть! — сказал по-английски Ульрих сестре. — На нас смотрят с удивлением!

Она послушно притронулась к хлебу и мясу, а сам он стал решительно есть и даже выпил немного молока. Но при этом Агата продолжала громко и непринужденно:

— Если задуматься, то мысль о том, чтобы всерьез причинить ему боль, мне неприятна. Наверно, значит, убивать его мне не хочется. Но мне хочется стереть его! Разорвать на кусочки, растолочь их в ступке и вытряхнуть порошок в воду — вот чего мне хочется! Начисто уничтожить все, что было!

— Знаешь, это довольно смешно, то, что мы сейчас говорим, — заметил Ульрих, Агата помолчала. А потом сказала:

— Ты же в первый день обещал мне, что поможешь мне избавиться от Хагауэра!

— Конечно, помогу. Но не таким же способом.

Агата опять помолчала. Потом вдруг сказала:

— Если бы ты купил или взял напрокат автомобиль, мы могли бы поехать ко мне через Йиглаву и вернуться кружным путем, кажется, через Табор. Никому и в голову не пришло бы, что мы были там ночью.

— А слугам? К счастью, я вообще не умею управлять автомобилем! — Ульрих засмеялся, но потом раздраженно покачал головой: — Вот какие идеи сегодня в ходу!

— Да, ты волен так говорить, — сказала Агата. Она задумчиво толкала ногтем взад и вперед кусочек сала, и казалось, что этот ноготь, на котором появился налет жира, совершает свои действия совершенно самостоятельно. — Но ведь ты же говоришь: добродетели общества — это пороки для святого!

— Только я не говорил, что пороки общества — это добродетели для святого! — уточнил Ульрих. Он засмеялся, схватил руку Агаты и вытер ее своим носовым платком.

— Ты всегда все берешь назад! — упрекнула его Агата и недовольно улыбнулась, в то время как кровь прилила у нее к щекам, ибо она пыталась выпростать палец.

Старики у печи, все еще глядевшие на них в точности так же, как до этого, теперь, как бы откликаясь, расплылись в улыбке.

— Когда ты так говоришь со мной, то так, то этак, — тихо, но отчетливо сказала Агата, — мне кажется, будто я гляжусь в осколки зеркала: с тобой нельзя увидеть себя целиком!

— Нет, — ответил Ульрих. — Просто сегодня вообще нельзя ни увидеть себя, ни двинуться целиком — вот в чем дело!

Агата вдруг перестала освобождать свою руку.

— Я, конечно, отнюдь не святая, — сказала она тихо. — Хуже, чем содержанка, была я, наверно, в своем безразличии. И я, безусловно, не предприимчива и вряд ли смогу кого-либо убить. Но когда ты в первый раз сказал это насчет святого, — довольно давно уже, — я что-то увидела «целиком»!.. — Она опустила голову, чтобы подумать или чтобы не дать заглянуть себе в лицо. — Я увидела святого — может быть, фигуру на фонтане. По правде сказать, я, может быть, ничего не увидела, но я почувствовала что-то, что нужно было выразить так. Лилась вода, и то, что творил святой, тоже лилось через край, словно он сам был переполненным бассейном фонтана, тихо изливавшимся во все стороны. Таким, я думаю, надо быть человеку, тогда его дело всегда было бы правым, и в то же время было бы совершенно безразлично, что он делает.

— Агата видит, как она стоит среди мира, переполняясь святостью и дрожа из-за своих грехов, и с недоверием замечает, что змеи и носороги, горы и ущелья спокойно лежат у ее ног и что они куда меньше, чем она сама. Но как тогда быть с Хагауэром? — тихо поддразнил ее Ульрих.

— То-то и оно. Ему тут нет места. Его долой.

— Я тоже расскажу тебе кое-что, — сказал брат. — Всякий раз, когда мне случалось участвовать в чем-либо общем, в каком-либо настоящем человеческом деле, я напоминал себе человека, который перед последним актом выбегает на минутку из театра, чтобы глотнуть воздуха, видит великую темную пустыню со множеством звезд и оставляет шляпу, сюртук и представление, чтобы уйти прочь.

Агата посмотрела на него испытующе. Это и годилось для ответа, и не годилось.

Ульрих тоже взглянул ей в лицо.

— Тебя тоже часто мучит какая-то антипатия, а симпатии, которая ей соответствовала бы, еще нет, — сказал он и подумал: «Действительно ли она похожа на меня?» Снова ему пришло в голову: может быть, так, как пастель на гравюру на дереве. Он счел себя более прочным. А она была красивее, чем он. Так приятно красива. Не довольствуясь пальцем, он схватил всю ее руку; это была теплая, продолговатая рука, полная жизни, и до сих пор он держал ее в своей только при обмене рукопожатиями. Его молодая сестра была взволнована, и хотя настоящие слезы в глазах у нее не стояли, влажный воздух в них все-таки был.

— Через несколько дней ты тоже покинешь меня, — сказала она, — и как мне тогда справиться со всем?

— Мы ведь можем остаться вместе, ты можешь поехать вслед за мной.

— Как ты это представляешь себе? — спросила Агата, задумчиво

нахмурившись.

— Да никак еще не представляю себе. Ведь это только сейчас пришло мне в голову.

Он встал и дал хозяевам еще денег «за изрезанный стол». Агата видела сквозь туман, как они осклабливались, кланялись и выражали радость какими-то короткими, невнятными возгласами. Проходя мимо них, она почувствовала у себя на лице откровенно заинтересованные взгляды четырех гостеприимных глаз и поняла, что их приняли за любовников, которые поссорились и опять помирились.

— Они приняли нас за любовников! — сказала Агата. Она зазорно взяла брата под руку, и вся ее радость вырвалась наружу. — Тебе следовало бы поцеловать меня! — потребовала она, со смехом прижав к себе плечо Ульриха, когда они стояли на пороге хижины и низкая дверь распахнулась в темноту вечера.

11

Святые разговоры. Начало

В оставшиеся до отъезда Ульриха дни о Хагауэре почти не было больше речи, но и к идее прочного воссоединения и совместной жизни брат и сестра тоже долго не возвращались. Однако огонь, взметнувшийся пламенем в необузданном желании Агаты устранить мужа, продолжал тлеть под пеплом. Он ширился в разговорах, ни к чему ни приходявших и все же снова вспыхивавших; может быть, следовало бы сказать: чувства Агаты искали какой-то другой возможности свободно гореть.

В начале таких разговоров она обычно задавала какой-нибудь определенный вопрос личного характера, вопрос, внутренняя форма которого была «можно мне или нельзя?». Дотоле ее взбалмошность облекалась в печальную и усталую убежденность: «Мне можно все, но мне просто не хочется», — и потому вопросы его молодой сестры не без основания напоминали иногда Ульриху вопросы ребенка, такие же теплые, как ручки этого беспомощного существа.

Его собственные ответы бывали другого, но не менее характерного для него рода; он каждый раз с удовольствием приводил какой-нибудь пример из своей жизни и своих размышлений и говорил обычно в столь же откровенной, сколь и умственно занятой манере. Он всегда быстро переходил на «мораль» той истории, о которой сообщала сестра, выводил формулы и, любя ссылаться для сравнения на собственный опыт, много

рассказывал Агате о себе, особенно о своей прежней, более бурной жизни. О себе Агата ничего не рассказывала ему, но она восхищалась его умением так говорить о собственной жизни, а то, что он из всего, чего она ни касалась, извлекал какую-то мораль, было ей как раз по сердцу. Ведь мораль — не что иное, как порядок души и вещей, охватывающий и то, и другое, и поэтому не удивительно, что молодые люди, чья воля к жизни еще не совсем притупилась, много говорят о морали. Объяснение требуется скорее в том случае, когда дело идет о мужчине возраста Ульриха и с опытом Ульриха: ведь мужчины говорят о морали только профессионально, только если это слово входит в их деловой жаргон, а вообще-то оно у них проглочено житейскими делами, и проглочено безвозвратно. Поэтому если Ульрих говорил о морали, то это означало глубокий беспорядок, который привлекал Агату, отвечая ее настроению. Теперь она стыдилась своего немного наивного признания, что хотела бы жить «в полном согласии с самой собой», ибо узнала, какие сложные для этого требуются предпосылки, и все же она нетерпеливо желала, чтобы брат поскорее пришел к какому-то итогу, ибо ей часто казалось, что все, что он говорит, движется именно туда, с каждым разом даже все точнее к цели, и лишь на последнем шагу останавливается перед порогом, где он каждый раз отступался от своих же усилий.

А место этой остановки и этих последних шагов, место, парализующее действие которого ощущал и Ульрих, можно в самой общей форме определить замечанием, что любое положение европейской морали приводит к такой точке, где дальше нет ходу; поэтому человек, отдающий себе отчет в своих действиях, напоминает сперва, пока он чувствует под собой твердые убеждения, бредущего вброд, а потом вдруг ведет себя так, словно утонет, если пойдет чуть дальше, словно страшится, что сразу за мелью резко оборвется и канет в бездну твердая, почва жизни. У брата и сестры это выражалось определенным образом и внешне: на любую тему, которой касался Ульрих, он мог спокойно и объяснительно говорить до тех пор, пока она занимала его умственно, и такого же рода интерес чувствовала, слушая его, Агата; но затем, когда они умолкали, их лица напрягались намного взволнованнее. И вот так случилось однажды, что они оказались по ту сторону черты, у которой дотоле бессознательно останавливались. Ульрих заявил:

— Единственный верный признак нашей морали — это противоречивость ее заповедей. «Исключение подтверждает правило» — вот самое моральное из всех положений!

Побудила его сказать это, наверно, лишь неприязнь к такой системе

морали, которая притворяется нестигаемой а на практике вынуждена быть гибкой, чем как раз и противоположна точному рассуждению, которое считается прежде всего с опытом, а уж из него выводит законы. Он знал, конечно, разницу между законами природы и нравственными законами, состоящую в том, что первые выводятся из наблюдений за безнравственной природой, а вторые приходится менее упорной человеческой природе навязывать; но он считал, что сегодня такое разделение уже в чем-то неверно, и как раз хотел сказать, что интеллектуально мораль отстала от времени на сто лет, отчего так трудно и приспособить ее к изменившимся нуждам. Однако, прежде чем он дошел до этого в своем объяснении, Агата перебила его ответом, который показался очень простым, но в тот миг привел его в замешательство.

— Значит, быть хорошим нехорошо? — спросила она брата, и в глазах у нее мелькнуло что-то, напомнившее тот раз, когда она проделывала с отцовскими орденами нечто такое, что далеко не все нашли бы хорошим.

— Ты права, — ответил он, оживившись. — Надо и правда сперва выдвинуть какой-нибудь такой тезис, чтобы снова почувствовать первоначальный смысл слова! Но дети все еще любят «быть хорошими», как любят лакомства...

— Между прочим, как и «быть плохими», — добавила Агата.

— Но разве «быть хорошим» — это одна из страстей взрослых? — спросил Ульрих. — Это один из их принципов! Взрослые не «хорошие», это показалось бы им ребячеством, а только поступают «хорошо». Хороший человек — это человек, обладающий хорошими принципами и делающий хорошие дела. И ни для кого не секрет, что при этом он может быть омерзителен!

— Смотри Хагауэра, — добавила Агата.

— В этих «хороших людях» есть что-то парадоксально бессмысленное, — сказал Ульрих. — Они делают из состояния требование, из милости — норму, из бытия — цель! В этой семье «хороших» всю жизнь едят только объедки, да еще ходит слух, что когда-то был праздник, от которого они и остались! Спору нет, время от времени какие-то добродетели заново входят в моду, но как только это случается, они тут же снова теряют свежесть.

— Ты ведь как-то сказал, что одно и то же действие может быть в зависимости от обстоятельств хорошим или дурным? — спросила Агата.

Ульрих ответил утвердительно. Это была его теория — что моральные ценности суть не абсолютные величины, а понятия функциональные. Но, морализируя и обобщая, мы вырываем их из целого, из естественного

контекста.

— И уже это, вероятно, то место, где на пути к добродетели что-то неладно, — сказал он.

— Да и почему бы иначе люди моральные были такими скучными, — дополнила Агата, — ведь их намерение быть хорошими должно бы, казалось бы, представлять самой восхитительной, самой трудной и самой занятой вещью на свете!

Брат помедлил с ответом; но вдруг у него вырвалось замечание, из-за которого он и она оказались вскоре в необыкновенных отношениях.

— Наша мораль, — заявил он, — это кристаллизация внутреннего побуждения, совершенно отличного от нее! Все, что мы говорим, не соответствует действительности! Возьми любую фразу, ну, например: «В тюрьме должно царить раскаянье!» Это фраза, которую можно сказать с чистой совестью; но никто не понимает ее буквально, а то бы логика потребовала для заключенных адского огня! Так как же понимать эту фразу? Наверняка мало кто знает, что такое раскаянье, но каждый говорит, где оно должно царить. Или просто представь себе — что-то приподнимает, возвышает тебя: это-то откуда затесалось в мораль? Когда это мы так утыкались лицом в пыль, чтобы, приподнимаясь, блаженствовать? Или пойми буквально слова, что тебя захватила какая-то мысль: в тот миг, когда ты физически почувствовал бы ее прикосновение, ты находился бы уже в царстве безумия! И каждое слово надо понимать именно так, буквально, иначе оно истлевает в ложь но ни одного из них понимать буквально нельзя, а то мир превратится в сумасшедший дом! Какое-то великое опьянение исходит от слова, какая-то смутная память, и порой кажется, что все, нами испытываемое, — это разрозненные обрывки какого-то прежнего целого, которые однажды неверно сложили.

Разговор, где было обронено это замечание, происходил в кабинет-библиотеке, и в то время, как Ульрих сидел над несколькими захваченными им из дому книгами, сестра его рылась в юридических и философских трудах, сонаследницей которых она стала, и стимулы для своих вопросов находила отчасти там. После той экскурсии они редко покидали дом. Они коротали дни главным образом так. Иногда они выходили погулять в сад, ветки которого оголила зима, обнажив под ними повсюду набухшую от дождей землю. Зрелище это удручало. Воздух был блеклый, как что-то, пролежавшее долго в воде. Сад был невелик. Дорожки вскоре возвращались к себе же. Умонастроение, в котором они оказывались на этих дорожках, кружило, как набегающий на преграду поток. Когда они возвращались в дом, комнаты были темны и укромны, а окна походили на

глубокие шахты, через которые дневной свет проникал внутрь так слабо и неподвижно, словно он состоял из тонкой слоновой кости. Агата сейчас, после последней тирады Ульриха, спустилась со стремянки, на которой сидела, и обняла его одной рукой за плечи, не отвечая ему. Это была непривычная ласка, ибо, если не считать двух поцелуев, одного в вечер первой их встречи и другого несколько дней назад, когда они покидали хижину пастуха, естественная между братом и сестрой чопорность еще не оттаяла до большего, чем слова или маленькие знаки симпатии, да и в тех двух случаях впечатление от интимного касания было пригашено впечатлением один раз неожиданности, а другой — озорства. Но на этот раз Ульрих сразу подумал о подвязке, которую еще теплой, вместо словесных напутствий, дала она на прощанье покойнику. И еще у него мелькнуло в голове: «У нее наверняка есть любовник. Но она не очень-то печется о нем, а то бы ей здесь не сиделось!» Стало ощутимо, что она женщина, которая независимо от него жила своей женской жизнью и будет жить ею дальше. Просто по ровному распределению веса плечи его почувствовали красоту лежавшей на них руки, а боком, обращенным к сестре, он смутно почувствовал близость ее золотистой подмышки и контур ее груди. Чтобы не сидеть неподвижно, без сопротивления отдаваясь безмолвному объятию, он схватил ее пальцы, лежавшие у его шеи, и заглушил этим прикосновением то, первое.

— Знаешь, наш разговор отдает ребячеством, — сказал он не без досады. Мир полон деятельной решимости, а мы сидим себе и лениво разглагольствуем о том, как сладко быть хорошим, и о теоретических горшках, в которые можно влить эту сладость!

Агата высвободила свои пальцы, но положила руку на прежнее место.

— Что ты читаешь все эти дни? — спросила она.

— Ты же знаешь это, — ответил он, — ты ведь довольно часто заглядываешь в мои книги через мое плечо!

— Но я не могу в них разобраться.

Он не решился объяснять это. Агата, пододвинув себе стул, устроилась на нем позади Ульриха и мирно уткнулась лицом в его волосы, словно чтобы уснуть так. Ульриху это удивительным образом напомнило тот миг, когда его враг Арнгейм обнял его за плечи и в него порывистым током, как через брешь, проникло прикосновение другого существа. Но на сей раз собственная его природа не отталкивала чужую, наоборот, что-то толкало навстречу ей, что-то, погребенное под той осыпью недоверия и неприязней, которой наполняется сердце человека пожившего. Отношение к нему Агаты, одновременно и сестринское, и чисто женское, и отчужденное, и

дружеское, но не тождественное ни одному из них, не состояло также — о чем он уже не раз задумывался — в особенно далеко идущем согласии мыслей и чувств; но отношение это, как он сейчас почти удивленно заметил, целиком соответствовало тому возникшему в считанные дни из несметных мимолетных впечатлений факту, что губы Агаты просто так прижимались к его волосам, а его волосы делались теплыми и влажными от ее дыхания. Это было столь же духовно, сколь и телесно; и когда Агата повторила свой вопрос, Ульрихом овладела серьезность, какой он не чувствовал с полных еще веры дней юности, и, пока не рассеялось это облако серьезности, простершееся от пространства за его спиной до книги, где пребывали его мысли, через все его тело, он дал ответ, поразивший его больше своим начисто лишенным иронии тоном, чем своим смыслом:

— Я ищу сведений о путях святой жизни.

Он поднялся, но не для того, чтобы отдалиться от сестры, отойдя от нее на несколько шагов, а для того, чтобы лучше видеть ее оттуда.

— Не смейся, — сказал он. — Я не набожен. Я смотрю на святой путь с вопросом, можно ли ехать по нему и на автомобиле!

— Я засмеялась, — ответила Агата, — только оттого что мне было очень любопытно, что ты скажешь. Книги, которые ты привез, мне незнакомы, но мне кажется, что они мне не совсем непонятны.

— С тобой так бывало? — спросил брат, уже убежденный, что с ней так бывало, — Ты находишься в страшной суматохе, но вдруг твой взгляд падает на игру какого-нибудь забытого богом и миром предмета и ты уже не можешь от него оторваться?! Его пустяковое бытие несет тебя как пушинку, невесомую и бессильную на ветру?!

— Если не считать страшной суматохи, которую ты так выпячиваешь, то, пожалуй, мне это знакомо, — сказала Агата и снова не удержалась от улыбки при виде жестокого смущения в глазах брата, которое так не вязалось с хрупкостью его слов. — Иной раз перестаешь видеть и слышать, а уж дара речи и вовсе лишаешься. И все же именно в такие минуты чувствуешь, что на миг пришла к самой себе.

— Я бы сравнил это, — оживленно продолжал Ульрих, — с тем, как глядишь на сверкающую водную гладь: глазам кажется, что они видят темноту, настолько все светло, а предметы на том берегу как бы не стоят на земле, а парят в воздухе, и нежная их четкость прямо-таки причиняет боль и смущает. В этом впечатлении есть и усиление, и потеря. Ты со всем связан и ни к чему подступиться не можешь. Ты здесь, а мир там, ты сверхиндивидуален, он сверхобъективен, но оба до боли отчетливы, а разделены и соединены эти обычно слитые начала темным блеском,

переливами, потуханиями, наплывами и расплывами. Вы плывете, как рыба в воде или птица в воздухе, но нет ни берега, ни ветки — ничего, кроме этого плаванья!

Ульрих явно творил; но огненность и твердость его речи металлически отделялись от ее хрупкого и зыбкого содержания. Казалось, он смахнул с себя обычную свою осторожность, и Агата смотрела на него удивленно, но тоже с беспокойной радостью.

— Так ты думаешь, — спросила она, — что за этим что-то есть? Что-то большее, чем «наваждение» или каким там еще мерзко-успокоительным словом это назвать?

— Еще бы!

Он сел опять на свое прежнее место и стал листать лежавшие там книги, а Агата встала, чтобы его пропустить. Затем он раскрыл одну из книг со словами: «Святые описывают это так!» — и прочел:

— «В течение этих дней я был чрезвычайно неспокоен. То я немного сидел, то бродил по дому. Это было похоже на муку, и все-таки назвать это можно было скорее сладостью, чем мукой, ибо тут не было ничего огорчительного, а была странная, совершенно сверхъестественная приятность. Я превзошел все свои способности и достиг темной силы. Я слышал при отсутствии звука, я видел при отсутствии света. Теперь мое сердце стало бездонным, мой дух — бесформенным, а моя природа — призрачной».

Обоим увиделось в этом описании сходство с тем беспокойством, которое носило по дому и саду их самих, и особенно Агата была поражена тем, что и святые называют свое сердце бездонным, а свой дух — бесформенным; но к Ульриху вскоре, казалось, вернулась его ирония.

— Святые, — заявил он, — говорят: некогда я был заперт, затем вынут из самого себя и, не зная того, погружен в бога. Императоры-охотники, о которых мы знаем из хрестоматий, описывают это иначе: они рассказывают, что им предстал олень с крестом между рогами и смертоносное копье выпало у них из рук. И затем они воздвигали на этом месте часовню, чтобы можно было все-таки охотиться и впредь. А богатые, умные дамы, с которыми я общаюсь, сразу ответят тебе, если ты спросишь их о чем-либо подобном, что последним, кто писал такие вещи, был Ван Гог. Возможно, впрочем, что вместо того, чтобы упомянуть живописца, они станут говорить о стихах Рильке. Но вообще-то они предпочитают Ван Гога, который представляет собой отличное капиталовложение и отрезал себе уши, потому что его живописи ему было мало при таких страстях. Большинство же наших современников скажет, что отрезание ушей — это

не немецкий способ выражать чувства, а немецкий — это ни с чем не сравнимая пустота взгляда сверху, которую изведываешь на горных вершинах. Для них уединение, цветочки и журчащие ручейки — символ человеческой возвышенности. Но даже и в этой слащавой пошлости примитивного любования природой заключено превратно понятое последнее проявление какой-то таинственной второй жизни, и значит, в конце концов она все-таки есть или была!

— Тогда нечего тебе потешаться над этим, — возразила Агата, хмурясь от любознательности и сияя от нетерпения.

— Я потешаюсь только потому, что люблю потешаться, — коротко ответил Ульрих.

12

Святые разговоры. Изменчивое продолжение

Впоследствии на столе всегда лежало большое количество книг, частью привезенных им из дому, частью купленных потом, и порою он говорил вольно, а порою, для доказательства или чтобы привести какое-нибудь выражение дословно, раскрывал их в каком-нибудь из отмеченных многочисленными закладками мест. По большей части то были жизнеописания и собственные сочинения мистиков или ученые труды о них, и обычно он переводил разговор на другую тему словами: «Давай-ка взглянем как можно более трезво, что тут происходит». Это было осторожное поведение, добровольно отказаться от которого ему было нелегко, и как-то раз он сказал:

— Если бы ты прочла сплошь все эти описания одержимости богом, оставленные мужчинами и женщинами прошедших веков, то нашла бы, что в каждой их букве есть правда и подлинность, и все-таки состоящие из этих букв утверждения донельзя претили бы твоему здравому смыслу. — И он продолжил: — Они говорят о переливающимся сиянии. О бесконечном просторе, бесконечном обилии света. О неуловимом «единстве» всех вещей и духовных сил. О чудесном и неопишемом взлете души. Об озарениях знанием, таких быстрых, что все делается одновременным, похожих на падающие в мир капли огня. А с другой стороны, они говорят о забвении, о возникающем непонимании, да и о гибели всего на свете. Они говорят об огромном покое, о полной отрешенности от страстей. Об онемении. Об исчезновении мыслей и намерений. О слепоте, в которой они ясно видят, о ясности, в которой они мертвы и сверхъестественно живы. Они называют

это уходом в небытие и все же утверждают, что живут более полной, чем когда-либо, жизнью. Не те же ли самые это, хотя и под мерцающим словесным покровом, ибо их трудно выразить, — не те же ли самые это ощущения, какие испытываешь и сегодня, когда сердце — «жадное и насытившееся», как они говорят! — оказывается вдруг в тех утопических сферах, что находятся где-то и нигде между бесконечной нежностью и бесконечным одиночеством?!

В маленькую паузу, которую, задумавшись, сделал Ульрих, вторгся голос Агаты:

— Это то, что ты однажды назвал двумя пластами, лежащими в нас один над другим?

— Я... когда?

— Ты пошел без всякой цели в город, и тебе казалось, будто ты растворяешься в нем, но он в то же время тебе не нравился, а я сказала тебе, что со мной так часто бывает.

— О да! Ты еще упомянула потом Хагауэра! — воскликнул Ульрих. — И мы засмеялись. Теперь вспоминаю. Но мы имели это в виду не совсем буквально. Я ведь и вообще уже рассказывал тебе о дающем и о берущем видении, о мужском и женском начале, о гермафродитизме первобытной фантазии и тому подобном. Я могу много говорить о таких вещах! Словно рот мой так же далек от меня, как луна, которая всегда налицо, когда ночью нужно с кем-нибудь поговорить по душам! Но то, что повествуют о приключениях своей души эти религиозные люди, — продолжал он, и к горечи его слов опять приметались объективность и восхищение, — это написано порой с силой и беспощадной убедительностью стендаlevского анализа. Впрочем, — уточнил он, — лишь до тех пор, пока они излагают феномены и не выражают своего мнения, ложного из-за лестной их убежденности в том, что они избраны богом узреть его непосредственно. Ибо с этого момента они уже, конечно, не рассказывают нам своих трудноописуемых ощущений, не признающих ни существительных, ни глаголов, а говорят фразами с подлежащими и дополнениями, потому что верят в свою душу и в бога как в два дверных косяка, между которыми откроется чудо. И так вот они и доходят до утверждений, что душа была вынута у них из тела и погружена в бога или что бог проникает в них как любовник. Бог ловит, проглатывает, ослепляет, похищает, насилует их, или их душа простирается к нему, проникает в него, вкушает от него, обнимает его с любовью и слышит, как он говорит. Земной прототип при этом нельзя не узнать. И описания эти походят уже не на невероятные открытия, а на довольно однообразные картины, какими тот или иной бард любви

украшает свой предмет, по поводу которого дозволено только одно мнение. Для меня лично, приученного к сдержанности, такие отчеты — сушая пытка, потому что как раз в тот момент, когда эти избранники уверяют, что бог говорил с ними или что они понимали язык деревьев и животных, они не считают нужным сказать мне, что же именно было им сообщено. А если и говорят, то выходят лишь частные дела да обычные церковные новости. Ужасно жаль, что у исследователей, занимающихся точными науками, не бывает видений! — заключил он свой длинный ответ.

— А по-твоему, они могли бы у них быть? — спровоцировала его Агата.

Ульрих помедлил одно мгновение. Потом ответил так, словно открывал ей свою веру:

— Не знаю. Может быть, со мной это могло бы случиться!

Услыхав собственные слова, он улыбнулся, чтобы сузить их смысл.

Агата тоже улыбнулась; теперь она, казалось, получила ответ, которого жаждала, и на лице ее отразился тот краткий миг растерянного разочарования, что следует за внезапным разряжением обстановки. И возразила она, наверно, только потому, что хотела опять подзадорить брата.

— Ты знаешь, — сказала она, — что я воспитывалась в очень религиозном институте. В результате у меня есть явная склонность окарикатуривать такие вещи, и она становится просто гадкой, когда кто-нибудь начинает говорить о религиозных идеалах. Наши воспитательницы носили форму, два цвета которой составляли крест, и это, конечно, напоминало об одной из высочайших идей, которая таким образом маячила перед нами весь день. Но мы ни секунды о ней не думали и называли наших матушек не иначе, как паучихами-крестовицами за их внешность и шелковисто-мягкие речи. И когда ты читал, мне хотелось то плакать, то смеяться.

— Знаешь, что это доказывает? — воскликнул Ульрих. — Да только то, что сила для добра, которая, видимо, каким-то образом заложена в нас, тотчас же разъедает стенки, как только ее запрут в твердую форму, и через отверстие сразу же улетает ко злу! Это напоминает мне время, когда я был офицером и вместе со своими товарищами служил опорой престолу и алтарю: ни разу в жизни я больше не слышал таких вольных разговоров о том и другом, как в нашем кругу! Чувства не терпят, чтобы их привязывали, особенно — определенные чувства. Я убежден, что ваши славные воспитательницы сами верили в то, что вам проповедовали. Но вера не должна стареть ни на час! Вот в чем штука!

Хотя Ульрих от смеха не высказался в свое удовольствие, Агата и сама

поняла, что вера тех монахинь, отбившая у нее вкус к вере, была как бы консервированной — хоть и в собственном, так сказать, соку, хоть и не утратившей никаких свойств веры, но все-таки не свежей, даже каким-то неясным образом перешедшей в иное состояние, чем то изначальное, которое, наверно, смутно почуяла в это мгновение взбунтовавшаяся и нерадивая ученица святош.

Вместе со всем остальным, что они уже высказали насчет морали, это входило в те волнующие сомнения, которые заронил в ней брат, и в то состояние нового внутреннего пробуждения, которое она с тех пор чувствовала, хотя в нем и не разобралась. Ибо состояние безразличия, усердно выставляемое ею напоказ и лелеемое в себе, не всегда царило в ее жизни. Однажды произошло что-то, после чего эта потребность наказать себя самое сразу родилась из глубокой подавленности собственным ничтожеством, поскольку ей, как она считала, не было дано сохранить верность высоким чувствам, и с тех пор она презирала себя за леность сердца. Произошло это событие между ее девичеством в доме отца и непонятным браком с Хагауэром и на таком узком отрезке времени, что даже Ульрих при всей его участливости до сих пор не спросил ее о том случае. Рассказать о нем можно быстро: в восемнадцать лет Агата вышла замуж за человека, который был лишь немного старше ее, и в поездке, начавшейся их свадьбой и закончившейся его смертью, он еще до того, как они определили, где будут жить, был за какие-то несколько недель отнят у нее болезнью, которой заразился в пути. Врачи назвали это тифом, и Агата повторяла их слово, находя в этом какую-то видимость порядка, ибо такова была отполированная для хождения в мире сторона дела; но на неотполированной оно выглядело иначе. Дотоле Агата жила с отцом, которого все уважали, и потому она сомневалась в себе, считая, что, не любя его, поступает плохо, да и неуверенность, с какой она ждала в институте, что из нее выйдет, тоже не сделала ее отношение к миру более доверчивым, а ее связь с ним прочней; зато позднее, когда она со вдруг пробудившейся живостью и общими усилиями с другом детства в несколько месяцев преодолела все трудности, которые вставали перед их браком из-за чрезвычайной молодости обоих, хотя семьи влюбленных ничего не имели друг против друга, она вдруг перестала быть одинокой и именно благодаря этому стала самой собой. Это можно было бы, значит, назвать любовью; но есть влюбленные, которые глядят на любовь, как на солнце, они просто слепнут, а есть влюбленные, которые впервые удивленно взирают на жизнь, когда ее озарит любовь. Принадлежа ко вторым, Агата еще совершенно не знала, любит ли она своего спутника или

что-то другое, когда пришло то, что на языке неозаренного мира называют инфекционной болезнью. Это была буря ужаса, внезапно вырвавшаяся из неведомых областей жизни, это были борьба, трепыхание и угасание, мука двух цепляющихся друг за друга людей и гибель простодушного мира в рвоте, экскрементах и страхе.

Реальности того, что случилось и что уничтожило ее чувства, Агата так и не признала. В растерянности отчаянья припадала она, стоя на коленях, к постели умирающего и уверяла себя, что снова сможет вызвать заклятиями ту силу, которой преодолела в детстве собственную болезнь; но когда угасание все-таки не прекратилось и уже наступило беспамятство, она в комнате какой-то чужой гостиницы, не замечая опасности, обняла умирающего и, непонимающе глядя в это покинутое лицо, не замечая реальных нужд, о которых заботилась возмущенная сиделка, только и делала, что часами шептала в ухо, уже не слышавшее: «Не смей, не смей, не смей!» А когда все кончилось, она удивленно встала, и с момента этой пустой удивленности без каких-либо особых мыслей и мнений, просто от мечтательности и своенравия одинокой натуры, внутренне смотрела на случившееся так, словно в нем не было окончательности. Тенденцию к чему-то подобному проявляет, пожалуй, и каждый человек, когда он не хочет верить горестной вести или утешительно прикрашивает непоправимое; особенными, однако, в поведении Агаты были сила и размах этой реакции: ведь она, Агата, вдруг, можно сказать, презирала мир. Новое она с тех пор заведомо воспринимала только так, словно оно не явь, а что-то в высшей степени неизвестное, и ее всегдашнее недоверие к реальности очень помогало ей держаться этой позиции; зато прошедшее от перенесенного удара окаменело и уносилось прочь временем гораздо медленнее, чем это обычно бывает с воспоминаниями. Но тут не было ничего от наваждений, извращений и расстройств, которые вызывают к врачу; внешне Агата жила потом, наоборот, очень ясно, непритязательно-добродетельно и только немного скучно, с легкой подчеркнутостью неохоты жить, подчеркнутостью, и впрямь похожей на лихорадку, которой она так странно-добровольно страдала в детстве. А то, что в ее памяти, и так-то не склонной растворять в обобщениях свои впечатления, каждый час того ужаса продолжал пребывать как закрытый белой простыней труп, это, несмотря на все муки, связанные с такой точностью воспоминания, доставляло ей счастье, ибо походило на таинственный, запоздалый намек, что еще не все кончено, и сохраняло ей при упадке духа какую-то неясную, но благородную напряженность. В действительности все это, впрочем, свелось только к тому, что она снова утратила смысл своего существования

и намерение перевела себя в состояние, не подходившее к ее годам; ведь только старые люди живут погрузившись в прошлые дела и успехи и отгородившись от настоящего. К счастью для Агаты, однако, в том возрасте, в каком она тогда находилась, решения хоть и принимают навечно, но год в этом возрасте весит чуть ли уже не половину вечности, и через некоторое время подавленная природа и скованное воображение не могли не взять своего. Подробности того, как это произошло, довольно безразличны; некоему мужчине, чьи усилия при других обстоятельствах вряд ли вывели бы ее из равновесия, удалось этого добиться, и он стал ее возлюбленным, и эта попытка повторения кончилась, после очень короткой поры фанатической надежды, страстным отрезвлением. Агата почувствовала себя теперь выброшенной из своей реальной и из своей нереальной жизни и недостойной высоких помыслов. Она принадлежала к тем пылким людям, которые очень долго могут вести себя спокойно и выжидательно, пока вдруг в чем-нибудь вконец не запутаются, и поэтому, разочаровавшись, она вскоре приняла новое опрометчивое решение, состоявшее, вкратце сказать, в том, что наказала себя противоположным тому, каким согрешила, образом, осудив себя разделить жизнь с человеком, который внушал ей легкое отвращение. И этим человеком, выисканным ею себе в наказание, был Хагауэр, «Это было, правда, несправедливо по отношению к нему и неделикатно!» — призналась себе Агата, и призналась в этот миг, надо прибавить, впервые, ибо справедливость и деликатность — не очень-то любимые молодыми людьми добродетели. Все же и ее «самонаказание» было в их браке не так уж пустячно, и Агата стала размышлять дальше на эту тему. Она ушла мыслями далеко, да и Ульрих что-то искал в своих книгах и, казалось, забыл продолжить разговор. «В прошлые века, — думала она, — человек в моем настроении ушел бы в монастырь», — а то, что она вместо этого вышла замуж, не было лишено невинного комизма, до сих пор, однако, от нее ускользающего. Этот комизм, которого раньше не замечал ее юный ум, был, впрочем, не чем иным, как комизмом нашего времени, удовлетворяющего потребность в бегстве от мира в худшем случае на туристском привале, а обычно в альпийском отеле и даже стремящегося поуютнее меблировать места заключения. Тут заявляет о себе глубоко европейская потребность ничего не преувеличивать... Никакой европеец не станет сегодня бичевать себя, посыпать себя пеплом, отрезать себе язык, самозабвенно отдаваться чему-то или хотя бы удаляться от людей, сгорать от страсти, колесовать или протыкать кого-то копьем; но у каждого возникает порой такая потребность, и поэтому трудно сказать, чего следует избегать — желаний

или бездействия. Зачем, спрашивается, изнурять себя голодом именно аскету? Это только разгорячит его фантазию! Разумная аскеза состоит в отвращении к еде при регулярном и здоровом питании! Такая аскеза сулит постоянство и дает духу ту свободу, которой у него нет, когда он, страстно бунтуя, зависит от тела! Такие горько-забавные рассуждения, перенятые ею у брата, действовали на Агату очень благотворно, потому что разлагали «трагизм», упорно верить в который она по своей неопытности долго считала обязанностью, на иронию и страсть, не имевшие ни названия, ни цели и уже потому отнюдь не кончавшиеся тем, что она испытала.

Таким образом, она и вообще замечала, с тех пор как была в обществе брата, что в изведанный ею большой разрыв между безответственной жизнью и призрачной фантазией вопило какое-то развязывающее движение, которое заново связывает развязанное. Сейчас, например, в углубленной книгами и воспоминаниями тишине царившего между нею и братом молчания, она припомнила описание Ульрихом того, как он, бесцельно бродя, вошел в город, а город при этом вошел в него. Это очень сильно напомнило ей недолгие недели ее счастья; и правильно, что она засмеялась, да, она совершенно без причины, бессмысленно засмеялась, когда он это рассказывал, потому что заметила, что нечто от этой извращенности мира, от этой блаженной и сметной вывороченности наизнанку, о которой он говорил, было даже в толстых губах Хагауэра, когда они округлялись для поцелуя. Правда, от этого ее дрожь брала; но дрожь берет, думала она, и от ясного света дня, и каким-то образом она почувствовала тогда, что еще не все возможности исчерпаны для нее. Какая-то пустота, какое-то зияние, которые всегда были между прошлым и настоящим, в последнее время исчезли. Она украдкой огляделась вокруг. Комната, где она находилась, составляла часть помещений, где возникла ее судьба; об этом она подумала сейчас впервые за все время своего пребывания здесь. Ведь здесь она, когда знала, что отца нет дома, сходилась со своим товарищем детства, после того как они приняли великое решение любить друг друга, здесь принимала она иногда и «недостойного», стояла у окон, тайком роняя слезы ярости или отчаяния, и здесь, наконец, при отцовском содействии, протекало хагауэровское сватовство. Эта мебель, эти стены, этот по-особенному замкнутый свет, бывшие доселе лишь неприметным фоном событий, стали сейчас, в миг нового узнавания, на диво осязаемы, и то, что фантастически прошло среди них, образовало такое телесное, ничуть уже не эфемерное прошлое, словно было пеплом или древесным углем. Теперь осталось только и стало почти невыносимо сильным смешное в своей смутности чувство былого, этот

чудной зуд, который ощущаешь при виде старых, высохших, превратившихся в прах следов самого себя, и не можешь в тот миг, когда ощущаешь, ни прогнать его, ни схватить.

Удостоверившись, что Ульрих не обращает на нее внимания, Агата осторожно раскрыла на груди платье, в том месте, где носила на теле медальон с миниатюрой, с которой не расставалась все эти годы. Она подошла к окну и сделала вид, что смотрит в него. Тихонько щелкнув тонкой крышечкой крошечной золотой устрицы, она украдкой поглядела на своего умершего возлюбленного. У него были полные губы и мягкие густые волосы, и лихостью двадцатилетнего повеяло от еще как бы не вылупившегося лица. Она долго не знала, что она думала, но вдруг подумала: "Боже мой, мальчик двадцати одного года! О чем говорят такие молодые люди друг с другом? Какое значение придают своим делам? Как смешны и претенциозны они часто бывают! Как заблуждается живость их мыслей насчет ценности этих мыслей!" С любопытством разворачивая папиросную бумагу памяти, Агата вынимала из нее старые фразы, которые хранила там, считая их бог весть какими умными. Боже мой, мы говорили почти значительные вещи, подумала она; но, в сущности, даже такого утверждения нельзя было сделать с уверенностью, не представив себе сада, где это говорилось, со странными цветами, названий которых они не знали, с бабочками, которые садились на эти цветы, как усталые пьяницы, со светом, который тек по их лицам так, словно небо и земля в нем растворились. По той мерке она была сегодня старой и опытной женщиной, хотя число прошедших лет было не так велико, и она немного смущенно отметила несообразность того, что она, двадцатисемилетняя, все еще любила двадцатилетнего: он стал для нее слишком молод! Она спросила себя: "Какие чувства, собственно, были бы у меня, если бы этот мальчик был мне в моем возрасте и правда важнее всего на свете?" Пожалуй, это были бы довольно странные чувства; они ничего для нее не значили, она не могла даже составить себе ясное представление о них. И сущности, все растворилось в ничто.

Агата с какой-то большой, ширящейся уверенностью признала, что в единственной гордой страсти своей жизни впала в заблуждение, и ядро этого заблуждения состояло из огненного тумана, который оставался неосязаемым и неуловимым, и было совершенно неважно, сказать ли, что вера не должна стареть ни на час, или назвать это иначе; и всегда не о чем ином, как об этом, говорил ее брат, с тех пор как они оказались вместе, и всегда говорил он не о ком ином, как о ней самой, хоть и делал всякие философские экивоки и его осторожность часто была слишком

медлительна для ее нетерпения. Они снова и снова возвращались к одному и тому же разговору, и Агата сама сгорала от желания, чтобы его пламя не уменьшалось.

Когда она сейчас заговорила с Ульрихом, он и не заметил, что пауза была весьма продолжительна. Но тот, кто еще не распознал по приметам, что происходило между этими братом и сестрой, пусть отложит в сторону настоящий отчет, ибо в нем описывается приключение, которого он никогда не сможет одобрить, — путешествие на край возможного, мимо, а может быть, и не всегда мимо опасностей невозможного и неестественного, даже отталкивающего; «пограничный инцидент», как позднее назвал это Ульрих, ограниченного и особого значения, напоминающий ту свободу, с какой математика порой прибегает к абсурду, чтобы добраться до истины. Он и Агата вступили на путь, имевший много общего с повадкой одержимых богом, но они шли им, не будучи религиозны, не веря ни в бога, ни в душу, ни даже в жизнь на том свете; они вступили на нею людьми этого света и шли им как таковые. И именно это заслуживало внимания. Хотя в ту минуту, когда сестра заговорила с ним снова, Ульрих был еще поглощен своими книгами и вопросами, которые они ему задавали, он ни на один миг не упускал из памяти разговора, прервавшегося на сопротивлении сестры религиозности ее наставниц и его собственном требовании «точных видений», и отметил немедленно:

— Вовсе не нужно быть святым, чтобы испытать что-то в этом роде! Можно сидеть на упавшем дереве или на скамейке в горах, наблюдая за стадом коров на пастбище, и уже при этом почувствовать себя вдруг перенесенным в другую жизнь! Теряя себя, вдруг приходишь к себе самому. Ты же сама говорила об этом!

— Но что же тут происходит? — спросила Агата.

— Чтобы узнать это, ты сперва должна уяснить себе, в чем состоит обычное, братец сестра! — сказал Ульрих, пытаясь притормозить шуткой слишком прыткую и увлекательную мысль. — Обычное состоит в том, что стадо означает для вас всего лишь пасущуюся говядину. Или оно есть нечто живописное с задним планом. Иди на него вообще не обращают внимания. Стада у горных дорог — это неотъемлемая принадлежность горных дорог, и заметить, что ты испытываешь при виде стада, ты смог бы лишь в том случае, если бы на его месте оказались уличные электрические часы или доходный дом. Обычно думаешь, встать или посидеть еще; мешают мухи, роящиеся вокруг стада; смотришь, есть ли в стаде бык; думаешь, куда пойдет дорога дальше. Есть несметное множество всяких маленьких намерений, забот, расчетов и наблюдений, и они как бы образуют бумагу,

на которой изображено стадо. Ты не замечаешь бумаги, а намечаешь лишь стадо на ней...

— И вдруг бумага рвется! — вставила Агата.

— Да. Это значит: в нас рвется какое-то привычное сплетение. Тогда ничего съедобного уже не щиплет траву; ничего живописного; ничто не преграждает тебе путь. Ты уже не можешь даже произнести слова «щипать траву» или «пасться», потому что для этого требуется множество целесообразных, полезных представлений, которые ты вдруг утратил. То, что остается на плоскости изображения, скорее всего назовешь волнами ощущений, волнами, которые вздымаются, опускаются, дышат, блестят, как если бы они без очертаний заполняли все поле зрения. Конечно, и тут есть еще бесчисленное множество отдельных восприятий, красок, рогов, движений, запахов и всего, что относится к действительности. Но это уже не признается, хотя бы оно и узнавалось. Я хочу сказать: у подробностей нет больше их эгоизма, который притягивает на наше внимание, они теперь по-братски и в буквальном смысле слова «проникновенно» связаны между собой. И конечно, нет уже никакой «плоскости изображения», все как-то без границ переходит в тебя.

Агата опять оживленно подхватила это описание.

— Теперь тебе достаточно сказать вместо «эгоизм подробностей» — «эгоизм людей», — воскликнула она, — и получится то, что так трудно выразить: «Люби ближнего своего!» не значит «люби его таким, каков он и каков ты», а обозначает некое мечтательное состояние!

— Все требования морали, — подтвердил Ульрих, — обозначают некое мечтательное состояние, уже ушедшее из правил, в которые их облачают!

— Тогда нет, в сущности, добра и зла, а есть только вера или сомнение! — воскликнула Агата, которой первоначальное окрыленное состояние веры показалось теперь таким же близким, как и та утрата его в морали, о которой говорил брат, когда сказал, что вера не может постареть ни на час.

— Да, в тот момент, когда уходишь от несущественной жизни, все вступает в новое отношение ко всему, — согласился Ульрих. — Я чуть не сказал: теряет какое-либо отношение. Ибо это совершенно неведомое, никогда не испытанное нами отношение, а все остальные отношения гаснут. Но это единственное, несмотря на свою темноту, так явственно, что его нельзя отрицать. Оно сильно, но сильно неосвязаемо. Хочется сказать так: обычно на что-нибудь смотришь, и взгляд — как палочка или как натянутая нить, которой глаз и рассматриваемый предмет поддерживают

друг друга, и какая-то большая сетка такого рода поддерживает каждую секунду; а в эту секунду, о которой мы говорили, что-то мучительно сладостное скорее разнимает лучи глаз.

— Ничем на свете не обладаешь, ничего уже прочно не держишь, и ничто больше не держит прочно тебя, — сказала Агата. — Все как высокое дерево, на котором не колышется ни один листик. И в этом состоянии нельзя сделать ничего низкого.

— Говорят, что в этом состоянии не может произойти ничего, что не было бы сообразно с ним, — дополнил Ульрих. — Желание «пребывать в нем» — единственная причина, преисполненное любви назначение и единственная форма всех действий и мыслей, какие в нем могут быть. Оно бесконечно покойно и всеобъемлюще, и все, что в нем происходит, умножает его спокойно возрастающий смысл; или не умножает, но тогда это что-то дурное, а дурное не может случиться, потому что в тот же миг разорвутся тишина и ясность и прекратится это дивное состояние.

Ульрих испытующе поглядел на сестру, стараясь, чтобы она этого не заметила; у него все-таки все время было чувство, что пора бы уж перестать. Но лицо Агаты было замкнуто; она думала о давно прошедшем. Она ответила:

— Я удивляюсь себе самой, но действительно было короткое время, когда я не знала зависти, злости, тщеславия, жадности и тому подобного; сейчас трудно в это поверить, но мне кажется, что тогда они разом исчезли не только из сердца, но и из мира! Тогда не только сама не можешь вести себя низко, но и другие тоже не могут. Добрый человек делает добрым все, что с ним ни соприкоснется, остальные могут предпринимать против него все, что угодно; как только это входит в его сферу, оно меняется благодаря ему!

— Нет, — прервал ее Ульрих, — это не совсем так. Напротив, это одно из старейших недоразумений! Добрый человек отнюдь не делает мир добрым, он вообще не оказывает на него никакого воздействия, он только обособляется от него!

— Но ведь он же остается среди него!

— Он остается среди него, но ему кажется, будто из вещей вынули пространство или что происходит что-то воображаемое. Это трудно выразить!

— Тем не менее я думаю, что человеку «возвышенному» — мне просто подвернулось это слово! — никогда не заступит путь что-либо низкое. Может быть, это чепуха, но так бывает.

— Может быть, так и бывает, — возразил Ульрих, — но бывает и

противоположное! Или, по-твоему, у солдат, распявших Христа, не было низких чувств! А ведь солдаты эти были орудиями бога! Кроме того, даже по свидетельствам людей экстатических, существуют дурные чувства. Они жалуются, что выходят из состояния благодати, отчего испытывают невыразимую тоску, им ведомы страх, боль, стыд и, может быть, даже ненависть. Только когда это тихое горение начинается снова, раскаянье, злость, страх и боль делаются блаженством. Обо всем этом так трудно судить!

— Когда ты был так влюблен? — неожиданно спросила Агата.

— Я? Ну, да ведь я уже рассказывал это тебе. Я убежал от любимой за тысячу километров и, когда почувствовал себя застрахованным от всякой возможности ее реальных объятий, стал выть на нее, как пес на луну!

Теперь Агата поведала ему историю своей любви. Она была взволнована. Уже свой последний вопрос она отпустила как слишком туго натянутую струну, и дальнейшее последовало в той же манере. Внутри у нее все дрожало, когда она открывала то, что таила годами.

Но брат ее не был так уж ошеломлен.

— Воспоминания обычно стареют вместе с людьми, — объяснил он ей, — и страстные дела видятся со временем в смешной перспективе, словно сквозь анфиладу, через девяносто девять открытых друг за другом дверей. Но порой, когда они были связаны с очень сильными чувствами, отдельные воспоминания не стареют и привязывают к себе целые пласты личности. Так было в твоем случае. Почти в каждом человеке есть такие точки, немного нарушающие его психическую соразмерность. Его поведение протекает над ними как река над невидимым валуном, а у тебя это было просто очень сильно, так что течение как бы приостановилось. Но в конце концов ты все-таки освободилась, ты снова в движении!

Он объяснил это со спокойствием почти профессионального мышления; он легко отвлекался! Агата была несчастна. Она сказала упрямо:

— Конечно, я в движении, но я же говорю не об этом! Я хочу знать, до чего я тогда чуть не дошла!

Она была еще и раздражена, не желая того, просто потому, что ее волнение должно было как-то выразиться; тем не менее она продолжала говорить, держась первоначального направления своей взволнованности, и ей было головокружительно не по себе между нежностью ее слов и этим подспудным раздражением. Так рассказала она о странном состоянии повышенной восприимчивости и чуткости, при котором впечатления переливаются через край, чтобы тут же отхлынуть снова, отчего возникает

чувство, что ты, словно в мягком зеркале водной глади, связан со всеми вещами на свете и независимо от своей воли даешь и берешь, — это дивное чувство исчезновения границ и безграничности вне и внутри тебя, одинаково свойственное любви и мистике! Рассказала это Агата, конечно, но в таких словах, уже заключающих в себе объяснение, она просто привела подряд несколько страстных отрывков запомнившегося; но и Ульрих, хотя он часто об этом думал, тоже не способен был объяснить эти состояния, он даже не знал, исходить ли при попытке их объяснения из них самих или следовать обычной логике; то и другое было одинаково естественно для него — но не для его сестры с ее ощутимой страстностью. Его ответ был поэтому просто посредничеством, некоей проверкой возможностей. Он указал на удивительное родство, возникающее в том приподнятом состоянии, о котором они говорили, между мышлением и нравственностью: каждая мысль ощущается как счастье, событие и подарок и не то что не откладывается про запас, а вообще не связывается с чувствами приобретения, овладения, удержания и наблюдения, благодаря чему в уме не меньше, чем в сердце, наслаждение самообладанием заменяется безграничной самоотдачей и сопричастностью всему на свете.

— Один раз в жизни, — мечтательно-решительно ответила на это Агата, — все, что бы ты ни делал, ты делаешь для другого. Ты видишь, как для него светит солнце. Он везде, а тебя самой нет нигде. И все-таки это не «эгоизм вдвоем», ибо с другим должно происходить в точности то же самое. Практически оба перестают существовать друг для друга, а остается мир лишь для двух человек, состоящий из уважения, покорности, дружбы и самоотверженности!

В темноте комнаты щека ее горела от пыла, как роза в тени, И Ульрих попросил:

— Давай теперь опять говорить более трезво. В этих вопросах бывает слишком много мошенничества, И это тоже не показалось ей неправильным. Возможно, что из-за ее раздраженности, которая все еще не совсем улетучилась, этот реалистический призыв несколько убавил ее энтузиазм; но оно не было неприятным ощущением, это неуверенное дрожание рубежа.

Ульрих стал говорить о том, что это безобразие — толковать состояния, о которых они беседовали, так, словно в них происходит не просто своеобразное изменение мышления, а смена обычного мышления сверхчеловеческим. Как бы ни называли их — божественным озарением или, по моде нового времени, просто интуицией, — он считал это главной помехой подлинному пониманию. По его убеждению, ничего нельзя было

выиграть, предавшись иллюзиям, не выдерживающим тщательной проверки. Это, воскликнул он, как восковые крылья Икара, которые тают на большой высоте: если хочешь летать, не просто во сне, надо научиться летать на металлических крыльях.

И, указывая на свои книги, продолжил после короткой паузы:

— Вот христианские, иудейские, индийские и китайские свидетельства. Некоторые из них разделены больше, чем тысячей лет. Тем не менее во всех узнаешь один и тот же, отклоняющийся от обычного, но целостный сам по себе строй внутреннего волнения. Они отличаются друг от друга почти в точности только тем, что идет от их связи с какой-то религиозной доктриной, с какой-то теологической постройкой, под крышей которой они нашли пристанище. Мы вправе, значит, предположить, что существует некое второе, необычное и очень важное состояние, в которое человек способен войти и которое исконнее, чем религии.

— С другой стороны, — прибавил он, — церкви, то есть цивилизованные коллективы религиозных людей, относились к этому состоянию с недоверием, похожим на недоверие бюрократа к частной инициативе. Они никогда не признавали этих восторгов безоговорочно, а, напротив, прилагали большие и, видимо, оправданные усилия к тому, чтобы заменить их отрегулированной и понятной моралью. Вот почему история этого состояния похожа на прогрессирующее отрицание и утеснение, напоминающее осушение болота.

— А когда духовное господство церкви, — заключил он, — и ее лексикон устарели, это состояние, понятно, стали считать вообще какой-то химерой. Почему буржуазная культура, придя на место религиозной, должна была быть религиозней, чем та?! Она надругалась над этим другим состоянием, отведя ему роль собаки, которая приносит в зубах клочки знания. Сегодня множество людей жалуется на разум и хочет убедить нас, что в самые мудрые свои мгновения они мыслят с помощью какой-то особой способности, более высокой, чем способность к мышлению. Это последний, сам по себе уже насквозь рационалистичный, гласный остаток феномена. На дне осушенного болота оказалась ерунда! И прежнее состояние позволительно теперь, кроме как в стихах, только непросвещенным лицам в первые недели любви как мимолетное смятение. Это, так связать, запоздалые зеленые листочки, распускающиеся вдруг на дереве кроватей и кафедр. Но где этот побег хочет подняться во весь свой первоначальный рост, там его безжалостно выпаливают с корнем.

Ульрих говорил почти так же долго, как моет хирург руки до локтя, чтобы не занести микробов в операционное поле; и с таким же терпением,

с таким же сосредоточенным спокойствием, которые так не вяжутся с неизбежным к предстоящей работе волнением. Но добившись полной стерильности, он чуть ли не с тоской подумал о небольшой инфекции и лихорадке, ибо любил трезвость не ради ее самой. Агата сидела на стремянке, служившей для доставания книг с полок, и, когда брат умолк, не проявила никакого участия; она глядела на бесконечную, океанскую серость неба и слушала молчание, как прежде речь. И Ульрих продолжил с долей упрямства, едва скрывая его шутливым тоном:

— Вернемся к нашей скамье в горах со стадом коров, — попросил он. — Представь себе, что там сидит какой-нибудь канцелярист в новых, с иголки, кожаных штанах, с зелеными подтяжками, на которых вышито «Бог в помощь»: он представляет реальное содержание жизни, пребывающее в отпуске. Тем самым его ощущение своего существования, разумеется, временно изменено. Глядя на стадо коров, он не считает, не нумерует, не определяет живой вес пасущегося перед ним скота, прощает своих врагов и ласково думает о своей семье. Стадо превратилось для него из предмета практического в предмет, так сказать, моральный. Возможно, конечно, что он все-таки немного считает и вычисляет и не совсем прощает, но это, по крайней мере, овеяно шумом леса, лепетом ручья и солнечным светом. Сформулировать это можно, значит, так: то, что вообще составляет содержание его жизни, кажется ему «далеким» и «маловажным по сути».

— Каникулярное настроение, — машинально добавила Агата.

— Совершенно верно! И если неканикулярное житье представляется ему теперь «маловажным», то это значит лишь — на время отпуска. Истина, стало быть, состоит ныне вот в чем: у человека есть два состояния бытия, сознания и мышления, и от смертельного ужаса, который это могло бы ему внушить, он спасается тем, что одно он считает отпуском от другого, передышкой внутри его отдыхом, от него или еще чем-то, что он, как он думает, знает. Мистика же была бы связана с прицелом на постоянные каникулы. Наш канцелярист найдет это безответственным и сразу же, как то, впрочем, и бывает с ним к концу отпуска, почувствует, что настоящая жизнь — в его аккуратной канцелярии. А разве мы чувствуем по-другому? Можно ли что-то привести в порядок или нет — вот чем всегда в конечном счете определяется, отнесемся ли мы к этому со всей серьезностью или нет. И вот тут-то состояниям этим не везет, ибо за тысячи лет они не вышли за пределы своей изначальной беспорядочности и незавершенности. И для таких вещей имеется наготове понятие мании — религиозная мания, бред или любовная мания, как тебе угодно. Можешь

поверить мне: сегодня даже люди религиозные в большинстве своем настолько заражены научным мышлением, что не осмеливаются взглянуть, что же это такое горит у них глубоко в сердце, и всегда готовы помедицински назвать этот жар манией, даже если официально и говорят о нем в других выражениях!

Агата посмотрела на брата взглядом, в котором что-то хрустнуло, как огонь под дождем.

— Вот ты и вывел нас из затруднительного положения! — упрекнула она его, когда он перестал говорить.

— Ты права, — признал он. — Но вот что странно: мы закрыли все это, как подозрительный колодец, но какая-то оставшаяся капля этой жутковатой чудесной воды все-таки прожигает дыру во всех наших идеалах. Ни одни из них не идеален вполне, ни один не делает нас счастливыми. Они все указывают на что-то, чего нет. Ну, об этом мы сегодня говорили достаточно. Наша культура есть храм чего-то, что, будь оно на свободе, называлось бы манией, но в то же время она и тюрьма этому, и мы не знаем, страдаем ли мы от избытка или от недостатка.

— Может быть, ты никогда не осмеливался отдаваться этому целиком, — сказала Агата с сожалением, слезая со стремянки; они занимались, собственно, разбором бумаг отца, и от этой работы, ставшей со временем спешной, их просто отвлекли сперва книги, а потом разговор. Теперь они снова принялись просматривать распоряжения и заметки, касавшиеся раздела их наследства, ибо день, который они назначили Хагауэру, был уже недалек; но прежде чем они по-настоящему углубились в эту работу, Агата подняла глаза от бумаг и снова спросила:

— До какой степени веришь ты сам во все, что рассказывал мне?

Ульрих ответил, не подняв глаз:

— Вообрази себе, что в том стаде, когда твое сердце отрешилось от мира, находился злой бык! Попробуй действительно поверить, что смертельная болезнь, о которой ты говорила, протекла бы иначе, если бы твое чувство не ослабевало бы ни на секунду! — Затем он поднял голову и кивнул на лежавшие перед ним бумаги. — А закон, право, мера? По-твоему, это совершенно лишнее?

— Так до какой же ты степени веришь? — повторила Агата.

— И верю, и не верю, — сказал Ульрих.

— Значит, не веришь, — заключила Агата.

Тут в разговор их вмешался случай; когда Ульрих, который не был ни склонен возобновлять эту беседу, ни достаточно спокоен, чтобы думать поделовому, стал сейчас собирать разложенные перед ним бумаги, что-то

упало на пол. Это была рыхлая связка всякой всячины, извлеченная заодно с завещанием из недр письменного стола, где она провалялась, наверно, десятки лет в полном забвении. Подняв ее с пола и рассеянно взглянув на нее, Ульрих узнал на нескольких листках почерк отца, но не старческий, а поры расцвета. Он присмотрелся внимательнее, увидел, кроме исписанной бумаги, игральные карты, фотографии и всякие мелкие вещицы и быстро понял, что он нашел. То был, конечно, «потайной ящик» стола. Обнаружились тщательно записанные, большей частью похабные анекдоты; снимки обнаженных; открытки, посылавшиеся запечатанными, с дебелими пастушками, у которых можно было сзади открыть штанишки; колоды карт, с виду приличных, но если посмотреть на свет, показывавших черт знает что; человечки, проделывавшие всякие штучки, если нажать им на животик, и тому подобное. Старик наверняка давно забыл о вещицах, лежавших в ящике, а то бы он их вовремя уничтожил. Они остались, несомненно, от тех лет, когда многие стареющие холостяки и вдовцы забавляются подобными непристойностями, но Ульрих все-таки покраснел при встрече с оставленной на виду отцовской фантазией, которую смерть отделила от плоти. Связь с только что прерванным разговором стала ему мгновенно ясна. Тем не менее первым его побуждением было уничтожить эти свидетельства, пока их не увидела Агата. Но Агата уже увидела, что ему попало что-то необычное, и поэтому он передумал и подозвал ее.

Он хотел подождать и услышать, что она скажет. Вдруг им опять овладела мысль, что она как-никак женщина, у которой должен быть опыт, о чем во время их более глубоких разговоров он начисто забывал. Но по лицу ее нельзя было угадать, что она думает; на нелегальные отцовские реликвии она глядела задумчиво и спокойно, раз-другой улыбнувшись — не украдкой, но сдержанно. Поэтому, вопреки своему намерению, Ульрих заговорил сам.

— Вот тебе останки мистики! — сказал, он сердито-весело. — В одном ящике и завещание со строго-нравственными поучениями, эта дрянь!

Он встал и принялся ходить по комнате взад и вперед. И едва начал говорить, как молчание сестры подхлестнуло его продолжать.

— Ты спросила меня, во что я верю, — сказал он, — я верю, что все предписания нашей морали суть уступки обществу дикарей.

Я верю, что все они неправильны.

За ними мерцает другой смысл. Огонь, который должен был бы их переплавить.

Я верю, что ничто не закончено.

Я верю, что ничто не находится в равновесии, что все хочет подняться с помощью чего-то другого.

В это я верю. Это со мной родилось, или я родился с этим.

После каждой фразы он останавливался, ибо говорил он негромко и должен был чем-то подчеркнуть важность своего заявления. Его взгляд остановился теперь на классических гипсовых бюстах, стоявших наверху на книжных полках; он увидел какую-то Минерву, какого-то Сократа; он вспомнил, что Гете поставил у себя в комнате гипсовую голову Юноны больше натуральной величины. Пугающе далеким показалось ему это пристрастие: то, что когда-то было цветущей идеей, высохло в мертвый классицизм. Стало запоздалой, педантичной строптивостью отцовских современников. Пошло впустую.

— Мораль, оставленная нам в наследство, такова, что нас как бы послали ходить по качающемуся канату, который протянут над пропастью, — сказал он, — и не дали нам никакого напутствия, кроме одного: «Держись как можно прямее и тверже!»

Я, кажется, рожден с другой моралью, палец о палец не ударив для этого.

Ты спросила меня, во что я верю. Я верю, что мне можно тысячу раз доказать всеми расхожими доводами, что что-то хорошо или прекрасно, и это останется мне безразлично, а судить я буду единственно по тому признаку, поднимает ли меня близость этого или опускает.

Пробуждает ли это меня к жизни или нет.

Говорит ли об этом лишь мой язык и мой мозг или лучистая дрожь, пробирающая меня до кончиков пальцев.

Но и доказать я ничего не могу.

И я даже убежден в том, что человек, который этому поддается, — пропащий человек. Он уходит в сумерки. В туман и ерунду. В нечленораздельную скуку.

Если отнять у нашей жизни недвусмысленность, получится пруд с карпами без щуки.

Я верю, что тогда мерзкое — это даже наш добрый гений, который нас защищает!

Я, стало быть, не верю!

Но прежде всего я не верю в то, что зло сдерживается добром, а это и есть мешанина нашей культуры. Это мне отвратительно!

Я верю, стало быть, и не верю!

Но а верю, возможно, что через некоторое время люди станут, с одной стороны, очень умными, с другой стороны — мистиками. Возможно, уже и

сегодня наша мораль распадается на эти две составные части. Я мог бы сказать еще: на математику и мистику. На практическую мелиорацию и авантюры с неведомым!

Он уже много лет не был так открыто взволнован. Повторившегося в его речи слова «возможно» он не заметил, оно показалось ему вполне естественным, Агата тем временем стояла на коленях перед печкой; связка фотографий и бумаг лежала рядом с ней на полу; она бросала листки в огонь, предварительно взглянув еще раз на каждый в отдельности. Она была не совсем глуха к вульгарной эротике этих непристойностей. Она чувствовала, как они возбуждают ее тело, но сама она, казалось ей, не была этим телом: словно где-то в пустынном поле кролик шмыгнул. Она не знала, стыдно ли сказать это брату, но она устала до глубины души и больше говорить не хотела. Она не слушала и того, что он говорил; ее сердце слишком умаялось от этих подъемов и падений и не могло больше внимать. Другие ведь всегда лучше ее знали, что правильно; она думала об этом, но думала — возможно, потому, что ей было стыдно, — с тайным упрямством. Пойти недозволенным или тайным путем — в этом она чувствовала свое превосходство над Ульрихом. Она слышала, как он снова и снова осторожно брал назад все, до чего, увлекшись, дошел, и слова его падали в ее слух крупными каплями счастья и печали.

13

Ульрих возвращается и узнает у генерала обо всем, что он пропустил

Спустя двое суток Ульрих стоял в своем покинутом доме. День только начинался. Комнаты были тщательно убраны, пыль вытерта, все блестело; и совсем так же, как были брошены им на столах при его поспешном отъезде бумаги и книги, лежали они, под присмотром слуги, все там же, раскрытые или пестреющие непонятными уже пометками, а кое-где между страницами так и лежал оставленный им карандаш. Но все остыло и застыло, как содержимое тигля, под которым перестали поддерживать огонь. В мучительном отрезвлении, непонимающе глядел Ульрих на отпечаток минувшего часа, на матрицу бурных волнений и мыслей, его заполнявших. Он почувствовал, что ему до тошноты не хочется соприкасаться с этими остатками самого себя. «Это тянется теперь, — подумал он, — через двери по всему дому, вплоть до нелепости этих оленьих рогов внизу в вестибюле. Что за жизнь вел я последний год!» И,

так стоя, он закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. «Как хорошо, что она скоро приедет, мы устроим здесь все по-другому!» — подумал он. А потом ему все-таки стало соблазнительно восстановить в памяти последние часы, которые он провел здесь; ему показалось, что отсутствовал он бесконечно долго, и он захотел сравнить тогдашнее с нынешним. Кларисса — это был пустяк. Но до того и после того: странное волнение, в котором он спешил домой, и потом эта бессонница, когда расплавился мир! «Как железо, делающееся мягким при очень большом давлении, — думал он. — Оно начинает течь и все-таки остается железом. Человек силой проникает в мир, — мерещилось ему, — но вдруг мир смыкается вокруг человека, и все выглядит иначе. Нет больше связей. Нет пути, которым он пришел и должен идти дальше. Мерцающая замкнутость на том месте, где он только что видел цель или, вернее, трезвую пустоту, которая лежит перед каждой целью». Ульрих все еще не раскрывал глаз. Медленно, тенью, вернулось то чувство. Это произошло так, словно оно вернулось на то место, где он стоял тогда и стоял теперь, это чувство, которое было больше во внешнем пространстве, чем внутри, в сознании; скорее это вообще не было ни чувством, ни мыслью, а было каким-то жутковатым процессом. Кто был так взвинчен и одинок, как он тогда, тот вполне мог поверить, что сущность мира выворачивается наизнанку; и вдруг ему стало ясно, — непонятно было только, что это случилось только теперь, — стало ясно, открылось, как при спокойном взгляде назад, но уже тогда он предчувствовал встречу с сестрой, ибо с той минуты дух его направляли чудесные силы до... но прежде чем он успел подумать «вчерашнего дня», Ульрих отвернулся от своих воспоминаний с такой поспешностью, отпрянул от них так резко, словно ударился об острый край какого-либо предмета; тут было что-то, о чем он еще не хотел думать!

Он подошел к письменному столу и просмотрел лежавшую там почту, не сняв дорожной одежды. Он был разочарован, когда среди почты не оказалось телеграммы от сестры, хотя ждать ее не было оснований. Горой лежали соболезнования вперемешку с научными журналами и каталогами книжных магазинов. Было два письма от Бонадеи, таких толстых на ощупь, что он и открывать их не стал. Еще его ждали настоятельная просьба графа Лейнсдорфа зайти к нему и два щебечущих письма от Диотимы, которая тоже приглашала его показаться у нее сразу же по возвращении; при более внимательном чтении одно из них, более позднее, обнаружило неофициальные нотки, очень сердечные, меланхолические и чуть ли не нежные.

Ульрих обратился к записи телефонных звонков за время его

отсутствия: генерал фон Штумм, начальник отдела Туцци, дважды — личный секретариат графа Лейнсдорфа, много раз — дама, не назвавшая себя, вероятно Бонадея, директор банка Лео Фишель и всякие деловые звонки. Когда Ульрих читал это, все еще стоя у письменного стола, аппарат зазвонил; и, сняв трубку, Ульрих услышал: «Военное министерство, департамент образования и обучения, капрал Хирш»; голос был явно очень смущен тем, что неожиданно напал на самого Ульриха, и ретиво сообщил, что господин генерал приказал звонить в десять часов ежеутренне и сейчас будет говорить сам.

Пять минут спустя Штумм уверял, что сегодня же утром он должен присутствовать на «чрезвычайно важном совещании» и должен до этого во что бы то ни стало поговорить с Ульрихом; на вопрос, в чем дело и почему нельзя уладить его по телефону, генерал вздохнул в трубку и ответил: «Новости, заботы, вопросы», — и ничего определенного вытянуть из него не удалось. А двадцать минут спустя к воротам подъехал фиакр военного министерства, и генерал Штумм вошел в дом в сопровождении ординарца, у которого висел на плече большой кожаный портфель. Ульрих, знавший это вместилище духовных забот генерала еще со времен стратегических планов и реестра великих идей, вопросительно поднял брови. Штумм фон Кордвер улыбнулся, велел ординарцу подождать в карете, расстегнул мундир, чтобы достать ключик, который носил на цепочке на шее, отпер портфель и, не говоря ни слова, извлек из него — а в нем ничего больше и не было — две буханки армейского хлеба.

— Наш новый хлеб, — сообщил он после нарочитой паузы. — Я принес тебе попробовать!

— Очень мило с твоей стороны, — сказал Ульрих, — что после ночи в дороге ты приносишь мне хлеб, вместо того чтобы дать мне поспать.

— Если у тебя в доме есть водка, — а она, надо полагать, есть, — возразил на это генерал, — то хлеб и водка — лучший завтрак после бессонной ночи. Ты как-то сказал мне, что наш уставный хлеб — это единственное, что тебе понравилось на императорской службе, и я готов утверждать, что по изготовлению хлеба австрийская армия опережает все другие армии, особенно с тех пор как интендантство ввело этот новый образец — «1914»! Поэтому я принес его, это одна из причин. А потом, знаешь, я теперь и вообще так поступаю. Конечно, я не обязан сидеть целый день в своем кресле и отчитываться по поводу каждого шага из кабинета, это само собой разумеется. Но ты знаешь, что генеральный штаб недаром называют иезуитским корпусом, и всегда начинаются пересуды, когда кого-нибудь часто не бывает на месте, а его превосходительство фон

Фрост, мой шеф, в общем-то, пожалуй, еще не вполне представляет себе диапазон ума — штатского ума, я хочу сказать, — и потому с некоторых пор я всегда беру с собой портфель и ординарца, когда выхожу размяться, а чтобы ординарец не думал, что портфель пуст, я каждый раз запихиваю туда по две буханки хлеба.

Ульрих не мог не рассмеяться, и генерал тоже посмеялся от души.

— Кажется, великие мысли человечества доставляют тебе меньше радости, чем прежде? — спросил Ульрих.

— Всем они доставляют теперь меньше радости, — объявил ему Штумм, нарезая хлеб своим перочинным ножом. — Теперь лозунг — «Действовать!...»

— Это ты должен мне объяснить.

— Для этого я и пришел. Ты не настоящий человек действия!

— Нет?

— Нет.

— Не знаю, право!

— Я, может быть, тоже не знаю. Но так говорят.

— Кто говорит?

— Например, Арнгейм.

— Ты в хороших отношениях с Арнгеймом?

— Еще бы! Мы в превосходных отношениях друг с другом. Если бы это не был такой великий ум, мы, право, могли бы уже перейти на «ты»!

— Ты тоже имеешь дело с нефтью?

Генерал выпил немного водки, которую велел подать Ульрих, и закусил ее хлебом, чтобы выиграть время.

— Замечательно вкусно! — сказал он с полным ртом, продолжая жевать.

— Ну, конечно, ты имеешь дело с нефтью! — осенило вдруг Ульриха. — Это ведь касается вашего морского департамента, которому нужно топливо для кораблей, и если Арнгейм хочет скупить нефтеносные земли, он должен будет пойти на уступки и поставлять вам нефть по дешевке. С другой стороны, Галиция — район стратегически важный, гласис против России, значит, вы должны позаботиться о том, чтобы промыслы, которые он хочет там развернуть, были особенно хорошо защищены на случай войны. А значит, его завод пойдет вам навстречу при поставке стали для пушек, которые вам нужны. Как же я не увидел этого раньше! Да вы просто рождены друг для друга.

Генерал из осторожности стал жевать второй кусок хлеба; но больше он не мог себя сдерживать и, делая огромные усилия, чтобы сразу

проглотить все, чем набил себе рот, ответил:

— Тебе легко сказать «пойдет навстречу»! Ты понятия не имеешь, что это за скупердья! Прошу прощения, — поправился он, — я хотел сказать — с каким нравственным достоинством делает он такие дела! Я понятия не имел, что, например, десять геллеров за тонно-километр по железной дороге — это вопрос идеологический, по поводу которого надо ссылаться на Гете или на какую-нибудь историю философии!

— Ты ведешь эти переговоры?

Генерал выпил еще рюмку.

— Я вообще не говорил, что ведутся переговоры! Назови это, если хочешь, обменом мнениями.

— И это поручено тебе?

— Никому это не поручено! Мы просто беседуем. Можно же иногда говорить еще о чем-нибудь, помимо параллельной акции! А уж если кому и поручено, то никак не мне. При чем тут департамент обучения и образования? Такие вещи касаются главной канцелярии или разве что интендантства. Если я вообще к этому причастен, то лишь как консультант по штатским духовным проблемам, как толмач, можно сказать, потому что этот Арнгейм так образован.

— И потому что благодаря мне и Диотиме ты постоянно встречаешься с ним! Дорогой мой Штумм, если ты хочешь, чтобы я и впредь был твоим прикрытием, ты должен сказать мне правду!

Но к этому Штумм успел подготовиться.

— Зачем ты спрашиваешь, если и так ее знаешь? — ответил он возмущенно. — Думаешь, меня можно дурачить, думаешь, я не знаю, что этот Арнгейм тебе доверяет?!

— Я ничего не знаю!

— Но ведь ты только что сказал, что знаешь!

— Знаю насчет нефтепромыслов.

— А потом ты сказал, что у нас с Арнгеймом общие интересы по части этих промыслов. Дай мне честное слово, что ты это знаешь, и тогда я смогу сказать тебе все. — Штумм фон Бордвер схватил сопротивляющуюся руку Ульриха, заглянул ему в глаза и плутовато сказал: — Ладно, поскольку ты даешь мне честное слово, что ты все уже знал, я даю тебе честное слово, что ты все знаешь! Верно? Больше ничего нет. Арнгейм хочет запрячь нас, а мы — его. Знаешь, у меня иногда бывают сложнейшие психологические конфликты из-за Диотимы! — воскликнул он. Но никому об этом не говори, это военная тайна! — Генерал пришел в хорошее настроение. — Знаешь ли ты вообще, что такое военная тайна? — продолжал он.

Несколько лет назад, когда была мобилизация в Боснии, в военном министерстве хотели дать мне по шапке, я был тогда еще полковником, и назначили меня командиром батальона ополченцев. Я мог бы, конечно, командовать и бригадой, но поскольку я, мол, кавалерист и поскольку они хотели дать мне по шапке, меня послали в батальон. А поскольку для того, чтобы вести войну, нужны деньги, мне дали, когда я прибыл туда, батальонную кассу. Ты когда-нибудь видел такую штуку во времена своей службы? Она похожа не то на гроб, не то на ясли, сделана из толстого дерева и охвачена железными наличниками, как крепостные ворота. У нее три замка, а ключи к ним держат при себе три человека, каждый по одному, чтобы ни кто не мог открыть ее самочинно, — командир и два казначей-соопирателя. Так вот, когда я прибыл туда, мы собрались как на молитву, и отпирали замки одни за другим, и благоговейно извлекали пачки кредиток, и я казался себе архипастырем, которому помогают при богослужении два мальчика, только вместо Евангелия мы читали цифры из ведомости. Покончив с этим, мы снова закрыли ящик, водворили на место наличники, заперли замки, то есть сделали все в обратном порядке, после чего мне пришлось что-то сказать — уж не помню, что именно, и на том церемония закончилась. Так я, по крайней мере, подумал про себя, да и ты бы так же подумал, и я почувствовал великое уважение к непоколебимой бдительности армейского руководства в военное время! Но тогда при мне был фокстерьерчик, предшественник моего нынешнего, умнейшая тварь, да ведь и никакими правилами присутствие собаки не запрещалось. Только вот стоило ему где-нибудь заметить дыру, он сразу же начинал, как бешеный, рыться в ней. И вот, собираясь уже уйти, я вдруг вижу, что Слот — так его звали, он был англичанин — возится возле ящика, и оторвать его оттуда никак нельзя. Между тем хорошо известно, что из-за верных собак раскрывались и самые тайные заговоры, а тут еще война на носу, и я решил — надо поглядеть, что это Слот нашел — и что же, ты думаешь, он нашел? Знаешь, батальонам ополчения интендантство выдает ведь не самую новую амуницию, и касса у нас была тоже старая и почтенная, но все-таки я никак не думал, что, пока мы тут вдвоем запираем ее спереди, сзади, у самого дна, в ней зияет дыра, да такая, что можно просунуть руку по локоть! Там был сучок в доске, и он выпал в одной из прежних войн. Но что поделаешь? Когда пришла затребованная замена, вся боснийская заваруха уже кончилась, а до того мы по-прежнему проделывали еженедельно свою церемонию, и только Слота я оставлял дома, чтобы он никому ничего не выдал. Вот видишь, как выглядит порой военная тайна!

— Гм, я думаю, ты все еще не такой открытый, как этот твой сундучок,

ответил Ульрих, — Вы действительно заключите сделку или нет?

— Не знаю. Даю тебе честное генштабское слово, до этого еще не дошло.

— А Лейнсдорф?

— Он, конечно, понятия не имеет об этом. Склонить на сторону Арнгейма его тоже нельзя. Я слышал; что он страшно зол на демонстрацию, которая была ведь еще при тебе. Он теперь настропален против немцев.

— Туцци? — спросил Ульрих, продолжая допрос.

— Вот уж последний, кому следует что-либо знать! Он сразу бы расстроил весь план. Мы все, конечно, хотим мира, но мы, военные, служим ему по-иному, чем бюрократы!

— А Диотима?

— Ну, знаешь! Это же совершенно мужское дело, о таких вещах она не может думать даже в перчатках! Я не решился бы обременять ее правдой. Я понимаю так, что и Арнгейм ничего не рассказывает ей об этом. Ведь он, знаешь, говорит очень много и превосходно, и для него, наверно, наслаждение — разок о чем-нибудь умолчать. Это, по-моему, как выпить стаканчик горькой втихую!

— Ты знаешь, что ты стал прохвостом?! За твое здоровье! — Ульрих поднял свою рюмку.

— Нет, я не прохвост, — стал защищаться генерал. — Я участник министерского совещания. На совещании каждый выкладывает то, что ему нужно и что он считает правильным, и в конце из этого выходит что-то, чего никто полностью не хотел — самый что ни на есть результат. Не знаю, понимаешь ли ты меня, я не могу выразить это лучше.

— Конечно понимаю. Но с Диотимой вы ведете себя все-таки подло.

— Жаль если так, — сказал Штумм. — Но знаешь, палач — малый бесчестный, спорить тут не о чем. А владелец канатной фабрики, который только поставляет веревку тюрьмам, может быть членом Этического общества. Ты этого не учиываешь.

— Ты узнал это от Арнгейма?

— Возможно. Не помню. В наши дни дух становится таким сложным, пожаловался генерал честно.

— А чего ты хочешь от меня?

— Понимаешь, я думал, ты как-никак бывший офицер...

— Допустим. Но при чем тут «человек действия»? — спросил Ульрих обиженно.

— Человек действия? — удивленно повторил генерал.

— Ты ведь начал с того, что я не человек действия?!

— Ах, вот что. Это, конечно, тут ни при чем. Я просто начал с этого. То есть Арнгейм считает, что ты отнюдь не человек действия. Это он как-то сказал. Тебе нечего делать, считает он, и это наводит тебя на мысли. Или что-то подобное.

— То есть на бесполезные? На мысли, которые нельзя «перенести в сферы власти»? На мысли ради мыслей? Одним словом, на верные и независимые? Так? Или, может быть, на мысли «далекого от мира эстета»?

— Да, — дипломатично подтвердил Штумм фон Бордвер. — В этом роде.

— В каком роде? Что, по-твоему, опаснее для духа — мечты или нефтепромыслы? Можешь не набивать рот хлебом, оставь это! Мне совершенно безразлично, что думает обо мне Арнгейм. Но ты вначале сказал: «например, Арнгейм». Кто же это еще, для кого я не в достаточной мере человек действия?

— Ну, знаешь, — сообщил Штумм, — таких немало. Ведь я же сказал тебе, что теперь брошен лозунг — «действовать».

— Что это значит?

— Этого и я точно не знаю. Лейнсдорф сказал, что теперь должно что-то произойти! С этого и началось.

— А Диотима?

— Диотима говорит, что это новый дух. И теперь многие на Соборе так говорят. И мне любопытно, знакомо ли и тебе это чувство, когда прямо-таки мутит в животе, оттого что красивая женщина обладает таким выдающимся умом.

— Вполне могу представить себе, — признал Ульрих, не давая ускользнуть Штумму, — но хотелось бы услышать, что говорит Диотима об этом новом духе.

— Люди говорят, — ответил Штумм. — Люди на Соборе говорят, что у времени будет новый дух. Не сейчас, а через несколько лет, если ничего особенного не произойдет раньше. И этот дух не будет содержать большого количества мыслей. Чувствам тоже теперь не время. Мысли и чувства — это больше для тех, кому нечего делать. Одним словом, это дух действия и все, больше и я не знаю. Но иногда, — прибавил генерал задумчиво, — мне думалось, не есть ли это в конечном счете просто-напросто военный дух?

— У действия должен быть смысл! — потребовал Ульрих, и глубокой серьезностью, далеко за этим полудурацким разговором, его совесть напомнила ему о первой беседе об этом с Агатой на шведском редуте. Но и генерал был того же мнения:

— Да ведь это же я и сказал. Когда человеку нечего делать и он не знает, как распорядиться собой, он деятелен. Тогда он орет, пьет, дерется, изводит коней и людей. Но, с другой стороны, признай: если человек точно знает, чего он хочет, он становится проницатель. Взгляни на какого-нибудь молоденького генштабиста, когда он молча сжимает губы и делает рожу а la Мольтке: через десять лет у него под мундиром будет командующая над местностью высота, но не такое доброжелательное брюхо, как у меня; а полное яда. Сколько смысла должно быть у действия, определить, стало быть, трудно. — Он подумал и прибавил: — Если подойти к делу правильно, то в армии можно вообще многому научиться, я в этом убеждаюсь все больше и больше. Но не находишь ли ты, что самое, так сказать, простое было бы все-таки найти высокую идею?

— Нет, — не согласился Ульрих. — Это был вздор.

— Ну да, но в таком случае и правда остается только действие, — вздохнул Штумм. — Да я, собственно, и сам это говорю. Помнишь, кстати, как я однажды предупреждал тебя, что все эти чрезмерные мысли в конце концов переходят в убийство? Это-то и надо бы предотвратить! — заключил он. — Кому-то все-таки надо бы взять на себя руководство! — сказал он заманивающе.

— А какую же во всем этом роль ты соблаговолил отвести мне? — спросил Ульрих и откровенно зевнул,

— Ухожу, ухожу, — заверил его Штумм. — Но после того, как мы так славно поговорили по душам, ты мог бы взять на себя, если бы захотел быть верным товарищем, одну важную роль: между Диотимой и Арнгеймом не все в порядке!

— Да что ты! — Хозяин дома несколько оживился.

— Сам увидишь, мне незачем тебе рассказывать. К тому же ведь она доверяет тебе еще больше, чем мне.

— Она доверяет тебе? С каких пор?

— Она немного привыкла ко мне, — сказал генерал с гордостью.

— Поздравляю.

— Да. Но еще тебе надо поскорей повидать Лейнсдорфа. Из-за его антипатии к пруссакам.

— Этого я не стану делать.

— Да я же знаю, что Арнгейма ты терпеть не можешь. Но сделать это ты все равно должен.

— Не поэтому. Я вообще не пойду к Лейнсдорфу.

— Почему же? Он такой изысканный старый барин. Высокомерен, и я его не выношу, но к тебе он великолепно относится.

— Я теперь ухожу от всего этого дела.

— Но ведь Лейнсдорф тебя не отпустит. И Диотима тоже. А уж я и подавно не отпущу! Ты же не оставишь меня одного?!

— Все это, по-моему, сплошная глупость.

— Тут ты, как всегда, чрезвычайно прав. Но что на свете не глупо?! Погляди на меня, я совсем глуп без тебя. Значит, ты сходишь ради меня к Лейнсдорфу?

— Но что же там такое у Диотимы и Арнгейма?

— Этого я тебе не скажу, а то ты и к Диотиме не пойдешь! — Генерала вдруг осенило: — Если ты захочешь, Лейнсдорф может ведь взять тебе секретаря-помощника, который будет делать за тебя все, чем тебе не хочется заниматься. Или я подберу тебе человека из военного министерства. Уходи от дел сколько угодно, лишь бы меня направляла твоя рука! Идет?

— Дай мне сперва выспаться, — попросил Ульрих.

— Я не уйду, пока ты не скажешь «да».

— Ладно, с тем и усну. — уступил Ульрих. — Не забудь положить в портфель хлеб военной науки.

14

Новое у Вальтера и Клариссы Постановщик и его зрители

Неспокойность его состояния заставила Ульриха вечером отправиться к Вальтеру и Клариссе. Дорогой он пытался восстановить в памяти письмо, которое сунул куда-то в багаж или потерял, но так и не вспомнил никаких подробностей, кроме последней фразы — «Надеюсь, ты скоро вернешься», — и общего впечатления, что надо будет поговорить с Вальтером, впечатления, с которым связались не только сожаление и неловкость, но и злорадство. На этом мимолетном, произвольном и маловажном чувстве он теперь застрял, вместо того чтобы прогнать его, и испытывал при этом нечто подобное головокружению от высоты, при котором успокаиваешься, когда спустишься вниз.

Повернув к дому, он увидел Клариссу: она стояла на солнце, у боковой стены, обсаженной персиковыми деревьями; держа руки за спиной, она опиралась на поддававшиеся ветки и глядела вдаль, не замечая Ульриха. В ее позе была какая-то самозабвенная оцепенелость, но в то же время какая-то почти незаметная театральность, отметить которую мог только знавший

всякие ее черточки друг: вид у нее был такой, словно она играла роль в драме важных мыслей, работавших в ней, одна из которых, однако, захватила ее и не отпускала. Он вспомнил ее слова: «Я хочу ребенка от тебя! Сегодня они были не так неприятны ему, как тогда; он тихо окликнул ее и подождал.

А Кларисса думала: «На этот раз Мейнгаст совершает свое превращение у нас!» В его жизни было ведь много весьма любопытных превращений, и, никак больше не откликнувшись на подробный ответ Вальтера, он в один прекрасный день исполнил свой посул и приехал. Кларисса была убеждена, что работа, которую он затем сразу же начал у них, связана с превращением. Воспоминание об одном индийском боге непременно где-нибудь останавливающимся перед очередным очищением, смешалось у нее с воспоминанием о том, что насекомые выбирают определенные места, чтобы окуклиться, и от этой мысли, показавшейся ей невероятно здоровой и земной, она перешла к чувственному аромату персиковых деревьев, созревающих у освещенной солнцем стены. Логическим результатом всего этого было то, что она стояла под окном в пылающих лучах заходящего солнца, меж тем как пророк удалился в тенистую глубину дома. Накануне он объявил ей и Вальтеру, что первоначально немецкое «кнехт», (то есть слуга, раб, холоп) значило — как и английское «knight» — «юноша», «мальчик», «оруженосец», «боец», «герой»: теперь она твердила себе: «Я его слуга, его оруженосец!» — и служила ему и охраняла его работу. Для этого не нужно было никаких больше слов, она просто стойко сносила солнечные лучи, застыв на месте с ослепленным лицом. Когда Ульрих заговорил с ней, она медленно повернула лицо к неожиданному голосу, и он обнаружил, что что-то переменялось. В глазах, глядевших навстречу ему, был холод, какой излучают, когда потухает день, краски природы; и он тотчас же понял: ей от тебя ничего больше не нужно! Во взгляде ее не было уже ни следа того, что она хотела «выпростать его силой из каменной глыбы», что он был великим дьяволом или богом, что она порывалась бежать с ним через «дыру в музыке», что хотела убить его, если он не полюбит ее.

Ему было вообще-то все равно; оно может быть и самым обычным житейским пустяком, это погасшее тепло своекорыстия в чьем-то взгляде; все же тут как бы чуть порвалось покрывало жизни, приоткрыв безучастное ничто, и было положено начало многому из того, что случилось позднее.

Узнав, что Мейнгаст здесь, Ульрих понял. Они тихонько пошли в дом за Вальтером и вернулись на воздух вдвоем так же тихонько, чтобы не мешать творчеству. Ульрих при этом дважды взглянул через открытую

дверь на спину Мейнгаста. Тот занял изолированную от остальной части квартиры пустую комнату; Кларисса и Вальтер раздобыли где-то железную кровать, кухонная табуретка и таз служили умывальником и ванной, и кроме этих предметов в комнате, где не было занавесок на окнах, находились только старый посудный шкаф, в котором лежали книги, да некрашенный сосновый столик. За этим столиком Мейнгаст сидел сейчас и писал, так и не повернув головы к проходившим. Все это Ульрих частью увидел, частью узнал от друзей, не только не испытывавших угрызений совести, оттого что устроили мэтра гораздо более убого, чем жили сами, но даже, наоборот, почему-то гордившихся тем, что он был доволен предложенным. Это было трогательно и удобно для них; Вальтер уверял, что в этой комнате, если войти в нее в отсутствие Мейнгаста, чувствуешь то неопишное, что есть в потертой старой перчатке, которую носила благородная и энергичная рука! И Мейнгаст действительно испытывал большое удовольствие, работая в этой обстановке, льстившей ему своей солдатской простотой. Здесь он чувствовал свою волю, которая создавала выливавшиеся на бумагу слова. Если вдобавок Кларисса стояла, как только что, под его окном, или на верхней ступеньке крыльца, или хотя бы лишь сидела в своей комнате — «закутавшись в плащ невидимого северного сияния», как она призналась ему, — то близость этой честолюбивой ученицы, на которую он оказывал парализующее действие, усиливала его радость. Тогда перо его метало мысли, и большие темные глаза над острым трепетным носом начинали пылать. Он собирался завершить в этом окружении один из самых важных разделов своей новой книги, и труд этот следовало назвать не просто книгой, а боевым кличем, взывающим к духу новой мужественности! Когда от того места, где стояла Кларисса, до него донесся незнакомый мужской голос, он оторвался от работы и осторожно выглянул в окно; он не узнал Ульриха, хотя смутно вспомнил его, и не счел поднимавшиеся по лестнице шаги причиной для того, чтобы закрыть свою дверь или повернуть голову в сторону. Он носил под пиджаком толстую шерстяную фуфайку и любил показывать свою нечувствительность к погоде и людям, Ульриха повели гулять и сподобили чести выслушать восторженные отзывы о мэтре, который тем временем продолжал свой труд.

Вальтер сказал:

— Когда дружишь с таким человеком, как Мейнгаст, только и понимаешь, что ты всегда страдал от отвращения к другим! При общении с ним все словно бы окрашено в чистые краски, без малейшей капельки серого.

Кларисса сказала:

— При общении с ним чувствуешь, что у тебя есть судьба. Обретаешь полную индивидуальность и предстаешь в ярком свете.

Вальтер добавил:

— Сегодня все распадается на сотни слоев, становится непрозрачным и мутным. А его ум как стекло!

Ульрих ответил им:

— Есть козлы отпущения, и есть образцы добродетели. Кроме того, есть овцы, которые в них нуждаются!

Вальтер не остался в долгу:

— Можно было ожидать, что этот человек окажется не по тебе!

Кларисса воскликнула:

— Ты однажды заявил, что нельзя жить по идее — помнишь? Так вот, Мейнгаст способен на это!

Вальтер сказал осторожнее:

— Я, конечно, во многом с ним не согласен...

Кларисса прервала его:

— Чувствуешь, что в тебе все светится и дрожит, когда его слушаешь.

Ульрих возразил:

— Мужчины с особенно прекрасными головами обычно глупы. Особенно глубокие философы обычно думают плоско. В литературе таланты, немного превосходящие средний уровень, обычно считаются у современников великими.

Удивительная это вещь — восхищение. В жизни отдельного человека оно ограничено «приступами», а в жизни общества составляет элемент постоянный. Вальтер, собственно, был бы удовлетворен больше, если бы сам занимал то место, которое, по его и Клариссы мнению, принадлежало Мейнгасту, и совершенно не понимал, почему это не так; но какое-то маленькое преимущество имелось и в том, что все было, как было. И сбереженное таким образом чувство пошло в пользу Мейнгаста; так усыновляют чужого ребенка. А с другой стороны, именно поэтому здоровым и чистым чувством его восхищение Мейнгастом не было, это Вальтер и сам знал; оно было скорее исступленным желанием отдаться вере в него. В этом восхищении была какая-то нарочитость. Оно было «фортепианным чувством», которое бушует без полной убежденности. Это почуял и Ульрих. Одна из тех первичных потребностей в страсти, которые жизнь в наше время разламывает на мелкие дольки и смешивает так, что их не узнать, искала тут пути назад, ибо Вальтер хвалил Мейнгаста с таким же неистовством, с каким зрители в театре, совершенно не считаясь с

границами собственного мнения, аплодируют пошлостям, которыми подстегивают их потребность в аплодисментах; он хвалил его из той нужды в восхищении, для удовлетворения которой вообще-то существуют праздники и торжества, великие современники или идеи и почести, им оказываемые, — оказываемые при всеобщем участии, хотя никто толком не знает, кого и за что он чествует, и каждый внутренне готов быть на следующий день вдвое пошлей, чем обычно, лишь бы ему не и чем было себя упрекнуть. Так думал Ульрих о своих друзьях, не давая им покоя острыми замечаниями, которые он время от времени отпускал по адресу Мейнгаста; ибо как всякий, кто знает больше, он уже несметное число раз досадовал на восторженность своих современников, почти всегда направленную неверно и таким образом уничтожающую и то, чего не уничтожило равнодушие.

Уже стемнело, когда они, ведя такие речи, повернули к дому.

— Этот Мейнгаст живет тем, что нынче путают интуицию и веру, — сказал наконец Ульрих. — Ведь почти все, что не есть знание, можно чувствовать только интуитивно, а для этого необходимы страсть и осторожность. Стало быть методология того, что мы не знаем, — это почти то же самое, что методология жизни. А вы «веруете», как только кто-нибудь вроде Мейнгаста возьмется за вас. И все так поступают. И «вера» эта — такая же примерно незадача, как если бы вам вздумалось плюхнуться в корзинку с яйцами, чтобы высидеть ее неведомое содержание!

Они стояли у нижней ступеньки лестницы. И вдруг Ульрих понял, почему он пришел сюда и говорил с ними снова, как прежде. Его не удивило, что Вальтер ответил ему:

— А мир, выходит, пусть стоит на месте, пока ты не разработаешь методологии?

Они все явно ни во что не ставили его, потому что не понимали, в каком запустении находится эта область веры, простирающаяся между уверенностью знания и туманом интуиции! Старые идеи стали роиться в его голове; мысли чуть не задохнулись от их напора. Но тут он понял; что больше не нужно начинать все сначала, как ковровщик, чей ум ослепила мечта, и что только поэтому он снова стоит здесь. За последнее время все стало проще. Последние две недели низложили все прежнее и связали нити внутреннего движения в тугой узел.

Вальтер ждал, что Ульрих ответит ему чем-нибудь, на что бы он мог рассердиться. Тогда бы он отплатил ему с лихвой! Он решил сказать ему, что такие люди, как Мейнгаст, приносят исцеление. «Исцеление» и «целый» — слова одного корня», — подумал он. «Целители могут

ошибаться, но они дают нам цельность!» — хотел он сказать. И еще он хотел сказать потом: «Ты, может быть, вообще не способен представить себе такую вещь?» Он испытывал при этом к Ульриху отвращение, подобное тому, с каким шел к зубному врачу.

Но Ульрих только рассеянно спросил, что, собственно, Мейнгаст писал и делал в последние годы.

— Вот видишь! — разочарованно сказал Вальтер. — Вот видишь, ты даже не знаешь этого, а поносишь его!

— Да это мне и не нужно знать, — сказал Ульрих, — достаточно и нескольких строк!

Он поставил ногу на ступеньку.

Но тут Кларисса задержала его, схватив за пиджак и прошептав:

— Да ведь его настоящая фамилия вовсе не Мейнгаст!

— Конечно. Но разве это секрет?

— Он стал однажды Мейнгастом, а сейчас он у нас опять превращается во что-то другое! — жарко и загадочно прошептала Кларисса, и в этом шепоте было что-то похожее на шипенье паяльной лампы.

Вальтер бросился на это остроконечное пламя, чтобы его погасить.

— Кларисса! — взмолился он. — Кларисса, оставь этот вздор!

Кларисса молчала и улыбалась. Ульрих стал первым подниматься по лестнице; он хотел увидеть наконец этого вестника, спустившегося с гор Заратустры на семейную жизнь Вальтера и Клариссы, а когда они поднялись, Вальтер злился уже не только на него, но и на Мейнгаста.

Тот принял своих поклонников в их темном жилье. Он видел, как они приближались, и Кларисса сразу подошла к нему и стала на фоне серой плоскости окна маленькой, острой тенью рядом с его, Мейнгаста, тощей, высокой; представления гостей не было, вернее, было только одностороннее: мэтру напомнили фамилию Ульриха. Потом все замолчали; Ульриху стало любопытно, что произойдет дальше, и он стал у свободного второго окна, а Вальтер неожиданно присоединился к нему, привлеченный, вероятно, при равных сейчас силах отталкивания, просто светом, тускневшим в окне менее загороженном.

Был март. Но на метеорологию не всегда можно полагаться, она иногда устраивает июньский вечер раньше или позже, чем надо бы, — подумала Кларисса, когда темень за окном представилась ей летней ночью. Там, куда падал свет газовых фонарей, эта ночь была со светло-желтым отливом. Соседние кусты составляли текучую черную массу. Там, где они вылезали на свет, они становились не то зелеными, не то белесыми, — это нельзя

было точно определить, — зазубривались зубцами листьев и колыхались в свете фонарей, как белье, которое полощут в тихо струящейся воде. Узкая железная перекладина на карликовых подпорках — не более, чем воспоминание и напоминание о порядке — пробежала несколько шагов вдоль газона, где росли кусты, и затем исчезала во мраке; Кларисса знала, что там она вообще кончалась; когда-то, вероятно, собирались придать этой местности садово-ухоженный вид, но вскоре отказались от первоначального плана. Кларисса плотнее придвинулась к Мейнгасту, чтобы из его угла окна видеть дорогу как можно дальше; нос ее прижался к стеклу, а оба тела соприкасались так твердо и разнообразно, словно она вытянулась во всю свою длину на лестнице, что порой и случалось; правую ее руку, которая должна была потесниться, длинные пальцы Мейнгаста тут же охватили у локтя, как жилистые лапы какого-нибудь крайне рассеянного орла, который комкает, скажем, шелковый платочек. Уже несколько мгновений назад Кларисса увидела в окно человека, с которым было что-то неладно, хотя она не могла понять, в чем тут причина: он шел то замедляя шаг, то шагая небрежно; что-то, казалось, обволакивало его волю идти, и каждый раз, когда он разрывал это, он шел какое-то время как всякий другой, кто не то чтобы торопится, но и не ковыляет. Ритм этого неравномерного движения захватил Клариссу; когда незнакомец проходил мимо фонаря, она пыталась разглядеть его лицо, и оно казалось ей пустым и тупым. У предпоследнего фонаря оно увиделось ей незначительным, неприятным и пугливым; но когда он подошел к последнему, стоявшему почти под ее окном, лицо его было очень бледно и плавало на свету, как плавал в темноте свет, и поэтому топкий железный столб фонаря казался рядом с этим лицом очень прямым и взволнованным и бил в глаза более сочной светло-зеленостью, чем ему полагалось бы.

Все четверо начали постепенно наблюдать за этим человеком, явно мнившим, что его никто не видит. Он заметил теперь купавшиеся в свете кусты, и они напомнили ему фестоны нижней юбки, такой толстой, какую видеть ему еще не случалось, но увидеть хотелось бы. В этот миг им завладело его решение. Он перешагнул через низкую ограду, постоял на газоне, напомнившем ему зеленые стружки под деревьями в коробке с игрушками, растерянно поглядел себе под ноги, очнулся от движения собственной головы, которая осторожно оглянулась, и спрятался по привычке в тени. Возвращались домой те, кого теплынь выманила на воздух, издали были слышны их смех и громкие голоса; это вселило в незнакомца страх, и он попытался найти вознаграждение за это под нижней юбкой листвы. Кларисса все еще не понимала, что с ним. Он выходил

каждый раз, когда очередная группа гуляющих проходила мимо и глаза их, ослепленные фонарем, ничего не видели и темноте. Он пробирался тогда, не отрывая ног от земли поближе к этому световому кругу, как входят где-нибудь на пологом берегу в воду, стараясь не намочить щиколоток. Клариссу поразила его бледность, искаженное лицо его было как блеклый диск. Она горячо сочувствовала ему. Но он делал странные маленькие движения, которых она долгое время не понимала, пока вдруг ей не пришлось в ужасе искать опоры; а поскольку Мейнгагст все еще держал ее руку, так что двигать ею свободно она не могла, она схватила его широкую штанину и вцепилась, ища защиты, в сукно, которое трепыхалось на ноге мэтра, как знамя в бурю. Так они и стояли, не отпуская друг друга.

Ульрих, заметивший, как он полагал, первым, что незнакомец под окнами один из тех больных, которые ненормальностью своей половой жизни вызывают живое любопытство у нормальных, сначала было встревожился — и напрасно — по поводу того, как воспримет это открытие Кларисса. Потом он забыл об этой тревоге, и ему самому захотелось узнать, что, собственно, происходит в таком человеке. В момент, думал он, когда тот перелезал через ограду, перемена была, наверно, настолько полной, что в деталях ее и описать невозможно. И самым естественным образом, словно это было уместное сравнение, он тут же вспомнил об одном певце, который еще только что ел и пил, а потом подошел к роялю, сложил руки на животе и, раскрыв рот, чтобы запеть, отчасти стал другим, отчасти не стал. И еще подумал Ульрих о его сиятельстве графе Лейнсдорфе, который мог включаться то в религиозно-этическую, то в финансовую, свободную от предрассудков цепь тока. Поразила Ульриха абсолютная полнота этого превращения, совершающегося внутри, но находящего себе подтверждение в услужливости внешнего мира. Ему было безразлично, как этот незнакомец внизу пришел к своему состоянию психологически, но он невольно представил себе, как голова больного постепенно наполняется напряжением, наподобие аэростата, который надувают газом, вероятно, изо дня в день, постепенно, а он все покачивается на канатах, привязывающих его к земле, пока неслышная команда, случайная причина или истечение определенного срока, делающее причиной все, что угодно, не отпустит эти канаты, и голова, порвавшая связи с человеческим миром, не уплывет в пустоту извращенности. И вот этот человек с пустым и незначительным лицом стоял, укрывшись за кустами, и подстерегал добычу, как хищный зверь. Чтобы выполнить свои намерения, ему следовало, собственно, подождать, чтобы гуляющих стало меньше и это обеспечило бы ему большую безопасность; но как только мимо него между группами

проходила в одиночестве женщина, а порой даже когда женщина, весело смеясь и не без защиты, проплывала мимо внутри такой группы, это были для него уже не люди, а куклы, которых нелепо кроило себе его сознание. От этого он был полон к ним беспощадной жестокости, как убийца, и никакой их страх смерти его нисколько не тронул бы; но в то же время он сам испытывал легкую муку от мысли, что они обнаружат его и прогонят, как собаку, прежде чем он достигнет вершины беспамятства, и от страха язык дрожал у него во рту. Он отупело ждал, и постепенно гасло последнее мерцание сумерек. Теперь к его укрытию приближалась шедшая в одиночестве женщина, и хотя его еще отделяли от нее фонари, он мог уже, отрешившись от всего окружения, видеть, как она появлялась и исчезала в волнах света и темени; как приближалась черным, забрызганным светом комком. Ульрих тоже заметил эту бесформенную средних лет женщину. Тело ее походило на мешок, набитый щебенкой, а лицо отнюдь не излучало симпатии, а дышало деспотичностью и сварливостью. Но этот бледный мозглек в кустах, видимо, знал, как незаметно для нее подойти к ней, пока не поздно. Тупые движения ее глаз и ее ног уже, вероятно, дрожали в его плоти, и он готовился напасть на нее, не дав ей приготовиться к защите, напасть самым своим видом, который застигнет ее врасплох, проникнет в нее и навечно застрянет в ней, как бы она ни корчилась. Это волнение гудело и перекачивалось в коленях, руках и глотке — так, по крайней мере, представилось Ульриху, когда он увидел, как тот пробирается уже сквозь полуосвещенную часть кустов, готовясь выйти и показаться в решающий миг. Опершись на последнее легкое сопротивление веток, несчастный одурело глядел на это безобразное лицо, которое покачивалось уже совсем на свету, и его хриплое дыхание послушно повторяло ритм ее шагов. «Закричит ли она?» — подумал Ульрих. От этой грубой особы вполне можно было ожидать, что она не испугается, а разозлится и перейдет в наступление. Тогда этот сумасшедший трус пустится наутек, а вспугнутая похоть всадит свои ножи в его плоть тупой рукояткой вперед! Но в этот решительный миг Ульрих услышал непринужденные голоса двух шедших по дороге мужчин, и если он слышал их через стекло, то, вероятно, и там, внизу, они все-таки проникли сквозь шипение похоти, ибо безумец под окном осторожно опустил откинутое было покрывало кустов и бесшумно удалился в гущу темени.

— Какая свинья! — громко шепнула в ту же минуту своему соседу Кларисса, нисколько, однако, не возмущившись. До своей метаморфозы Мейнгасту часто приходилось слышать от нее подобные слова, но тогда они относились к его волнующе вольному поведению, и возглас ее можно

было, таким образом, счесть реминисценцией исторической. Кларисса предполагала, что Мейнгаст, несмотря на свою метаморфозу, тоже помнит еще об этом, и ей действительно показалось, что его пальцы на ее руке тихонько зашевелились в ответ. Вообще в этот вечер не было ничего случайного; и тот человек тоже не просто так, не случайно избрал окно Клариссы, чтобы остановиться под ним. Ее мнение, что она жестоко привлекает к себе мужчин, с которыми что-то не в порядке, было твердо и уже не раз подтверждалось! В общем-то идеи ее были не столько вздорны, сколько окрашены привычкой пропускать промежуточные звенья и пропитаны эмоциями во многих пунктах, где у других людей таких внутренних источников нет. Ее убежденность, что это она дала в свое время Мейнгасту возможность основательно измениться, не была сама по себе нелепа; если к тому же учесть, как безотносительно — на расстоянии и при многолетнем отсутствии контактов — произошла эта перемена и сколь велика она была, — ибо сделала из поверхностного бонвиана пророка, — а вдобавок еще и то, что вскоре после отъезда Мейнгаста любовь между Вальтером и Клариссой поднялась на ту вершину борьбы, где находилась поныне, то и предположение Клариссы, что Вальтеру и ей пришлось взять на себя грехи еще не претерпевшего метаморфозы Мейнгаста, чтобы сделать возможным этот подъем, имело не меньше оснований, чем бесчисленные почтенные идеи, которые в наши дни принимают всерьез. А отсюда вытекало чувство рыцарского служения, испытываемое Клариссой после приезда Мейнгаста, и если она говорила теперь о новой его «метаморфозе», а не просто о перемене, то она лишь подобающе выражала этим приподнятость, в состоянии которой с тех пор была. Сознание, что она находится в многозначительном отношении к кому-то, могло Клариссу в буквальном смысле слова приподнимать. Точно неизвестно, следует ли изображать святых с облаком под ногами или они просто стоят в пустоте на расстоянии какой-нибудь пяди от земли, и именно так обстояло дело с Клариссой с тех пор, как Мейнгаст избрал ее дом, чтобы исполнить в нем свой великий, имевший, вероятно, очень глубокую подоплеку труд. Кларисса была влюблена в него не как женщина, а скорее как мальчик, который, восхищаясь каким-нибудь мужчиной, испытывает блаженство, когда ему удастся надеть шляпу так же, как тот, и втайне мечтает потягаться с ним и его переплюнуть. И это Вальтер знал. Он не мог слышать, что шептала Кларисса Мейнгасту, и глаза его не могли разглядеть ничего, кроме слившихся в плотную массу теней на сумеречном фоне окна, но он видел насквозь решительно все. Он тоже понял, что это был за человек в кустах, и тишина, воцарившаяся в комнате, легла на него

всей своей тяжестью. Он мог различить, что Ульрих, неподвижно стоявший с ним рядом, напряженно глядел в окно, и предположил, что те у другого окна делают то же самое. «Почему никто не нарушит этого молчания?! — думал он. — Почему никто не откроет окно и не прогонит эту скотину?!» У него мелькнула мысль, что следовало бы вызвать полицию, но в доме не было телефона, а у него не хватало отваги предпринять что-либо, что могло бы вызвать презрение остальных. Он вовсе ведь не собирался быть «негодующим обывателем», он просто был раздражен донельзя! «Рыцарское отношение» своей жены к Мейнгасту он отлично даже понимал, ибо Кларисса и в любви не способна была представить себе подъем без усилия: подъемы у нее случались не от чувственности, а только от честолюбия. Он помнил, какой жутковато живой бывала она иногда в его объятиях, когда он еще занимался искусством; но иначе, чем таким окольным путем, никогда не удавалось ее разогреть. «Может быть, у всех людей настоящий подъем бывает только от честолюбия!» — подумал он с сомнением. От него не ускользнуло, что Кларисса «стояла на страже», когда Мейнгаст работал, чтобы защитить его мысли своим телом, хотя этих мыслей она даже не знала. С прискорбием глядел Вальтер на одинокого эгоиста в кустах, и этот несчастный служил ему предостерегающим примером того, какие опустошения происходят в слишком обособившейся душе. При этом его мучила мысль, что он точно знает, что испытывает сейчас, глядя туда, Кларисса. «Она, конечно, слегка взбудоражена, как если бы быстро взбежала по лестнице», — думал он. Он сам ощущал в стоявшей у него перед глазами картине какое-то давление, словно в ней, как в коконе, было заключено что-то стремившееся вырваться наружу, и чувствовал, как в этом таинственном давлении, ощущаемом и Клариссой, шевелится воля не просто глядеть со стороны, а сейчас, вскоре как-то что-то сделать и самому ворваться в происходящее, чтобы это происходящее освободить. У других людей мысли ведут ведь свое начало от жизни, а у Клариссы то, что происходило с ней, всегда возникало из мыслей — это было такое завидное сумасшествие! И Вальтер больше склонялся к преувеличениям своей, быть может, душевнобольной жены, чем к мыслительному процессу своего друга Ульриха, мнившего, что он осторожен и смел: более нелепое было ему, Вальтеру, как-то приятнее, оно, может быть, не задевало его самого, вызывая к его состраданию; во всяком случае многие предпочитают сумасшедшие мысли трудным; и он находил даже известное удовлетворение в том, что Кларисса шепталась в темноте с Мейнгастром, а Ульрих был осужден стоять немой тенью рядом с ним, Вальтером; он желал Ульриху потерпеть поражение от Мейнгаста. Но время от времени его

мучило ожидание, что Кларисса вдруг распахнет окно или сбежит по лестнице вниз, к кустам. Тогда он ненавидел обе мужские тени и их непристойно молчаливое присутствие, делавшее с каждой минутой все более опасным положение этого бедного, маленького, опекаемого им Прометея, который был беззащитен перед любым искушением духа.

К этому времени стыд и посрамленная похоть сплелись в больном, удалившемся в свои кусты, в единство разочарованности, которую его впавшая фигура источала как горькую массу. Добравшись до сердцевины мрака, он надломился, хлопнулся наземь, и голова его повисла на шее, как на ветке листок. Мир стоял перед ним карой, и свое положение он видел почти таким, каким оно показалось бы двум проходившим мимо мужчинам, если бы они обнаружили его. Но после того как этот человек немного поплакал о себе с сухими глазами, с ним снова произошла прежняя перемена, на сей раз даже с большей долей упрямства и мстительности. Мимо проходила девочка лет пятнадцати, явно задержавшаяся где-то дольше, чем надо бы, и она показалась ему красивой, таким маленьким, спешащим идеалом. Маньяк чувствовал, что ему следовало бы, собственно, совсем выйти из укрытия и приветливо заговорить с ней, но это мгновенно повергло его в дикий ужас. Его фантазия, готовая разрисовать ему любую возможность, о какой только может напомнить женщина, стала трусливо-беспомощной перед единственной естественной возможностью — восхититься красотой этого беззащитного создания. Оно доставляло теневой стороне его естества тем меньше радости, чем больше способно было нравиться стороне дневной, и он тщетно пытался возненавидеть ее, раз уж не мог ее полюбить. Так он и стоял в нерешительности на границе тени и света, и был на виду. Когда девочка заметила его тайну, она уже прошла мимо, удалившись от него шагов на десять; она сперва просто взглянула на беспокойное место в листьях, не понимая, в чем дело, а поняв, была уже на достаточном расстоянии, чтобы не испугаться до смерти. На мгновение, правда, она молча раскрыла рот, но потом пронзительно завизжала и побежала, — озорнице, кажется, даже доставляло удовольствие оглядываться, — а он почувствовал себя посрамленным. Он злобно надеялся, что хоть капля яда попала ей в глаза и позднее проест себе путь в ее сердце.

Этот сравнительно безобидный и смешной исход был известным облегчением для гуманности зрителей, которые на сей раз, конечно, вмешались бы, не прими дело такой оборот; и, находясь под этим впечатлением, они не заметили, чем кончилась сцена внизу, а в том, что она кончилась; они убедились, увидев, что эта гиена мужского пола, как

выразился тогда Вальтер, вдруг бесследно исчезла. Существо, с которым замысел незнакомца удался, было во всех отношениях средним; оно взглянуло на него ошарашенно и с отвращением, невольно остановилось на миг от испуга, а потом попыталось притвориться, что ничего не заметило. В эту секунду он почувствовал, что вместе со своей крышей из листьев, вместе со всем вывернутым наизнанку миром, из которого вышел, он, скользя, глубоко погружается в сопротивляющийся взгляд беззащитной. Могло быть так, и могло и по-другому. Кларисса не обратила внимания. Глубоко вздохнув, она наконец выпрямилась, и после того, как они с Мейнгастром отпустили друг друга, она еще некоторое время стояла, склонившись, у окна. Ей показалось, что она вдруг ступила босыми ногами на деревянный пол, и вихрь невыразимого, ужасного наслаждения унялся в ее теле. Она была твердо убеждена, что все случившееся имеет особое, устремленное к ней значение: и, как ни странно это звучит, у нее осталось от этого отталкивающего зрелища впечатление, будто она невеста, и ей только что спели серенаду, и решения, которые она хотела исполнить, дико кружились у нее в голове вперемешку с новыми, только что принятыми.

— Смешно! — сказал вдруг в темноте Ульрих, первым нарушив молчание четырех. — Ведь до смешного странно, подумать только, что у этого малого пропала бы всякая охота, знай он, что за ним наблюдают без его ведома!

Отделившаяся от пустоты тень Мейнгаста остановилась направленной на голос Ульриха полосой сгущенного мрака.

— Сексуальности придают слишком большое значение, — сказал мэтр. — Это по сути козлиные выкрутасы эпохи.

Больше он ничего не сказал. Но Кларисса, которую передернуло от замечания Ульриха, почувствовала, что слова Мейнгаста продвинули ее вперед, хотя при их темноте неизвестно было куда.

15

Завещание

Вернувшись домой с еще более сильным после того, что произошло, чувством недовольства, чем прежде, Ульрих не захотел больше откладывать одно решение и постарался восстановить в памяти тот «эпизод», как он смягчающе обозначил случившееся в последние часы его пребывания в обществе Агаты и спустя всего несколько дней после их большого разговора.

Ульрих уже собрал вещи, чтобы уехать с поездом, где были спальные вагоны, проходившим через этот город поздно ночью, и они с сестрой в последний раз вместе ужинали; было решено, что Агата вскоре последует за ним, и они несколько наобум положили на эту разлуку неделю — две.

За столом Агата сказала:

— Но сначала мы должны еще кое-что сделать!

— Что?! — спросил Ульрих.

— Мы должны изменить завещание.

Ульрих вспомнил, что он взглянул на сестру без удивления: несмотря на все, о чем они уже переговаривали, он ждал, что сейчас последует какая-нибудь шутка. Но Агата устала в свою тарелку с хорошо знакомой складкой задумчивости над переносицей. Она медленно сказала:

— Пусть у него не останется от меня ни щепотки!..

В последние дни в ней шла, по-видимому, какая-то усиленная работа. Ульрих собирался сказать ей, что считает непозволительными всякие соображения о том, как повредить Хагауэру, и не хочет больше говорить на эту тему. Но тут вошел с блюдами старый домашний и учрежденческий слуга отца, и продолжать разговор можно было только туманными намеками.

— Тетя Мальвина... — сказала Агата и улыбнулась брату, — помнишь тетю Мальвину? Она отказала все свое состояние нашей двоюродной сестре. Это было дело решенное, о котором все знали! Но зато доля кузины в родительском наследстве была урезана обязательной долей ее брата, чтобы никто из детей, которых отец любил одинаково, не получил больше другого. Ты, конечно, помнишь об этом? Годовой доход, который получала, выйдя замуж, Агата... Александра, твоя кузина, — поправила она со смехом, — выплачивался из расчета этой обязательной доли, это было очень сложно придумано, чтобы тетя Мальвина могла не торопиться со смертью...

— Я не понимаю тебя, — буркнул Ульрих.

— Да это же так просто! Тетя Мальвина уже умерла, но еще до смерти она потеряла все свое состояние. Ей даже надо было помогать. Если теперь папа по какой-либо причине забыл аннулировать изменение в своем завещании, то Александра вообще ничего не получит, даже если ее брачный контракт устанавливает имущественную общность супругов!

— Этого я не знаю, я думаю, что это очень неопределенно! — сказал Ульрих невольно. — А потом, есть же, наверно, какие-то гарантийные меры, принятые отцом. Ведь не мог же отец сделать все это, не объяснившись со своим зятем!

Да, он прекрасно помнил, что так ответил, потому что просто не мог молчать при виде опасного заблуждения сестры. И улыбку, с которой она затем на него посмотрела, он тоже помнил очень отчетливо. «Таков он! — думала она, казалось. — Достаточно представить ему какое-либо дело так, словно это не плоть и кровь, а какое-то обобщение, и его уже можно водить за нос!» А потом она коротко спросила:

— Были какие-либо письменные соглашения по этому поводу? — и сама же ответила: — Я никогда ничего об этом не слышала, а уж мне-то следовало бы это знать! У папы ведь всегда были странности.

В эту минуту слуга подошел к нему с блюдом, и она воспользовалась беспомощностью Ульриха, чтобы прибавить:

— Устные соглашения всегда можно оспаривать. Но если после разорения тети Мальвины завещание было еще раз изменено, то все говорит за то, что это второе изменение пропало!

И снова Ульрих соблазнился поправить ее и сказал:

— Все равно остается еще не такая уж маленькая обязательная доля. А ее у родных детей нельзя отнимать!

— Но ведь я уже сказала тебе, что ее выплатили еще при жизни отца! Александра ведь выходила замуж дважды! — Они на минуту остались одни, и Агата поспешно добавила: — Я хорошенько рассмотрела это место. Достаточно изменить лишь несколько слов, и выглядеть так, словно обязательную долю мне уже выплатили. Кто сегодня знает об этом что-либо? Когда после разорения тетки папа снова оставил нам равные доли, это было отражено в дополнении, которое можно уничтожить. Кроме того, я могла ведь и отказаться от своей обязательной доли, чтобы по каким-то причинам оставить ее тебе!

Ульрих озадаченно посмотрел на сестру, упустив случай ответить на ее выдумки так, как был обязан ответить. Когда он собрался это сделать, они опять оказались втроем, и ему пришлось говорить обиняками.

— Не надо, право, — начал он медлительно, — даже думать о таких вещах!

— Почему же?! — возразила Агата.

Такие вопросы очень просты, когда их не ставят; но уж встав, они кажутся чудовищной змеей, лежавшей дотоле безобидным клубком. Ульрих помнил, что в ответ он сказал:

— Даже Ницше предписывает «свободным умам» считаться ради внутренней свободы с определенными внешними правилами!

Он произнес это с улыбкой, но в то же время и с чувством, что прятаться за чужие слова — как-никак трусость.

— Это — вялый принцип! — коротко отрезала Агата. — По этому принципу я вышла замуж!

И Ульрих подумал: «Да, это действительно вялый принцип».

Похоже, что люди, готовые ответить на определенные вопросы чем-то новым и революционным, взамен заключают со всем другим компромисс, позволяющий им отлично уживаться с расхожей моралью — тем более что такое поведение, стремящееся сохранить неизменными все условия, кроме того одного, которое они как раз и хотят изменить, целиком соответствует творческой экономии мышления, хорошо им знакомой. Ульриху тоже такой способ всегда представлялся скорее строгим, чем неаккуратным, но тогда, во время этого разговора между ним и сестрой, он почувствовал себя задетым; ему стала невыносима нерешительность, которую он любил раньше, и ему показалось, что именно на Агате лежала задача довести его до этого. И когда он все-таки снова сослался на Правило Свободных Умов, она засмеялась и спросила его, не замечает ли он, что в тот момент, когда он пытается сформулировать общие правила, его место заступает другой человек, — и хотя ты; конечно, по праву им восхищаешься, он тебе, в сущности, совершенно безразличен! — сказала она. Она озорно и вызывающе посмотрела на брата. Он снова почувствовал, как ему трудно ответить ей; он промолчал, ожидая, что им вот-вот помешают, и все-таки не решился прекратить этот разговор. Это придало ей храбрости.

— За то короткое время, что мы здесь вместе, — продолжала она, — ты давал мне замечательные советы относительно моей жизни, я бы до таких вещей никогда не додумалась, но потом ты каждый раз спрашивал, правда ли то, что ты поверил! Мне кажется, что правда в твоём понимании — это сила, издевающаяся над человеком!

Она не знала, откуда взялось у нее право делать ему такие упреки; ведь собственная ее жизнь казалась ей такой никчемной, что ей следовало бы молчать. Но она черпала свою храбрость в нем самом, и это было поразительно женское состояние, — нападая на него, находить в нем опору, — поразительное настолько, что и он это почувствовал.

— Тебе непонятна потребность собрать мысли в большие, расчлененные массы, боренья ума тебе чужды. Ты видишь тут только какие-то шагающие в ногу колонны, безличность множества ног, взвихряющих правду, как облаке пыли! — сказал Ульрих.

— Но разве не сам ты описал мне эти два состояния, в которых ты можешь жить, описал так точно и ясно, как я никогда не смогла бы! — ответила она.

По лицу ее, быстро меняя свои границы, пролетело облако огня. Ей

хотелось довести брата до такой точки, где он бы уже не смог повернуть обратно. Ее лихорадило от этой мысли, но она не знала, хватит ли у нее храбрости, и затягивала ужин.

Все это Ульрих знал, он угадал это; но теперь он встряхнулся и стал увещевать ее. Он сидел перед ней с отсутствующим взглядом, силой заставляя свой рот говорить, и у него было такое ощущение, что он в буквальном смысле слова не в себе, остался где-то позади себя и кричит вдогонку себе то, что сейчас говорит.

— Предположи, — сказал он, — что я в дороге вздумал украсть у незнакомого человека золотой портсигар. Скажи мне, разве это не просто немыслимо?! Ну, так вот, я, не стану и обсуждать, можно или нельзя оправдать высшей свободой ума решение, которое тебе видится. Пусть это даже правильно — обидеть Хагауэра. Но представь себе, что я где-то в гостинице, без всякой нужды, не будучи ни профессиональным вором, ни идиотом, у которого деформированы тело и голова, ни сыном истерички или пьяницы, ни в каком-то там помешательстве или потрясении — все-таки совершаю кражу, — так вот, повторяю тебе, так не бывает на свете! Такого положения просто не бывает! Оно, можно со всей научной определенностью сказать, исключено!

Агата звонко рассмеялась.

— Ах, Уло! А что, если так все-таки поступят?!

От этого не предусмотренного им ответа Ульрих и сан рассмеялся; он вскочил и поспешно подвинул на место стул, чтобы не поощрять ее своим согласием. Агата поднялась из-за стола.

— Не делай этого! — попросил он ее.

— Ах, Уло, — возразила она, — то ли ты сам думаешь во сне, то ли тебе снится что-то случающееся?!

Этот вопрос напомнил ему его собственное, сделанное несколько дней назад утверждение, что все требования морали указывают на некое состояние сна, которое улетучилось из них, когда они приняли окончательный вид. Сказав это, Агата ушла в отцовский кабинет, осветившийся теперь за двумя открытыми дверями, и Ульрих, который за ней не последовал, увидел, как она стоит в этой раме. Она держала на свету листок бумаги и что-то читала. «Неужели она не представляет себе, что она сейчас берет на себя?!» — подумал он. Но в связке ключей, образуемой такими современными понятиями, как комплекс неполноценности, выпадение функций, умственная отсталость и тому подобными, не было ни одного подходящего, да и в приятной картине, которую являла Агата во время своего прегрешения, не было ни тени жадности, мстительности или

какой-либо другой внутренней некрасивости. И хотя с помощью таких понятий даже действия преступника или полубезумца представились бы Ульриху относительно обузданными и цивилизованными, ибо тут в глубине как-никак мерцают искаженные и смущенные побуждения обычной жизни, дикая и в то же время мягкая решимость сестры, решимость, в которой воедино смешались чистота и преступность, повергла его сейчас в полную растерянность. Он просто не в силах был допустить, что этот человек, вполне открыто собиравшийся совершить дурное дело, может быть дурным человеком, и беспомощно глядел, как Агата вынимает из письменного стола листок за листком, прочитывает, откладывает в сторону и самым серьезным образом ищет одну определенную запись. Ее решимость казалась снисшедшей на уровень обычных решений из какого-то другого мира. В то время, как он на это смотрел, Ульриха тревожил также вопрос, почему он уговорил Хагауэра легковерно уехать. Ему подумалось, что он с самого начала действовал так, словно был орудием воли своей сестры, и до последних пор, даже споря с ней, давал ей ответы, помогавшие ей продвинуться дальше. Правда издевается над человеком, сказала она. «Очень хорошо сказано, но ведь она же понятия не имеет, что такое правда! — подумал Ульрих. — С годами от нее деревенеют суставы, но в молодости от нее дух захватывает!» Он снова сел. Теперь ему вдруг показалось, что не только то, что она сказала о правде, Агата как-то переняла у него, но что и то, что она делает в соседней комнате, предначертано им. Ведь он же говорил, что в высочайшем состоянии человека нет добра и зла, а есть лишь вера или сомнение; что твердые правила противоречат глубочайшей сути морали и что вера не может постареть больше, чем на час; что, веруя, нельзя сделать ничего низкого; что предчувствие — более страстное состояние, чем правда. И Агата сейчас выходила за рубежи морали и пускалась в те беспредельные глубины, где нет никаких других решений, кроме одного — поднимешься или упадешь. Она делала это так, как взяла в свое время из его медлившей руки ордена, чтобы их поменять, и в этот миг, несмотря на ее бессовестность, он любил ее со странным чувством, что от него к ней перешли, а теперь опять возвращаются от нее к нему его собственные мысли — возвращаются, обеднев рассудительностью, но благоухая свободой, как дикая тварь. И, дрожа от усилия обуздать себя, он осторожно предложил ей:

— Я отложу свой отъезд на день и наведу справки у нотариуса или у адвоката. Может быть, то, что ты хочешь сделать, ужасно прозрачно!

Но Агата уже выяснила, что нотариуса, чьими услугами пользовался

некогда отец, нет в живых.

— Ни одна душа больше не знает об этом деле, — сказала она, — не вмешивайся!

Ульрих заметил, что она взяла листок бумаги и пытается подделать почерк отца.

Привлеченный этим, он подошел к ней и стал у нее за спиной. Вот перед ним кипами лежали листки, на которых жила рука отца, — ее движения можно было еще почти почувствовать, — а вот здесь, словно в сценическом перевоплощении, Агата выделяла почти такое же. Странно было смотреть на это. Цель, с которой это делалось, мысль, что это служит подлогу, исчезла. Да и правда, Агата об этом вообще не задумывалась. Справедливость витала над ней пламенем, а не логикой. Доброта, порядочность и законность, насколько она могла судить об этих добродетелях по знакомым ей людям, особенно по профессору Хагауэру, всегда виделись ей только чем-то вроде выведенного с платья пятна; а неправота, витавшая сейчас над ней самой, была для нее как мир, утопающий в лучах восходящего солнца. Ей казалось, что правота и неправота — это уже не общие понятия, не устроенный для блага миллионов людей компромисс, а волшебная встреча «я» и «ты», безумие первоначального, еще ни с чем не сравнимого и не измеримого никакой мерой творения. По сути, она делала из преступления подарок Ульриху, отдавая себя в его руки, твердо веря, что он поймет ее безрассудность. И уподобляясь детям, которых, когда они хотят сделать подарок, а у них ничего нет, осеняют самые неожиданные мысли. И Ульрих почти все это угадал. Когда глаза его следовали за ее движениями, это доставляло ему удовольствие, какого он никогда не испытывал, ибо была какая-то сказочная бессмысленность в том, чтобы вдруг целиком и без всякой оглядки поддаться тому, что делает другое существо. Даже если и вспомнилось, что ведь кому-то третьему причиняется тем временем зло, то мысль эта блеснула лишь на секунду, как топор, и он быстро успокоился тем, что еще никого, собственно, не касается, что делает сейчас его сестра; не было точно известно, будут ли действительно использованы эти пробы пера, а чем занимается Агата в своих четырех стенах — это ее дело, пока нет никаких последствий вне дома.

Она позвала теперь брата, обернулась и удивилась, увидев, что он стоит сзади. Она проснулась. Она написала все, что хотела написать, и сейчас решительно опаливала листок над свечой, чтобы придать ему вид старого документа. Свободную руку она протянула Ульриху, он не взял ее, но и не смог совсем спрятаться за хмурой гримасой. Тогда она сказала:

— Послушай! Если что-то противоречиво, а ты любишь противоречие с обеими его сторонами, действительно любишь! — разве ты его уже тем самым не устранишь, хочешь ли ты того или нет?!

— Вопрос поставлен слишком легкомысленно, — проворчал Ульрих. Но Агата знала, как он будет судить об этом своим «вторым способом думать». Она взяла чистый лист бумаги и шаловливо написала старомодным почерком, которому умела так хорошо подражать: «Моя скверная дочь Агата не дает никаких поводов изменить эти однажды сделанные распоряжения к невыгоде моего славного сына Уло!» Этим она не удовольствовалась и написала на другом листке: «Моя дочь Агата должна еще некоторое время воспитываться у моего славного сына Ули».

— Вот как, значит, это было, но, восстановив все до единой подробности, Ульрих в итоге так же не знал, что делать, как и вначале.

Ему не следовало уезжать, не выправив положение, это было несомненно! И современное суеверие, что ни к чему не надо относиться слишком серьезно, явно подшутило над ним, настроив его пока что покинуть сцену и преувеличивать значение «того спорного эпизода мелким сопротивлением. Перемелется — мука будет; из самых неистовых преувеличений, если бросить их на произвол судьбы, возникает со временем какой-то новый средний уровень; невозможно было бы садиться в поезд и нужно было бы на улице всегда держать в руке поставленный на боевой взвод пистолет, если бы нельзя было полагаться на закон средних чисел, который сам собой делает невероятными эксцентрические возможности — этому европейскому эмпиризму Ульрих и повиновался, когда вопреки всем сомнениям поехал домой. В сущности, он был даже рад, что Агата показала себя другой.

Тем не менее надлежало завершить дело можно было только одним способом: Ульрих должен был сейчас, и как можно скорее, наверстать упущенное. Ему следовало без промедления послать сестре спешное письмо или телеграмму, где, как он представлял себе, были бы приблизительно такие слова: «Я отказываюсь поддерживать с тобой какие-либо отношения, пока ты не...» Но писать так он совершенно не был настроен, сейчас это было для него просто невозможно.

Вдобавок тому роковому инциденту предшествовало решение, что они в ближайшие недели начнут жить или хотя бы ненадолго поселятся вместе, и в то короткое время, что оставалось до его отъезда, им об этом главным образом и пришлось говорить. Они сошлись пока на «сроке бракоразводного процесса», чтобы у Агаты был советчик и защитник. Но сейчас, восстанавливая все это в памяти, Ульрих вспомнил и более давние

слова сестры, что ей хочется «убить Хагауэра», и «план» этот явно работал в ней и принял новую форму. Она энергично настаивала на скорейшей продаже семейного участка земли, и даже это, наверно, имело целью свести на нет недвижимость, хотя могло показаться разумным и по другим причинам; во всяком случае, они решили обратиться к маклерской фирме и определили условия продажи. Таким образом, Ульриху надо было подумать теперь и о том, что, собственно, станет с его сестрой, когда он вернется к своей небрежно-временной и не признаваемой им самим жизни. Положение, в котором она находилась, не могло длиться долго. Хотя они удивительно сблизилась за короткое время, — прямо скрещение судеб, думал Ульрих, даже если оно и вышло, наверно, из множества независимых частных; Агате же это виделось, вероятно, в более романтическом свете, — они очень мало знали друг друга с тех многочисленных поверхностных сторон, от которых зависит совместная жизнь. Думая о своей сестре непредвзято, Ульрих находил еще много нерешенных вопросов, и даже о ее прошлом он не мог составить себе определенное мнение; больше всего проясняло тут, казалось ему, предположение, что со всем происходящим из-за нее или с ней она обращается очень небрежно и живет очень смутными и, может быть, фантастическими ожиданиями, сопровождающими ее реальную жизнь: такое объяснение напрашивалось и потому, что она так долго жила с Хагауэром и так быстро с ним порвала. И бездумность, с какой она относилась к будущему, тоже вписывалась в эту картину. Она ушла из дому, этого ей пока что было, видимо, достаточно, а от вопросов насчет дальнейшего она уклонялась. И Ульрих тоже не мог ни вообразить, что она останется теперь без мужа и будет, как девушка, чего-то ждать, ни представить себе, каков должен быть мужчина, которому подошла бы его сестра: это он и сказал ей перед отъездом.

А она испуганно — и, наверно, с немного наигранным, чуть шутовским испугом — посмотрела ему в лицо и потом спокойно ответила вопросом на вопрос:

— Разве нельзя мне в ближайшее время просто пожить у тебя? Зачем нам все решать?

Так, стало быть, и ничуть не определенной, было подтверждено решение, что они съедутся. Но Ульрих понял, что этим экспериментом кончится эксперимент его «жизни в отпуску». Ему не хотелось задумываться, какие это будет иметь последствия, но что его жизнь подчинится отныне известным ограничениям, не было ему неприятно, и он впервые вспомнил о круге, и особенно о женщинах параллельной акции. Перспектива от всего отключиться, связанная с предстоявшей переменой,

показалась ему чудесной. Как в комнате часто бывает достаточно изменить какую-нибудь мелочь, чтобы вместо унылой акустики получился великолепный резонанс, так теперь в его воображении его маленький дом превратился в раковину, где шум города слышен как далекий поток.

А потом ведь, в конце, кажется, этого разговора, был еще особый, маленький разговор.

— Мы будем жить как отшельники, — сказала Агата с веселой улыбкой, — но в любовных делах каждый, конечно, остается свободен. На твоём пути, во всяком случае, помех не будет! — заверила она его.

— Знаешь ли ты, — ответил на это Ульрих, — что мы входим в Тысячелетнее Царство?

— Что это значит?

— Мы столько говорили о любви, которая не течет, как ручей, к какой-то цели, а образует, как море, некое состояние! Скажи честно: когда тебе в школе рассказывали, что ангелы в раю ничего не делают, кроме того, что пребывают перед лицом господина и славят его, могла ты представить себе это блаженное ничегонеделанье и нио чемнедуманье?

— Я всегда представляла себе это скучноватым, чему виной, конечно, мое несовершенство, — отвечала Агата.

— Но, памятуя все, насчет чего мы согласились, — сказал Ульрих, представь себе, что это море есть некая неподвижность и уединенность, непрестанно наполняемая кристаллически чистыми событиями. В старину пытались представить себе такую жизнь уже на земле. Это Тысячелетнее Царство, созданное по нашему подобию и все же отсутствующее среди знакомых нам царств! И вот так мы будем жить! Мы отбросим всякое себялюбие, мы не будем копить ни благ, ни знаний, ни возлюбленных, ни друзей, ни принципов, ни самих себя. Тем самым наш дух раскроется, отворится перед человеком и перед всякой тварью живой, распахнется так, что мы перестанем быть самими собой и сохранимся только в своей слитности со всем миром!

Этот маленький промежуточный разговор был шуткой. Ведя его, Ульрих сидел с карандашом и бумагой, делал заметки и попутно обсуждал с сестрой ее виды в том случае, если она продаст дом и мебель. К тому же он был еще зол и сам не знал, богохульствует он или фантазирует. И за всем этим они так и не объяснились как следует по поводу завещания.

Да и сегодня, наверно, все эти побочные обстоятельства были причиной тому, что Ульрих отнюдь не пришел к деятельному раскаянию. В выходке сестры многое ему нравилось, хотя побитым оказался он сам; он должен был признать, что тут человек, живущий «по правилу свободных

умов», человек, которому он в себе давал слишком много поблажек, одним махом вступил в опасный конфликт с той глубоко неопределенной личностью, от которой исходит подлинная серьезность. Уклоняться от последствий такого поступка, быстро поправив его каким-нибудь обычным способом, ему тоже не хотелось. Но это значило, что нет никакого правила и надо предоставить событиям идти своим ходом.

16

Встреча с супругом Диотимы, дипломатом

Утро не принесло Ульриху большей ясности, и перед вечером он решил — с намерением облегчить угнетавшую его серьезность — посетить свою кухню, занятую освобождением души от цивилизации.

Прежде чем Рахиль вернулась из комнаты Диотимы, он был, к своему удивлению, принят вышедшим ему навстречу начальником отдела Туцци.

— Моей жене сегодня нездоровится, — объяснил тренированный супруг тем бездумно нежным тоном, который благодаря ежемесячному употреблению стал уже формулой, открывающей домашний секрет. — Не знаю, сможет ли она принять вас.

Он был одет для выхода, но охотно остался с Ульрихом.

Тот воспользовался случаем осведомиться об Арнгейме.

— Арнгейм побывал в Англии, а сейчас он в Петербурге, — сообщил Туцци. На Ульриха, подавленного собственными делами, эта пустяковая и вполне естественная информация подействовала так, словно мир во всей своей полноте и подвижности устремился к нему.

— Это славно, — сказал дипломат. — Пускай ездит себе взад и вперед. Тут можно сделать кое-какие наблюдения и кое-что узнать.

— Значит, вы все еще думаете, что он разъезжает с какой-то пацифистской миссией, возложенной на него царем? — спросил Ульрих, оживившись.

— Я уверен в этом больше, чем когда-либо, — просто ответил высокий чиновник, ответственный за проведение австро-венгерской политики.

Но вдруг Ульрих засомневался — действительно ли Туцци так наивен или притворяется и водит его за нос; он с некоторой досадой отставил тему Арнгейма и осведомился:

— Я слышал, что в мое отсутствие здесь выдвинули новый лозунг — «Действовать!»?

Как всегда, когда речь шла о параллельной акции, Туцци, казалось,

доставляло удовольствие строить из себя простака и одновременно хитреца; он пожал плечами и ухмыльнулся:

— Не стану опережать жену, вы ведь услышите это от нее, как только она сможет принять вас! — Но через мгновение усики его задрожали, а в больших темных глазах на лице цвета дубленой кожи мелькнуло какое-то неуверенное страдание.

— Вы ведь тоже из книжников, — сказал он медленно, — может быть, вы объясните мне, что это значит, когда говорят «человек с душой»?

Казалось, что Туцци действительно хотелось говорить на эту тему, и впечатление, что он страдает, создавала явно его неуверенность, Ульрих ответил не сразу, и он продолжал:

— Когда говорят «душа-человек», имеют в виду надежного, исполнительного, искреннего малого, — у меня есть такой директор канцелярии. Но ведь это же в конце концов свойства несамостоятельности! Или душа считается свойством женщин — а это приблизительно то же самое, что сказать, что они чаще плачут, чем мужчины, и чаще краснеют...

— У вашей супруги есть душа, — поправил его Ульрих с такой серьезностью, словно устанавливал, что у нее иссиня-черные волосы.

Лицо Туцци слегка побледнело.

— У моей жены есть ум, — сказал он медленно, — она по праву слывет умной женщиной. Я иногда мучаю ее и упрекаю в эстетстве. Тогда она сердится. Но это еще не душа... — Он немного подумал. — Встречали вы когда-нибудь женщин мистического толка? — спросил он затем. — Она прочтет вам будущее по руке или по волоску, иной раз поразительно верно. Что ж, особый дар или трюк. Но можете ли вы вложить в это какой-нибудь смысл, если вам говорят, например, что налицо предвестия эпохи, когда наши души будут глядеть друг на друга как бы без посредства чувств? Причем, — быстро добавил он, — понимать это нужно не просто фигурально, а так, что если вы, что бы вы ни делали, человек нехороший, то сегодня, поскольку эпоха пробуждающейся души уже наступила, это почувствуют гораздо яснее, чем в прежние века! Вы в это верите?

У Туцци никогда нельзя было понять, над кем он подтрунивает — над собой или над слушателем, и Ульрих на всякий случай ответил:

— Я бы на вашем месте проверил это на опыте!

— Не шутите, мой милый, это неблагородно, если сам находишься в безопасности, — жалобно сказал Туцци. — А от меня моя жена требует серьезного отношения к таким фразам, даже если я с ними не согласен, и я вынужден капитулировать без всякой возможности защищаться. Вот я и вспомнил в беде, что вы ведь тоже из таких книжников...

— Оба утверждения принадлежат Метерлинку, если я не ошибаюсь, — помог Ульрих.

— Вот оно что?! Ему, значит? Да, вполне возможно. Это тот, кто?.. Ну да, ну да. Так это, понимаете, может быть, тот самый, кто утверждает, что правды не существует? Кроме как для любящих! — говорит он. — Если я люблю человека, то я непосредственно участвую в таинственной правде, которая глубже обыкновенной. А если мы судим о ком-то на основании точного знания людей и наблюдения, то это, мол, никакой ценности не имеет. Это тоже утверждает ваш... как его?

— Право, не знаю. Может быть. Это в его духе.

— Я думал, что это арнгеймовское.

— Арнгейм многое позаимствовал у него, а он многое у других. Оба они способные эклектики.

— Вот как? Значит, это старо? Но тогда объясните мне ради бога, как можно печатать сегодня такие вещи?! — попросил Туцци. — Когда моя жена мне отвечает: «Разум ничего не доказывает, мысли не достают до души!» — или: «Выше точности есть царство мудрости и любви, которое обдуманное слова только оскверняют!», я понимаю, что заставляет ее так говорить: она женщина, она защищается этим от мужской логики! Но как может мужчина говорить это?! — Туцци придвинулся поближе и положил руку Ульриху на колено: — «Истина плавает как рыба в невидимом принципе. Как только ее вынимают оттуда, она умирает», — что вы на это скажете? Может быть, это связано с различием между «эротикой» и «сексуальностью»?

Ульрих улыбнулся.

— Вы в самом деле хотите, чтобы я сказал вам?

— Просто сгораю от желания!

— Не знаю, как и начать.

— То-то и оно! Мужчины не любят говорить о таких вещах. А будь у вас душа, вы бы сейчас просто созерцали мою душу и восхищались ею. Мы бы поднялись на высоту, где нет ни мыслей, ни слов, ни поступков, но зато есть таинственные силы и потрясающее молчание! Можно душе покурить? — спросил он и закурил; лишь потом, вспомнив о своих обязанностях хозяина дома, он протянул портсигар Ульриху. Втайне он немного гордился тем, что прочел книги Арнгейма, и как раз потому, что они остались для него невыносимыми, ему льстило, что именно он открыл возможную полезность напыщенного их стиля для непостижимых задач дипломатии. И правда, никто другой тоже не захотел бы проделывать такую трудную работу напрасно, и каждый на его месте сперва вволю

позабавился бы, а потом не устоял бы перед соблазном привести на пробу ту или другую цитату или облечь что-нибудь, что все равно нельзя выразить точно, в одну из этих раздражающе неясных новых мыслей. Такие вещи делаются неохотно, потому что новое облачение кажется еще сметным, но к нему быстро привыкают, и незаметно так меняется, меняя формы выражения, дух времени, и в данном случае Арнгейм мог приобрести нового поклонника. Даже Туцци уже признавал, что в требовании соединить, несмотря на их принципиальную вражду, душу и экономику можно усмотреть что-то вроде психологии экономики, и стойко защищала его от Арнгейма только, собственно, Диотима. Ибо между нею и Арнгеймом тогда уже началось — о чем никто не знал — охлаждение, навлекшее на все, что Арнгейм когда-либо говорил о душе, подозрение, что все его слова — лишь отговорка, вследствие чего их-то и швыряли Туцци в лицо с большей, чем когда-либо, раздраженностью. Простительно было, что при таких обстоятельствах он полагал, что отношение его супруги к этому иностранцу находится еще на подъеме, — отношение, которое было не любовью — тут супруг мог бы принять соответствующие меры, — а «состоянием любви» и «любящим умом» и, стало быть, настолько выше всяких низменных подозрений, что Диотима сама открыто говорила о том, на какие мысли оно ее вдохновляло, а в последнее время даже довольно настойчиво требовала от Туцци, чтобы он духовно в этом участвовал.

Он чувствовал себя крайне бестолковым и уязвимым, будучи окружен этим состоянием, ослеплявшим его, как солнечный свет со всех сторон без какой-либо определенной высоты солнца, ориентируясь на которую можно найти тень и укрыться.

И он слушал Ульриха.

— Но я хочу обратить ваше внимание вот на что. В нас происходит обычно постоянный приток и отток переживаемого, Возбуждения, образующиеся в нас, стимулируются извне и вытекают опять наружу в виде слов или действий, Представьте себе это как механизм. А потом представьте себе, что он разладился. Получится застой? Что-то как-то выйдет из берегов? Иной раз это может быть просто вздутие...

— Вы хотя бы говорите разумно, даже если это все чепуха, — с похвалой сказал Туцци. Он еще не понял, что тут действительно созревает объяснение, но сохранял осанку, и хотя внутренне пропадал от горя, на губах у него оставалась такая гордая язвительная улыбочка, что ушмыгнуть в нее он мог в любой миг.

— Кажется, физиологи говорят, — продолжал Ульрих, — что то, что мы называем сознательным действием, возникает из того, что стимул не

просто, так сказать, втекает и вытекает через рефлекторную дугу, а вынужден совершить обходный путь. И стало быть, хотя мир, нами воспринимаемый, и мир, где мы действуем, представляются нам одним и тем же миром, они на самом деле подобны верхнему и нижнему бьефам в мельничном поставе и соединены как бы плотинным озером сознания, как бы водохранилищем, регулирующим своей высотой, емкостью и тому подобным приток и отток. Или другими словами: если на одной из обеих сторон возникает помеха — мир отчуждается или пропадает охота действовать, — то ведь вполне естественно предположить, что этим путем может образоваться второе, более высокое сознание? Или вы считаете — нет?

— Я? — сказал Туцци. — Мне это, знаете, безразлично. Пусть это выясняют между собой профессора, если находят это важным. Но, практически говоря...он задумчиво вдавил папиросу в пепельницу и сердито поднял глаза, — кто правит миром — люди с двумя подпорами или с одним?

— Я думал, вы хотите услышать от меня, как, на мой взгляд, возникают такие мысли.

— Если вы рассказывали мне это, то я вас, к сожалению, не понял, сказал Туцци.

— Да ведь это же очень просто: у вас нет второго подпора, а значит, вы не обладаете принципом мудрости и не понимаете ни слова из того, что говорят люди, обладающие душой. И я поздравляю вас с этим!

Ульриху постепенно становилось ясно, что он в дурацкой форме и в странном обществе высказывает мысли, вполне пригодные для объяснения чувств, которые смутно волновали собственное его сердце. Предположение, что при повышенной восприимчивости переживаемое может хлынуть через край и, отхлынув назад, безгранично и мягко, как водная гладь, соединить чувства со всеми вещами на свете, — предположение это вызвало у него в памяти важные разговоры с Агатой, и лицо его непроизвольно приняло отчасти ожесточенное, отчасти растерянное выражение. Туцци глядел на него из-под полуопущенных век и по характеру ульриховского сарказма как-то почувствовал, что он, Туцци, не единственный здесь человек, чьи «подпоры» не соответствуют его желаниям.

Оба почти не заметили, как долго отсутствовала Рахиль, которую задержала Диотима, чтобы та быстро помогла ей привести себя и комнату в сообразный с болезнью порядок, не строгий, но позволяющий пристойно принять Ульриха. И вот Рахиль пришла сказать, чтобы он не уходил, а еще

чуть-чуть подождал, и поспешно вернулась к своей госпоже.

— Все фразы, которые вы мне привели, — конечно, аллегории, — продолжил Ульрих прерванный было разговор, чтобы вознаградить хозяина дома за то, что тот любезно составил ему компанию. — Какой-то язык мотыльков! А когда я смотрю на людей типа Арнгейма, впечатление у меня складывается такое, что они как бы нагуливают себе брюхо, напиваясь этим тончайшим нектаром! То есть, — быстро прибавил он, вовремя сообразив, что нельзя обижать заодно и Диотиму, — такое впечатление производит на меня именно Арнгейм, хотя от него же у меня остается и ощущение, что свою душу он носит, как бумажник, в нагрудном кармане!

Туцци положил на место портфель и перчатки, которые уже взял было, когда вошла Рахиль, и запальчиво ответил:

— Знаете, что это такое? Я имею в виду то, что вы так интересно мне объяснили. Это не что иное, как дух пацифизма! — Он сделал паузу, чтобы его открытие оказало свое действие. — Пацифизм в руках дилетантов несет в себе, несомненно, большую опасность, — прибавил он многозначительно.

Ульрих готов был рассмеяться, но Туцци говорил донельзя серьезно, и связал он сейчас две вещи, которые действительно находились в отдаленном родстве между собой, как это ни смешно связывать любовь с пацифизмом только потому, что и то, и другое производило на него впечатление какой-то дилетантской необузданности. Не зная, что и ответить, Ульрих воспользовался случаем вернуться к параллельной акции: он возразил, что она-то ведь сейчас идет как раз под лозунгом «Действовать!».

— Это типично лейнсдорфовская идея! — пренебрежительно сказал Туцци. Помните последнее совещание здесь у нас незадолго до вашего отъезда? Лейнсдорф сказал: «Пусть что-то произойдет!» К этому теперь все и сводится, это и называют теперь лозунгом «Действовать!». И конечно, Арнгейм пытается просунуть сюда свой русский пацифизм. Помните, как я предостерегал вас от этого? Боюсь, меня еще вспомнят! Нигде внешняя политика так не трудна, как у нас, и я уже тогда говорил: кто сегодня берется осуществлять фундаментальные политические идеи, в том должно быть что-то от банкрота и преступника! — На сей раз Туцци разошелся, потому, наверно, что в любой миг Ульриха могли позвать к его супруге, или потому, что не хотел остаться в этой беседе единственной поучаемой стороной. — Параллельная акция вызывает международное недоверие, — сообщил он, — и ее внутривнутриполитический эффект — ведь ее считают и антигерманской и антиславянской — отзывается на внешней политике. Но

чтобы вы вполне уяснили себе разницу между дилетантским и профессиональным пацифизмом, я вам кое-что объясню. Австрия могла бы предотвратить любую войну, минимум на тридцать лет, вступи она в Entente cordiale!^[2]

И по случаю императорского юбилея она, конечно, могла бы сделать это с неслыханно красивым пацифистским жестом и притом заверить Германию в своей братской любви, предоставив той следовать за собой или не следовать. Большинство наших народностей было бы воодушевлено. Благодаря дешевым французским и английским кредитам мы могли бы усилить свою армию так, что Германия не испугала бы нас. От Италии мы бы избавились, Франция без нас ничего не смогла бы поделаться. Одним словом, мы были бы ключом к миру и войне и вершили бы большую политику. Я не выдаю вам этим никакой тайны: это простая дипломатическая выкладка, которую может сделать любой торговый атташе. Почему же ее нельзя реализовать? Непредвиденности при дворе: там настолько терпеть не могут е. в.,^[3] что сочли бы непристойным идти на это. Монархии сегодня в невыгодном положении, потому что отягощены пристойностью! Затем непредвиденности так называемого общественного мнения — тут я перехожу к параллельной акции. Почему она его не воспитывает?! Почему его не учат объективно смотреть на вещи? Поймите, — но тут рассуждения Туцци утратили убедительность, и в них почувствовалась скрытая печаль, — этот Арнгейм действительно забавляет меня тем, что он пишет! Не он первый занимается такими вещами, и как раз вчера, когда я долго не засыпал, у меня было время подумать об этом. Всегда были политики, которые писали романы или пьесы, например Клемансо, не говоря уж о Дизраэли, Бисмарк — нет, но Бисмарк был разрушитель. А поглядите на этих французских адвокатов, что теперь у власти, — позавидуешь, да и только! Политические хапуги, но советы и директивы дает им прекрасный профессиональный дипломатический корпус, и все они когда-то самым бессовестным образом писали пьесы или романы, по крайней мере в молодости, да и поныне пишут книги. По-вашему, эти книги чего-то стоят? По-моему, нет. Но клянусь вам, вчера вечером я подумал: наша дипломатия что-то теряет, оттого что не создает книг, и я вам скажу — почему. Во-первых, дипломат, точно так же, как спортсмен, должен, конечно, согнать жирок. А во-вторых, это повышает общественную безопасность. Знаете ли вы, что такое европейское равновесие?..

Их прервала Рахиль, пришедшая сообщить, что Диотима ждет

Ульриха. Туцци велел подать себе пальто и шляпу.

— Если бы вы были патриотом... — сказал он, влезая в рукава поданного Рахилью пальто.

— Что бы я тогда сделал? — спросил Ульрих и посмотрел на черные зрачки Рахили.

— Если бы вы были патриотом, вы бы как-нибудь обратили внимание моей жены или графа Лейнсдорфа на эти трудности. Я не могу: в устах мужа это произведет впечатление мелкотравчатости.

— Но ведь меня никто не принимает здесь всерьез, — спокойно возразил Ульрих.

— Не говорите! — с оживлением воскликнул Туцци. — Вас не принимают всерьез в таком же смысле, как других, но уже давно все очень боятся вас. Опасаются, что вы можете дать Лейнсдорфу какой-нибудь совершенно сумасшедший совет. Знаете ли вы, что такое европейское равновесие?! — настойчиво повторил дипломат.

— Более или менее, наверно, знаю, — сказал Ульрих.

— Тогда вас можно поздравить! — раздраженно и огорченно сказал Туцци. Никто из нас, профессиональных дипломатов, этого не знает. Это то, чего нельзя нарушать, а то все набросятся друг на друга. Но чего именно нельзя нарушать, никто точно не знает. Припомните-ка, что творилось вокруг вас в последние годы и творится поныне: итало-турецкая война, Пуанкаре в Москве, багдадский вопрос, военная интервенция в Ливии, австро-сербские трения, адриатическая проблема... Это равновесие? Наш незабываемый барон Эренталь... но не буду вас больше задерживать!

— Жаль, — заверил его Ульрих. — Если европейское равновесие можно понимать так, то в нем наилучшим образом выражается европейский дух!

— Да, это-то и интересно, — ответил Туцци с покорной улыбкой уже в дверях. — И в этом смысле нельзя недооценивать духовный результат нашей акции!

— Почему вы этому не помешаете?

Туцци пожал плечами.

— Когда у нас чего-то хочет человек, занимающий положение его сиятельства, выступать против этого нельзя. Можно только быть начеку!

— А вы как поживаете? — спросил Ульрих, когда Туцци вышел, маленькую черно-белую провожатую, которая повела его к Диотиме.

— Милый друг, — сказала Диотима, когда Ульрих вошел к ней, — мне не хотелось отпустить вас, не поговорив с вами, но приходится принимать вас в таком виде!

На ней было домашнее платье, в котором ее величественные формы из-за какой-то случайно принятой ею позы немного напоминали беременность, что придавало этому гордому, никогда не рожавшему телу какую-то долю прелестного порой бесстыдства, связанного с родовыми муками; рядом с ней на диване лежала горжетка, которой она явно согревала сейчас живот, а на лбу у нее был компресс от мигрени, которому было позволено остаться на месте, потому что она знала, что он так же к лицу ей, как греческая повязка. Хотя было поздно, свет не горел, и в воздухе стоял запах целебных и освежающих средств, применяемых против какого-то неведомого недомогания, который смешался с ароматом крепких духов, покрывавшим, как одеяло, все отдельные запахи.

Ульрих низко склонился, целуя руку Диотимы, словно хотел по благоуханию ее запястья почувствовать перемены, происшедшие в его отсутствие. Но кожа ее источала лишь тот же полный, насыщенный, хорошо вымытый аромат, что и всегда.

— Ах, милый друг, — повторила Диотима, — хорошо, что вы вернулись... О! — простонала она вдруг, улыбнувшись, — у меня так болит живот!

Это сообщение, которое у человека естественного звучит так же естественно, как сводка погоды, приобрело в устах Диотимы всю выразительность катастрофы и признания.

— Кузина?! — воскликнул Ульрих и с улыбкой наклонился вперед, чтобы заглянуть ей в лицо. В этот миг нежный намек Туцци насчет недомогания супруги спутался в уме Ульриха с предположением, что Диотима забеременела и судьба дома теперь решена.

Она вяло отвергла это допущение, наполовину угадав его мысли. У нее на самом деле были просто менструальные спазмы, чего прежде никогда не случалось и что, как смутно чувствовалось, связано было с ее колебанием между Арнгеймом и супругом и уже несколько месяцев сопровождалось такими болями. Когда она услышала, что Ульрих вернулся, это ее утешило, и потому она и приняла его, что обрадовалась ему как наперстнику своей борьбы, И вот она лежала, даже не притворяясь сидящей, и, мучаясь от

терзавших ее более, была в его обществе частью вольной природы без каких-либо оград и запретительных табличек, что с ней случалось довольно редко. Все же она сочла, что если будет симулировать боль в желудке на нервной почве, то это получится правдоподобно и даже сойдет за признак природной чувствительности; иначе она не показалась бы ему.

— Примите же что-нибудь, — предложил Ульрих.

— Ах, — вздохнула Диотима, — это только от волнений. Мои нервы долго не выдержат!

Возникла маленькая пауза, потому что теперь Ульриху следовало, собственно, спросить об Арнгейме, а ему было любопытно узнать что-нибудь о событиях, касавшихся его самого, и он не сразу нашел выход из этого затруднения. Наконец он спросил:

— Освобождение души от цивилизации доставляет, наверно, много хлопот? — и прибавил: — Могу, к сожалению, похвастаться тем, что давно уже предсказывал вам, что их старания проложить духу улочку в мир кончатся обидным провалом!

Диотима вспомнила, как она убежала от общества и сидела с Ульрихом в передней на подставке для обуви. Тогдашняя ее подавленность почти не отличалась от теперешней, и все-таки между этими двумя днями было бесчисленное множество взлетов и спадов надежды.

— Как было все же прекрасно, мой друг, — сказала она, — когда мы еще верили в эту великую идею! Сегодня я могу, пожалуй, сказать, что мир прислушался, но как разочарована я сама!

— Почему, собственно? — спросил Ульрих.

— Не знаю. Причина, наверно, во мне.

Она хотела прибавить что-то об Арнгейме, но Ульрих пожелал узнать, чем кончилось дело с демонстрацией; его воспоминания о ней кончались на том, что он не застал Диотиму, когда граф Лейнсдорф послал его к ней, чтобы подготовить ее к решительному вмешательству и одновременно успокоить. Диотима сделала надменный жест. — Полиция арестовала нескольких молодых людей, а потом отпустила их. Лейнсдорф очень сердит, но что еще можно было сделать?! Теперь-то уж он всю держится за Виснечки и говорит, что надо что-то предпринять. Но Виснечки не может развернуть никакой пропаганды, если никто не знает, в пользу чего!

— Говорят, что теперь выдвинут лозунг «Действовать!», — вставил Ульрих.

Имя барона Виснечки, который как министр потерпел крах из-за сопротивления немецких партий и потому вызывал глубокое недоверие, став во главе комитета, ратующего за неопределенную великую

патриотическую идею параллельной акции, — имя его заставило Ульриха живо представить себе политические манипуляции его сиятельства, результатом которых это и было.

По-видимому, невозмутимый ход мыслей графа Лейнсдорфа, — может быть, подкрепленный ожидавшимся провалом всех попыток пробудить дух родины, а в более широком кругу и дух Европы, сотрудничеством выдающихся ее деятелей, по-видимому, ход его мыслей привел теперь к выводу, что лучше всего дать этому духу толчок, неважно, с какой стороны. Возможно, что соображения его сиятельства опирались и на опыт обращения с бесноватыми, которым это порой идет на пользу, если на них наорать или встряхнуть их как следует; но эти домыслы, мелькнувшие у Ульриха прежде, чем Диотима успела возразить, были прерваны теперь ее ответом. На сей раз больная снова воспользовалась обращением «милый друг».

— Милый друг, — сказала она, — в этом есть какая-то истина! Наш век жаждет действия. Действие...

— Но какого действия? Какого рода действия?! — прервал ее Ульрих.

— Совершенно неважно! В действии, в отличие от слов, есть великолепный пессимизм. Не будем отрицать, что в прошлом всегда только говорили. Мы жили ради великих и вечных идеалов и слов. Ради большей человечности. Ради нашей глубочайшей самобытности. Ради роста общей полноты бытия. Мы стремились к синтезу, мы жили для новых эстетических наслаждений и новых видов счастья, и я не стану отрицать, что поиски истины — детская игра по сравнению с огромной серьезностью задачи — стать истиной самому. Но это было перенапряжением при той малой доле реальности, которая в наше время содержится в душе, и в мечтательной тоске мы жили, так сказать, ни для чего!

— Диотима выразительно приподнялась на одном локте. — В этом есть что-то здоровое, если сегодня отказываются искать засыпанный вход в душу и зато стараются справиться с жизнью, какова она есть! — заключила она.

Теперь, стало быть, наряду с предполагаемым лейнсдорфовским у Ульриха было и другое, подтвержденное толкование лозунга «Действовать!». Диотима, видимо, переменила круг чтения; он вспомнил, что, войдя, увидел возле нее множество книг, но стало уже слишком темно, чтобы разбирать их заглавия, да и тело задумчивой молодой женщины лежало на части книг, как толстая змея, которая сейчас поднялась еще выше и смотрела на него с ожиданием. Диотима, с детства питавшая слабость к очень сентиментальным и субъективным книгам, была теперь явно, как

заклучил из ее слов Ульрих, охвачена той духовной тягой к обновлению, которая всегда тщится найти то, чего не нашла в понятиях последних двадцати лет, в понятиях двадцати следующих — откуда, в конечном счете, и возникают, пожалуй, те большие исторические смены настроений, что колеблются между гуманностью и жестокостью, страстностью и равнодушием или между другими противоположностями, для которых никакой вполне убедительной причины нет. Ульриху подумалось, что тот маленький, неразъясненный остаток неопределенности, который оставляет любой моральный опыт, — о чем он так много говорил с Агатой, — и есть, должно быть, причина этой человеческой неуверенности; но, не разрешая себе счастья, заключенного в воспоминании об этих разговорах, он заставил свои мысли отключиться от них и переключиться на генерала, который первым рассказал ему о том, что время обзаводится теперь новым духом, и рассказал со здоровым негодованием, не оставлявшим места для радости очаровательных сомнений. А уж подумав о генерале, он вспомнил и просьбу его вникнуть в разлад между кузиной и Арнгеймом и поэтому на прощальное слово душе, произнесенное Диотимой, ответил в конце концов просто:

— Стало быть, «безграничная любовь» не пошла вам на пользу?!

— Ах, вы все такой же! — вздохнула кузина и, откинувшись на подушки, закрыла глаза; отвыкнув в отсутствие Ульриха от таких прямых вопросов, она должна была прежде всего сообразить, во многое ли уже посвятила его. И вдруг его близость всколыхнула забытое. Она смутно вспомнила один разговор с Ульрихом о «безмерной любви», получивший продолжение при последней или предпоследней их встрече, когда она заявила, что души могут выйти из тюрьмы тела или хотя бы высунуть, так сказать, туловище, а Ульрих ответил ей, что это бредни любовного голода и что лучше бы она оказала некую благосклонность Арнгейму, или ему, или еще кому-нибудь; даже Туцци назвал он тогда, это тоже пришло ей теперь на память; предложения подобного рода вспомнить, видимо, легче, чем все остальное, что говорит такой человек, как Ульрих. И наверно, она по праву восприняла тогда это как дерзость, но поскольку прошедшая боль по сравнению с нынешней — безобидный старый друг, это воспоминание обладало сегодня всеми преимуществами чего-то приятельски-привычного. И Диотима снова открыла глаза и сказала:

— Наверно, совершенной любви на земле не бывает!

Она улыбалась при этих словах, но лоб под повязкой был нахмурен, что в сумерках придавало ее лицу какую-то странную перекошенность. В вопросах, задевавших ее лично, Диотима вполне была склонна верить в

сверхъестественные возможности. Даже неожиданное появление на Соборе генерала фон Штумма испугало ее как действие нечистой силы, а в детстве она молилась о том, чтобы никогда не умереть. Это помогло ей даровать и своему отношению к Арнгейму некую сверхъестественную веру или, правильнее сказать, то неокончательное неверие, ту готовность ничего не исключать начисто, что стали ныне основополагающим отношением к вере. Если бы Арнгейм способен был не только извлекать из ее и своей души что-то невидимое, что на расстоянии пяти метров от нее и от него соприкасалось в воздухе, или если бы глаза их способны были встретиться так, чтобы от этого осталось трофейное зернышко, манная крупинка, чернильное пятно, какой-нибудь след или хотя бы только движение, то Диотима ждала бы как следующего этапа, что в один прекрасный день еще не то будет и возникнут какие-то из тех сверхъестественных связей, которые так же нельзя точно представить себе, как большинство естественных. Она терпеливо сносила и то, что Арнгейм в последнее время чаще уезжал и дольше отсутствовал, чем прежде, и даже в те дни, когда он не был в отъезде, бывал удивительно загружен делами. Она не позволяла себе сомневаться в том, что любовь к ней — все еще величайшее событие в его жизни, и когда они снова встречались наедине, душевный подъем сразу же оказывался столь огромным, а контакт столь существенным, что чувства испуганно умолкали, более того, если не представлялось случая поговорить о чем-либо неличном, возникал вакуум, оставлявший горькую усталость. Как не подлежало сомнению, что это — страсть, так для нее, приученной временем, в которое она жила, к тому, что все непрактическое есть все равно лишь объект веры, то есть правильнее — неуверенного неверия, — так для нее не подлежало сомнению, что последует еще что-то, противоречащее всем разумным предположениям. Но в эту минуту, раскрыв глаза и устремив их на Ульриха, который был сейчас только темной, не дававшей ответа тенью, она спросила себя: «Чего я жду? Что, собственно, должно произойти?»

Наконец Ульрих отозвался:

— Но ведь Арнгейм хотел жениться на вас?!

Диотима снова оперлась на локоть и сказала:

— Разве можно решить проблему любви разводом или вступлением в брак?!

«Насчет беременности я ошибся», — отметил про себя Ульрих, не зная, что и ответить на восклицание кузины.

Но вдруг, ни с того ни с сего, сказал:

— Я предостерегал вас от Арнгейма!

Быть может, в этот миг он почувствовал себя обязанным сообщить ей то, что он знал о набобе, связавшем собственную и ее душу со своими делами, но он сразу отказался от такой мысли, обнаружив, что в этом разговоре каждое слово находится на старом месте в точности так же, как предметы в его кабинете, на которых он, возвратившись домой, не нашел ни пылинки, словно он в течение какой-то минуты был мертв. Диотима упрекнула его:

— Не относитесь к этому так легкомысленно. Между мною и Арнгеймом существует глубокая дружба. А если между нами и случается что-то, что я назвала бы великим страхом, то причиной тому именно искренность. Не знаю, испытывали ли вы это когда-нибудь и способны ли вы на это, но между двумя людьми, достигшими определенной высоты чувства, всякая фальшь бывает настолько невозможна, что им вообще нельзя говорить друг с другом!

Чуткое ухо Ульриха расслышало в этом порицании, что вход в душу кухни для него открыт шире обычного, и, очень развеселившись от ее невольного признания, что она не может говорить с Арнгеймом без фальши, он несколько мгновений демонстрировал ей свою искренность тем, что тоже не говорил ни слова, а затем, когда Диотима опять прилегла, склонился над ней и дружески ласково поцеловал ей руку. Легкая, как сердцевина веточки бузины, лежала она в его руке и осталась там после поцелуя. Пульс ее отдавался в кончиках его пальцев. Легкий, как пудра, запах ее близости повис облачком возле его лица. И хотя этот поцелуй в руку был всего лишь галантной шуткой, он походил на неверность тем, что оставлял такой же, как она, горький вкус наслаждения настолько близким, настолько низким наклоном к другому человеку, что пьешь из него, как животное, уже не видя собственного отражения в воде.

— О чем вы думаете? — спросила Диотима. Ульрих только покачал головой, снова дав ей тем самым — в темноте, освещенной лишь последним бархатным мерцанием, — возможность проделать сравнительные наблюдения над молчанием. Ей пришла на память замечательная фраза: «Есть люди, молчать с которыми не осмелится и величайший герой». Или если не слово в слово так, то по смыслу. Ей помнилось, что это цитата; Арнгейм привел ее, и она отнесла ее к себе. И, кроме руки Арнгейма, она со дней своего медового месяца не держала руки другого мужчины долее двух секунд, только с рукою Ульриха случилось это сейчас. Поглощенная собой, она не заметила, что происходило, но мгновение спустя почувствовала приятную убежденность в том, что была совершенно права, когда не стала бездейственно дожидаться то ли

предстоящего, то ли невозможного часа высочайшей любви, а использовала время медлящего решения для того, чтобы чуть больше посвятить себя своему супругу. Людям женатым куда как хорошо в обстоятельствах, когда другие нарушают верность любимым, они вправе сказать себе, что вспоминают о своем долге; и поскольку Диотима сказала себе, что должна, будь что будет, пока исполнять свой долг на том месте, куда ее поставила судьба, она пыталась выправить недостатки своего супруга и внести в него немного больше души. Опять ей пришли на ум слова какого-то писателя: смысл их был примерно тот, что нет положения более отчаянного, чем делить судьбу с человеком, которого не любишь, и это тоже доказывало, что она должна стараться питать к Туцци какие-то чувства, пока их не разлучила ее судьба. В разумном противостоянии не поддающейся учету жизни души, жизни, платиться за которую она больше не хотела его заставлять, она сделала свои старания систематическими; и с гордостью ощущала она книги, на которых лежала, ибо они толковали о физиологии и психологии брака, и как-то одно дополнялось другим: и то, что было темно, и что эти книги были при ней, и что Ульрих держал ее руку, и что она дала ему понять тот великолепный пессимизм, который вскоре, может быть, выразит и в своей общественной деятельности отказом от своих идеалов, — и при этих мыслях Диотима время от времени пожимала руку Ульриха так, словно были уложены чемоданы, чтобы распрощаться с прошлым. Потом она тихонько простонала, и совсем легкая волна боли пробежала в оправдание по ее телу; а Ульрих успокаивающе отвечал на пожатия кончиками пальцев, и когда так повторилось несколько раз, Диотима хоть и подумала, что это, собственно, чересчур, но не осмелилась отнять руку, ибо так легко и сухо лежала она в его руке, порой даже вздрагивая, что это казалось ей, Диотиме, недопустимым указанием на физиологию любви, которое она ни за что не хотела выдать, отстранившись каким-нибудь неловким движением.

Это «Рашель», занявшаяся чем-то в смежной комнате и ставшая с некоторых пор странно непослушной, положила конец этой сцене, внезапно включив свет за открытой соединительной дверью. Диотима быстро вынула руку из руки Ульриха, в которой на мгновение осталось ощущение заполненного невесомостью пространства.

— Рашель, — шепотом воскликнула Диотима, — зажги свет и здесь!

Когда это произошло, их освещенные головы выглядели только что вынырнувшими, словно на них еще не совсем высохла темнота. Вокруг рта Диотимы лежали тени, придавая ему влажность и выпуклость; перламутровые желвачки на шее и под щеками, обычно казавшиеся

созданными для любителей роскошных деликатесов, были тверды, как линогравюра, и дико затушеваны чернилами. Голова Ульриха тоже торчала на непривычном свете окрашенной в черное и белое, как голова ставшего на тропу войны дикаря. Он прищурился, пытаясь разобрать названия окружавших Диотиму произведений, и был поражен той жаждой знаний насчет гигиены души и тела, которая выразилась в выборе этих книг. «Он когда-нибудь еще что-нибудь учинит мне!» — подумала она, проследив за его встревожившим ее взглядом, но мысль ее формы этой фразы не приняла; она просто почувствовала себя слишком подвластной ему, когда вот так лежала у него на глазах на свету, и у нее возникла потребность придать себе уверенный вид. Жестом, который должен был выразить превосходство, как то подобало бы совершенно независимой женщине, она обвела свои книги и сказала как можно деловитее:

— Поверите ли, прелюбодеяние представляется мне иногда очень уж нехитрым разрешением супружеских конфликтов!

— Это, во всяком случае, самое щадящее средство! — ответил Ульрих, рассердив ее своим насмешливым тоном. — Я бы сказал, что повредить-то оно уж никак не повредит.

Диотима бросила на него упрекающий взгляд и сделала ему знак, что Рахиль может в соседней комнате слышать их разговор. Затем она громко сказала: «Да я вовсе не то имею в виду!» — и позвала свою горничную, которая появилась со строптивым видом и с горькой ревностью приняла приказ удалиться. Благодаря этому эпизоду чувства, однако, пришли в порядок; поощренная темнотой иллюзия, будто они вместе совершают маленькую измену, хотя измену, так сказать, не поддающуюся определению и притом без измены кому-либо, — иллюзия эта на свету улетучилась, и Ульрих поспешил теперь перевести разговор на дела, которые он хотел обсудить до ухода.

— Я еще не говорил вам, что отказываюсь от своего секретарства, — начал он.

Но Диотима, оказалось, знала об этом и заявила, что он должен остаться, иначе нельзя.

— Работы у нас все еще невпроворот, — сказала она просительно. Потерпите еще немножко, решение скоро найдется! Вам дадут под начало технического секретаря.

Ульрих обратил внимание на неопределенно-личное «дадут» и пожелал узнать подробности.

— Арнгейм предложил отдать вам на время своего секретаря.

— Нет, спасибо, — ответил Ульрих. — У меня такое чувство, что это

было бы с его стороны не совсем бескорыстно.

В этот миг он был снова не прочь объяснить Диотиме чистую связь с нефтепромыслами, но она даже не заметила подозрительного звучания его ответа и невозмутимо продолжала:

— Да и мой муж изъявил готовность дать вам служащего из своего учреждения.

— А вас это устроило бы?

— Откровенно говоря, мне это было бы не совсем по душе, — высказалась Диотима на сей раз определеннее. — Тем более что у нас нет особой, нужды: ваш друг, генерал, тоже сообщил мне, что с удовольствием направил бы в ваше распоряжение помощника из своего департамента.

— А Лейнсдорф?

— Эти три возможности были мне предложены добровольно, поэтому у меня не было причины спрашивать Лейнсдорфа. Но он наверняка пошел бы на жертву.

— Меня балуют. — Этими словами Ульрих свел воедино поразительную готовность Арнгейма, Туцци и Штумма обеспечить себе дешевым способом известный контроль над всеми делами параллельной акции. — Но, пожалуй, самое умное — взять к себе человека вашего супруга.

— Милый друг... — все еще пыталась возразить против этого Диотима, но она не знала, как ей продолжить, и наверно поэтому вышло что-то очень запутанное. Она снова оперлась на локоть и энергично сказала: — Я отвергаю прелюбодеяние как слишком грубое разрешение супружеских конфликтов, это я вам сказала! И все-таки: нет ничего тяжелее, чем связать всю свою жизнь с человеком, которого недостаточно любишь!

Это был в высшей степени неестественный голос естества. Но Ульрих непреклонно стоял на своем.

— Несомненно, начальник отдела Туцци хочет таким путем приобрести влияние на ваши дела. Но этого же хотят и другие! — объяснил он ей. — Все трое любят вас, и каждый должен как-то связать это со своим долгом. — Он прямо-таки удивлялся, что Диотима не понимает ни языка фактов, ни языка его комментариев к ним, и, вставая, чтобы уйти, закончил с еще большей иронией:

— Единственный, кто самоотверженно любит вас, — это я. Потому что мне совершенно нечего делать и у меня нет обязанностей. Но чувства без отвлечения действуют разрушительно. Это вы успели испытать сами, а ко мне вы всегда питали законное, хотя лишь инстинктивное недоверие.

Диотима не знала — почему, но произошло это, может быть, именно по той весьма милой причине, что ей было приятно видеть Ульриха в вопросе о секретаре на стороне ее дома, и она задержала протянутую им руку в своей.

— А как согласуются с этим ваши отношения с «той» женщиной? — спросила она, игриво возвращаясь к его словам, — насколько Диотима способна была на игривость, что выглядело примерно так, как если бы тяжелоатлет стал играть перышком.

Ульрих не понял, кого она имеет в виду.

— С женой председателя суда, которую вы мне представили?

— Вы заметили это, кухня?!

— Доктор Арнгейм обратил на это мое внимание.

— Вот как? Очень лестно, что он надеется повредить мне этим в ваших глазах. Но, конечно, мои отношения с этой дамой совершенно корректны! — защитил Ульрих, как то принято, честь Бонадеи.

— В ваше отсутствие она была лишь дважды в вашем доме! — Диотима засмеялась. — В первый раз мы случайно увидели ее, а во второй узнали другим путем. Ваша скрытность поэтому бесполезна. А вас понять мне хотелось бы! Но понять просто не могу!

— Боже мой, как объяснить это именно вам!

— Сделайте это! — приказала Диотима. Она напустила на себя «официально нецеломудренный» вид, приняв то напоминающее надетые очки выражение, которое принимала всегда, когда ее ум велел ей выслушивать или говорить вещи, в сущности запрещенные дамской ее душе. Но Ульрих отказался, повторив, что может только строить догадки насчет того, что представляет собой Бонадея.

— Ладно! — уступила Диотима. — Правда, сама ваша приятельница на намеки не скупилась! Она, кажется, считает, что должна оправдать передо мной какую-то несправедливость! Но говорите, если это вам больше нравится, так, словно вы только предполагаете!

Ульрих почувствовал любопытство и узнал, что Диотима уже несколько раз принимала Бонадею, и не только по делам, связанным с параллельной акцией и положением ее, Бонадеи, супруга.

— Должна признаться, что нахожу эту женщину красивой, — великодушно сказала Диотима. — И она необычайно идеалистична. Я даже зла на вас за то, что вы претендуете на мое доверие, а в своем доверии всегда мне отказывали!

В эту минуту Ульриху подумалось что-то вроде «Подите вы все!...» Он хотел испугать Диотиму и наказать Бонадею за ее назойливость — или

просто почувствовал на миг все расстояние между собой и той жизнью, какую позволял себе вести.

— Ну, так знайте, — сообщил он с напускной мрачностью. — Эта женщина — нимфоманка, а сопротивляться этому я не могу!

Диотима «официально» знала, что такое нимфоманка. Наступила пауза, затем она сказала, растягивая слова:

— Бедная женщина! И такое вы любите?!

— Это такое идиотство! — сказал Ульрих.

Диотиме хотелось узнать «подробности»; он должен был объяснить ей и «очеловечить» этот «плачевный феномен». Он сделал это не слишком пространно, и все же, пока он говорил, ею постепенно овладело чувство удовлетворения, основанием которого была, пожалуй, общеизвестная благодарность господам за то, что она не такая, как та, а верхушка терялась в страхе и любопытстве и не могла не влиять на ее позднейшие отношения с Ульрихом. Она сказала задумчиво:

— Это же, наверно, просто ужасно — обнимать человека, если ты внутренне в нем не уверен!

— Вы находите? — чистосердечно ответил Ульрих. Диотима почувствовала, как от этой двусмысленности в голову ей ударили негодование и обида, но она не посмела показать это; она удовлетворилась тем, что отпустила его руку и с прощальным жестом откинулась на подушки.

— Вам не следовало рассказывать мне это, — сказала она оттуда. — Вы поступили сейчас очень некрасиво в отношении этой бедной женщины, сболтнув лишнее!

— Я никогда не болтаю лишнего! — возразил Ульрих, смеясь над своей кузиной. — Вы в самом деле несправедливы. Вы первая женщина, которой я поверяю что-то относительно другой женщины, и подбили меня на это вы!

Диотима была польщена. Она хотела сказать что-то вроде того, что, мол, без духовного перерождения сам у себя отнимаешь самое лучшее; но сказать не сумела, потому что это вдруг задело за живое ее самое. Наконец, однако, воспоминание об одной из окружавших ее книг помогло ей найти безобидный, как бы защищенный барьером официальности ответ. — Вы совершаете общеполитическую ошибку, — сказала она укоризненно. — В любви вы относитесь к партнеру не как к равноправному человеку, а как к дополнению к вам самим и бываете потом разочарованы. Не задавались ли вы вопросом, а не ведет ли к захватывающей и гармоничной эротике только более строгое самовоспитание?!

Ульрих чуть рот не разинул; но, непроизвольно защищаясь от этой ученой атаки, ответил на нее так:

— Знаете ли вы, что и начальник отдела Туцци уже расспрашивал меня сегодня насчет воспитания и возникновения души?!

Диотима резко приподнялась.

— Что, Туцци говорит с вами о душе? — спросила она удивленно.

— Да, конечно. Он хочет выяснить, что это такое, — заверил ее Ульрих, но решительно не стал больше задерживаться и только пообещал, что, может быть, в другой раз пренебрежет обязанностью молчать и расскажет и это.

18

Как трудно моралисту написать письмо

После этого визита к Диотиме прошло беспокойное состояние, в котором Ульрих находился со времени своего возвращения; уже на следующий день, к вечеру, Ульрих сел за письменный стол, отчего тот сразу показался ему привычно милым, и начал писать письмо Агате.

Ему было ясно, — таким легким и ясным бывает порой безветренный день, что ее необдуманый шаг крайне опасен; сделанное ею еще могло значить не больше, чем рискованная шутка, касающаяся только его и ее, но это целиком зависело от того, будет ли оно отменено, прежде чем вступит в контакт с действительностью, а такая опасность росла с каждым днем. Дописав до этого места, Ульрих остановился и сперва почувствовал, что не стоит, пожалуй, доверять почте письмо, без обиняков обсуждающее подобные вещи. Он сказал себе, что было бы во всех отношениях правильнее, если бы с ближайшим поездом вместо письма поехал он сам; но, конечно, ему показалось и несуразным поступить так, после того как он много дней вообще не возвращался к этому делу, и он знал, что не поедет.

Он понял, что в основе тут лежит нечто почти столь же твердое, как решение: ему хотелось посмотреть, что получится из этого эпизода. Вопрос, перед ним стоявший, заключался, стало быть, только в том, до какой степени мог он в самом деле ясно хотеть этого, и на сей счет в голове его мелькали всякие шальные мысли.

Так он в самом начале отметил, что всегда до сих пор, когда он вел себя «нравственно», он духовно оказывался в худшем положении, чем при поступках и мыслях, которые обычно называют «безнравственными». Это общее явление: ведь в ситуациях, противопоставляющих человека его

окружению, он пускает в ход все свои силы, а там, где люди только исполняют положенное, они, понятно, ведут себя не иначе, чем при уплате налогов — из чего следует, что всякое зло совершается с большей или меньшей фантазией и страстью, тогда как добро отличается несомненной бедностью и убогостью чувств. Ульрих вспомнил, что его сестра очень непринужденно выразила эту моральную дилемму вопросом, разве уже нехорошо быть хорошим. Это должно быть трудно и захватывающе интересно, утверждала она, удивляясь тому, что люди нравственные все-таки почти всегда скучны.

Он удовлетворенно улыбнулся и продолжил эту мысль выводом, что Агата и он вместе стоят по отношению к Хагауэру в особой оппозиции, которую можно грубо определить как противоположность людей по-хорошему плохих человеку по-плохому хорошему. И если не принимать в расчет большую среднюю полосу жизни, занимаемую по справедливости людьми, в чьих мыслях общие понятия «добро» и «зло» вообще не фигурируют больше, с тех пор как они оторвались от материнской юбки, то крайние широты, где еще предпринимаются намеренно нравственные усилия, действительно предоставлены сегодня таким по-злему добрым или по-доброму злым людям, одни из которых никогда не видели, как делают добро, и не слышали, как оно поет, и потому требуют от всех сочеловеков, чтобы те вместе с ними восторгались таким пейзажем морали, где чучела птиц сидят на засохших деревьях; после чего вторые, по-доброму злые смертные, взбешенные своими соперниками, усердно устремляются ко злу хотя бы лишь мысленно, словно убедившись, что только в злых делах, которые не так избиты, как добрые, еще шевелится что-то нравственно живое. Таким образом, мир мог тогда, — конечно, Ульрих не вполне отдавал себе отчет в этой перспективе, мир мог тогда выбирать, погибать ли ему из-за своей параличной морали или из-за своих мобильных имморалистов, и, пожалуй, он и поныне не знает, на что же он в конце концов с таким грандиозным успехом решился, разве что то большинство, которому всегда некогда заниматься нравственностью вообще, занялось ею в данном особом случае, потому что потеряло доверие к своему положению, а в дальнейшем, впрочем, и многое другое; ведь злых по-злему людей, которых так легко сделать ответственными за все, и тогда было так же мало, как сегодня, а по-доброму добрые представляли собой задачу такую же отдаленную, как далекая звездная туманность. Но именно о них думал Ульрих, а все другое, о чем он, казалось бы, думал, было ему совершенно безразлично. И он придал своим мыслям еще более общую и безличную форму, поставив соотношение, существующее между

требованиями «Сделай!» и «Не делай!», на место добра и зла. Ведь пока мораль — и это одинаково применимо к духу любви к ближнему и к духу варварской орды — находится на подъеме, «Не делай!» есть лишь обратная сторона и естественное следствие «Сделай!». Действие и бездействие накалены докрасна, а ошибки, сопряженные с ними, мало что значат, ибо это ошибки героев и мучеников. В этом состоянии добро и зло равнозначны счастью и несчастью всего человека. Но как только спорное достигает господства, распространяется и начинает осуществляться уже без особых трудностей, соотношение между требованием и запретом непременно проходит через решающую фазу, когда долг уже не рождается ежедневно живым и новым, а обескровлен, разложен на «если» и «но» и его приходится держать под рукой для самых разных надобностей; и с этого начинается процесс, в дальнейшем ходе которого добродетель и порок, происходя от одних и тех же правил, законов, исключений и ограничений, становятся все более похожими друг на друга, пока наконец не возникнет то странное, но, в сущности, невыносимое внутреннее противоречие, из которого исходил Ульрих, — что разница между добром и злом теряет какое-либо значение по сравнению с радостью от чистого, глубокого и самобытного поступка, высекаемого, как искра, и из дозволенных, и из недозволенных действий. Кто непредубежденно посмотрит на вещи, тот даже, наверно, найдет, что запретительная часть морали заряжена этим напряжением сильнее, чем увещательная. Ведь кажется сравнительно естественным, что определенных поступков, именуемых «дурными», нельзя или, если их все-таки совершают, то по крайней мере не следует совершать, например присваивать себе чужую собственность или распутничать, тогда как соответствующие положительные правила морали — в данном случае, стало быть, дарить, ничего не жалея, или с радостью умерщвлять плоть — почти уже забыты, а если еще соблюдаются, то чудаками, фантазерами или худосочными занудами. И при таком положении, когда добродетель немощна, а нравственное поведение состоит главным образом в ограничении безнравственного, последнее вполне может показаться не только более самобытным и энергичным, чем первое, но даже и более нравственным, если позволительно употребить это слово не в связи с законом и правом, а как меру всей страсти, какую вообще еще могут вызвать вопросы совести. Но возможно ли что-либо более противоречивое, чем внутренне склоняться ко злу, потому что еще сохранившимся у тебя остатком души ищешь добра?!

Противоречие это Ульрих еще никогда не чувствовал с такой силой, как в тот миг, когда взлетающая дуга, по которой проследовали его

рассуждения, снова вернула его к Агате. Ее природная готовность оказаться — еще раз пользуясь тем случайным словом — по-доброму злой, что весомо материализовалось во вторжении в отцовское завещание, оскорбляла такую же готовность, заложенную и в его собственной природе, принявшую у него чисто умственную форму, форму, можно сказать, пастырского восхищения дьяволом, в то время как сам-то он не только способен был жить кое-как, но и не хотел, в общем-то, чтобы ему в этом мешали. С грустным удовлетворением и с иронической ясностью констатируя, что все его теоретическое соприкосновение со злом сводится, в сущности, к тому, что больше всего ему хочется защищать скверные дела от скверных людей, ими занимающихся, он вдруг почувствовал острую тоску по добру — так человек, без толку валандавший в чужих краях, может представить себе, как он однажды вернется домой и прямо направится напиться воды из колодца родной деревни. Но не приди ему в голову прежде всего это сравнение, он, может быть, заметил бы, что вся его попытка представить себе Агату в образе того нравственно половинчатого человека, которого в больших количествах родит современность, была лишь предлогом, чтобы защитить себя от перспективы, которая пугала его гораздо больше. Ведь поведение сестры, заслуживавшее порицания, если рассматривать его трезво, делалось, как ни странно, дурманяще-соблазнительным, стоило лишь размышлять с ней вместе; все спорное и двойственное тогда исчезало, и создавалось впечатление страстной, утверждающей, деятельной доброты, которая рядом с ее бессильными обыденными формами легко могла принять вид какого-то древнейшего порока.

Ульрих не позволял себе так взвинчивать свои чувства, и уж тем более не хотел он делать это за письмом, которое должен был написать, и потому он снова вернулся к общим размышлениям. Они остались бы незавершенными, не вспомни он, как легко и часто в его эпоху желали какой-то обязанности, вытекающей из всей полноты бытия, приводило к тому, что из имеющегося запаса отдельных добродетелей извлекали то одну, то другую и делали ее центральным предметом шумного почитания. Национальные добродетели, христианские, гуманистические — чередовались; один раз специальная сталь, а другой раз доброта, сейчас личность, а потом коллектив, сегодня десятая доля секунды, а днем раньше историческая невозмутимость — смена настроений в общественной жизни основана, в сущности, на чередовании таких идеалов. Но это всегда оставляло Ульриха равнодушным и вело лишь к тому, что он чувствовал себя посторонним. Да и теперь это было для него лишь дополнением

общей картины, ибо только при полупонимании можно поверить, будто невозможность нравственного истолкования жизни, возникшая на ступени слишком уже больших сложностей, преодолима с помощью одного из тех толкований, которые в полупонимании как раз и содержатся. Такие попытки похожи просто на движения больного, когда он беспокойно меняет позу, а паралич, приковавший его к постели, неудержимо прогрессирует. Ульрих был убежден, что состояние, когда такие попытки делаются, неизбежно и обозначает ступень, с которой каждая цивилизация движется снова вниз, потому что до сих пор ни одна не умудрилась заменить утраченное внутреннее напряжение каким-то новым. Он был также убежден, что то же, что произошло с каждой моралью прошлого, предстоит каждой морали будущего. Ибо нравственное одряхление не имеет никакого касательства к заповедям и следованию им, оно не зависит от их различий, оно не реагирует на внешнюю строгость, оно есть совершенно внутренний процесс, равнозначный уменьшению смысла всех действий и уменьшению веры в единство ответственности за них.

И вот так мысли Ульриха непреднамеренно вернулись опять к той идее, которую он иронически представил графу Лейнсдорфу, назвав ее «генеральным секретариатом точности и души»; и хотя он и вообще не говорил об этом иначе, чем с озорством и в шутку, он понял теперь, что с тех пор, как стал взрослым, вел себя не иначе, чем если бы такой «генеральный секретариат» находился в пределах возможного. Вероятно, мог он сказать в свою защиту, каждый мыслящий человек носит в себе такую идею порядка, как взрослые носят под платьем образки, повешенный им в детстве на грудь матерью, и этот образ порядка, образ, который никто не осмеливается ни принять всерьез, ни отбросить, должен выглядеть приблизительно так: с одной стороны, он смутно отражает тоску по закону правильной жизни, железному и естественному, не допускающему исключений и учитывающему любые возражения, освобождающему, как хмель, и трезвому, как истина; а с другой стороны, он отражает убежденность, что собственными глазами такого закона никогда не увидишь, собственными мыслями никогда до него не дойдешь, что распространить его можно не проповедью и не силой какого-то одного человека, а только усилием всех, если это вообще не химера. Мгновение Ульрих помедлил. Он был, несомненно, человек верующий, который просто ни во что не верил: его величайшей преданности науке никогда не удавалось заставить его забыть, что красота и доброта людей идут от того, во что они верят, а не от того, что они знают. Но вера всегда была связана со знанием, хотя бы и с мнимым, с древнейших дней его, знания,

волшебного воцарения. И этот старый элемент знания давно сгнил и заразил веру своим тлением; надо, значит, сегодня установить эту связь заново. И конечно, не просто подняв веру на «уровень знания», а как-то иначе, так, чтобы она воспарила с этого уровня. Искусство возвышения над знанием надо изучать заново. А поскольку никому в отдельности это не по силам, все должны направить на это свои помыслы, о чем бы еще ни помышляли они; и если в этот миг Ульрих подумал о десятилетнем, столетнем или тысячелетнем плане, который должно бы наметить себе человечество, чтобы направить свои усилия к цели, и правда еще никому не ведомой, то он без труда понял, что давно уже представлял себе это под разными названиями как воистину экспериментальную жизнь. Ибо под словом «вера» он подразумевал не то ослабленное желание знать, не то верующее невежество, которое обычно подразумевают под этим словом, а знающее предчувствие, нечто, что не есть ни знание, ни иллюзия, но и не вера, а как раз «то другое», что не поддается этим определениям. Он быстро придвинул к себе письмо, но тут же отодвинул его от себя.

Лицо его, еще только что горевшее суровым пылом, погасло снова, и его опасная любимая мысль показалась ему смешной. Словно взглянув в распахнутое вдруг окно, он почувствовал, что его окружало в действительности: пушки, европейские дела. Просто представить себе нельзя было, чтобы люди, которые так жили, могли когда-нибудь сойтись для обдуманного ориентирования своей духовной судьбы, и Ульриху пришлось признать, что история тоже никогда не развивалась путем такой планомерной связи идей, какая возможна разве что в уме отдельного человека, а вершилась всегда так расточительно и опустошительно, словно ее швырнул на стол кулак какого-то грубого игрока. Ему стало даже немного стыдно. Все, что он в этот час передумал, подозрительно напомнило некий «Опрос для принятия директивного решения и определения желаний заинтересованных кругов населения», да и сам факт, что он вообще морализировал, этот теоретический способ думать, рассматривающий природу при свете свечей, показался ему совершенно неестественным: ведь человек простой, привыкший к солнечному свету, всегда шагает только к ближайшему и никогда не задается никаким другим вопросом, кроме одного, вполне определенного: может ли он совершить этот шаг и рискнуть совершить его.

Теперь мысли Ульриха снова потекли от общего к нему самому, и он почувствовал, что значит для него сестра. Ей показал он то дивное и неограниченное, то невероятное и незабываемое состояние, когда все — одно сплошное «да». То состояние, когда ты не способен ни на какое

духовное движение, кроме нравственного, и, значит, то единственное, когда мораль непрерывна, даже если это заключается лишь в том, что все действия теряют почву и как бы парят. И ведь Агата не сделала ничего, кроме того, что протянула к этому руку. Она была человеком, который протягивает руку, и на место размышлений Ульриха пришли тела и образы реального мира. Все, что он думал, показалось ему теперь лишь отсрочкой и переходом. Он хотел «поглядеть», что выйдет из выдумки Агаты, и сейчас ему было совершенно безразлично, что этот таинственный посул начался с неблагоприятного по обычным понятиям поступка. Можно было лишь подождать и посмотреть, окажется ли тут мораль «взлета и падения» так же применима, как простая мораль честности. И он вспомнил страстный вопрос сестры, верит ли он сам в то, что ей рассказывает, но и сейчас так же не смог ответить на него утвердительно, как тогда. Он признался себе, что ждет Агату, чтобы ответить на этот вопрос.

Тут зазвонил телефон, и Вальтер обрушился на него с торопливыми объяснениями в наспех подобранных словах. Ульрих слушал равнодушно и терпеливо, и когда он положил трубку и выпрямился, у него было такое чувство, будто звонок только теперь наконец утих; глубина и темнота успокоительно водворились вокруг него снова, но он не смог бы сказать, было ли это ощущением слуховым или зрительным: углубились как бы все чувства. Он с улыбкой взял лист бумаги, на котором начал писать сестре, и, прежде чем выйти из комнаты, медленно разорвал его на мелкие части.

19

Вперед к Моосбругеру

В это самое время Вальтер, Кларисса и пророк Мейнгауст сидели вокруг блюда, наполненного редиской, мандаринами, миндалем, мягким сыром и черносливом, и поглощали этот лакомый и здоровый ужин. Пророк, чей сухощавый торс был снова прикрыт лишь шерстяной кофтой, время от времени похваливал предложенную ему натуральную пищу, а брат Клариссы Зигмунд, при шляпе и перчатках, сидел в стороне от стола и докладывал о переговорах, которые он снова «вел» с доктором Фриденталем, ассистентом психиатрической клиники, чтобы дать возможность своей «совершенно сумасшедшей» сестре увидеть Моосбругера.

— Фриденталь стоит на том, что сделает это лишь с разрешения окружного суда, — заключил он непринужденно, — а в окружном суде не

удовольствуются прошением благотворительной организации «Последний час», которое я вам добыл, а потребуют ходатайства от посольства, поскольку мы, к сожалению, наврали, что Кларисса — иностранка. Тут ничего не поделаешь, придется доктору Мейнгасту отправиться завтра в швейцарское посольство!

Зигмунд походил внешностью на сестру, только лицо у него было менее выразительное, хотя он и был старше. Если поставить их рядом, то на бледном лице Клариссы нос, рот и глаза напоминали трещины в сухой земле, а у Зигмунда те же черты лица отличались мягкими, несколько нечеткими линиями поросшей травой местности, хотя он был, если не считать маленьких усиков, гладко выбрит. Буржуазно-добропорядочного сохранилось в его внешности куда больше, чем в облике сестры, и это придавало ему какую-то простодушную естественность даже в тот миг, когда он так бесцеремонно распорядился драгоценным временем философа. Никого не удивило бы, если бы после его слов из блюда с редиской грянул гром и вырвалась молния; но великий человек принял эту дерзость любезно — что его почитатели сочли крайне забавным — и мигнул, как орел, который терпит на жерди рядом с собой воробья.

Тем не менее из-за этой внезапно возникшей и не вполне разрядившейся напряженности Вальтер не смог сдержать свои чувства. Он отстранил от себя тарелку, побагровел, как облачко на рассвете, и настойчиво заявил, что здоровому человеку, если он не врач и не санитар, в сумасшедшем доме нечего делать. Мэтр согласился и с ним, едва заметно кивнув. Зигмунд, успевший кое-что усвоить за жизнь, дополнил этот одобрительный кивок гигиеническим замечанием:

— Есть у богатенькой буржуазии мерзкая привычка находить что-то демоническое в душевнобольных и преступниках.

— Но тогда объясните мне наконец, — воскликнул Вальтер, — почему вы все стараетесь помочь Клариссе сделать то, чего сами не одобряете и что только еще сильнее расшатает ей нервы?!

Сама супруга не удостоила это ответа. Она сделала неприятное лицо, выражение которого могло испугать своей отрешенностью от действительности; две надменно длинных линии пробежали по нему вниз вдоль носа, а подбородок твердо заострился. Зигмунд не считал себя ни обязанным, ни уполномоченным говорить за других. Поэтому после вопроса Вальтера наступила короткая тишина, которую нарушил Мейнгаст, тихо и равнодушно сказав:

— Кларисса пережила слишком сильное потрясение, это нельзя оставлять без вмешательства.

— Когда? — громко спросил Вальтер.

— Недавно. Вечером у окна.

Вальтер побледнел, потому что был единственным, кто узнал это только теперь, тогда как Мейнгасту и даже брату Кларисса явно открылась. «Но такова уж она!» — подумал он.

И хотя это ни из чего не следовало, у него вдруг — как бы через преграду блюда с зеленью — возникло такое чувство, будто все они моложе лет на десять. Это было время, когда Мейнгаст, еще прежний, не переродившийся Мейнгаст, покинул их и Кларисса выбрала Вальтера. Позднее она призналась ему, что Мейнгаст в ту пору, хотя он уже отказался от нее, иногда все же целовал ее и ласкал. Запомнилось это как взлет качелей. Все выше и выше поднимался Вальтер, и все ему тогда удавалось, хотя и провалы тоже случались. И тогда тоже Кларисса не могла говорить с Вальтером, когда Мейнгаст бывал поблизости: ему часто доводилось узнавать от других, что она думала и что делала. Вблизи него она застывала. «Когда ты прикасаешься ко мне, я совершенно застываю! — сказала она ему. — Мое тело становится серьезным, это совсем не так, как с Мейнгастом!» А когда он поцеловал ее в первый раз, она сказала ему: «Я обещала маме этого никогда не делать!» Хотя позднее она призналась ему, что Мейнгаст в ту пору всегда тайком прикасался ногами к ее ногам под столом. Таково было влияние Вальтера! Богатство ее внутреннего развития, им вызванного, мешало ей держаться раскованно — так объяснял он это себе.

И ему вспомнились письма, которыми он тогда обменивался с Клариссой: он и сегодня думал, что нелегко найти что-либо равное им по страстности и самобытности, даже если перерыть всю существующую литературу. В те бурные времена он наказывал Клариссу тем, что убегал, когда она позволяла Мейнгасту быть с ней, а потом писал ей письмо; и она писала ему письма, где заверяла его в своей верности и откровенно сообщала ему, что Мейнгаст еще раз поцеловал ее в коленку через чулок. Вальтер хотел издать эти письма в виде книги, да и теперь еще думал порой, что когда-нибудь все-таки их издаст. Но, к сожалению, до сих пор ничего не вышло из этого, кроме одного имевшего большие последствия недоразумения с гувернанткой Клариссы в самом начале. Однажды Вальтер сказал ей: «Вот увидите, я скоро все исправлю!» Он вложил в это свой смысл, представляя себе большой успех, каким оправдает его в глазах семьи публикация «писем», сделав его знаменитым; ведь, строго говоря, между ним и Клариссой многое тогда обстояло не так, как того требовали приличия. А гувернантка Клариссы — фамильная собственность,

получившая свой надел под почетным предлогом, что она будет исполнять роль как бы временной матери, поняла это неверно и по-своему, из-за чего в семье вскоре пошли слухи, что Вальтер хочет сделать что-то такое, что даст ему возможность просить руки Клариссы; и после того, как это было сказано, отсюда возникли весьма своеобразные радости и неизбежности. Реальная жизнь проснулась, так сказать, вдруг. Отец Вальтера заявил, что не станет больше печься о сыне, если тот сам не начнет хоть что-нибудь зарабатывать; будущий тесть Вальтера пригласил его к себе в мастерскую и стал говорить о трудностях и разочарованиях, связанных со служением чистому, святому искусству, будь то изобразительное искусство, музыка или литература; наконец, сами Вальтер и Кларисса испытывали от реальной вдруг мысли о самостоятельном доме, детях и официально общей спальне такой же зуд, как от царапины, которая никак не может зажить, потому что ее все время непроизвольно расчесываешь. Так случилось, что через несколько недель после своего опрометчивого заявления Вальтер был и впрямь обручен с Клариссой, что очень осчастливило, но и очень взволновало обоих, ибо теперь начались поиски постоянного места в жизни, а они были обременены всеми трудностями Европы по той причине, что работа, которой Вальтер безалаберно искал, определялась ведь не только жалованьем, но и шестью ее обратными влияниями — на Клариссу, на него, на эротику, на литературу, на музыку и на живопись. От вихря сложностей, начавшихся с той минуты, когда у него при старой мадемуазели развязался язык, они оправились, в сущности, лишь недавно, когда он поступил на службу в ведомство памятников и поселился с Клариссой в этом скромном доме, где дальнейшее должна была решить судьба. И в глубине души Вальтер думал, что было бы довольно славно, если бы судьба теперь успокоилась; конец, правда, получился бы тогда не совсем такой, каким его обещало начало, но ведь яблоки, когда они созревают, падают с дерева тоже не вверх, а на землю. Так думал Вальтер, а тем временем над противоположным его месту краем пестрого блюда со здоровой растительной пищей маячила маленькая головка его супруги и Кларисса старалась как можно невозмутимее, чуть ли не так же невозмутимо, как прозвучало оно у Мейнгаста, дополнить его объяснение.

— Я должна что-то сделать, чтобы ослабить то впечатление. Оно оказалось для меня слишком сильным, говорит Мейнгаст, — объяснила она и прибавила от себя: — И к тому же это ведь, конечно, не просто случайность, что тот человек спрятался в кусты прямо под моим окном!

— Глупости! — отмахнулся от этого Вальтер, как спящий от мухи. — Окно-то ведь и мое!

— Значит, наше окно! — поправилась Кларисса с кривой улыбкой, по которой при этом язвительном замечании нельзя было разобрать, выражает ли оно горечь или насмешку. — Мы его привлекли. А сказать тебе, как можно назвать то, что... он делал? Он крал половое наслаждение!

Вальтер почувствовал от этого боль в голове: голова его была битком набита прошлым, а настоящее вклинилось без возникновения какого-либо убедительного различия между настоящим и прошлым. Еще там были кусты, которые в голове Вальтера смыкались в светлые массы листьев, с велосипедными дорожками через всю толщу. Смелость долгих поездок и прогулок была словно бы изведена не далее, как сегодня утром. Снова колыхались девичьи платья, которые в те годы впервые резко обнажили лодыжки и показали, как пенится в новом спортивном движении белая кайма нижних юбок. Если Вальтер тогда считал, что между ним и Клариссой многое обстояло «не так, как того требовали приличия», то это было, пожалуй, очень большим приукрашиванием, ибо, говоря точно, во время этих велосипедных прогулок весной того года, когда они обручились, случалось все, что может случиться и все-таки оставить девушку девственницей. «Почти невероятно для порядочной девушки», — подумал Вальтер, с восторгом вспоминая об этом. Кларисса называла это «брать на себя грехи Мейнгаста», который в ту пору еще носил другую фамилию и как раз уехал за границу. «Теперь было бы трусостью не быть чувственными, потому что он был чувственным!» Так объяснила это Кларисса и заявила: «Но ведь наша-то чувственность будет духовной!» Вальтера, правда, иногда беспокоило то, что эти эпизоды были все-таки очень уж тесно связаны с недавно лишь исчезнувшим Мейнгастом, но Кларисса отвечала: «Кто хочет чего-то великого, как, например, мы в искусстве, тому запрещено беспокоиться о чем-либо другом»; и Вальтер вспоминал, с каким пылом уничтожали они прошлое, повторяя его в новом духе, и с каким большим удовольствием открывали магическую способность оправдывать непозволительные физические приятности тем, что им приписывается сверхличное назначение. В сладострастии Кларисса проявляла в ту пору такую же энергию, как позднее в отказе от близости с ним, признался себе Вальтер, и, нарушая на миг логическую связь, какая-то строптивая мысль сказала ему, что груди у нее сегодня совсем еще такие же тугие, как тогда. Всем это было видно, даже сквозь одежду. Мейнгаст глядел сейчас прямо на ее грудь; может быть, он не знал об этом. «Немы груди ее!» — продекламировал про себя Вальтер так многозначительно, словно это было видение или стихи; и почти с такой же многозначительностью проникло в него через заслон чувств настоящее.

— Скажите, Кларисса, о чем вы думаете! — услышал он, как Мейнгаст, подобно врачу или учителю, ободрил ее; вернувшийся иногда по какой-то причине переходил снова на «вы».

Вальтер заметил также, что Кларисса вопросительно посмотрела на Мейнгаста.

— Вы рассказывали мне о некоем Моосбругере, он, вы сказали, плотник...

Кларисса смотрела на него.

— Кто еще был плотником? Спаситель! Разве вы этого не сказали?! Вы ведь даже рассказали мне, что написали письмо по этому поводу какому-то влиятельному лицу?

— Перестаньте! — взмолился Вальтер.

В голове у него все кружилось. Но едва он выкрикнул свое негодование, как ему стало ясно, что и об этом письме он ничего не слышал, и он, слабея, спросил:

— Что за письмо?

Он ни от кого не получил ответа. Мейнгаст пропустил его вопрос мимо ушей и сказал:

— Это одна из самых современных идей. Мы не в силах освободить самих себя, в этом не может быть сомнений. Мы называем это демократией, но это просто политическое обозначение того душевного состояния, когда «можно так, а можно и по-другому». Мы — эпоха избирательного бюллетеня. Мы ведь ежегодно определяем свой сексуальный идеал, королеву красоты, с помощью избирательного бюллетеня, а тот факт, что духовным своим идеалом мы сделали позитивное знание, означает не что иное, как сунуть этот избирательный бюллетень в руку так называемым фактам, чтобы они проголосовали вместо нас. Эпоха наша чужда философии и труслива. У нее нет мужества решить, что ценно и что — нет, а демократия, если определить ее коротко, означает: делай что придется! Кстати сказать, это один из самых позорных порочных кругов за всю историю нашей расы.

Пророк раздраженно расколол и очистил орех и теперь засовывал в рот обломки. Никто не понял его. Он прервал свою речь ради медленного жевательного движения челюстей, в котором участвовал и несколько вздернутый кончик носа, в то время как остальное лицо сохраняло аскетическую неподвижность, но не сводил с Клариссы прикованного к области ее груди взгляда. Кларисса чувствовала сосущую тягу, словно эти шесть глаз, если бы они и дольше глядели на нее, могли вытянуть ее из нее самой. Но мэтр поспешно проглотил остатки ореха и продолжил свои

поучения:

— Кларисса открыла, что христианская легенда делает Спасителя плотником. Даже это не совсем верно — только его приемного отца. И уж конечно, совсем неверно делать какой-либо вывод из того, что преступник, обративший на себя ее внимание, случайно оказался плотником. С интеллектуальной точки зрения это ниже всякой критики. С моральной — легкомысленно. Но это отважно с ее стороны — что да, то да! — Мейнгаст сделал паузу, чтобы оказало свое действие слово «отважно», произнесенное им четко и резко. Затем опять продолжил спокойно: — Недавно, как и мы все, она увидела психопата-экзгибициониста. Она это переоценивает, сексуальную сторону сегодня вообще переоценивают, но Кларисса говорит: он остановился под моим окном не случайно. Давайте теперь разберемся в этом! Это неверно, ибо тут, перед нами, конечно, просто случайное совпадение без всякой причинной связи. Тем не менее Кларисса говорит себе: если я буду считать, что все уже объяснено, человек никогда ничего не изменит в мире. Она находит необъяснимым, что убийца, чья фамилия, если я не ошибаюсь, Моосбругер, именно плотник. Она находит необъяснимым, что неизвестный больной, страдающий половым расстройством, останавливается именно под ее окном. Точно так же вошло у нее в привычку находить необъяснимым и многое другое, с чем она сталкивается, а потому... — Мейнгаст снова заставил своих слушателей немного подождать; голос его напоминал под конец движения человека, который на что-то решился и с крайней осторожностью подкрадывается на цыпочках, но вот этот человек и рванул: — А потому она что-то сделает! — с твердостью заявил Мейнгаст.

Кларисса похолодела.

— Повторяю, — сказал Мейнгаст, — с интеллектуальной точки зрения критиковать это нельзя. Но интеллектуальность — это, как мы знаем, лишь выражение или орудие высохшей жизни. А то, что выражает Кларисса, идет, вероятно, уже из другой сферы — из сферы воли. Кларисса, надо полагать, никогда не сумеет объяснить то, с чем она сталкивается, но разрешить, возможно, сумеет. И она уже совершенно правильно называет это «спасти», «избавить», «раскрепостить», она инстинктивно употребляет подходящее для этого слово. Кто-нибудь из нас вполне мог бы, пожалуй, сказать, что ему кажется это заблуждением или что у Клариссы сдали нервы. Но это было бы совершенно бессмысленно: мир сейчас настолько свободен от заблуждений, что ни о чем не знает, ненавидеть ли ему это или любить, а поскольку все так двойственно, то и все люди неврастеники и хлюпики. Одним словом, — заключил внезапно пророк, — философу

нелегко отказаться от постижения, но, вероятно, великая истина, постигаемая двадцатым веком, состоит в том, что так следует поступить. Для меня в Женеве сегодня духовно важнее, что там есть один француз, который учит боксу, чем то, что там творил аналитик Руссо!

Мейнгаст мог бы говорить еще, раз уж он разошелся. Во-первых, о том, что идея спасения, раскрепощения всегда была антиинтеллектуальна. «Значит, миру нельзя ничего пожелать сильнее, чем хорошего, здорового заблуждения» — эта фраза даже вертелась уже у него на языке, но он проглотил ее ради другой концовки. Во-вторых, о том попутном физическом значении идеи раскрепощения, которое заключено в самой этимологии слова, роднящей его с глаголом «расслабить»; это попутное физическое значение указывает на то, что раскрепостить может только действие, то есть событие, захватывающее человека целиком, с кожей и потрохами. В-третьих, он собирался говорить о том, что из-за сверхинтеллектуализации мужчины инстинктивно толкнуть к действию может порой женщина, чему Кларисса один из первых примеров. Наконец, об эволюции идеи спасения, раскрепощения в истории народов вообще и о том, как на нынешней стадии этого развития на смену многовековому засилью веры, что понятие спасения создается только религиозным чувством, приходит понимание того, что спасения следует достичь силой воли, а если понадобится, то и насилием. Ибо спасение мира насилием было сейчас самым главным в его мыслях.

Однако Кларисса тем временем почувствовала, что сосущая тяга обращенного к ней внимания делается невыносимой, и прервала речь мэтра, обратившись к Зигмунду как к месту наименьшего сопротивления и слишком громко сказав ему:

— Я же говорила тебе: понять можно только то, в чем участвуешь. Поэтому в сумасшедший дом нам надо сходить самим.

Вальтер, который, чтобы сдержать себя, чистил мандарин, надрезал его в этот миг слишком глубоко, и кислый сок брызнул ему в глаза, заставив его отпрянуть и полезть за платком. Зигмунд, одетый, как всегда, тщательно, сперва с любовью к делу понаблюдал, как реагируют на раздражение глаза зятя, затем поглядел на свои замшевые перчатки, которые натюрмортом, изображающим добропорядочность, лежали у него на коленях вместе с котелком, и лишь когда взгляд сестры остановился на его лице и никто вместо него не ответил, он поднял глаза, мрачно кивнул головой и спокойно пробормотал:

— Я никогда не сомневался, что всем нам место в сумасшедшем доме.

Кларисса повернулась после этого к Мейнгасту и сказала:

— О параллельной акции я ведь тебе рассказывала. Это, пожалуй, тоже потрясающая возможность, и она обязывает покончить с принципом «можно так, а можно и по-другому», которым грешен наш век.

Мэтр с улыбкой покачал головой. Предельно воодушевленная собственной значительностью, Кларисса довольно бессвязно и упрямо воскликнула:

— Женщина, которая дает волю мужчине, хотя это ослабляет его дух, тоже убийца на половой почве!

Мейнгаст воззвал:

— Будем касаться только общего! Кстати, в одном могу тебя успокоить: на этих несколько смешных совещаниях, где умирающая демократия старается еще родить какую-то великую задачу, у меня уже давно есть свои наблюдатели и доверенные лица!

У Клариссы просто оледенели корни волос.

Напрасно попытался еще раз Вальтер остановить то, что происходило. Выступая против Мейнгаста с большой почтительностью, совершенно другим тоном, чем говорил бы, например, с Ульрихом, он обратился к нему с такими словами:

— Ты говоришь, наверно, то же самое, что давно имею в виду я, говоря, что писать надо только чистыми красками. Надо покончить со смешанно-тусклым, с уступками пустому воздуху, с трусостью взгляда, который уже не осмеливается видеть, что у каждого предмета есть четкий контур и свой собственный цвет. Я говорю это на языке живописи, а ты на языке философском. Но хотя мы и одного мнения... — Он вдруг смутился и почувствовал, что не может высказать при других, почему он боится контакта Клариссы с душевнобольными. — Нет, я не хочу, чтобы Кларисса это делала, — воскликнул он, — и моего согласия на это не будет!

Мэтр слушал любезно и ответил ему потом так же любезно, словно ни одно из этих веско произнесенных слов не проникло в него:

— Кларисса, между прочим, очень тонко выразила еще кое-что. Она заявила, что у всех у нас, кроме «греховного облика», в котором мы живем, есть еще и «облик невинности». Понять это можно в том прекрасном смысле, что, помимо жалкого так называемого эмпирического мира, нашему представлению доступен еще и некий мир великолепия, где мы в какие-то светлые мгновения чувствуем, что наш образ подчинен динамике тысячекратно другой! Как вы это сказали, Кларисса? — поощряюще спросил он, поворачиваясь к ней. — Не говорили ли вы, что если бы вам удалось без отвращения принять сторону этого недостойного, проникнуть к нему и день и ночь без усталости играть на пианино в его камере, то вы как бы

вынули бы из него его грехи, взяли их на себя и поднялись с ними?! Это, конечно, — заметил он, поворачиваясь опять к Вальтеру, — не надо понимать буквально, это глубинный процесс в душе эпохи, который вдохновляет ее волю, облачившись в притчу об этом человеке...

Он был в этот миг не уверен, следует ли ему сказать еще что-нибудь насчет отношения Клариссы к истории идеи спасения или соблазнительнее объяснить ей еще раз наедине выпавшую на ее долю миссию предводительницы. Но тут она, как перевозбужденный ребенок, вскочила с места, рывком подняла вверх сжатую в кулак руку и отрезала все дальнейшие похвалы себе пронзительным кличем:

— Вперед к Моосбругеру!

— Но ведь пока нам никто не добыл пропуска... — подал голос Зигмунд.

— Я не пойду с вами! — твердо заявил Вальтер.

— Я не могу принимать одолжения от государства, где свобода и равенство имеются на любую цену и какого угодно уровня! — объявил Мейнгаст.

— Тогда добывать для нас пропуск придется Ульриху! — воскликнула Кларисса.

Остальные с радостью согласились с этим решением, которое, как они после несомненно тяжелых усилий почувствовали, давало им пока передышку, и даже Вальтер, несмотря на все свое сопротивление, согласился в конце концов позвонить из ближайшей лавки призываемому на помощь другу. Когда он это сделал, Ульрих окончательно перестал корпеть над письмом, которое хотел написать Агате. С удивлением услышал он и голос Вальтера, и то, что Вальтер сказал. Можно думать об этом по-разному, прибавил от себя Вальтер, но это, безусловно, не просто каприз. Может быть, и правда надо с чего-то начать, и не столь важно с чего. Конечно, возникновение в этой связи именно Моосбругера — чистая случайность; но ведь Кларисса так удивительно непосредственна; ее мышление походит на эти новые картины, написанные несмешанными, чистыми красками, — нескладные, резкие, но если вникнуть в эту манеру, часто на диво верные. Он не может как следует объяснить это по телефону; Ульрих не должен бросать его...

Звонок его пришелся Ульриху кстати, и он согласился прийти, хотя путь был непомерно долг, чтобы поговорить с Клариссой всего какую-нибудь четверть часа, ибо та была вместе с Вальтером и Зигмундом приглашена родителями на ужин. По дороге Ульрих с удивлением отметил, что очень давно не думал о Моосбругере и что напоминать ему о нем

всегда доводится Клариссе, хотя раньше этот человек почти постоянно фигурировал в его мыслях. Даже в темноте, сквозь которую Ульрих шагал к дому своих друзей от конечной остановки трамвая, не было сейчас места для такого видения; пустота, где оно являлось, замкнулась. Ульрих принял это к сведению с удовлетворением и с той тихой неуверенностью насчет себя самого, что возникает как следствие перемен, огромность которых яснее, чем их причины. Он с удовольствием разрезал негустую темень более плотной чернотой собственного тела, когда его встретил неуверенно шагавший Вальтер, который боялся ходить по этому пустырю, но очень хотел сказать несколько слов, прежде чем они присоединятся к остальным. Он оживленно продолжил свои сообщения с того места, где они были прерваны. Он, казалось, хотел защитить себя, а заодно и Клариссу от кривотолков. Хотя ее причуды и кажутся бессвязными, за ними всегда обнаруживаются признаки болезни, которой действительно заражена эпоха; это самый удивительный дар Клариссы. Она как волшебная палочка, указывающая скрытое от глаз, в данном случае необходимость заменить пассивное, чисто умственное и рациональное поведение современного человека снова какими-то «ценностями»; интеллектуальность эпохи не оставила уже нигде точки опоры, и, значит, только воля или даже, если иначе ничего не выйдет, только насилие может создать новую иерархию ценностей, где человек найдет все начала и все концы для своей внутренней жизни... Он нерешительно и все же воодушевленно повторял то, что услышал от Мейнгаста. Угадав это, Ульрих раздраженно спросил его: — Зачем ты так выпендриваешься? Так делает, вероятно, ваш пророк? Ведь прежде тебе во всем не хватало простоты и естественности?

Вальтер стерпел это ради Клариссы, чтобы их друг не отказал ей в помощи; но мелькни хоть один луч света в этом безлунном мраке, стало бы видно, как блеснули его зубы, когда он бессильно разинул рот. Он ничего не ответил, но подавленная злость сделала его слабым, а близость мускулистого спутника, который защищал его от несколько устрашающей пустынности, мягким. Вдруг он сказал: — Представь себе, что ты любишь женщину, и вот ты встречаешь мужчину, которым восхищаешься, и узнаешь, что твоя женщина тоже восхищается им и любит его, и вы теперь оба, с любовью, ревностью и восхищением, чувствуете недостижимое превосходство этого мужчины...

— Этого я не могу представить себе!

Ульриху следовало выслушать его, но он со смехом расправил плечи, прервав его. Вальтер ядовито взглянул в его сторону. Он хотел спросить: «Что сделал бы ты в этом случае?» Но повторилась старая игра друзей

юности. Они шагали сквозь полумрак передней и лестницы, и он крикнул: — Не притворяйся! Ты же вовсе не такой бесчувственно-чванный! А потом ему пришлось побегать, чтобы догнать Ульриха и еще на лестнице тихонько уведомить его обо всем, что ему следовало знать.

— Что рассказал тебе Вальтер? — спросила Кларисса наверху.

— Устроить это смогу, — ответил без околичностей Ульрих, — но сомневаюсь в том, что это разумно.

— Ты слышишь, первое его слово — «разумно»?! — крикнула со смехом Кларисса Мейнгасту.

Она носилась между платяным шкафом, умывальником, зеркалом и полуоткрытой дверью, соединявшей ее комнату с той, где сидели мужчины. Время от времени она показывалась — с мокрым лицом и падающими на глаза волосами, с волосами, зачесанными наверх, с голыми ногами, в чулках без туфель, снизу уже в длинном вечернем платье, сверху еще в пеньюаре, похожем на длинный белый халат для психиатрической больницы... Ей доставляло удовольствие появляться и исчезать. С тех пор, как она добилась своего, все ее чувства были окутаны легким сладострастием. «Я хожу по канату из света!» — крикнула она в комнату. Мужчины улыбнулись; только Зигмунд поглядел на часы и деловито поторопил ее. Он смотрел на все это как на гимнастическое упражнение.

Затем Кларисса скользнула «по лучу света» в дальний угол комнаты, чтобы достать брошку, и громко стукнула выдвижным ящиком тумбочки.

— Я облачаюсь быстрее, чем мужчина! — отвечая Зигмунду, крикнула она в соседнюю комнату, но вдруг запнулась, пораженная двойным смыслом слова «облачаться», которое в этот миг значило для нее и «одеваться», и «облекаться в таинственные судьбы». Она быстро завершила туалет, просунула голову в дверь и со строгим видом оглядела своих друзей одного за другим. Кто не счел это шуткой, мог бы испугаться того, что в этом строгом лице погасло что-то неотъемлемое от выражения обычного, здорового лица. Она поклонилась друзьям и торжественно сказала:

— Итак, я облачилась в свою судьбу!

Но когда она выпрямилась, вид у нее был обычный, даже привлекательный, и ее брат Зигмунд воскликнул:

— Шагом марш! Папа не любит, когда опаздывают к столу!

Когда они вчетвером пошли к трамваю — Мейнгаст исчез перед выходом из дому, — Ульрих немного отстал с Зигмундом и спросил его, не тревожится ли он за сестру в последнее время. Горящая папироса Зигмунда описала в темноте плавно поднимающуюся дугу.

— Она, конечно, ненормальна! — ответил он. — А Мейнгаст

нормален? Или даже Вальтер? Разве играть на пианино нормально? Это необычное состояние возбуждения, связанное с дрожанием в запястьях и лодыжках. Для врача ничего нормального не существует. Но если говорить серьезно, то моя сестра несколько раздражена, и я думаю, что это пройдет, как только наш великий мэтр уедет. Какого вы о нем мнения?

Он подчеркнул слова «как только» с легким ехидством.

— Болтун! — ответил Ульрих.

— Правда?! — обрадованно воскликнул Зигмунд. — Противный-препротивный!

— Но как мыслитель интересен, это я не стану отрицать начисто! — прибавил он после короткой паузы.

20

Граф Лейнсдорф сомневается в собственности, и образованности

Так получилось, что Ульрих опять появился у графа Лейнсдорфа.

Он застал его сиятельство окруженным тишиной, преданностью, торжественностью и красотой, за письменным столом, над газетой, развернутой на высокой стопе бумаг. Подчиненный непосредственно императору граф печально покачал головой, еще раз выразив Ульриху свое соболезнование.

— Ваш папа был одним из последних истинных поборников собственности и образованности, — сказал он. — Я еще хорошо помню времена, когда сидел с ним в чешском ландтаге. Он заслуживал доверия, которое мы ему всегда оказывали!

Из вежливости Ульрих осведомился, как продвинулась параллельная акция в его отсутствие.

— Из-за этой свистопляски на улице перед моим домом — вы ведь присутствовали при ней — мы ввели «Опрос для определения желаний заинтересованных кругов населения в связи с реформой управления внутренними делами», — сообщил граф Лейнсдорф. — Премьер-министр сам пожелал, чтобы мы пока взяли это на себя, потому что как предприятие патриотическое мы пользуемся, так сказать, всеобщим доверием.

Ульрих с серьезным видом заверил его, что название во всяком случае выбрано удачно и обещает определенный эффект.

— Да, правильная формулировка — очень важная вещь, — сказал его сиятельство и вдруг спросил: — Что вы скажете по поводу этой истории с

муниципальными служащими в Триесте? Я нахожу, что правительству давно пора было занять твердую позицию! — Он собирался было передать Ульриху газету, которую сложил, когда тот вошел, но в последний миг решил еще раз раскрыть ее и с живым интересом прочел вслух какое-то длинейшее рассуждение. — Есть ли, по-вашему, в мире второе государство, где были бы возможны такие вещи?! — спросил он, прочитав. — Австрийский город Триест уже много лет берет на службу в коммунальном хозяйстве только итальянских подданных, чтобы подчеркнуть этим, что чувствует свою принадлежность не к нам, а к Италии. Я был там однажды в день рождения императора и во всем Триесте не увидел ни одного флага, кроме как на комендатуре, на финансовой инспекции, на тюрьме и на нескольких крышах казарм. Зато если вы придете по делу в какое-нибудь триестское учреждение в день рождения итальянского короля, вы не найдете ни одного служащего, у которого не было бы цветка в петлице!

— Но почему же до сих пор это терпели? — осведомился Ульрих.

— Да как же не терпеть это?! — ответил граф Лейнсдорф с неудовольствием. — Если правительство заставит муниципалитет уволить служащих-иностранцев, сразу же скажут, что мы проводим германизацию. А этого упрека как раз и боится любое правительство. Его величеству он тоже неприятен. Мы же не пруссаки!

Ульрих помнил, что приморский и портовый город Триест был основан дальновидной Венецианской республикой на славянской земле и населен сегодня в большой мере словенцами; и, значит, даже если смотреть на Триест только как на частное дело его жителей, хотя он, кроме того, служил всей монархии воротами для торговли с Востоком и от монархии во всем, что касалось его процветания, зависел, — даже тогда нельзя было не считаться с тем фактом, что его славянская мелкая буржуазия, весьма многочисленная, страстно оспаривала у привилегированной крупной буржуазии, говорившей по-итальянски, право смотреть на город как на свою собственность. Ульрих сказал это.

— Так-то оно так, — назидательно сказал граф Лейнсдорф. — Но как только пойдут разговоры о том, что мы занимаемся германизацией, словенцы сразу объединятся с итальянцами, как бы дико они вообще-то ни враждовали между собой! В этом случае итальянцев поддержат и все другие национальности. Так у нас уже не раз бывало. Если хочешь быть в политике реалистом, то приходится волей-неволей видеть опасность для нашего согласия все-таки в немцах!

Граф Лейнсдорф произнес заключительные слова очень задумчиво и

сохранял задумчивость еще несколько мгновений, ибо коснулся великого политического проекта, который сейчас обременял его, хотя до сих пор так и не стал ему ясен. Но вдруг он оживился и облегченно продолжил:

— Но на сей раз им дали хотя бы хорошую отповедь!

Неверным от нетерпения движением он снова надел пенсне и еще раз с удовольствием прочел Ульриху все те места напечатанного в газете приказа кайзеровско-королевской комендатуры в Триесте, которые ему особенно понравились.

— «Повторные предупреждения государственных контрольных органов оказались бесплодны... Пагубное влияние на местных жителей... Ввиду этой упорно враждебной распоряжениям властей позиции комендант Триеста вынужден принять меры, обеспечивающие соблюдение существующего законоположения...» Не находите ли вы, что это достойный язык? — прервал он себя. Он поднял голову, но тут же опустил ее снова, ибо его мысли обратились уже к заключительной фразе, казенную витиеватость которой голос его подчеркивал теперь с эстетическим удовлетворением. — «Далее, — прочел он, — за комендатурой сохраняется, разумеется, право доброжелательно и в индивидуальном порядке рассматривать прошения о подданстве при подаче их отдельными общественными деятелями, коль скоро последние, ввиду особенно продолжительной и притом безупречной службы в коммунальном хозяйстве представляются достойными столь исключительного благорасположения, и в таких случаях кайзеровско-королевская комендатура склонна воздерживаться от немедленного следования данному положению, полностью сохраняя свою позицию на будущее». Таким тоном правительство должно говорить всегда! — воскликнул граф Лейнсдорф.

— Не думаете ли вы, ваше сиятельство, что на основании этой заключительной фразы... все в конце концов останется по-старому?! — спросил Ульрих чуть погодя, когда хвост этой царедворческой фразы-змеи целиком исчез в его ухе.

— Вот именно, в том-то и дело! — ответил его сиятельство и покрутил большие пальцы обеих рук один вокруг другого, как он всегда это делал, когда в нем происходил трудный процесс размышления. Но затем он испытующе взглянул на Ульриха и открылся ему.

— Помните, как на открытии полицейской выставки министр внутренних дел сулил нам дух «готовности прийти на помощь и строгости»? Ну, так вот, я ведь не требую так-таки посадить в тюрьму всех крикунов, шумевших перед моей дверью, но все-таки министр должен был бы найти какие-то достойные слова, чтобы осудить это в парламенте! —

сказал он обиженно.

— Я думал, что в мое отсутствие это произошло! — воскликнул Ульрих с напускным, естественно, удивлением, увидев, что его доброжелательного друга мучит настоящая боль.

— Ни шиша не произошло! — сказал его сиятельство. Он снова испытующе заглянул в лицо Ульриху своими озабоченно выпученными глазами и открылся: — Но что-то произойдет!

Он выпрямился и молча откинулся к спинке стула.

Глаза у него были закрыты. Открыв их, он начал спокойным тоном, как бы объясняя:

— Видите ли, дорогой друг, наша конституция тысяча восемьсот шестьдесят первого года, бесспорно, предоставила немецкой национальности, а внутри ее — имущим и образованным руководящую роль в нововведенной на пробу политической жизни. Это был великий, щедрый, исполненный доверия и, может быть даже, не вполне соответствующий духу времени дар его величества. Ведь что стало с тех пор из собственности и образованности?! — Граф Лейнсдорф поднял одну руку и смиренно опустил ее на другую. — Когда его величество в тысяча восемьсот сорок восьмом году взшел на престол, в Ольмюце, то есть как бы в изгнании... — продолжил он медленно, но вдруг потерял то ли терпение, то ли уверенность, вынул дрожащими пальцами из кармана какой-то черновик, взволнованно поборолся со своим пенсне из-за места на носу и стал дальше читать вслух, местами срывающимся от волнения голосом и все время с трудом разбирая написанное: — «...Вокруг него кипело буйство стремившихся к свободе народов. Ему удалось сдержать этот натиск. В конце концов, хотя и после кое-каких уступок воле народов, он оказался победителем, и победителем милостивым, великодушным, который простил прегрешения своих подданных и протянул им руку, предложив почетный и для них мир. Конституция и другие свободы были, правда, введены им под напором событий, но все-таки они были свободным волевым актом его величества, плодом его мудрости, его милосердия, его надежды на развитие культуры народов. Но эти прекрасные отношения между императором и народом омрачены в последние годы деятельностью подрывных, демагогических элементов...»

На этом граф Лейнсдорф прервал чтение своего изложения политической истории, где каждое слово было тщательно взвешено и отточено, и задумчиво посмотрел на портрет своего предка, кавалера ордена Марии-Терезии и маршала, висевший перед ним на стене. И когда ожидавший продолжения взгляд Ульриха отвлек его взгляд от портрета,

граф Лейнсдорф сказал:

— Дальше пока нет. Но вы видите, что в последнее время я основательно продумал эти вопросы, — пояснил он. — То, что я прочел вам сейчас, — это начало ответа, который министр должен был бы дать парламенту по поводу направленной против меня демонстрации, если бы он как следует исполнял свои обязанности! Я понемногу разрабатывал это сам и могу, пожалуй, доверить вам, что у меня будет случай представить это его величеству, как только я это кончу. Ведь, знаете, конституция шестьдесят первого года недаром доверила руководство имущим и образованным. В этом должна была быть известная гарантия. Но где ныне собственность и образованность?!

Он был, казалось, очень зол на министра внутренних дел, и, чтобы отвлечь графа. Ульрих простодушно заметил, что хотя бы о собственности можно все-таки сказать, что она сегодня не только в руках банков, но и в испытанных руках помещичества.

— Я решительно ничего не имею против евреев, — по собственному почину заверил граф Лейнсдорф Ульриха, словно Ульрих сказал что-то, что требовало бы этого уточнения. — Они умны, прилежны и надежны. Но было большой ошибкой дать им неподходящие фамилии. Розенберг и Розенталь, например, фамилии аристократические. Лев, Вер и подобные твари — это геральдические некогда звери. Мейер — от землевладения. Гельб, Блау, Рот, Гольд — цвета гербов. Все эти еврейские фамилии, — неожиданно сообщил его сиятельство, — были не чем иным, как наглостью нашей бюрократии по отношению к знати. Направлено это было против знати, а не против евреев, и потому евреям, наряду с этими фамилиями, давали такие, как Абель, Юдель или Трепфельмахер, Эту неприязнь нашей бюрократии к старой знати вы могли бы, будь вы в курсе дела, нередко наблюдать и сегодня, — изрек он мрачно и ожесточенно, словно борьба центральной власти с феодализмом давно не ушла в прошлое и совершенно не исчезла из поля зрения ныне живущих. И правда, его сиятельство ни на что так искренне не досадовал, как на социальные привилегии, которыми высшие чиновники пользовались благодаря своему положению, даже если фамилии их были Фуксенбауэр или Шлоссер. Граф Лейнсдорф не был старосветским упрямым, он хотел идти в ногу со временем, и такие фамилии не коробили его, когда дело шло о каком-нибудь парламентарии, пусть даже министре, или о каком-нибудь влиятельном частном лице, да и против политического и экономического влияния мещанства он тоже ничего не имел, но вот высокие чиновники с мещанскими фамилиями вызывали у него сильнейшее раздражение которое было последним

остатком почтенных традиций. Ульрих подумал, не вызвано ли замечание Лейнсдорфа супругом его кузины; это тоже не было невозможно, но граф Лейнсдорф продолжал говорить, и вскоре одна идея, давно уже, видимо, его занимавшая, подняла его над всякими личными чувствами.

— Весь так называемый еврейский вопрос исчез бы с лица земли, если бы евреи согласились говорить по-древнееврейски, принять древнееврейские имена и носить восточную одежду, — заявил он. — Спору нет, какой-нибудь недавно разбогатевший у нас галициец выглядит в тирольском костюме на эспланаде в Ишле неважно. Но наденьте на него длинный; ниспадающий складками плащ, хотя бы и дорогой, который скроет его ноги, и вы увидите, как великолепно подходят к этой одежде его лицо и его размашистые, живые движения! Все, над чем сейчас позволяют себе подшучивать, оказалось бы на месте — даже драгоценные кольца, которые они любят носить. Я противник ассимиляции, практикуемой английской аристократией: это длительный и ненадежный процесс. Но верните евреям их истинное естество, и вы увидите — они станут жемчужиной, да прямо-таки особой аристократией среди народов, благодарно толпящихся у трона его величества или, если вам угодно представить себе это будничней и живее, прогуливающих по нашей Рингштрассе, которая потому так уникальна в мире, что на ней, среди величайшего западноевропейского изящества, можно увидеть и магометанина в красной феске, и словака в овчине, и тирольца с голыми коленками.

Тут Ульрих не мог не выразить своего восхищения прозорливостью его сиятельства, которому теперь выпало еще на долю открыть «истинного еврея».

— Да, знаете, настоящая католическая вера приучает видеть вещи такими, каковы они на самом деле, — благосклонно пояснил граф. — Но вам не угадать, что меня на это навело. Не Арнгейм, пруссаков я сейчас не касаюсь. Есть у меня один банкир, иудейского, разумеется, вероисповедания, я с ним уже давно регулярно советуюсь, так вот, сначала мне всегда немного мешала его интонация и даже отвлекала мои мысли от дела. Говорит он, понимаете, так, как если бы хотел внушить мне, что он мой дядя, — то есть как если бы он только что соскочил с коня или вернулся с охоты на куропаток, в точности так, я сказал бы, как говорят люди нашего круга. Ну, так вот, иной раз, когда он приходит в азарт, ему это не удается, и тогда у него появляется еврейский акцент. Это мне, я, кажется, сказал уже, сильно мешало. Потому что случалось это всегда как раз в важные для дела моменты. И я уже непроизвольно ждал этого, переставая в

конце концов следить за всем остальным или просто пропуская мимо ушей что-нибудь важное. Тут-то я и напал на эту мысль. Каждый раз, когда он начинал так говорить, я просто представлял себе, что он говорит по-древнееврейски, и послушали бы вы, до чего приятно это тогда звучит! Просто обворожительно. Это ведь язык литургический. Такая напевность — я ведь, знаете ли, очень музыкален. Одним словом, с тех пор он буквально как под пианино пропевает мне труднейшие расчеты с процентами на проценты и учетными ставками.

При этих словах граф Лейнсдорф по какой-то причине меланхолически улыбнулся.

Ульрих позволил себе вставить замечание, что эти отмеченные столь благосклонным участием его сиятельства люди, по всей вероятности, отвергли бы его предложение.

— Конечно, они не захотят! — сказал граф. — Но тогда их следовало бы принудить для их же блага! Монархии пришлось бы тогда выполнить прямо-таки всемирную миссию, а уж тут не имеет значения, хочет ли сперва другая сторона! Ко многому, знаете, приходилось вначале принуждать. Но представьте себе, что это значило бы, если бы мы позднее были в союзе с благодарным еврейским государством, а не с имперскими немцами и пруссаками! При том, что наш Триест — это, так сказать, Гамбург Средиземного моря, и не говоря уж о том, что мы были бы дипломатически непобедимы, если бы на нашей стороне, кроме папы, были еще и евреи!

Без видимой связи он прибавил:

— Учтите, что я теперь занимаюсь и валютными вопросами.

И снова как-то грустно и рассеянно улыбнулся.

Странно было, что его сиятельство не раз настойчиво просил Ульриха посетить его, а теперь, когда тот наконец пришел, не говорил о насущных делах, а расточительно рассыпал перед ним свои идеи. Но, вероятно, за то время, что он был лишен своего слушателя, у него возникло множество мыслей, и они были, видимо, беспокойны, как пчелы, которые разлетаются далеко, но к надлежащему времени слетятся со своим медом.

— Вы могли бы, пожалуй, возразить мне, — начал граф Лейнсдорф снова, хотя Ульрих молчал, — что в прежние разы я отзывался о финансовых делах весьма отрицательно. Не стану спорить: что чересчур, то чересчур, а в нынешней нашей жизни финансовых дел чересчур много. Но именно поэтому мы должны заниматься ими! Видите ли, образованность не уравнивала собственности, вот вам весь секрет развития событий с тысяча восемьсот шестьдесят первого года! И потому

мы должны заниматься собственностью. — Его сиятельство сделал едва заметную паузу, как раз достаточную, чтобы дать понять слушателю, что сейчас последует секрет собственности, и продолжил с мрачной доверительностью: — Видите ли, в образованности важнее всего то, что она запрещает человеку. Какие-то вещи не вяжутся с ней, и точка. Образованный человек, например, никогда не станет есть соус с ножа — бог весть почему. Доказать это в школе нельзя. Это так называемый такт, для этого нужно привилегированное сословие, на которое равняется образованность, образец образованности, словом, если можно так сказать, аристократия. Признаю, что наша аристократия не всегда была такой, какой могла бы быть. И как раз в этом состоит смысл конституции тысяча восемьсот шестьдесят первого года, ее поистине революционный эксперимент: собственность и образованность должны были стать на сторону аристократии. Удалось ли им сделать это? Сумели ли они использовать великую возможность, предоставленную им тогда милостью его величества?! Вы, я убежден, тоже не станете утверждать что опыт, который каждую неделю дает нам великая попытка вашей многоуважаемой кухни, соответствует таким надеждам! — Его голос опять оживился, и он воскликнул: — Знаете, это очень интересно — что только не называет себя сегодня духовностью! Недавно я сказал об этом его высокопреосвященству, кардиналу, на охоте в Мюрцштеге, нет, это было в Мюрцбруке, на свадьбе маленькой Гостнитц! — так он только всплеснул руками и рассмеялся. «Каждый год, сказал он, — что-нибудь другое! Вот и видишь, до чего мы непритязательны: почти две тысячи лет не рассказываем людям ничего нового!» И это очень верно! Ведь вера в том-то в общем и состоит, что веришь всегда в одно и то же, так бы я выразился, даже если это и ересь. «Знаешь, — сказал он, — я всегда выезжаю на охоту, потому что при Леопольде Бабенбергском мой предшественник тоже выезжал на охоту. Но я никого не убиваю, — он известен тем, что не делает на охоте ни единого выстрела, — потому что какое-то внутреннее отвращение говорит мне, что это не подходит к моей одежде. И с тобой я могу об этом говорить, потому что мы еще мальчишками учились танцевать вместе. Но публично я никогда не выступлю и не скажу: не стреляй на охоте! Господи, кто знает, верно ли это, и уж во всяком случае никаких указаний церкви на этот счет нет. А люди, бывающие у твоей приятельницы, выступают с такими заявлениями публично, как только им что-нибудь взбредет в голову! Вот это-то и называют сегодня духовностью!» Ему хорошо смеяться, продолжал граф Лейнсдорф уже от своего имени, — потому что его обязанности постоянны. А на нас, мирянах, лежит тяжкая обязанность

находить благо даже среди постоянных перемен. Это я ему и сказал. Я сказал ему: «Зачем бог допустил, чтобы существовали литература, живопись и так далее, коль скоро они наводят на нас такую скуку?!» И он дал мне очень интересное объяснение. «Ты слыхал что-нибудь о психоанализе?» — спросил он меня. Я не знал, как и ответить. «Ну, так вот, — сказал он, — ты, наверно, ответишь, что это свинство. Не будем об этом спорить, это все говорят. И все-таки валят к этим новомодным врачам усерднее, чем в нашу католическую исповедальню. Поверь мне, они валят к ним валом, потому что плоть слаба! Они выносят на обсуждение свои тайные грехи, потому что это доставляет им большое удовольствие, а если они ругаются, то поверь мне, что ругают, то покупают! Но я мог бы и доказать тебе, что то, насчет чего их неверующие врачи воображают, будто они это открыли, есть то самое, что с самого своего начала практиковала церковь, — изгнание дьявола и исцеление бесноватых. Это сходство с ритуалом экзорцизма доходит до мелочей, например, когда они пытаются своими средствами довести одержимого до того, чтобы он начал рассказывать, что у него внутри: ведь это и по учению церкви как раз тот поворотный момент, когда дьявол впервые собирается выйти! Мы только упустили время приспособиться к изменившимся потребностям и повести речь не о мерзости и дьяволе, а о психозе, подсознании и прочих нынешних штучках». Не находите ли вы это очень интересным? — спросил граф Лейнсдорф. — Но дальше пойдет, пожалуй, еще интересней. «Не будем, однако, — сказал он, — говорить о том, что плоть слаба, а будем говорить о том, что и дух слаб тоже! И вот тут церковь оказалась, пожалуй, умна и не попала впросак! Дьявола, вселяющегося в его плоть, человек, хоть он и делает вид, что борется с ним, боится куда меньше, чем просветления, которое идет от духа. Ты не изучал богословия, но ты хотя бы уважаешь его, а это больше, чем то, чего когда-либо достигал какой-либо светский философ в своем ослеплении. Поверь мне, богословие настолько трудно, что, прозанимавшись одним лишь им лет пятнадцать, только и поймешь, что по-настоящему ничего в нем не смыслишь! И никто, конечно, не стал бы верить, если бы знал, как это, в сущности, трудно, все бы только ругали нас! Ругали бы в точности так, понимаешь теперь? — сказал он с хитрецей, — как ругают сейчас тех, что сочиняют книги, пишут картины и придумывают теории. И мы с легким сердцем даем волю их самонадеянности, ибо, поверь мне, чем серьезнее кто-либо из этих людей, чем меньше заботится он только о занимательности и о своих доходах, чем больше он, стало быть, служит богу на свой ошибочный лад, тем скучнее он людям и тем больше они ругают его. Это не похоже на жизнь! —

говорят они. Но мы-то ведь знаем, что такое истинная жизнь, и будем показывать им это, и поскольку мы можем ждать, ты еще сам увидишь, наверно, как, разъярившись на напрасное умствование, они снова метнутся к нам. На примере наших собственных семей ты можешь наблюдать это уже сегодня. А ведь во времена наших отцов они, видит бог, думали, что сделают университет из самого неба!» — Не стану утверждать, — закончил граф Лейнсдорф эту часть своих сообщений и начал новую, — что он все так и сказал слово в слово. Ведь у Гостницов в Мюрцбруке есть знаменитое рейнское, которое генерал Мирмонт оставил там да и забыл в тысяча восемьсот пятом году, потому что ему пришлось поспешно выступить на Вену, и вино это подавали на свадьбе. Но в главном кардинал, несомненно, попал в самую точку. И, спрашивая теперь себя, как мне понимать это, могу только сказать: правильно то это наверняка, но выйти так, пожалуй, не выйдет. То есть не подлежит сомнению, что люди, которых мы пригласили, потому что нам говорят, что они должны представлять ум нашей эпохи, не имеют ничего общего с подлинной жизнью, и церковь может спокойно пережить. Но мы, светские политики, ждать не можем, мы обязаны выжать благо из той жизни, какая уж есть. Ведь не хлебом единым жив человек, но и душой. Душа необходима, так сказать, для того, чтобы он хорошенько переваривал хлеб. И поэтому надо... — Граф Лейнсдорф полагал, что политика должна расшевеливать душу. — То есть надо, чтобы что-то произошло, — сказал он, — этого требует наша эпоха. Такое чувство сегодня у всех, не только у людей, занимающихся политикой. В эпохе есть какая-то промежуточность, которой долго никто не выдержит.

У него сложилась идея, что надо дать толчок зыбкому равновесию идей, на котором держится не менее зыбкое равновесие сил в Европе.

— Это почти безразлично, какой толчок! — заверил он Ульриха, который с наигранным ужасом заявил, что за то время, что они не виделись, его сиятельство стал чуть ли не революционером.

— А почему бы и нет! — ответил польщенный граф Лейнсдорф. — Его высокопреосвященство был, конечно, тоже того мнения, что, если бы удалось убедить его величество посадить в министерство внутренних дел кого-нибудь другого, это означало бы хоть маленький шаг вперед, но надолго такие маленькие реформы эффекта не дают, как бы необходимы они ни были. Знаете ли, в ходе своих теперешних размышлений я иногда и правда думаю о социалистах! — Он дал своему визави время оправиться от неизбежного, как он предполагал, удивления и затем решительно продолжил: — Можете мне поверить, истинный социализм был бы совсем не так ужасен, как думают. Вы, вероятно, возразите, что социалисты —

республиканцы. Верно, не надо просто слушать, что они говорят, но если взглянуть на них в свете реалистической политики, то можно почти увериться, что социал-демократическая республика с сильным властителем во главе вовсе не невозможная форма государства. Я лично убежден, что если только немножко пойти им навстречу, они охотно откажутся от применения грубой силы и отшатнутся от своих порочных принципов. Они и так уже склоняются к смягчению классовой борьбы и враждебного отношения к частной собственности. И среди них действительно есть люди, которые еще ставят государство выше партии, тогда как буржуазия со времени последних выборов уже целиком радикализировалась из-за столкновения национальных интересов. Остается, стало быть, император, — продолжил он доверительно приглушенным голосом. — Я уже намекнул вам, что мы должны научиться думать народнохозяйственными категориями. Односторонняя политика национальных меньшинств привела империю к хаосу. Императору да всю эту чешско-польско-немецко-итальянскую возню по поводу свободы — не знаю, как вам сказать это, скажем прямо — в глубине души наплевать. В глубине души его величество испытывает только желание, чтобы ради сильной империи был без сокращений утвержден военный бюджет, да еще величайшее отвращение ко всем претензиям буржуазии по части идей, сохранившееся у него, вероятно, еще с сорок восьмого года. Но ведь при этих двух чувствах его величество есть не кто иной, как, так сказать, Первый Социалист в государстве. Теперь, полагаю, вы видите ту великолепную перспективу, о которой я говорю! Остается только вопрос о религии, где еще есть непреодолимое противоречие, и об этом мне следовало бы еще раз поговорить с его высокопреосвященством.

Его сиятельство молча погрузился в убежденность, что история, особенно же история его отечества, скоро вынуждена будет из-за бесплодного национализма, в который она забрела, сделать шаг в будущее; сущность истории он представлял себе, таким образом, двуногой, хотя, с другой стороны, она рисовалась ему некоей философской необходимостью. Понятно было поэтому, что вынырнул он неожиданно и с натруженными глазами, как ныряльщик, забравшийся слишком глубоко.

— Во всяком случае мы должны быть готовы исполнить свой долг! — сказал он.

— В чем же вы сейчас видите наш долг, ваше сиятельство? — спросил Ульрих.

— В чем состоит наш долг? В том, чтобы исполнять свой долг! Это единственное, что всегда можно делать! Но чтобы переменить тему... —

Граф Лейнсдорф, казалось, только сейчас вспомнил о кипе газет и документов, на которых покоился его кулак. — Понимаете, народ требует сегодня сильной руки. Но сильной руке нужны красивые слова, иначе народ сегодня ее не потерпит. И вы, именно вы обладаете, по-моему, этим даром в недюжинной мере. То, что вы сказали, например, в последний раз, перед своим отъездом, когда мы все собрались у вашей кухни, что, мол, нам следовало бы теперь — если вы помните — учредить еще главный комитет по блаженству, чтобы оно сочеталось с нашей земной аккуратностью в рациональном мышлении, — осуществить это, конечно, не так-то просто, но его высокопреосвященство от души посмеялся, когда я ему рассказал об этом. Я чуточку, как говорится, ткнул его в это носом, и хотя он всегда надо всем потешается, я-то хорошо знаю, от досады ли он смеется или от чистого сердца. Нам без вас никак не обойтись, дорогой доктор...

В то время, как все другие высказывания графа Лейнсдорфа носили в этот день характер сложных мечтаний, исследовавшее сейчас пожелание, чтобы Ульрих «хотя бы временно со всей определенностью отказался» от своего намерения уйти с почетного места секретаря параллельной акции, было высказано так категорично и прямо, да и граф Лейнсдорф положил руку на плечо Ульриха так атакующе, что у того создалось не совсем приятное впечатление, что все предыдущие долгие речи были куда хитрее, чем он думал, и имели целью только усыпить его бдительность. В эту минуту он был очень зол на Клариссу, которая поставила его в такое положение; но поскольку он сразу, при первой же паузе в разговоре, воспользовался любезностью графа Лейнсдорфа и тут же получил от доброжелательного вельможи, которому хотелось только все говорить и говорить, самый благоприятный ответ, ему ничего не осталось, как скрепя сердце отплатить добром за добро.

— Туцци, кстати, передал мне, — сказал граф Лейнсдорф обрадованно, — что вы, может быть, возьмете кого-нибудь из его учреждения, чтобы свалить на него всю неприятную работу. «Хорошо, — ответил я, — если только он вообще пойдет на это!» В конце концов, это человек, состоящий под служебной присягой, а мой секретарь, которого я с удовольствием предоставил бы в ваше распоряжение, увы, болван. Только, пожалуй, секретные дела лучше все-таки ему не показывать, ведь, в сущности, не так уж и приятно, что этого человека рекомендует именно Туцци, но вообще-то поступайте в будущем так, как вам удобнее! — милостиво заключил его сиятельство эту плодотворную беседу.

В течение этого времени, с того часа, как она осталась одна, Агата жила в полной расслабленности, не поддерживая никаких связей, в светлой отрешенности безвольной печали; состояние это было как большая высота, откуда видно только широкое синее небо. Она ежедневно ходила немного по городу для своего удовольствия; она читала, когда была дома; она целиком отдавалась своим занятиям, с благодарным наслаждением принимая это тихое, ни к чему не обязывающее житье. Ничто не угнетало ее, она не цеплялась за прошлое, не делала никаких усилий ради будущего: когда ее взгляд падал на какой-нибудь из окружающих ее предметов, это происходило так, словно она манила к себе ягненка: либо он тихонько подходил к ней все ближе и ближе, либо просто не обращал на нее внимания, — но ничего никогда не постигала она намерении, цепкой внутренней хваткой, которая придает всякому холодному пониманию какую-то насильственность и все же какую-то тщетность, потому что прогоняет заключенное в вещах счастье. Поэтому все, что окружало ее, казалось Агате гораздо более понятным, чем обычно, но преимущественно занимали ее все еще разговоры с братом. По своеобразием ее необыкновенно точной памяти, не искажавшей своего материала никакими умыслами и никакими предрассудками, вокруг нее снова всплывали живые слова, маленькие неожиданности в интонациях и жестах тех разговоров — всплывали без особой связи, скорее такими, какими они были еще до того, как Агата вполне уловила их и поняла, к чему они клонят. Тем не менее все было в высшей степени значительно; ее память, в которой уже так часто царило раскаянье, была на сей раз полна спокойной привязанности, и прошедшее ласково льнуло к теплу тела, вместо того чтобы потеряться во мраке и холоде, куда уходит прожитое напрасно.

И вот так, окутанная невидимым светом, говорила Агата с адвокатами, нотариусами и коммерсантами, участвовавшими теперь в ее делах. Она нигде не встречала помех; очаровательной молодой женщине, которой к тому же имя ее отца служило рекомендацией, шли навстречу во всем, чего она хотела. Сама она при этом действовала, в сущности, с такой же большой, как ее мысленная отрешенность, уверенностью: то, что она решила, подлежало исполнению, но находилось как бы вне ее самой, и ее добытая за жизнь опытность — то есть тоже нечто разнящееся с личностью — продолжала трудиться над этим решением, как ловкий наемник,

хладнокровно пользующийся выгодами, предоставляемыми его работой; что цель всех ее шагов мошеннический подлог — этот смысл ее деятельности, вполне очевидный для постороннего, вообще не доходил тогда до нее. Цельность ее совести это исключала. Сияние ее совести затмевало эту темную точку, которая тем не менее была в ней заключена, как темная сердцевина в пламени. Агата сама не знала, как ей это выразить: благодаря своей затее она находилась в состоянии, далеком от этой некрасивой затей, как небо от земли.

Уже в первое после отъезда брата утро Агата тщательно себя рассматривала: началось это случайно с лица, ибо взгляд ее упал на него и уже больше не отрывался от зеркала. Она была задержана так, как это порой бывает, когда совсем не хочешь шагать, но все-таки делаешь новую и опять новую сотню шагов до какого-нибудь предмета, только под конец и показавшегося, чтобы уж там окончательно повернуть обратно, и в результате опять не поворачиваешь. Вот как, без всякого тщеславия, была она задержана ландшафтом своего «я», простершимся перед ее глазами под дымкой стекла. Она рассмотрела волосы, которые все еще были как светлый бархат; она расстегнула у своего отражения воротник и смахнула у него с плеч платье; наконец она совсем раздела его и осмотрела вплоть до розовых крышечек ногтей, где на руках и ногах кончается и вряд ли уже принадлежит себе тело. Все было еще как ясный день, близящийся к своему зениту, — дышало подъемом, чистотой, четкостью и тем становлением, которое предваряет полдень и которое в человеке или в молодом животном выражается таким же неопишным образом, как в мяче, еще чуть-чуть не долетевшем до высшей своей точки. «Может быть, он как раз в этот миг проходит через нее», — подумала Агата. Эта мысль испугала ее. Но впереди могло оказаться и довольно много времени: ей было только двадцать семь лет. Ее тело, не испытывавшее влияния ни учителей гимнастики, ни массажистов, не знавшее ни родов, ни материнства, не было вылеплено ничем, кроме своего собственного роста. Если бы можно было переместить это тело в один из тех величественных и пустынных пейзажей, что образуют обращенную к небу сторону высокой гряды гор, то широкие и бесплодные волны таких высот несли бы его, как какую-нибудь языческую богиню. В этих краях полдень не льет вниз потоков света и жары, он только как бы на миг поднимается над своим зенитом и незаметно переходит в тихо гаснущую красоту второй половины дня. Из зеркала шло назад жутковатое чувство этого неопределенного часа.

Тут Агата подумала, что и Ульрих предоставляет своей жизни проходить так, словно она будет длиться вечно. «Может быть, это ошибка,

что мы не познакомились уже стариками», — сказала она про себя и представила себе печальную картину — две полосы тумана, опускающиеся вечером на землю. «Они не так хороши, как сияющий полдень, — подумала она, — но какое дело этим двум бесформенным серым массам до того, как воспринимают их люди! Их час пришел, и он так же мягок, как самый пылающий час!» Она уже повернулась было спиной к зеркалу, но какая-то склонность к чрезмерности подбила ее вдруг опять обернуться, и она со смехом вспомнила двух толстых мариенбадских курортников, которых она много лет назад увидела на зеленой скамейке, когда они с самыми нежными чувствами ласкали друг друга. «И у них тоже сердце стройное, хотя и бьется оно среди жира, и, захваченные картиной, которую они видят внутренним зрением, они понятия не имеют о том, как смешно смотреть на них со стороны», — упрекнула себя Агата и с упоением на лице попыталась сделать свое тело толстым и собрать его в жирные складки. Когда этот приступ озорства прошел, похоже было на то, что на глазах у нее появились крошечные слезинки гнева, и, взяв себя в руки, она вернулась к объективному осмотру своей внешности. Хотя она и считалась стройной, она с интересом отметила возможности некоторого своего отяжеления в будущем. Пожалуй, и грудная клетка была широковата. На очень белокожем лице, которое светлые волосы делали, как горящие днем свечи, более темным, немного слишком выдавался нос, чья почти классическая линия нарушалась с одной стороны впадинкой у самого кончика. Вообще в похожей на пламя главной форме везде словно бы таилась вторая, более широкая и грустная, как листок липы, угодивший в лавровый куст. Агата почувствовала любопытство к себе самой, словно впервые увидела себя как следует. Так вполне могли видеть ее мужчины, с которыми она имела дело, а сама она ничего этого раньше не знала. От такого чувства было немного не по себе. Но по какой-то причуде воображения она, не успев разобраться в своих воспоминаниях об этом, услышала за всем, что ей довелось испытать, протяжный, надсадно-страстный любовный стон осла, крик, который всегда странно ее волновал: он звучит беспредельно глупо и безобразно, но именно поэтому нет, наверно, ни в чем больше такого же безотрадно сладостного героизма любви, как в этом крике. Она пожала плечами по поводу своей жизни и снова повернулась к своему изображению с твердым намерением обнаружить в нем место, где на ее внешности уже сказывается возраст. Есть такие участки у глаз и ушей, которые видоизменяются первыми и выглядят сначала так, словно на них что-то валялось, или округлость под грудями, так легко утрачивающая свою четкость, — Агату сейчас это обрадовало и умиротворило бы, если бы она

заметила здесь какое-нибудь изменение, но никаких изменений еще не обнаруживалось, и красота ее тела прямо-таки жутковато витала в глубине зеркала.

В этот миг Агате показалось действительно странным, что она госпожа Хагауэр, и разница между вытекавшими отсюда ясными и темными отношениями и смутностью ее внутреннего отношения к ним была так разительна, что казалось, будто сама она стоит здесь без тела, а тело ее принадлежит этой госпоже Хагауэр в зеркале, которая пусть и решает, как ей справиться с ним, телом, раз уж оно связало себя обстоятельствами, роняющими его достоинство. В этом тоже было что-то от той трепетной радости жизни, которая порой подобна испугу, и первое, на что решилась, наскоро одевшись. Агата, направило ее в ее спальню за капсулой, находившейся там где-то среди ее вещей. Эта маленькая воздухонепроницаемая капсула, которая появилась у нее почти тогда же, когда она вышла замуж за Хагауэра, содержала крошечную дозу какого-то неприятного по цвету вещества, насчет которого ее заверили, что это смертельный яд. Агата помнила известные жертвы, потребовавшиеся от нее, чтобы обзавестись этим запрещенным зельем, о котором она не знала ничего, кроме того, что ей рассказали о его действии, и одного из тех звучащих как магическая формула химических наименований, которые непосвященному приходится запоминать, не понимая, что они значат. Но, видимо, все средства, несколько приближающие конец, такие, как обладание ядом и оружием или поиски опасных приключений, входят в романтику радости жизни, и, возможно, жизнь большинства людей так тягостна, так неустойчива, столько в ее светлой стороне мрака, да и в целом настолько она абсурдна, что скрытая в ней радость освобождается только при отдаленной возможности умереть. Агата почувствовала себя спокойно, когда взгляд ее упал на маленький металлический предмет, который в лежавшей перед ней неопределенности казался ей залогом счастья и талисманом.

Это, следовательно, отнюдь не значило, что Агата уже в то время намеревалась совершить самоубийство. Напротив, она боялась смерти в точности так же, как страшится ее любой молодой человек, когда, например, его вечером, в постели, перед сном, после полезно проведенного дня, вдруг осеняет: когда-нибудь, в такой же прекрасный день, как сегодня, я умру, это неизбежно. К тому же совсем не хочется умирать, когда видишь, как умирает другой, и смерть отца мучила ее впечатлениями, ужас которых снова давал себя знать, с тех пор как она после отъезда брата осталась в доме одна. Но: «Я немного мертва» — такое чувство у Агаты бывало часто,

и как раз в такие мгновенья, как это, когда она только что осознала складность и здоровье своего молодого тела, эту упругую красоту, такую же беспричинную в своей таинственной слаженности, как распад ее элементов в смерти, Агата легко переходила от состояния счастливой уверенности к состоянию страха, удивления и немоты, какое испытываешь, выйдя вдруг из многолюдно-шумной комнаты под мерцающие звезды. Несмотря на копошившиеся в ней мысли о будущем и вопреки удовлетворению тем, что ей удалось спастись от неудачной жизни, она чувствовала себя теперь немного отделенной от самой себя и связанной с собой лишь в каких-то неясных пределах. Она хладнокровно думала о смерти как о состоянии, в котором ты избавлен от всех хлопот и иллюзий, и представляла ее себе как мягкое погружение в сон: лежишь себе в длани божьей, и длань эта как колыбель или как гамак, привязанный к двум большим, тихонько покачиваемым ветром деревьям. Она представляла себе смерть как великий покой и великую усталость, свободные от всяких желаний и усилий, от всякой сосредоточенности и мысли, как подобие того приятного бессилия, которое чувствуешь в пальцах, когда сон осторожно освобождает их от последнего, еще не выпущенного ими земного предмета. О смерти она составила себе, несомненно, довольно-таки удобное и поверхностное представление, только и требующееся тому, кто не расположен к тяготам жизни, и в результате она сама развеселилась, заметив, до чего похоже это на оттоманку, которую она — единственное ее нововведение в доме! — велела поставить в строгую отцовскую гостиную, чтобы лежа читать.

Тем не менее мысль отказаться от жизни никоим образом не была для Агаты просто игрой. Ей казалось глубоко вероятным, что за таким пустым мельтешением должно последовать состояние, блаженный покой которого невольно принимал в ее представлении какую-то физическую форму. Такое ощущение было у нее потому, что она не нуждалась в завлекательной иллюзии, что мир подлежит переделке, и всегда чувствовала себя готовой отказаться от своей доли в нем, если бы только это можно было сделать приятным способом; а кроме того, во время той необычной болезни, что напала на нее на рубеже детства и отрочества, у нее уже состоялась особая встреча со смертью. В неприметно-постепенном, вершившемся в каждый мельчайший отрезок времени, но на круг все же неудержимо быстром упадке сил изо дня в день отделялись тогда от нее и уничтожались все новые частицы ее тела; но в лад этому упадку и этому отходу от жизни в ней пробуждалось и какое-то незабываемое новое стремление к некоей цели, которое изгоняло из ее болезни всякие тревоги и страхи и было по-

своему содержательным состоянием, дававшим ей даже известную власть над все более неуверенными взрослыми, ее окружавшими. Вполне возможно, что это преимущество, постигнутое ею при столь впечатляющих обстоятельствах, составило позднее ядро ее внутренней готовности уйти сходным путем от жизни, волнения которой по какой-либо причине не соответствовали ее ожиданиям; вероятнее, однако, что дело обстояло противоположным образом и что та болезнь, помогавшая ей уходить от требований школы и отцовского дома, была первым проявлением ее отношения к миру — как бы прозрачного, как бы пронизываемого неведомым ей лучом чувства. Ибо Агата чувствовала себя человеком по натуре простым, полным тепла, живым, даже веселым и легко удовлетворяющимся, да она и правда вполне уживчиво приспособлялась к самым разным обстоятельствам; и никогда не впадала она в равнодушие, как то случается с женщинами, если их разочарованность им не по силам. Но даже и среди смеха, и в сумятице все же продолжавшихся поэтому чувственных авантур не исчезала та обесценивающая тоска, которая заставляла каждую клеточку ее тела страстно желать чего-то другого, к чему больше всего как раз и подходит обозначение «ничто». У этого «ничто» было определенное, хотя и не поддающееся определению содержание. Долгое время она по разным поводам повторяла про себя слова Новалиса: «Так что же мне сделать для своей души, которая живет во мне как неразгаданная загадка, предоставляя видимому человеку величайшую волю, потому что никак не может подчинить его себе?» Но, быстро озарив ее, как вспышка молнии, мерцающий свет этих слов каждый раз опять потухал во мраке, ибо она не верила в душу: это казалось ей слишком нескромным да и слишком уж для нее определенным.

Но и в земное она тоже не могла верить. Чтобы понять это, надо только иметь в виду, что такой разрыв с земным порядком без веры в порядок небесный есть нечто глубоко естественное, ибо в любой голове, помимо логической мысли с ее строгой и простой дисциплиной, являющейся отражением внешних обстоятельств, живет мысль аффективная, логика которой, если тут вообще можно говорить о логике, соответствует особенностям чувств, страстей, настроений; вследствие чего законы этих двух видов мысли соотносятся приблизительно так же, как законы лесного склада, где прямоугольно обтесанные бревна сложены в штабеля для отправки, и запутанно-темные законы леса с их копошеньем и шорохами. А поскольку объекты нашей мысли отнюдь не полностью независимы от ее состояний, то обе эти разновидности мысли не только сливаются в каждом человеке, но могут, до известной степени, поставить

его перед двумя мирами, по крайней мере непосредственно перед тем и вслед за тем «первым таинственным и неописуемым мигом», относительно которого один знаменитый религиозный мыслитель утверждал, что он бывает в каждом чувственном восприятии, прежде чем чувство и зрительное наблюдение отделятся друг от друга и займут места, где мы привыкли их находить: станут вещью в пространстве и размышлением, заключенным теперь в наблюдателе.

Каково бы, стало быть, ни было соотношение между вещами и чувством в зрелом мировосприятии цивилизованного человека, каждый все-таки знает те исполненные восторга мгновения, когда дифференциация еще не произошла, словно вода и суша еще не разделились и волны чувства составляют с холмами и долами, образующими облик вещей, один сплошной горизонт. Не надо даже полагать, будто у Агаты такие мгновения случались необыкновенно часто и отличались особенной интенсивностью, просто она воспринимала их живей или, если угодно, суеверней, ибо всегда была готова верить миру и в то же время не верить ему, как то делала со школьных времен и не разучилась делать позднее, когда ближе познакомилась с мужской логикой. В этом смысле, ничего общего не имеющем с взбалмошностью и капризностью, Агата, будь она самоуверенней, могла бы по праву назвать себя самой нелогичной женщиной на свете. Но ей никогда не приходило в голову усматривать в «отрешенных» чувствах, ею испытываемых, что-либо большее, чем собственную необычность. Лишь встреча с братом вызвала в ней перемену. В пустых, сплошь выдолбленных тенями одиночества комнатах, еще недавно наполненных разговорами и общением, проникавшими до глубин души, невольно исчезало различие между физической разлукой и духовным присутствием, и при всей неприметности катившихся один за другим дней Агата с неведомой ей дотоле силой ощущала странную прелесть всеприсутствия и всемогущества, связанную с переходом мира, каким его чувствуешь внутренне, в мир, каким ты видишь его. Ее внимание как бы не сосредоточивалось теперь на чувственных восприятиях. а открывалось сразу глубоко в сердце, куда не проникало ничего, что не светилося бы так же, как оно само, и несмотря на невежество, в котором она обычно обвиняла себя, ей, когда она вспоминала речи брата, казалось теперь, что все важное в них она понимает, не нуждаясь ни в каких размышлениях об этом. И поскольку дух ее был так полон самим собой, что даже в самой живой ее мысли было что-то от бесшумного полета воспоминания, все, что встречалось ей, разрасталось в безграничную сиюминутность; даже когда она что-либо делала, происходило, собственно, лишь исчезновение рубежа

между нею, делавши и это, и тем, что совершалось, и ее движение казалось тропой, по которой вещи сами шли к ней, если она протягивала к ним руку. Но эта мягкая сила, ее, Агаты, знание и говорящая сиюминутность мира были даже тогда, когда она с улыбкой спрашивала себя, что же она, в сущности, делает, почти неотличимы от отрешенности, бессилия и глубокой немоты духа. Лишь чуть-чуть преувеличив свои ощущения. Агата могла бы сказать о себе, что она уже не знает, где она. Со всех сторон была она в чем-то неподвижном, где чувствовала себя одновременно и поднятой вверх, и исчезнувшей. Она могла бы сказать: я влюблена, но не знаю в кого. Ясная воля, которой ей обычно недоставало в себе, наполняла ее, но она не знала, что делать ей при этой ясности воли, ибо все, что было в ее жизни хорошего и дурного, не имело значения.

Поэтому не только тогда, когда она рассматривала капсулу с ядом, но и каждый день Агата думала о том, что хорошо бы ей умереть и что счастье смерти, наверно, похоже на то счастье, в каком она проводила эти дни, готовясь поехать к брату и делая тем временем именно то от чего он заклинал ее отказаться. Она не представляла себе что произойдет, когда она окажется у брата в столице. Почти с упреком вспоминала она, что он иногда беззаботно выказывал свою уверенность, что она будет пользоваться там успехом и скоро найдет нового мужа или хотя бы любовника; именно этого не будет — знала она! Любовь, дети, прекрасные дни, веселое общество, путешествия и немножко искусства — хорошая жизнь ведь так проста, она понимала ее привлекательность и не была равнодушна к ней. Но при всей своей готовности считать себя никчемной Агата носила в себе все презрение прирожденного мятежника к этой нехитрой простоте. Она видела в ней обман. Считающаяся полнокровной жизнь на самом деле бессмысленна; в конечном счете, то есть в буквальном смысле в конце ее, перед смертью, ей всегда чего-то недостает. Она — Агата искала подходящих слов — как нагромождение вещей, не приведенное в порядок никакой высшей потребностью: не наполненная при всей своей полноте противоположная простоте, она — всего только путаница, которую принимают с радостью привычки! И, неожиданно отвлекшись, Агата подумала: «Она — как куча чужих детей, на которую смотришь с привитой воспитанием приветливостью, но с растущим страхом, потому что тебе не удастся увидеть среди них собственное дитя!»

Ее успокаивало решение кончить свою жизнь, если та и после последнего, еще предстоявшего поворота, не станет другой. Как брожение в вине, не унималось в ней ожидание, что смерть и ужас не будут последним словом истины. У нее не было потребности задуматься об этом.

Она даже испытывала страх перед этой потребностью, которой так любил уступать Ульрих, и это был агрессивный страх. Ибо она хорошо чувствовала, что все, охватывавшее ее с такой силой, не было вполне свободно от постоянного намека, что это лишь видимость. Но в видимости столь же несомненно содержалась разжиженная, разбавленная действительность — может быть, еще не ставшая землею действительность, думала Агата. И в одно из тех дивных мгновений, когда место, где она стояла, растворялось, казалось, в неопределенности, она способна была поверить, что за нею, в пространстве, в которое никогда нельзя заглянуть, может быть, стоит бог! Она испугалась этой чрезмерности! Страшная даль и пустота проняла ее вдруг, безбрежное сияние затмило ее ум и повергло в страх ее сердце. Ее молодость, вполне склонная к такому естественному при неопытности опасению, внушила ей, что она рискует поощрить зачатки безумия. Она устремилась назад. Она строго напомнила себе, что ведь вообще не верит в бога. И правда, она не верила в него, с тех пор как ее учили верить, что было частным случаем недоверия, питаемого ею ко всему, чему ее учили. Она была совсем не религиозна в том твердом смысле, который нужен для веры в неземной мир или хотя бы для нравственной убежденности. Но через несколько мгновений, обессилив и трепеща, она должна была снова признаться себе, что почувствовала «бога» совершенно так же отчетливо, как мужчину, который стоял бы сзади нее и накидывал ей на плечи пальто.

Достаточно поразмышляв об этом и вновь осмелев, она догадалась, что смысл пережитого ею заключался вовсе не в том «затмении солнца», которое наступило в ее физическом ощущении, а был главным образом нравственного свойства. Внезапная перемена ее внутреннего состояния и соответственно всего ее отношения к миру дала ей на миг то «единство совести с чувствами», которое дотоле было знакомо ей лишь по таким слабым намекам, что его хватало только на то, чтобы вносить в обычную жизнь какую-то безотрадность и мрачную страстность, как бы ни пыталась поступить Агата — хорошо или дурно. Ей показалось, что эта перемена была неким ни с чем не сравнимым излиянием, которое шло и от ее окружения, и от нее к нему, единством самого высокого смысла с самым малым движением мысли, едва отделявшейся от реальной вещественности. Вещественность прониклась ощущениями, а ощущения вещественностью до того убедительно, что все, к чему Агата дотоле прилагала слово «убедительный», не дало бы об этом и отдаленного представления. И произошло это при обстоятельствах, исключавших, на обычный взгляд, возможность какой-либо убежденности.

Таким образом, значение того, что она пережила в одиночестве, заключалось не в роли, которую можно было бы психологически приписать этому как какому-то указанию на легковозбудимый и неустойчивый характер, ибо заключалось оно вообще не в человеке, а в чем-то общем и в связи человека с этим общим, связи, которую Агата по праву сочла нравственной, — по праву в том смысле, что ей, молодой, разочаровавшейся в себе женщине, показалось, что если бы она всегда умела жить так, как в эти исключительные мгновения, и не была слишком слаба, чтобы их продлевать, то она была бы способна любить мир и благосклонно смириться с ним; а иначе ей этого не добиться! Теперь ей страстно захотелось возвратиться в то состояние, но такие мгновенья величайшего восторга нельзя вернуть силой; и с ясностью, какую приобретает бледный день, когда зайдет солнце, она только сейчас, увидев тщетность своих бурных усилий, поняла, что единственное, чего она могла ждать и чего действительно ждала с нетерпением, — оно просто пряталось под ее одиночеством, — была та странная перспектива, которую брат ее однажды, полушутя, определил как Тысячелетнее Царство. Он мог бы с таким же успехом выбрать для этого и другое название, ибо значения для Агаты полон был только убедительный и уверенный звук чего-то, что грядет. Она не осмелилась бы утверждать это. Она ведь и сейчас еще не знала наверняка, возможно ли это на самом деле. Она вообще не знала, что это такое. Она сейчас снова забыла все слова, которыми брат доказывал, что за тем, что наполняет ее дух лишь светящимися туманами, таится возможность, уходящая в бесконечную даль. Но пока она находилась в его обществе, у нее было совершенно такое чувство, словно из его слов возникала страна, и возникала не в голове у нее, а в самом деле у нее под ногами. Как раз то, что он часто говорил об этом лишь иронически, да и вообще его переходы от холодности к пылкости, так часто смущавшие ее прежде, — все это радовало теперь Агату в ее покинутости как своего рода гарантия того, что он действительно так думал, ведь в такой гарантии и состоит преимущество угрюмых состояний души перед восторженными. «Наверно, я только потому думала о смерти, что боюсь, что он говорит это не совсем всерьез», — призналась она себе.

Последний день, который она должна была провести в уединении, захватил ее врасплох; все в доме оказалось вдруг убрано и опорожнено, и надо было лишь передать ключи старой чете, которая, получив по завещанию какое-то обеспечение, оставалась жить во флигеле для прислуги, пока усадьба не найдет себе нового хозяина. Агата решила не перебираться в гостиницу и до самого отъезда — поезд уходил между

полуночью и утром — оставаться на месте. Все в доме было упаковано и покрыто чехлами. Горели голые лампочки. Сдвинутые ящики служили столом и стулом. Подать ужин она попросила на край ущелья, на террасу, образованную ящиками. Старый слуга отца балансировал посудой среди света и теней; он и его жена угощали ее из запасов собственной кухни, чтобы «молодая госпожа», как они выражались, хорошенько поела напоследок в своем родном доме. И вдруг, совершенно вне того умонастроения, в котором она провела эти дни, Агата подумала: «Заметили ли они все-таки что-нибудь?!» Могло ведь случиться, что она уничтожила не все пробы пера для подделки завещания. Она почувствовала холодный ужас, кошмарную тяжесть, повисшую на всем ее теле, скупой ужас действительности, ничего не дающий духу, а только отнимающий у него все. В этот миг она со страстной силой ощутила вновь пробудившееся в ней желание жить. Она взбунтовалась против возможности, что жить ей помешают. Она решительно попыталась, когда вернулся старик слуга, прочесть что-нибудь по его лицу. Но старик ходил со своей осторожной улыбкой как ни в чем не бывало назад и вперед и был полон какой-то немоты и торжественности. Она не могла заглянуть в него, как нельзя заглянуть в стену, и не знала, нет ли в нем за этим слепым сияньем чего-то еще. Она тоже исполнилась теперь какой-то немоты, торжественности и грусти. Он всегда был шпиком отца, неизменно готовым выдать ему любую тайну его детей, если ее узнавал. Но Агата родилась в этом доме, а все, что случилось с тех пор, сегодня кончалось, и Агату трогало, что она и он сейчас торжественны и одни. Она вздумала подарить ему особо немного денег и, поддавшись внезапной слабости, решила сказать, что делает это от имени профессора Хагауэра; она пришла к такой мысли не из хитрости, а от желания совершить какой-нибудь искупительный акт и в намерении ничего не упустить, хотя ей было ясно, что желание это и нецелесообразно, и суеверно. Она извлекла, прежде чем старик вернулся, еще и обе свои капсулы, и медальон с портретом своего незабвенного возлюбленного, на чье молодое лицо она, нахмурившись, взглянула сейчас в последний раз, Агата сунула под крышку плохо заколоченного ящика, который на неопределенный срок оставался здесь на хранение и содержал, по-видимому, кухонную утварь и осветительные приборы, ибо она слышала, как металл ударяя по металлу, словно падая с одной ветки дерева на другую; а капсулу с ядом она поместила там, где прежде хранила этот портрет.

«Как я несовременна! — подумала она при этом с улыбкой. — Ведь конечно, есть вещи более важные, чем любовные дела!» Но она в это не

верила.

Сейчас так же нельзя было бы сказать, что она отвергала мысль о вступлении в недозволенные отношения с братом, как нельзя было бы сказать, что она желала их. Это зависело от будущего; в теперешнем же ее состоянии ничего не соответствовало определенности в таком вопросе.

Свет окрашивал доски, среди которых она сидела, в ярко-белый и густо-черный цвета. И сходная трагическая маска, придававшая их вообще-то простому значению что-то жуткое, была на мыслях о том, что она сейчас проводит последний вечер в доме, где была рождена женщиной, о которой никогда не могла ничего вспомнить и которой был рожден также и Ульрих. У нее вдруг возникло старое-престарое видение, будто вокруг нее стоят клоуны со смертельно серьезными лицами и странными инструментами, Они начали играть. Агата узнала свой сон наяву времен детства. Она не могла слышать эту музыку, но все клоуны смотрели на нее. Она сказала себе, что в этот миг ее смерть не была бы потерей ни для кого и ни для чего, да и для нее самой означала бы, наверно, только внешнее завершение внутреннего умирания. Так думала она в то время как клоуны поднимали свою музыку к потолку, и сидела как бы на посыпанном опилками полу цирка, и слезы капали ей на пальцы. Это было чувство глубокой бессмысленности, которое она часто раньше испытывала в детстве, и она подумала: «Я, наверно, до сих пор не повзрослела?», что, однако, не помешало ей одновременно, как о чем-то, выглядевшем из-за ее слез безмерно важным, подумать о том, что в первый же час их встречи она и брат предстали друг другу в таких клоунских балахонах. «Что это значит, что все, что я ношу в себе, пришло именно к моему брату?» — спросила она себя. И вдруг заплакала о самом деле. Причины, почему так случилось, она не могла бы привести никакой, кроме той, что случилось это ей в радость, и она с силой помотала головой, словно в голове ее было что-то, чего она не могла ни разобрать, ни собрать.

При этом она в естественной простоте думала, что Ульрих-то уж найдет ответ на все вопросы, думала, пока снова не вошел старик и растроганно не поглядел на растрогавшуюся. «Молодая госпожа!..» — сказал он, тоже качая головой. Агата взглянула на него смущенно, но когда она поняла недоразумение этого относившегося к ее детской скорби соболезнования, в ней снова проснулось озорство молодости.

— Брось все, что у тебя есть, в огонь — вплоть до башмаков. Когда у тебя ничего не останется, не думай даже о саване и бросься голым в огонь! — сказала она ему. Это было старое изречение, которое с восторгом прочел ей Ульрих, и старик натужно улыбался строгому и мягкому напеву

этих слов, когда она произносила их с сияющими сквозь слезы глазами, и глядел, следуя за указующей рукой своей госпожи, которая хотела облегчить ему понимание, введя его в заблуждение, на гору ящиков, нагроможденных словно бы для костра. При упоминании савана старик понятливо кивнул, готовый следовать дальше, хотя путь ее слов и казался ему несколько неукатанным; но при слове «голый» он, когда Агата повторила свое изречение еще раз, застыл в вежливую маску слуги, выражение которой заверяет вас в нежелании видеть, слышать, судить.

За все время, что он служил у своего старого хозяина, слово это ни разу при нем не произносилось, разве что говорили «неодетый»; но молодые люди были теперь другие, и он, наверно, уже не смог бы угодить им своей службой. Со спокойным чувством законченного рабочего дня он понял, что его служба завершена. А последняя мысль Агаты, перед тем как она встала, была: «Бросил бы Ульрих и впрямь все в огонь?»

22

От критики, которой подверг Конятовский теорему Даниэлли, к грехопадению От грехопадения к загадке сестринских чувств

Состояние, в котором Ульрих вышел на улицу, покинув дворец графа Лейнсдорфа, было похоже на трезвое чувство голода; он остановился у рекламной доски и утолил свой голод — а изголодался он по мещанской обыкновенности — объявлениями и оповещениями. Многометровый щит был покрыт словами. «Надо полагать, — подумалось ему, — что именно эти слова, повторяющиеся на всех углах и во всех концах города, имеют познавательную ценность». Они, казалось ему, состояли в родстве с готовыми клише, употребляемыми в важные моменты жизни персонажами популярных романов. Он читал: «Носили ли вы когда-нибудь что-либо столь же приятное и практичное, как шелковые чулки „Топинам“?», «Его светлость развлекается», «Варфоломеевская ночь в новой редакции», «Уютный отдых в „Черной лошадке“, „Зажигательная эротика и танцы в „Красной лошадке“». Рядом он увидел политическую листовку: „Преступные махинации“ — относилось это, однако, не к параллельной акции, а к ценам на хлеб. Он отвернулся и через несколько шагов заглянул в витрину книжного магазина. „Новое произведение великого писателя“, — прочел он на картонной табличке, помещенной возле пятнадцати одинаковых, поставленных рядом томов. Напротив этой таблички,

симметрично ей, в другом углу витрины стояла еще одна — с печатным указанием на второе произведение: „Мужчины и женщины с одинаковым интересом прочтут «Вавилон любви“, сочинение такого-то“.

«Великий писатель?» — подумал Ульрих. Он вспомнил, что прочел только одну книгу этого автора, и предположил, что ему никогда не придется читать вторую. С тех пор, однако, автор стал знаменит. И при виде этой витрины немецкого ума Ульриху вспомнилась старая солдатская острота — «мортаделла!». Так во времена его военной службы называли одного непопулярного дивизионного генерала — по популярному сорту итальянской колбасы, — а тем, кто спрашивал, что это значит, отвечали: «Полусвинья-полуосел!» Ульрих с интересом продолжил бы это сравнение, если бы его мысли не прервала какая-то женщина, обратившаяся к нему со словами: «Тоже ждете трамвая?» Так он сообразил, что уже не стоит перед книжной лавкой.

Он и не заметил, как остановился у трамвайной остановки. Дама, обратившая на это его внимание, была с рюкзаком и в очках; она оказалась его знакомой, астрономом, ассистенткой института, это была одна из немногих женщин, делающих что-то значительное в этой мужской науке. Он посмотрел на ее нос и на мешки под глазами, приобретшие от привычной умственной работы какое-то сходство с гуттаперчевыми подмышниками; потом увидел внизу короткую грубошерстную юбку, а вверху тетеревиное перо на зеленой шляпе, осенявшей ее ученое лицо, и улыбнулся.

— Вы в горы? — спросил он.

Доктор Штраштилъ отправлялась на три дня в горы — «передохнуть».

— Какого вы мнения о работе Конятовского? — спросила она Ульриха. Ульрих промолчал.

— Кнеплер будет в бешенстве, — заметила она. — Но критика, которой Конятовский подвергает кнеплеровский вывод из теоремы Даниэлли, очень интересна, вы согласны? Вы считаете этот вывод возможным?

Ульрих пожал плечами.

Он принадлежал к тем именуемым логистиками математикам, которые вообще ничего не признавали правильным и строили новую фундаментальную теорию. Но и логику логистиков он тоже не считал совсем правильной. Если бы он продолжал работать, он снова вернулся бы к Аристотелю: на этот счет у него были свои взгляды.

— Я считаю кнеплеровский вывод все-таки не неудачным, а просто неверным, — объявила доктор Штраштилъ. С таким же успехом она могла

бы объявить, что считает этот вывод неудачным, но все-таки, в основных чертах, верным; она знала, что она имела в виду, но на обычном языке, где слова не имеют определений, никто не может выразиться однозначно. Когда она пользовалась этим каникулярным языком, под ее туристской шляпой мелькало что-то от того боязливого высокомерия, какое вызывает, наверно, чувственный мир мирян у неосторожно соприкоснувшегося с ним монаха.

Ульрих сел на трамвай вместе с фрейлейн Штраштилъ — он сам не знал почему. Может быть, потому, что критика Конятовского по адресу Кнеплера казалась ей такой важной. Может быть, он хотел поговорить с ней о художественной литературе, в которой она ничего не понимала.

— Что вы будете делать в горах? — спросил он.

Она направлялась на Хохшваб.

— Там еще слишком много снега. На лыжах уже не взберешься, а без лыж еще рано взбираться, — отсоветовал он ей подниматься в горы, которые хорошо знал.

— Тогда я останусь внизу, — сказала фрейлейн Штраштилъ. — В хижинах на Ферзенальме, у самого подножья, я уже один раз была целых три дня. Ведь мне ничего не нужно, только немножко природы!

Выражение лица, состроенное этой превосходной астрономией при слове «природа», побудило Ульриха спросить, зачем ей, собственно, природа.

Доктор Штраштилъ искренне возмутилась. Она способна все три дня пролежать на лугу, не шевелясь. Как каменная глыба! — заявила она.

— Это только потому, что вы ученая! — ответил Ульрих. — Крестьянину бы стало скучно!

С этим доктор Штраштилъ не согласилась. Она сказала о тысячах людей, которые каждый свободный день устремляются на природу пешком, на велосипедах, на лодках.

Ульрих сказал о крестьянах, которые бегут из деревни, потому что их тянет в город.

Фрейлейн Штраштилъ усомнилась в естественности его чувств.

Ульрих заявил, что естественно, так же как есть и любить, стремиться к удобству, а не подниматься на альпийский луг. Естественное чувство, якобы побуждающее к тому, есть не что иное, как современный руссоизм, поведение сложное и сентиментальное... Он совсем не чувствовал, что говорит хорошо, ему было безразлично, что он говорил, он продолжал говорить только потому, что это все еще было не то, что он хотел извлечь из себя. Фрейлейн Штраштилъ взглянула на него недоверчиво. Она была не в

состоянии понять его; ее большой опыт мышления отвлеченными категориями не помогал ей нисколько; идеи, которыми он, казалось, просто ловко жонглировал, она не могла ни разграничить, ни собрать воедино; она полагала, что он говорит, не думая. Тот факт, что такие речи она слушала с тетеревиным пером на шляпе, давал ей единственное удовлетворение и усиливал ее радость по поводу ожидавшего ее одиночества.

В этот миг взгляд Ульриха упал на газету соседа, и он прочел крупно напечатанный заголовок объявления: «Время ставит вопросы, время дает ответы». Ниже могла следовать реклама какой-нибудь стельки для обуви или какой-нибудь лекции, это сегодня уже нельзя различить точно, но мысли его вдруг наскочили на нужную ему колею. Его спутница, стараясь быть объективной, неуверенно призналась:

— Я, к сожалению, плохо знаю художественную литературу, ведь у нашего брата нет времени. Может быть, и знаю-то я совсем не то, что нужно. Но, например... — и она назвала популярное имя, — дает мне невероятно много. По-моему, если писатель может заставить нас так живо чувствовать, то это уже что-то великое!

Но поскольку Ульрих уже извлек все, что ему было нужно, из присущего уму доктора Штраштилъ сочетания чрезвычайной развитости абстрактного мышления с поразительной эмоциональной тупостью, он обрадованно поднялся, сказал своей полуколлеге что-то нарочито лестное и поспешно вышел, соврав, что уже проехал две лишних остановки. Когда он уже с улицы попрощался еще раз, фрейлейн Штраштилъ вспомнила, что в последнее время слышала неблагоприятные отзывы о его работе, и, почувствовав себя по-человечески взволнованной его прощальной любезностью, покраснела, что, при ее убеждениях, отнюдь не говорило в его пользу; а он теперь знал, хотя и знал еще не до конца, почему его мысли кружили вокруг литературы и чего они там искали, от прерванного сравнения с «мортаделлой» до безотчетного провоцирования на признания славной фрейлейн Штраштилъ. В конце концов, до литературы ему не было никакого дела, с тех пор как он в двадцать лет написал свое последнее стихотворение; однако прежде он какое-то время почти регулярно писал тайком, и отказался он от этой привычки не потому, что стал старше или признал себя недостаточно одаренным, а по причинам, которые он под влиянием теперешних впечатлений скорее всего определил бы каким-нибудь словом, выражающим приход к пустоте после величайших усилий.

Ибо Ульрих принадлежал к тем любителям книг, что не хотят больше читать, потому что на весь процесс писания и чтения смотрят как на бесчинство. «Если разумная Штраштилъ хочет, чтобы ее „заставляли

чувствовать“, — думал он („В чем она права! Возрази я ей, она побила бы меня музыкой, как козырным тузом!“), и думал, как то бывает, словами только отчасти, ибо отчасти размышление вкрапливалось в сознание бессловесным узором, — если, стало быть, смышленная Штраштилль хотела, чтобы ее заставили чувствовать, то сводилось это к тому, чего все хотят, — чтобы искусство волновало человека, потрясало, развлекало, удивляло, давало ему понюхать благородных мыслей — одним словом, действительно заставляло его что-то „переживать“ и было само „живым“ или „переживанием“. И Ульрих вовсе не хотел это отвергать. Какой-то задней мыслью, кончавшейся смесью легкой растроганности и строптивой иронии, он думал: „Чувства достаточно редки. Поддерживать определенную температуру чувств, защищать их от замерзания значит, наверно, хранить инкубационное тепло, из которого возникает всякое умственное развитие. И когда на какие-то мгновения человек поднимается от хаоса своих рациональных намерений, припутывающих его к бесчисленным чужеродным предметам, к совершенно бесцельному состоянию, когда, значит, он, к примеру, слушает музыку, он находится почти в биологическом состоянии цветка, на который падают дождь и солнечный свет“. Он готов был признать, что вечность более вечная, чем в деятельности человеческого ума, заключена в его покое и паузах; но тут он иногда думал „чувство“, а иногда „переживание“, и это влекло за собой противоречие. Ведь существовали же переживания воли! Существовали же переживания высоких подвигов! Можно было, правда, предположить, что каждое из них, достигнув своем высочайшей, сияющей остроты, становится уже только чувством; но этому и подавно противоречила бы мысль, что состояние чувствования есть в чистом своем виде погружение в покой, в бездеятельность?! Или все-таки не противоречила бы? Не существовало ли чудесной связи, в силу которой высочайшая активность была в основе своей неподвижна? Но тут стало ясно, что эта последовательность идей была не столько случайной, сколько нежелательной мыслью, ибо, внезапно восстав против его сентиментального поворота, Ульрих аннулировал все рассуждение, в которое влип. Ему совсем не хотелось размышлять о некоторых обстоятельствах и, думая о чувствах, самому сбиваться на чувства.

Тут его осенило, что то, во что он метил, можно наилучшим образом, и притом без обиняков, определить как тщетную актуальность или вечную сиюминутность литературы. Разве у нее есть какой-нибудь результат? Она — либо огромный обходной путь от переживания к переживанию, приводящий назад к своей исходной точке, либо некая совокупность

раздражителей, из которой ничего определенного никоим образом не вытекает. «Лужа, — подумал он, поневоле создает большее впечатление глубины, чем океан, — по той простой причине, что всем чаще случается видеть лужи, чем океаны». Так же, показалось ему, обстоит дело и с чувством, и по той же самой причине заурядные чувства сходят за глубокие. Ибо характерное для всех людей «чувствительных» предпочтение факта чувствования самому чувству, как и общее для всех служб чувства желание заставить и быть заставленным чувствовать, ведет к обесцениванию самой сути чувств по сравнению с их моментом, то есть неким личным состоянием, и в конечном счете, стало быть, к той мелкотравчатости, неразвитости и полной пустопорожности, примеров которой кругом сколько угодно. «Конечно, такая точка зрения, продолжил мысленно Ульрих, — должна отталкивать всех, кому в их чувствах так же уютно, как петуху в его перьях, и кто, чего доброго, еще немного тешится мыслью, что с каждой „личностью“ вечность начинается все сначала!» У него было ясное представление о чудовищной, охватывающей прямо-таки все человечество извращенности, но он не мог выразить это вполне удовлетворительным для себя образом, — наверно, потому, что связи тут были слишком сложны.

Занятый этими мыслями, он следил за проходившими трамваями, дожидаясь того, который подвез бы его поближе к центру города. Он смотрел, как выходили и входили люди, и его технически достаточно опытный глаз рассеянно играл со связямиковки и литья, вальцовки и клепки, конструкции и исполнения, исторического развития и современного уровня, из которых состояло изобретение этих барачков на колесах для перевозки людей. «Под конец на вагонный завод приходит делегация управления городским транспортом и решает все, что касается деревянной обшивки, окраски, обивки сидений, опорных штанг и ручек, пепельниц и тому подобного, — подумал он между прочим, — и как раз эти мелочи, и красный или зеленый цвет кузова, и высота подножки перед площадной запоминаются десяткам тысяч людей, оказываются единственным, что остается для них от всего гения и что они действительно видят. Это формирует их характер, придает ему шустрость или вялость, заставляет их чувствовать а красных трамваях родину, а в синих — чужбину и образует тот неповторимый, состоящий из маленьких фактов запах, который исходит от одежды каждого века». Нельзя было, таким образом, отрицать — и это вдруг связалось с тем, другим, составлявшим главный ход мысли Ульриха, что и жизнь большой своей частью выливается в незначительную актуальность, или, выражаясь

техническим языком, что духовный коэффициент полезного действия очень мал.

И внезапно, чувствуя, как сам он вскакивает на подножку трамвая, он сказал себе: «Я должен внушить Агате: мораль есть согласованность каждого сиюминутного состояния нашей жизни с каким-то длительным!» Эта мысль вдруг осенила его в виде определения. Но этой до блеска отполированной формуле предшествовали, следовали за нею и делали ее понятнее многие не вполне развитые и расчлененные мысли. Тут в неопределенных и общих чертах возникала связь невинного занятия чувствами со строгой концепцией, целенаправленность, серьезная иерархия чувств: чувства должны либо служить, либо принадлежать какому-то всеохватывающему, совсем еще не описанному состоянию, огромному, как безбрежное море. Следовало ли назвать это идеей или это следовало назвать тоской? Ульрих должен был оставить это нерешенным, ибо в тот миг, когда ему пришлось на ум имя сестры, тень ее затемнила его мысли. Как всегда, когда он думал о ней, ему казалось, что во время пребывания в ее обществе он проявлял иное, чем обычно, состояние духа. Он знал также, что страстно хочет вернуться к этому состоянию. Но эти же воспоминания наполняли его и стыдом: он, казалось ему, переборщил, распустился, вел себя смешно, не лучше, чем человек, падающий в пьяном угаре на колени перед зрителями, которым он завтра не посмеет взглянуть в глаза. Это было ввиду уравновешенности и сдержанности духовного контакта между братом и сестрой чудовищным преувеличением и, если имело под собой хоть какие-то основания, то лишь как реакция на чувства, еще не оформившиеся. Он знал, что Агата должна приехать через несколько дней, и ничему не помешал. Разве она вообще сделала что-то не то? Можно ведь было предположить, что когда ее каприз миновал, она, остыв, пошла на попятный. Однако какая-то очень уверенная интуиция говорила ему, что Агата не отступилась от своего намерения. Он мог бы спросить ее. Он снова почувствовал себя обязанным предостеречь ее письмом. Но вместо того чтобы хоть на миг задуматься об этом всерьез, он представил себе, что могло толкнуть Агату на такое необычайное поведение: он увидел в нем невероятно сильный жест, которым она дарила ему свое доверие и отдавала себя в его руки. «У нее очень мало чувства реальности, — подумал он, — но замечательная манера делать то, что она хочет. Необдуманно, можно сказать, но потому-то и не остыв! Когда она ала, она видит мир рубиново-красным!» Он дружелюбно улыбнулся и оглядел ехавших с ним людей. Злые мысли имелись у каждого из них, это было несомненно, и каждый подавлял их, и никто так уж не сердился за них на себя. Но ни у кого не

было этих мыслей вне его, в человеке, который придает им очаровательную неприступность сновидения.

С тех пор как Ульрих не дописал письмо до конца, он сейчас впервые ясно увидел, что выбирать ему уже нечего, что он уже находится в состоянии, войти в которое еще не решается. По законам этого состояния, — позволяя себе заносчивую двусмысленность, он называл их святыми, в ошибке Агаты нельзя было раскаяться, ошибка эта могла быть заглажена, исправлена, обращена в добро только событиями, которые за ней последуют, что, впрочем, и соответствовало, кажется, первоначальному смыслу раскаяния, состояния очистительно-пламенного, а не болезненного. Возместить ущерб, компенсировать урон неугодному супругу Агаты значило бы лишь отменить, аннулировать причиненный вред, то есть было бы равнозначно тому двойному и парализующему отрицанию, из которого и состоит обычное хорошее поведение, внутренне сводящее себя к нулю. С другой стороны, свести к нулю, убрать, как нависшую тяжесть, то, что причинялось Хагауэру, можно было только при наличии большого чувства к нему, а об этом без ужаса нельзя было и подумать. Таким образом, по логике, к которой пытался приноровиться Ульрих, поправить, обратить в добро можно было только что-то другое, а не причиненный ущерб, и он ни минуты не сомневался, что этим другим должна быть вся жизнь его и сестры. «Дерзко выражаясь, — подумал он, — это значит: Савл не стал исправлять каждое отдельное последствие своих прежних грехов, а стал Павлом!» Этой своеобразной логике чувство и убеждение привычно возражали, однако, что было бы во всяком случае порядочнее и не пошло бы в ущерб позднейшим взлетам, если бы сначала рассчитались честь честью с зятем, а уж потом задумали новую жизнь. Та нравственность, которая так манила его, вообще ведь не годилась для улаживания денежных дел и конфликтов, из них вытекающих. На границе той другой жизни и обыденной должны были поэтому возникать неразрешимые и противоречивые ситуации, которые всего лучше было, пожалуй, не доводить до пограничных инцидентов, а загодя устранять обычным, непатетическим путем, то есть по правилам порядочности. Но тут Ульрих снова чувствовал, что нельзя считаться с условностями доброты, если пускаешься в сферу доброты безусловной, безоговорочной. Возложенная на него миссия — сделать шаг в новое — не терпела, кажется, никаких поблажек.

Последний редут, еще оборонявший его, удерживало сильное отвращение к тому, что понятия «я», «чувство», «доброта», «другая доброта», «зло» и подобные, которыми он широко пользовался, так

субъективны и одновременно так выпренны, так до выхолощенности общи, как то, собственно, подобало бы моральным соображениям куда более молодых людей. С ним происходило то, что наверняка произойдет со многими, следящими за его историей, он раздраженно вырывал отдельные слова и спрашивал себя, к примеру: «Производство и результаты чувств»? Какой механический, рациональный, психологически неверный подход! «Мораль как проблема длительного состояния, которому подчинены все отдельные состояния» — и ничего больше? Какая бесчеловечность!» Стоило взглянуть на это глазами рассудительного человека — все казалось чудовищно перевернутым. «Самая суть морали основана не на чем другом, как на том, что важные чувства всегда остаются неизменными, — думал Ульрих, — и все, что требуется при этом от индивидуума, — это действовать в ладу с ними!» Но именно в этот миг созданные рейсшиной и циркулем линии катившегося помещения остановились у места, где его взгляд, выйдя из тела современного транспортного средства и еще невольно участвуя в окружающем интерьере, упал на каменную колонну, стоявшую на краю улицы со времен барокко, отчего бессознательно вобранная им в себя приятность творения разума вдруг пришла в противоречие с ворвавшейся извне страстностью старой ужимки, весьма похожей на окаменевшую резь в животе. Результатом этой оптической стычки было необыкновенно бурное подтверждение мыслей, от которых Ульрих только что хотел убежать. Могло ли безрассудство жизни проявиться яснее, чем то случилось благодаря этому случайному взгляду? Не беря, в зависимости от вкуса, сторону нынешнего или минувшего, как то обычно бывает при таких сопоставлениях, ум его мгновенно почувствовал, что оставлен в одиночестве и новым, и старым временем, и увидел в этом лишь великую демонстрацию проблемы в основе своей, вероятно, нравственной. Он не мог сомневаться в том, что бренность всего, в чем усматривают стиль, культуру, тенденцию времени или мироощущение и чем как таковым восхищаются, есть признак морального одряхления. Ведь в большом масштабе веков бренность эта — то же самое, что получилось бы в меньшем масштабе собственной жизни, если бы ты совершенно односторонне развивал свои способности, растрачивал себя на всякие разлагающие экстравагантности, не знал меры в своих желаниях, не достигал ни в чем цельности и, предаваясь самым разнородным страстям, делал то одно, то другое. Поэтому и то, что называют переменной или даже прогрессом времени, казалось ему лишь обозначением того факта, что ни один эксперимент не доходит дотуда, где все они должны были бы соединиться, до пути ко всеохватывающему убеждению, как предпосылке

непрерывного развития, постоянного наслаждения и той серьезности великой красоты, от которой сегодня разве что тень падает порою на жизнь.

Конечно, Ульриху показалось чудовищной наглостью предположить, что все так-таки ни к чему не пришло. И, однако же, оно было ничем. Оно было экзистенциально безмерно, но сумбурно по смыслу. Во всяком случае, если мерить по результатам, оно было не больше того, из чего образовалась душа нынешнего дня, а значит, чем-то достаточно малым. Думая так, Ульрих, однако, отдался этому «мало» с каким-то удовольствием, словно то была последняя трапеза со стола жизни, дозволенная ему его намерениями. Он сошел с трамвая и свернул в улицу, которая быстро вернула его в центр города. Ему казалось, что он дышал из подвала. Улицы визжали от удовольствия и были не по сезону полны тепла, как летним днем. Во рту исчез сладкий, ядовитый вкус разговора с самим собой, все было общительно и выставлено на солнце. Ульрих останавливался почти у каждой витрины. Эти флакончики стольких цветов, заключенные в оболочку благовония, и бесчисленные разновидности ножниц для ногтей — какая масса гения была даже в простой парикмахерской! Перчаточный магазин: какие сложности, какие изобретения, прежде чем козья кожа натягивается на дамскую руку и шкура животного становится благороднее твоей собственной. Он удивлялся обыкновенным вещам, бесчисленным изящным принадлежностям благополучия, словно видел их в первый раз. Какое очаровательное слово: принадлежности! — почувствовал он. И какое счастье — это огромное согласие совместной жизни! Здесь не видно было ни следа земной коры жизни, немощеных дорог страсти, ни следа — он прямо-таки чувствовал — нецивилизованности души! Светлым и узким пучком лучей скользило внимание по кушам фруктов, драгоценных камней, тканей, форм и соблазнов, открывавших свои вкрадчивые глаза всех цветов радуги. Поскольку тогда любили и защищали от солнца белизну кожи, над толпой уже парили там и сям пестрые зонтики, бросая шелковые тени на бледные женские лица. Глаза Ульриха восхитились даже тускло-золотым пивом, стоявшим, как он, проходя, увидел сквозь зеркальные стекла ресторана, на скатертях до того белых, что тени на них лежали синими пятнами. Потом мимо него проехал архиепископ — покойная, тяжелая карета, в темноте которой виднелось красное и фиолетовое. Это наверняка был экипаж архиепископа, ибо весь выезд — Ульрих провожал его глазами — имел вид вполне церковный и два полицейских вытянулись и отдали честь последователю Христову, не думая о своих предшественниках, ткнувших его предшественнику копьё в ребра.

Этим впечатлениям, которые Ульрих только что назвал «тщетной

актуальностью жизни», он отдавался с таким восторгом, что понемногу, по мере того как он насыщался миром, из этого вновь возникала его прежняя враждебность, Ульрих точно знал, где слабое место его рассуждений. «Что это значит, — спросил он себя, — требовать при виде этого самоупоения еще и какого-то результата, который был бы над ним, за ним или под ним?! Это должна быть, наверно, какая-то философия? Какое-то всеохватывающее убеждение, какой-то закон? Или перст божий? Или вместо него предположение, что морали до сих пор не хватало „индуктивного подхода“, что быть добрым гораздо труднее, чем думали, и что для этого нужен будет, как в любом исследовании, бесконечный совместный труд? Я полагаю, что морали нет, потому что ее нельзя вывести из чего-то неизменного, а есть лишь правила для бесполезного сохранения каких-то преходящих условий: и я полагаю, что без глубокой морали нет глубокого счастья. Но то, что я об этом задумываюсь, кажется мне неестественным, бледным, и это вообще не то, чего я хочу!» Он, на самом деле, мог бы спросить себя куда проще: «Что я взял на себя?», и он так и спросил. Но этот вопрос был больше связан с его чувствительностью, чем с его мыслями, он даже прервал их и понемногу отнял у Ульриха всегда острую радость стратегического планирования, еще до того, как был сформулирован. Сначала вопрос этот был как неотвязный глухой звук над ухом, потом этот звук звучал уже в нем самом, лишь на октаву ниже, чем все остальное, и вот наконец Ульрих слился со своим вопросом и казался себе странно глухим звуком в звонко-твердом мире, звуком с широким интервалом вокруг него. Что же он действительно взял на себя и что обещал?

Он напряг свой ум. Он знал, что не только в шутку, хотя и только для аналогии, употребил выражение «Тысячелетнее Царство». Если принять это обещание всерьез, оно сводилось к желанию жить с помощью взаимной любви в таком возвышенном мирском состоянии, когда чувствуешь и делаешь только то, что способно это состояние возвысить и сохранить. Что намеки на такое состояние человека есть, для него никогда не подлежало сомнению. Началось это «историей с майоршей», и последующий опыт был невелик, но всегда оказывался таков же. Если все это подытожить, получалось что-то вроде того, что Ульрих верил в «грехопадение» и в «первородный грех». То есть он вполне склонен был полагать, что некогда произошла коренная перемена в поведении человека, похожая чем-то на протрезвление влюбленного: тот хоть и видит тогда всю правду, но что-то большее разорвано, а правда отныне — не более, чем оставшаяся и сшитая из кусков часть. Учинило эту духовную перемену и вытолкнуло род

человеческий из первоначального состояния, вернуться в которое он мог бы лишь после бесконечных испытаний и обретя через грех мудрость, может быть, и в самом деле яблоко «познания». Ульрих верил в эти истории не в их традиционном виде, а в том, в каком открыл их для себя: он верил в них, как вычислитель, озирающий всю систему своих чувств и из того факта, что ни одно из них нельзя доказать, делая вывод о необходимости ввести некую фантастическую гипотезу, характер которой можно интуитивно определить. Это был не пустяк! Подобные мысли возникали у него уже довольно часто, но никогда еще ему не приходилось решать в считанные дни, придавать ли этому серьезное, жизненно важное значение. Он слегка вспотел под шляпой и воротничком, и близость сновавших мимо него людей возбуждала его. То, о чем он думал, означало разрыв большинства живых связей; на этот счет он не заблуждался. Ведь в наше время живешь разделенным на части и этими частями соприкасаешься с другими людьми; то, о чем мечтаешь, связано с мечтательностью как таковой и с тем, о чем мечтают другие; то, что ты делаешь, связано внутренней связью, но еще больше связано с тем, что делают другие; а то, в чем ты убежден, связано с убеждениями, от которых у тебя самого есть лишь малая доля. Значит, требование, чтобы ты действовал соответственно собственной твоей реальности, совершенно нереально. А он-то как раз всю жизнь был проникнут уверенностью, что свои убеждения надо делить, что надо иметь мужество жить среди моральных противоречий, потому что это плата за большие свершения. Был ли он хотя бы убежден в том, что он вот сейчас думал насчет возможности и смысла другого способа жить? Ни в коей мере! Тем не менее он не мог помешать своим чувствам устремиться к этому так, словно перед ними были несомненные признаки факта, которого они ждали долгие годы.

Теперь, правда, он спросил себя, по какому праву он вообще вздумал, как какой-то самовлюбленный, не делать впредь ничего безразличного для души. Это идет вразрез с принципом деятельной жизни, который сегодня носит в себе каждый, и даже если в богобоязненные времена могло развиваться такое стремление, то под набирающим силу солнцем оно развеялось, как туман. Ульрих почувствовал запах уединенности и самоуслажденности, который все больше ему претил. Поэтому он постарался поскорее сдержать свои далеко зашедшие мысли и сказал себе, хоть и не совсем искренне, что то, дивным образом данное сестре обещание Тысячелетнего Царства не означает, если взглянуть разумно, ничего, кроме какого-то доброго дела; по-видимому, жизнь с Агатой

должна была потребовать от него такой меры нежности и самоотверженности, до которой ему до сих пор было куда как далеко. Он вспомнил, как вспоминают пролетевшее по небу необыкновенно прозрачное облако, определенные минуты прошедшей их встречи, которые уже были такими. «Может быть, суть Тысячелетнего Царства просто в разрастании этой силы, поначалу проявляющейся, только когда люди оказываются вдвоем, до бурного единения всех?» — подумал он немного смущенно. Он снова призвал на помощь свою собственную историю с майоршей, припомнив ее. Отбросив вымыслы любви, незрелость которых и была причиной этого заскока, он сосредоточил все свое внимание на бережных, добрых, благоговейных чувствах, изведанных им тогда в одиночестве, и ему показалось, что испытывать доверие и приязнь или жить для другого — это волнующее до слез счастье, такое же прекрасное, как пламя зари, погружающееся в вечерний покой, и такое же, пожалуй, до слез тоскливое и умственно вялое. Ибо временами его намерение казалось ему уже и смешным, вроде решения двух старых холостяков съехаться и зажить общим домом, и по таким вздрагиваниям фантазии он чувствовал, как мало подходит идея жертвенной братской любви для того, чтобы наполнить его жизнь. Он довольно-таки беспристрастно признался себе, что к отношениям между Агатой и им с самого начала приметалась большая доля асоциального. Не только дела с Хагауэром и завещанием, но и вся эмоциональная окраска указывала на что-то резкое, и в этом братстве было, без сомнения, не больше любви друг к другу, чем желания отстраниться от остального мира. «Нет! — подумал Ульрих. — Хотеть жить для другого — это не что иное, как банкротство эгоизма, который тут же по соседству открывает новую лавку, но на сей раз с компаньоном!»

На самом деле, несмотря на это блестяще отточенное замечание, внутреннее напряжение Ульриха прошло через апогей уже в тот миг, когда он соблазнился заключить неясно наполнивший его свет в маленький земной светильничек; и когда обнаружилось, что это была ошибка, у него уже не было в мыслях намерения искать какого-либо решения, и он с готовностью отвлекся. Как раз рядом с ним столкнулись двое мужчин и поносили друг друга так, словно готовы были дать волю рукам, за чем он и наблюдал с проснувшимся интересом, а как только он отвернулся от этой сцены, взгляд его столкнулся со взглядом женщины, который был как жирный, покачивающийся на стебле цветок. В том приятном настроении, что складывается в равной мере из чувств и из направленного наружу внимания, он принял к сведению, что идеальное требование любить своего ближнего выполняется реальными людьми в два этапа: первый состоит в

том, что своих сочеловеков терпеть не можешь, а второй поправляет дело тем, что с одной их половиной вступаешь в сексуальные отношения. Не раздумывая, он тоже через несколько шагов повернул, чтобы последовать за женщиной; произошло это совсем еще машинально, как реакция на прикосновение ее взгляда. Он видел впереди ее фигуру под платьем, как большую белую рыбу у самой поверхности воды. Ему хотелось метнуть в нее гарпун, по-мужски, и увидеть, как она трепыхается, и было в этом столько же отвращения, сколько желания. По каким-то еле заметным признакам ему стало ясно, что эта женщина знает, что он крадется за ней, и одобряет это. Он попытался угадать, к какому социальному слою она принадлежит, и остановился на верхушке среднего класса, где точно определить положение трудно. «Коммерсанты? Чиновники?» — спрашивал он себя. Но произвольно возникали самые разные образы, в том числе даже аптека: он ощущал приторный запах, который принес домой муж; плотную атмосферу дома, где не видно уже ни следа того трепыханья, с каким только что вспыхнул осветивший ее воровской фонарь взломщика. Без сомнения, это было отвратительно и все-таки бесчестно-заманчиво.

И в то время как Ульрих продолжал идти следом за женщиной, на самом деле боясь, что она остановится у какой-нибудь витрины и вынудит его либо глупо проковылять дальше, либо заговорить с ней, что-то в нем все еще не отвлекалось и не утихомиривалось. «Чего, собственно, может Агата хотеть от меня?» — спросил он себя впервые. Он этого не знал. Он полагал, конечно, что это должно быть сходно с тем, чего он хотел бы от нее, но основания так думать у него были чисто эмоциональные. Как было не удивляться ему, что все вышло так быстро и неожиданно? Если не считать каких-то детских воспоминаний, он ничего не знал о ней, а то немного, что узнал, например факт ее давних уже отношений с Хагауэром, было ему скорее не по вкусу. Он вспоминал теперь и странную нерешительность, почти неохоту, с какой приближался по приезду к отцовскому дому. И вдруг в голову его закралась мысль: «Мое чувство к Агате — сплошная фантазия!» В человеке, который постоянно хочет иного, чем его окружение, — думал он теперь снова серьезно, в таком человеке, который всегда испытывает лишь неприязнь и никогда не доходит до приязни, обычная доброжелательность и тепловатая доброта человечности, наверно, легко разлагаются и распадаются на холодную твердость и парящий над ней туман безличной любви. Ангельской любовью назвал он ее однажды. Можно сказать также: любовь без партнера, подумал он. Или с таким же успехом: любовь без полового начала. Сегодня любят вообще только половой любовью: равные не выносят друг друга, а в половом союзе

любят друг друга с растущим протестом против переоценки этой необходимости. Ангельская же любовь свободна от того и другого. Это любовь, освобожденная от противоборства социальных и сексуальных неприязней. Ее, ощутимую везде бок о бок с жестокостью нынешней жизни, можно поистине назвать сестринской любовью эпохи, у которой нет места для братской любви, — сказал он себе, раздраженно поежившись.

Но хотя он под конец и пришел к такому выводу, наряду и попеременно с этим он мечтал о женщине, которой нельзя достичь никаким образом. Она маячила перед ним, как дни поздней осени в горах, когда в воздухе есть какая-то смертельная обескровленность, а краски пылают страстью. У него перед глазами были синие дали, бесконечные в своем таинственном богатстве оттенков. Он совсем забыл о женщине, которая действительно шла впереди, был далек от всяких желаний и, возможно, близок к любви.

Его отвлек только задержавшийся взгляд другой женщины, похожий на взгляд первой, но не такой дерзкий и жирный, как тот, а светски-деликатный, как пастельный мазок, и все же застревающий в памяти за какую-нибудь долю секунды. Он поднял глаза и в состоянии полного внутреннего изнеможения увидел очень красивую даму, в которой узнал Бонадею.

Великолепный день выманил ее на улицу. Ульрих посмотрел на часы: он прошагал только четверть часа, а с тех пор, как он покинул лейнсдорфовский дворец, не прошло и сорока пяти минут. Бонадея сказала: — Я сегодня занята.

Ульрих подумал: «Как же долог целый день, целый год, а тем более план на всю жизнь!» Измерить это нельзя было.

23

Бонадея, или Рецидив

Вот как случилось, что вскоре после этого Ульриха навестила его покинутая подруга. Встречи на улице не хватило для упреков, которые он хотел сделать ей по поводу злоупотребления его именем для знакомства с Диотимой, да и Бонадее та встреча не дала достаточно времени, чтобы упрекнуть его за долгое молчание и не только защититься от обвинения в бестактности и назвать Диотиму «подлой змеей», но и придумать какое-нибудь тому доказательство. Поэтому она и ее отставной друг наспех договорились встретиться еще раз.

Та, что явилась, была уже не той Бонадеей, которая, разглядывая себя в зеркале прищуренными глазами и намереваясь стать такой же чистой и благородной, как Диотима, выкручивала свои волосы до тех пор, пока они не придавали ее голове более или менее греческий вид, и не той, что в озверелые ночи бесстыдно и с женской изобретательностью кляла свой образец за такой курс отучения от неких привычек, — нет, это была снова та милая прежняя Бонадея, с кудряшками, либо падавшими на не очень умный лоб, либо, в зависимости от моды, зачесанными назад, в чьих глазах всегда что-то напоминало воздух, трепещущий над огнем. Пока Ульрих призывал ее к ответу за то, что она выдала его кухне свои отношения с ним, она неторопливо снимала перед зеркалом шляпу, а когда он пожелал выяснить точно, как много она сказала, она с удовольствием и подробно расписала, как наврала Диотиме, будто получила от него письмо, где он просил ее позаботиться о том, чтобы Моосбругера не забыли, и не могла придумать ничего лучшего, чем обратиться с этим к женщине, о чьем благородстве автор письма часто ей говорил. Затем она села на подлокотник кресла Ульриха, поцеловала его в лоб и скромно заверила его, что все ведь так и есть, за исключением письма.

Большое тепло шло от ее груди.

— А почему же тогда ты назвала мою кухню змеей? Ты сама была змеей! — сказал Ульрих.

Бонадея задумчиво перевела взгляд с него на стену.

— Право, не знаю, — ответила она. — Она так мила со мной. Она относится ко мне с таким участием!

— Что это значит? — спросил Ульрих. — Ты разделяешь ее заботы о добре, истине и красоте?

Бонадея ответила:

— Она мне объяснила, что ни одна женщина не может жить любовью в полную меру своих сил, она — так же, как я. И поэтому каждая женщина должна выполнять свой долг на том месте, которое ей определила судьба. Она ведь ужасно порядочная, — продолжала Бонадея еще задумчивее. — Она уговаривает меня быть снисходительной к моему мужу и утверждает, что женщина высоких достоинств находит великое счастье в том, чтобы справляться со своим браком. Это она ставит куда выше любой измены. Да я, собственно, и сама всегда так думала!

И это действительно была правда; ибо Бонадея никогда иначе не думала, она только всегда поступала иначе и могла поэтому согласиться с чистой совестью. Когда Ульрих сказал ей это, он заработал еще один поцелуй — на сей раз уже немного ниже лба.

— Ты-то как раз и нарушаешь мое полигамное равновесие! — сказала она с легким вздохом в оправдание противоречия, возникшего между ее мыслями и действиями.

С помощью множества дополнительных вопросов выяснилось, что она хотела сказать «полигландулярное равновесие»; это был физиологический термин, понятный тогда лишь посвященным, который можно было перевести: «равновесие соков», предполагая, что стимулирующее или тормозящее действие определенных желез на кровь влияет на характер, и в частности на темперамент, особенно на тот вид темперамента, избыток которого у Бонадеи в определенных состояниях был просто бедой для нее.

Ульрих с любопытством поднял брови.

— Значит, что-то с железами, — сказала Бонадея. — Это уже как-то успокаивает, если знаешь, что твоей вины тут нет! — Она печально улыбнулась своему потерянному любовнику. — А когда быстро выходишь из равновесия, как раз и начинаются всякие неудачные сексуальные опыты!

— Боже мой, Бонадея, — спросил удивленно Ульрих, — как ты говоришь?

— Как научилась. Ты — неудачный сексуальный опыт, говорит твоя кузина. Но она говорит также, что можно избежать разрушительных физических и психических последствий, если иметь в виду, что никакие наши поступки не есть лишь наше личное дело. Она очень добра ко мне. Насчет меня она утверждает, что личная моя ошибка состоит в том, что в любви я слишком сосредоточилась на одной частности, вместо того чтобы рассматривать любовь в целом. Понимаешь, под частностью она подразумевает то, что называет также «грубым опытом». Часто бывает очень интересно взглянуть на такие вещи в ее освещении. Но одно мне не нравится в ней: ведь хотя она и говорит, что сильная женщина ищет дело своей жизни в моногамии и должна любить ее как художник, у самой у нее трое, а с тобой, пожалуй, и четверо мужчин в резерве, а у меня теперь и одного-то нет!

Взгляд, которым она окидывала при этом своего дезертировавшего резервиста, был теплый и неуверенный. Но Ульрих не хотел замечать это.

— Вы говорите обо мне? — осведомился он догадливо.

— Ах, лишь от случая к случаю, — ответила Бонадея. — Когда твоя кузина ищет примера или в присутствии твоего друга, генерала.

— Арнгейм, наверно, тоже присутствует?!

— Он с достоинством внимает беседе благородных дам, — передразнила Арнгейма Бонадея, не лишенная способности имитировать без нажима, но тут же серьезно прибавила: — Мне вообще не нравится, как

он ведет себя с твоей кузиной. Он по большей части в отъезде. А когда он здесь, он слишком много говорит со всеми, и когда она приводит пример с госпожой фон Штерн и этой...

— Госпожой фон Штейн? — поправил ее вопросом Ульрих.

— Ну, да, конечно, я имею в виду эту Штейн. Диотима ведь то и дело о ней говорит. И вот когда она говорит об отношениях между госпожой фон Штейн и той, другой, этой Вуль... как же ее? У нее такая полунеприличная фамилия?

— Вульпиус.

— Конечно. Понимаешь, я слышу там столько иностранных слов, что уже забываю простейшие! Так вот, когда она сравнивает госпожу фон Штейн с этой, Арнгейм долго глядит на меня, словно рядом с его обожаемой я как раз и могу сойти только за такую, как ты сказал!

Тут Ульрих стал добиваться объяснения этих перемен.

Оказалось, что Бонадея, с тех пор как она объявила себя близким другом Ульриха, сделала большие успехи и в сближении с Диотимой.

Нимфомания Бонадеи, легкомысленно выданная Ульрихом с досады, произвела на его кузину огромное впечатление. Начав приглашать Бонадею на свои сборища как даму, работающую каким-то неуточняемым образом на благо людей, она несколько раз украдкой наблюдала за новенькой, и эта вторгшаяся вдруг женщина с глазами, как мягкая промокательная бумага, впитывавшими картину ее дома, была для нее не просто чем-то донельзя жутким, но и вызывала у нее в такой же мере, как ужас, женское любопытство. Сказать по правде, когда Диотима произносила слово «сифилис», у нее были такие же неясные ощущения, как когда она представляла себе поведение своей новой знакомой, и с беспокойной совестью ждала она от раза до раза какой-нибудь невозможной выходки, стыда и позора. Но Бонадее удалось смягчить это недоверие своей честолубивой повадкой, соответствовавшей особенно примерному поведению дурно воспитанных детей в обществе, которое будит в них дух нравственного соперничества. Она за этим забыла даже о своей ревности к Диотиме, и та с удивлением заметила, что ее хлопотная подопечная так же привержена к идеальному, как она сама. Ибо эта «сбившаяся с пути сестра», как о ней теперь думалось, стала уже подопечной, и вскоре Диотима обратила к ней особенно деятельный интерес, потому что ее собственное положение, как она чувствовала, заставляло ее видеть в бесчестной тайне нимфомании своего рода женский дамоклов меч, который, говорила она, может повиснуть на тонкой нитке даже над головой какой-нибудь Геновевы. «Я знаю, дитя мое, — утешающе поучала она

Бонадею, которая была почти одного с ней возраста, — нет ничего более трагичного, чем обнимать человека, если он не убедителен для тебя внутренне!» — и целовала ее в ее порочный рот, проявляя такую храбрость, какой хватило бы, чтобы прижаться губами к окровавленной и колючей бороде льва.

Положение же, в котором находилась тогда Диотима, было просто промежуточным между Арнгеймом и Туцци — горизонтальным положением, говоря образно, которому один придавал слишком большой, другой — слишком небольшой вес. Ведь по возвращении Ульрих и сам застал свою кузину с повязкой на голове и с компрессами; но эти женские боли, силу которых она интуитивно поняла как бунт ее тела против противоречивых указаний, получаемых им от души, пробудили в Диотиме ту благородную решительность, которая была ей свойственна, как только она отказывалась быть такой, как всякая другая женщина. Правда, сначала было неясно, приступать ли к этой задаче со стороны души или со стороны тела, лучше ли ввиду ее изменить отношение к Арнгейму или отношение к Туцци; но тут внешний мир пришел ей на помощь, ибо если душа с ее любовными загадками ускользала от Диотимы, как рыба, которую пытаешься удержать голыми руками, то массу практических советов ищущая страдальца нашла, к своему удивлению, в книгах, написанных в духе времени, когда впервые решилась взяться за свою судьбу с другого, физического конца, представляемого ее супругом. Она не знала, что наше время, от которого понятие любовной страсти ушло, надо полагать, потому, что принадлежит скорее религиозной сфере, чем сексуальной, — что наше время считает ребячеством обращать еще какое-то внимание на любовь, но зато направляет свои усилия на брак, все естественные процессы которого во всех разновидностях оно исследует с энергичной доскональностью. Уже тогда появилось множество книг, трактовавших с чистосердечием учителя гимнастики о «переворотах в половой жизни» и стремившихся помочь людям состоять в браке и все-таки получать удовольствие. В этих книгах мужчина и женщина именовались только «носителями мужских и женских клеток» или «сексуальными партнерами», а скуку между ними, которую надлежало прогнать всяческими умственно-физическими развлечениями, называли «сексуальной проблемой». Когда Диотима проникла в эту литературу, лоб у нее сперва наморщился, но потом разгладился, ибо тут был удар по честолобию: от нее чуть не ускользнуло новое большое движение духа времени; и наконец, увлекшись, она схватилась за лоб от удивления, что при всей своей способности наделять мир целью (хотя все еще не было ясно какой) она никогда не подозревала, что и к

изнурительным тяготам брака можно подойти с интеллектуальным превосходством. Эта возможность очень отвечала ее склонностям и открыла ей вдруг перспективу подхода к отношениям с мужем, в которых она до сих пор видела только источник страдания, как к какой-то науке или какому-то искусству.

— Зачем устремляться вдаль, если хорошее так близко? — сказала Бонадея, подтверждая это свойственным ей пристрастием к цитатам и общим местам. Ибо потом вышло так, что готовая опекать Диотима вскоре смотрела на нее как на свою ученицу в таких вопросах и обращалась с ней как с ученицей. Это происходило по педагогическому принципу «учиться, уча» и, с одной стороны, помогало Диотиме извлекать из пока еще довольно сумбурных и неясных ей самой впечатлений от ее нового чтения что-то, в чем она была твердо убеждена, благодаря той счастливой тайне «интуиции», что попадаешь в самую точку, когда говоришь наобум; с другой стороны, это было и к выгоде Бонадеи, ибо давало ей возможность оказывать то обратное влияние, без которого ученик остается бесплоден и для самого лучшего педагога: ее богатые практические знания, хотя делилась ими она весьма осторожно, служили теоретику Диотиме боязливо изучаемым источником опыта, с тех пор как супруга начальника отдела Туцци принялась с помощью книг поправлять течение своего брака.

— Подумай, я ведь наверняка далеко не так умна, как она, — объясняла Бонадея, — но порой в ее книгах встречаются вещи, о которых даже я понятия не имею, и это иногда приводит ее в такое отчаяние, что она с грустью говорит: «То-то и оно, что это нельзя решить, не выходя, так сказать, из кабинета супружеской спальни, для этого нужны, к сожалению, большой сексуальный опыт, большая сексуальная практика на живом материале!»

— Но господи, — воскликнул Ульрих, которого уже при мысли, что его целомудренная кузина ударилась в «сексуальную науку», одолевал смех, — чего же она, собственно, хочет?

Бонадея собрала свои воспоминания о счастливом соединении научных интересов эпохи с бездумной манерой выражаться.

— Речь идет о наилучшем развитии ее полового инстинкта и управлении им, — ответила она затем в духе своей учительницы. — И она держится убеждения, что путь к захватывающей и гармоничной эротике идет через жесточайшее самовоспитание.

— Вы воспитываете себя обдуманно? И притом жесточайше?! Ты говоришь просто великолепно! — воскликнул Ульрих снова. — Но будь добра, объясни мне, зачем Диотима воспитывает себя?

— В первую очередь она воспитывает, конечно, своего мужа! — поправила его Бонадея.

«Бедняга!» — невольно подумал Ульрих.

— Ну, тогда мне хотелось бы знать, — сказал он, — как она это делает. Почему ты вдруг замкнулась?

Действительно, при этих расспросах Бонадею сковывало честолюбие, как первого ученика на экзамене.

— Ее сексуальная атмосфера отравлена, — начала она осторожно. — И, чтобы спасти эту атмосферу, необходимо, чтобы Туцци и она как можно тщательнее пересмотрели свое поведение. Общих правил тут нет. Надо стараться наблюдать, как реагирует на жизнь другой. А чтобы — как следует наблюдать, нужно известное проникновение в половую жизнь. Надо уметь сравнивать практический опыт с результатами теоретического исследования, говорит Диотима. В том-то и дело, что сегодня женщина подходит к сексуальной проблеме по-новому, по-другому: она требует от мужчины не только чтобы он действовал, а чтобы действовал с верным знанием женского естества! — И, чтобы отвлечь Ульриха или потому, что это забавляло ее самое, весело прибавила: — Представь себе только, как должно подействовать это на ее мужа, который не имеет ни малейшего понятия об этих вещах и узнает о них главным образом при раздевании в спальне, когда Диотима, скажем, ищет шпильки в полураспущенных волосах, зажав коленями юбки, и вдруг начинает говорить об этом. Я проверила это на своем муже, его чуть удар не хватил. Одно, значит, можно признать: если уж должен быть «постоянный брак», то у него есть хотя бы то преимущество, что он извлекает из партнера все его эротическое содержание. Это-то Диотима и старается сделать с Туцци, который чуточку грубоват.

— Тяжелые времена настали для ваших мужей! — поддразнил ее Ульрих.

Бонадея засмеялась, и по ее смеху он понял, как рада была бы она уйти иногда от гнетущей серьезности своей школы любви.

Но исследовательский пыл Ульриха не унимался; он почувствовал, что его изменившаяся подруга умалчивает о чем-то, о чем она, в сущности, куда охотней поговорила бы. Он фамильярно возразил, что, по слухам, недостаток обоих вовлеченных в беду супругов состоял ведь скорее в слишком большом «эротическом содержании».

— Ах, ты всегда только об этом и думаешь! — упрекнула его Бонадея, сопроводив свои слова взглядом, длинное острие которого кончалось крючком, что вполне можно было истолковать как сожаление по поводу

обретенной ею невинности. — Ты ведь тоже злоупотребляешь физиологическим слабоумием женщины!

— Чем я злоупотребляю? Да ты же нашла великолепное выражение для истории нашей любви!

Бонадея дала ему легкую пощечину и стала поправлять перед зеркалом свои волосы нервными пальцами. Глядя на него из зеркала, она сказала:

— Это из одной книги!

— Конечно. Из очень известной.

— Но Диотима считает, что это не так. Она нашла что-то в другой книге, которая называется «Физиологическая неполноценность мужчины». Эту книгу написала женщина. По-твоему, это действительно играет такую большую роль?

— Я не знаю, о чем идет речь, и ничего не могу ответить!

— Ну, так слушай! Диотима исходит из открытия, которое она называет «постоянной готовностью женщины к сексуальному наслаждению». Ты можешь представить себе под этим что-нибудь?

— В случае Диотимы — нет!

— Не будь таким грубым! — укорила Ульриха его подруга. — Эта теория очень деликатна, и я должна постараться объяснить ее тебе так, чтобы ты не сделал неправильных выводов из того обстоятельства, что при этом я нахожусь наедине с тобой в твоём доме. Ну, так вот, эта теория основана на том, что женщину можно любить даже тогда, когда она не хочет. Понял теперь?

— Да.

— К сожалению, отрицать это нельзя. Мужчина же, по этой теории, очень часто не может любить, даже если и хочет. Диотима говорит, что это научно доказано. Ты в это веришь?

— Говорят, так бывает.

— Не знаю, — усомнилась Бонадея. — Но Диотима говорит, что если взглянуть на это научно, то тут все само собой разумеется. В то время как женщина постоянно готова к сексуальным наслаждениям, мужчина, ну, словом, самая мужская часть мужчины, очень легко дает себя запугать.

Ее лицо было бронзовым, когда она теперь отвернула его от зеркала.

— Мне удивительно слышать это о Туцци, — сказал Ульрих, пытаясь отвлечь ее.

— Я тоже не думаю, что так оно было и раньше, — сказала Бонадея. — Так вышло потом, для дополнительного подтверждения этой теории, потому что Диотима твердит ему ее изо дня в день. Она называет ее теорией «фиаско». Поскольку носитель мужских клеток так

предрасположен к этому «фиаско», сексуально уверенным он чувствует себя только там, где ему нечего опасаться какого бы то ни было духовного превосходства женщины, и поэтому мужчины почти никогда не отваживаются иметь дело с женщиной, по-человечески равной им. Во всяком случае они сразу пытаются подавить ее. Диотима говорит, что лейтмотив всей мужской эротики, а особенно мужской заносчивости, — страх. Большие люди показывают его — тут она имеет в виду Арнгейма. Маленькие прячут его за грубым физическим натиском и глумятся над духовной жизнью женщины — тут я имею в виду тебя! А она — своего Туцци. Это известное «Сейчас или никогда!», которым вы так часто приводите нас к падению, есть лишь вид сверхкомп...

Она хотела сказать «компресса». «Компенсации», — помог ей Ульрих.

— Да. Этим вы избавляетесь от мысли о своей физической неполноценности!

— Что же вы решили сделать? — спросил Ульрих кротко.

— Надо стараться быть любезными с мужчинами! Поэтому я к тебе и пришла. Посмотрим, как ты это воспримешь?!

— А Диотима?

— Господи, какое тебе дело до Диотимы! У Арнгейма глаза на лоб лезут, когда она ему говорит, что, к сожалению, мужчины высокого ума находят полное удовлетворение, кажется, только у неполноценных женщин, а у женщин одного с ними духовного уровня терпят неудачу, что научно доказано благодаря этой госпоже фон Штейн и этой Вульпиус (видишь, теперь ее фамилия уже не вызывает у меня затруднений. А что она была известной сексуальной партнершей стареющего олимпийца, это я, конечно, всегда знала!).

Ульрих еще раз попытался перевести разговор на Туцци, чтобы отвлечь его от себя. Бонадея засмеялась; она понимала плачевное положение этого дипломата, который ей нравился как мужчина, и, чувствуя себя сообщницей Диотимы, злорадствовала по поводу того, что ему приходилось страдать под розгами души. Она рассказала, что в обращении со своим супругом Диотима исходит из того, что должна освободить его от страха перед ней и что благодаря этому она немного примирилась и с его «сексуальной грубостью». Она, продолжала Бонадея, признает, что видит великую свою ошибку в том, что ее собственное значение оказалось слишком большим для наивной потребности в превосходстве, свойственной как мужчине ее партнеру по браку, и старается смягчить это, скрывая теперь свое духовное превосходство за приспособленчеством эротического кокетства.

Ульрих с живым интересом спросил, что она подразумевает под этим. Бонадея впиалась в его лицо серьезным взглядом.

— Например, она говорит ему: «Нам до сих пор портило жизнь соперничество, мы не можем решить, кто из нас важнее». А потом соглашается с ним, что отравляющее действие мужского самоутверждения сказывается и на всей общественной жизни...

— Но тут ведь нет ни кокетства, ни эротики?! — возразил Ульрих.

— Нет, есть! Ведь ты должен иметь в виду, что мужчина, если он действительно страстный, обращается с женщиной как палач с жертвой. Это входит в самоутверждение, как это теперь называют. А с другой стороны, ты не станешь отрицать, что и для женщины половой инстинкт важен?!

— Конечно, не стану!

— Хорошо. Но чтобы половая близость была приятна, необходимо равенство. Если хочешь извлечь из партнера успешное объятие, надо признать его равноправным, а не смотреть на него только как на безвольный придаток к себе самому, — продолжала она, сбившись на язык своей наставницы, подобно тому, как на скользкой поверхности невольно и со страхом подчиняешься инерции собственного движения. — Ведь если уж никакие другие человеческие отношения не терпят постоянного угнетения и угнетенности, то половые и вовсе!..

— Ого! — возразил Ульрих.

Бонадея сжала его предплечье, и глаза ее сверкнули, как падающая звезда.

— Молчи! — выпалила она. — Вам всем не хватает самостоятельно добытого знания женской психики! И если ты хочешь, чтобы я продолжала рассказывать тебе о твоей кухне... — Но тут она дошла до предела своих сил, и теперь глаза ее сверкали, как у тигрицы, мимо клетки которой проносят мясо. — Нет, я сама не могу это больше слышать! — воскликнула она.

— Она действительно так говорит? — спросил Ульрих. — Она действительно сказала это?

— Да каждый день я только и слышу: сексуальная практика, успешное объятие, животрепещущие вопросы любви, железы, секреция, подавленные желания, эротическая тренировка и регулирование полового инстинкта! Вероятно, у каждого та сексуальность, какой он заслуживает, во всяком случае так утверждает твоя кухня, но неужели я заслуживаю непременно такой высокой?!

Ее взгляд задержал взгляд Ульриха.

— Думаю, что нет, — медленно сказал он.

— Ведь можно, в конце концов, и сказать, что моя большая отзывчивость указывает на особые физиологические достоинства? — спросила Бонадея со счастливо-двусмысленным смешком.

Ответа так и не последовало. Когда спустя довольно долгое время Ульрих почувствовал в себе какое-то сопротивление, через щели в занавесках светился живой день, и стоило взглянуть туда, как затемненная комната стала похожа на склеп чувства, которое до неузнаваемости высохло. Бонадея лежала с закрытыми глазами, не подавая никаких признаков жизни. Ощущения, доставляемые ей теперь ее телом, были довольно сходны с ощущениями ребенка, чье упрямство сломлено поркой. Каждая пядь ее тела, совершенно сытого и разбитого, жаждала нежности нравственного прощения. С чьей стороны? Безусловно, не со стороны мужчины, в чьей постели она лежала и которого недавно молила убить ее, потому что ее похоть нельзя было сломить никаким повторением и усилением. Она держала глаза закрытыми, чтобы не видеть его. Просто на пробу она думала: «Я лежу в его постели!» Это я «Я не дам больше изгнать себя отсюда!» кричала она недавно мысленно; теперь это просто выражало ситуацию, из которой нельзя было выйти без каких-то еще предстоявших ей неприятных моментов. Бонадея вяло и медленно вернула свои мысли туда, где они оборвались.

Она подумала о Диотиме. Постепенно всплывали в памяти слова, целые фразы и отрывки фраз, но главным образом лишь чувство удовлетворенности своим присутствием, когда в каскаде речей журчали, проносясь мимо ее ушей, такие непонятные и незапоминающиеся слова, как гормоны, миндалины, хромосомы, зиготы или внутренняя секреция. Ибо целомудрие ее наставницы не признавало никаких границ, как только они смазывались научным освещением. Диотима была способна сказать во всеуслышание: «Половая жизнь — это не ремесло, которому можно научиться, она должна всегда оставаться для нас высочайшим искусством, которое нам дано постичь в жизни!», — но так же не чувствовать в этом ничего ненаучного, как когда, увлекаясь, говорила о «стимуляции» или о «поворотном пункте». А такие выражения ее ученица вспоминала сейчас со всей точностью. Критический разбор объятия, уяснение его физического аспекта, эрогенные зоны, путь к высшему удовлетворению женщины, дисциплинированные, внимательные к своей партнерше мужчины...

Какой-нибудь час назад Бонадея чувствовала себя подло обманутой этими научными, интеллектуальными и высокоблагородными терминами, которыми она обычно восхищалась. Что эти слова важны не только для

науки, но и для чувства, она, к своему удивлению, поняла только тогда, когда с их игнорируемой эмоциональной стороны уже ударило пламя. Тут она возненавидела Диотиму. «Говорить о таких вещах так, что всякая радость от них пропадает!» — подумала она, и в порыве мстительных чувств ей показалось, что Диотима, располагая сама четырьмя мужчинами, ничего ей не позволяет и таким образом обманывает ее. Да, просвещение, с помощью которого сексология кладет конец темным проделкам пола, Бонадея в самом деле сочла кознями Диотимы. Сейчас она так же не понимала этого, как своей страстной тоски по Ульриху. Она попыталась представить себе те мгновения, когда все ее мысли и чувства разбушевались. Так же не может, наверно, понять себя человек, истекающий кровью, когда вспоминает свое нетерпение, заставившее его сорвать защитную повязку! Бонадея подумала о графе Лейнсдорфе, который назвал брак высоким служением и сравнил трактующие о нем книги Диотимы с рационализацией службы; она подумала об Арнгейме, который был мультимиллионером и назвал возрождение супружеской верности, ее оживление идеей тела подлинным велением времени; и о многих других знаменитых мужчинах, с которыми она познакомилась за это время, подумала Бонадея, даже не вспомнив, короткие у них или длинные ноги, жирны ли они или тощи: она видела в них лишь сияющее понятие знаменитости, которое дополнялось неопределенной физической массой подобно тому, как нежной тушке жареного молодого голубя дает содержание и полноту плотная овощная начинка. Вспоминая все это, Бонадея клялась себе, что никогда больше не поддастся этим внезапным бурям, сшибающим высокое с низким, и клялась так истово, что духовным взором, без всякой физической определенности, уже видела себя, если только будет строго держаться своего решения, возлюбленной тончайшего из всех мужчин, которого она выберет себе среди поклонников своей великой подруги. Но поскольку пока нельзя было отрицать, что она, притом еще весьма не одетая, лежала в постели Ульриха, не желая открыть глаза, это содержательное чувство искреннего раскаянья не получило дальнейшего, сулившего утешение развития, а вместо этого перешло в какую-то жалкую раздраженность и злость.

Страсть, из-за которой жизнь Бонадеи делилась на такие противоположности, коренилась не в чувственности, а в честолюбии. Об этом размышлял Ульрих, который хорошо знал свою приятельницу; он молчал, чтобы не вызвать ее упреков, и рассматривал ее прятавшее от него взгляд лицо. Первичная форма всех ее желаний представлялась ему желанием почестей, которое пошло не по тем каналам, даже буквально не

по тем нервным каналам. Да и почему в самом деле не могло социальное честолюбие побития рекордов, обычно торжествующее, если выпито наибольшее количество пива или повешены на шею самые большие драгоценные камни, — почему не могло оно когда-нибудь проявиться и так, как у Бонадеи, в нимфомании?! Форму эту она сейчас, когда все уже произошло, с раскаянием отвергла, это было ему ясно, и он прекрасно понимал, что именно старательная неестественность Диотимы должна была ей, всегда терзаемой дьяволом, импонировать, казаться райской. Он смотрел на ее глазные яблоки, которые, отбушевав, тяжело лежали в своих впадинах; он видел перед собой смуглый, решительно вздернутый нос и в нем красные, заостренные ноздри; он несколько смущенно разглядывал разные линии этого тела — ту, где на прямом корсете ребер лежала круглая, большая грудь; ту, где из луковицы бедер вырастала ложбина спины; линию острых, твердых клавиш ногтей над мягкими кончиками пальцев. И когда он наконец долго и с отвращением рассматривал волоски, торчавшие из лежавших перед его глазами ноздрей его любовницы, им тоже овладело воспоминание о том, каким соблазном для его желаний был недавно этот же человек. Оживленно-двусмысленная улыбка, с какой Бонадея явилась для «объяснения», естественность, с какой она отметала все упреки или сообщала что-нибудь новое об Арнгейме, почти даже остроумная на этот раз точность ее наблюдений... Она действительно изменилась к лучшему, казалась более независимой, влекущие вверх и влекущие вниз силы пришли в ней в более свободное равновесие, и это отсутствие нравственной тяжести благотворно освежило очень страдавшего последнее время от собственной серьезности Ульриха; даже сейчас еще он способен был почувствовать, с каким удовольствием слушал ее тогда и наблюдал за игрой ее лица, которая была как солнце и волны. И вдруг, в то время как взгляд его покоился на помрачневшем теперь лице Бонадеи, его осенило, что, собственно, только серьезные люди могут быть злыми. «Веселых людей, — подумал он, — можно просто считать застрахованными от этого. Так же, как злодей всегда поет басом!» Каким-то жутковатым образом это касалось и его самого, — что глубокое и мрачное связаны; ведь несомненно, что всякая вина уменьшается, если веселый человек провинился по своей «легкости», но, с другой стороны, возможно, что это относится только к любви, где тяжелые на подъем соблазнитель приносят куда более разрушительные и непростительные беды, чем легкомысленные, даже если они делают совершенно одно и то же. Так размышлял он и был не просто разочарован тем, что легко начавшийся час любви кончался грустью, но и неожиданно воодушевлен.

За всем этим он как-то незаметно для себя забыл теперешнюю Бонадею; повернувшись к ней в задумчивости спиной и подперев рукой голову, он глядел куда-то сквозь стены на предметы далекие, когда полное его молчание побудило ее открыть наконец глаза. В этот миг он, ничего не подозревая, думал о том, как однажды прервал поездку и не доехал до цели, потому что прозрачный день, по-своднически таинственно обнажавший окрестности, соблазнил его уйти с вокзала на прогулку, а с началом ночи покинул его в каком-то местечке, где он, без вещей, оказался после нескольких часов ходьбы. Он и вообще мнил, что ему всегда было свойственно уходить куда-нибудь на неопределенный срок и никогда не возвращаться тем же путем; и тут вдруг одно очень далекое воспоминание, лежавшее на той ступени детства, куда он обычно не добирался, пролило свет на его жизнь. Сквозь щелку неизмеримо короткого времени он, показалось ему, снова почувствовал то таинственное желание, что тянет ребенка к предмету, который он видит, чтобы потрогать его или даже сунуть себе в рот, на чем и кончается, как бы зайдя в тупик, волшебство; не дольше, наверно, казалось ему, что в точности такова же, не лучше, не хуже, и та тяга взрослых, что влечет их во всякую даль, чтобы сделать ее близкой, тяга, которая владела им самим и, судя по своей лишь замаскированной любопытством бессодержательности, явно была какой-то необходимостью; и третьей, наконец, разновидностью этой же схемы был тот нетерпеливый и разочаровывающий эпизод, в который, хотя они оба не желали того, вылилась эта встреча с Бонадеей после разлуки. Это лежание рядом в постели показалось ему теперь в высшей степени инфантильным. «Но что же значит тогда противоположное — эта недвижная, воздушно-тихая любовь к дальнему, такая же бесплотная, как день ранней осени? — спросил он себя. — Тоже, наверно, лишь видоизмененная детская игра», — подумал он с сомнением и вспомнил цветные картинки, изображавшие животных, картинки, которые он в детстве любил блаженнее, чем сегодня свою приятельницу. Но Бонадея уже достаточно насмотрелась на его спину, чтобы измерить этим свое несчастье, и сказала ему:

— Ты был виноват!

Ульрих с улыбкой повернулся к ней и ответил, не думая:

— Через несколько дней приедет моя сестра и будет жить у меня — я уже тебе говорил? Тогда мы вряд ли сможем видеться.

— На какой срок? — спросила Бонадея.

— Надолго, — ответил Ульрих и улыбнулся опять.

— Ну и что? — сказала Бонадея. — Почему это должно мешать? Не станешь же ты уверять меня, что сестра не позволит тебе иметь

любовницу!

— Именно в этом я и хочу уверить тебя, — сказал Ульрих.

Бонадея засмеялась.

— Я пришла к тебе сегодня вполне невинно, а ты даже не дал мне рассказать все до конца! — упрекнула она его.

— Моя природа устроена как машина, непрестанно обесценивающая жизнь! Я хочу стать другим! — ответил Ульрих. Она этого никак не могла понять, но она упрямо вспомнила сейчас, что любит Ульриха. Она вдруг перестала быть мечущимся призраком своих нервов, обрела какую-то убедительную естественность и просто сказала:

— Ты закрутил с ней роман!

Ульрих отчитал ее за это; серьезнее, чем хотел.

— Я решил долго не любить ни одной женщины иначе, чем как если бы она была мне сестрой, — заявил он и замолчал.

Своей долготой это молчание произвело на Бонадею впечатление большей решительности, чем то, может быть, соответствовало бы его содержанию.

— Да ты же извращенец! — воскликнула она вдруг тоном предостерегающего пророчества и вскочила с постели, чтобы поскорее вернуться к Диотиме, в ее академию любовных премудростей, врата которой были без всяких подозрений открыты кающейся и освеженной.

24

Агата действительно здесь

Вечером этого дня прибыла телеграмма, а во второй половине следующего — Агата.

Сестра Ульриха приехала всего с несколькими чемоданами — согласно своему желанию оставить все позади; тем не менее число этих чемоданов не вполне соответствовало принципу «Брось все, что у тебя есть, в огонь — вплоть до башмаков». Узнав об этом намерении, Ульрих рассмеялся: даже две картонки для шляп спаслись от огня.

На лбу Агаты появилось прелестное выражение обиды и тщетных раздумий о ней.

Прав ли был Ульрих, когда придрался к такому несовершенному выражению чувства, которое было большим и захватывающим, осталось неясно, ибо Агата этот вопрос обошла молчанием; радость и смятение, невольно вызванные ее приездом, шумели у нее в ушах и мелькали в

глазах, как танец под духовой оркестр; она была очень весела и чувствовала себя слегка разочарованной, хотя не ждала ничего лучшего и даже нарочно воздерживалась во время поездки от каких бы то ни было ожиданий. Она только вдруг очень устала, когда вспомнила минувшую ночь, которую провела без сна. Она обрадовалась, когда Ульрих вскоре признался, что уже не смог, получив от нее телеграмму, отменить одно назначенное на сегодня свидание; он пообещал вернуться через час и до смешного церемонно устроил сестру на диване, стоявшем в его кабинете.

Когда Агата проснулась, час этот давно истек, а Ульрих отсутствовал. Комната была погружена в густой сумрак и показалась ей до того чужой, что она испугалась при мысли, что вот она и вступила в долгожданную новую жизнь. Насколько она могла различить, стены были покрыты книгами, как прежде отцовские, а столы — бумагами. Она с любопытством отворила дверь и вошла в соседнюю комнату. Там она увидела платяные шкафы, комоды для обуви, боксерскую грушу, гантели, шведскую лестницу.

Она пошла дальше и снова пришла к книгам. Она дошла до одеколонов, эссенций, щеток и гребенок ванной, до кровати брата, до охотничьего украшения в передней. След ее обозначался вспыхивавшим и гаснувшим светом, но по воле случая Ульрих ничего этого не заметил, хотя и был уже дома; он решил не будить ее, чтобы дать ей подольше отдохнуть, и теперь столкнулся с ней на лестничной площадке, поднимаясь из находившейся в подвале кухни, которой вообще-то мало пользовались. Он искал там какого-нибудь подкрепления для нее, ибо из-за его непредусмотрительности в доме в этот день не оказалось и самой необходимой прислуги. Когда они стояли рядом, Агата почувствовала, как суммируются ее беспорядочные дотоле впечатления, и это было так неприятно и нагоняло такое уныние, что хотелось сразу же дать тягу. Была в этом доме какая-то безличная, возникшая при полном равнодушии нагроможденность, которая испугала ее.

Ульрих, заметив это, извинился и пустился в шутливые объяснения. Он рассказал, как сложилось его жилье, и коснулся отдельных деталей его истории, начиная с оленьих рогов, которые он приобрел, вовсе не будучи охотником, и кончая боксерской грушей, которую он заставил поплясать перед Агатой. Агата еще раз осматривала все это с внушавшей тревогу серьезностью и даже каждый раз испытующе оглядывалась, когда они выходили из одной комнаты в другую. Ульрих хотел восхититься этим экзаменом, но по мере того как он продолжался, его жилье становилось ему неприятно. Обнаружилось то, что обычно скрывала привычка, а именно — что он жил лишь в действительно нужных комнатах, а остальные были как

бы бесполезным придатком к ним. Когда они сели после обхода, Агата спросила:

— Зачем же ты это сделал, если это тебе не нравится?

Брат угощал ее чаем и всем, что было в доме, стараясь хотя бы с опозданием показать себя гостеприимным хозяином, чтобы заботливостью о насущном эта вторая встреча не уступала первой. Бегаая взад и вперед, он уверял ее:

— Я все устроил кое-как, неверно, и со мной тут нет ничего общего.

— Да нет же, все очень славно, — утешила его теперь Агата.

Тогда Ульрих нашел, что, поступи он иначе, вышло бы, наверно, еще хуже.

— Терпеть не могу жилищ, сделанных по душевной мерке, — заявил он. — Мне казалось бы, что я заказал у декоратора самого себя!

И Агата сказала:

— Я тоже боюсь таких домов.

— Но так все же оставить нельзя, — поправился Ульрих. Он сидел сейчас рядом с ней за столом, и одно то, что теперь им всегда придется есть вместе, уже поднимало кучу вопросов. Он, в сущности был поражен, поняв, что теперь действительно многое должно измениться; он смотрел на это как на невиданное свершение, которого от него ждут, и был поначалу, как новичок, полон усердия.

— Когда человек один, — ответил он на снисходительную готовность сестры оставить все как есть, — у него может быть слабость: она входит в остальные его свойства и в них исчезает. Но если какую-то слабость разделяют двое, то по сравнению со свойствами, которых они не разделяют, она приобретает двойной вес и приближается к некоему нарочитому кредо.

Агата не согласилась с этим.

— Другими словами, как брату с сестрой, нам нельзя делать многого, что мы позволяли себе делать порознь. Но ведь потому-то мы и объединились.

Это Агате понравилось. Однако негативная формулировка, — что объединились они только для того, чтобы чего-то не делать, — не удовлетворила ее, а через несколько мгновений она спросила, возвращаясь к его накупленной у первоклассных поставщиков мебели:

— Мне это все-таки еще не совсем понятно: зачем, собственно, ты устраивался так, если не считал это правильным?

Ульрих встретил ее веселый взгляд, глядя при этом на ее лицо, показавшееся ему вдруг — над несколько измятым дорожным платьем, которое еще было на ней, — серебряно-гладким и таким на диво реальным,

что оно было столь же близко от него, сколь далеко или что близость и дальность сходили на нет в этой реальности, подобно тому как луна появляется вдруг из небесных далей за крышей соседа.

— Зачем я это сделал? — ответил он, улыбаясь. — Не помню уже. Наверно, потому, что с таким же успехом можно было сделать и по-другому. Я не чувствовал ответственности. У меня было бы меньше надежды объяснить тебе, что безответственность, в которой мы сегодня проводим свою жизнь, могла бы уже быть ступенькой к новой ответственности.

— Каким образом?

— Ах, на разные лады. Ты же знаешь: жизнь отдельного лица есть, может быть, лишь маленькое отклонение в ту или иную сторону от наиболее вероятной средней величины данного ряда. И так далее.

Агата слышала из этого только то, что было ей ясно. Она сказала:

— Отсюда и выходит «довольно славно» и «очень славно». Вскоре уже и не чувствуешь, как мерзко живешь. Но иногда жуть берет, словно, очнувшись от летаргического сна, видишь, что лежишь в морге!

— А как был обставлен твой дом? — спросил Ульрих.

— По-мещански. По-хагауэровски. «Славненько». Так же фальшиво, как твой!

Ульрих тем временем взял карандаш и набросал им на скатерти план дома и новое распределение комнат. Это было сделано легко и так быстро, что рачительная попытка Агаты заслонить рукой скатерть запоздала и кончилась тем, что ее рука без пользы легла на его руку. Трудности снова возникли только при определении принципов переустройства.

— У нас есть дом, — доказывал Ульрих, — и мы должны переустроить его для нас обоих. Но в целом это сегодня устарелый и праздный вопрос. «Создать дом» значит инсценировать показную сторону, за которой ничего больше нет. Социальные и личные обстоятельства уже недостаточно прочны для домов, никому уже не доставляет искреннего удовольствия создавать картину устойчивости и постоянства. Раньше это делали и числом комнат, слуг и гостей показывали, кто есть кто. Сегодня почти все чувствуют, что бесформенная жизнь — единственная форма, которая соответствует многообразным целям и возможностям, наполняющим жизнь, и молодые люди либо любят голую простоту, напоминающую сцену без декораций, либо мечтают о коврах и состязаниях по бобслею, о чемпионатах по теннису и роскошных отелях у автострады с видом на залив и плавной музыкой в комнатах, которую можно сделать громче и тише.

Так говорил он, говорил тоном светской беседы, словно перед ним была чужая; говоря, он, в сущности, старался выбраться на поверхность, потому что в этом пребывании вдвоем его смущало соединение окончательности с началом.

Но, дав ему договорить до конца, сестра спросила:

— Ты, значит, предлагаешь, чтобы мы жили в отелях?

— Конечно, нет! — поспешил заверить ее Ульрих. — Разве что иногда при поездках.

— А на остальное время мы построим себе шалаш на каком-нибудь острове или хижину где-нибудь в горах?

— Конечно, мы будем жить здесь, — ответил Ульрих серьезнее, чем то подобало этому разговору. Беседа заглохла, он встал и принялся расхаживать по комнате. Агата сделала вид, что поправляет что-то в обшивке платья, и наклонила голову ниже линии, на которой до тех пор встречались их взгляды. Вдруг Ульрих остановился и сказал сдавленным, но искренним голосом:

— Дорогая Агата, есть круг вопросов с очень большим периметром, но без центра. И все эти вопросы сводятся к одному: как мне жить?

Агата тоже поднялась, но все еще не смотрела на него. Она пожала плечами.

— Надо попробовать! — сказала она. Кровь прилила у нее ко лбу; но когда она подняла голову, глаза ее задорно сияли и только на щеках задержался румянец, как уходящее облачко. — Если мы собираемся остаться вместе, объяснила она, — ты должен прежде всего помочь мне распаковать вещи, разложить их по местам и переодеться, ибо я нигде не видела горничной!

Нечистая совесть снова ударила ее брату в руки и ноги, гальванизовав их, чтобы под руководством и с помощью Агаты загладить его невнимательность. Он опростал шкафы, как охотник потрошит дичь, и покинул свою спальню с клятвой, что она принадлежит Агате, а он уж найдет себе какой-нибудь диван. Он оживленно переносил предметы обихода, которые тихо, как цветы на клумбах, жили дотоле на своих местах, ожидая единственной перемены в своей судьбе от выбора хозяйской руки. Костюмы кучами лежали на стульях, на стеклянных полках ванной, после того как там были тщательно сдвинуты все принадлежности ухода за телом, образовались мужское и дамское отделения; когда весь порядок был более или менее превращен в беспорядок, забытыми на старом месте остались только блестящие кожаные туфли Ульриха, походившие сейчас на обиженную болонку, которую выбросили из ее

корзиночки, — горестный символ разрушенного комфорта с его столь же приятной, сколь и ничтожной природой. Но было некогда предаваться сантиментам по этому поводу, ибо уже подошла очередь чемоданов Агаты, и хотя на вид их было немного, в них оказалось неисчерпаемое множество тонко сложенных вещей, которые, выходя на свет, расстилались и расцветали на воздухе, как сотни роз, извлекаемых фокусником из своей шляпы. Их надо было развесить и разложить, вытрясти и сложить стопками, и, поскольку Ульрих помогал, дело шло со всяческими заминками и смехом.

Но за всем этим он, в сущности, не мог думать ни о чем, кроме одного и того же без перерыва — что он всю свою жизнь и даже еще несколько часов назад был один. И вот здесь Агата. Эта маленькая фраза «Агата теперь здесь» повторялась волнообразно, напоминала удивление мальчика, которому подарили игрушку, несла в себе что-то сковывавшее ум, но, с другой стороны, и прямо-таки непонятную полноту реальности и приводила в итоге назад к маленькой фразе: «Агата теперь здесь». «Она, значит, высокая и тонкая?» — думал Ульрих, украдкой наблюдая за ней. Но она совсем не была такой: она была меньше ростом, чем он, и плечи у нее были здоровой ширины. «Миловидна ли она?» — спрашивал он себя. Но и это тоже нельзя было сказать: ее гордый нос, например, был, если смотреть сбоку, немного вздернут; тут таилось куда более сильное обаяние, чем миловидность. «Красива ли она, в сущности?» — как-то странно спросил себя Ульрих. Ибо вопрос дался ему нелегко, хотя Агата, если отбросить всякие условности, была для него чужой женщиной. Ведь внутреннего запрета на то, чтобы смотреть на кровную родственницу с мужской любовью, не существует, это только обычай или может быть обосновано окольными путями морали и гигиены; да и то, что они не вместе воспитывались, помешало возникновению между Ульрихом и Агатой тех стерилизованных братско-сестринских отношений, какие царят в европейской семье; однако достаточно было и просто родства, чтобы поначалу лишить их ощущение друг друга, даже такое невинное, как всего только мысль о красоте другого, крайней остроты, отсутствие которой Ульрих почувствовал в этот миг по явному своему смущению. Ведь найти что-либо красивым значит, наверно, прежде всего найти это: будь то местность или возлюбленная — вот они перед нашедшим, они льстят ему, глядят на него, и кажется, что они только его и ждали; и хотя вот так, с этим восторгом от того, что она теперь принадлежит ему и хочет, чтобы он открыл ее, сестра понравилась ему безмерно, он все-таки подумал: «Найти собственную сестру красивой по-настоящему нельзя, может разве только

быть лестно, что она другим нравится». Но потом там, где прежде была тишина, он несколько минут слышал ее голос, а каков был ее голос? Волны аромата сопровождали движение ее платьев, а каков был этот аромат? Ее движения были то коленом, то нежным пальцем, то непокорностью локона. Единственное, что можно было сказать об этом, было: это — здесь. Это было здесь, где раньше ничего не было. Разница в проникновенности между самым живым мгновением, когда Ульрих думал об оставленной сестре, и самым пустым из мгновений теперешних была полна такой же большой и явственной прелести, как когда солнце наполняет тенистое место теплом и ароматом расцветающих трав!

Агата заметила, что брат наблюдает за ней, но не подала виду. В минуты молчания, чувствуя, как его взгляд следит за ее движениями, когда реплики не столько прекращались, сколько, казалось, скользили, как машина с выключенным мотором, над какой-нибудь глубокой и опасной зоной, она тоже наслаждалась сверхреальностью и спокойной проникновенностью, связанной с этим воссоединением. А когда вещи были распакованы и убраны и Агата удалилась в ванную, вышло приключение, готовое ворваться в эту мирную картину, как волк. Она разделась до белья в комнате, где теперь Ульрих, куря, караулил ее имущество. Плескаясь в воде, она думала, как ей поступить. Прислуги не было, звонить было так же бессмысленно, как звать кого-нибудь, и ничего, кажется, не оставалось, как завернуться в висевший на стене купальный халат Ульриха, постучать в дверь и выслать его из комнаты. Но Агата весело усомнилась в том, что при этой серьезной интимности, еще, правда, не установившейся, но уже только что родившейся между ними, позволительно вести себя как молодая дама и просить Ульриха выйти, и решила не признавать никакой двусмысленной женственности и предстать перед ним естественным товарищем, каким она должна была быть для него и полуодетой.

Но когда она решительно вошла в комнату, оба почувствовали неожиданное сердцебиение. Они оба старались не смутиться. Несколько мгновений оба не могли отбросить естественную непоследовательность, которая разрешает на берегу моря почти полную наготу, а в комнате делает кайму рубашки или штанишек контрабандистской тропой романтики. Ульрих неловко улыбнулся, когда Агата, на фоне освещенной передней, показалась в дверях как слегка окутанная дымкой батиста серебристая статуя; и слишком твердым от неловкости голосом потребовала она чулки и платье, которые, однако, оказались в следующей комнате. Ульрих повел сестру туда, и она, к тайному его восторгу, шагала очень уж по-мальчишески, сама наслаждаясь этим с каким-то упрямством, которое

склонны напускать на себя женщины, когда не чувствуют себя под защитой своих юбок. Затем опять произошло нечто новое, ибо немного позднее Агата, наполовину надев платье, наполовину застряв в нем, позвала Ульриха на помощь. Когда он возился с застежками у нее на спине, она без сестринской ревности, даже с каким-то удовольствием — отметила, что он превосходно разбирается в женских одеждах, и сама двигалась непринужденно, как того требовала природа производимой операции.

Склонившись над трепетной и все-таки плотной кожей ее плеч и внимательно, с покрасневшим лбом, делая непривычное дело, Ульрих испытывал какое-то приятное, не поддающееся определению чувство, о котором можно было разве лишь сказать, что тело его было равно взволнованно тем, что рядом с ним женщина, и тем, что никакой женщины рядом с ним нет; впрочем, с таким же правом можно было сказать, что, не сомневаясь в том, что он твердо стоит на обеих ногах, Ульрих в то же время чувствовал, как он вытягивается из самого себя, словно ему сейчас было дано еще и второе, куда более красивое тело.

Снова выпрямившись, он поэтому первым делом сказал сестре:

— Я знаю, кто ты: ты мое себялюбие — Прозвучало это странно, но он описал действительно то, что его волновало. — В известном смысле мне всегда не хватало настоящего себялюбия, которое так сильно у других людей, — пояснил он. — А сейчас оно, по ошибке или по воле судьбы, явно воплотилось в тебя вместо меня самого! — прибавил он скуп.

Это была его первая за этот вечер попытка отметить приезд сестры каким-то суждением,

25

Сиамские близнецы

Позже в тот вечер он еще раз вернулся к этому.

— Да будет тебе известно, — начал он рассказывать сестре, — что мне чуждо известного рода себялюбие, некое нежное отношение к себе самому, естественное, кажется, для большинства других людей. Не знаю, как описать это получше. Я мог бы, например, сказать, что у меня всегда были любовницы, с которыми я находился в плохих отношениях. Они были иллюстрациями к внезапным прихотям, карикатурами на мои настроения — то есть, в сущности, лишь примерами моей неспособности вступать в естественные отношения с другими людьми. Даже это связано с тем, как относишься к самому себе. По существу, я всегда находил себе любовниц,

которые мне не нравились...

— Но тут ты совершенно прав! — прервала его Агата. — Будь я мужчиной, я бы не чувствовала угрызений совести, обращаясь с женщинами самым безответственным образом. Я желала бы их тоже только по рассеянности и от удивления.

— Вот как? Правда? Это мило с твоей стороны!

— Они — смешные паразиты. Они делят жизнь мужчины вместе с собакой! — Агата заявила это без всякого нравственного возмущения. Она приятно устала, глаза у нее были закрыты, она рано легла, и Ульрих, придя пожелать ей спокойной ночи, увидел, как она лежит на его месте в кровати.

Но это была та же кровать, где полутора сутками раньше лежала Бонадея. Наверно, поэтому Ульрих и заговорил о своих любовницах.

— Но этим я хотел только подвести к своей неспособности на какие-то мягко-резонные отношения с самим собой, — повторил он с улыбкой. — Для того чтобы меня что-то заинтересовало, это должно быть частью некоей совокупности, стоять под знаком какой-то идеи. Самый факт я, собственно, предпочел бы видеть уже в прошлом, в архиве памяти. Сиюминутная затрата на него чувств кажется мне неприятной и до смешного неуместной. Вот как обстоит дело, если описывать тебе себя без всяких скидок. А самая изначальная и самая простая идея, по крайней мере в молодые годы, сводится к тому, что ты окаянный, невиданный малый, которого ждал мир. Но когда тебе за тридцать, это проходит! — Он подумал минуту и сказал: — Нет! Очень трудно говорить о себе: ведь, собственно, мне как раз следовало бы сказать, что я никогда не держался какой-либо постоянной идеи. Никакой не нашлось. Идею следовало бы любить, как женщину. Блаженствовать, когда возвращаешься к ней. И она всегда в тебе! И ты ищешь ее во всем, кроме себя! Таких идей я никогда не находил. Я всегда относился как мужчина к мужчине к так называемым великим идеям. Может быть, и к называемым так по праву. Я не считал, что рожден подчиняться, они подстрекали меня опрокинуть их и заменить другими. Да, может быть, именно эта ревность привела меня к науке, законы которой ищут сообща и тоже не считают нерушимыми! — Он снова умолк и засмеялся то ли над собой, то ли над своим изложением, — Но как бы то ни было, — продолжал он серьезно, — не связывая с собой ни одной идеи или связывая с собой любую, я научился принимать жизнь всерьез. Она волнует меня, в сущности, куда больше, когда я читаю о ней в романе, где она подогнана к какой-то концепции. Но, проживая ее во всей ее обстоятельности, я всегда нахожу ее уже устарелой, старомодно подробной и отсталой по содержанию мыслей. И я не думаю, что тут дело во мне.

Ведь большинство людей живет сегодня так же. Многие, правда, прикидываются перед собой, что испытывают огромную радость жизни, — так младшеклассников учат резвиться среди цветочков, — но в этом всегда есть какая-то нарочитость, и они это чувствуют. На самом деле они так же могут хладнокровно убить друг друга, как и сердечно поладить между собой. Наше время наверняка ведь не принимает всерьез событий и приключений, которых оно полно. Если они происходят, они волнуют. Тогда они тотчас вызывают новые события, как бы кровную месть событиям, необходимость сказать все буквы алфавита от «б» до «я», потому что было сказано «а». Но в этих событиях нашей жизни меньше жизни, чем в книге, потому что у них нет связного смысла.

Так говорил Ульрих. Наобум. С переменами в настроении. Агата не отвечала; она все еще не открыла глаз, но улыбалась.

Ульрих сказал:

— Забыл, о чем я говорил. Кажется, мне уже не удастся вернуться к началу.

Они помолчали. Он мог хорошенько рассмотреть лицо сестры, которое не было защищено взглядом ее глаз. Оно лежало куском голого тела, как женщины, когда они вместе в женской купальне. Женский, неохраняемый, естественный цинизм этого не рассчитанного на мужчину зрелища все еще оказывал непривычное воздействие на Ульриха, хотя и давно уже не такое сильное, как в первые дни первой их встречи, когда Агата сразу настояла на своем сестринском праве говорить с ним без всяких эмоциональных околичностей, потому что он для нее не такой же мужчина, как все. Он вспомнил, как поражался и ужасался, когда в детстве видел на улице беременную или кормившую грудью; тайны, тщательно скрывааемые от мальчика, вдруг туго и вольно пучились тогда на свету. И может быть, остатки таких впечатлений он долгое время носил с собой, ибо вдруг у него возникло такое чувство, словно теперь он совершенно свободен от них. Ему представлялось приятным и удобным то, что Агата была женщиной и, наверно, уже кое-что повидала на своем веку; говоря с ней, не надо было так следить за собой, как при разговоре с девушкой. Больше того, ему казалось трогательно-естественным, что со зрелой женщиной все нравственно проще. Он испытывал также потребность взять ее под защиту и за что-то вознаградить ее чем-то добрым. Он собирался сделать для нее все, что в его силах. Он даже собирался поискать ей другого мужа. И эта потребность в доброте незаметно для него вернула ему потерянную нить разговора.

— Наверно, наше себялюбие меняется в период полового созревания,

сказал он без перехода. — Ведь тогда некий луг нежности, где мы дотопле играли, скашивается, чтобы заготовить корм для одного определенного инстинкта.

— Чтобы корова давала молоко! — грубо и с достоинством, но не открывая глаз, дополнила после крошечной паузы Агата.

— Да, все это, пожалуй, связано, — сказал Ульрих и продолжил: — Есть, стало быть, момент, когда наша жизнь теряет почти всю свою нежность и та сосредоточивается на этом единственном пункте, который отныне перегружен ею. Не кажется ли и тебе тоже, что это как если бы на всей земле стояла ужасная засуха, а в одном-единственном месте не переставая лил дождь?!

Агата сказала:

— Мне кажется, что в детстве я любила своих кукол с такой силой, с какой никогда не любила ни одного мужчины. Когда ты уехал, я нашла на чердаке ящик со своими старыми куклами.

— Что ты с ними сделала? Раздарила?

— Кому было их дарить? Я устроила им кремацию в печке, — сказала она.

Ульрих живо отозвался:

— Когда я вспоминаю самую раннюю свою пору, мне кажется, что тогда внутренний и внешний миры почти не были разделены. Когда я к чему-то полз, это летело ко мне на крыльях. А когда происходило что-то для нас важное, то не только мы волновались из-за этого, но даже вещи начинали кипеть. Не хочу утверждать, что при этом мы были счастливее, чем позднее. Мы ведь еще не обладали самими собой. Нас, по сути, вообще еще не было, наши личные состояния не были еще четко отделены от состояний мира. Это звучит странно, и все-таки это правда, если я скажу, что наши чувства, наши побуждения, да и мы сами не были еще целиком внутри нас. Еще более странно, что с таким же правом я мог бы сказать: еще не целиком отделились от нас. Ведь если ты сегодня, когда считаешь, что целиком обладаешь собой, в виде исключения спросишь себя, кто ты на самом деле, ты сделаешь именно это открытие. Ты будешь видеть себя всегда со стороны, как предмет. Ты заметишь, что в одном случае злишься, а в другом — грустишь, подобно тому как твое пальто иной раз мокро, а иной — тепловато. Сколько ни наблюдай, тебе удастся проникнуть разве что к тому, что за тобой, но никак не в себя самое. Ты остаешься вне себя, что бы ты ни предпринимал, и исключение из этого составляют как раз те немногие мгновения, когда о тебе сказали бы, что ты вне себя. Правда, мы вознаграждаем себя, повзрослев, тем, что по каждому поводу можем

думать: «Я есмь», если это доставляет нам удовольствие. Ты видишь автомобиль, и каким-то образом тебе при этом еще мерещится, видится: «Я вижу автомобиль». Ты любишь или грустишь и видишь, что любишь или грустишь. Но в полном смысле нет целиком ни автомобиля, ни твоей грусти, ни твоей любви, не тебя самой. Нет ничего целиком такого, каким оно было когда-то в детстве. Все, чего ты касаешься, вплоть до твоего нутра, более или менее окаменевают, как только ты сподобляешься стать «личностью», и остается лишь окутанная чисто внешним бытием, призрачная, туманная ниточка самоуверенности и мрачного себялюбия. Что тут неладно? Нельзя отделаться от чувства, что что-то еще обратимо! Ведь нельзя же утверждать, что испытываемое ребенком не имеет ничего общего с тем, что испытывает взрослый! У меня нет никакого определенного ответа на это, хотя и нашлись бы какие-то отдельные мысли по этому поводу. Но я давно ответил тем, что потерял любовь к этого рода «я есмь» и к этого рода миру.

Ульриху было приятно, что Агата слушала его, не прерывая, ибо он так же не ждал от нее ответа, как я от самого себя, и был убежден, что искомого им ответа никто сейчас дать не мог бы. Однако он ни секунды не опасался, что то, о чем он говорил, окажется для нее слишком трудным. Он не смотрел на это как на философствование и даже не считал, что затронул необычную тему; так трудности терминологии не мешают какому-нибудь очень молодому человеку, которого Ульрих и напоминал в этой ситуации, находить все простым, когда он с кем-нибудь другим, кто его подзадоривает, обменивается вечными вопросами: «Кто ты таков? Я вот кто». Уверенность, что сестра способна понять каждое его слово, он черпал в ее присутствии, а не в каком-либо размышлении. Его взгляд покоился на ее лице, а в этом лице было что-то, что делало его счастливым. Это лицо с закрытыми глазами совершенно не отталкивало. Оно обладало для него безмерной притягательной силой — и в том смысле, что словно бы тянуло в бесконечную глубину. Погружаясь в созерцание этого лица, он нигде не находил того илистого дна снятых преград, от которого отталкивается, чтобы вернуться на сушу, нырнувший в любовь. Но поскольку он привык ощущать симпатию к женщине как некий противовес антипатии к человеку, что — хотя он это и не одобрял — в известной мере страхует от опасности потери себя в ней, чистая благосклонность, заставлявшая его пытливо склоняться все ниже, испугала его почти как нарушение равновесия, и он вскоре ускользнул от этого состояния, прибегнув от счастья к несколько мальчишеской шутке, чтобы вернуть Агату к обыденной жизни: самым осторожным, на какое он был способен, прикосновением он попытался

открыть ей глаза. Агата со смехом открыла их и воскликнула:

— В награду за то, что я должна быть твоим себялюбием, ты обходишься со мной довольно грубо!

Этот ответ был таким же мальчишеским, как его натиск, и взгляды их подчеркнуто столкнулись, как двое мальчишек, которые хотят подраться, но из-за охватившего их веселья не могут начать драку. Вдруг, однако, Агата оставила это и спросила серьезно:

— Ты знаешь миф, пересказываемый Платоном по каким-то более древним источникам, — что человек, составлявший первоначально единое целое, был разделен богами на две части, на мужчину и женщину?

Она приподнялась на локтях и неожиданно покраснела, ибо, спохватившись, нашла довольно глупым спрашивать, знает ли Ульрих эту общеизвестную, вероятно, историю. Поэтому она решительно прибавила:

— Ну, так вот, эти злополучные половинки вытворяют всякие глупости, чтобы воссоединиться. Это сказано во всех учебниках для старших классов. К сожалению, там не сказано, почему это не удастся!

— Могу тебе это сказать, — ответил Ульрих, счастливый тем, как точно она поняла его. — Ведь никто не знает, какой именно из этих носящихся по миру половинок ему недостает. Он хватается ту, которая кажется ему недостающей, и делает самые напрасные попытки слиться с ней, пока окончательно не выяснится, что ничего из этого не выйдет. Если из этого получается ребенок, то в течение нескольких лет молодости обе половинки думают, что они соединились хотя бы в ребенке. Но это только третья половинка, которая вскоре обнаруживает стремление удалиться подальше от двух других и найти четвертую. Так и продолжает человечество физиологически «половиниться», а настоящее единение остается далеким, как луна за окном спальни.

— Резонно полагать, что братья и сестры хотя бы половину этого пути уже проделали! — вставила Агата охрипшим вдруг голосом.

— Близнецы, может быть.

— А мы разве не близнецы?

— Конечно! — Ульрих вдруг увильнул. — Близнецы редки. Разнополые близнецы — величайшая редкость. А если они к тому же разного возраста и очень долго почти не знали друг друга, то это уже достопримечательность, действительно достойная нас! — заявил он и устремился назад, в более поверхностную веселость.

— Но мы встретились как близнецы! — стояла на своем Агата, не замечая его тона.

— Потому что неожиданно оказались одинаково одетыми?

— Может быть. И вообще! Ты можешь сказать, что это была случайность. Но что такое случайность? Я думаю, что именно она — судьба, предназначение или как там еще это назвать. Тебе никогда не казалось случайным, что ты родился именно собой? Вдвойне случайно то, что мы брат и сестра!

Так изложила это Агата, и Ульрих подчинился этой мудрости.

— Значит, мы объявим себя близнецами! — согласился он. — Симметричные создания каприза природы, мы будем отныне одного возраста, одного роста, у нас будут одинаковые волосы, и мы будем ходить по людским дорогам в одинаково полосатых платьях и с одинаковыми бантами на шее. Но учти, люди будут глядеть нам вслед полурастроганно-полунасмешливо, как то всегда бывает, когда что-то напоминает им о тайнах их появления на свет.

— Мы можем ведь одеваться и как раз противоположным образом, возразила, развеселившись, Агата. — Один будет в желтом, когда другой в синем, или красное будет рядом с зеленым, а волосы мы можем выкрасить в фиолетовый цвет или в багровый, и я сделаю себе горб, а ты себе животик. И все равно мы близнецы!

Но шутка выдохлась, повод для нее истощился, они умолкли на несколько мгновений.

— Ты знаешь, — сказал вдруг Ульрих потом, — что мы говорим об очень серьезной вещи?!

Едва он это сказал, сестра его опять опустила на глаза опала ресниц и со спрятанной за ними готовностью предоставила говорить ему одному. Может быть, это только казалось, что она закрыла глаза. В комнате было темно, свет, который горел, не столько придавал четкость предметам, сколько размывал бликами их очертания. Ульрих сказал:

— Так же, как миф о разделенном человеке, мы можем вспомнить Пигмалиона, Гермафродита или Изиду и Озириса — ведь это всегда одно и то же на разные лады. Эта потребность в двойнике другого пола стара, как мир. Она хочет любви существа, которое было бы совершенно сходно с нами, но все же не таким, как мы, хочет волшебного создания, которым были бы мы, но которое оставалось бы именно волшебным созданием и превосходило все наши вымыслы дыханием самостоятельности и независимости. Эту мечту о флюиде жизни, который, независимо от ограничений телесного мира, встречает себя в двух одинаково-разных существах, одинокая алхимия рождала в ретортах человеческих голов уже несметное число раз...

Тут он запнулся; ему явно пришло на ум что-то, что мешало ему, и он

кончил такими, почти нелюбезными словами:

— Даже среди самых обыденных обстоятельств любви можно ведь найти следы этого: в очаровании, связанном с каждой переменной, с каждым переодеванием, в значении соответствия и повторения себя в другом. Маленькое волшебство остается одинаковым, видишь ли ты впервые голой какую-нибудь даму или впервые в закрытом платье девушку, которую ты привык видеть голой, и все большие, безоглядные любовные страсти связаны с тем, что человек воображает, будто его сокровеннейшее «я» подглядывает за ним из-за занавеса чужих глаз.

Это звучало так, словно он просил ее не переоценивать того, что они говорили. Агата, однако, еще раз подумала о молнии удивления, поразившей ее, когда они впервые встретились в своих домашних костюмах, словно нарядившись для маскарада. И она ответила:

— Значит, это тянется уже тысячи лет. Разве это легче понять, если объяснять это как результат двух иллюзий?

Ульрих промолчал.

И через несколько мгновений Агата радостно сказала:

— Но вот еще так оно и бывает! Во сне иногда видишь себя превращенной во что-то другое. Или встречаешь себя в виде мужчины. И тогда относишься к нему так осторожно, как никогда не относишься к самой себе. Ты, наверно, скажешь, что это сексуальные сны. Но мне кажется, что они гораздо древнее.

— У тебя часто бывают такие сны? — спросил Ульрих.

— Иногда. Редко.

— У меня их почти никогда не бывает, — признался он. — Я их уже целую вечность не видел.

— И все же ты мне однажды объяснил, — сказала теперь Агата, — по моему, это было в самом начале, еще там, в старом доме, — что тысячи лет назад человек действительно испытывал что-то другое!

— Ах, ты имеешь в виду «дающее» и «берущее» видение? — ответил Ульрих и улыбнулся, хотя Агата и не видела этого. — «Охватываемый» и «охватывающий» дух? Да, об этой таинственной двуполости души я, конечно, должен был говорить. А о чем, впрочем, нет?! Во всем мерещится что-то от этого. Даже в любой аналогии есть какой-то остаток волшебства тождественности и нетождественности. Но разве ты не заметила: во всех этих видах поведения, о которых мы говорили, во сне, в мифе, в поэзии, в детстве и даже в любви большая доля чувства покупается нехваткой разумности, а это значит — нехваткой реальности.

— Стало быть, ты на самом деле в это не веришь? — спросила Агата.

На это Ульрих не ответил. Но через минуту он сказал:

— Если перевести это на ужасный нынешний язык, то можно то, что сегодня для каждого пугающе мало, назвать процентом участия человека в его впечатлениях и поступках. Во сне кажется, что налицо сто процентов, а наяву не наскребется и половины! Ты ведь сегодня сразу заметила это в моем жилье. Но мои отношения с людьми, с которыми ты познакомишься, совершенно такие же. Однажды — кстати сказать, в разговоре с женщиной, где все было очень к месту, — я назвал это также акустикой пустоты. Если булавка падает на пол в пустой комнате, то в возникающем от этого шуме есть что-то несоразмерное, даже безмерное. Но то же самое происходит и тогда, когда пустота лежит между людьми. Тогда не знаешь — кричишь ли ты или стоит мертвая тишина. Ибо все неправое и ложное, как только тебе, в конечном счете, нечего противопоставить ему, приобретает притягательную силу огромного соблазна. Согласна? Но прости, — прервал он себя, — ты, наверно, устала, а я не оставляю тебя в покое. Кажется, я боюсь, что тебе многое не понравится в моем окружении и в моем быте.

Агата открыла глаза. После того как он так долго был скрыт, взгляд ее выражал что-то крайне неудобноопределимое, участливо, как почувствовал Ульрих, разливавшееся по всему его телу. Он вдруг заговорил опять:

— Когда я был моложе, я пытался видеть именно в этом какую-то силу. Нечего противопоставить жизни? Ну, что ж, тогда пусть жизнь убегает от человека в его труды! Так приблизительно я думал. И есть ведь, пожалуй, что-то могучее в черствости и безответственности нынешнего мира. Во всяком случае, тут есть что-то от незрелости века, ведь и века в конце концов бывают незрелые, как годы роста. И как всякий молодой человек, я сначала ринулся в работу, в приключения и удовольствия. Мне казалось: все равно, чем заниматься, лишь бы делать это с полной самоотдачей. Помнишь, мы как-то говорили о «морали свершения»? Она — врожденный наш ориентир. Но чем старше становишься, тем яснее видишь, что этот кажущийся избыток, эта независимость и подвижность во всем, эта суверенность движущих частей и частичных движений, — и твоих собственных против тебя, и твоих против мира, — короче, что все, что мы, как «современные люди», считали силой и своей отличительной природной чертой, в сущности не что иное, как слабость целого по отношению к его частям. Страстью и волей тут ничего не поделаешь только захочешь целиком окунуться во что-то, как снова уже оказываешься выплеснутым на край. Это происходит сегодня во всем, что с тобой происходит!

С открытыми теперь глазами Агата ждала, что что-то случится с его

голосом; когда этого не случилось и речь брата оборвалась, как ответившаяся от дороги и уже не ведущая назад тропка, она сказала:

— Значит, судя по твоему опыту, нельзя и никогда нельзя будет действовать в самом деле по убеждению. Под убеждением, — поправилась она, — я подразумеваю не какую-то там науку и не моральную дрессировку, которой нас подвергли, а чувство, что ты в ладу с собой и со всем другим, чувство, что досыта наполнено что-то, что сейчас пусто, я имею в виду что-то такое, из чего исходишь и куда возвращаешься. Ах, я сама не знаю, что я имею в виду, прервала она себя резко, — я надеялась, что ты объяснишь мне это!

— Ты имеешь в виду именно то, о чем мы говорили, — мягко ответил Ульрих. — И ты единственный человек, с которым я могу говорить об этом так. Но мне незачем начинать все сначала, чтобы прибавить еще несколько завлекательных слов. Скорей уж я должен сказать, что такого состояния «захваченности», ненарушенной «душевности» жизни, — если понимать это слово не в сентиментальном смысле, а в том, который мы ему только что дали, вероятно, нельзя требовать разумом. — Он наклонился вперед, коснулся ее плеча и долго смотрел ей в глаза. — Оно, может быть, вообще противно человеческой природе, сказал он тихо. — Факт лишь, что нам его мучительно недостает! Отсюда, наверно, и идет желание братско-сестринской родственности, являющееся приправой к обычной любви и движущееся в воображаемом направлении любви без каких бы то ни было примесей чуждости и нелюбви.

И через несколько мгновений он прибавил:

— Ты же знаешь, как популярно в постели все связанное с братцами и сестрицами: люди, способные убить своих настоящих сестер и братьев, корчат из себя братика и сестричку, которые очутились под одеялом.

В полумраке лицо его дрогнуло в самоиздевке. Но Агата верила этому лицу, а не смятению слов. Она уже видела лица, вздрагивавшие вот так же, которые в следующий миг падали ниц; это лицо не приблизилось; оно, казалось, несло с бесконечно большой скоростью в бесконечную даль. Она ответила кратчайше:

— То-то и оно, что быть братом и сестрой мало!

— Мы ведь договорились уже и до «близнецов», — возразил Ульрих, бесшумно поднимаясь, потому что ему показалось, что большая усталость вконец одолела ее.

— Надо бы быть сиамскими близнецами, — сказала еще Агата.

— Значит, сиамские близнецы! — повторил брат. Он старался осторожно выпустить и положить на одеяло ее руку, и слова его прозвучали

невесомо; в них не было никакой тяжести, и от этой своей летучести они все еще распространялись вширь, когда он уже вышел из комнаты.

Агата улыбнулась и постепенно погрузилась в одинокую печаль, темнота которой вскоре перешла в темноту сна, чего она от утомления и не заметила. А Ульрих пробрался в свой кабинет и там, не в силах работать, в течение двух часов, пока не устал и он, знакомился с состоянием стесненности предупредительным отношением к другому человеку. Он удивлялся тому, за сколько ему сейчас хотелось приняться дел, которые произвели бы шум и потому должны были подождать. Это было ему внове. И это даже чуть-чуть раздражало его, хотя он и с живым интересом пытался представить себе, каково было бы действительно срастись с другим человеком. Он был плохо осведомлен о том, как работают такие две неявные системы, сходные с двумя листками на одном стебле и связанные друг с другом не только кровью, но еще больше воздействием полной взаимозависимости. Он полагал, что всякое волнение одной души сопереживается другой, а вызывающий его процесс происходит с телом, которое, в главном, не является твоим собственным. «Объятие, например: тебя обнимают в другом, — думал он. — Ты, может быть, даже не согласен, но твое другое „я“ затопляет тебя могучей волной согласия! Какое тебе дело, кто целует твою сестру? Но ее волнение, — его ты должен любить вместе с ней! Или, скажем, любишь — ты, и тогда ты должен как-то сделать ее участницей этого, ведь нельзя же просто затоплять ее бессмысленными физиологическими процессами?!» Ульрих почувствовал сильное раздражение и большую неловкость при этой мысли; ему показалось трудным правильно провести тут границу между новым взглядом на вещи и искажением старого.

26

Весна в огороде

Похвала, которой удостоил ее Мейнгафт, и новые мысли, полученные ею от него, произвели на Клариссу глубокое впечатление.

Ее умственное беспокойство и возбудимость, тревожившие иногда ее самое, ослабели, но сменились на сей раз, в отличие от прочих, не унынием, угнетенностью и безнадежностью, а чрезвычайно напряженной ясностью и прозрачной внутренней атмосферой. Опять она оглядывала себя самое и разбирала себя критически. Не сомневаясь, даже с известным удовлетворением приняла она к сведению, что она не особенно умна: очень

уж мало она училась. Ульрих, напротив, — когда она при такой сравнительной проверке думала именно о нем, — Ульрих был как конькобежец, который по желанию приближался и удалялся на умственном льду. Никогда нельзя было понять, откуда это бралось, когда он что-либо говорил или когда смеялся, когда сердился, когда блестели его глаза, когда он был здесь и своими широкими плечами отнимал у Вальтера место в комнате. Даже когда он просто поворачивал с любопытством голову, жилы на шее напрягались у него, как канаты парусника, который несется вдаль на звонком ветру. Всегда было в нем что-то выходившее за пределы доступного ей и будившее желание броситься на него всем телом, чтобы это схватить. Но вихрь, в котором это порой случалось, так что однажды на свете не осталось ничего прочного, кроме желания ребенка от Ульриха, теперь ушел далеко и не оставил даже тех обломков, какими непонятным образом бывает усеяна память, когда страсти отхлынут. Кларисса разве что досадовала, когда вспоминала и если вообще вспоминала еще свою неудачу в доме Ульриха, но ее чувство собственного достоинства не пострадало и даже посвежело. Причиной тому были новые представления, которыми наделил ее гостивший у них философ, — не говоря уж о непосредственных волнениях встречи с этим великолепно изменившимся старым другом. Так, в многообразном напряжении, проходили дни, а в маленьком, теперь уже залитом весенним солнцем доме все ждали, добудет или не добудет Ульрих разрешение посетить Моосбругера в том жутком месте, где он пребывал.

И важной в связи с этим казалась Клариссе главным образом одна мысль: мэтр назвал мир «в такой мере свободным от иллюзий», что он уже ни о чем не знает, должен ли он это любить или ненавидеть, и Кларисса была с тех пор убеждена, что надо отдаться иллюзии, если тебе выпала милость почувствовать ее. Ибо иллюзия — это милость. Кто же еще знал тогда, идти ли ему, выйдя из дому, направо или налево разве что у него была служба, как у Вальтера, которая, с другой стороны, стесняла его, или встреча, как у нее, с родителями, братьями или сестрами, которая нагоняла на нее скуку! То ли дело иллюзия! Тут жизнь устроена так же практично, как современная кухня: сидишь себе в серединке, почти не шевелясь, и, не сходя с места, пускаешь в ход все приспособления. К таким вещам у Клариссы всегда был вкус. А кроме того, под иллюзией она подразумевала то самое, что называют волей, только в особенно высокой степени. До сих пор Кларисса робела оттого, что мало что из происходившего в мире способна была объяснить правильно, но с появлением Мейнгаста она именно в этом и видела подтверждение своего права любить, Ненавидеть и действовать по собственному разумению. Ибо, по словам мастера,

человечество ни в чем так не нуждалось, как в воле, а этим благом, умением сильно хотеть, она владела всегда! Когда Кларисса об этом думала, ей делалось холодно от счастья и жарко от ответственности. Волей тут было, конечно, не мрачное усилие выучить какую-нибудь фортепианную пьесу или оказаться правой в каком-нибудь споре, а послушание могучему кормилу жизни, схваченность самой собой, саморастворение в счастье.

И она в конце концов не смогла не рассказать кое-что об этом Вальтеру. Она рассказала ему, что ее совесть становится сильнее день ото дня. Но, несмотря на свое восхищение Мейнгастом, как предполагаемым творцом этого обстоятельства, Вальтер ответил сердито:

— Право, это счастье, что Ульриху, видимо, не удастся добыть разрешение!

У Клариссы только дрогнули губы, но в этом просквозила жалость к его наивности и строптивости.

— Чего ты, собственно, хочешь от этого преступника, не имеющего ни к кому из нас ни малейшего отношения?! — спросил Вальтер взволнованно.

— Это будет мне ясно, когда я окажусь там, — ответила Кларисса.

— По-моему, тебе следовало бы знать это уже теперь! — по-мужски возразил Вальтер.

Его маленькая жена улыбнулась так, как всегда улыбалась перед тем, как причинить ему глубокую боль. Потом, однако, сказала только:

— И что-то сделаю.

— Кларисса! — ответил Вальтер твердо. — Ты не смеешь ничего делать без моего разрешения. Юридически я твой муж и опекун!

Такой тон был ей внове. Она отвернулась от него и растерянно сделала несколько шагов.

— Кларисса! — крикнул Вальтер вдогонку и поднялся, чтобы последовать за ней. — Я что-нибудь предприму против безумия, которое завелось в этом доме!

Тут она поняла, что целебная сила ее решения чувствуется уже и по возрастающей силе Вальтера. Она повернулась на пятках.

— Что ты предпримешь?! — спросила она его, и молния из щели ее глаз ударила в его влажные, карие, широко открытые глаза.

— Пойми, — попятился он, пытаясь смягчить ее, потому что требование такого конкретного ответа застало его врасплох, — она ведь сидит во всех нас, людях духовных, эта умственная тяга к нездоровому, ужасному и спорному, но...

— И мы предоставляем свободу действий филистерам! — прервала его, торжествуя, Кларисса. Теперь она пошла за ним, не сводя с него глаз. Она чувствовала, как его охватывает и одолевает ее целебная сила. Сердце ее вдруг наполнилось невыразимой и странной радостью.

— Но мы не поднимаем вокруг этого такую шумиху, — пробормотал Вальтер, с досадой заканчивая свою фразу. Сзади, у края пиджака, он почувствовал какое-то препятствие; потянувшись туда рукой, он на ощупь определил ребро одного из тех тонконогих, легких столиков, что стояли у него в доме и вдруг показались ему призрачными; он понял, что, птясь еще дальше, он опрокинет столик самым нелепым образом. Так поборол он внезапно проснувшееся желание оказаться далеко от этой борьбы, на изумрудном лугу, под цветущими плодовыми деревьями и среди людей, чья здоровая веселость омыла и очистила бы его раны. Это было спокойное, тучное желание, украшенное женщинами, которые внимали ему с благодарным восторгом. И в тот миг, когда Кларисса приблизилась к нему, он воспринял ее присутствие, в сущности, как страшную, фантазмагорическую обузу. Но, к его удивлению, Кларисса не сказала: «Ты трус!» А сказала:

— Вальтер! Почему мы несчастны?!

При звуке этого манящего, ясновидящего голоса он почувствовал, что его несчастье с Клариссой нельзя заменить никаким счастьем с другой женщиной.

— Мы должны быть несчастны! — ответил он в таком же бурном порыве чувств.

— Нет, мы не должны были бы! — заверила его кротко Кларисса. Она склонила голову набок, ища чего-то, что его убедило бы. По существу, не имело даже никакого значения, что именно это будет; они стояли друг перед другом, как день без вечера, день, который час за часом изливает свой не идущий на убыль огонь.

— Ты согласишься со мной, — начала она наконец столь же робким, сколь и упрямым тоном, — что действительно великие преступления возникают не оттого, что их совершают, а оттого, что их терпят!

Теперь Вальтер, конечно, знал, что последует, и это было сильным разочарованием.

— О боже! — воскликнул он нетерпеливо. — Я же тоже знаю, что из-за равнодушия и из-за легкости, с какой сегодня можно успокоить свою совесть, губится гораздо больше жизней, чем из-за злой воли отдельных людей! И восхитительно то, что ты сейчас скажешь: каждый должен поэтому обострить свою совесть и тщательно проверять каждый свой шаг,

прежде чем сделать его.

Кларисса прервала его тем, что раскрыла рот, но передумала и не ответила.

— Я ведь тоже думаю о бедности, о голоде, о всякого рода разложении, допускаемых в мире, об обвалах в шахтах, где управляющие экономят на технике безопасности, — продолжал Вальтер, — и я ведь все это уже признавал.

— Но тогда двое любящих и не вправе любить друг друга, пока их состояние не есть «чистое счастье», — сказала Кларисса. — А мир станет лучше не раньше, чем будут подобные люди!

Вальтер всплеснул руками.

— Неужели ты не понимаешь, как противны жизни такие великие, ослепительные, безоговорочные требования! — воскликнул он. — Ведь так же обстоит дело и с этим Моосбругером, который время от времени возникает у тебя в голове, как на вращающейся сцене. По сути ты ведь права, когда утверждаешь, что нельзя быть спокойным, пока таких несчастных тварей просто убивают, потому что общество не знает, что с ними делать. Но по более глубокой, если можно так сказать, сути, права, конечно, здоровая человеческая совесть, когда она просто отказывается предаваться таким утонченным сомнениям. Существуют какие-то последние критерии здорового мышления, которые нельзя вывести путем доказательств, а надо иметь в крови, ощущать нутром!

Кларисса ответила:

— По твоему нутру, «по сути» — это всегда, конечно, «по сути нет»!

Вальтер обиженно покачал головой и показал ей, что отвечать на это не станет. Он уже устал постоянно предостерегать от губительной односторонней духовной пищи и, может быть, со временем даже сам заколебался.

Но благодаря своей нервной чувствительности, всегда его изумлявшей, Кларисса прочла его мысли; подняв голову, она перемахнула все промежуточные ступени и прыгнула к нему на самый верх, настойчиво и тихо спросив:

— Ты можешь представить себе Иисуса директором шахты?

Лицо ее выдавало, что под Иисусом она, в сущности, подразумевает его, впадая в одно из тех преувеличений, где любовь неотличима от сумасшествия. Он отмахнулся от этого столь же возмущенным, сколь и полным отчаяния жестом.

— Не так прямолинейно, Кларисса! Нельзя говорить так прямолинейно! — взмолился он.

— Нет, нужно! — возразила Кларисса. — Нужно быть именно прямолинейными! Если у нас не будет силы спасти его, у нас не будет и силы спасти себя!

— А что уж такого случится, если он издохнет? — выпалил Вальтер. Наслаждаясь этим грубым ответом, он, казалось ему, чувствовал языком освобождающий вкус самой жизни, великолепно смешанный со вкусом смерти и бесславной гибели, который, как дух, вызвала намеком Кларисса.

Она посмотрела на него выжидательно. Но то ли с Вальтера было достаточно этой вспышки, то ли он молчал в нерешительности. И как тот, кто вынужден, стало быть, пустить в ход свой neodолимый последний козырь, она сказала:

— Мне было знамение!

— Да это же все твоя фантазия! — возопил Вальтер к потолку, который заменял небо; но с последними своими невесомыми словами Кларисса покинула его, не дав ему больше возможности говорить. Зато немного спустя он видел, как она оживленно беседует с Мейнгастом. Тяготившее того, потому что он сам был близорук, чувство, что за ними наблюдают, было справедливо. На самом деле Вальтер не участвовал в усердной садовой работе пришедшего тем временем в гости шурина Зигмунда, который с засученными рукавами стоял на коленях в какой-то грядке и делал что-то, по поводу чего Вальтер утверждал, что это нужно делать весной в саду, если хочешь быть человеком, а не просто закладкой в томах специальной литературы.

Нет, Вальтер украдкой бросал взгляды на пару, находившуюся в другом углу еще голого, хорошо просматриваемого огорода.

Он не думал, что в том углу происходит что-либо недозволенное. Тем не менее он чувствовал неестественный холод в руках, открытых весеннему воздуху, и в ногах, на которых были мокрые пятна, оттого что он время от времени становился на колени, чтобы дать указания Зигмунду. Он говорил с ним надменно, как то делают слабые и униженные люди, когда могут на ком-нибудь сорвать свое скверное настроение. Он знал, что Зигмунда, вбившего себе в голову почитать его, не так легко заставить отказаться от этого. Тем не менее он ощущал прямо-таки послезакатное одиночество и прямо-таки могильный холод, замечая, что Кларисса на него совершенно не смотрит, а с Мейнгаста, напротив, не сводит заинтересованных глаз. И кроме того, он был еще и горд этим. С тех пор как Мейнгаст находился в его доме, он и такой же мере был горд отверзавшимися тут безднами, как и предусмотрительно старался засыпать их снова. С высоты стоящего он изрек сейчас ерзавшему на коленях

Зигмунду:

— Все мы, конечно, это чувствуем и знаем — какую-то тягу к спорному и нездоровому!

Он не был ханжой. За короткое время, прошедшее с тех пор, как Кларисса назвала его за эту фразу филистером, он придумал афоризм насчет «маленькой бесчестности» жизни.

— Маленькая бесчестность хороша, как сладость или кислинка, — поучал он теперь шурина, — но мы обязаны перерабатывать ее в себе до тех пор, пока она не будет делать честь здоровой жизни! А под такой маленькой бесчестностью, продолжал он, — я подразумеваю и тоску по смерти, охватывающую нас, когда мы слушаем музыку «Тристана», и тайную притягательность, которой обладает для нас большинство сексуальных преступлений, хотя мы ей и не поддаемся! Ибо бесчестным и бесчеловечным, пойми, я называю и стихийное начало жизни, когда оно правит нами в нужде и болезни, и преувеличенную духовность и совесть, пытающиеся совершить насилие над жизнью. Все, что хочет перейти назначенные нам границы, бесчестно! Мистика так же бесчестна, как иллюзия, что природу можно свести к математической формуле! И намерение посетить Моосбругера так же бесчестно, как... — тут Вальтер на миг умолк, чтобы попасть не в бровь, а в глаз, и закончил словами: — ...как если бы ты стал призывать бога у постели больного!

Этим, несомненно, было кое-что сказано, и даже профессионально-непроизвольная гуманность врача была неожиданно призвана на помощь, чтобы доказать, что план Клариссы и его экстравагантные обоснования переходят границы дозволенного. Но по отношению к Зигмунду Вальтер был гением, и проявилось это в том, что здоровый ум Вальтера привел его к таким признаниям, тогда как еще более здоровое здоровье его шурина выразилось в том, что по поводу этих сомнительных материй он решительно молчал. Зигмунд пальцами окучивал рассаду, молча наклоняя при этом голову то в одну, то в другую сторону, словно наблюдал за содержимым пробирки при опыте или просто хотел вытряхнуть попавшую в ухо воду. И после того как Вальтер высказался, наступила до ужаса глубокая тишина, и в ней Вальтер услышал фразу, которую, кажется, и ему бросила Кларисса однажды; ибо хоть и не так живо, как при галлюцинации, но все же как бы оставляя выемки в тишине, прозвучали слова: «Ницше и Христос погибли от своей половинчатости!» И каким-то жутковатым образом чем-то напомнив «директора шахты», это ему польстило. Странная была ситуация: он, само здоровье, стоял здесь, в холодном саду, между человеком, на которого он надменно смотрел свысока, и двумя

неестественно возбужденными людьми, на чью немую игру жестов он поглядывал с превосходством и все же с томительной тоской. Ибо Кларисса была, ничего не поделаешь, маленькой бесчестностью, которая нуждалась в его здоровье, чтобы не увянуть, а какой-то тайный голос твердил ему, что Мейнгаст именно сейчас намеревается безмерно увеличить допустимую малость этой бесчестности. Он восхищался им с тем чувством, какое испытывает незнаменитый родственник к знаменитому, и, видя, как Кларисса по-заговорщически шепчется с ним, больше завидовал, чем ревновал, а зависть въедается внутрь глубже, чем ревность; но это и как-то возвышало его, в сознании собственного достоинства он не хотел быть злым, не позволил себе подойти и помешать им, он чувствовал при виде их возбуждения свое превосходство, и из всего этого возникла, он сам не знал как, двойственно-неясная, рожденная вне всякой логики мысль, что они там каким-то вольным и предосудительным образом призывают бога.

Если такое странно сумбурное состояние можно вообще назвать ходом мыслей, то он никак не поддается словесному выражению, потому что химия его темноты мгновенно гибнет на свету языка. Кроме того, Вальтер, как он показал Зигмунду, не связывал со словом «бог» решительно никакой веры, и после того, как оно пришло ему на ум, вокруг этого слова возникла пугливая пустота; вот почему первое, что сказал Вальтер шурина после долгого молчания, было очень далеко от этой темы.

— Ты осел, — упрекнул он его, — если считаешь себя не вправе самым настойчивым образом отговаривать ее от этого посещения. На то ты и врач!

Зигмунд несколько не обиделся и на это.

— Это уж ты решай с ней сам, — ответил он, спокойно подняв глаза, и снова вернулся к своему занятию.

Вальтер вздохнул.

— Кларисса, конечно, необыкновенный человек! — начал он еще раз. — Я ее прекрасно понимаю. Признаю даже, что в строгости ее взгляда на вещи есть своя правота. Подумай только о бедности, о голоде, о всякого рода разложении, царящих в мире, об обвалах в шахтах, например, управляющие которых сэкономили на технике безопасности!..

Зигмунд не подал ни малейшего знака, что и он об этом думает.

— Ну, так она думает о таких вещах! — продолжал Вальтер строго. — И я нахожу, что это великолепно с ее стороны. Мы все слишком легко успокаиваем свою совесть. И Кларисса лучше, чем мы, когда она требует, чтобы мы все изменились и обзавелись совестью более деятельной, как бы не знающей конца, бесконечной. Но я тебя вот о чем спрашиваю: не

приведет ли это к помешательству на совестливости, если вообще не произошло уже что-то подобное? Ты ведь можешь это определить?!

Этот настойчивый призыв заставил Зигмунда присесть на одну ногу и испытующе взглянуть на зятя.

— Сумасшедшая! — сказал он. — Но не то чтобы в медицинском смысле.

— А что ты скажешь, — продолжал спрашивать Вальтер, не вспоминая о своем превосходстве, — насчет ее утверждения, что у нее бывают знамения?

— Она говорит, что у нее бывают знамения? — озабоченно спросил Зигмунд.

— Ну да! Этот сумасшедший убийца, например! И недавно эта сумасшедшая свинья у нас под окнами!

— Свинья?

— Да нет, какой-то эксгибиционист.

— Вот как? — сказал Зигмунд и обдумал это. — У тебя тоже бывают знамения, когда ты находишь объект для живописи. Просто она выражается эмоциональнее, чем ты, — решил он наконец.

— А как быть с ее утверждением, что она должна взять на себя грехи этих людей, и мои, и твои, и еще неведомо чьи?! — воскликнул Вальтер запальчиво.

Зигмунд встал и стряхнул землю с рук.

— Она чувствует себя подавленной грехами? — переспросил он без нужды и, словно радуясь, что может наконец согласиться с зятем, вежливо признал: — Это симптом!

— Это симптом? — сокрушенно спросил Вальтер.

— Мания греховности — это симптом, — с беспристрастностью специалиста подтвердил Зигмунд.

— Но вот какое дело, — прибавил Вальтер, мгновенно обжалуя самим же накликаный приговор. — Ты ведь должен прежде всего спросить себя: существует ли грех? Конечно грех существует. Но тогда существует и мания греховности, которая вовсе не мания. Ты, может быть, этого не понимаешь, ведь это сверхэмпирично! Это оскорбленная ответственность человека за высшую жизнь!

— Но ведь она утверждает, что получает знамения! — возразил, стоя на своем Зигмунд.

— Но я ведь тоже, ты говоришь, получаю знамения! — ожесточенно воскликнул Вальтер. — И я скажу тебе, что иногда мне хочется на коленях молить свою судьбу, чтобы она оставила меня в покое. Но она каждый раз

снова посылает мне знамения, и самые великолепные — через Клариссу! — Потом продолжал спокойнее: — Она, например, утверждает теперь, что этот Моосбругер выражает ее и меня в нашей «греховной ипостаси» и послан нам как предостережение. Но это можно понять так: он — символ нашего пренебрежения высшими возможностями нашей жизни, ее, так сказать, светом. Много лет назад, когда Мейнгаст покинул нас...

— Но мания греховности есть симптом определенных нарушений! — напомнил ему Зигмунд с непробиваемым спокойствием специалиста.

— Ты знаешь, конечно, только симптомы! — энергично защищал Вальтер свою Клариссу. — Ведь прочее выходит за пределы твоего опыта. Но, может быть, именно это суеверие — смотреть на все, что не согласуется с простейшим опытом, как на нарушение — и есть грех нашей жизни, ее греховная ипостась! А Кларисса требует внутреннего противодействия этому. Уже много лет назад, когда Мейнгаст нас покинул, мы... — Он вспомнил, как Кларисса и он «взяли на себя» грехи Мейнгаста, но объяснять Зигмунду процесс духовного пробуждения было безнадежно, и потому он кончил неопределенно, сказав: — Да ты же и сам не станешь отрицать, что всегда находились люди, которые как бы направляли на себя или сосредоточивали в себе грехи всех других?!

Шурин посмотрел на него удовлетворенно.

— Ну, вот! — ответил он дружелюбно, — Ты сам доказываешь теперь то, что я утверждал в самом начале. То, что она чувствует на себе бремя грехов, — это типичное поведение при определенных нарушениях. Но жизнь знает и нетипичные виды поведения. Вот и все, что я утверждал.

— А эта преувеличенная строгость, с какой она все делает? — спросил через мгновение Вальтер со вздохом. — Вряд ли ведь можно назвать нормальным такой ригоризм?

Между тем у Клариссы шел важный разговор с Мейнгастом.

— Ты сказал, — напомнила она ему, — что люди, гордящиеся тем, что они объясняют и понимают мир, никогда ничего не изменяют в нем?

— Да, — ответил мастер. — «Истинно» и «ложно» — это увертки тех, кто не хочет прийти ни к какому решению. Ибо у истины конца нет.

— Поэтому ты сказал, что надо иметь мужество сделать выбор между «ценностью» и «малоценностью»? — допытывалась Кларисса.

— Да, — сказал мэтр, несколько заскучав.

— Замечательно презрительна и твоя формула, — воскликнула Кларисса, — что в нынешней жизни люди делают только то, что происходит!

Мейнгаст остановился и стал смотреть на землю: с одинаковым

правом можно было подумать, что он прислушивается и что разглядывает камешек, лежащий справа перед ним у дорожки. Но Кларисса перестала расточать ему похвалы; она тоже склонила теперь голову, чуть ли не упершись подбородком в ямку под шеей, и взгляд ее сверлил землю между носками Мейнгастовых башмаков; легкий румянец появился на ее бледном лице, когда она осторожно понизив голос, продолжила:

— Ты сказал, что всякая сексуальность — это только козлиный прыжок!

— Да, я сказал это в определенной связи. Нехватку коли наше время возмещает, помимо своей так называемой научной деятельности, сексуальностью!

Кларисса одно мгновение помедлила, потом сказала:

— У меня самой достаточно воли, но Вальтер делает козлиные прыжки!

— Что, собственно, между вами стряслось? — спросил мастер с появившимся любопытством, но тотчас, чуть ли не с отвращением, прибавил: — Могу себе, конечно, представить.

Они находились в углу сада без деревьев, целиком открытого весеннему солнцу, а в приблизительно противоположном по диагонали углу возился в земле Зигмунд и в чем-то оживленно убеждал его стоявший рядом с ним Вальтер. Сад представлял собой прилежащий к продольной стене дома прямоугольник, который обрамляла, обегая грядки и клумбы, дорожка, посыпанная гравием, и пересекали две такие же, выделяясь на еще голой земле светлым крестом.

Кларисса ответила, осторожно поглядывая на двух других мужчин:

— Это, может быть, не его вина, — но да будет тебе известно, что я привлекаю Вальтера неподходящим образом.

— Представляю себе, — ответил мастер, на сей раз сочувственно взглянув на нее. — В тебе есть что-то мальчишеское.

От этой похвалы Кларисса почувствовала, что счастье подпрыгивает у нее в жилах, как крупинки града.

— Ты «тогда» заметил, что я могу облачиться скорей, чем мужчина?! — быстро спросила она его.

На доброжелательно сморщенном лице философа появилось недоумение. Кларисса хихикнула.

— Это такое двойственное слово, — объяснила она. — Есть и другие: садистское убийство, например.

Мастер, видимо, почел за лучшее показать, что не удивляется ничему.

— Как же, как же, — ответил он, — помню. Ты ведь как-то заявила,

что это сексуальное убийство — гасить любовь в обычном объятье.

Но он хотел знать, что подразумевает она под облачением.

— Давать волю — это убийство, — объяснила Кларисса с быстротой человека, который, выделывая колена на скользкой почве, переусердствовал и оступился.

— Знаешь, — признался Мейнгаст, — теперь я действительно запутался. Сейчас ты ведь опять говоришь об этом типе, о плотнике. Чего ты от него хочешь?

Кларисса стала задумчиво разгребать гравий носком ботинка.

— Это все одно и то же, — ответила она. И вдруг она подняла глаза на мастера. — Я думаю, Вальтеру надо научиться отказываться от меня, — сказала она резко и коротко.

— Об этом я не могу судить, — отвечал Мейнгаст, так и не дождавшись продолжения. — Но, конечно, радикальные решения — всегда самые лучшие.

Он сказал это просто на всякий случай. Но Кларисса снова опустила голову, отчего ее взгляд зарылся куда-то в костюм Мейнгаста, и через несколько мгновений медленно приблизила руку к его предплечью. Ей вдруг неудержимо захотелось схватить эту твердую, худую руку под широким рукавом и прикоснуться к мастеру, который притворялся, что начисто забыл вещие слова, сказанные им по поводу этого плотника. В то время, как это происходило, в ней жило ощущение, что она толкает к нему какую-то часть себя, и в медленности, с какой рука ее исчезала в его рукаве, в этой текучей, приливной медленности крутились обломки какого-то непонятного сладострастия, которые возникали от того факта, что мастер не двигался и позволял ей прикасаться к себе.

Мейнгаст же почему-то растерянно смотрел на руку, которая охватила его предплечье и поднималась по нему, как многоногий лезущий на свою самку зверек; увидев, как под опущенными веками этой маленькой женщины затрепетало что-то необычное, он угадал некий сомнительный процесс, который тронул его тем, что происходил на виду.

— Пойдем! — предложил он, ласково отстраняя ее руку. — Если мы останемся здесь, мы будем слишком хорошо видны всем. Давай опять пройдемся!

Они прохаживались, и Кларисса рассказывала:

— Я одеваюсь быстро. Быстрее, чем мужчина, если нужно. Одежда летит мне на тело, когда я... — как бы это выразить? — ну, когда я такая! Это, наверно, вид электричества. То, что относится ко мне, я притягиваю, привлекаю. Но обычно это злосчастное притягивание.

Мейнгаст усмехался по поводу этой игры словами, которой он все еще не понимал, и искал наудачу какого-нибудь запоминающегося ответа.

— Значит, ты, можно сказать, притягиваешь к себе одежду, как герой — судьбу? — произнес он в ответ.

К его удивлению, Кларисса остановилась и воскликнула:

— Да, именно! Кто так живет, чувствует это, даже когда имеет дело с одеждой, с обувью, с ножом и вилок!

— Тут есть какая-то правда, — подтвердил мастер это темноватое утверждение. Затем спросил напрямик: — Как у тебя, собственно, с Вальтером?

Кларисса не поняла. Она взглянула на него и увидела в его глазах вдруг желтые тучи, которые как бы неслись на диком ветру.

— Ты сказала, — продолжал Мейнгаст, медля, — что привлекаешь Вальтера «неподходящим, образом». То есть, может быть, не подходящим для женщины образом? Как это понимать? Ты вообще фригидна с мужчинами?

Кларисса не знала слова «фригидный».

— Фригидность. — объяснил мастер, — это когда женщина не находит удовольствия в объятиях мужчин.

— Но я ведь знаю только Вальтера, — испуганно возразила Кларисса.

— Ну да, но разве после всего, что ты сказала, не напрашивается такое предположение?

Кларисса смутилась. Ей надо было подумать. Она не знала этого.

— Я? Я же не должна. Я же должна, наоборот, препятствовать этому! — сказала она. — Я не смею допускать это!

— Что ты говоришь! — Мастер засмеялся теперь непристойно. — Ты не должна допускать, чтобы ты что-либо чувствовала? Или чтобы Вальтер добивался своего?

Кларисса покраснела. Но тут ей стало яснее, что она имеет в виду.

— Если поддаваться, все тонет в половом наслаждении, — ответила она серьезно. — Я не разрешаю наслаждению мужчин отделяться от них и становиться моим наслаждением. Поэтому я и привлекаю их с детства. С наслаждением у мужчин что-то неладно.

По разным причинам Мейнгаст предпочел не вдаваться в это.

— Неужели ты так владеешь собой? — спросил он.

— Ну уж, как когда, — откровенно призналась Кларисса. — Но я ведь сказала тебе: я была бы убийцей-садисткой, если бы давала ему волю! — Со все большей горячностью она продолжала: — Мои подруги говорят, что в объятиях мужчины «исходишь». Я этого не знаю. Я никогда не исходила в

объятиях мужчины. Но мне знакомо это вне связи с объятиями. Тебе это, конечно, тоже знакомо. Ведь ты же сказал, что мир слишком свободен от иллюзий!..

Мейнгаст отмахнулся таким жестом, словно она неправильно поняла его. Но теперь у нее была уже слишком большая ясность.

— Если ты говоришь, например, что нужно поступаться неполноценным ради полноценного, — воскликнула она, — то это ведь значит, что возможна жизнь в огромном, не знающем границ сладострастье! Это не сладострастье пола, а сладострастье гения! И по отношению к этому сладострастью Вальтер становится предателем, если я не останавливаю его!

Мейнгаст покачал головой. Он отмежевывался от этого искаженного и страстного воспроизведения его слов, отмежевывался испуганно, почти боязливо; и из всего, что оно содержало, он ответил на самое случайное:

— Это ведь вопрос, может ли он вообще вести себя по-другому!

Кларисса остановилась, как пригвожденная молнией.

— Он должен! — воскликнула она. — Ты же сам учил нас, что так надо!

— Это верно, — помедлив, признал мастер и тщетно попытался побудить ее собственным примером двинуться дальше. — Но чего, собственно, ты хочешь?

— Понимаешь, я ничего не хотела, пока ты не приехал, — сказала Кларисса тихо. — Но она же так ужасна, эта жизнь, которая из океана наслаждений вычерпывает лишь капельку сексуального удовольствия! И теперь я чего-то хочу.

— Об этом ведь я тебя и спрашиваю, — подбодрил ее Мейнгаст.

— Надо жить для какой-то цели. Надо быть «годным» для чего-то. Иначе все остается страшно запутанным, — ответила Кларисса.

— Связано ли с Моосбругером то, чего ты хочешь? — допытывался Мейнгаст.

— Это нельзя объяснить. Надо посмотреть, что из этого выйдет! — сказала Кларисса. Потом задумчиво прибавила: — Я его уведу, я вызову скандал! — Она приняла при этом таинственный вид. — Я наблюдала за тобой, — сказала она вдруг. — У тебя бывают таинственные люди! Ты приглашаешь их, когда думаешь, что нас нет дома. Это мальчики и молодые люди! Ты не говоришь, что им нужно.

Мейнгаст глядел на нее в полной растерянности.

— Ты что-то готовишь, — продолжала Кларисса, — что-то затеваешь! Но я... — выпалила она шепотом, — я тоже достаточно сильна, чтобы

дружить со многими одновременно! Я приобрела мужской характер и мужские обязанности! Общаясь с Вальтером, я научилась чувствовать по-мужски!.. — Ее рука снова потянулась к предплечью Мейнгаста. По ней было видно, что она этого не замечает. Пальцы ее высунулись из рукава согнутыми, как когти. — Я двулика, — прошептала она, так и знай! Но это нелегко. Ты прав, что при этом нельзя бояться применять силу!

Мейнгаст смотрел на нее все еще смущенно. Он не знал ее в этих состояниях. Связь между ее словами оставалась ему непонятной. Для Клариссы в этот миг не было ничего проще, чем понятие двуликости, но Мейнгаст спрашивал себя, не догадалась ли она о чем-нибудь из его тайной жизни и не намекает ли она на это. Особой догадливости тут уже и не требовалось; в согласии с ярко выраженным мужским началом своей философии он недавно стал замечать перемену в своих чувствах и привлекать к себе молодых людей, которые были для него чем-то большим, чем учениками. Но, может быть, из-за этого он и переехал сюда, где чувствовал себя скрытым от наблюдения; он до сих пор не думал о такой возможности, а теперь это маленькое, ставшее жутковатым существо способно было, кажется, угадать, что с ним творилось. Ее рука как-то все больше высывалась из рукава платья, а расстояние между двумя соединяемыми ею телами не менялось, и это голое, худое предплечье вместе с касавшейся Мейнгаста кистью выглядело сейчас так необычно, что в воображении мастера спуталось и смешалось все, что дотоле еще различалось и разграничивалось.

Но Кларисса больше не произносила того, что еще только что хотела сказать, хотя внутренне это было ей ясно. О том свидетельствовали двойственные слова, разбросанные по речи, как ветки, которые надламывают, или листья, которые сыплют на землю, чтобы дать возможность найти тайный путь, И «садистское убийство», и «облачение», и «быстро», и многие, может быть, даже все другие слова указывали на два значения, из которых одно было тайным и личным. Но двойственная речь означает и двойственную жизнь. Обычная речь — это явно жизнь греха, тайная — это жизнь в ипостаси света. Так, например, слово «быстро» в греховной своей ипостаси было обычным, утомительным, повседневным спехом, а в ипостаси радости от него все пружинисто отскакивало и радостно отлетало. Но потом вместо «ипостась радости» можно сказать «ипостась силы» или «ипостась невинности», а греховную ипостась назвать всеми словами, в которых есть что-то от подавленности, вялости и нерешительности обычной жизни. Это были занятные отношения между вещами и «я», в силу которых все, что ты делал, оказывало свое действие

там, где никто не ждал бы; и чем меньше была способна Кларисса высказать это, тем живее распускались слова внутри нее и шли быстрее, чем их удавалось собрать. Но в одном она была убеждена теперь уже довольно долгое время: долг, привилегия, задача того, что называют совестью, иллюзией, волей — найти сильную ипостась, ипостась света. Это та, где нет ничего случайного, где нет места колебаниям, где счастье и необходимость совпадают. Другие люди называли это «жить сутью», говорили о «нечувственном характере», приравнивали инстинкт к невинности, а интеллект — к греху. Кларисса думать так не могла, но она сделала открытие, что можно привести какие-то вещи в движение и к ним сами собой привязываются потом частицы ипостаси света и таким образом ими ассимилируются. По причинам, связанным в первую очередь с богатым эмоциями бездельем Вальтера, но также из-за своего героического честолубия, у которого никогда не было средств, она дошла до мысли, что каждый человек может каким-то своим насильственным действием поставить впереди себя памятник, который потом уж тянет его к себе. Поэтому же ей было совершенно неясно, что делать с Моосбругером, и она не могла ничего ответить Мейнгасту на его вопрос.

Да и не хотела отвечать. Хотя Вальтер и запретил ей говорить, что мастер снова претерпевает превращение, ум его, несомненно, перешел к тайной подготовке какого-то поступка, о котором она ничего не знала и который был, конечно, так же великолепен, как его ум. Он не смог, следовательно, не понять ее, даже если и притворялся, что не понял. Чем меньше она говорила, тем больше показывала ему свое знание. Ей позволительно было и прикасаться к нему, и он не мог запретить ей это. Он признавал тем самым ее замысел, а она проникала в его замысел и в нем участвовала. Это тоже было каким-то видом двуликости, и таким мощным, что больше она ничего не могла разобрать. Вся сила, какая была у нее и пределов которой она совершенно не знала, прямо-таки неисчерпаемым потоком лилась по ее руке к таинственному ее другу, ослабляя и опустошая ее до мозга костей больше, чем на то способна любовь. Она не могла ничего делать, кроме как глядеть с улыбкой то на свою руку, то ему в лицо. И Мейнгаст тоже только и делал, что глядел то на нее, то на ее руку.

И вдруг произошло что-то, что сперва поразило Клариссу, а потом бросило в угар вакхического восторга. Мейнгаст пытался задержать на лице высокомерную улыбку, которая помогла бы ему не выдать своей неуверенности. Но его неуверенность поминутно возрастала, снова и снова возникая из чего-то как бы непонятно. Ибо перед каждым поступком, ответственность за который берешь на себя с сомнением, бывает период

слабости, соответствующий минутам раскаянья после поступка, хотя в естественном ходе событий он почти незаметен. Убеждения и фантазии, защищающие и одобряющие совершенное действие, еще не достигли тут полного развития и колеблются в нахлынувшей страсти так же неуверенно и нестойко, как, может быть, позднее будут дрожать или рухнуть в хлынувшей вспять страсти раскаянья. В этом состоянии своих намерений Мейнгаст и был застигнут врасплох. Это было ему вдвойне неприятно — и ввиду прошлого, и ввиду почета, в каком он был теперь у Вальтера и Клариссы, а всякое сильное волнение меняет к тому же картину действительности на свой манер, находя в этом новые для себя стимулы. Жутковатое положение Мейнгаста сделало для него жутковатой Клариссу, его страх придал ей что-то страшное, а попытки трезво вернуться к реальности — только умножили замешательство своей тщетностью. Поэтому, вместо того чтобы изображать высокомерное спокойствие, улыбка на его лице приобретала с каждым мигом какую-то все большую деревянность, какую-то прямо-таки деревянную висячесть и наконец как бы даже деревянно, словно на ходулях, ушла. В этот миг мастер повел себя совсем так, как ведет себя большая собака, когда перед ней оказывается необычно маленькое животное, на которое она не осмеливается напасть, — гусеница, жаба или змея: он вытянулся как можно выше на своих длинных ногах, поджал губы, изогнул спину и вдруг увидел, что потоки неловкости унесли его от того места, где был их источник, а у него не нашлось ни слова, ни жеста, чтобы прикрыть свое бегство.

Кларисса не отпускала его; при первых нерешительных шагах это бегство могло еще, пожалуй, сойти за естественную горячность, но потом он уже просто тащил ее с собой, с трудом находя самые необходимые слова, чтобы объяснить ей, что спешит к себе в комнату поработать. Лишь в передней ему удалось освободиться от нее полностью, а дотуда он добрался лишь благодаря своей воле к бегству, не обращая внимания на слова Клариссы и судорожно стараясь не привлекать к себе внимание Вальтера и Зигмунда. В общих чертах Вальтер действительно угадывал, что происходило. Он видел, что Кларисса страстно требовала от Мейнгаста чего-то, в чем он отказывал ей и в грудь его двумя сверлами врезалась ревность. Ибо, мучительно страдая от мысли, что Кларисса предлагает свою благосклонность их другу, он чуть ли не еще сильнее был оскорблен тем, что ею, как подумал он, пренебрегают. Если довести эти чувства до логического конца, то он заставил бы Мейнгаста взять Клариссу, а потом, подчиняясь тому же внутреннему порыву, впал бы в отчаяние. Он был взволнован меланхолически и героически. Невыносимо было ему в тот

самый миг, когда судьба Клариссы висела на волоске, слышать вопрос Зигмунда, сажать ли сеянцы в рыхлую почву или утрамбовывать землю вокруг них. Он должен был что-то сказать и чувствовал себя как фортепиано в сотую долю секунды между десятипалой молнией могучего туше и взывом. У него был свет в горле. Слова, которые должны были изобразить все совсем не так, как обычно. Но неожиданным образом единственное, что он умудрился произнести, было чем-то совершенно отличным от этих слов.

— Я не потерплю этого! — повторял он, обращаясь больше к саду, чем к Зигмунду.

Но тут оказалось, что и Зигмунд, занятый с виду только рассадой и лунками, тоже наблюдал за происходившим и даже думал об этом. Ибо Зигмунд встал, стряхнул землю с колен и дал зятю совет.

— Если ты считаешь, что она заходит слишком далеко, ты должен просто навести ее на другие мысли, — сказал он так, словно само собой разумелось, что он все время с врачебной добросовестностью размышлял о том, чем поделился с ним Вальтер.

— Как же мне это сделать?! — спросил Вальтер смущенно.

— Как это вообще делают мужчины, — сказал Зигмунд. — Все ахи женские, все охи лечение признают одно — или как это там говорится!

Он очень много вытерпел от Вальтера, а жизнь полна таких отношений, когда один теснит и давит другого, если тот не бунтует. Точней говоря, да и по собственному убеждению Зигмунда, — здоровая жизнь именно такова. Ведь мир наверно бы погиб уже во времена великого переселения народов, если бы каждый защищался до последней капли крови. А вместо этого слабейшие всегда покорно уходили и искали других соседей, которых они могли бы вытеснить; и по этому образцу вершатся человеческие отношения по большей части и ныне, и все при этом со временем улаживается само собой. С Зигмундом в его семейном кругу, где Вальтер слыл гением, всегда обращались чуть-чуть как с дурачком, но он это признавал и даже сегодня проявил бы уступчивость и почтительность в любом случае, где дело касалось бы семейной иерархии. Ибо уже много лет назад эта старая структура стала маловажной по сравнению с новыми, возникшими в жизни отношениями и как раз потому и сохранила свою традиционную форму. Зигмунд не только преуспевал как врач, — а врач властвует иначе, чем чиновник, не благодаря чужой силе, а благодаря своему личному умению, он приходит к людям, которые ждут от него помощи и послушно принимают ее! — но и обладал состоятельной женой, подарившей ему за короткое время себя и троих детей, которую он хоть и

не часто, но регулярно, когда это устраивало его, обманывал с другими женщинами. Поэтому его положение вполне позволяло ему дать при желании Вальтеру самоуверенный и надежный совет.

В эту минуту Кларисса снова вышла из дому. Она уже не помнила, о чем говорилось во время их порывистого ухода. Она помнила только, что мастер пустился от нее наутек; но это воспоминание утратило подробности, замкнулось и свернулось. Что-то случилось! С этой единственной мыслью в памяти Кларисса чувствовала себя как человек, только что вышедший из грозы и еще весь, с головы до ног, заряженный чувственной силой. Перед собой, в нескольких метрах от низа маленькой каменной лестницы, она увидела черного-пречерного дрозда с огненно-ярким клювом, поглощавшего толстую гусеницу. Огромная энергия была в этой птице или, может быть, в контрасте ее красок. Нельзя было сказать, что Кларисса при этом о чем-то думала — скорее что-то отвечало ей отовсюду у нее за спиной. Черный дрозд был греховной ипостасью момента насилия. Гусеница была греховной ипостасью бабочки. Обе твари были посланы ей, Клариссе, судьбой как знак, что она должна действовать. Видно было, как дрозд вбирал в себя грехи гусеницы через свой пламенно-оранжевый клюв. Не был ли он «черным гением»? Подобно тому как голубь — это «белый гений»? Не составляли ли эти знаки звеньев цепи? Тот эксгибиционист с этим плотником, с бегством мастера?.. Ни одной из этих мыслей не было в ней в такой развитой форме, они таились в стенах дома, позванные, однако еще держащие свой ответ при себе; но что Кларисса действительно почувствовала, выйдя на лестницу и увидев пожиравшего гусеницу дрозда, так это невыразимое согласие между внутренним фактом и внешним.

Оно каким-то странным образом передалось Вальтеру. Впечатление, возникшее у него, сразу пришло в соответствие с тем, что он называл «призывать бога»; на сей раз он определил это без малейшей неуверенности. Он не мог различить, что происходит в Клариссе, расстояние было слишком велико; но что-то неслучайное увидел он в ее осанке, в том, как она стояла перед миром, в который эта маленькая лестничка спускалась, как ступеньки купальни в воду. Было тут что-то торжественное. Это не была осанка обычной жизни. И он вдруг понял: эту же неслучайность имеет в виду Кларисса, когда говорит: «Этот человек не случайно под моим окном!» Он сам почувствовал, глядя на жену, как входит во все и все наполняет напор каких-то чужедальних сил. В том факте, что он стоял здесь, а Кларисса там, наискось от него, который, произвольно направив взгляд по продольной оси сада, должен был повернуть его, чтобы увидеть Клариссу четко, — даже в этом простом

соотношении немая выразительность жизни вдруг перевесила естественную случайность.

Из обилия теснившихся перед глазами картин выплыло что-то геометрично-линейное и необычное. Так, наверное, было, когда Кларисса в таких почти беспредметных соответствиях, что один стоял под ее окном, а другой был плотником, находила какой-то смысл; факты обладали тогда, видимо, иным, чем обычно, способом прилагаться друг к другу, принадлежали другому целому, которое выпячивало другие их стороны и, вытаскивая таковые из их незаметных укрытий, давало Клариссе право утверждать, что привлекает, притягивает происходящее она сама. Трудно было выразить это трезво, но наконец Вальтер заметил, что это ведь как раз нечто очень родственное тому, что он хорошо знает, а именно — процессу писания картины. Картина тоже неведомым образом исключает всякую краску и линию, несообразные с ее основной формой, ее стилем, ее палитрой, а с другой стороны — вырывает из рук то, что ей нужно, в силу гениальных законов, иных, чем обычные законы природы. В этот миг в нем не было ни следа того округло-благополучного чувства здоровья, которое испытывает порождения жизни на их полезность, как он это еще недавно восхвалял, — скорее он страдал, как мальчик, не осмеливающийся принять участие в игре.

Но Зигмунд был не тот человек, чтобы, взявшись за что-то, быстро это отставить.

— У Клариссы расшатаны нервы, — констатировал он. — Она всегда хотела прошибить головой стенку, и теперь голова ее где-то застряла. Ты должен взяться за нее как следует, даже если она и будет отбиваться!

— Вы, врачи, ничего не смыслите в психологических процессах! — воскликнул Вальтер. Он поискал второй пункт для атаки и нашел его. — Ты говоришь о «знамениях», — продолжал он, и на его раздраженность накладывалась радость, что он мог говорить о Клариссе, — и озабоченно разбираешь, когда знамения — патология и когда — нет! А я скажу тебе: истинное человеческое состояние — это когда все — знамение! Просто все! Может быть, ты и способен взглянуть правде в глаза, но правда никогда не взглянет в глаза тебе. Этого божественно неопределенного чувства ты никогда не узнаешь!

— Да вы же оба сумасшедшие! — сухо заметил Зигмунд.

— Да, конечно, мы сумасшедшие! — воскликнул Вальтер. — Но ты человек нетворческий. Ты не знаешь, что значит «выразить себя», а для художника это вообще равнозначно пониманию! Выражение, которое мы даем вещам, только и развивает нашу способность воспринять их

правильно. Я только и понимаю, чего я хочу или чего хочет другой, когда я это исполняю! Это наш живой опыт в отличие от твоего мертвого! Ты, конечно, скажешь, что это парадокс, смешение причины и следствия, ты, со своей медицинской каузальностью!

Но Зигмунд сказал не это, а только непоколебимо повторил:

— Ей наверняка пойдет на пользу, если ты ее приструнишь. Нервным людям нужна известная строгость.

— А когда я играю на пианино у открытого окна, — спросил Вальтер, как бы не слыша предостережения шурина, — что я делаю? Мимо проходят люди, среди них, может быть, девушки, кто хочет, останавливается, я играю для молодых парочек и одиноких стариков. Есть умные, есть глупые. Ничего разумного я, во всяком случае, им не даю. То, что я играю, совсем не разумно. Я сообщаю им себя. Я невидимо сижу в своей комнате и даю им знаки — несколько нот, и это их жизнь, и это моя жизнь. Ты действительно мог бы сказать, что и это — сумасшествие!..

Вдруг он умолк. Чувство «Ах, уж я-то смог бы сказать кое-что вам всем!» — это главное честолубивое чувство гражданина земли, томимого желанием что-то сообщить и обладающего средними творческими способностями, сникло. Каждый раз, когда Вальтер сидел в мягкой тишине за открытым окном и с гордым сознанием, что он художник, делающий счастливыми тысячи незнакомых людей, выпускал свою музыку в мир, чувство это было похоже на туго натянутый зонтик, и каждый раз, как только он переставал играть, оно становилось дряблым, как зонтик сложенный. Вся легкость тогда уходила, всего, что было, как бы и не бывало, и говорить он тогда мог только что-нибудь вроде того, что, мол, искусство утратило связь с народом и все плохо. Он вспомнил об этом и приуныл. Он боролся с унынием. И Кларисса ведь сказала: надо играть музыку «до конца». Кларисса сказала: понимаешь что-либо лишь до тех пор, пока участвуешь в этом сам! Но ведь Кларисса сказала также: поэтому мы сами должны отправиться в сумасшедший дом! «Внутренний зонтик» Вальтера трепыхался, наполовину закрывшись, на порывистом ветру.

Зигмунд сказал:

— Нервным людям нужно определенное руководство — для их же собственной пользы. Ты сам говорил, что больше не станешь терпеть это. Как врач и мужчина могу дать тебе один и тот же совет: покажи ей, что ты мужчина. Я знаю, что она восстает против этого, но ничего, смиритесь!

Как надежная машина, Зигмунд неустанно повторял полученный им «ответ».

Вальтер, все еще «на порывистом ветру», возразил:

— Эта медицинская переоценка упорядоченной половой жизни вообще устарела! Когда я музицирую, пишу картину или думаю, я оказываю воздействие на ближних и дальних, не отнимая у одних того, что даю другим. Напротив! Позволь сказать тебе, что сегодня нет уже, наверно, ни одной сферы, где человек вправе исходить только из своего мировосприятия! Даже в браке не вправе!

Но более сильное давление было на стороне Зигмунда, и Вальтера ветер отнес к Клариссе, которую он во время этого разговора не выпускал из поля зрения. Ему было неприятно, что о нем можно было сказать, что он не мужчина; он повернулся к этому утверждению спиной, дав ему погнать себя к Клариссе. И на половине пути он почувствовал по своему испуганному оскалу, что должен будет начать с вопроса: «Что означают твои слова о знамениях?!»

Но Кларисса видела, как он приближается. Она видела, как он уже заколебался, еще стоя на месте, потом его ноги были вытащены из земли и понесли его к ней. Кларисса участвовала в этом с диким наслаждением. Дрозд испуганно взлетел, поспешно унося свою гусеницу. Путь был теперь совершенно свободен для притяжения. Но вдруг Кларисса передумала и уклонилась на сей раз от встречи: она медленно пошла к выходу из сада вдоль стены дома, не отворачиваясь при этом от Вальтера, но быстрее, чем он, медливший в нерешительности, вышла из пределов дистанционного управления в пределы доводов и контрдоводов.

27

Агату вскоре открывает для общества генерал Штумм

С тех пор как Агата объединилась с ним, отношения, связывавшие Ульриха с широким кругом знакомых по дому Туцци, отнимали довольно много времени, ибо, несмотря на весну, оживленная в зимний сезон светская жизнь еще не кончилась, и внимание, оказанное Ульриху после смерти его отца, требовало, чтобы он, в свою очередь, не прятал Агату, хотя траур и избавлял их от участия в больших празднествах. Если бы преимуществом, которое давал их траур, Ульрих воспользовался в полном объеме, это даже позволило бы долгое время избегать всякого светского общества и выйти таким образом из того круга, куда он попал лишь по прихоти обстоятельств. Однако с тех пор, как Агата доверила ему свою жизнь, Ульрих действовал наперекор своим чувствам и перекладывал на какую-то часть себя, подогнанную им к традиционному представлению

«обязанности старшего брата», многие решения, от которых его естество воздержалось бы, а то бы даже и отшатнулось. К этим обязанностям старшего брата принадлежала прежде всего мысль, что бегство Агаты из дома мужа должно завершиться не иначе, как в доме лучшего мужа. «Если так пойдет дальше, — обычно отвечал он ей, когда они говорили, что их совместная жизнь требует сделать то-то и то-то, — ты скоро получишь несколько предложений руки или хотя бы сердца». И когда Агата строила какие-нибудь планы больше чем на несколько недель, он возражал: «Да ведь к тому времени все изменится». Это обижало бы ее еще больше, если бы она не замечала разлада брата с самим собой, что и удерживало ее пока от оказания сильного сопротивления, когда он считал полезным всячески расширять светский круг, в котором они вращались. Так и получилось, что после приезда Агаты брат и сестра куда больше втянулись в светскую жизнь, чем то случилось бы с Ульрихом, живи он один.

Это появление вдвоем, после того как долго знали только его и ни разу не слышали от него ни слова о сестре, всех взбудоражило. Началось с того, что к Ульриху как-то снова явился со своим ординарцем, своей полевой сумкой и своей буханкой хлеба генерал Штумм фон Бордвер. Он недоверчиво понюхал воздух. В воздухе стоял какой-то неопиcуемый запах. Затем фон Штумм обнаружил висевший на спинке стула дамский чулок и неодобрительно сказал:

— Ну, ясное дело, эти молодые кавалеры!

— Моя сестра, — объяснил Ульрих.

— Ах, оставь! У тебя же нет сестры! — поправил его генерал. — Мы бьемся над такими важными задачами, а ты прячешься с какой-то девицей!

В тот же миг в комнату вошла Агата, и он растерялся. Увидев семейное сходство и по непринужденности ее появления почувствовав, что Ульрих сказал правду, генерал все-таки не мог отрешиться от мысли, что это любовница Ульриха, правда, как-то непонятно и обманчиво похожая на него.

— Не знаю, что на меня тогда нашло, сударыня, — рассказывал он потом Диотиме, — но я поразился бы, право, не больше, если бы он сам вдруг предстал передо мной снова прапорщиком!

Ибо при виде Агаты, поскольку она ему очень понравилась, Штумм почувствовал то замешательство, в котором он научился видеть признак глубокой взволнованности. Его нежная тучность и чувствительная натура склонялись к поспешному, как бегство, отступлению со столь мудреной позиции, и, несмотря на все попытки задержать его, Ульрих на этот раз мало что узнал о важных заботах, приведших к нему просвещенного

генерала.

— Нет! — корил тот себя. — Нет ничего настолько важного, чтобы из-за этого так мешать людям, как я!

— Да ты нам вовсе не помешал! — заверил его Ульрих с улыбкой. — Чему ты можешь мешать?!

— Нет, конечно нет! — согласился Штумм, и вовсе смутившись. — В известном смысле — конечно нет! Но тем не менее! Знаешь, я приду лучше как-нибудь в другой раз!

— Так скажи хотя бы, прежде чем убегать, зачем ты пришел! — потребовал Ульрих.

— Ничего! Ровно ничего! Сущая мелочь! — бросил Штумм, которому не терпелось удрать. — Кажется, начинается «великое событие»!

— Коня! Коня! Во Францию на судне! — в веселом возбуждении воскликнул Ульрих без видимой связи, Агата взглянула на него удивленно.

— Прошу прощения, — обратился к ней генерал, — сударыня ведь не знает, о чем идет речь.

— Параллельная акция нашла идею, которая увенчает ее, — дополнил Ульрих.

— Нет, — уточнил генерал, — этого я не сказал. Я хотел только сказать, что событие, которого все ждали, начинает возникать!

— Ах, вот как! — сказал Ульрих. — Но ведь это оно делает с самого начала.

— Нет, — серьезно сказал генерал. — Не в том суть. Сейчас в воздухе носится совершенно явное незнание, как быть. Скоро у твоей кузины состоится решающая встреча. Госпожа Докукер...

— Кто это? — прервал его Ульрих, услышав это новое имя.

— Ты совсем отошел от дел! — с сожалением упрекнул его генерал и, чтобы поскорее загладить это, повернулся к Агате. — Госпожа Докукер — это дама, покровительствующая писателю Фейермаулю. Его ты тоже не знаешь? — спросил он, снова поворачивая назад свое круглое тело, поскольку со стороны Ульриха не слышалось подтверждения.

— Знаю. Лирик.

— Стихи, — сказал генерал, недоверчиво уклоняясь от непривычного слова.

— Даже хорошие. И всякие пьесы.

— Этого я не знаю. Да и записи мои не при мне. Но он тот, кто говорит: человек добр. Одним словом, госпожа Докукер покровительствует идее, что человек добр, а это, говорят, идея европейская, и Фейермаулю прочат великое будущее. А муж у нее был всемирно-известный врач, и,

наверно, она хочет сделать знаменитым и Фейермауля. Во всяком случае, есть опасность, что твоя кузина утратит руководящую роль, и та перейдет к салону госпожи Доукер, где и так бывают все знаменитости.

Генерал вытер пот со лба; Ульрих же нашел, что эта перспектива совсем не плоха.

— Ну, знаешь! — осудил его Штумм. — Ты же тоже считаешь свою кузину, как же ты можешь так говорить! Не находит ли и сударыня, что это с его стороны вероломство и неблагодарность по отношению к восхитительной женщине?! — обратился он к Агате.

— Я совсем не знаю свою кузину! — призналась она ему.

— О! — сказал Штумм и прибавил слова, в которых рыцарственные намерения смешались с непреднамеренной нерыцарственностью в темную уступку Агате: — Правда, в последнее время она немного сдала!

Ни Ульрих, ни она ничего на это не ответили, и генералу показалось, что он должен объяснить эти слова.

— И ты знаешь — почему! — многозначительно сказал он Ульриху. Он не одобрял занятий сексологией, отвлекавших ум Диотимы от параллельной акции, и был озабочен тем, что ее отношения с Арнгеймом не улучшились; но он не знал, сколь далеко можно заходить, говоря о таких вещах при Агате, а лицо той принимало все более холодное выражение. Ульрих, однако, спокойно ответил:

— Тебе не продвинуть, пожалуй, дело с нефтью, если у нашей Диотимы не будет ее прежнего влияния на Арнгейма.

Штумм сделал заклинаяще-жалобный жест, словно призывал Ульриха воздержаться от неуместной при даме шутки, но в то же время предостерегающе посмотрел ему прямо в глаза. Он нашел в себе также силу поднять свое неуклюжее тело с юношеской быстротой и оправил мундир. У него еще осталась достаточная доля первоначального недоверия к роли Агаты в этом доме, чтобы бояться выдать ей тайны военного министерства. Лишь в передней, куда его проводил Ульрих, он вцепился в его плечо, хрипло прошептал, улыбаясь: «Ради бога, не выбалтывай государственную тайну!» — и строго-настрого запретил ему упоминать о нефтеносных районах при каком-либо третьем лице, будь то даже его родная сестра.

— Ладно, — заверил его Ульрих. — Но ведь это моя сестра-двойняшка.

— И при двойняшке нельзя! — заверил его генерал, которому и сестра-то показалась слишком недостоверной, чтобы его могла поколебать теперь сестра-двойняшка. — Обещай мне!

— Что толку, — разошелся Ульрих, — если я дам тебе такое обещание? Мы же сиамские близнецы — понимаешь?

Теперь Штумм понял во всяком случае, что Ульрих, на свой манер, никогда не отвечая простым «да», подтрунивает над ним.

— Ты, бывало, шутил удачнее, что за неаппетитная выдумка — утверждать, что такая прелестная женщина, будь она хоть сто раз твоей сестрой, с тобою срослась! — укорил он его. Но поскольку тут вновь пробудилось его недоверчивое беспокойство по поводу уединения, в котором он застал Ульриха, он все-таки прибавил к сказанному и несколько вопросов, чтобы прояснить ситуацию: побывал ли уже у тебя новый секретарь? Был ли ты у Диотимы? Выполнил ли ты свое обещание сходить к Лейнсдорфу? Знаешь ли ты теперь, что происходит между твоей кухней и Арнгеймом? Будучи, конечно, обо всем этом осведомлен, округлый скептик просто проверял правдивость Ульриха, и результат удовлетворил его.

— Ну, так сделай одолжение, не опаздывай на решающее заседание! — попросил он его, застегивая шинель и еще тяжело дыша после борьбы с рукавами. — Я предварительно позвоню тебе и заеду за тобой на своей машине, так будет лучше!

— Когда же состоится эта скучища? — спросил Ульрих без особого энтузиазма.

— Ну, я думаю, недели через две, — сказал генерал. — Мы ведь хотим привести к Диотиме другую партию, но надо, чтобы и Арнгейм присутствовал, а он еще в отъезде. — Он похлопал пальцем по вылезавшему из кармана шипели золотому темляку. — Без него «нам» это не в радость, ты же понимаешь. Но знай, — вздохнул он, — я все равно хочу только одного, — чтобы духовное руководство оставалось за твоей кухней. Мне было бы ужасно неприятно, если бы пришлось приспособливаться к совершенно новой обстановке!

Таким образом, из-за этого визита Ульрих вместе с сестрой вернулся к обществу, которое покинул, когда еще был один, и возобновить свои светские связи ему пришлось бы, даже если бы он этого совсем не хотел, ибо не мог больше ни дня скрываться с Агатой: трудно было предположить, что фон Штумм утаит такое заманчивое для пересудов открытие. Когда «сиамцы» явились с визитом к Диотиме, та оказалась уже осведомленной о столь необычном и сомнительном наименовании, хотя в восторг от него еще не пришла. Ибо она, божественная, знаменитая благодаря высокочтимым и замечательным людям, бывавшим в ее доме, приняла внезапное появление Агаты очень болезненно, потому что родственница,

которая не понравилась бы обществу, угрожала бы ее собственной позиции куда больше, чем какой-либо кузен, а об этой новой кузине она знала так же мало, как когда-то об Ульрихе, что уже само по себе было для нее, всезнающей, немалой досадой, когда ей пришлось признаться в том генералу. Они придумали поэтому для Агаты эпитет «сестра-сирота», отчасти для самоуспокоения, отчасти для превентивного употребления в более широких кругах, и приблизительно под этим знаком она и приняла брата с сестрой. Она была приятно поражена вызванным Агатой впечатлением светского лоска, и Агата — памятуя о своем хорошем монастырском воспитании и подчиняясь своей насмешливо-удивленной готовности принимать все, что ни пошлет жизнь, готовности, за которую она осуждала себя перед Ульрихом, Агата, почти не стремясь к тому, обеспечила себе в этот миг милостивую приязнь могущественной женщины, чьи честолюбивые притязания на величие были ей совершенно непонятны и безразличны. Она смотрела на Диотиму с таким же простодушным удивлением, с каким смотрела бы на гигантскую электростанцию, в непонятную функцию которой — распространять свет — просто не вмешиваешься. А уж будучи однажды завоевана и вдобавок увидев, что Агата всем нравится, Диотима и дальше заботилась о ее светском успехе, делая его, и к своей собственной чести, все большим. «Сестра-сирота» вызвала участливый интерес, начавшийся у более близких знакомых как честное удивление тем, что они никогда ничего о ней не слыхали, и перешедший, когда круг лиц расширился, в ту неопределенную симпатию ко всему поразительному и новому, что связывает княжеские дома и редакции газет.

Тогда-то Диотима, обладавшая эстетикой, способностью инстинктивно выбирать из множества возможностей ту худшую, что обеспечивает успех у публики, и сделала шаг, благодаря которому Ульрих и Агата заняли постоянное место в памяти высшего общества: ее покровительница вдруг и сама очаровалась тем, что услышала вначале, и сразу же, как о чем-то очаровательном, стала рассказывать всем, что ее кузен и кузина, воссоединившиеся при романтических обстоятельствах после разлуки, длившейся чуть ли не всю жизнь, называли себя с тех пор сиамскими близнецами, хотя по слепой воле судьбы были дотоле чем-то прямо противоположным. Почему это так понравилось сперва Диотиме, а потом и всем другим и почему благодаря этому решение брата и сестры жить вместе показалось столь же необычным, сколь и понятным, трудно сказать. Такой уж талантливой руководительницей была Диотима. Во всяком случае, то и другое произошло, показав, что, несмотря на все происки

конкурентов, она все еще сильна своей мягкой силой. Узнав об этом не очередном возвращении, Арнгейм произнес в избранном кругу обстоятельную речь, завершившуюся благоговейной хвалой аристократически-почвенным ценностям. Каким-то образом пошел даже слух, что Агата, которая к брату убежала жила раньше в несчастном браке с одним знаменитым иностранным ученым; а поскольку в задававших тон кругах на развод по помещицкой традиции смотрела тогда косо и перебивались адюльтером, решение Агаты представляло многим старикам в каком-то даже двойном, смешивающем в себе силу воли и назидательность свете возвышенной жизни, который граф Лейнсдорф, особенно благоволивший к близнецам, оценил однажды такими словами: «На сцене представляют всегда такие ужасные страсти. Вот с чего надо бы брать пример Бургтеатру!»

Диотима, в чьем присутствии это случилось, ответила:

— Многие, следуя моде, твердят, что человек добр. Но, познав, как я теперь, путем изучения, передряги половой жизни, понимаешь, как редки такие примеры!

Хотела ли она умерить или усилить похвалу его сиятельства? Она еще не простила Ульриху того, что, с тех пор как он не сказал ей о предстоявшем приезде сестры, называла недостатком доверия; но она гордилась успехом, к которому была причастна, и это смешалось в ее ответе.

28

Избыток веселости

Агата пользовалась преимуществами, открывшимися ей в обществе, с естественным тактом, и ее уверенное поведение в весьма надменном кругу нравилось брату. Годы, когда она была супругой провинциального школьного учителя, как бы спали с нее, не оставив следа. Результат этот Ульрих, однако, пожав плечами, определил пока так: «Высшей аристократии нравится, что нас называют сросшимися близнецами. Она всегда больше интересовалась зверинцами, чем, например, искусством».

В молчаливом согласии они смотрели на все, что происходило, лишь как на интермедию. Следовало бы многое изменить или полностью перестроить в домашнем быте, что было им ясно с первого же дня; но они этого не делали, боясь повторения дискуссии, границ которой нельзя было обозреть заранее. Уступив свою спальню Агате, Ульрих устроился в

гардеробной, где его отделяла от сестры ванная, и большую часть своих шкафов постепенно отдал ей тоже. Соболезнования по этому поводу он отклонил ссылкой на колосник святого Лаврентия; но Агата всерьез и не думала, что нарушила холостяцкую жизнь брата, потому что он уверял ее, что очень счастлив, и потому что она лишь весьма смутно представляла себе доступные ему дотоле степени счастья. Ей нравился теперь этот дом с его небуржуазным устройством, с бесполезным множеством декоративных и подсобных помещений вокруг немногих жилых и теперь переполненных комнат; в доме было что-то от церемонной вежливости прежних времен, беззащитной перед самодовольной нахрапистостью нынешних, но иногда немой протест прекрасных комнат против ворвавшегося в них беспорядка бывал и печален, как печальны порванные и перепутавшиеся струны на темпераментно изогнутой деке. Агата видела тогда, что брат выбрал этот отдаленный от улицы дом отнюдь не без интереса и понимания, как он это пытался изобразить, и старые стены говорили тогда не вполне немым, но и не вполне слышным языком страсти. Но ни она, ни Ульрих не признавались ни в чем, кроме того, что беспорядок доставляет им удовольствие. Они жили неудобно, кормясь со времени вторжения Агаты едой, которую доставляли из соседней гостиницы, и находя во всем повод для несколько чрезмерного веселья, как то бывает на пикнике, когда на травке довольствуешься худшей снедью, чем за столом.

Настоящей прислуги при этих условиях тоже не было. От опытного слуги, которого Ульрих, поселившись в этом доме, нанял на короткое время — ибо то был старик, уже собиравшийся уйти на покой и только дожидавшийся, чтобы уладились какие-то формальности, — нельзя было требовать слишком многого, и Ульрих старался нагружать его как можно меньше; роль же горничной Ульрих должен был исполнять сам, ибо комната, где можно было поместить приличную девушку, находилась еще, как и все прочие, в стадии проекта, а некоторые попытки преодолеть эту трудность ни к чему хорошему не привели. Ульрих, таким образом, делал большие успехи как оруженосец, снаряжая свою рыцаршу для светских побед. К тому же Агата приступила к пополнению своего гардероба, и ее покупки заполнили дом. Поскольку ни планировка, ни меблировка такового не были рассчитаны на даму, у нее появилась привычка пользоваться всем домом как гардеробной, отчего Ульрих волей-неволей знакомился с ее обновами. Двери между комнатами были открыты, его гимнастические снаряды служили манекенами и вешалками, а самого его отрывали, чтобы посоветоваться, от письменного стола, как Цинцинната от плуга. Он мирился с этими срывами его еще не проспавшего рабочего настроения не

просто в надежде, что они раньше или позже кончатся, — они доставляли ему и удовольствие, полное какой-то омолаживающей новизны. Праздная с виду живость сестры потрескивала в его одиночестве, как огонек в холодной печи. Светлые волны милой веселости, темные волны человеческого доверия заполняли комнаты, где он жил, и комнаты эти переставали быть пространством, где он до сих пор просто передвигался по своему произволу. Но в этой неисчерпаемости чьего-то присутствия поражала его прежде всего та особенность, что несметные мелочи, из которых оно состояло, давали в итоге огромную сумму совсем иного рода: нетерпение потерять свое время, это неутолимое чувство, не покидавшее его всю жизнь, какие бы ни выпадали на его долю великие и важные, по общему мнению, вещи, — чувство это, ему на диво, совершенно исчезло, и он впервые любил свою обыденную жизнь совершенно бездумно.

Да, он даже свержувлеченно затаивал дыхание, когда Агата со свойственной женщинам серьезностью в таких делах заставляла его любоваться милой чепухой, ею накопленной. Он делал вид, что его покоряет забавная странность женской природы, которая при равной смысленности чувствительнее мужской и именно потому доступней идее грубого украшения, еще более далекой от логической человечности, чем грубость мужчины. А может быть, она и в самом деле покоряла его. Ибо все эти маленькие, нежно-смешные затеи, с которыми он теперь сталкивался, — украшать себя бисером, завитыми волосами, дурацкими узорами кружев и вышивок, прямо-таки бесстыжей крикливостью красок — эти родственные сусальным звездам прелести, насквозь видные любой умной женщине, но отнюдь не теряющие поэтому для нее своей притягательной силы, начали опутывать его нитями своего сияющего безумия. Ведь все, даже самое нелепое и пошлое, распространяет, если относиться к нему серьезно и ставить себя на один уровень с ним, свой собственный лад и порядок, опьяняющий аромат своего себялюбия, присущую ему волю играть и нравиться. Это изведал Ульрих во время манипуляций, связанных с экипировкой сестры. Он приносил, уносил, восхищался, одобрял, давал, когда просили, советы, помогал при примерках. Он стоял с Агатой перед зеркалом. В наши дни, когда вид женщины напоминает вид хорошо опаленной курицы, уже не требующей особой возни, трудно представить себе ее прежний вид во всей прелести долго удерживаемого аппетита, который ныне смешон: длинная юбка, словно бы пришитая портным к полу и все же каким-то чудом передвигающаяся, заключала сперва тайные легкие юбки, пестрые лепестки из шелка, тихое колыханье которых вдруг переходило потом в

белые, еще более мягкие ткани и лишь через их нежную пену касалось тела; и если эта одежда походила на волны тем, что соединяла какую-то затягивающую заманчивость с чем-то отметающим взгляд, то она была еще и сложной системой препятствий и укреплений вокруг умело обороняемых чудес и, кроме того, при всей своей неестественности, умно задрапированным театром любви, захватывающую дух темень которого освещал лишь слабый свет воображения. Это воплощение подготовки Ульрих ежедневно видел теперь демонтированным, разъятым на части и как бы с изнанки. И хотя женские тайны давно не были для него тайнами, причем именно потому, что он всю жизнь только пробегал через них, как через палисадники или передние, теперь, когда не было ни прохода, ни цели, они приобрели совсем другой смысл. Отдалось напряжение, скрытое во всех этих вещах. Ульриху трудно было бы сказать, какие изменения оно учинило. Он по праву считал себя мужчиной с ярко выраженным мужским началом, и ему казалось понятным, что такому человеку может быть соблазнительно взглянуть на столь часто желанное и с другой стороны, но иногда от этого делалось жутковато, и он со смехом против этого восставал.

— Вокруг меня вдруг словно бы выросли и заперли меня стены женского пансиона! — запротестовал он.

— Это страшно? — спросила Агата.

— Не знаю, — ответил Ульрих.

Потом он назвал ее плотоядным растением, а себя больным насекомым, заползшим в его сверкающую чашечку.

— Ты сомкнула ее вокруг меня, — сказал он, — и вот я сижу среди красок, аромата и блеска и, став уже, вопреки своей природе, частью тебя, жду самцов, которых мы приманим!

И ему бывало действительно не по себе, когда он наблюдал впечатление, производимое на мужчин сестрой, а между тем забота его в том ведь и состояла, чтобы «выдать ее замуж». Он не ревновал — да и на каком основании он мог ревновать?! — ее благополучие было ему важнее собственного, он желал ей поскорее найти достойного человека, чтобы тот освободил ее от переходного состояния, в котором она оказалась из-за разрыва с Хагауэром. И все же когда он видел ее в группе увивавшихся вокруг нее мужчин или когда на улице какой-нибудь мужчина, привлеченный ее красотой, заглядывал ей в лицо, не обращая внимания на ее спутника. Ульрих испытывал какое-то странное чувство. Тогда тоже поскольку простой выход — мужская ревность — был заказан ему, у него часто появлялось ощущение, будто вокруг него замыкается мир, в который он еще не ступал. По своему опыту он знал любовную игру мужчины так

же хорошо, как более осторожные ходы женщины, и, когда видел, как Агата открыта этой игре и делает эти ходы, страдал; ему казалось, что он присутствует при ухаживаньях лошадей или мышей; фыркание и ржание, сложенные трубочкой и растянутые вширь губы, все, с помощью чего чужие люди самодовольно представляют себя друг другу в приятном свете, было противно ему, наблюдавшему за этим без сочувствия, как тяжелый, поднимающийся изнутри дурман. И если он все-таки приравнивал себя к сестре, как то отвечало его глубокой потребности, то иногда он, потом, в смущении от собственной терпимости, чувствовал чуть ли не стыд, — какой испытывает нормальный человек, когда с ним под каким-нибудь предлогом сближается ненормальный. Когда он признался в этом Агате, она рассмеялась.

— Есть ведь и несколько женщин в нашем кругу, которые очень вокруг тебя увиваются, — отвечала она. — Что тут происходило?

Ульрих сказал:

— В сущности это протест против мира!

И еще он сказал:

— Ты знаешь Вальтера. Мы давно не любим друг друга. Но хотя я злюсь на него и знаю, что тоже его раздражаю, у меня часто, когда я просто вижу его, возникает теплое чувство — словно я лажу с ним так великолепно, как на самом деле вовсе не лажу. Видишь ли, очень многое в жизни мы понимаем, не будучи с этим согласны. И быть с кем-нибудь заранее согласным, еще до того как ты понял его, — это потому такая же сказочно прекрасная бессмыслица, как когда вода весной стекает в долину со всех сторон!

И он почувствовал: «Сейчас это так!» — и подумал: «Как только мне удастся избавиться от всякого эгоизма, эгоцентризма, от малейшего некрасиво-равнодушного чувства по отношению к Агате, она вытянет из меня свойства, как магнитная гора гвозди из корабля! Морально я распадусь на атомы, приду в первобытное состояние, в котором не буду ни собою, ни его! Может быть, это и есть божество?!»

Но сказал он только:

— Так забавно смотреть на тебя!

Агата залилась краской и сказала:

— Почему «забавно»?

— Ах, не знаю. Ты иногда стесняешься меня, — сказал Ульрих. — Но потом ты вспоминаешь, что я ведь «только твой брат». А иногда ты как раз не стесняешься, когда я застаю тебя в обстоятельствах, которые очень привлекли бы чужого мужчину, но потом вдруг тебе все-таки приходит в

голову, что это зрелище — не для моих глаз, и ты велишь мне отвернуться...

— А почему это забавно? — спросила Агата.

— Может быть, это счастье — следовать за кем-нибудь взглядом, не зная зачем, — сказал Ульрих, — Это напоминает любовь ребенка к своим вещам. Без умственного бессилия ребенка...

— Может быть, тебе просто забавно, — отвечала Агата, — играть в брата и сестру, потому что игрой в мужчину и женщину ты уже сыт по горло?!

— И это возможно, — сказал Ульрих, следя за ней. — Любовь — это первоначально просто стремление приблизиться, инстинкт хватания. Ее разложили на два полюса, мужской и женский, между которыми возникли сумасшедшие напряжения, торможения, пароксизмы и извращения. Мы сыты сегодня этой раздутой идеологией, которая уже почти так же смешна, как гастрософия. Я убежден, большинство было бы радо, если бы можно было отменить эту связь какого-то там раздражения кожи со всей личностью, Агата! И раньше или позже настанет эра простого сексуального товарищества, когда мальчик и девочка будут с единомышленным непониманием взирать на старую кучу сломанных пружин, которые прежде составляли мужчину и женщину!

— Но заикнись я, что Хагауэр и я были пионерами этой эры, ты бы опять-таки обиделся на меня, — возразила Агата с улыбкой, терпкой, как хорошее неподслащенное вино.

— Я уже ни на что не обижаюсь, — сказал Ульрих. Он улыбался. — Воин, сбросивший латы! Впервые с незапамятных времен он чувствует кожей воздух природы вместо кованого железа и видит, как тело его становится таким усталым и нежным, что его могут унести птицы! — заверил он ее, и, улыбаясь, просто забыв перестать улыбаться, он глядел на сестру, которая сидела на краю стола и болтала ногой в черном шелковом чулке; кроме рубашки, на ней были только короткие штанишки; но это были впечатления как бы оторванные от ее призвания, картинно обособившиеся. «Она мой друг и прелестно играет передо мной роль женщины, — подумал Ульрих. — Какое это реалистическое осложнение, что она действительно женщина!»

И Агата спросила:

— Любви действительно не существует?

— Существует! — сказал Ульрих. — Но она — исключение. Нужно различать. Есть, во-первых, физическое ощущение, относящееся к категории раздражений кожи. Его можно вызвать и без моральных

аксессуаров, даже без всякого чувства, как чистое удовольствие. Затем, во-вторых, существуют обычно эмоции, которые, правда, сильно связаны с физическим ощущением, но все же лишь так, что с незначительными отклонениями они у всех людей одинаковы. Эти главные мгновения любви с их неизбежной одинаковостью я отнес бы скорее все же к физическо-механической области, чем к области души. Но есть, наконец, и собственно душевное переживание любви, только оно вовсе не обязательно причастно к двум другим ее сторонам. Можно любить бога, можно любить мир. Только бога или мир, пожалуй, и вообще можно любить. Во всяком случае, не обязательно любить какого-то человека. Но если уж любишь его, то физическая сторона тянет к себе весь мир, отчего тот как бы выворачивается наизнанку...

Ульрих вдруг умолк.

Агата залилась краской.

Если бы Ульрих выбирал слова с намерением лицемерно сообщить Агате неизбежно связанные с ними представления о процессе любви, он осуществил бы свое желание.

Он стал искать спички, только чтобы как-то разрядить создавшуюся без преднамеренья атмосферу.

— Во всяком случае, — сказал он, — любовь, если это любовь, — исключение и не может служить образцом для обыденной жизни.

Агата схватила концы скатерти и закутала ею ноги.

— Увидь и услышь нас посторонние, уж не стали бы они говорить о каких-то противоестественных чувствах? — спросила она вдруг.

— Глупости! — возразил Ульрих. — Смутное удвоение себя в противоположной природе — вот что чувствует каждый из нас. Я представляю собой мужчину, ты — женщину. Говорят, что каждому свойству в человеке соответствует смутно намеченное или подавленное противоположное свойство. Во всяком случае, если человек не безнадежно самодоволен, он по такому противоположному свойству тоскует. И мой, значит, вышедший на свет антипод ускользнул в тебя, а твой — в меня, и они великолепно чувствуют себя в обменянных телах, просто потому что не слишком высоко ставят свое прежнее окружение и открывавшийся оттуда вид!

Агата подумала: «Обо всем этом он когда-то уже сказал больше. Почему он смягчает?»

То, что говорил Ульрих, подходило, спору нет, к жизни, которую они вели как два товарища, порой, когда общество других людей дает им для этого время, удивляющиеся, что они мужчина и женщина, но в то же время

и близнецы. Если между двумя людьми есть такое согласие, то их отдельные отношения с миром приобретают очарование невидимой укрытости друг в друге, обмена платьем и телами и веселого, спрятанного за двумя разными масками внешности обмана, которым двуединые дурачат тех, кто не подозревает о нем. Но эта игривая и слишком подчеркнутая веселость — так дети иногда поднимают шум, вместо того чтобы просто шуметь! — не подходила к той серьезности, тень которой, падавшая с большой высоты, иногда невольно заставляла молчать их, брата и сестры, сердце. Так и произошло однажды вечером, когда они перед сном случайно еще раз встретились и Ульрих, увидев сестру в длинной ночной рубашке, вздумал пошутить и сказал:

— Если бы мы жили сто лет назад, я бы сейчас воскликнул: «Мой ангел!» Жаль, что это слово вышло из употребления!

Тут он умолк, смущенно подумав: «Не единственное ли это слово, которым мне следовало бы ее называть?! Не подруга, не женщина! Еще говорили: „Небесное создание!“ Наверно, это немного выпендренно, но все же лучше, чем вообще не осмеливаться поверить себе!»

А Агата подумала: «Мужчина в пижаме не кажется ангелом!» Но он казался диким и широкоплечим, и она вдруг устыдилась, пожелав, чтобы это сильное лицо с растрепанными волосами затемнило ей глаза. Она каким-то физически невинным образом чувственно возбудилась; кровь ее мощными волнами пробегала по телу и, забирая всю силу внутри ее, разливалась по коже. Не будучи так фанатична, как брат, она чувствовала то, что чувствовала. Если чувствовала нежность, то чувствовала нежность — не ясность мыслей и не моральную просветленность, хотя в нем она и любила такое несходство с собой, и боялась его.

И снова и снова, изо дня в день, все подытоживая, Ульрих приходил к мысли: в сущности это протест против жизни! Они шагали по городу рука об руку. Подходя друг к другу по росту, подходя друг к другу по возрасту, подходя друг к другу по взгляду на вещи. Шагая бок о бок, они не могли хорошенько видеть друг друга. Высокие, приятные друг другу фигуры, они только от радости выходили на улицу и на каждом шагу чувствовали дыхание своего контакта среди всего чужого вокруг. Мы составляем одно целое! Это чувство, в котором нет ничего необыкновенного, делало их счастливыми, и, наполовину отдаваясь, наполовину сопротивляясь ему, Ульрих сказал:

— Смешно, что мы так довольны тем, что мы брат и сестра. Для всех это самое обычное родство, а мы вкладываем в это что-то особенное?!

Может быть, он обидел ее этим. Он прибавил:

— Но я всегда этого хотел. Мальчиком решил, что женюсь только на женщине, которую удочерю девочкой и воспитаю. Думаю, впрочем, что у многих мужчин бывают такие фантазии, они просто банальны. Но я, будучи взрослым, однажды действительно влюбился в такого ребенка, хотя всего на два или на три часа! — И он продолжил свой рассказ: — Это было в трамвае. В мой вагон вошла девочка лет двенадцати, в сопровождении не то очень молодого отца, не то старшего брата. Она вошла, села, небрежно протянула кондуктору деньги на два билета, как самая настоящая дама — но без тени детской неестественности. Точно так же она говорила со своим спутником или молча слушала его. Она была на диво хороша — смуглая, полные губы, густые брови, чуть курносая. Наверно, темноволосая полька или из южных славян. По-моему, и одежда ее напоминала какой-то национальный костюм, — длинный жакет, узкая талия, небольшой корсар на шнурках и оборки у шеи и на запястьях, — но была по-своему так же совершенна, как все в этой маленькой особе. Может быть, она была албанка? Я сидел слишком далеко, чтобы слышать, как она говорила. Мне бросилось в глаза, что черты ее строгого лица опережали ее возраст и казались совершенно взрослыми. Однако это было лицо не маленькой, как карлица, женщины, а явно ребенка. С другой стороны, это детское лицо отнюдь не было незрелым предвосхищением взрослого. Иногда женское лицо бывает, кажется, завершенным в двенадцать лет, даже духовно оно как бы уже набросано крупными мазками мастера, и поэтому все, что позднее привнесет доработка, только испортит первоначальное великолепие. Можно страстно влюбиться в такую красоту — насмерть и, в сущности, без вожделения. Помню, что я робко оглядывался на других пассажиров, ибо у меня было такое чувство, что всякий порядок вокруг меня рушится. Я вышел потом вслед за ней. Но потерял ее в уличной толпе, — закончил он свой рассказ.

Подождав несколько мгновений. Агата с улыбкой спросила:

— А как согласуется это с тем, что эра любви прошла и остались только сексуальность и товарищество?

— Никак не согласуется! — воскликнул Ульрих со смехом.

Сестра подумала и очень сурово заметила — это прозвучало намеренным повторением его собственных слов... сказанных в вечер их встречи:

— Все мужчины хотят играть в братиков и сестричек. Наверно, в этом действительно есть какой-то дурацкий смысл. Братик и сестричка говорят друг другу «отец» и «мать», когда они под хмельком.

Ульрих опешил. Агата была не просто права: одаренные женщины —

беспощадные наблюдательницы мужчин, которых они любят, только у них нет никаких теорий, и поэтому они не пользуются своими открытиями, кроме как в раздражении. Он почувствовал себя несколько обиженным.

— Это, конечно, уже объяснено психологически, — сказал он, помедлив. Совершенно очевидно также, что мы с тобой психологически подозрительны. Кровосмесительные наклонности, обнаруживающиеся в детстве также рано, как антисоциальные задатки и протест против жизни. Может быть даже, недостаточно твердая однополость, хотя я...

— Я тоже нет! — прервала его Агата и опять засмеялась — впрочем, нехотя. — Мне совсем не нравятся женщины.

— Все равно, — сказал Ульрих. — Во всяком случае, потроха психики. Можешь также сказать, что есть такая султанская потребность обожать и быть обожаемым в полном одиночестве и отрыве от остального мира. На древнем Востоке отсюда возник гарем, а сегодня для этого есть семья, любовь и собака. А я могу сказать, что стремление обладать человеком так единолично, чтобы другой и подступиться не мог, есть признак личного одиночества в человеческом обществе, редко отрицаемый даже социалистами. Если ты выглянешь на это так, то мы не что иное, как пример буржуазной распущенности. Взгляни, какая прелесть!.. — прервал он себя и потянул ее за руку выше локтя.

Они стояли у края маленького рынка среди старых домов. Вокруг неоклассической статуи какого-то гиганта духа были разложены разноцветные овощи, раскрыты большие дерюжные зонты над прилавками, пересыпали фрукты, перетаскивали корзины, прогоняли собак от выставленного на продажу великолепия, мелькали красные лица грубого люда. Воздух гремел и звенел деловито взволнованными голосами и пахнул солнцем, льющим свой свет на всякую всячину на земле.

— Как не любить мир, если просто видишь его и слышишь его запахи?! — воодушевленно спросил Ульрих. — И мы не можем его любить, потому что не согласны с тем, что творится в головах его жителей... — прибавил он.

Такая оговорка была совсем не во вкусе Агаты, и она не ответила. Но она прижалась к руке брата; и оба поняли это так, как если бы она ласково прикрыла ему рот ладонью.

Ульрих сказал со смехом:

— Я ведь и сам себе не нравлюсь! Это следствие того, что всегда находишь какие-то недостатки в людях. Но и я должен же быть способен что-то любить, и вот тут-то сиамская сестра, не являющаяся ни мной, ни самой собой и являющаяся в такой же мере мною, как самую собой, это

явно единственная точка, где пересекается все!

Он снова повеселел. И обычно его настроение захватывало Агату. Но так, как в первую ночь после ее приезда или раньше, они не говорили уже никогда. Это исчезло, как воздушные замки из облаков: когда они громоздятся не над пустынной местностью, а над полными жизни городскими улицами, в них не веришь по-настоящему. Причину следовало, может быть, искать в том, что Ульрих не знал, какую степень прочности он вправе приписывать ощущениям, его волнующим; но Агате часто казалось, что он видит в них только распушенность фантазии. А доказать ему, что это не так, она не могла: ведь она всегда говорила меньше, чем он, она не умела, да и не пыталась выразить это. Она чувствовала только, что он уклоняется от решения, а уклоняться не должен. Так они, в сущности, прятались оба в своем забавном счастье без глубины и без тяжести, и Агата делалась от этого с каждым днем грустнее, хотя она и смеялась так же часто, как брат.

29

Профессор Хагауэр берет за перо

Но это изменилось из-за супруга Агаты, о чьем существовании они меньше всего думали.

Однажды утром — и то утро положило конец этим дням радости — она получила тяжелое, канцелярского формата письмо, запечатанное большой круглой желтой облаткой с белыми литерами штампа кайзеровско-королевской гимназии имени императора Рудольфа в городе ***. Мгновенно, еще когда она держала нераспечатанный конверт в руке, из ничего, возникли дома — трехэтажные, с немymi зеркалами ухоженных окон; с белыми термометрами снаружи, на коричневых рамах, по одному на каждом этаже, чтобы определять погоду; с греческими фронтонами и барочными раковинами над окнами, с выступающими из стен головами и такими же мифологическими стражами, выглядящими так, словно их изготовили в мастерской краснодеревщика и выкрасили под камень. Бурые и мокрые, шли по городу улицы с такими же разъезженными колеями, с какими вошли в него в виде проселков, и лавки, стоявшие по обеим сторонам с новехонькими витринами, выглядели все-таки как дамы тридцать лет назад, которые подбирали свои длинные юбки и не решались сойти с тротуара в грязь проезжей части улицы. Провинция в голове у Агаты! Призраки в голове у Агаты! Непонятная неполнота исчезновения,

хотя она думала, что навсегда избавилась от этого! Еще непонятнее — что она когда-либо была с этим связана! Она видела путь, ведущий от двери их дома вдоль стен знакомых домов к школе, который четырежды в день проделывал ее супруг Хагауэр, путь, которым вначале часто ходила и она, провожая Хагауэра на службу, во времена, когда она старалась не пронести мимо рта ни капли своего горького лекарственного напитка. «Теперь Хагауэр, наверно, ходит обедать в гостиницу? — спрашивала она себя. — Отрывает ли он теперь листки от календаря, как я это делала каждое утро?» Все это вдруг снова приобрело такую бессмысленную актуальность и остроту, словно никогда не могло умереть, и она с тихим ужасом видела, как в ней пробуждается хорошо знакомое чувство запуганности, состоявшее из равнодушия, из потерянной отваги, из пресыщенности безобразным и из ощущения собственной ненадежной эфемерности. С какой-то даже жадностью вскрыла она толстое письмо, присланное ей ее супругом.

Когда профессор Хагауэр после похорон тестя и краткого пребывания в столице вернулся туда, где жил и работал, его окружение приняло его в точности так, как всегда после его недолгих поездок; он окунулся в него с приятным сознанием, что сделал дело как следует и теперь меняет дорожные башмаки на домашние туфли, в которых вдвое лучше работается. Он отправился в свою школу; привратником он был встречен почтительно; встречаясь с учителями, ему подчиненными, он чувствовал, что ему рады; в директорской его ждали деловые бумаги и вопросы, с которыми никто не осмелился разделаться в его отсутствие; когда он спешил, шагая по коридорам, его сопровождало чувство, что его поступь окрыляет все здание. Готлиб Хагауэр был личностью и знал это; воодушевление и благодушие сияли у него на лице, озаряя подвластное ему учебное заведение, а когда у него спрашивались вне школы о том, как поживает и где пребывает его супруга, он отвечал с невозмутимостью человека, знающего, что он женат самым почтенным образом. Известно, что существо мужского пола, пока оно способно к деторождению, воспринимает краткие перерывы в браке как снятие с него легкого ярма, даже если не связывает с этим никаких интриг, и, по истечении отдыха, взваливает на себя свое счастье со свежими силами. Так и Хагауэр принимал отсутствия Агаты поначалу без всяких подозрений и на первых порах даже не замечал, как долго нет жены.

Обратил его внимание на это и правда лишь тот самый отрывной календарь, что из-за своих убывающих изо дня в день листков сделался в памяти Агаты страшным символом жизни; он висел в столовой несуразной заплатой на стене, новогодний подарок писчебумажной лавки, так и

оставшийся здесь с тех пор, как Хагауэр принес его из школы домой, и Агата не только терпела его за его безотрадность, но даже содержала в порядке. Это оказалось бы вполне в натуре Хагауэра, если бы он после отъезда жены стал отрывать листки сам, ибо обрывать часть стены как бы на запустение было противно его привычкам. Но, с другой стороны, он был из тех, кто всегда знает, на каком градусе недели и месяца находится он в море бесконечности, а кроме того, у него имелся и календарь в канцелярии школы, и, наконец, как раз тогда, когда он все-таки уже поднял было руку, чтобы упорядочить изменение времени в своем доме, он почувствовал какую-то странную, улыбчивую заминку, один из тех импульсов, которыми, как позднее и оказалось, заявляет о себе судьба, но который он принял сначала всего лишь за нежный, рыцарский порыв, удививший его и наполнивший удовлетворением самим собой; он решил до возвращения Агаты, в знак почтения и памяти, не прикасаться к листку того дня, когда она покинула дом.

Так настенный календарь стал со временем гнойной раной, при каждом взгляде на нее напоминавшей Хагауэру, как долго уже избегает дома жена. По свойственной ему бережливости в чувствах и в быту он писал ей открытки, в которых давал Агате знать о себе и постепенно все настойчивее спрашивал ее, когда она возвратится. Ответов он не получал. Вскоре он уже не сиял, когда знакомые соболезнующе спрашивали его, надолго ли еще задержат супругу ее скорбные обязанности, но, на его счастье, он всегда был занят по горло, поскольку каждый день, помимо школьных дел и забот разных ферейнов, в которых он состоял, приносил ему по почте и множество приглашений, запросов, свидетельств одобрения, нападок, корректур, журналов и важных книг. Бременная ипостась Хагауэра хоть и жила в провинции, будучи частью удручающего впечатления, какое та способна была произвести на проезжего и постороннего, однако дух его чувствовал себя как дома в Европе, и это долго мешало ему понять все значение отсутствия Агаты. Но однажды среди почты оказалось письмо от Ульриха с сухим сообщением, что Агата не собирается возвращаться к нему и просит его дать согласие на развод. Письмо это, несмотря на его вежливую форму, было так решительно и коротко, что Хагауэр возмущенно понял: Ульрих заботился о его, получателя, чувствах не больше, чем если бы стряхивал с листка какую-нибудь козявку. Первая его оборонительная реакция была: не принимать всерьез, какой-то каприз! Новость казалась кривляющимся призраком среди дневной ясности множества неотложных работ и почетного потока похвал. Лишь вечером, вернувшись в свою пустую квартиру, Хагауэр сел за письменный стол и с достойной

краткостью ответил Ульриху, что самое лучшее — считать, что тот никакого письма не писал. Но от Ульриха вскоре пришло другое письмо, где тот, отвергая эту точку зрения, повторял, без ведома Агаты, ее желание и лишь с чуть более вежливой обстоятельностью просил Хагауэра всячески упростить необходимые юридические шаги, как то подобает человеку его моральной высоты и желательно во избежание всяких непристойностей публичного спора. Теперь Хагауэр уразумел серьезность положения и дал себе три дня сроку, чтобы найти ответ, в котором ничто не вызывало бы потом ни недовольства, ни сожалений.

Два дня из этих трех он страдал от чувства, будто кто-то нанес ему удар в сердце. «Дурной сон!» — говорил он себе жалобно и, стоило ему чуть распусться, забывал верить в реальность того, о чем его просили. В течение этих дней в груди его ныло глубокое беспокойство, очень похожее на оскорбленную любовь и усугублявшееся неопределимой ревностью, направленной не столько против какого-то любовника, которого он считал причиной поведения Агаты, сколько против чего-то непонятного, чего-то такого, что, как он чувствовал, оттеснило его. Это вызывало стыд, сходный с тем, какой испытывает очень аккуратный человек, что-нибудь разбив или забыв: нечто, прочно занимавшее в уме с незапамятных времен определенное место, которого уже не замечаешь, но от которого зависит многое, вдруг разломалось. Бледный и обескураженный, в настоящей муке, — не надо недооценивать ее оттого, что в ней не было красоты, — слонялся Хагауэр, избегая людей, страшаясь объяснений, которые пришлось бы давать, и стыда, который пришлось бы вынести. Лишь на третий день в его состоянии появилась наконец твердость. Хагауэр испытывал к Ульриху такую же большую естественную неприязнь, как тот к нему, и хотя до сих пор это никогда по-настоящему не обнаруживалось, теперь это вдруг проявилось в том, что всю вину за поведение Агаты, которой, видимо, совсем заморочил голову ее по-цыгански неистовый брат, он интуитивно приписал шурина; он сел за письменный стол и немногословно потребовал немедленного возвращения жены, твердокаменно заявив, что все остальное он, как ее супруг, будет обсуждать только с ней.

От Ульриха пришел такой же короткий и твердокаменный отказ.

Тогда Хагауэр решил воздействовать на саму Агату; он снял копии со своей переписки с Ульрихом, приложил к ним длинное, тщательно обдуманное послание, и все это в совокупности и увидела перед собой Агата, когда вскрыла большой, запечатанный казенной облаткой конверт.

У самого Хагауэра было такое чувство, что всего этого, грозившего произойти, вообще не может быть. Придя со службы, он сидел вечером в

«опустелом доме» над листом почтовой бумаги, как некогда Ульрих, и не знал, как начать. Но в жизни Хагауэра уже не раз оправдывал себя хорошо известный «способ пуговиц», и он воспользовался им и сейчас. Способ этот состоит в том, что на свои мысли оказывают методическое воздействие, даже и при задачах весьма волнующих; подобным образом человек пришивает пуговицы к одежде, потому что он на поверку только терял бы время, если бы возмнил, что без них быстрее раздевался бы. Английский писатель Серуэй, например, чьей работой об этом воспользовался Хагауэр, потому что даже в горе ему было любопытно сравнить ее с собственными взглядами, различает в успешном процессе мышления пять таких пуговиц: а) наблюдения над явлением, трудность и истолковании которого непосредственно ощущаешь; б) более узкое ограничение и определение этих трудностей; в) предположение насчет возможного решения; г) логические выводы из этого предположения; д) дальнейшее наблюдение, чтобы принять или отклонить их, и, таким образом, успех мыслительного процесса. Аналогичный метод Хагауэр уже удачно применил к такому светскому занятию, как лаун-теннис, изучая эту игру в клубе государственных служащих, благодаря чему она и приобрела в его глазах немалую интеллектуальную прелесть, но в чисто эмоциональных делах он этим методом еще ни разу не пользовался; ведь его каждодневная душевная жизнь состояла преимущественно из профессиональных отношений, а при обстоятельствах более личного характера — из того «нормального чувства», которое представляет собой смесь всех возможных в данном случае у белой расы и находящихся в обращении чувств с известным упором на те, что по локальным, профессиональным или сословным причинам запрашиваются прежде всего. Применять пуговицы к необычному желанию жены развестись с ним приходилось поэтому без достаточной тренировки, а что касается «нормального чувства», то при трудностях, касающихся тебя лично, оно обнаруживает тенденцию раскалываться надвое. С одной стороны, оно говорило Хагауэру, что такой идущий в ногу со временем человек, как он, по многим причинам обязан не чинить, препятствий ничьей воле к разрыву отношений, основанных на взаимном доверии; но с другой стороны, если не хочешь, то оно говорит и много такого, что освобождает от этого обязательства, ибо нынешнее легкомыслие в подобных делах одобрить никак нельзя. В таком случае, это Хагауэр знал, современный человек должен «расслабиться», то есть рассеять свое внимание, принять свободную позу и прислушаться к тому, что донесется при этом из сокровенных глубин его нутра. Он осторожно остановил свои размышления, устался на осиротевший календарь и

прислушался к себе; и правда, через несколько мгновений голос изнутри, из глубин подсознания, ответил ему в точности то, что он уже полагал: голос сказал, что он, в конце концов, совершенно не обязан считаться с таким необоснованным требованием Агаты.

Но тем самым ум профессора Хагауара уже нечаянно пронесся к серуэйевским пуговицам от а) до е) или к какому-то эквивалентному ряду пуговиц и, оживившись, остро ощущал трудности истолкования наблюдаемого им явления. «Виноват ли я, Готлиб Хагауэр, — спросил себя Хагауэр, — в этом неприятном происшествии?» Он проверил себя и не нашел ни одного промаха в собственном поведении. «Не в том ли причина, что она любит другою человека?» — продолжил он поиски возможного решения. Но ему оказалось трудно предположить это, ибо, когда он заставил себя посмотреть на все объективно, обнаружилось, что вряд ли другой мужчина способен был предложить Агате что-либо лучшее, чем он. Тем не менее, поскольку вопрос этот мог быть затуманен личным тщеславием скорее, чем всякий другой, Хагауэр рассмотрел его самым тщательным образом; при этом ему открылись аспекты, о которых он никогда прежде не думал, и вдруг Хагауэр почувствовал, что достиг пункта с) по Серуэю, напав на след возможного решения, который вел дальше через d) и е): впервые со времени женитьбы ему вспомнился комплекс явлений, наблюдаемых, насколько он знал, только у женщин, у которых любовь к противоположному полу не бывает ни глубокой, ни страстной. Ему стало обидно, что в его памяти не нашлось ни одного доказательства той полной, открытой, мечтательно-безоглядной самоотдачи, изведенной им прежде, в холостые годы, у женщин, чье распутство не подлежало сомнению, но это дало ему то преимущество, что теперь он с полным научным спокойствием исключил разрушение своего супружеского счастья третьим лицом. Поведение Агаты сводилось тем самым к чисто личному бунту против этого счастья, а поскольку и уехала-то она без малейших предвестий случившегося, да и никакой основательной перемены планов за такое короткое время отсутствия произойти не могло, Хагауэр пришел к убеждению, ставшему теперь окончательным, что непонятное поведение Агаты объяснимо лишь как один из тех постепенно назревающих мятежей против жизни, которые, как говорят, случаются у натур, не знающих, чего они хотят.

Но была ли Агата действительно такой натурой? Это следовало еще выяснить, и Хагауэр стал задумчиво ерошить усы кончиком ручки. Она хоть и производила обычно впечатление «уживчивого товарища», как он это называл, но даже в вопросах, чрезвычайно занимавших его, проявляла

большую безучастность, чтобы не сказать вялость! По существу в ней было что-то, не гармонизировавшее ни с ним, ни с другими людьми, ни с их интересами, но и не вступавшее с ними в конфликт; ведь она и смеялась, и становилась серьезной, когда это было уместно, но, если хорошенько задуматься, все эти годы казалась всегда какой-то рассеянной. Она как бы и слушала то, что ей говорили или растолковывали, и в то же время как бы не верила этому. Она казалась ему, если разобраться, прямо-таки патологически равнодушной. Иногда можно было подумать, что она вообще не замечает своего окружения... И вдруг перо его, прежде чем он дал себе в этом отчет, забегало по бумаге, выделявая характерные повороты. «Бог знает что творится у тебя в голове, — писал он, если ты считаешь, что ты слишком хороша, чтобы любить жизнь, которую я могу тебе предложить и которая, при всей скромности, является чистой и полной жизнью. Ты всегда прикасалась к ней как бы каминными щипцами, так мне теперь кажется. Ты отвернулась от богатства человечности и нравственности, которое способна предложить и скромная жизнь, и даже предположи я, что ты по какой-то причине почувствовала свое право на это, ты все равно продемонстрировала бы отсутствие нравственной воли к каким-либо переменам, предпочтя им решение искусственное и фантастическое!»

Он стал обдумывать это еще раз. Он мысленно перебирал учеников, прошедших через его воспитательские руки, чтобы найти случай, который мог бы его надоумить; но прежде чем он по-настоящему погрузился в это занятие, ему сама собой пришла на ум недостававшая часть рассуждения, отсутствие которой он до сих пор замечал со смутной неловкостью. С этого момента Агата перестала быть для него совершенно индивидуальным случаем, к которому нельзя подходить с общими мерками; ибо стоило ему подумать, сколь многим готова она пожертвовать, не будучи ослепленной какой-то особенной страстью, как он, на радость себе, неукоснительно приходил и основополагающему, известному современной педагогике тезису, что у нее нет способности к сверхсубъективному мышлению и прочного духовного контакта с окружающим миром! Он быстро написал: «Вероятно, ты и теперь совершенно не сознаешь, что ты затеяла; но я предостерегаю тебя, пока ты не приняла окончательного решения! Ты, может быть, представляешь собой полнейшую противоположность тому типу людей, к которому принадлежу я сам, — обращенных к жизни и сведущих в ней, но именно поэтому тебе не следует легкомысленно лишать себя той опоры, какой являюсь я для тебя!» Хотел, собственно, Хагауэр написать нечто другое. Ведь ум человека — не обособленная, не

оторванная от прочих его качеств способность, недостатки ума влекут за собой нравственные недостатки, говорят же о моральной тупости! — и наоборот, нравственные недостатки, что, впрочем, замечают реже, в состоянии направить в угодном им направлении или ослепить ум! Хагауэр, стало быть, мысленно видел перед собой некий законченный тип, который он, на основе уже имеющихся определений, более всего склонен был обозначить как «достаточно умную в целом разновидность моральной глупости, проявляющейся лишь в определенных аномалиях поведения». Только он не решился применить этот содержательный оборот, отчасти потому, что не хотел еще больше раздражать свою сбежавшую супругу, отчасти потому, что неспециалист, как правило, превратно понимает такие определения, когда они относятся к нему. Объективно же было теперь точно установлено, что в целом все эти аномалии входят в разряд умственной ущербности, и в конце концов Хагауэр нашел выход из этого конфликта между совестью и рыцарственностью, поскольку замеченные у его жены аномалии можно было ведь, ввиду их связи с широко распространенной отсталостью женщин, определить и как социальное слабоумие! Стоя на том, он и закончил свое письмо на высокой ноте. С пророческой яростью отвергнутого любовника и педагога описал он Агате опасную асоциальность ее чуждой духу коллективизма натуры как «отрицательную вариацию», которая не способна решать проблемы активно и творчески, как того требует «нынешний век» от «людей, идущих с ним в ногу», и, умышленно замкнувшись в себе, «отгородившись от действительности стеклянной стеной», упорно пребывает на грани опасной патологии. «Если тебе что-то во мне не нравилось, ты должна была противодействовать этому, — писал он, — но правда состоит в том, что твой ум не выдерживает энергии нашего века и уклоняется от его требований. Я предостерег тебя от твоего характера, — заключил он, — и повторяю, что ты больше других нуждаешься в надежной опоре. В твоих собственных интересах настаиваю на немедленном твоём возвращении и заявляю, что ответственность, которую я несу как твой муж, запрещает мне уступить твоему желанию».

Прежде чем подписать это письмо, Хагауэр прочел его еще раз, нашел, что рассматриваемый в нем психологический тип описан очень неполно, но ничего не изменил и только в конце — отдуваясь через усы от непривычного, с гордостью сделанного усилия подумать о жене и размышляя, сколь многое еще следовало бы, в сущности, сказать по поводу «нового времени», — только в конце, там, где стояло слово «ответственность», вставил рыцарственный оборот насчет драгоценного

посмертного дара досточтимого батюшки.

Когда Агата все это прочла, произошла странная вещь: содержание этих рассуждений задело ее за живое. Еще раз прочитав письмо стоя, — она так и не присела, распечатав конверт, — Агата медленно опустила листки и протянула их Ульриху, который с удивлением наблюдал, как волновалась сестра.

30

Ульрих и Агата ищут причину постфактум

И теперь, пока читал Ульрих, Агата обескураженно наблюдала за его мимикой. Он склонил голову над письмом, и лицо его, казалось, не знало, какое принять выражение — насмешливое, серьезное, огорченное или презрительное. Сейчас на нее опускался тяжелый груз; он наваливался со всех сторон, словно воздух сгустился до невыносимой духоты, после того как ушла царившая дотоле неестественно прекрасная легкость; впервые совесть Агаты угнетало то, что она сделала с завещанием отца. Но было бы неверно сказать, что она вдруг поняла в полной мере, в чем она провинилась в действительности; действительную меру своей вины она скорее почувствовала в отношении ко всему, в том числе к брату, и чувство это было неопишимо трезвым. Все, что она сделала, показалось ей непонятным. Она говорила об убийстве мужа, она подделала завещание, она перебралась к брату, не спрашивая, не нарушает ли она этим его жизнь. Она сделала это в опьянении, в разгуле фантазии. И особенно устыдило ее сейчас то, что ей и в голову не приходила естественно напрашивавшаяся тут мысль, ибо любая другая женщина, избавившаяся от нелюбимого мужа, будет искать лучшего или вознаградит себя, предприняв нечто другое, но столь же естественное. Даже Ульрих довольно часто на это указывал, но она не обращала внимания. И вот она стояла и не знала, что он скажет. Ее поведение казалось ей настолько похожим на действия существа и правда не вполне вменяемого, что она признавала правоту Хагауэра, по-своему показавшего ей, что она за птица; и его письмо в руке Ульриха вызывало у нее такой же ужас, какой может вызвать у подсудимого письмо от его прежнего учителя, где тот выражает ему свое презрение. Конечно, она никогда не поддавалась влиянию Хагауэра; тем не менее ощущение было такое, словно он вправе был ей сказать: «Я ошибся в тебе!» — или: «К сожалению, я никогда не ошибался в тебе и всегда чувствовал, что ты плохо кончишь!» Чтобы стряхнуть с себя это смешное и горькое ощущение, она

нетерпеливо прервала Ульриха, который все еще внимательно читал и, казалось, никак не мог дочитать письмо.

— Он описывает меня по сути довольно верно, — бросила она как бы равнодушно, но все-таки тоном вызова, явно выдававшим желание услышать обратное. — И хотя он так не говорит, это правда: либо я была невменяема тогда, когда вышла за него без важной причины, либо я невменяема теперь, когда опять-таки без причины ухожу от него.

Ульрих, в третий раз читавший сейчас те места, которые делали его воображение невольным свидетелем ее близости к Хагауэру, рассеянно пробормотал что-то невразумительное.

— Да послушай же! — попросила его Агата. — Разве я, современная женщина, занятая какой-либо хозяйственной или умственной деятельностью? Нет. Влюбленная женщина? Тоже нет. Добрая, все сглаживающая и упрощающая, вьющая гнездо супруга и мать? Вот уж нет. Что же остается? Зачем я, стало быть, существую на свете? Общество, в котором мы вращаемся, скажу тебе прямо, мне, в сущности, глубоко безразлично. И пожалуй, я вполне могла бы обойтись без всего, чем восхищаются в музыке, литературе и искусстве образованные люди. Хагауэр, например, не мог бы. Ему нужно это хотя бы для цитат и ссылок. У него всегда есть, по крайней мере, удовлетворенность аккуратного коллекционера. И прав ли он поэтому, когда упрекает меня за то, что я ничего не делаю, за то, что отворачиваюсь от «богатства красоты и нравственности» и за то, что могу надеяться разве только на сочувствие и снисходительность профессора Хагауэра?!

Ульрих вернул ей письмо и с самообладанием ответил:

— Взглянем фактам в лицо. Ты действительно, так сказать, социально слабоумна!

Он улыбнулся, но в тоне его чувствовалась раздраженность, оставшаяся от знакомства с этим интимным письмом.

Но Агата была недовольна таким ответом. Он огорчил ее еще больше. С робкой насмешкой она спросила:

— Почему же, если так, ты, ничего не сказав мне, настаивал на том, чтобы я получила развод и потеряла своего единственного защитника?

— Ах, может быть, потому, — уклончиво ответил Ульрих, — что так чудесно, так замечательно просто говорить друг с другом по-мужски. Я стукнул по столу кулаком, он стукнул по столу кулаком. Конечно, потом мне пришлось стукнуть по столу с удвоенной силой. Вот почему, наверно, я сделал это.

До сих пор Агата, хоть она сама и не замечала этого из-за своей

удрученности, все-таки очень, даже неистово радовалась, что брат тайком сделал прямо противоположное той линии, которой он внешне держался в пору их шаловливого флирта; ведь обидел Хагауэра он, по-видимому, лишь для того, чтобы воздвигнуть позади нее преграду, исключаящую какую бы то ни было возможность вернуться назад. Но теперь и на месте этой утраченной скрытой радости зияла пустота, и Агата умолкла.

— Мы не должны недооценивать тот факт, — продолжал Ульрих, — что Хагауэру по-своему удастся попадать не понимая тебя, в самую, так сказать, точку. Берегись, он на свой лад, без частного детектива, просто начав размышлять о слабостях твоего отношения к, человечеству, еще выяснит, что ты сделала с отцовским завещанием. Как нам тогда тебя защитить?

Впервые с тех пор, как они опять оказались вместе, у них, таким образом, зашла речь о злосчастно-счастливой каверзе, которую устроила Агата Хагауэру. Она резко пожала плечами и сделала неопределенное отстраняющее движение.

— У Хагауэра, конечно, есть права, — мягко, но настойчиво напомнил ей Ульрих.

— У него нет прав! — возразила она, волнуясь.

— Он прав отчасти, — уступил Ульрих. — В такой опасной ситуации мы должны прежде всего взглянуть фактам в лицо. То, что ты сделала, может привести нас обоих в тюрьму.

Агата посмотрела на него испуганно раскрытыми глазами. По сути она ведь знала это, но еще ни разу это не говорилось так твердо.

Ульрих ответил успокоительным жестом.

— Это еще не самое худшее, — продолжал он. — Но как отвести от того, что ты сделала, и от способа, каким ты это сделала, упрек в... — Он искал подходящего выражения и не нашел его. — Ну, скажем просто, что это немножко похоже на то, о чем говорит Хагауэр. Что это тяготеет к теневой стороне, к ущербности, к области неверных шагов, вызванных каким-то органическим недостатком? Хагауэр — это голос мира, хотя и смешно звучащий в его, Хагауэра, устах.

— Теперь на очереди портсигар, — робко сказала Агата.

— Да, теперь он на очереди, — ответил Ульрих с упорством. — Я должен сказать тебе одну вещь, которая меня уже давно угнетает.

Агата не хотела, чтобы он говорил.

— Не лучше ли все это отставить?! — спросила она. — Может быть, мне следовало бы поговорить с ним по-хорошему и предложить ему какое-нибудь извинение?

— Поздно. Он мог бы теперь воспользоваться этим как средством заставить тебя вернуться к нему, — объяснил Ульрих.

Агата промолчала.

Ульрих заговорил о портсигаре, который крадет в гостинице состоятельный человек. По теории Ульриха, для такого преступления против собственности могут быть только три причины: нужда, профессия или, если то и другое отпадает, психическое расстройство.

— Когда мы однажды говорили об этом, ты возразила, что это можно сделать и по убеждению, — добавил он.

— Я сказала, что можно просто взять и сделать это, — поправила его Агата.

— Ну, да, из принципа.

— Нет, не из принципа!

— То-то и оно! — сказал Ульрих. — Делая такую вещь, надо по меньшей мере связать с этим какое-то убеждение! От этого никуда не уйти! Ничего не делают «просто так». Всегда есть какие-то причины, либо внешние, либо внутренние. Их, может быть, трудно отделить друг от друга, но об этом мы не будем сейчас философствовать. Я только говорю: если ты считаешь верным нечто совершенно беспричинное или если твое решение возникает как бы из ничего, ты навлекаешь на себя подозрение в том, что ты болен или не в себе.

Это было, конечно, гораздо больше и хуже того, что Ульрих собирался сказать; с его тревогами сказанное совпадало лишь в направлении.

— Это все, что ты можешь сказать мне об этом? — сухо спросила Агата.

— Нет, не все, — ответил Ульрих сердито. — Если нет причины, надо искать ее!

Ни у него, ни у нее не было сомнений по поводу того, где им искать ее. Но Ульрих хотел чего-то другого и после короткого молчания задумчиво сказал:

— С того момента, как ты покинул пределы согласия с другими людьми, ты уже вовеки не будешь знать, что хорошо и что плохо. Если ты хочешь быть хорошим, значит, ты должен быть убежден, что мир хорош. А мы с тобой в этом не убеждены. Мы живем в эпоху, когда мораль либо разлагается, либо корчится в судорогах. Но ради мира, который еще может прийти, надо держать себя в чистоте!

— Неужели ты веришь, что это как-то повлияет на то, придет он или нет? — возразила Агата.

— Нет, к сожалению, я в это не верю. Верю разве что так: если те

люди, которые видят это, не будут поступать правильно, то он уж наверняка не придет и распад приостановить не удастся.

— А что тебе от того, будет ли через пятьсот лет все по-другому или не будет?!

Ульрих помедлил.

— Я выполняю свой долг, понимаешь? Может быть, как солдат.

Вероятно, дело было в том, что в это несчастное утро Агата нуждалась в ином, более нежном утешении, чем то, которое дал ей Ульрих; она ответила:

— В конечном счете, может быть, как твой генерал?!

Ульрих промолчал.

Агата не могла остановиться.

— Ты же вовсе не уверен, что это твой долг, — продолжала она. — Ты делаешь так потому, что таков уж ты, и потому, что это доставляет тебе радость. Я тоже ничего другого не делала!

Она внезапно потеряла самообладание. Что-то было во всем этом очень грустное. На глазах у нее вдруг появились слезы и рыданье комком застряло в горле. Чтобы скрыть это от глаз брата, она обвила руками его шею и спрятала лицо на его плече. Ульрих почувствовал, как она плачет и как дрожит ее спина. На него напало тягостное смущение, он заметил, что холодеет. Скольких бы нежных и счастливых чувств ни питал он, как думалось ему, к сестре, в эту минуту, которая должна была бы его тронуть, их не было; его чувствительность расстроилась и перестала функционировать. Он погладил Агату и прошептал какие-то успокоительные слова, но преодолевая себя. И из-за внутреннего неучастия в ее волнении ему показалось, что тела их соприкоснулись как два соломенных жгута. Он прекратил это соприкосновение, подведя Агату к стулу и сев на другой, в нескольких шагах от нее. При этом он ответил на ее возражение, сказав:

— Ведь история с завещанием тебя не радует! И никогда не будет радовать, потому что в ней было что-то непорядочное!

— Порядок?! — воскликнула со слезами Агата. — Долг?!

Она была в полной растерянности, оттого что Ульрих вел себя так холодно. Но она уже опять улыбалась. Она поняла, что должна сама справиться с собой. У нее было такое чувство, что улыбка, которую ей удалось изобразить, маячит очень далеко от ее ледяных губ. Ульрих, напротив, отделался теперь от смущения, он был даже доволен тем, что у него не возникло обычной телесной нежности; ему стало ясно, что и это должно быть между ними другим. Но ему было некогда задумываться об

этом, ибо, видя, что Агате очень тяжело, он стал говорить.

— Не обижайся на слова, которые я употребил, — попросил он, — и не сердись на меня за них! Наверно, я не прав, выбирая такие слова, как «порядок» и «долг». Они ведь и правда отдают проповедью. Но почему, — перебил он вдруг себя, — почему, черт возьми, проповеди вызывают презрение? Ведь они должны были бы давать нам высочайшее счастье?!

У Агаты не было ни малейшей охоты отвечать на это.

Ульрих отступился от своего вопроса.

— Не думай, что я строю из себя праведника! — попросил он. — Я не хотел сказать, что я не делаю ничего дурного. Только делать это тайком не по мне. Я люблю разбойников от морали, а не воришек. Мне хочется поэтому сделать из тебя моральную разбойницу, — пошутил он, — и я не позволяю тебе поступать дурно от слабости!

— А для меня тут нет никакого вопроса чести! — сказала сестра за своей очень далекой от нее улыбкой.

— Ужасно забавно, что бывают времена, как наше, когда вся молодежь симпатизирует дурному! — бросил он со смехом, чтобы отвлечь разговор от личной темы. — Это нынешнее пристрастие к морально ужасному — несомненная слабость. Вероятно, дело тут в буржуазном пресыщении добром, в выхолощенности добра. Я сам сначала думал, что всему нужно говорить «нет». Все так думали, кому сегодня от двадцати пяти до сорока пяти. Но это был, конечно, только вид моды. Я вполне могу представить себе, что скоро произойдет поворот, а с ним появится молодежь, которая вместо имморализма снова воткнет себе в петлицу мораль. Старые ослы, никогда в жизни не испытывавшие морального волнения и изрекавшие при случае только пошлости прописной морали, тогда станут вдруг предтечами и пионерами какого-то нового характера!

Ульрих встал и беспокойно ходил взад и вперед.

— Мы можем, пожалуй, сказать так, — предложил он. — Добро по природе своей стало чуть ли не банальностью, зло остается критикой. Имморализм приобретает божественные права как резкая критика нравственного. Он показывает, что жить можно и по-другому. Он уличает во лжи. За это мы благодарим его с некоторой снисходительностью. Тот факт, что существуют люди, которые подделывают завещания и все-таки вне всяких сомнений прелестны, должен был бы доказать, что со священным принципом частной собственности дело обстоит не так уж гладко. Впрочем, это, пожалуй, не требует доказательств. Но тут-то и встает задача: ведь мы обязаны признать возможным оправдание преступника при любом виде преступления, даже если это детоубийство или еще что-нибудь

ужасное...

Напрасно старался он поймать взгляд сестры, хотя и дразнил ее упоминанием о завещании. Теперь она непроизвольно сделала протестующий жест. Она не была теоретиком, она могла найти оправдание только своему собственному преступлению, его сравнение, в сущности, обидело ее снова.

Ульрих засмеялся.

— Это похоже на игру, но в том, что мы можем так жонглировать, есть смысл, — заверил он ее. — Это доказывает, что в оценке наших поступков что-то неладно. И так оно и есть. В обществе, где все подделывают завещания, ты сама наверняка была бы за нерушимость правопорядка. Только в обществе праведников это теряет четкость и ставится с ног на голову. Да, если бы Хагауэр был подлецом, ты была бы даже пламенной праведницей. Это прямо беда, что даже он порядочен! Вот человека и заносит то туда, то сюда!

Он подождал ответа, но ответа не было. Тогда он пожал плечами и повторил:

— Мы ищем причину для тебя. Мы установили, что вполне приличные люди с большим удовольствием, хотя, конечно, только в воображении, идут на преступления. Можем прибавить, что зато преступники, если послушать их самих, почти всегда хотят, чтобы их считали приличными людьми. Значит, можно, пожалуй, сформулировать: преступления — это происходящее в господах грешниках скопление всего того, чему другие люди дают выход в небольших отклонениях. То есть в воображении и в тысячах каждодневных пакостей и подлых мыслишек. Можно сказать и так: преступления носятся в воздухе и только ищут пути наименьшего сопротивления, который приведет их к определенным людям. Можно даже сказать, что, являясь действиями отдельных лиц, не способных держаться моральных норм, они все-таки в основном представляют собой сконцентрированное выражение общей человеческой несостоятельности в разграничении добра и зла. Вот что уже с юности наполняло нас критическим духом, за пределы которого наши современники так и не вышли!

— Но что же это такое — добро и зло? — вставила Агата, и Ульрих не заметил, что он мучит ее своей объективностью.

— Вот этого я и не знаю! — ответил он, рассмеявшись. — Я ведь только сейчас впервые заметил, что испытываю отвращение к злу. До сегодняшнего дня я и правда не знал этого в такой мере. Ах, Агата, ты ведь понятия не имеешь, каково это, — пожаловался он задумчиво. — Взять,

например, науку! Для математика, выражаясь как можно проще, минус пять не хуже, чем плюс пять. Исследователь не должен питать отвращение ни к чему, и порой красивая разновидность рака волнует его радостнее, чем красивая женщина. Знающий знает, что ничто не истинно и вся истина откроется лишь в конце всех времен. Научное знание аморально. Все это великолепное проникновение в неведомое отучает нас от личного контакта с нашей совестью, не позволяет нам даже вполне серьезно относиться к такому контакту. А искусство? Разве оно не сводится к постоянному созданию картин, не соответствующих тому, что создает жизнь? Я говорю не о лживом идеализме и не о сладострастном писании обнаженной натуры во времена, когда все живут одетыми до кончика носа, пошутил он опять. — Но возьми какое-нибудь настоящее произведение искусства: у тебя никогда не бывало такого чувства, что что-то в нем напоминает запах горелого, который идет от ножа, когда его точишь на камне? Это космический, метеорический, грозовой запах, божественно жуткий!

Тут было единственное место, где Агата прервала его по собственному побуждению.

— Разве ты прежде сам не сочинял стихи? — спросила она его.

— Ты еще помнишь? Когда я признался тебе в этом? — спросил Ульрих. — Да. Мы все ведь когда-нибудь да сочиняем стихи. Я сочинял их, даже будучи уже математиком, — признал он. — Но чем старше я становился, тем хуже получались стихи. И не столько, я думаю, из-за бесталанности, сколько из-за возраставшего отвращения к неопытной цыганской романтике этой эмоциональной неразберихи.

Сестра лишь тихонько покачала головой, но Ульрих это заметил.

— Да! — настаивал он. — Ведь стихи точно так же не должны быть всего лишь исключительным явлением, как и акт доброты! Но что, смею спросить, что станет с мигом экзальтации в следующий миг? Ты любишь стихи, я знаю. Но я хочу сказать: человеку мало огненного запаха в носу, да и то улетающего. Эта половинчатая позиция точно соответствует половинчатости нравственного поведения, которое исчерпывается неполной критикой.

И, возвратившись вдруг к главному, он сказал сестре:

— Отнесись я к этому хагауэровскому делу так, как ты того сегодня ждешь от меня, я должен был бы показать себя скептиком, беспечным и ироничным. Наверняка очень добродетельные дети, которые еще могут быть у тебя или у меня, скажут о нас тогда, чего доброго, что мы были людьми эпохи обывательского благополучия, не знавшей никаких забот, кроме, пожалуй, праздных. А ведь мы уже так намучились со своими

убеждениями!..

Ульрих, наверно, хотел еще много чего сказать; ведь он, собственно, только и вел к тому, чтобы стать на сторону сестры, и жаль, что он утаил это от нее. Ибо она вдруг встала, чтобы под каким-то невнятным предлогом выйти из комнаты.

— На том, значит, и порешили, что я нравственно слабоумна? — спросила она с вымученной попыткой пошутить. — Твои возражения против этого выше моего понимания!

— Мы оба нравственно слабоумны! — вежливо заверил ее Ульрих. — Мы оба!

И его немного огорчила поспешность, с какой его покинула сестра, не сказав, когда она вернется.

31

Агата хочет покончить с собой и знакомится с одним мужчиной

В действительности она поспешила уйти потому, что не хотела, чтобы брат еще раз увидел слезы, которые она едва сдерживала. Она была печальна, как бывает печален человек, потерявший все. Почему — она не знала. Это нахлынуло, когда говорил Ульрих. Ему следовало сделать что-то другое, а не говорить. Что — она не знала. Он ведь, конечно, был прав, когда не придавал важности «глупому совпадению» ее взволнованности с приходом письма и продолжал говорить как ни в чем не бывало. Но Агате пришлось убежать.

Сперва у нее была только потребность двигаться. Она немедленно выбежала из дому. Если улицы заставляли ее свернуть, она все равно держалась одного направления. Она убегала, как убегают от бедствия люди и звери. Почему — она не спрашивала себя. Только когда она устала, она поняла, какая у нее была цель: не возвращаться!

Она хотела шагать до вечера. С каждым шагом удаляясь от дома. Она полагала, что когда она остановится на рубеже вечера, ее решение уже созреет. Это было решение убить себя. Это было, собственно, не решение, а ожидание, что решение созреет вечером. Отчаянная сумятица в ее голове за этим ожиданием. У нее даже не было при себе ничего, чтобы убить себя. Ее маленькая капсула с ядом лежала где-то в ящике или в чемодане. В ее желании умереть созрело только нежелание возвращаться. Она хотела уйти из жизни. Отсюда была и ходьба. С каждым шагом она уходила как бы уже

из жизни.

Устав, она почувствовала тоску по лугам и лесу, по ходьбе в тишине и на воле. Но туда надо было доехать.

Она села не трамвай. Она была приучена воспитанием владеть собой при посторонних. Поэтому в ее голосе не было заметно волнения, когда она платила за проезд и справлялась о маршруте. Она сидела спокойно и прямо, дрожи не было ни в одном ее пальце. И когда она так сидела, пришли мысли. Ей, конечно, было бы легче, если бы она могла буйствовать; при скованности тела эти мысли оставались большими пачками, которые она напрасно старалась протащить через отверстие. Она была в обиде на Ульриха за то, что он сказал. Она не хотела быть на него в обиде за это. Она отрицала за собой право обижаться. Какой прок был ему от нее?! Она отнимала у него время и ничего не давала взамен; она мешала его работе и его привычному быту. При мысли о его привычках она почувствовала боль. За время ее пребывания в доме там, по всей видимости, не бывало никаких других женщин. Агата была убеждена, что у брата всегда есть какая-нибудь женщина. Значит, из-за нее он себя сдерживал. И поскольку она ничем не могла вознаградить его, она была эгоисткой и плохим человеком. В этот миг ей захотелось вернуться и нежно попросить у него прощения. Но тут ей опять вспомнилось, как холоден он был. Он явно жалел, что взял ее к себе. Чего только он ни намечал и ни говорил, пока она не надоела ему! Теперь он об этом не вспоминал! Великое отрезвление, пришедшее с письмом, сперва надрывало сердце Агате. Она была ревнива. Бессмысленно и вульгарно ревнива. Она хотела навязаться брату и чувствовала, сколько бессилия и страсти в дружбе человека, который прямо-таки нарывается на отпор. «Я могла бы украсть ради него или пойти на панель!» — думала она и, хотя понимала, что это смешно, не могла так не думать. Разговоры Ульриха с их шутками и с их как бы беспристрастным превосходством казались насмешкой над этим. Она восхищалась таким превосходством и всеми духовными запросами, выходившими за пределы ее собственных. Но она не понимала, почему все мысли должны всегда одинаково распространяться на всех людей! В своем позоре она нуждалась в личном утешении, а не в общих назиданиях! Она не хотела быть храброй!! А через минуту она упрекала себя в том, что она такая, и усиливала свою боль мыслью, что ничего лучшего, чем равнодушие Ульриха, она не заслуживает.

Это самоуничижение, для которого ни поведение Ульриха, ни даже неприятное письмо Хагауэра не давали достаточного повода, было вспышкой темперамента. Все, что с той не очень давней поры, когда она

вышла из детства, Агата воспринимала как свою несостоятельность перед требованиями общества, вызывалось тем, что время это она провела в ощущении, что живет без настоящих внутренних склонностей или даже вразрез с ними. Она была склонна к самоотдаче и доверию, потому что никогда не свыкалась с одиночеством так, как ее брат; но если до сих пор ей не удавалось отдаться кому-нибудь или чему-нибудь всей душой, то происходило это потому, что она носила в себе возможность еще большей самоотдачи, куда бы та ни простирала руки — к миру ли, к богу ли! Есть ведь очень известный способ отдать себя всему человечеству — не уживаться со своим соседом, и точно так же скрытая и глубокая потребность в боге может возникнуть из того обстоятельства, что асоциальный экземпляр оказался наделенным большой любовью. Религиозный преступник в этом смысле не более абсурден, чем религиозная старая дева, не нашедшая мужа, и поведение Агаты с Хагауэром, принявшее совершенно дикую форму своекорыстного поступка, было такой же вспышкой нетерпеливой воли, как и горячность, с какой она обвиняла себя в том, что была пробуждена братом к жизни и по своей слабости снова теряет ее.

Ей не сиделось в спокойно катившемся трамвае; когда дома на улицах пошли ниже и приняли сельский вид, она вышла из трамвая и продолжила путь пешком. Дворы были открыты, через ворота и низкие заборы взгляд падал на ремесленников, животных и занятых игрою детей. Воздух был наполнен покоем, на просторе которого говорили голоса и стучали инструменты; неравномерными и мягкими движениями мотылька шевелились эти звуки в светлом воздухе; и Агата чувствовала, что, как тень, скользит мимо них к поднимающейся поблизости гряде виноградников и рощ. Но один раз она остановилась у двора с бондарями и славным звуком бьющих по дереву молотков. Она всю жизнь любила смотреть на такую славную работу, и ей доставлял удовольствие скромно-толковый, продуманный труд рук. И на этот раз она тоже не могла оторваться от такта колотушек и от равномерных круговых движений бондарей. Это заставило ее на время забыть свое горе и погрузило в приятную и бездумную связь с миром. Она всегда восхищалась людьми, умевшими делать что-то такое, что разносторонне и естественно вытекало из какой-то общепризнанной потребности. Только сама она не любила быть деятельной, хотя и обладала всяческими умственными и практическими способностями. Жизнь была заполнена и без нее. И вдруг, еще прежде, чем ей стала ясна связь, она услышала колокольный звон и лишь с трудом удержалась от того, чтобы снова заплакать. Церквушка предместья,

наверно, уже все это время звонила в два своих колокола, но Агата заметила это только сейчас, и ее сразу потрясло ощущение того, как эти бесполезные звуки, отключенные от доброй, обильной земли и страстно летящие по воздуху, родственны ее собственному существованию.

Она торопливо пошла дальше и в сопровождении звона, который теперь не переставала слышать, быстро вышла, пройдя между последними домами, к холмам; внизу, по склонам, они поросли виноградниками и одиночными, вдоль тропинок, кустами, а сверху маячил светло-зеленым лес. Теперь она знала, куда ее тянуло, и это было приятное чувство, будто с каждым шагом она погружалась все глубже в природу. Сердце ее стучало от восторга и напряжения, когда она порой останавливалась и удоставлялась, что колокола все еще сопровождают ее, хоть и спрятавшись высоко в воздухе и едва слышно. Ей показалось, что она никогда еще не слышала колокольного звона вот так, среди обычного дня, как бы без особого, торжественного повода, демократически смешанным с естественными и уверенными в себе делами. Но из всех языков тысячеголового города последним говорил с ней сейчас этот, и было тут что-то хватавшее ее так, словно хотело поднять ее и метнуть к горам, но потом каждый раз все-таки опять ее отпускавшее и терявшееся в маленьком металлическом шуме, у которого не было никаких преимуществ перед другими, стрекочущими, гудящими или журчащими шумами здешнего края. Так Агата поднималась и бродила, наверно, еще около часа, когда вдруг очутилась перед небольшой зарослью, которую она хранила в памяти. Кусты эти ограждали заброшенную могилу на опушке леса, где почти сто лет назад покончил с собой и, согласно его последней воле, был похоронен один поэт. Ульрих говорил, что это был скверный, несмотря на свою знаменитость, поэт, и несколько близорукая все-таки поэтичность, выразившаяся в желании быть погребенным в месте, откуда открывается широкий обзор, нашла в Ульрихе сурового критика. Но Агата любила надпись на большой каменной плите, с тех пор как они вместе во время прогулки разобрали размытые дождями красивые бидермайеровские буквы, и она склонилась над черными, состоявшими из больших угловатых звеньев цепями, которые отграничивали от жизни четырехугольник смерти.

«Я ничего не значил для вас», — велел написать на своей могиле этот недовольный жизнью поэт, и Агата думала, что так можно сказать и о ней. Эта мысль, здесь, на откосе лесного холма, над зеленеющими виноградниками и чужим, огромным городом, который медленно шевелил на утреннем солнце хвостами своих дымов, тронула ее снова. Она вдруг упала на колени и прижалась лбом к одному из каменных столбов, на

которых висели цепи; непривычная поза и холодное прикосновение камня помогли ей вообразить оцепенелый, безвольный покой смерти, который ее ждал. Она попыталась сосредоточиться. Удалось ей это не сразу: голоса птиц ударили в уши, было так много разных птичьих голосов, что это поразило ее; ветви шевелились, и поскольку она не замечала ветра, ей казалось, что деревья сами шевелят ветвями; во внезапной тишине слышно было тихое копошенье; камень, к которому она приникла, был настолько гладок, что у нее возникло такое ощущение, словно между ним и ее лбом лежит льдинка, которая чуть-чуть отстраняет ее. Лишь через несколько мгновений она поняла, что во всем, что отвлекало ее, выражалось именно то, что она хотела вызвать в себе, то главное чувство своей лишности, которое проще всего передали бы только слова, что жизнь и без нее так полна, что ей нечего в ней искать и делать. Это жестокое чувство не было, в сущности, ни отчаянием, ни обидой, а заключалось в том, чтобы слушать и смотреть, что Агата всегда и делала, только без малейшего побуждения, даже без всякой возможности участвовать самой. В этой исключенности была чуть ли даже не безопасность, подобно тому как есть удивление, которое забывает задавать какие бы то ни было вопросы. Она могла с таким же успехом уйти. Куда? Какое-то место, наверно, существовало. Агата была не из тех, у кого и убежденность в ничтожестве любых иллюзий способна вызвать некое удовлетворение, равнозначное воинственной или язвительной сдержанности, с какой принимают свой неудовлетворительный жребий. Она была щедра и беззаботна в таких вопросах и не походила на Ульриха, который создавал своим чувствам самые немыслимые трудности, чтобы запретить их себе, если они не выдерживали испытания. Она была глупая, то-то и оно! Да, это она твердила себе. Она не хотела задумываться! Упрямо прижималась она низко опущенным лбом к железным цепям, которые немного поддавались, а потом, натянувшись, сопротивлялись напору. В последние недели она начала снова как-то верить в бога, но без мыслей о нем. Определенные состояния, при которых мир всегда казался ей иным, чем он видится, и таким, что и она жила тогда уже не отключенно, а целиком в какой-то сияющей убежденности, дошли благодаря Ульриху почти до внутренней метаморфозы и полного перерождения. Она была бы готова представить себе бога, который открывает свой мир, как укрытие. Но Ульрих говорил, что так думать не надо, что крайне вредно воображать себе больше, чем можно узнать. А это было его дело — решать такие вещи. Но тогда он должен был и вести ее, не покидая. Он был порогом между двумя жизнями, и вся ее тоска по одной из них, и все ее бегство от другой вели прежде

всего к нему. Она любила его так же бесстыдно, как любят жизнь. Он просыпался утром во всем ее теле, когда она открывала глаза. Он глядел на нее и сейчас из темного зеркала ее печали. И тут только Агата вспомнила, что хотела убить себя. У нее было такое чувство, что она наперекор ему убежала из дому к богу, когда покинула дом с намерением убить себя. Но намерение это, по-видимому, теперь исчерпалось и вернулось к своему источнику, а он крылся в том, что Ульрих обидел ее. Она была зла на него, это она все еще чувствовала, но птицы пели, и она слышала это снова. Она была в не меньшем смятенье, чем прежде, но теперь в смятенье веселом. Она хотела что-то сделать, но чтобы это ударило по Ульриху, а не только по ней. Бесконечное оцепенение, в котором она стояла на коленях, отступало перед теплом снова хлынувшей во все ее жилы крови, когда она выпрямлялась.

Подняв глаза, она увидела, что рядом с ней стоит какой-то мужчина. Она смутилась, ибо не знала, давно ли он наблюдает за ней. Когда ее еще темный от волнения взгляд встретился с его взглядом, она увидела, что он смотрел на нее с нескрываемым участием и явно хотел внушить ей сердечное доверие. Он был высокого роста, худой, в темной одежде, со светло-русой бородкой, закрывавшей подбородок и щеки, но не скрывавшей полноватых, мягких губ, которые, по контрасту с уже белевшей в светло-русой бороде проседью, были так странно молоды, словно из-за бороды она не заметила его возраста. Разобраться в этом лице было вообще не так просто. Первое впечатление наводило на мысль об учителе средней школы; суровость этого лица не была вырезана из твердого дерева, а напоминала скорее что-то мягкое, затвердевшее под действием ежедневных мелких неприятностей. Но отправляясь от этой мягкости, при которой мужественная борода казалась выращенной с умыслом, в угоду какому-то признаваемому ее владельцем порядку, нельзя было не заметить в этой несколько женственной, пожалуй, первооснове твердых, почти аскетических черт, созданных из такого мягкого материала, по-видимому, неутомимой волей. Агата не разобралась в своем впечатлении, лицо в равной степени привлекало ее и отталкивало, и поняла она только, что этот человек хочет ей помочь.

— Жизнь дает столько же поводов для укрепления воли, сколько и для ее ослабления. Никогда не надо бежать от трудностей, а надо стараться справиться с ними, — сказал незнакомец и вытер, чтобы лучше видеть, запотевшие очки.

Агата посмотрела на него удивленно. Он явно наблюдал за нею уже давно, ибо эти слова пришли из самой середины какого-то внутреннего

разговора. Тут он испугался и приподнял шляпу, чтобы с опозданием сделать жест, о котором не полагается забывать; но он быстро вернул себе самообладание и снова пошел напрямик.

— Простите, если я спрошу вас, не могу ли я чем-либо вам помочь, сказал он. — Мне кажется, что боль, часто, право, даже глубокое потрясение, такое, как я сейчас вижу, легче доверить чужому человеку!

Оказалось, что незнакомец говорил не без усилия; он, видимо, выполнил долг милосердия, обратившись к этой красивой женщине, и теперь, когда они пошли рядом, прямо-таки боролся со словами. Ибо Агата просто встала и медленно пошла в его обществе прочь от могилы, из гущи деревьев к открытому месту у края холмов, причем оба не решили, пойдут ли они теперь по одной из ведущих вниз дорожек и какой из этих спусков выберут. Разговаривая, они прошли большое расстояние по верху, потом повернули, а потом еще раз пошли в первоначальном направлении; оба не знали, куда шел другой, и все-таки старались считаться с этим.

— Вы не скажете мне, почему вы плакали? — повторил незнакомец ласковым голосом врача, спрашивающего, где больно. Агата покачала головой.

— Это мне было бы нелегко объяснить вам, — сказала она и вдруг попросила его: — Но ответьте мне на другой вопрос: что дает вам уверенность, что вы можете мне помочь, не зная меня? Я, наоборот, склонна думать, что помочь никому нельзя!

Спутник ее ответил не сразу. Он несколько раз начинал было говорить, но казалось, что он заставлял себя подождать. Наконец он сказал:

— Помочь можно, вероятно, только тому, чьи страдания когда-то испытал сам.

Он умолк. Агата засмеялась над предположением этого человека, что он мог испытать ее страдания, которые наверняка внушили бы ему отвращение, если бы он знал их причину. Ее спутник, казалось, пропустил ее смех мимо ушей или счел следствием расстройства нервов. Он подумал и спокойно сказал:

— Я, конечно, не думаю, будто можно кому-то показать, как ему поступить. Но, понимаете, страх при катастрофе заразителен и... спасение тоже заразительно! Я имею в виду самый факт спасения, как при пожаре. Все потеряв голову бросаются в пламя. Какая огромная помощь, если единственный человек стоит снаружи и машет, ничего не делает, только машет и невнятно кричит им, что выход есть...

Агата чуть снова не засмеялась над ужасными картинами, которые все-таки таил в себе этот добрый человек; но именно потому, что они не

вязались с ним, они жутковато вычеканили его мягкое, как воск, лицо.

— Да вы же говорите, как пожарный! — ответила она, умышленно подражая кокетливо-дамской поверхностности, чтобы скрыть свое любопытство. — Но какое-то представление о том, в какой катастрофе я нахожусь, вы, наверно, все-таки составили себе?!

Помимо ее воли серьезность насмешки проступила при этом, ибо простое представление, что этот человек хочет ей помочь, возмутило ее столь же простой благодарностью за это, в ней шевельнувшейся. Незнакомец удивленно взглянул на нее, потом собрался с духом и ответил почти одергивающе:

— Вы, наверно, еще слишком молоды, чтобы знать, что наша жизнь очень проста. Она непреодолимо запутанна только тогда, когда думаешь о себе. Но в момент, когда не думаешь о себе, а спрашиваешь себя, как помочь другому, она очень проста!

Агата помолчала и подумала. И благодаря ли ее молчанию, благодаря ли ободряющему простору, в который улетали его слова, незнакомец продолжал, не глядя на нее:

— Переоценка личного — современное суеверие. Нынче ведь так много говорят о культуре личности, о проявлении себя во всей полноте, о жизнеутверждающем начале. Но такими неясными и многозначительными словами любители их только выдают, что им нужен туман, чтобы окутать истинный смысл своего бунта! Что, собственно, надо утверждать? Все скопом и вперемешку? Развитие всегда связано с противодействием, сказал один американский мыслитель. Мы не можем развивать одну сторону нашей природы, не сдерживая роста другой. И что должно проявить себя полностью? Ум или инстинкты? Настроения или характер? Эгоизм или любовь? Если полностью проявиться должна наша высшая природа, то низшая должна учиться самоотверженности и послушанию.

Агата думала о том, почему должно быть проще заботиться о других, чем о себе. Она принадлежала к тем отнюдь не эгоистичным натурам, которые хоть и всегда о себе думают, но не заботятся о себе, а это от обычного, корыстного эгоизма куда дальше, чем довольный альтруизм тех, кто заботится о своих близких. Поэтому то, что говорил ее спутник, было ей в корне чуждо, но как-то это ее все-таки задевало, и отдельные, так энергично произнесенные фразы тревожно двигались перед ней, словно смысл их можно было скорее увидеть в воздухе, чем услышать. Оба шли вдоль откоса, открывавшего Агате чудесный вид на глубоко изрезанную долину, и было очевидно, что место это напоминало ее спутнику амвон или кафедру. Она остановилась и шляпой, которой все это время небрежно

размахивала, перечеркнула речь незнакомца.

— Вы, значит, — сказала она, — составили себе все-таки какое-то представление обо мне. Оно проглядывает сквозь ваши слова, и ничего лестного в нем нет!

Долговязый незнакомец испугался, ибо не хотел обидеть ее, и Агата посмотрела на него, дружелюбно засмеявшись.

— Вы, кажется, путаете меня с правом свободной личности. И к тому же еще с довольно нервной и весьма неприятной личностью! — заявила она.

— Я говорил лишь о главной предпосылке личной жизни, — извинился он, хотя, правда, положение, в котором я вас застал, навело меня на мысль, что вам, пожалуй, можно помочь советом. Главной предпосылкой жизни сегодня сплошь да рядом пренебрегают. Вся нынешняя нервозность со всеми ее эксцессами идет только от вялой внутренней атмосферы, в которой отсутствует воля, ибо без особого напряжения воли никто не достигнет той цельности и устойчивости, которая поднимет его над темным хаосом организма!

Опять тут попались два слова, «цельность» и «устойчивость», которые были как бы напоминанием о тоске Агаты и ее упреках себе.

— Объясните мне, что вы подразумеваете под этим, — попросила она. — Ведь воля, собственно, может появиться только тогда, когда уже есть цель?!

— Дело не в том, что подразумеваю я! — было сказано в ответ столь же мягким, сколь и категорическим тоном. — Разве уже великие книги человечества не говорят с непревзойденной ясностью, что нам делать и чего нам не делать?

Агата опешила.

— Чтобы устанавливать основные идеалы жизни, — пояснил ее спутник, — надо так досконально знать жизнь и людей и одновременно так героически преодолеть страсти и эгоизм, как то суждено было очень немногим личностям в течение тысячелетий. И эти учителя человечества исповедовали одну и ту же истину во все времена.

Агата произвольно оказала сопротивление, как это делает всякий человек, считающий, что его юные плоть и кровь лучше, чем кости мертвых мудрецов.

— Но не могут же человеческие законы, возникшие тысячи лет назад, годиться для сегодняшних условий! — воскликнула она.

— Они далеко не так непригодны, как то утверждают скептики, отрешенные от живого опыта и от самопознания! — с горьким

удовлетворением ответил ее случайный спутник. — «Глубокая истина жизни не рождается в споре», — сказал уже Платон. Человек слышит ее как живое истолкование и исполнение себя самого! Поверьте мне, то, что делает человека действительно свободным, и то, что лишает его свободы, то, что дает ему истинную блаженную радость, и то, что губит ее, — это не подчинено прогрессу. Каждый искренне живущий человек прекрасно знает это сердцем, если только прислушивается к нему!

Выражение «живое истолкование» понравилось Агате, но ее осенила неожиданная мысль.

— Вы, может быть, религиозны? — спросила она. Она с любопытством посмотрела на своего спутника. Он не ответил. — Уж не священник ли вы?! — повторила она и успокоилась благодаря его бороде, потому что в остальном вид его вдруг показался ей подходящим для такого сюрприза. Надо заметить, к ее чести, что она не удивилась бы сильнее, если бы незнакомец между прочим сказал в разговоре: «Наш светлейший повелитель, божественный Август»: она хоть и знала, что в политике религия играет большую роль, но мы настолько привыкли не принимать всерьез идеи, работающие на публику, что предположение, будто партии веры состоят из верующих людей, легко может показаться таким же нелепым, как требование, чтобы почтовый служащий был страстным собирателем марок.

После долгой, какой-то нерешительной паузы незнакомец сказал:

— Я предпочел бы не отвечать на ваш вопрос. Вы слишком далеки от всего этого.

Но Агату охватило горячее любопытство.

— Я хочу теперь знать, кто вы! — потребовала она, и это была действительно женская привилегия, против которой идти просто нельзя было. В незнакомце мелькнула такая же немного смешная неуверенность, как прежде, когда он с опозданием приподнял шляпу; у него, казалось, руки чесались снова по всей форме обнажить голову, но потом в нем что-то застыло, одна армия мыслей, казалось, давала сражение другой и наконец победила, а не то чтобы все произошло легко, невзначай.

— Моя фамилия Линднер, и я учитель гимназии имени Франца-Фердинанда, ответил он и, немного подумав, прибавил: — Еще я доцент университета.

— Тогда вы, может быть, знаете моего брата? — обрадованно спросила Агата и назвала ему фамилию Ульриха. — Он, если я не ошибаюсь, не так давно выступал в Педагогическом обществе с докладом о математике и гуманности или о чем-то подобном.

— Только по фамилии. Ну и на докладе я был, — признался Линднер. Агате послышалась в его ответе какая-то отрицательная нотка, но она забыла об этом за последовавшим.

— Ваш батюшка был известный правовед? — спросил Линднер.

— Да, он недавно умер, и я живу теперь у брата, — сказала Агата свободно. Не придете ли как-нибудь к нам в гости?

— К сожалению, у меня нет времени на светскую жизнь, — сказал Линднер с резкостью и неуверенно опущенными глазами.

— Тогда уж не возражайте, — продолжала Агата, — если я как-нибудь приду к вам: мне нужен совет!

Он все еще называл ее «фрейлейн».

— Я «фрау», — прибавила она, — в моя фамилия Хагауэр.

— Уж не супруга ли вы, — воскликнул Линднер, — заслуженного педагога профессора Хагауэра?

Он начал эту фразу со звонким энтузиазмом и, медля, приглушил ее к концу, ибо Хагауэр существовал в двух видах: он был педагог, и он был прогрессивный педагог; Линднер относился к нему, по сути, враждебно, но как отрадно обнаружить такого знакомого врага в зыбких туманах женской души, которой только что взбренилось посетить мужчину у него на дому; спад от второго из этих чувств к первому и повторился в тоне его вопроса.

Агата это заметила. Она не знала, следует ли говорить Линднеру, в каком состоянии находятся ее отношения с мужем. Между нею и этим новым другом все могло бы мгновенно кончиться, если бы она сказала это ему, — такое ощущение было у нее очень отчетливым. А об этом она пожалела бы; ибо как раз потому, что многое в Линднере соблазняло поглумиться над ним, он внушал ей еще и доверие. Убедительно подтверждаемое его видом впечатление, что этот человек ничего не ищет для себя, каким-то образом вынуждало ее быть откровенной: он унимал всяческое хотение, и тут откровенность напрашивалась сама собой.

— Я развожусь! — призналась она наконец.

Последовало молчание; Линднер казался подавленным. Агата нашла его теперь слишком уж все-таки жалким. Наконец Линднер сказал, обиженно улыбаясь:

— Я сразу ведь и подумал о чем-то в этом роде, когда вас увидел!

— Уж не противник ли вы и развода?! — воскликнула Агата, дав волю своему раздражению. — Конечно, вы и должны им быть! Но, знаете, вы действительно несколько отстали от времени!

— Я, во всяком случае, в отличие от вас, не нахожу это нормальным, задумчиво сказал Линднер в свою защиту, после чего снял очки, протер их,

снова надел и посмотрел на Агату. — Я думаю, у вас слишком мало воли, констатировал он.

— Воли? Воля разойтись у меня как-никак есть! — воскликнула Агата, зная, что это неразумный ответ.

— Не так надо понимать это, — мягко укорил ее Линднер. — Я ведь допускаю, что у вас есть важные причины. Но я смотрю на это иначе: свобода нравов. Которую сегодня позволяют себе, на практике всегда ведь оказывается только признаком того, что индивидуум неподвижно прикован к своему «я» и не способен жить и действовать с большей широтой. Господам сочинителям, прибавил он ревниво в попытке пошутить над пылким паломничеством Агаты, попытке, в его устах кисловатой, — которые потакают умонастроению молодых дам и ценятся ими за это сверх всякой меры, конечно, легче, чем мне, когда я говорю вам, что брак — это институт, основанный на ответственности человека и его господстве над своими страстями! Но, прежде чем освобождать себя от внешних защитных средств, воздвигнутых человечеством благодаря правильному самопознанию против собственной ненадежности, индивидууму следовало бы сказать себе, что изоляция от высшей совокупности и неповиновение ей — худшие беды, нежели разочарования тела, которых мы так боимся!

— Это звучит как боевой устав для архангелов, — сказала Агата, — но я не нахожу, что вы правы. Я немного провожу вас. Вы должны объяснить, как можно так думать. Куда вы сейчас идете?

— Мне надо идти домой, — ответил Линднер.

— Разве ваша жена была бы против того, чтобы я проводила вас до дому? В городе мы могли бы взять такси. У меня еще есть время!

— Мой сын придет из школы, — сказал Линднер с уклончивым достоинством. Мы обедаем всегда в определенное время. Поэтому я должен быть дома. Моя жена, увы, уже несколько лет назад скоростно умерла, — поправил он ошибочное предположение Агаты и, взглянув на часы, испуганно и раздраженно прибавил: — Мне надо торопиться!

— Ну, тогда вы должны объяснить мне это в другой раз, мне это важно! — оживленно заверила его Агата. — Если вы не хотите прийти к нам, я могу ведь навестить вас.

Линднер глотнул воздух, но это ничего не дало. Наконец он сказал:

— Но ведь вам, женщине, нельзя приходить ко мне!

— Можно! — заверила его Агата. — Вот увидите, в один прекрасный день я явлюсь. Я еще не знаю когда. И ничего дурного тут наверняка нет!

На этом она простилась с ним и свернула на дорожку, расходившуюся с той, по которой пошел он.

— У вас нет воли! — сказала она вполголоса, пытаясь передразнить Линднера, но слово «воля» оказалось во рту свежим и прохладным. С ним были связаны такие чувства, как гордость, твердость, уверенность, гордая тональность сердца. Этот человек подействовал на нее благотворно.

32

Тем временем генерал доставляет Ульриха и Клариссу в сумасшедший дом

Когда Ульрих был один дома, военное министерство запросило по телефону, может ли поговорить с ним сам господин заведующий отделом воспитания и образования, если прибудет к нему через полчаса, и тридцать пять минут спустя на маленький пандус взлетела взмыленная служебная упряжка генерала фон Штумма.

— Хорошее дело! — приветствовал генерал своего друга, который сразу заметил, что ординарец с хлебом духа на сей раз отсутствовал. Генерал был в мундире и даже при орденах. — В хорошее дело втравил ты меня! — повторил он. — Сегодня вечером у твоей кузины будет большое заседание. Я даже не успел доложить об этом своему начальнику. А тут, как снег на голову, известие, что надо ехать в сумасшедший дом. Мы должны быть там не позже, чем через час!

— Но почему же?! — спросил Ульрих с естественным недоумением. — Обычно ведь о времени договариваются особо!

— Не задавай так много вопросов! — взмолился генерал. — Лучше немедленно позвони своей приятельнице или кузине или кем там она доводится тебе, что мы заедем за ней!

Пока Ульрих звонил лавочнику, у которого делала маленькие покупки Кларисса, и ждал, чтобы она подошла к телефону, он узнал, в чем состояла беда, вызвавшая нарекания генерала. Тот, чтобы исполнить переданное ему Ульрихом желание Клариссы, обратился к начальнику военно-медицинской службы, который затем связался со своим знаменитым штатским коллегой, главой той университетской клиники, где ждал заключения высшей экспертной инстанции Моосбругер. Но по недоразумению оба начальника условились заодно и о дне и часе, и Штумм был уведомлен об этом со множеством извинений только в последний момент — причем ему одновременно сообщили, что аудиенция у знаменитого психиатра испрошена по ошибке для него самого, Штумма, что тот будет очень рад принять его.

— Мне нехорошо! — заявил он. Это была старая, укоренившаяся формула, означавшая, что ему хочется выпить рюмочку.

Когда он выпил ее, нервы его успокоились.

— Какое мне дело до сумасшедшего дома? Только из-за тебя приходится ехать туда! — жаловался он. — Что я вообще скажу этому дурацкому профессору, если он спросит меня, зачем я приехал с вами?

В этот момент на другом конце провода раздался ликующий военный клич.

— Прекрасно! — сказал генерал с досадой. — Но, кроме того, мне во что бы то ни стало надо поговорить с тобой о сегодняшнем вечере. А я еще должен доложить об этом его превосходительству. А он в четыре уходит!

Он поглядел на часы и не поднялся со стула от безнадёжности.

— Ну, я готов! — заявил Ульрих.

— А твоя сударыня не поедет? — удивленно спросил Штумм.

— Сестры дома нет.

— Жаль! — посетовал генерал. — Твоя сестра — самая замечательная женщина, какую я когда-либо видел!

— Я думал, это Диотима, — заметил Ульрих.

— Тоже, — возразил Штумм. — Она тоже замечательная. Но с тех пор, как она увлеклась половым просвещением, я кажусь себе мальчишкой. Я охотно признаю ее превосходство. Ведь война, боже мой, — это, как я всегда говорю, ремесло простое и грубое. Но половой вопрос — это как раз та область, где офицерская честь не позволяет, так сказать, чтобы с тобой обращались как с профаном!

Тем временем, однако, они сели в коляску и поехали быстрой рысью.

— Твоя приятельница по крайней мере хороша собой? — осведомился недоверчиво Штумм.

— Оригинальна, во всяком случае, сам увидишь, — ответил Ульрих.

— Значит, сегодня вечером, — вздохнул генерал, — что-то начнется. Я жду настоящего события.

— Ты говорил это каждый раз, когда бывал у меня, — с улыбкой возразил Ульрих.

— Возможно, и все-таки это правда. А сегодня вечером ты будешь свидетелем встречи твоей кузины с профессоршей Докукер. Ты, надеюсь, не забыл всего, что я уже тебе об этом рассказывал? Так вот, Докукерша — так, понимаешь, мы называем ее, твоя кузина и я, — Докукерша долго докучала твоей кузине, прежде чем дело дошло до этого. Она на всех наседала, и сегодня они наконец объяснятся. Мы ждали только Арнгейма, чтобы и он составил себе мнение.

— Вот как?

Ульрих не знал, что Арнгейм, которого он давно не видел, вернулся.

— Ну конечно. На несколько дней, — пояснил Штумм. — Вот нам и пришлось взяться за дело... — Вдруг он прервал себя и с неожиданной для него стремительностью рванулся с качавшихся подушек к козлам. — Дурак, — с достоинством прорычал он в ухо переодетому извозчиком ординарцу, правившему департаментскими лошадьми, и от беспомощности перед тряской вцепился в спину обруганного. — Вы же делаете крюк!

Солдат в штатском держал спину неподвижно, как доску, не обращая внимания на внеслужебные попытки генерала спастись с ее помощью, и, повернув голову ровно на девяносто градусов, отчего не мог видеть ни своего генерала, ни своих лошадей, гордо доложил уходившей в пустоту вертикали, что на этом участке прямой путь закрыт из-за дорожных работ, но вскоре они снова выедут на него.

— Ну, вот, значит, я все-таки прав! — воскликнул, откидываясь на сиденье, Штумм, чтобы отчасти перед ординарцем, отчасти перед Ульрихом оправдать напрасный взрыв своего нетерпения. — Надо же, чтобы этот малый давал крюку, когда я должен еще сегодня явиться с докладом к его превосходительству, своему начальнику, который хочет уйти в четыре часа домой и сам еще должен до этого явиться с докладом к министру!.. Ведь его превосходительство министр обещал побывать лично у Туцци сегодня вечером! — прибавил он тише, исключительно для ушей Ульриха.

— Да что ты?!

Ульрих показал, что он поражен этой новостью.

— Я уже давно твержу тебе: в воздухе что-то носится.

Теперь Ульрих пожелал узнать, что же все-таки носится в воздухе.

— Ну, так скажи уж, чего хочет министр?! — потребовал он.

— Этого он ведь и сам не знает, — благодушно ответил Штумм. — У его превосходительства есть чувство: теперь пора. У старика Лейнсдорфа тоже есть чувство: теперь пора. У начальника генерального штаба тоже есть чувство: теперь пора. Когда такое чувство у многих, в этом может быть какая-то правда.

— Но пора — что делать? — продолжал допытываться Ульрих.

— Это вовсе не обязательно знать! — вразумил его генерал. — Это впечатления, так сказать, абсолютные! Сколько нас, между прочим, будет сегодня? — спросил теперь он, то ли рассеянно, то ли задумчиво.

— Как можно спрашивать об этом меня? — удивленно ответил Ульрих.

— Я имел в виду, — объяснил Штумм, — сколько человек поедет в

сумасшедший дом. Прости! Смешно, правда, такое недоразумение? Бывают дни, когда на человека наваливается все сразу! Так сколько же нас будет?

— Не знаю, кто еще поедет. В зависимости от этого от трех до шести человек.

— Я хотел сказать, — озабоченно сказал генерал, — что если нас будет больше трех человек, придется взять еще извозчика. Поскольку я в форме, сам понимаешь.

— Да, конечно, — успокоил его Ульрих.

— Мне нельзя ездить в битком набитой коляске.

— Разумеется. Но скажи, откуда у тебя взялись эти абсолютные впечатления?

— Но найдем ли мы там извозчика? — размышлял Штумм. — Это же у черта на куличках!

— Возьмем по пути, — ответил Ульрих решительно. — А сейчас объясни мне, пожалуйста, откуда у вас это абсолютное впечатление, что настала пора для чего-то?

— Тут нечего объяснять, — возразил Штумм. — Если я о чем-то говорю, что оно абсолютно такое, а не другое, то это ведь и значит, что я не могу этого объяснить! Можно разве лишь прибавить, что Докукерша вроде как бы пацифистка, вероятно, по той причине, что Фейермауль, которому она протежирует, пишет стихи о том, что человек добр. В это теперь многие верят.

Ульрих не нашел это убедительным.

— Ты же совсем недавно рассказывал мне прямо противоположное — что акция стоит теперь за действие, за сильную руку и тому подобное!

— За это тоже, — признал генерал. — А вот влиятельные круги поддерживают Докукершу. Ей в этих делах пальца в рот не клади. От отечественной акции требуют акта человеческой доброты.

— Вот как? — говорит Ульрих.

— Да. Ты себе и в ус не дуешь! А других людей это заботит. Напомню тебе, например, что германская братоубийственная война шестидесят шестого года^[4] началась из-за того, что во франкфуртском парламенте все немцы объявили себя братьями. Конечно, я вовсе не хочу сказать, что это заботит военного министра или начальника генерального штаба. Это был бы вздор. Но ведь так уж ведется, что одно влечет за собой другое! Понимаешь меня?

Это было неясно, но правильно. И к этому генерал прибавил одно очень мудрое замечание.

— Послушай, ты всегда требуешь ясности, — сказал он с укором

своему спутнику. — Я восхищаюсь тобой поэтому, но поразмысли-ка хоть разок исторически: как могут непосредственные участники того или иного события заранее знать, будет ли оно великим? Они могут разве только воображать, что оно великое! Так вот, если позволителен такой парадокс, я сказал бы, что мировая история пишется раньше, чем она происходит. Она сперва всегда предстает этаким болтовней. И энергичные люди оказываются тут перед очень трудной задачей.

— В этом ты прав, — похвалил его Ульрих. — А теперь расскажи мне все!

Но хотя говорить об этом генерал и сам был готов сейчас, в эти перегруженные мгновения, когда копыта лошадей затопали уже по мягкой дороге, им снова вдруг овладели другие заботы.

— Я ведь уже, как елка, вырядился для министра на случай, если он меня вызовет! — воскликнул он и подчеркнул это, указав на свой голубой мундир и нацепленные на него ордена. — Не думаешь ли ты, что могут возникнуть какие-нибудь неприятные инциденты, если я покажусь идиотам в форме? Как мне быть, например, если кто-нибудь оскорбит мой мундир? Не могу же я тогда вынуть саблю, а промолчать тоже очень опасно!

Ульрих успокоил своего друга, сказав, что тот наденет поверх мундира белый медицинский халат; но прежде чем Штумм успел выразить свое удовлетворение этим решением, их встретила наряженная по-летнему Кларисса, которая в сопровождении Зигмунда нетерпеливо шла им навстречу по проезжей части улицы. Она сказала Ульриху, что Вальтер и Мейнгаст отказались идти с ней. И после того как был найден второй извозчик, генерал довольно сказал Клариссе:

— Вы, сударыня, выглядели ни дать ни взять ангелочком, когда шли по дороге!

Но когда он вылезал из коляски у ворот клиники, Штумм фон Бордвер был красен и казался немного растерянным.

33

Сумасшедшие приветствуют Клариссу

Кларисса мяла перчатки в руках, глядела вверх на окна и ни секунды не стояла спокойно, пока Ульрих расплачивался с извозчиком. Штумм фон Бордвер не позволял Ульриху сделать это, и кучер, польщенно улыбаясь, сидел на козлах и ждал окончания вежливого спора господ. Зигмунд, как обычно, смахивал кончиками пальцев пылинки с пиджака или смотрел в

пустоту невидящими глазами. Генерал тихо сказал Ульриху:

— Странная женщина твоя приятельница. Она объясняла мне по дороге, что такое воля. Я не понял ни слова.

— Она такая, — сказал Ульрих.

— Красивая, — прошептал генерал. — Как четырнадцатилетняя балеринка. Но почему она говорит, что мы приехали сюда, чтобы предаться своим «иллюзиям»? Мир слишком «свободен от иллюзий», говорит она? Ты знаешь об этом что-нибудь? Было так неприятно, у меня просто не нашлось ни слова в ответ.

Генерал явно задерживал расчет с извозчиком только потому, что хотел задать эти вопросы; но прежде чем Ульрих сумел ответить, его освободил от этого посланец, который приветствовал прибывших от имени главного врача и, передав генералу фон Штумму извинения своего начальника за маленькую задержку из-за срочного дела, провел всю компанию наверх, в комнату ожидания. Глаза Клариссы не пропустили ни одного камня на лестнице и в коридорах, да и в маленькой приемной, напоминавшей своими потертыми, обитыми зеленым бархатом стульями старомодные вокзальные залы первого класса, взгляд ее почти все время находился в медленном движении. Когда посланец покинул их, все они так и сидели, не говоря ни слова, пока Ульрих намеренно не нарушил молчания, поддразнив Клариссу вопросом, не страшно ли ей встретиться с Моосбругером лицом к лицу.

— Ах! — сказала Кларисса свысока. — Он же знал только суррогатных женщин. Вот и должно было так выйти!

Генерал попытался восстановить свою честь, потому что ему с опозданием кое-что пришло в голову.

— Воля теперь в большой моде, — сказал он. — В связи с патриотической акцией мы тоже много занимаемся этой проблемой.

Кларисса улыбнулась ему и вытянула руки, чтобы снять с них напряжение.

— Когда приходится так ждать, чувствуешь предстоящее каждой жилкой, словно ты смотришь в подзорную трубу, — ответила она.

Штумм фон Бордвер подумал, он не хотел снова ударить лицом в грязь.

— Верно! — сказал он. — Это связано, может быть, с современной физической культурой. Ею мы тоже занимаемся!

Тут нагрянул надворный советник со свитой ассистентов и учениц, он был очень любезен, особенно со Штуммом, сказал что-то о каком-то неотложном деле и выразил сожаление по поводу того, что должен, вопреки своему намерению, ограничиться этим приветствием и не

проведет их по клинике сам. Он представил им доктора Фриденталья, который сделает это вместо него. Доктор Фриденталь был высокого роста, строен, чуть рыхловат, обладал пышной шевелюрой, и когда его представляли, улыбался, как акробат, который взбирается по стремянке, чтобы исполнить смертельный прыжок. Шеф удалился, и принесли халаты.

— Чтобы не тревожить пациентов, — объяснил доктор Фриденталь.

Кларисса почувствовала, надевая халат, необыкновенный прилив сил. Маленький врач — вот на кого она была похожа. Она казалась себе очень мужественной и очень белой.

Генерал искал зеркала. Трудно было найти халат, который подошел бы к его соотношению между ростом и шириной; когда наконец удалось закатать его полностью, он стал похож на ребенка в слишком длинной ночной рубашке.

— Не думаете ли вы, что мне следовало бы снять шпоры? — спросил он доктора Фриденталья.

— Военные врачи тоже носят шпоры! — не согласился Ульрих.

Штумм сделал еще одно беспомощное и сложное усилие, чтобы увидеть себя сзади, где врачебная мантия падала на шпоры мощными складками; затем все двинулись. Доктор Фриденталь попросил не терять самообладания, с чем бы они ни столкнулись.

— Пока все шло сносно! — шепнул Штумм своему другу. — Но меня это, в сущности, нисколько не интересует. Я вполне мог бы использовать это время, чтобы поговорить с тобой о сегодняшнем вечере. Так слушай же, ты хотел, чтобы я рассказал тебе все откровенно. Это проще простого. Весь мир вооружается. У русских совершенно новая легкая артиллерия. Ты слушаешь? Французы использовали двухлетний срок службы для того, чтобы сильно расширить свою армию. Итальянцы...

Они снова спустились по той же царственно-старомодной лестнице, что привела их наверх, повернули куда-то в сторону и оказались в лабиринте маленьких комнат и коленчатых коридоров с выступающими на потолках белеными балками. Проходили они большей частью через хозяйственные и канцелярские помещения, в которых, однако, из-за недостатка места в старом здании было что-то неестественное и мрачное. Они были заполнены жутковатыми людьми как в больничной, так и в неказенной одежде. На одной двери было написано: «Приемный покой», на другой — «Мужская». У генерала слова застряли в горле. Он предчувствовал, что в любой миг может случиться что-нибудь из ряда вон выходящее и потому требующее великого присутствия духа. Против воли его занимал также вопрос, как ему вести себя, если неодолима нужда

заставит его уединиться и он без компетентного эскорта, один на один, встретится с душевнобольным в том месте, где все люди равны. Кларисса, напротив, шла все время на полшага впереди доктора Фриденталья. Его указание надеть белые халаты, чтобы не пугать больных, держало ее в потоке впечатлений как спасательный жилет. Ее занимали любимые мысли Ницше: «Существует ли пессимизм силы? Умственная предрасположенность к жестокой, страшной, злой, проблематичной стороне жизни? Потребность в ужасном как в достойном враге?/А что, если безумие необходимо как симптом вырождения?» Она не думала об этом словами, а вспоминала в целом; ее мысли спрессовали это в маленький пакетик и чудесным образом свели к наименьшему объему, как инструмент взломщика. Для нее этот путь был наполовину философией, наполовину прелюбодеянием.

Доктор Фриденталь остановился у железной двери и вынул из брючного кармана плоский ключ. Когда он открыл дверь, экскурсантов ослепил яркий свет, они вышли из защищавшего их здания, и в тот же миг Кларисса услышала ужасный, пронзительный крик, какого она никогда в жизни не слышала. Несмотря на свою храбрость, она содрогнулась.

— Всего-навсего лошадь! — сказал доктор Фриденталь и улыбнулся.

Действительно, они находились на дороге, что вела от подъезда вдоль главного корпуса на задний, хозяйственный двор клиники. Дорога эта, со старыми колеями и уютной сорной травой, ничем не отличалась от других дорог, и солнце припекало ее вовсю. Однако и все другие, кроме Фриденталья, были странно поражены и даже как-то смущенно и недоуменно возмущены тем, что находились на здоровой и обычной улице, после того как уже проделали долгий авантюристический путь. В свободе было в первый момент что-то поразительное, хотя она и была необыкновенно приятна, и сначала надо было привыкнуть к ней снова. У Клариссы, в которой все сталкивалось непосредственное, напряжение разрядилось громким, звенящим смехом.

Доктор Фриденталь, улыбаясь, первым перешел дорогу и открыл на противоположной стороне маленькую, тяжелую железную калитку в стене парка.

— Вот здесь и начнется! — сказал он мягко.

И теперь они в самом деле находились в том мире, что уже неделями непонятно притягивал Клариссу, причем не только ужасом ни с чем не сравнимого и от всего отключенного, но и так, словно ей было суждено испытать там что-то, чего она прежде и представить себе не могла. Сначала, однако, вошедшие ни в чем не увидели отличия этого мира от

большого старого парка, который мягко поднимался в одном направлении и где наверху, среди куп могучих деревьев, виднелись маленькие, белые, похожие на дачи домики. Вздыхавшееся за ними небо предвещало прекрасный вид с той возвышенности, и в одном ее месте Кларисса увидела больных с санитарями, группами стоявших или сидевших и похожих на белых ангелов. Генерал фон Штумм нашел, что сейчас подходящий момент продолжить разговор с Ульрихом.

— Так вот, я хочу немного подготовить тебя к сегодняшнему вечеру, — начал он. — Итальянцы, русские, французы и затем еще англичане, понимаешь, все вооружаются, и нам...

— Вам нужна ваша артиллерия, это я уже знаю, — прервал его Ульрих.

— В числе прочего! — продолжал генерал. — Но если ты не дашь мне кончить, мы сейчас окажемся возле этих психопатов и не сможем спокойно поговорить. Я хотел сказать, что мы находимся в самой середине и занимаем очень опасную в военном отношении позицию. И в этой ситуации среди нас — я говорю сейчас о нашей патриотической акции — есть люди, которым нужна исключительно человеческая доброта! — И тут вы против! Это я уже понял! — Наоборот! — заверил его Штумм. — Мы не против! Мы относимся к пацифизму очень серьезно! Только мы хотим добиться утверждения нашего артиллерийского проекта. И если бы мы смогли повернуть это, так сказать, рука об руку с пацифизмом, мы были бы лучше всего защищены от всяких кривотолков насчет империалистических устремлений и угрозы миру! Так уж и быть, признаюсь тебе, что мы действительно немножко заодно с этой Доукер. Но, с другой стороны, тут нужна осторожность, ведь, с другой стороны, враждебная ей партия, националистическое течение, которое теперь тоже участвует в нашей акции, против пацифизма, но за усиление армии!

Генералу пришлось, хоть и с недовольной миной, оставить дальнейшее при себе, ибо они почти взошли на холм и доктор Фриденталь ждал, чтобы его экскурсанты собрались около него. Площадка, где находились ангелы, оказалась обнесенной легкой оградой, и гид прошагал через огороженный участок, не обращая на него особого внимания, словно это была только прелюдия.

— «Тихое отделение», — пояснил врач.

Здесь были только женщины; волосы у них свободно падали на плечи, а лица были отталкивающие, с мягкими, заплывшими жиром чертами. Одна из этих женщин тотчас же подбежала к врачу и всучила ему какое-то письмо.

— Всегда одна и та же история, — объяснил доктор Фриденталь и

прочел вслух: — «Адольф, любимый! Когда ты придешь?! Ты меня забыл?»

Эта старая, лет шестидесяти женщина стояла рядом и слушала с тупым лицом.

— Ты ведь прийдешь его сейчас же?! — попросила она.

— Конечно! — пообещал доктор Фриденталь, порвал письмо у нее на глазах и улыбнулся санитарке. Кларисса сразу же призвала его к ответу.

— Как вы можете так поступать?! — сказала она. — К больным надо относиться серьезно!

— Пойдемте! — ответил Фриденталь. — Не стоит терять здесь время. Если хотите, я покажу вам потом сотни таких писем. Вы же заметили, что эта старуха не проявила ни малейшего беспокойства, когда я порвал письмо.

Кларисса смутилась, ибо то, что сказал Фриденталь, было справедливо, но это нарушало ее мысли. И прежде чем она привела их в порядок, они были еще раз нарушены, ибо в тот миг, когда они покидали площадку, другая старуха, явно дожидавшаяся этого, задрала халат до самого живота и показала проходившим мимо мужчинам свои безобразные старые бедра над грубыми шерстяными чулками.

— Экая свинья! — вполголоса сказал Штумм фон Бордвер, от возмущения и отвращения забыв на время политику.

А Кларисса открыла, что бедро походило на лицо. Тут и там видны были, вероятно, одни и те же признаки физического распада через ожирение, но у Клариссы впервые возникло от этого ощущение странных взаимосвязей и мира, где все происходит не так, чтобы это можно было осмыслить с помощью обычных понятий. В этот миг ей также подумалось, что она не заметила превращения белых ангелов в этих старух, что даже не различила, проходя сквозь их толпу, кто из них больные, а кто няньки. Она обернулась и стала глядеть назад, но поскольку дорога завернула за дом, увидеть уже ничего не могла и, спотыкаясь, как оглядывающийся на ходу ребенок, пошла дальше за своими спутниками. Из череды начавшихся с этого впечатлений образовывался теперь уже не прозрачный ручей событий, каким видится жизнь, а пенистый бурный поток, в котором лишь кое-где мелькали, чтобы потом застрять в памяти, полосы гладкой водной поверхности.

— Другое «тихое отделение». Теперь мужское, — объяснил доктор Фриденталь, собрав своих экскурсантов у двери дома, и, когда они остановились у первой койки, вежливо приглушенным голосом представил ее хозяина посетителям как случай «депрессивной dementia paralytica».

— Старый сифилитик. Мания виновности и нигилистические

навязчивые идеи, — шепотом объяснил Зигмунд сестре. Кларисса находилась перед старым господином, по всей видимости, принадлежавшим когда-то к высшему обществу. Он сидел на койке очень прямо, ему было под шестьдесят. Его холеное и одухотворенное, с очень белой кожей лицо, обрамленное белыми же густыми волосами, было так невероятно благородно на вид, как то описывается только в самых плохих романах.

— Разве с него нельзя написать портрет? — спросил Штумм фон Бордвер. Воплощение духовной красоты. Картину я подарил бы твоей кузине! — заявил он Ульриху.

Доктор Фриденталь грустно улыбнулся и пояснил:

— Благородный вид вызван ослаблением мышц лица.

Продемонстрировав затем быстрым жестом нарушение рефлекса зрачков, он повел их дальше. Времени при таком обилии материала было в обрез. Старый господин, уныло кивавший головой по поводу всего, что говорили у его койки, еще что-то тихо и озабоченно отвечал, когда посетители уже остановились на несколько коек дальше для ознакомления со следующим случаем, который выбрал Фриденталь.

На сей раз это был человек, сам занимавшийся искусством, веселый, толстый художник, чья койка стояла у светлого окна; на одеяле у него лежали бумага и много карандашей, и он был занят ими весь день. Клариссе сразу бросилась в глаза его веселая неутомимость. «Так бы надо рисовать Вальтеру!» — подумала она. Заметив интерес Клариссы, Фриденталь быстро отнял у толстяка листок и протянул его ей; художник захихикал и стал вести себя как бабенка, которую ущипнули. Кларисса же, к своему удивлению, увидела перед собой уверенно набросанный, вполне осмысленный, по смыслу даже банальный этюд к большой картине — со множеством спутанных друг с другом по законам перспективы фигур и залом, интерьер которого был выписан столь точно, что весь рисунок производил такое здоровое и корректное впечатление, как будто он вышел из государственной академии.

— Поразительно умело! — воскликнула она непроизвольно. Фриденталь польщенно улыбнулся.

— Ну, что, съел? — крикнул ему тем не менее художник. — Видишь, господину нравится! Покажи ему еще! Поразительно хорошо — он сказал! Покажи же еще! Я знаю, что ты надо мной все смеешься, а вот ему это нравится!

Он сказал это добродушно, будучи, видимо, с врачом, которому он протягивал теперь и другие картины, в дружеских отношениях, несмотря

на то, что тот не ценил его искусства.

— Сегодня у нас нет времени на тебя, — ответил ему Фриденталь и, повернувшись к Клариссе, облек свой критический отзыв в такие слова: — Он не шизофреник. К сожалению, сейчас у нас нет другого художника. А среди шизофреников часто бывают великие художники, вполне современные.

— И при этом они больны? — усомнилась Кларисса.

— А почему бы нет? — грустно ответил Фриденталь.

Кларисса прикусила губу.

Между тем Штумм и Ульрих стояли уже на пороге следующей комнаты, и генерал сказал:

— Когда я смотрю на это, мне становится жаль, что я обругал сегодня дураком своего ординарца. Никогда больше не буду этого делать!

Перед их глазами была палата с тяжелыми формами идиотизма.

Кларисса еще не видела ее и думала: «Даже у такого достопочтенного и признанного искусства, как академическое, есть, значит, отвергнутая, бесправная и все же до неразличимости похожая на него родня в сумасшедшем доме?!» Это произвело на нее чуть ли не большее впечатление, чем замечание Фриденталья, что в другой раз он сможет показать ей художников-экспрессионистов. Но она решила вернуться и к этим словам. Она все еще кусала губу, опустив голову. Что-то тут было не так. Ей казалось явно неверным держать взаперти таких одаренных людей; в болезнях врачи, может быть, и разбираются, думала она, но в искусстве во всем его значении — вряд ли. У нее было такое чувство, что тут нужно что-то предпринять. Но ей еще не было ясно — что. Однако она не теряла надежды, ибо толстяк художник сразу назвал ее «господин»: это показалось ей хорошим знаком.

Фриденталь смотрел на нее с любопытством.

Почувствовав его взгляд, она со своей узкой улыбкой подняла глаза и пошла к нему, но, прежде чем она успела что-либо сказать, все ее мысли отшибло ужасное зрелище. В новой палате сидели на койках или свисали с них страшные существа. Все в их телах было криво, неопратно, изуродовано или парализовано. Уродливые зубы. Трясущиеся головы. Слишком большие, слишком маленькие и совсем искривленные головы. Отвисшие челюсти, из которых текла слюна, животные жевательные движения рта, в котором не было ни пищи, ни слов. Свинцовые барьеры метровой толщины отделяли, казалось, эти души от мира, и после тихого смеха и гула в другой палате здесь в уши ударило тягостное безмолвие, нарушаемое лишь глухим хрюканьем и рычаньем. Такие палаты с

олигофренами высшей стадии принадлежат к самым потрясающим картинам, которые видишь среди безобразия сумасшедшего дома, и Кларисса почувствовала себя просто брошенной в какой-то сплошной ужасающий мрак, где уже ничего нельзя было различить. Гид Фриденталь, однако, видел и в темноте; указывая на разные койки, он объяснял:

— Это идиотизм, а это вот кретинизм.

Штумм фон Бордвер прислушался.

— Кретин и идиот, значит, не одно и то же?! — спросил он.

— Нет, с медицинской точки зрения тут есть некоторая разница, просветил его врач.

— Интересно, — сказал Штумм. — В обычной жизни это и в голову не приходит!

Кларисса ходила от койки к койке. Она сверлила больных глазами, предельно их напрягая, но ничего не могла понять по этим лицам, не принимавшим к сведению ее присутствия. Они гасили любую догадку. Доктор Фриденталь тихо следовал за нею и объяснял: «врожденный амовротический идиотизм», «туберкулезный гипертрофический склероз», «*idiotia thynnica*»...

Генерал, который тем временем решил, что уже вдоволь насмотрелся на «дураков», и предположил то же самое относительно Ульриха, посмотрел на часы и сказал:

— На чем мы, собственно, остановились? Надо использовать время! — И несколько неожиданно начал: — Так вспомни, пожалуйста: военное министерство видит за собой, с одной стороны, пацифистов, а с другой — националистов...

Ульрих, который не мог с такой же гибкостью, как он, отрешиться от окружающего, посмотрел на него с недоумением.

— Да я же вовсе не шучу! — объяснил Штумм. — То, о чем я говорю, — это политика! Надо, чтобы что-то произошло. На этом мы уже один раз остановились. Если вскоре ничего не произойдет, наступит день рождения кайзера, и мы будем хороши. Но что должно произойти? Логичный вопрос, не правда ли? И если грубо подытожить все, что я уже сказал тебе, то одни требуют от нас, чтобы мы помогли им любить всех людей без исключения, а вторые — чтобы мы разрешили им травить других, ради победы более благородной крови или как там это называется. В том и в другом что-то есть. И поэтому ты, говоря коротко, должен как-то объединить это, чтобы не наделать беды!

— Я? — удивился Ульрих, когда его друг взорвал свою бомбу таким образом; он высмеял бы его, будь они сейчас в другом месте.

— Конечно ты! — ответил генерал твердо. — Я с удовольствием помогу тебе, но ты секретарь Акции и правая рука Лейнсдорфа!

— Я похлопочу, чтобы тебя поместили сюда! — решительно заявил Ульрих.

— Отлично! — сказал генерал, знавший из военной науки, что при неожиданном сопротивлении лучше всего отступить, не показывая, что тебя застали врасплох. — Если ты выхлопочешь мне местечко в этой больнице, я, может быть, все-таки познакомлюсь с кем-нибудь, кто нашел величайшую в мире идею. Вне этих стен все равно ни у кого уже нет вкуса к великим мыслям. — Он снова посмотрел на часы. — Тут есть, говорят, такие, которые считают себя папой или вселенной. Из них мы еще ни одного не видели, а с ними-то мне как раз и хотелось встретиться! Твоя приятельница страшно дотошна! — пожаловался он.

Доктор Фриденталь осторожно оторвал Клариссу от созерцания олигофренов.

Ад не интересен, он ужасен. Когда его не гуманизировали, — как Данте, населивший его литераторами и другими знаменитостями и тем отвлекший внимание от карательной техники, — а пытались дать о нем первоначальное представление, даже люди с самой богатой фантазией не шли дальше пошлых мучений и скудоумных извращений земных черт. Но как раз пустая идея невообразимой и потому неотвратимой бесконечной кары и муки, предположение не признающей никакого противодействия перемены к худшему — вот что как раз и обладает притягательностью бездны. Таковы и сумасшедшие дома. Это приюты для бедных. В них есть что-то от ада с его отсутствием фантазии. Но множество людей, не сведущих в причинах душевных болезней, ничего так не боится — помимо возможности потерять свои деньги, — как возможности однажды потерять разум; и знаменательна многочисленность этих людей, терзаемых мыслью, что они могут вдруг потерять себя. Из переоценки того, что они находят в себе, следует, вероятно, переоценка ужасов, которыми, как думают здоровые, окружены дома душевнобольных. Кларисса тоже немного страдала от легкого разочарования, источником которого было какое-то неопределенное ожидание, привитое ей воспитанием. У доктора Фриденталя все обстояло противоположным образом. Он привык проделывать этот путь. Порядок, как в казарме или любом другом общежитии, облегчение острых болей, помощь при жалобах, профилактические меры против предотвратимых ухудшений, поправка или излечение — таковы были элементы его каждодневной деятельности. Много наблюдать, много знать, но не обладать достаточным объяснением

всех взаимозависимостей — таков был его духовный жребий. Назначать во время обхода, кроме лекарств от кашля, насморка, запора и ран, какие-то успокоительные средства — такова была его ежедневная работа врача. Призрачную чудовищность мира, в котором он жил, он чувствовал только при возникавшем от соприкосновения с обычным миром контрасте; ежедневно чувствовать ее нельзя, но посетители как раз и предоставляют такой случай, и потому то, что довелось увидеть Клариссе, было показано не без какой-то режиссуры и сразу же, как только он вывел ее из задумчивости, дополнилось чем-то новым и более драматичным.

Едва они вышли из палаты, к ним присоединилось несколько рослых мужчин с мясистыми плечами, приветливыми фельдфебельскими лицами и в чистых халатах. Это произошло так безмолвно, что поразило, как барабанный бой.

— Теперь «буйное» отделение, — объявил Фриденталь, и вот уже они приближались к крику и гоготу, доносившемуся, казалось, из огромного птичника. Когда они подошли к двери, на ней не оказалось ручки, но один из санитаров отпер ее особым ключом, и Кларисса попыталась было войти первой, как делала это до сих пор, но доктор Фриденталь резко потянул ее назад.

— Здесь ждут! — сказал он, не извиняясь, многозначительно и устало. Санитар, который отпер дверь, чуть-чуть приоткрыл ее, заслонил узкую щель своим могучим телом и, сперва прислушавшись, затем заглянув внутрь, поспешно протиснулся в палату, а за ним последовал второй санитар, который занял позицию по другую сторону от входа. У Клариссы забилось сердце. Генерал сказал с одобрением:

— Авангард, арьергард, фланговое прикрытие!

И под таким прикрытием они вошли, и детины-санитары стали водить их от койки к койке. Сидевшие на этих койках выкатывали глаза и размахивали руками, крича и волнуясь; казалось, что каждый кричит в пространство, существующее только для него, и в то же время все словно бы вели бурный разговор между собой, как запертые в общей клетке экзотические птицы, каждая из которых говорит на языке какого-нибудь другого острова. Одни сидели свободно, а другие были привязаны к койкам бандажами, которые не давали свободы рукам.

— Из-за опасности самоубийства, — пояснил врач и стал называть болезни. «Паралич», «паранойя», «*dementia praecox*» и так далее назывались породы этих экзотических птиц.

Сначала Кларисса опять оробела от сумбурных впечатлений и не могла обрести душевное равновесие. И потому показалось добрым знаком, что

один из больных стал уже издали оживленно кивать ей и что-то кричать, когда она еще была отделена от него несколькими кроватями. Он ерзал на своей койке, словно отчаянно пытался освободиться, чтобы поспешить ей навстречу, перекрывал общий хор своими обличительно гневными воплями и все сильнее привлекал внимание Клариссы к себе. Чем ближе она подходила к нему, тем больше беспокоило ее впечатление, что он обращается только к ней, а она была совершенно не в силах понять, что хочет он выразить. Когда они наконец подошли к нему, старший санитар что-то сказал врачу так тихо, что Кларисса ничего не разобрала, и Фриденталь о чем-то распорядился с очень серьезным лицом. Затем, однако, он позволил себе пошутить и заговорил с больным. Тот не сразу ответил, но вдруг спросил: «Кто этот господин?» — и жестом дал понять, что имеет в виду Клариссу. Фриденталь указал на ее брата и ответил, что это врач из Стокгольма.

— Нет, этот! — стоял на своем больной, снова указав на Клариссу.

Фриденталь улыбнулся и сказал, что это женщина-врач из Вены.

— Нет, это мужчина, — возразил больной и замолчал.

Кларисса чувствовала, как бьется у нее сердце. И этот тоже, значит, принял ее за мужчину!

Теперь больной медленно сказал:

— Это седьмой сын кайзера.

Штумм фон Бордвер подтолкнул Ульриха.

— Это неправда, — ответил Фриденталь и продолжил игру, обратившись к Клариссе со словами:

— Скажите ему сами, что он ошибается.

— Это неправда, друг мой, — тихо сказала больному Кларисса, которой от волнения трудно было говорить.

— Да ты же седьмой сын! — упрямо ответил тот.

— Нет, нет, — заверила его Кларисса и, волнуясь, улыбнулась ему, как в любовной сцене, окаменевшими от страха перед выходом на подмости губами.

— Да ты же это!! — повторил больной и бросил на нее взгляд, для которого у нее не было определений. Она совершенно не знала, что бы еще ответить ему, и беспомощно-дружелюбно глядела, по-прежнему улыбаясь, в глаза больному, принявшему ее за принца. При этом в ней происходило что-то чудное: складывалась возможность признать его правоту. Под напором его настойчивого утверждения в ней что-то растворялось, она в чем-то теряла контроль над своими мыслями, и складывались новые связи, контуры которых проступали в тумане: он не первый хотел знать, кто она

такая, и считал ее «господином». Но в то время как она, запутавшись в этой странной связи, еще смотрела ему в лицо, возраста которого она так же не замечала, как и других следов свободной жизни, на нем еще остававшихся, с этим лицом и вообще с этим человеком творилось что-то совершенно непонятное. Казалось, будто ее взгляд сделался вдруг слишком тяжел для глаз, на которых он лежал, ибо в них что-то заскользило и стало падать. Но и губы энергично зашевелились, и, как крупные, все плотнее сгущавшиеся капли, начали вливаться в невнятное бормотание внятные непристойности. Потрясенная этим срывом так, словно что-то ускользнуло от нее самой, Кларисса непроизвольно простерла к несчастному обе руки; и прежде чем кто-либо успел этому помешать, больной прыгнул навстречу ей: он сбросил одеяло, стал в тот же миг на колени в изножье койки и принялся обрабатывать рукою свой член, как мастурбируют обезьяны в неволе. «Прекрати это свинство!» — быстро и строго сказал врач, и в ту же минуту санитары схватили больного и одеяло и мгновенно сделали из обоих неподвижно-лежащий узел. Кларисса густо покраснела; у нее кружилась голова, как в лифте, когда внезапно уходит из-под ног пол. Ей вдруг показалось, что все больные, мимо которых она уже прошла, кричат ей вдогонку, а другие, которых она еще не посетила, встречают ее криком. И то ли случайно, то ли под действием заразной силы возбуждения ближайший сосед, приветливый старик, отпускаявший по адресу посетителей, когда они стояли рядом, добродушные шутки, тоже вскочил, когда Кларисса поспешно проходила мимо него, и разразился похабной бранью, повисшей у него на губах отвратительной пеной. Его тоже схватили ручищи санитаров, похожие на тяжелые прессы, которые сплющат все, что угодно.

Но фокусник Фриденталь умел усиливать свои номера. Под прикрытием провожатых, как и при входе, они покинули зал с другого конца и вдруг погрузились, казалось, в отрадную тишину. Они находились в чистом, веселом коридоре с линолеумом на полу и видели повоскресному одетых людей с красивыми детьми, которые самым доверчивым и вежливым образом здоровались с доктором. Это были посетители, ожидавшие здесь свидания с родственниками, и снова встреча с миром здоровых произвела очень странное впечатление; эти скромно и вежливо державшиеся люди в лучшей своей одежде показались в первый момент чем-то вроде кукол или очень хорошо сделанных искусственных цветов. Но Фриденталь быстро прошагал дальше и объявил своим экскурсантам, что сейчас он проведет их в отделение психически больных убийц и других тяжких преступников. Когда они вскоре оказались

перед новой железной дверью, меры предосторожности и мины провожатых предвещали и правда самое худшее. Они вошли в закрытый, окруженный галереей двор, похожий на один из тех современных садов, где бывает много камней и мало растений. Как куб из молчания стоял в нем сначала пустой воздух; лишь через некоторое время они заметили людей, беззвучно сидевших у стен. Возле входа несколько сопливых и неопрятных мальчиков-идиотов сидели, скорчившись, так неподвижно, словно по странной прихоти какого-то скульптора они были высечены на пилястрах ворот. Близ них первым у стены и на некотором расстоянии от остальных сидел простецкого вида человек, еще в своем темном воскресном костюме, только без воротничка и галстука; доставленный сюда, по-видимому, недавно, он был несказанно трогателен своей непричастностью к чему-либо. Кларисса вдруг представила себе боль, которую причинила бы Вальтеру, если бы покинула его, и чуть не заплакала. Такое с ней случилось впервые, но она быстро превозмогла это, ибо у остальных, мимо которых ее вели, был просто вид молчаливых, привыкших к своей участи заключенных; они робко и вежливо здоровались и обращались к врачу с маленькими просьбами. Лишь один из них, человек молодой, начал приставать с жалобами; одному богу было известно, из какого он выплыл забвения. Он требовал от врача, чтобы его выпустили и объяснили, почему его держат здесь, и когда тот уклончиво ответил, что это решает не он, а только директор, жалобщик не отстал; просьбы его стали повторяться все быстрее разматывающейся цепью, и постепенно в голосе его появились назойливые нотки, которые, усилившись, перешли в угрозу и наконец в животное-безотчетную ярость. Когда дело дошло до этого, детины-санитары придавили его к скамье, и он беззвучно, как побитая собака, уполз в свое молчание, так и не получив ответа. Теперь это было уже знакомо Клариссе и просто вошло в общее волнение, которое она чувствовала.

Да и не было у нее времени на что-то другое, ибо в конце двора была вторая железная дверь, и теперь санитары стучали в нее. Это было нечто новое, ибо до сих пор двери отпирались лишь с осторожностью, но без предупреждения. А в эту дверь они четырежды ударили кулаком, после чего прислушались к доносившемуся изнутри шуму.

— По этому знаку все, кто там находится, должны стать к стенке, объяснил Фриденталь, — или сесть на скамейки, идущие вдоль стен.

И правда, когда дверь медленно, градус за градусом, повернулась, оказалось, что все, кто дотоле, молча ли, шумно ли, бродил как попало, теперь повиновались приказу, как хорошо вымуштрованные арестанты. И все же при входе санитары принимали такие меры предосторожности, что

Кларисса вдруг схватила за рукав доктора Фриденталья и взволнованно спросила, здесь ли Моосбругер. Фриденталь молча покачал головой. У него не было времени. Он поспешно предупредил посетителей, что от каждого больного они должны держаться на расстоянии не меньше двух шагов. Ответственность за это предприятие все-таки, по-видимому, немного угнетала его. Их было семеро против тридцати в отрезанном от мира, обнесенном стенами дворе, где находились только безумцы, почти каждый из которых уже совершил убийство. Люди, привыкшие носить оружие, чувствуют себя без него более неуверенно, чем другие; поэтому и генерала, оставившего свою саблю в комнате ожидания, нельзя упрекнуть за то, что он спросил врача:

— Вы, конечно, вооружены?

— Вниманием и опытом! — ответил Фриденталь, который был рад этому лестному вопросу. — Вся штука в том, чтобы подавить любой бунт уже в зародыше.

И правда, стоило кому-нибудь сделать малейшую попытку выйти из ряда, на него сразу набрасывались санитары и сажали его на место с такой быстротой, что эти нападения казались единственными здесь актами насилия. Кларисса была не согласна с ними. «Врачи, наверно, не понимают, — говорила она себе, — что эти люди, хотя они весь день заперты здесь без надзора, не причиняют друг другу никакого вреда; и только для нас, приходящих из чужого им мира, они опасны!» И ей захотелось заговорить с кем-нибудь из них; она вдруг представила себе, что ей удастся объясниться с ним надлежащим образом. У самой двери в углу стоял крепкий, среднего роста мужчина с каштановой окладистой бородой и колючими глазами; он стоял скрестив руки, прислонясь к стене, молча и смотрел на посетителей со злостью. Кларисса подошла к нему; но в тот же миг доктор Фриденталь схватил ее за руку выше локтя и остановил.

— Не с этим, — сказал он вполголоса.

Он выбрал для Клариссы другого убийцу и заговорил с ним. Это был маленький коренастый человек с острой, наголо, по-арестантски, стриженной головой, общительность которого, видимо, была известна врачу, ибо больной сразу же вытянулся перед ним и, услужливо отвечая, показал два ряда зубов, как-то тревожно напоминавших два ряда надгробных камней.

— Спросите-ка его, почему он здесь, — шепнул доктор Фриденталь брату Клариссы, и Зигмунд спросил остроголового крепыша:

— Почему ты здесь?

— Сам прекрасно знаешь! — прозвучал короткий ответ

— Я этого не знаю, — не желая отступаться сразу, глуповато ответил Зигмунд.

— Сам прекрасно знаешь!!! — повторился с большей настойчивостью тот же ответ.

— Почему ты грубишь мне? — спросил Зигмунд. — Я правда не знаю!

«Какая все ложь!» — думала Кларисса и обрадовалась, когда больной просто ответил:

— Потому что хочу!! Я могу делать что хочу!! — повторил он и оскалил зубы.

— Но нельзя же грубить без причины! — повторил злополучный Зигмунд, у которого было сейчас, в сущности, не больше изобретательности, чем у больного.

Кларисса злилась на брата за то, что он исполнял глупую роль человека, дразнящего в зоопарке плененного зверя.

— Это тебя не касается! Я делаю что хочу, понял?! Что хочу!! — по-унтерски рявкнул душевнобольной и засмеялся чем-то в лице, но не ртом и не глазами, которые, напротив, дышали страшной злостью.

Даже Ульрих подумал: «Не хотел бы я сейчас оказаться с ним один на один». Зигмунду было трудно стоять на месте, поскольку сумасшедший подошел к нему вплотную, а Клариссе хотелось, чтобы тот схватил ее брата за горло и укусил в лицо. Фриденталь с удовлетворением предоставил эту сцену ее стихийному ходу, ибо с коллегой-врачом можно было в конце концов и не нянчиться и наслаждаться его смущением. Он эффектно довел напряжение до предела и, лишь когда его коллега бессильно умолк, дал знак двинуться дальше. Но Кларисса опять чувствовала это желание вмешаться! Оно как-то возростало с усилением барабанной дробы ответов безумца, Кларисса вдруг не смогла больше сдерживаться, подошла к больному и сказала:

— Я из Вены!

Это было бессмысленно, как наудачу извлеченный из трубы звук. Кларисса не знала, что она хочет этим сказать и как это пришло ей в голову, и не задавалась вопросом, знает ли больной, в каком он находится городе, и если он это знал, то ее слова были и подавно бессмысленны. Но она испытывала при этом чувство какой-то большой уверенности. И правда, бывают еще порой чудеса, хотя преимущественно в сумасшедших домах: когда она это сказала, стоя перед убийцей и пылая от волнения, на него вдруг нашло какое-то сияние; его зубы-надгробья скрылись за губами, а колючий взгляд сделался доброжелательным.

— О, золотая Вена! Красивый город! — сказал он с честолюбием

бывшего мещанина, у которого всегда наготове стандартные фразы.

— Поздравляю вас! — сказал доктор Фриденталь со смехом.

Но для Клариссы сцена эта стала очень важной.

— А теперь пойдете к Моосбругеру! — сказал Фриденталь.

Получилось, однако, иначе. Они осторожно выбрались из обоих дворов и направились вверх по парку к какому-то отдаленному, по-видимому, бараку, как вдруг к ним откуда-то подбежал санитар, который явно искал их уже давно. Он подошел к Фриденталю и передал ему шепотом какое-то длинное сообщение — судя по лицу врача, задававшего время от времени вопросы, важное и неприятное. И, с серьезным и огорченным видом вернувшись к ожидавшим, Фриденталь сообщил им, что из-за инцидента, конца которому пока не видно, вынужден отправиться в одно из отделений и, к сожалению, прекратить экскурсию. В первую очередь он обращался при этом к важному лицу в скрытом под белым халатом генеральском мундире; но Штумм фон Бордвер благодарно ответил, что и так уже получил достаточное представление о прекрасном порядке и замечательной дисциплине в больнице и что после увиденного знакомство еще с одним убийцей не имеет, в конце концов, существенного значения.

У Клариссы, однако, было такое разочарованное, даже убитое лицо, что Фриденталь предложил отложить посещение Моосбругера и еще кое-что до другого раза и известить Зигмунда по телефону, как только определится подходящий для этого день.

— Очень любезно с вашей стороны, — поблагодарил генерал за всех, — только что касается меня, то я, право, не знаю, позволят ли мне другие мои дела при этом присутствовать.

На том и порешили, и Фриденталь свернул на дорожку, которая вскоре скрыла его за холмом, а остальные в сопровождении оставленного с ними санитаря направились к выходу. Они сошли с дорожки и пошли напрямик вниз по склону, покрытому прекрасным буковым и платановым лесом. Генерал снял халат и весело нес его на руке, как пыльник на загородной прогулке, но разговор не клеился. Ульрих не проявлял желания пройти дальнейшую подготовку к предстоящему вечеру, а сам Штумм был уже слишком занят возвращением домой; только Клариссу, которую он галантно эскортировал слева, счел он себя обязанным занять какими-то фразами. Но Кларисса была рассеянна и молчалива. «Может быть, ей все еще неловко из-за этого похабника?» — спрашивал он себя, испытывая потребность как-то объяснить, что в той особой ситуации ему нельзя было по-рыцарски вступить за нее; но, с другой стороны, ситуация была и

такая, что об этом лучше было вообще не говорить, обратный путь прошел, таким образом, в молчании и омраченно.

Только когда Штумм фон Бордвер сел в свою коляску, предоставив Ульриху позаботиться о Клариссе и ее брате, к нему вернулось хорошее настроение, а там появилась в мысль, благодаря которой эти угнетающие впечатления получили определенный порядок. Он извлек папиросу из большого кожаного портсигара, который всегда носил с собой, и, откинувшись на подушки, выпустил первые синие облачка в солнечный воздух. Он благодушно сказал: «Страшная штука, должно быть, такая душевная болезнь! Подумать только, за все время, что мы там были, я не видел ни одного курящего! Право, не представляешь себе, сколько у тебя преимуществ, пока ты здоров!»

34

Готовится великое событие

Граф Лейнсдорф и река Инн

За этим бурным днем последовал «Большой вечер» у Туцци.

Параллельная акция красовалась во всем своем блеске; сверкали глаза, сверкали драгоценности, сверкали имена, сверкал ум. Душевнобольной мог бы, пожалуй, сделать из этого заключение, что на таком светском рауте глаза, драгоценности, имена и ум сводятся к одному и тому же, он был бы не совсем не прав. Явились все, кто не находился на Ривьере или на северно-итальянских озерах, кроме тех немногих, кто в это время, к концу сезона, принципиально не признавал больше никаких «событий».

Вместо них пришло много людей, которых еще не видели. Долгий перерыв образовал пробелы в списке личного состава, и для их восполнения новых людей привлекали поспешнее, чем то соответствовало осмотрительному обычаю Диотимы. Граф Лейнсдорф сам передал своей приятельнице список лиц, которых он по политическим соображениям просил пригласить, и раз уж принцип исключительности ее салона был принесен в жертву этим высшим соображениям, то и всему остальному она не придавала уже такого значения, как обычно. Вообще только его сиятельство и был причиной этого торжественного собрания; Диотима держалась того мнения, что человечеству можно помочь только по парам. Но граф Лейнсдорф упорно утверждал: «Собственность и образованность не выполнили в ходе исторического развития своего долга. Мы должны сделать последнюю с ними попытку!»

И граф Лейнсдорф возвращался к этому каждый раз.

— Дорогая моя, вы все еще не решились? — спрашивал он. — А пора. Кто только не вылезает уже с деструктивными тенденциями! Мы должны дать образованности последнюю возможность не уступить им.

Но Диотима, отвлеченная многообразием форм соединения людей в пары, забывала обо всем остальном.

Наконец граф Лейнсдорф стал ее увещать:

— Право, дорогая, я вас просто не узнаю! Мы сейчас бросили лозунг «Действовать!». Я лично заставил министра внутренних дел — ну, вам-то я могу доверять, что это я заставил его уйти в отставку. Все делалось наверху, очень высоко наверху. Да и правда, получался уже скандал, а ни у кого не было храбрости положить этому конец! Ну, вот, вам я это доверил, — продолжал он, — и теперь премьер-министр попросил меня, чтобы мы сами активнее участвовали в опросе для установления желания заинтересованных кругов населения в связи с реформой управления внутренними делами, ведь новый министр еще не успел разобраться во всем. И как раз вы, которая всегда была самой стойкой, вы хотите сейчас бросить меня на произвол судьбы? Мы должны дать собственности и образованности последний шанс! Знайте же: либо... либо!

Этот несколько неполный конец фразы он произнес так угрожающе, что не могло быть сомнений: он знает, чего хочет, и Диотима услужливо пообещала поторопиться; но потом она опять забыла об этом и ничего не сделала. И вот однажды графа Лейнсдорфа обуяла его известная энергия, и он явился к ней, принесенный сорока лошадиными силами.

— Произошло наконец что-нибудь?! — спросил он, и Диотиме пришлось ответить отрицательно.

— Знаете ли вы Инн, дорогая? — спросил он.

Конечно, Диотима знала эту реку, самую известную из всех, кроме Дуная, и всячески фигурирующую в отечественной истории и географии. С некоторым сомнением взглянула она на своего гостя, хотя и постаралась улыбнуться.

Но граф Лейнсдорф сохранял величайшую серьезность.

— Если не считать Иннсбрука, — объявил он, — какие все это жалкие деревушки в долине Инна, а между тем какая это у нас видная река — Инн! А мне и на ум такое не приходило! — Он покачал головой. — Сегодня я, понимаете, случайно взглянул на автомобильную карту, — объяснился он наконец, — и вдруг обратил внимание на то, что Инн течет из Швейцарии. Ну, конечно, я, наверно, знал это и раньше. Мы все это знаем, но мы никогда об этом не думаем. Его исток — близ Малойи, там это — жалкий

ручей, я же сам видел, — как у нас Камп или Морава. Но что сделали из него швейцарцы? Энгадин! Знаменитый на весь мир Энгадин! Энгад-Инн, дорогая!! Вы когда-либо думали, что весь этот Энгадин происходит от слова «Инн»?! Вот меня и осенило сегодня: а мы-то с нашей невыносимой австрийской скромностью, конечно, никогда ничего не делаем из того, что нам принадлежит!

После этого разговора Диотима спешно созвала нужное общество, отчасти из-за сознания, что должна согласиться с его сиятельством, отчасти же из опасения, что толкнет своего высокого друга на крайности, если и теперь уклонится. Но когда она пообещала ему это, Лейнсдорф сказал: — И прошу вас, дражайшая, не забудьте на сей раз эту... ну, ту, что вы называете Докукер. Ее подруга, Вайден, уже несколько недель не дает мне покоя из-за этой особы!

Даже это пообещала Диотима, хотя в другие времена она усмотрела бы в терпимости к конкурентке нарушение долга перед отечеством.

35

Готовится великое событие

Правительственный советник Мезеричер

Когда комнаты озарились блеском праздничного освещения и собравшегося общества, «среди присутствующих», как пишут в газетах, «можно было увидеть» не только его сиятельство наряду с другими сливками аристократии, о прибытии которых он позаботился, но и его превосходительство господина военного министра, а уж в его свите и одухотворенную, несколько переутомленную голову генерала Штумма фон Бордвера. Можно было увидеть Пауля Арнгейма (просто и наиболее эффектно — без титула. Так было написано с умыслом. Литотесом называют эту искусную простоту выражения, когда пишущий снимает с себя, так сказать, какой-то пустяк, как король перстень с пальца, и перекладывает его на читателя). Затем «можно было увидеть» всех достойных упоминания представителей министерств. (Министр просвещения и культуры извинился перед его сиятельством, встретившись с ним в Верхней палате, за то, что не сможет явиться лично, ибо должен в этот день отправиться в Линц на освящение большой алтарной ограды.) Затем «можно было увидеть», что иностранные посольства и представительства прислали свою «элику». Затем — известных деятелей «промышленности, искусства и науки», и в этом неизменном соединении

трех областей буржуазной деятельности таилась старая аллегория прилежания, которая сама собой водила пером писаки. Затем это ловкое перо принимало к сведению и представляло публике дам: бежевое, розовое, вишневое, кремовое... вышитое и в оборку, с тремя оборками или свободно падающее ниже талии; и между графиней Адлиц и женой коммерции советника Вегхубера была названа широко известная госпожа Мелания Докукер, вдова всемирно знаменитого хирурга, «привыкшая и сама любезно привечать духовность в своем доме». Наконец, особняком. в конце этого раздела упоминался и Ульрих фон так-то и так-то «с сестрой», ибо перо не знало, добавить ли ему: «чья самоотверженная деятельность на благо столь духовного и патриотически столь отрадного предприятия общеизвестна» или даже вовсе «a coming man», давно ходили слухи, что, по предположению многих, этот любимец графа Лейнсдорфа мог еще толкнуть своего покровителя на весьма опрометчивый шаг, и соблазн показать себя осведомленным заранее был очень велик. Но самое глубокое удовлетворение знающему всегда доставляет молчание, особенно если он осторожен; и этому Ульрих и Агата были обязаны простым упоминанием их имен в конце списка, непосредственно перед теми столпами общества и светилами духа, которые уже не упоминались персонально, а были отправлены в братскую могилу «и других видных и выдающихся». Туда попало множество людей, в том числе известный правовед надворный советник профессор Швунг, временно находившийся в столице как член некоей министерской комиссии; и на сей раз еще молодой поэт Фридель Фейермауль, ибо хотя и было известно, что его дух помог родиться данному вечеру, никак не следовало забывать, что этим отнюдь еще не приобретает то более прочное положение, которое принадлежит туалетам и званиям. Такие люди, как исполняющий обязанности директора банка Лео Фишель с семьей — они добились приглашения к Диотиме ценой больших усилий и по настоянию Герды, не затрудняя Ульриха, то есть только благодаря царившей сейчас небрежности, такие люди были вообще наспех зарыты лишь в уголке глаза. И только супруга одного известного, но в таком обществе еще не достигающего уровня, когда тебя замечают, юриста, носившая тайное, неизвестное даже ее мужу имя Бонадея, была потом эксгумирована и помещена среди туалетов, потому что вид ее вызвал всеобщее внимание и восхищение. Это безличное перо, это бдительное любопытство публики было, конечно, человеком: обычно таких людей много, но в столице Какании над всеми остальными возвышался тогда один, а именно правительственный советник Мезеричер. Уроженец Мезеряча в Валахии, следы чего сохранила его фамилия, этот издатель,

главный редактор и главный корреспондент основанных им «Парламентских и общественных новостей» прибыл в столицу в шестидесятые годы прошлого столетия молодым человеком, который, прельстившись блеском повсюду сиявшего тогда либерализма, променял перспективу унаследовать родительский шинок в валашском Мезериче на профессию журналиста. И вскоре он внес в эту эпоху свой вклад, основав агентство, на первых порах поставлявшее газетам мелкую местную информацию полицейского характера. Благодаря прилежанию, надежности и добросовестности хозяина это агентство в начальной своей форме не только снискало признательность газет и полиции, но вскоре было замечено и другими высокими властями, каковые стали снабжать его материалом для распространения желательной информации, ответственность за которую они сами не хотели нести, и, в конце концов, агентство это заняло сперва привилегированное, а потом и вовсе исключительное положение в области неофициальной, но идущей из официальных источников информации. А увидев, как успешно идут его дела, Мезеричер, человек предприимчивый и неутомимый работник, расширил свою деятельность, включив в нее придворную и светскую хронику, да он, наверно, никогда бы и не приехал из Мезерича в столицу, если бы такое всегда не маячило перед ним и раньше. Перечни «присутствовавших», составленные без единого пропуска, считались его специальностью. Его память на имена, лица и на то, что о людях рассказывали, была необыкновенна и легко создавала ему с салоном такие же превосходные отношения, как с каторжной тюрьмой. Он знал «большой свет», как тот сам себя не знал, и с неисчерпаемой любовью, как старый кавалер, которого десятками лет посвящали во все марьяжных планы и заказы портным, способен был познакомить людей на следующий день после их встречи в каком-либо обществе. Так этот усердный, подвижной, всегда услужливый и любезный миниатюрный господин стал в конце концов на праздниках и торжествах обязательной, всему городу известной фигурой, а на склоне его лет такие светские сборища приобретали непререкаемый престиж вообще только благодаря ему и его присутствию.

Вершиной этой карьеры стало присвоение Мезеричеру звания правительственного советника, ибо чин этот заключал в себе одну особенность. Какания была, конечно, самой мирной страной на свете, но когда-то, в глубоко невинном убеждении, что войн больше не будет, она вздумала разделить своих чиновников на ранги, соответствующие офицерским, и учредила для них даже такие же мундиры и знаки отличия. Звание правительственного советника соответствовало с тех пор званию

кайзеровского и королевского подполковника; но хотя звание это само по себе не очень высокое, особенность его, когда оно было присвоено Мезеричеру, состояла в том, что по нерушимой традиции, которая, как все нерушимое, нарушалась в Какании лишь в виде исключения, Мезеричеру надлежало бы, собственно, стать кайзеровским советником. Ибо кайзеровский советник был не выше, как можно заключить из смысла слова, а ниже правительственного советника; кайзеровский советник соответствовал лишь званию капитана. И Мезеричеру надлежало бы стать кайзеровским советником, потому что это звание присваивалось, кроме канцеляристов, лишь представителям свободных профессий, например придворным парикмахерам и каретникам, но по той же причине также писателям и художникам; а звание правительственного советника было тогда настоящим чиновничьим званием. В том, что Мезеричер все-таки первый и единственный получил его, выразилось, стало быть, нечто большее, чем просто высота чина, и даже нечто большее, чем каждодневный призыв не относиться слишком серьезно к тому, что происходит в родной стране: этим неправомерным званием неутомимому летописцу тонко и осторожно удостоверили его тесную связь с двором, государством и обществом.

Мезеричер был образцом для многих журналистов своего времени и состоял в правлении авторитетных литературных объединений. Поговаривали, что он обзавелся мундиром с золотым воротником, но надевал его лишь изредка дома. Но это не походило на правду, ибо в глубине души Мезеричер всегда хранил определенные воспоминания о шинкарстве в Мезериче, а хороший шинкарь не пьет сам. Хороший шинкарь знает секреты всех своих гостей, но пользуется не всем, что он знает; он никогда не лезет в чужой спор с собственным мнением, но с удовольствием рассказывает и запоминает всякие факты, анекдоты и шутки. И поэтому Мезеричер, которого можно было встретить на любом торжестве как признанного осведомителя красивых женщин и изысканных мужчин, сам даже и не пытался завести хорошего портного; он знал все закулисные тайны политики и не вмешивался в политику ни одной строчкой, он был в курсе всех изобретений и открытий своего времени и не понимал ни одного из них. Ему было вполне достаточно знать, что все это имеется и «присутствует». Он честно любил свое время, и оно платило ему известной любовью, потому что он ежедневно сообщал о нем, что оно налицо. Когда он вошел и Диотима увидела его, она тотчас же сделала ему знак подойти к ней.

— Дорогой Мезеричер, — сказала она как можно слаще, — вы,

конечно, не сочли речь его сиятельства в Верхней палате выражением нашей позиции и, уж разумеется, не поняли ее буквально?!

Дело в том, что, добиваясь падения министра и будучи раздражен своими заботами, его сиятельство не только произнес в Верхней палате нашумевшую речь, где упрекал свою жертву в отсутствии истинно конструктивного духа сотрудничества и строгости, но в запальчивости сделал и кое-какие общие замечания, туманно завершившиеся рассуждением о важности прессы, в котором он упрекнул эту «институцию, выдвинувшуюся на положение великой державы» чуть ли не во всем, в чем беспристрастный человек христианских взглядов может упрекнуть институт, ни в чем, по его мнению, на него не похожий. Это-то Диотима дипломатически и пыталась загладить сейчас, она находила все более красивые и все менее понятные определения истинной позиции графа Лейнсдорфа, а Мезеричер задумчиво слушал. Но вдруг он положил руку на стиб ее локтя и великодушно прервал ее.

— Сударыня, стоит ли вам из-за этого волноваться, — резюмировал он. Ведь его сиятельство наш добрый друг, Он сильно сгустил краски. Но почему бы такому рыцарю не сгустить их?! — И, чтобы сразу доказать ей свое ничем не омраченное отношение к графу, прибавил: — Я сейчас подойду к нему!

Таков был Мезеричер! Но прежде, чем отправиться, он еще раз доверительно обратился к Диотиме:

— А что, собственно, с Фейермаулем, сударыня?

Диотима, улыбаясь, пожала своими красивыми плечами.

— Право же, ничего потрясающего, дорогой советник. Мы не хотим, чтобы о нас говорили, будто мы отвергаем кого-либо, кто идет к нам с доброй волей!

«Добрая воля» — это хорошо!» — подумал Мезеричер на пути к графу Лейнсдорфу; но прежде, чем он достиг его, даже прежде, чем он додумал до конца свою мысль, конец которой был любопытен ему самому, путь ему приветливо преградил хозяин дома.

— Дорогой Мезеричер, официальные источники опять оказались не на высоте, — начал с улыбкой начальник отдела Туцци, — я обращаюсь к полуофициальной информации: можете ли вы сказать мне что-нибудь о Фейермауле, который сегодня у нас?

— Что я могу сказать, господин начальник отдела?! — пожаловался Мезеричер.

— Говорят, он гений!

— Рад слышать! — отвечал Мезеричер.

Если нужно быстро и точно сообщить, что нового, то новое не должно быть слишком отлично от старого, уже известного. Гений тоже не составляет тут исключения, то есть настоящий и признанный гений, насчет значения которого его время быстро приходит к единому мнению. Другое дело гений, не сразу признаваемый таковым! В нем есть, так сказать, что-то совершенно негениальное, но даже на это у него нет монополии, поэтому в нем легко ошибиться во всех отношениях. Для правительственного советника Мезеричера существовал, таким образом, твердый контингент гениев, который он окружал любовью и вниманием, но набирать новых он не любил. Чем старше и опытнее он становился, тем больше даже вырабатывалась у него привычка смотреть на восходящих гениев искусства, и особенно на профессионально близких ему гениев литературы, только как на легкомысленные попытки помешать его серьезной информационной работе, и он ненавидел их всем своим добрым сердцем до тех пор, пока они не созревали до рубрики персональных упоминаний.

А Фейермауль тогда далеко не дозрел до нее, и его еще надо было туда привести. Правительственный советник Мезеричер отнюдь не горел таким желанием.

— Говорят, он большой поэт, — неуверенно повторил начальник отдела Туцци, и Мезеричер ответил твердо: — Кто это говорит?! Говорят это критики литературных отделов газет! Какое это имеет значение, говорил начальник отдела?! — продолжал он. — Говорят это специалисты. Что такое специалисты? Многие говорят прямо противоположное. И есть примеры тому, что специалисты говорят сегодня одно, а завтра другое. При чем тут они вообще? Настоящая слава доходит и до неспециалистов, тогда только и можно на нее положиться! Если хотите услышать мое мнение, то о выдающемся человеке нельзя знать ничего, кроме того, что он прибывает или отбывает!

Он грустно разгорячился, и глаза его не отрывались от Туцци. Тот уклончиво молчал.

— Что, собственно, происходит сегодня, господин начальник отдела? — спросил Мезеричер.

Туцци, улыбнувшись, рассеянно пожал плечами.

— Ничего. В сущности, ничего. Немножечко честолюбия. Вы читали какие-нибудь книги Фейермауля?

— Я знаю, о чем там речь: о мире, дружбе, доброте и тому подобном.

— Вы, значит, о нем невысокого мнения? — спросил Туцци.

— Господи! — начал Мезеричер, изворачиваясь. — Разве я специалист?..

Но в этот момент к ним направилась госпожа Докукер, и Туцци должен был из вежливости сделать несколько шагов ей навстречу; этим мгновением, не долго думая, воспользовался Мезеричер, углядевший просвет в толпе вокруг графа Лейнсдорфа, и, не дав задержать себя еще раз, бросил якорь возле его сиятельства. Граф Лейнсдорф разговаривал с министром и несколькими другими лицами, но как только Мезеричер выразил всем им свое глубокое почтение, его сиятельство сразу же слегка отвернулся от остальных и отвел в сторону правительственного советника.

— Мезеричер, — проникновенно сказал граф, — обещайте мне, что никаких недоразумений не возникнет, ведь газетчики никогда не знают, что им писать. Так вот: ни малейших изменений в ситуации с последнего раза не произошло. Может быть, что-нибудь изменится. Мы этого не знаем. Пока не надо мешать нам. Итак, прошу вас. даже если вас спросит кто-нибудь из ваших коллег, сегодняшний вечер — это только домашний прием, устроенный госпожой Туцци!

Веки Мезеричера медленно и озабоченно подтвердили, что он понял объявленный ему стратегический план. И поскольку за доверие платят доверием, губы его увлажнились и заблестели, как вообще-то полагалось бы блеснуть глазам, и он спросил:

— А что с Фейермаулем, ваше сиятельство, если позволено знать?

— Почему не позволено? — удивленно ответил граф Лейнсдорф. — О Фейермауле решительно нечего знать! Он приглашен потому, что баронесса Вайден не унималась, пока не получила для него приглашения. А что еще должно с ним быть? Может быть, вы что-нибудь знаете?

До сих пор правительственный советник Мезеричер не хотел придавать важность вопросу о Фейермауле, считая, что это всего лишь один из тех многих случаев соперничества в свете, о которых он узнавал изо дня в день. Но то обстоятельство, что теперь и граф Лейнсдорф так энергично оспаривал важность этого вопроса, уже не позволило ему, Мезеричеру остаться при таком мнении, и теперь он был все-таки убежден, что тут готовится что-то важное. «Что они хотят выкинуть?» — размышлял он, шагая дальше и мысленно перебирая самые смелые возможности внутренней и внешней политики. Но вскоре решительно заключая: «А, ничего не будет!..» — и больше не отвлекался от своей репортерской деятельности. Ибо как ни противоречило это, казалось бы, содержанию его жизни, Мезеричер не верил в великие события, более того, не любил их. Если ты убежден, что живешь в очень важное, архипрекрасное и великое время, тебе несносна мысль, что в эту эпоху может произойти еще что-либо особенно важное, прекрасное и великое. Мезеричер не был альпинистом, а

будь он им, он сказал бы, что этот его взгляд так же правдив, как тот факт, что смотровые беседки ставят всегда в горах средней высоты, а не на вершинах высоких гор. Поскольку таких сравнений у него не было, он удовлетворился неприятным чувством и намерением ни в коем случае не упоминать за это имя Фейермауля в своем отчете.

36

Готовится великое событие

Попутно встречаешь знакомых

Ульрих, стоявший рядом с кузиной во время ее разговора с Мезеричером, спросил ее, когда она на минуту осталась одна:

— К сожалению, я опоздал — как прошла первая встреча с Докукершей?

Диотима подняла тяжелые ресницы для одного-единственного усталого от мира взгляда и тут же опустила их.

— Конечно, прелестно, — сказала она. — Она нанесла мне визит. Сегодня мы договоримся о чем-нибудь. Это же так безразлично!

— Вот видите! — сказал Ульрих. Это прозвучало как в прежних разговорах, словно бы подводя под ними заключительную черту.

Диотима повернула голову и вопросительно посмотрела на кузена.

— Я же вам сказал это наперед. Все уже почти кончено, а ничего не было, — заявил Ульрих. У него была потребность говорить; когда он во второй половине дня вернулся домой, он застал Агату, но она вскоре снова ушла; они обменялись лишь несколькими короткими словами до приезда сюда; Агата позвала жену садовника и одевалась с ее помощью.

— Я вас предостерегал! — сказал Ульрих.

— От чего? — медленно спросила Диотима.

— Ах, не знаю. От всего!

Это была правда, он уже сам не знал, от чего только не предостерегал ее. От ее идей, от ее честолюбия, от параллельной акции, от любви, от ума, от «года всего мира», от интриг, от ее салона, от ее страстей; от чувствительности и от беспечности, от неумеренности и от правильности, от супружеской неверности и от брака; не было ничего, от чего он не предостерегал бы ее. «Такова уж она!» — думал он. Все, что она делала, он находил нелепым, и все-таки она была так красива, что от этого делалось грустно.

— Я вас предостерегал, — повторил Ульрих. — Ведь теперь вы,

кажется, интересуетесь только теоретическими вопросами половой жизни?!

Диотима пропустила это мимо ушей.

— Вы считаете этого любимца Докукерши талантливым? — спросила она.

— Конечно, — отвечал Ульрих. — Талантливый, молодой, несформировавшийся. Успех и эта женщина испортят его. У нас ведь портят даже грудных младенцев, говоря им, что они замечательны своими инстинктами и что умственное развитие может лишь навредить им. У него бывают иногда прекрасные озарения, но он не может пропустить десять минут, не сказав какой-нибудь глупости. Ульрих приблизился к уху Диотимы.

— А ее вы хорошо знаете?

Диотима едва заметно покачала головой.

— Она опасно честолюбива, — сказал Ульрих. — Но она должна была бы заинтересовать вас при ваших новых занятиях: на том месте, где красивые женщины носили прежде фиговый листок, она носит лавровый! Я ненавижу таких женщин!

Диотима не засмеялась, даже не улыбнулась; она просто очень внимательно слушала «кузена».

— Что вы думаете о нем как о мужчине? — спросил он.

— Грустный, — шепнула Диотима. — Как барашек, преждевременно ожиревший,

— А что! Красота у мужчины — только вторичный половой признак, — сказал Ульрих. — Мужчина возбуждает прежде всего надеждой на его успех. Через десять лет Фейермауль станет международной знаменитостью, об этом позаботятся связи Докукерши, и тогда она выйдет за него замуж. Если слава при нем останется, это будет счастливый брак.

Диотима опомнилась и строго поправила его:

— Счастье в браке зависит от условий, судить о которых нельзя научиться без дисциплинированной работы над собой!

Затем она оставила его, как гордый корабль оставляет причальную стенку. Ее уводили прочь обязанности хозяйки дома, и она незаметно, не глядя на него, кивнула ему, когда отдавала швартовы. Но она не вкладывала в это недоброго смысла; напротив, голос Ульриха казался ей давней музыкой юности. Она даже спрашивала себя тайком, к каким результатам привело бы сексологическое освещение его особы. Как ни странно, своих подробных исследований этих вопросов она до сих пор никогда не связывала с ним.

Ульрих поднял глаза и через просвет в толпе, подобие оптического канала, которым, вероятно, следовал ум и взгляд Диотимы, прежде чем она довольно внезапно покинула свое место, увидел во второй от себя комнате беседовавшего с Фейермаулем Пауля Арнгейма и доброжелательно стоявшую рядом госпожу Докукер. Она и свела обоих. Арнгейм держал поднятой руку с сигарой, это походило на безотчетный жест самозащиты, но он улыбался очень располагающе; Фейермауль говорил оживленно и, держа сигару двумя пальцами, сосал ее между фразами с жадностью теленка, тыкающегося мордой в материнское вымя. Ульрих мог представить себе, что они говорят, но не потрудился сделать это. Он остался стоять в счастливой покинутости, и глаза его искали сестру. Он обнаружил ее в группе малознакомых ему мужчин, и сквозь его рассеянность пробежал какой-то морозец. Тут Штумм фон Бордвер мягко ткнул его пальцем в ребра, и в тот же миг с другой стороны стал приближаться надворный советник профессор Швунг, но был в нескольких шагах от него задержан каким-то подбежавшим столичным коллегой.

— Наконец-то я нашел тебя! — облегченно прошептал генерал. — Министр хочет знать, что такое «фетиши».

— Как так — фетиши?

— Как так — не знаю. Так что же такое фетиши?

Ульрих определил:

— Вечные истины, которые не вечны и не истинны, а сохраняют силу для определенного времени, чтобы это время могло на что-то ориентироваться. Это философское и социологическое словечко и употребляется редко.

— Ага, так и есть, — сказал генерал. — Арнгейм, понимаешь, заявил: учение, что человек добр, — это, мол, только фетиш. А Фейермауль ответил: что такое фетиши, он не знает, но человек добр, и это вечная истина! А Лейнсдорф тогда сказал: «Это совершенно правильно. Злых людей, собственно, вообще нет, ибо зла никто не может хотеть. Это только сбившиеся с пути. Люди сегодня просто нервны, потому что в такие времена, — как нынешние, много скептиков, которые не верят ни во что прочное». Я подумал: жаль, что его не было с нами сегодня днем! А вообще-то он и сам считает, что с людьми, если на них не действует убеждение, надо прибегать к принуждению. И вот министр и пожелал узнать, что такое фетиши. Я сейчас только быстренько схожу к нему и сразу вернусь. Постоишь пока здесь, чтобы я снова нашел тебя?! Мне, понимаешь, нужно срочно поговорить с тобой еще кое о чем, а потом отвести тебя к министру!

Прежде чем Ульрих успел потребовать объяснения, Туцци, проходя мимо, взял его со словами «Давненько вы у нас не бывали!» под руку и продолжал:

— Помните, я предсказывал вам, что нам придется иметь дело с нашествием пацифизма?!

При этом он дружелюбно заглянул в глаза и генералу, но Штумм торопился и ответил только, что хотя у него как у офицера фетиш другой, никакое достойное уважения убеждение не вызывает у него... Окончание фразы исчезло вместе с ним, ибо он каждый раз злился на Туцци, а это не способствует прояснению мысли.

Начальник отдела весело подмигнул вслед генералу и снова повернулся к «кузену».

— Нефтепромыслы — это, конечно, отвод глаз, — сказал он.

Ульрих посмотрел на него удивленно.

— Вы еще, по-видимому, ничего не знаете об этой истории с нефтью? — спросил Туцци.

— Напротив, — ответил Ульрих. — Я просто удивился, что вы это знаете. — И, чтобы загладить невежливость, прибавил: — Вы великолепно сумели это утаить!

— Я уже давно это знаю, — польщенно сказал Туцци. — Этого Фейермауля залучил к нам через Лейнсдорфа, конечно, Арнгейм. Кстати, вы читали его книги?

Ульрих отвечал утвердительно.

— Архипацифист! — сказал Туцци. — И Докукерша, как называет ее моя жена, заботится о кем с таким честолубием, что готова ради пацифизма шагать по трупам, если понадобится, хотя ее настоящий пунктик — не это, а только художники. — Туцци подумал, затем сообщил Ульриху: — Пацифизм — это, конечно, главное, нефтепромыслы — лишь отвлекающий маневр. Поэтому и суют вперед Фейермауля с его пацифизмом. Ведь тогда все подумают: «Ага, это отвлекающий маневр!» — и решат, что за этим кроется дело с нефтью! Отлично сработано, но слишком умно, чтобы никто не заметил. Ведь если Арнгейм получит галицийские нефтепромыслы и договор о поставках с военным ведомством, нам, конечно, придется защищать границу. Нам придется также создать нефтяные базы для флота на Адриатике, что встревожит Италию. А если мы будем так раздражать наших соседей, то, естественно, усилится потребность в мире и мирная пропаганда, и если царь выступит тогда с какой-нибудь идеей насчет Вечного Мира, почва для этого будет психологически подготовлена. Вот чего хочет Арнгейм!

— А у вас есть что-нибудь против этого?

— Против этого у нас, конечно, ничего нет, — сказал Туцци. — Но как вы, наверно, помните, я уже однажды объяснял вам, что нет ничего опаснее, чем мир любой ценой. Мы должны защищаться от дилетантства!

— Но ведь Арнгейм военный промышленник! — возразил Ульрих с улыбкой.

— Конечно! — прошептал Туцци несколько раздраженно. — Ради бога, не думайте так наивно об этих вещах! Договор будет тогда у него в кармане. И на худой конец станут вооружаться и наши соседи. Вот увидите, в решающий момент он окажется пацифистом! Пацифизм — это надежное и верное военное предприятие, а война — это риск!

— По-моему, у военной партии вовсе и нет таких страшных намерений, примирительно сказал Ульрих. — Она просто хочет сделкой с Арнгеймом облегчить перевооружение своей артиллерии, и ничего больше. И ведь в конце концов во всем мире вооружаются сегодня только ради мира. Значит, она, наверно, думает, что будет просто правильно сделать это однажды и с помощью друзей мира!

— Как же они представляют себе это практически? — поинтересовался Туцци, не подхватив шутки.

— До этого, я думаю, они еще не дошли. Пока они только выражают эмоции.

— Конечно! — раздраженно согласился Туцци, словно он и не ждал ничего другого. — Военным следовало бы ни о чем, кроме войны, не думать и обращаться со всем другим в компетентные органы. Но, вместо того чтобы так поступать, они готовы подвергнуть опасности весь мир своим дилетантством. Повторяю вам: ничто в дипломатии так не опасно, как неделовые разговоры о мире! Каждый раз, когда потребность в них достигала известной силы и становилась неодолимой, из этого возникала война! Могу подтвердить вам это документально!

В этот момент надворный советник профессор Швунг освободился от своего коллеги и самым сердечным образом воспользовался Ульрихом, чтобы быть представленным хозяину дома. Ульрих исполнил его волю с замечанием, что этот знаменитый ученый осуждает пацифизм в области уголовного права так же, как авторитетный начальник отдела осуждает его в области политики.

— Помилуйте, — со смехом запротестовал Туцци, — вы поняли меня совершенно превратно!

И Швунг, тоже после минутного раздумья, присоединился к этому протесту, заметив, что он вовсе не хотел бы, чтобы его концепцию

ограниченной вменяемости считали кровожадной и негуманной.

— Напротив! — воскликнул он, как старый кафедральный актер, заменив разведение рук торжественно раскатистым голосом. — Как раз пацификация человека побуждает нас к известной строгости! Быть может, господин начальник отдела слышал о моих своевременных сейчас усилиях по этой части?

Он обращался теперь непосредственно к Туцци, который, правда, ничего не слышал о споре по вопросу о том, основывается ли ограниченная вменяемость больного преступника только на его представлениях или только на его воле, но тем вежливее согласился со всем. Очень довольный произведенным эффектом, Швунг принялся хвалить серьезный взгляд на жизнь, свидетельством которого мог служить сегодняшний вечер, и сказал, что, прислушиваясь там и сям к разговорам, он очень часто слышал слова «мужская суровость» и «нравственное здоровье».

— Наша культура недопустимо заражена неполноценным, нравственно уродливым, — прибавил он от себя и спросил: — Но какова, собственно, цель сегодняшнего вечера? Проходя мимо разных групп, я поразительно часто слышал прямо-таки руссоистские суждения о врожденной доброте человека.

Туцци, к которому главным образом был обращен этот вопрос, улыбаясь, молчал, но тут как раз вернулся генерал, и Ульрих, желая ускользнуть от него, познакомил его со Швунгом, которому представил его как человека, более чем кто бы то ни было из присутствующих способного ответить на этот вопрос. Штумм фон Бордвер энергично запротестовал, но Швунг да и Туцци не отставали; Ульрих уже торжествовал, ретируясь, как вдруг его задержал один старый знакомый, который сказал:

— Моя жена и дочь тоже здесь, Это был директор банка Лео Фишель.

— Ганс Зепп сдал государственный экзамен, — сообщил он. — Что тут скажешь? Теперь ему нужно сдать только один экзамен, чтобы стать доктором! Мы все сидим вон там в углу, — указал он на самую дальнюю комнату. — Мы мало кого здесь знаем. Давненько, однако, не видели мы вас у себя! Ваш батюшка, а? Ганс Зепп раздобыл нам приглашение на сегодняшний вечер, жене хотелось до зарезу. Малый, видите, не совсем никудышный. Они теперь полуофициально помолвлены, Герда и он. Вы, наверно, и не знали? Но Герда, понимаете, эта девчонка, я не знаю даже, любит ли она его или просто вбила это себе в голову. Подошли бы к нам на минутку!..

— Я подойду попозже, — пообещал Ульрих.

— Да, подойдите! — повторил Фишель и умолк. Потом он прошептал:

— Это, наверно, хозяин дома? Не познакомите ли меня с ним? У нас еще не было случая. Ни его мы не знаем, ни ее.

Но когда Ульрих приготовился сделать это, Фишель остановил его.

— А великий философ? Как он поживает? — спросил он. — Моя жена и Герда, конечно, без ума от него. Но что с нефтью? Теперь говорят, будто это был ложный слух, не верю! Опровергать принято! Дело тут, знаете, такое: когда моя жена недовольна прислугой, та оказывается и такой, и сякой — и лжет, мол, и безнравственна, и дерзит — сплошные, так сказать, душевные изъяны. Но стоит мне, ради — собственного покоя, тайком пообещать этой девчонке прибавку к жалованью, и души как не бывало! О душе нет уже и речи, все вдруг становится на свои места, а жена не знает почему. Ведь верно? Ведь так и есть? Слишком уж благоприятна для нефти коммерческая конъюнктура, чтобы поверить опровержению.

И поскольку Ульрих молчал, а Фишелю хотелось вернуться к жене в ореолы осведомленности, он начал еще раз: — Надо признать, что здесь мило. Но моей жене непонятно: что это за странные разговоры? И что представляет собой этот Фейермауль? — прибавил он тут же. — Герда говорит, что он великий поэт. Ганс Зепп говорит, что он просто-напросто карьерист, который всех обвел вокруг пальца!

Ульрих нашел, что истина где-то посередине.

— Прекрасно сказано! — поблагодарил его Фишель. Истина всегда посередине, а это сегодня все забывают, поголовно впадая в крайности! Я всегда говорю Гансу Зеппу: у каждого могут быть свои взгляды, но со временем остаются в силе лишь те, которые позволяют что-то заработать, поскольку это доказывает, что они понятны и другим людям!

В Фишеле незаметно произошла какая-то важная перемена, но вникнуть в это Ульрих, к сожалению, не потрудился, поспешив передать отца Герды группе вокруг начальника отдела Туцци.

Там между тем витийствовал Штумм фон Бордвер: Ульрихом ему не удалось завладеть, а желание выговориться распирало его так, что он воспользовался первыми попавшимися слушателями.

— Как объяснить сегодняшний вечер? — восклицал он, повторяя вопрос надворного советника Швунга. — Я бы ответил в соответствии, так сказать, с его духом: самое лучшее объяснение — не объяснять вообще! Я не шучу, господа, — продолжал он не без скромной гордости. — Сегодня днем, когда мне пришлось показывать психиатрическую клинику нашего университета одной молодой даме, я случайно спросил ее в разговоре, что, собственно, интересует ее, чтобы можно было все как следует объяснить ей, и получил от нее умный ответ, дающий богатейшую пищу для

размышлений. Она сказала: «Если все объяснять, человек никогда ничего не изменит в мире!»

Швунг неодобрительно покачал головой по поводу этого утверждения.

— Что она имела в виду, я не знаю, — застраховал себя Штумм, — и не разделяю ее мнение целиком, но нельзя не почувствовать в этом какой-то истины! Я, например, обязан, знаете ли, моему другу, который часто помогал советом его сиятельству, а тем самым и нашей акции, — он вежливо указал на Ульриха, — множеством инструкций, но то, что сегодня рождается здесь, — это известная антипатия к инструкциям. Так я возвращаюсь к тому, с чего я начал!

— Но вы же хотите... — сказал Туцци, — то есть говорят, что господа из военного министерства хотят сегодня спровоцировать какое-то патриотическое решение — сбор общественных средств или что-то подобное для перевооружения артиллерии. Конечно, это должно иметь чисто демонстративное значение, чтобы оказать известный нажим на парламент общественным мнением.

— Так, во всяком случае, склонен и я понимать многое из того, что услышал сегодня, — согласился надворный советник Швунг.

— Это гораздо сложнее, господин начальник отдела! — сказал генерал.

— А доктор Арнгейм? — без обиняков спросил Туцци. — Скажу откровенно: вы уверены, что и Арнгейм не хочет ничего, кроме галицийской нефти, которая составляет, так сказать, один комплекс с вопросом о пушках?

— Я могу говорить только о себе и о том, к чему имею отношение, застраховал себя Штумм еще раз, — а тут все гораздо сложнее!

— Конечно, сложнее! — с улыбкой отпарировал Туцци.

— Конечно, пушки нужны нам, — разгорячился генерал, — и сотрудничать с Арнгеймом, как вы намекнули, быть может, и выгодно. Я, повторяю, могу выражать лишь свою точку зрения референта по вопросам образования, и вот я спрашиваю вас: что толку в пушках, если отсутствует дух?

— А почему же тогда придается такое значение присутствию господина Фейермауля? — насмешливо спросил Туцци. — Это же само поражение!

— Простите, что я возражаю, — решительно сказал генерал, — но это дух времени! Дух времени представляют сегодня два течения. Его сиятельство — вон он стоит с министром, я только что оттуда, — его сиятельство, например, говорит, что нужно бросить лозунг «действовать»,

этого, мол, требует ход времени. И правда, великие мысли человечества радуют сегодня всех меньше, чем, скажем, сто лет назад. С другой стороны, гуманная позиция тоже, конечно, имеет свои плюсы, но тут его сиятельство говорит: если кто-то не хочет своего же счастья, то в иных случаях полезно и принуждение! Его сиятельство, таким образом, стоит за одно течение, но и от другого не отмежевывается!..

— Это я не совсем понял, — заметил профессор Швунг.

— Да это и нелегко понять, — с готовностью признал Штумм. — Начнем, пожалуй, еще раз с того, что я усматриваю два течения духа времени. Первое течение утверждает, что человек по природе добр, если только его, так сказать, оставляют в покое...

— Как это добр? — прервал его Швунг. — Кто сегодня настолько наивен, чтобы так думать? Мы ведь уже не живем идеями восемнадцатого века?!

— Тут я уже не могу согласиться с вами, — обиженно возразил генерал. Подумайте хотя бы о пацифистах, о вегетарианцах, о противниках насилия, об опрошенцах, об антиинтеллектуалах, об отказывающихся от военной службы... Не могу припомнить всех с ходу. Все, кто вселяет в человека эту, так сказать, веру, образуют вместе одно большое течение. Но извольте, прибавил он с той уступчивостью, которая была такой милой его чертой, — если хотите, мы можем начать и с другого конца. Начнем, пожалуй, с того, что человека нужно поработить, если он сам по себе никогда не поступает правильно. На этом нам, может быть, легче сойтись. Массам нужна сильная рука, им нужны вожди, которые круто обходятся с ними, а не просто болтают, короче, им нужно, чтобы ими правил дух действия. Человеческое общество состоит ведь, так сказать, лишь из небольшого числа добровольцев, обладающих тогда и необходимыми данными, и из лишенных высшего честолюбия миллионов, которые служат только по принуждению. Так ведь приблизительно обстоит дело?! А поскольку благодаря опыту эта точка зрения постепенно утвердилась и в нашей Акции, первое течение — ведь то, что я сейчас описал, это уже второе течение духа времени, — первое течение, так сказать, опасается, что великая идея любви и веры в человека погибнет вовсе, и тут-то и заработали силы, направившие в нашу Акцию этого самого Фейермауля, чтобы в последний момент спасти то, что еще можно спасти. Так все гораздо проще понять, чем кажется поначалу, не правда ли? — сказал Штумм.

— А что же произойдет? — спросил Туцци.

— Я думаю, ничего, — ответил Штумм. — У нас в Акции было уже

много течений.

— Но ведь между этими двумя налицо невыносимое противоречие! — возразил профессор Швунг, который как юрист не мог вынести такую неясность.

— Если разобраться, то нет, — опроверг это Штумм. — Другое течение тоже, конечно, хочет любить человека. Только оно считает, что для этого его нужно сначала переделать силой. Разница, так сказать, только техническая.

Тут взял слово директор Фишель.

— Я подошел позже и потому, к сожалению, не слышал всего, но если позволено, я заметил бы, что, по-моему, уважение к человеку все-таки принципиально выше своей противоположности! Сегодня вечером я с нескольких сторон, хотя это наверняка исключения, слышал невероятные речи об инакомыслящих и особенно о людях других национальностей! Благодаря бакенбардам и косо сидевшему пенсне он выглядел как английский лорд, твердо верящий в великие идеи человеческой свободы и свободы торговли. Он умолчал о том, что эти ужасные речи он слышал от Ганса Зеппа, своего будущего зятя, который чувствовал себя в родной стихии во «втором течении духа времени».

— Грубые речи? — спросил его жадный до информации генерал.

— Чрезвычайно грубые, — подтвердил Фишель.

— Может быть, дело шло об «оздоровлении», — предположил генерал, — ведь тут легко спутать одно с другим.

— Нет, нет! — воскликнул Фишель. — Совершенно оголтелые, прямо-таки революционные речи! Вы, наверно, не знаете нашей настропаленной молодежи, господин генерал-майор. Я удивился, что таких людей вообще допускают сюда.

— Революционные речи? — спросил Штумм, которому это не понравилось, и улыбнулся так холодно, как только позволяло его круглое лицо. — К сожалению, господин директор, я должен признаться, что я вовсе не против революционности как таковой. То есть, конечно, до тех пор, пока ей не дают и впрямь развязать революцию! Ведь во всем этом часто так много идеализма! А что касается допуска, то Акция, призванная охватить все отечество, не вправе отстранять конструктивные силы, в чем бы они ни выражали себя!

Лео Фишель промолчал. Профессор Швунг не придавал особой важности мнению сановника, который не принадлежал к гражданской администрации. Туцци повторял в уме: «Первое течение — второе течение». Это напоминало ему два сходных словосочетания: «первый

подпор, второй подпор», — но ни они, ни разговор с Ульрихом, где они фигурировали, не приходили ему на ум; в нем проснулась только непонятная ревность мужа, связанная с этим неопасным генералом какими-то невидимыми промежуточными звеньями, которые он никак не мог разобрать. Когда его пробудило молчание, ему захотелось показать представителю армии, что его, Туцци, не собьют с толку никакие словесные увертки.

— Если подвести итог, господин генерал, — начал он, — то военная партия хочет...

— Ах, господин начальник отдела, никакой военной партии не существует! — прервал его Штумм сразу же. — Мы постоянно слышим: военная партия, а ведь военные по самой природе своей выше партий!

— Ну, так, значит, военное ведомство, — довольно резко ответил Туцци на это замечание. — Вы сказали, что одних пушек армии мало, что ей нужен и надлежащий дух. Каким же духом угодно вам зарядить ваши орудия?

— Эх куда хватили, господин начальник отдела! — запротестовал Штумм. — Мы начали с того, что я должен был объяснить господам сегодняшний вечер, а я сказал, что тут, собственно, ничего нельзя объяснить. Это единственное, на чем я стою! Ведь если у духа времени действительно есть два течения, о которых я говорил, то оба они тоже не за то, чтобы «объяснять». Сегодня принято выступать за инстинктивные силы, силы крови и тому подобное. Я, конечно, не сторонник этого, но что-то тут есть!

При этих словах директор Фишель еще раз вскипел и нашел безнравственной готовность военных примириться даже с антисемитизмом, чтобы получить свои орудия.

— Ах, господин директор! — успокоил его Штумм. — Во-первых, капелька антисемитизма, право же, не имеет никакого значения, если люди уже вообще «анти», немцы — против чехов и мадьяр, чехи — против мадьяр и немцев, и так далее — каждый против всех. А во-вторых, как раз австрийский офицерский корпус всегда был интернациональным, достаточно взглянуть на все эти итальянские, французские, шотландские и бог знает еще какие фамилии. Есть у нас и генерал от инфантерии фон Кон, он командует конусом в Ольмюце.

— Боюсь все же, что вы берете на себя слишком много, — прервал Туцци это отступление от темы. — Вы интернациональны и воинственны, а хотите вступить в сделку с националистическими течениями и пацифистскими. Это чуть ли не больше, чем может сделать

профессиональный дипломат. Вести с помощью пацифизма военную политику — этим сегодня заняты в Европе самые опытные специалисты!

— Но мы же вообще не занимаемся политикой! — еще раз, тоном усталой жалобы, запротестовал Штумм против такого недоразумения. — Его сиятельство хотел предоставить собственности и образованности последнюю возможность объединиться духовно. Отсюда возник этот вечер. Конечно, если штатский дух так и не добьется единства, мы окажемся в таком положении...

— В каком же? Это-то как раз и любопытно узнать! — воскликнул Туцци, опрометчиво подстрекая генерала обмолвиться.

— В трудном, конечно, — сказал Штумм осторожно и скромно.

Пока эти четверо так беседовали, Ульрих, давно уже незаметно улизнувший, искал Герду, обходя стороной группку его сиятельства и военного министра, чтобы не быть подозванным к ним.

Он уже издали увидел ее, она сидела у стены рядом со своей неподвижно глядевшей в пространство салона матерью, а Ганс Зепп с беспокойным и строптивым видом стоял с другой стороны. После той злосчастной последней встречи с Ульрихом она стала еще хуже, и чем ближе он к ней подходил, тем все менее миловидно, но почему-то как раз поэтому фатально привлекательнее выделялись на фоне комнаты ее голова и сильные плечи. Когда она увидела Ульриха, щеки ее сразу залились румянцем, сменившимся еще большей бледностью, и она непроизвольно съежилась, как человек, у которого болит сердце, но который почему-либо не может положить руку на грудь. В уме у него промелькнула сцена, когда он, обезумев от своего животного преимущества — волновать ее тело, надругался над ее волей. И вот это тело, видимое для него под платьем, сидело на стуле, получало приказы обиженной воли держаться теперь гордо и дрожало при этом. Герда не была зла на него, он это видел, но она хотела любой ценой «покончить» с ним. Он незаметно замедлил шаг, чтобы как можно дольше вкушать от всего этого, и такая сладострастная оттяжка, вероятно, соответствовала отношению друг к другу этих двух людей, которые никогда не могли сойтись вполне.

И когда Ульрих был уже вблизи нее и не видел ничего, кроме дрожи в лице, его ожидавшем, на него упало что-то невесомое, не то тень, не то струя тепла, и он увидал Бонадею, которая безмолвно, но вряд ли непреднамеренно прошла мимо него и его, наверно, преследовала, и поздоровался с ней. Мир прекрасен, если принимать его таким, каков он есть. На секунду наивный контраст между пышным и скудным, выразившийся в этих двух женщинах, показался ему таким же огромным,

как между лугом и камнем на границе скал, и у него появилось такое чувство, что он выходит из параллельной акции, хотя и с виноватой улыбкой. Когда Герда увидела, как эта улыбка медленно опускается навстречу ее протянутой руке, веки ее задрожали.

В этот миг Диотима заметила, что Арнгейм повел молодого Фейермауля к группе его сиятельства и военного министра, и, как опытный тактик, помешала этим контактам, напустив в комнаты весь обслуживающий персонал с освежающими напитками.

37

Одно сравнение

Таких разговоров, как приведенные, были десятки, и во всех было что-то общее, что не так-то легко описать, но о чем и умолчать тоже нельзя, если не умеешь, как правительственный советник Мезеричер, давать блестящее описание общества одним лишь перечислением: присутствовали такой-то и такая-то, одеты были так-то и так-то, сказали то-то и то-то; к этому, впрочем, как раз и сводится то, что многие считают самым настоящим искусством повествования. Фридель Фейермауль не был, значит, жалким льстецом, — им он и вообще не был, — а только вовремя проникся уместной мыслью, когда сказал о Мезеричере при Мезеричере: «Он, в сущности, Гомер нашего времени! Нет, совершенно серьезно, — прибавил он, ибо Мезеричер сделал было протестующий жест, — в эпически невозмутимом „и“, которым вы ставите в один ряд всех и вся, есть, на мой взгляд, что-то поистине великое!» Он завладел главой «Парламентских и общественных новостей», поскольку тот не хотел покидать дом Туцци, не засвидетельствовав свое почтение Арнгейму; но Мезеричер все-таки не включил Фейермауля в число перечисленных поименно гостей. Не вдаваясь в более тонкие различия между идиотами и кретинами, напомним только, что идиоту определенной степени уже не удастся образовать понятие «родители», тогда как представление «мать и отец» еще вполне доступно ему. Но этим простым, соединительным «и» как раз и связывал Мезеричер общественные явления. Далее следует напомнить, что, по опыту всех наблюдателей, в примитивной конкретности мышления идиотов есть что-то, вызывающее каким-то таинственным образом к чувству; и что поэты тоже вызывают в основном к чувству, и даже весьма сходным образом, поскольку отличаются предельной конкретностью мысли. Если, стало быть, Фридель Фейермауль назвал

Мезеричера поэтом, он мог бы с таким же правом, то есть из тех же темных побуждений, которые в его случае были опять-таки озарением, назвать его идиотом, — назвать знаменательным и для всего человечества образом. Ведь то общее, о чем тут идет речь, — это ум, не сдерживаемый никакими широкими понятиями, не очищенный никакими разграничениями и абстракциями, ум, способный на грубейшее соединение, что нагляднее всего и выражается в том, как он довольствуется простейшей связкой, беспомощным, нагромождающим одно на другое «и», которое заменяет слабоумному более сложные отношения; похоже, что и мир, несмотря на весь содержащийся в нем ум, находится в таком родственном идиотизму состоянии; этот вывод даже напрашивается, когда пытаешься понять происходящие в мире события в их совокупности. Не надо, однако, думать, будто те, кто выдвигает и разделяет такое мнение, единственно умные люди на свете! Тут суть вопроса вовсе не в отдельном человеке и не в делах, которые он обделывает и которые каждый, кто явился в этот вечер на прием к Диотиме, обделывал с большей или меньшей хитростью. Ведь когда за напитками генерал фон Штумм, например, вступил вскоре с его сиятельством в разговор, в ходе которого он любезно-упрямо и почтительно-непринужденно возразил тому такими словами: «Не взыщите, ваше сиятельство, что я решительно не согласен! Но в том, что люди гордятся своей расой, есть не только надменность, но и что-то приятно благородное!», — он точно знал, что он хотел сказать этими словами, неточно он знал только, что он ими сказал, ибо вокруг таких штатских слов есть какая-то оболочка, окутывающая их, как толстые перчатки, в которых пытаешься вытащить одну спичку из полной коробки. И Лео Фишель, не отставший от Штумма, когда заметил, что генерал нетерпеливо устремился к его сиятельству, прибавил:

— Людей надо различать не по расам, а по заслугам!

И то, что сказал в ответ его сиятельство, было тоже логично; его сиятельство не заметил только что представленного ему директора Фишеля и ответил фон Штумму:

— На что буржуа раса?! Что камергер должен иметь шестнадцать предков-дворян — этим они всегда возмущались, это они считали наглостью, а что они делают теперь сами? Они хотят подражать этому и перебарщивают. Больше шестнадцати предков — это же просто сионизм!

Ведь его сиятельство был раздражен, и потому было вполне естественно, что он так говорил. Да и вообще неоспоримо, что человек обладает разумом, вопрос только в том, как он применяет его в общественном плане.

Его сиятельство досадовал на проникновение в параллельную акцию «почвенных» элементов, которое вызвал он сам. Его заставили сделать это разные политические и социальные соображения; сам он признавал только «население государства». Его политические друзья советовали ему: «Беды не будет, если ты слушаешь, что они говорят о расе, о чистоте и о крови. Кто вообще принимает всерьез всякую болтовню!» — «Но ведь они говорят о человеке так, словно он скотина!» — возражал граф Лейнсдорф, державшийся католических представлений о достоинстве человека, мешавших ему, хотя он и был крупным помещиком, понять, что идеалы птице — и коневодства можно применить и к чадам божьим. На это его друзья отвечали: «Да зачем же тебе смотреть на это сразу так глубокомысленно? И потом это даже, может быть, лучше, чем если бы они говорили о гуманности и тому подобных иностранных революционных штуках, как то всегда было до сих пор!» И это в конце концов убедило его сиятельство. Но его сиятельство досадовал и на то, что этот Фейермауль, пригласить которого он вынудил Диотиму, внес только новое смятение в параллельную акцию и разочаровал его. Баронесса Вайден пела этому Фейермаулю дифирамбы, и он, Лейнсдорф, в конце концов поддался ее натиску. «В этом вы совершенно правы, — признал граф, — что при теперешнем курсе мы легко можем прослыть германофилами. И вы правы также, что, пожалуй, не мешает пригласить поэта, который говорит о том, что надо любить всех людей. Но поймите, я просто не могу навязывать это госпоже Туцци!» Но Вайденша не отставала и, видимо, нашла новые убедительные причины, ибо в конце беседы Лейнсдорф обещал ей потребовать от Диотимы, чтобы она пригласила Фейермауля. «Делать это мне не хочется, — сказал он. — Но сильной руке нужны и прекрасные слова, чтобы люди ее поняли, в этом я с вами согласен. И вы правы также, что в последнее время все идет слишком медленно, нет больше настоящего энтузиазма!»

Но теперь он был недоволен. Его сиятельство отнюдь не считал других дураками, хотя и считал, что он умнее их, и не понимал, почему эти умные люди в совокупности производят на него столь скверное впечатление. Больше того, вся жизнь производила на него такое впечатление, словно наряду с состоянием разумности и в отдельно взятом человеке, и в официальных установлениях, к которым он, как известно, причислял также веру и науку, существовало состояние полной невменяемости в целом. То и дело возникали идеи, дотоле неведомые, разжигали страсти и немного спустя опять исчезали; люди гнались то за тем, то за этим, впадая из одного суеверия в другое; сегодня они славил его величество, а завтра

произносили ужасные погромные речи в парламенте; но из всего этого так ничего и не выходило! Если бы все это можно было уменьшить в миллион раз и перевести, так сказать, в масштаб одной головы, то получилась бы в точности та картина непредсказуемости, забывчивости, невежества и паясничанья, которая всегда связывалась у графа Лейнсдорфа с сумасшедшими, хотя до сих пор ему редко доводилось думать об этом. И вот он мрачно стоял среди окружавших его людей, размышляя о том, что ведь как раз параллельная акция должна была выявить истину, и не мог сформулировать какую-то мысль о вере, мысль, в которой он только чувствовал что-то приятно успокоительное, как тень от высокой стены, и стена эта была, наверно, церковной.

— Смешно! — сказал он Ульриху, отказавшись через несколько мгновений от этой мысли. — Если взглянуть на все со стороны, это напоминает скворцов, когда они осенью сидят стаями на плодовых деревьях.

Ульрих вернулся от Герды. Разговор их не исполнил того, что обещало начало; Герда не выдавила из себя почти ничего, кроме коротких ответов, с трудом отрубленных от чего-то, что комом застряло у нее в груди; тем больше говорил Ганс Зепп, он строил из себя ее стража и сразу заявил, что его не запугает это гнилое окружение.

— Вы не знаете великого специалиста по расовой проблеме Бремсгубера? — спросил он Ульриха.

— Где он живет? — спросил Ульрих.

— В Шердинге на Лаа, — сказал Ганс.

— Чем он занимается? — спросил Ульрих.

— Какое это имеет значение! — сказал Ганс. — Теперь приходят именно новые люди! Аптекарь он!

Ульрих сказал Герде:

— Вы, я слышал, уже формально обручены!

И Герда ответила:

— Бремсгубер требует беспощадно подавлять всех, кто принадлежит к другим расам. Это, конечно, менее жестоко, чем щадить и презирать!

Ее губы снова дрожали, когда она вытягивала из себя эту кособоко слеplенную фразу.

Ульрих только посмотрел на нее и покачал головой.

— Этого я не понимаю! — сказал он, подавая ей руку на прощанье, и вот он стоял возле Лейнсдорфа и чувствовал себя невинным, как звезда в бесконечности космоса.

— Если же взглянуть на это не со стороны, — медленно продолжил

вскоре граф Лейнсдорф свою новую мысль, — то в голове все вертится, как собака, пытающаяся поймать кончик своего хвоста! Понимаете, — прибавил он, — я сейчас уступил своим друзьям, уступил баронессе Вайден, но если послушать, что мы тут говорим, все в отдельности производит очень умное впечатление, но как раз в том облагороженном духовном взаимодействии, которого мы ищем, это производит впечатление полного произвола и великой бессвязности!

Вокруг военного министра и Фейермауля, которого подвел к нему Арнгейм, образовалась группа, где ораторствовал и любил всех людей Фейермауль, а вокруг самого Арнгейма, когда тот опять отошел, возникла вторая группа, в которой Ульрих позднее увидел также Ганса Зеппа и Герду. Слышно было, как Фейермауль восклицал:

— Жизнь можно понять не через ученье, а через доброту. Надо верить жизни!

Госпожа Докукер, прямо стоявшая позади него, подтверждала:

— Гете тоже так и не стал доктором!

У Фейермауля было, на ее взгляд, вообще много общего с ним. Военный министр тоже стоял очень прямо и улыбался так же терпеливо, как привык на парадах отдавать честь, держа руку у козырька.

Граф Лейнсдорф спросил:

— Скажите, кто такой, собственно, этот Фейермауль?

— У его отца несколько предприятий в Венгрии, — отвечал Ульрих, кажется, что-то связанное с фосфором, причем дольше, чем до сорокалетнего возраста, рабочие не живут; профессиональная болезнь, некроз костей.

— Так-так, ну а сын?

Судьба рабочих не тронула Лейнсдорфа.

— Он, говорят, был студентом. По-моему, на юридическом. Его отец обязан всем самому себе, и ему, говорят, было обидно, что сын не хотел учиться.

— Почему он не хотел учиться? — спросил граф Лейнсдорф, который в этот день был очень обстоятелен.

— Бог ты мой, — сказал Ульрих, пожимая плечами, — наверно, «отцы и дети». Если отец беден, сыновья любят деньги. А если у папы есть деньги, сыновья любят человечество. Неужели вы, ваше сиятельство, ничего не слыхали о проблеме сыновей в наше время?

— Нет, я что-то слышал об этом. Но почему Арнгейм покровительствует Фейермаулю? Это связано с нефтепромыслами? — спросил граф Лейнсдорф.

— Вы это знаете, ваше сиятельство?! — воскликнул Ульрих.

— Конечно, я все знаю, — терпеливо ответил Лейнсдорф. — Но вот чего я никак не могу понять: что люди должны любить друг друга и что правительству нужна для этого сильная рука, это ведь всегда знали, — так почему же вдруг вопрос тут должен стоять: «либо — либо»?

Ульрих ответил:

— Вы, ваше сиятельство, всегда хотели манифестации, идущей из самой гущи народа, а она должна выглядеть именно так!..

— Ах, это неправда!.. — стал горячо возражать ему Лейнсдорф, но был прерван подошедшим к ним Штуммом фон Бордвером, который покинул группу Арнгейма, взволнованно спеша узнать что-то у Ульриха.

— Простите, ваше сиятельство, если я помешал, — попросил он. — Но скажи мне, — обратился он к Ульриху, — можно ли действительно утверждать, что человек руководствуется только своими эмоциями, а никак не разумом?

Ульрих посмотрел на него недоуменно.

— Там есть один такой марксист, — объяснил Штумм, — утверждающий, так сказать, что экономический базис человека целиком и полностью определяет его идеологическую надстройку. А ему возражает психоаналитик, утверждая, что идеологическая надстройка — это целиком и полностью продукт базиса, который составляют инстинкты.

— Это не так просто, — сказал Ульрих, желая улизнуть.

— Это я всегда и твержу! Но что толку! — ответил генерал тотчас, не спуская глаз с Ульриха.

Однако тут снова заговорил Лейпедорф.

— Да, знаете, — сказал он Ульриху, — что-то подобное я как раз и хотел обсудить. Ведь какой бы там ни был базис, экономический или пускай сексуальный, — сказать я хотел вот что: почему в надстройке люди так ненадежны?! Есть такое ходячее выражение: безумный мир. А иногда ведь кажется, что это правда!

— Это психология масс, ваше сиятельство! — снова вмешался ученый генерал. — Пока дело касается масс, я это прекрасно понимаю. Массами движут только инстинкты, и, значит, конечно, те, которые присущи большинству индивидуумов, — это логично! То есть это, конечно, нелогично: массы нелогичны, они пользуются логическими мыслями только для красоты! Действительно же руководствуются они исключительно внушением! Если вы отдадите в мои руки газеты, радио, кинематографическую промышленность и, может быть, еще какие-нибудь средства культуры, я берусь за несколько лет — как однажды сказал мой

друг Ульрих — сделать из людей людоедов! Именно поэтому человечеству и необходимо сильное руководство! Впрочем, вы, ваше сиятельство, знаете это лучше, чем я! Но что отдельно взятый человек, стоящий порой на весьма высоком уровне, тоже нелогичен, в это я никак не могу поверить, хотя это утверждает и Арнгейм.

Что мог Ульрих подкинуть своему другу для этого очень случайного спора? Как удочка вылавливает порой клочок травы вместо рыбы, так повис на вопросе генерала запутанный клубок теорий. Руководствуется ли человек только своими эмоциями, делает ли, чувствует, даже думает только то, к чему его гонят бессознательные потоки потребности и более ласковый бриз удовольствия, как полагают сегодня? Не руководствуется ли он скорее все-таки разумом и волей, — как тоже полагают сегодня? Руководствуется ли он преимущественно определенными эмоциями, например, сексуальными, как полагают сегодня? Или же все-таки он подвержен в первую очередь не сексуальному началу, а психологическому воздействию экономических условий, как тоже полагают сегодня? Такую сложную структуру, какой он является, можно рассматривать со многих сторон, выбирая осью для теоретической картины то одно, то другое: получаются частичные истины, из взаимопроникновения которых медленно вырастает истина. Но вырастает ли она на самом деле? Каждый раз, когда какую-нибудь частичную истину считали единственно верным объяснением, это за себя мстило. Но, с другой стороны, вряд ли можно было бы прийти к этой частичной истине, не придав ей сначала слишком большого значения. Таким образом, история истины и история чувства тесно сплетены, но история чувства осталась при этом во мраке. По убеждению Ульриха, она была даже не историей, а каким-то беспорядочным ворохом. Забавно, например, что религиозные и, значит, вероятно, страстные мысли средневековья о человеке были полны веры в его разум и волю, тогда как сегодня многие ученые, единственная страсть которых — если им вообще ведома страсть — состоит в том, что они слишком много курят, считают чувство основой всех человеческих действий. Вот какие мысли мелькали у Ульриха, и ему, конечно, не хотелось отвечать на разглагольствования Штумма, который, впрочем, и не ждал этого, а только выпускал пар, прежде чем вернуться туда, откуда пришел.

— Граф Лейнсдорф! — кротко сказал Ульрих. — Помните, я как-то дал вам совет учредить генеральный секретариат по всем вопросам, для решения которых нужны в одинаковой мере душа и точность?

— Помню, конечно, — ответил Лейнсдорф. — Я рассказал об этом даже его высокопреосвященству, он от души посмеялся. Но он сказал, что

вы явились слишком поздно!

— И все-таки это именно то, недостаток чего вы только что ощутили, ваше сиятельство! — продолжал Ульрих. — Вы говорите, что мир не помнит сегодня того, чего он хотел вчера, что его настроения меняются без достаточной на то причины, что он всегда взволнован, что он никогда не приходит ни к какому результату и что если бы представить себе собранным в одной голове все, что происходит в головах, составляющих человечество, она ясно обнаружила бы ряд хорошо известных функциональных дефектов, из которых складывается умственная неполноценность...

— Необычайно верно! — воскликнул Штумм фон Бордвер, который, гордясь приобретенными сегодня днем знаниями, вынужден был опять задержаться. — Это точная картина... Эх, снова забыл, как называется эта психическая болезнь, но это точная ее картина!

— Нет, — с улыбкой сказал Ульрих, — это безусловно не картина какой-то определенной психической болезни. Ведь отличает здорового от душевнобольного как раз то, что здоровый страдает всеми психическими болезнями, а у душевнобольного только одна.

— Великолепно! — воскликнули в один голос, хотя и несколькими различными словами, Штумм и Лейнсдорф, а затем, таким же манером, прибавили: — Но что это, собственно, означает?

— Это означает вот что, — сказал Ульрих. — Если понимать под моралью регламентацию всех тех отношений, которые включают в себя чувство, фантазию и тому подобное, то каждый в отдельности подлаживается тут к другим, обретая таким образом как бы некоторую устойчивость, но все вместе не выходит в морали из состояния безумия!

— Ну, это уж чересчур! — добродушно заметил граф Лейнсдорф, и генерал тоже возразил:

— Но ведь у каждого должна быть своя собственная мораль. Нельзя же указать человеку, кого ему любить — кошек или собак!

— Можно указать ему это, ваше сиятельство?! — настойчиво спросил Ульрих.

— Да, прежде, — сказал граф Лейнсдорф дипломатично, хотя и был поколеблен в своей доверчивой убежденности, что «истинное» существует во всех областях, — прежде дела обстояли лучше. Но в наши дни?

— Тогда нам остается перманентная война религий, — сказал Ульрих.

— Вы называете это войной религий? — с любопытством спросил Лейнсдорф.

— А как же еще?

— Гм, недурно. Очень хорошее определение сегодняшней жизни. Кстати, я всегда знал, что в вас таится неплохой католик!

— Я очень плохой католик, — отвечал Ульрих. — Я не верю, что бог был на земле, а верю, что он еще придет. Но только если путь ему сделают более коротким, чем до сих пор!

Его сиятельство отверг это исполненными достоинства словами:

— Это выше моего понимания!

38

Готовится великое событие

Но никто этого не заметил

Зато генерал воскликнул:

— К сожалению, я должен немедленно вернуться к его превосходительству, но ты непременно объяснишь мне все это потом, я тебя не отпущу! Я приду сюда еще раз, с вашего позволения! Лейнсдорф, казалось, хотел что-то сказать, мысль его, судя по его виду, напряженно работала, но едва Ульрих и он остались одни, как были окружены людьми, которых принес круговорот толпы и задержала притягательная фигура его сиятельства. О том, что только что сказал Ульрих, речи, конечно, больше не было, и никто, кроме него, об этом не думал, когда сзади чья-то рука скользнула под его руку и он увидел рядом с собой Агату.

— Ты уже нашел причину меня защищать? — спросила она с ласковым ехидством.

Не выпуская ее руки, Ульрих отвернулся вместе с Агатой от людей, рядом с которыми он стоял.

— Нельзя ли нам отправиться домой? — спросила Агата.

— Нет, — сказал Ульрих, — я еще не могу уйти.

— Тебя, наверно, не отпускает отсюда грядущее, ради которого ты должен здесь хранить чистоту? — поддразнила его Агата.

Ульрих прижал к себе ее руку.

— Мне кажется, это говорит в мою пользу, что мое место не здесь, а в тюрьме! — прошептала она ему на ухо.

Они стали искать уголка, где могли бы уединиться. Собрание теперь по-настоящему закипело и медленно перемешивало участников. Однако все еще можно было различить две главные группы: вокруг военного министра речь шла о мире и о любви, вокруг Арнгейма в данный момент — о том, что германская мягкость расцветает пышнее всего под сенью германской

силы.

Арнгейм слушал это доброжелательно, потому что никогда не отвергал честно высказанных мнений и особенно любил новые. Его заботило, натолкнется ли дело с нефтепромыслами на трудности в парламенте. Он допускал, что никак не удастся избежать сопротивления славянских политиков, и надеялся заручиться поддержкой германофилов. В правительственных кругах все шло хорошо, если не считать некоторой враждебности в министерстве иностранных дел, которой он не придавал большого значения. На следующий день он должен был поехать в Будапешт. Вражеских «наблюдателей» вокруг него и других главных фигур было достаточно. Быстрее всего их можно было распознать по тому, что они на все отвечали «да» и были милейшими людьми, тогда как остальные держались большей частью различных мнений.

Одного из них Туцци попытался убедить словами:

— Все, что говорят, ничего не значит! Это никогда ничего не значит!

Тот поверил ему. Он был парламентарием. Но он не изменил мнения, с которым явился сюда, — что все-таки здесь происходит что-то дурное.

Его сиятельство, напротив, объяснял в беседе с другим вопрошателем важность этого вечера такими словами:

— Даже революции, почтеннейший, делаются с тысяча восемьсот сорок восьмого года только болтовней!

Было бы ошибкой не видеть в таких различиях ничего, кроме позволительного отступления от неизбежного иначе однообразия жизни; и все же эта чреватая серьезными последствиями ошибка совершается почти так же часто, как произносится фраза: «Это вопрос чувства!», без которой совершенно немыслим наш умственный аппарат. Эта непременная фраза отделяет то, что должно произойти в жизни, от того, что может произойти.

— Она отделяет, — сказал Ульрих Агате, — утвердившийся порядок от допускаемой личной свободы действий. Она отделяет рационализованное от того, что считается иррациональным. Она означает, в обычном ее употреблении, что человечность в главных делах — это нечто вынужденное, а в делах второстепенных — нечто подозрительно произвольное. Считая, что жизнь была бы тюрьмой, если бы мы не могли по своей воле предпочитать вино или воду, быть атеистами или святошами, никто не считает, что все, представляющее собой вопрос чувства, действительно в нашей воле. На самом деле, хотя тут и нет четкой границы, вопросы чувства существуют дозволенные и недозволенные. Вопрос чувства между Ульрихом и Агатой был недозволенным, хотя они, все еще рука об руку, ища укрытия, просто говорили о сегодняшнем сборище и при

этом буйно и тайно радовались, оттого что снова соединились после размолвки. Альтернатива же, любить ли всех сочеловеков или сперва уничтожить какую-то часть их, явно была вопросом чувства вдвойне дозволенным, ибо иначе она так горячо не обсуждалась бы в доме Диотимы в присутствии его сиятельства, хотя к тому же еще и разделяла собравшихся на две враждебные партии. Ульрих утверждал, что изобретение «вопроса чувства» оказало делу чувства самую скверную услугу, какую ему когда-либо оказывали, и, пытаясь объяснить сестре фантастическое впечатление, которое производил на него сегодняшний вечер, он стал говорить об этом так, что невольно продолжил, как бы оправдывая его, прерванный утренний разговор.

— Не знаю, право, — сказал он, — с чего начать, чтобы тебе не наскучить. Можно сказать тебе, что я понимаю под «моралью»?

— Пожалуйста, — ответила Агата.

— Мораль — это регламентация поведения внутри какого-то общества, но главным образом регламентация уже своих внутренних побуждений, то есть чувств и мыслей.

— Это большой прогресс за несколько часов! — ответила Агата со смехом. — Не далее как сегодня утром ты сказал, что не знаешь, что такое мораль!

— Конечно, не знаю. Тем не менее могу дать тебе добрую дюжину объяснений. Самое старое — что бог открыл нам порядок жизни во всех подробностях...

— И самое, пожалуй, прекрасное! — сказала Агата.

— Но самое вероятное, — подчеркнул Ульрих, — что мораль, как всякий другой порядок, возникает благодаря принуждению и насилию! Какая-то пришедшая к власти группа людей навязывает другим просто правила и принципы, обеспечивающие ее власть. Но одновременно она придерживается тех правил и принципов, которые возвысили ее самое. Одновременно она поэтому служит примером. Одновременно она меняется из-за противодействия. Все, конечно, сложнее, чем это можно описать коротко, и поскольку происходит все отнюдь не без интеллекта, но и отнюдь не благодаря интеллекту, а просто на практике, в результате получается какая-то необозримая сеть, простирающаяся надо всем как бы независимо, словно небо господне. Все соотносит себя с этим кругом, но этот круг не соотносит себя ни с чем. Другими словами: все нравственно, но сама нравственность не нравственна!..

— Это очаровательно с ее стороны, — сказала Агата. — Но знаешь, я нашла сегодня хорошего человека!

Ульрих был несколько удивлен этим поворотом разговора, но когда Агата начала рассказывать ему о встрече с Линднером, он прежде всего попытался подогнать ее к своему ходу мыслей.

— Хороших людей ты и здесь найдешь, найдешь сколько угодно, — сказал он, — но если позволишь мне немного продолжить, ты узнаешь, почему и плохих здесь тоже хватает.

С этими словами они, удаляясь от столпотворения, дошли до передней, и Ульрих задумался, куда им теперь податься; ему пришли на ум и комната Диотимы, и каморка Рахили, но ни в ту, ни в другую ему не хотелось больше входить, и потому они с Агатой остались пока среди безлюдной одежды, висевшей на вешалках. Ульрих не нашел продолжения.

— Мне надо бы, собственно, еще раз начать сначала, — объяснил он с нетерпеливым и смущенным жестом. И вдруг он сказал: — Ты не хочешь знать, поступила ли ты хорошо или плохо, но тебя беспокоит то, что и так и этак ты поступаешь без твердого основания!

Агата кивнула головой.

Он взял обе ее руки.

Тускло мерцающая кожа сестры с запахом незнакомых ему растений, которую он видел перед собой в низком вырезе платья, на миг потеряла земное значение. Толчки крови передавались от руки к руке. Глубокий ров потустороннего происхождения, казалось, замкнул их за пределами мира.

У него вдруг не оказалось никаких обозначений для этого; куда-то делись даже те, к которым он так часто прибегал прежде. «Мы поступим не под влиянием минуты, а соответственно состоянию, которое продлится до конца». «Так, чтобы это привело нас к тому центру, откуда уже нельзя вернуться и взять все обратно». «Не от бесшабашности с ее непостоянством, а от единственного неизменного счастья». Такие фразы, правда, приходили ему на ум, и он мог бы произнести их вслух, если бы сейчас надо было только говорить; но в том непосредственном применении, которое они должны были получить сейчас у него с сестрой, это оказалось вдруг невозможно. Отсюда и шло его беспомощное волнение. Но Агата поняла его верно. И она должна была бы ощутить счастье, что впервые скорлупа вокруг него треснула и ее «твердый брат» обнажил все, что внутри у него, как упавшее на пол яйцо.

Но на этот раз, к ее удивлению, чувство ее было не вполне готово присоединиться к его чувству; между утром и вечером лежала странная встреча с Линднером, и хотя этот человек вызвал у нее просто удивление и любопытство, даже такого зернышка было достаточно, чтобы не возникло бесконечного отражения отшельнической любви.

Ульрих почувствовал это по ее рукам, прежде чем она что-либо ответила, и Агата — ничего не ответила. Он угадал, что эта неожиданная холодность связана со встречей, сообщение о которой ему недавно довелось выслушать. Посрамленный и смущенный отскоком его не получившего ответа чувства, он сказал, качая головой:

— Право, досадно, что ты так много ждешь от доброты этого человека!

— Наверно, досадно, — признала Агата.

Он посмотрел на нее. Он понял, что для сестры эта встреча значит больше, чем все ухаживания, выпадавшие ей на долю, с тех пор как она была под его защитой. Он даже немного знал этого человека. Линднер участвовал в общественной жизни; это он в свое время, на самом первом заседании патриотической акции, произнес ту короткую, встреченную мучительным молчанием речь, где говорилось об «историческом моменте» или чем-то подобном — неуклюжую, искреннюю и несущественную... Ульрих невольно оглянулся; но он не помнил, чтобы этот человек попадался ему среди присутствовавших, да и знал, что того больше не приглашали. Должно быть, он встречал его время от времени где-то еще, наверно, в ученых компаниях, и читал какие-то его труды, ибо по мере того как он напрягал свою память, из ультрамикроскопических следов, оставшихся в ней, сгущалось, как вязкая, противная капля, мнение: «Скучный осел! Если притязает на известную высоту уровня, подобного человека так же нельзя принимать всерьез, как профессора Хагауэра.» Он сказал это Агате. Агата промолчала. Она даже пожала ему руку. Он чувствовал: вот нечто совершенно нелепое, но остановить это нельзя! В эту минуту в переднюю вошли люди, и брат и сестра отступили друг от друга.

— Проводить тебя снова в комнаты? — спросил Ульрих.

Агата сказала «нет» и стала искать, куда бы улизнуть.

Ульриху вдруг подумалось, что скрыться от всех удастся, пожалуй, только в кухне.

Там наполнялись батареи стаканов и нагружались пирожными подносы. Кухарка хлопотала вовсю, Рахиль и Солиман ждали своей поклажи, но не шептались друг с другом, как прежде в таких случаях, а стояли неподвижно и врозь. Маленькая Рахиль сделала книксен, когда вошли Агата и Ульрих, Солиман просто почтительно выкатил свои темные глаза, и Ульрих сказал:

— В комнатах слишком жарко, можно нам освежиться у вас?

Он сел с Агатой у подоконника и поставил для вида тарелки и стаканы, чтобы, если кто-нибудь войдет, все выглядело так, словно два

друга дома позволили себе немного позабавиться. Когда они уселись, он с легким вздохом сказал:

— Это, значит, только вопрос чувства, считать ли такого профессора Линднера хорошим человеком или невыносимым!

Агата заняла свои пальцы развертыванием конфеты.

— Другими словами, — продолжал Ульрих, — чувство не может быть верным или неверным. Чувство остается частным делом! Оно остается предоставленным внушению, воображению, убеждению! Мы с тобой не отличаемся от тех, кто там, в комнатах! Ты знаешь, чего они хотят?

— Нет. Но разве это не безразлично?

— Может быть, и безразлично. Ведь они составляют две партии, из которых одна так же права или неправа, как другая.

Агата сказала, что, на ее взгляд, верить в человеческую доброту все-таки несколько лучше, чем верить только в пушки и политику — даже если то, как ты в нее веришь, смешно.

— Что же это за человек, с которым ты познакомилась? — спросил Ульрих.

— Ах, это невозможно сказать. Он хороший! — ответила сестра и засмеялась.

— Ты не можешь придавать какое-либо значение ни тому, что кажется хорошим тебе, ни тому, что кажется таковым Лейнсдорфу! — сердито возразил Ульрих.

Их лица были, смеясь, напряжены от волнения; легкий ток вежливой веселости сдерживали более глубокие противоположные токи. Рахиль ощущала это корешками волос под наколкой, но она сама чувствовала себя такой несчастной, что это ощущение было гораздо более глухим, чем прежде, и походило на воспоминание о лучших временах. Красивая округлость ее щек неуловимо осунулась, черный огонь глаз помутнел от уныния. Будь Ульрих в том настроении, чтобы сравнивать ее красоту с красотой сестры, он заметил бы, что прежний черный блеск Рахили раскрошился, как уголек, по которому прокатился тяжелый воз. Но он не замечал ее. Она была беременна, и никто об этом не знал, кроме Солимана, который, не понимая реальности беды, отвечал на нее романтическими и дурашливыми планами.

— Уже несколько веков, — продолжал Ульрих, — мир знает истинность мысли и потому до известной степени признает разумом свободу мысли. В это же время у чувства не было ни строгой школы истины, ни свободы передвижения. Ибо каждая мораль регламентировала для своей эпохи чувство лишь в той степени, и уж в этих пределах жестко,

в какой для действий, угодных данной морали, нужны были какие-то основополагающие принципы и чувства. А остальное отдавала на волю индивидуума, предоставляла личной игре чувств, неопределенным усилиям искусства и академическому разбору. Приспосабливая, таким образом, чувства к своим потребностям, мораль при этом не развивала чувств, хотя сама зависит от них. Ведь она же и есть порядок чувств и их единство.

Но тут он остановился. Он почувствовал на своем разгорячившемся лице заинтересованный взгляд Рахили, хотя совсем, как прежде, воодушевляться делами господ она уже не могла.

— Смешно, наверно, что я даже здесь, в кухне, говорю о морали, — сказал он смущенно.

Агата смотрела на него пристально и задумчиво. Он наклонился поближе к сестре и тихо прибавил с шутливым смешком:

— Но это только другое обозначение такого состояния страсти, которое ополчается на весь мир!

Без его намерения теперь повторилось противоречие сегодняшнего утра, когда он выступил в неприятной роли как бы поучающего. Он ничего не мог поделать. Мораль была для него не конформизмом, не усвоенной мудростью, а бесконечной совокупностью возможностей жить. Он верил в способность морали к росту, в ступени схваченности ею, а не только, как то сплошь да рядом бывает, в ступени ее познания, словно она — нечто готовое, для чего человек просто недостаточно чист. Он верил в мораль, не веря в какую-то определенную мораль. Обычно под ней подразумевают что-то вроде полицейских правил для поддержания порядка жизни; а поскольку жизнь не повинует даже им, они смахивают на что-то не целиком выполнимое и, значит, таким жалким путем, на идеал. Но мораль нельзя сводить на этот уровень. Мораль — это фантазия. Вот что хотел он заставить увидеть Агату. И второе: фантазия — это не произвол. Если отдать фантазию на произвол судьбы, это отомстит за себя. Слова вертелись у него на языке. Он готов был говорить о том слишком мало замечаемом различии, что разум разные эпохи по-своему развивали, а нравственную фантазию по-своему закрепляли и замыкали. Он готов был говорить об этом, потому что в результате получается более или менее прямо, несмотря на все сомнения, восходящая через все передраги истории линия разума и его построений, с одной стороны, а с другой — похожая на кучу черепков гора чувств, идей, возможностей жизни, гора, где все они так и лежат послойно, как появлялись и были брошены, пластами вечного хлама. Потому что другой результат состоит в том, что есть, в конце

концов, бесчисленное множество возможностей иметь то или иное мнение, как только дело коснется жизненных принципов, но нет ни одной возможности объединить эти мнения. Потому что результат состоит в том, что мнения эти вступают в драку друг с другом, не имея никакой возможности прийти к соглашению. Потому что в общем результат состоит в том, что эмоции болтаются в человечестве, как в шатающейся бочке вода. И у Ульриха была одна идея, которая уже весь вечер его преследовала; старая его идея вообще-то, просто в этот вечер она то и дело подтверждалась, и он хотел показать Агате, где ошибка и как исправить ее, если бы все захотели, а за этим стояло ведь только его прискорбное намерение доказать, что и открытиям своей собственной фантазии тоже лучше не доверять.

И с легким вздохом, подобным той последней попытке сопротивления, которую делает, прежде чем сдаться, преследуемая женщина, Агата сказала:

— Значит, все надо делать «из принципа»?!

И посмотрела, отвечая на его смешок, ему в глаза.

А он ответил:

— Да, но только из какого-то одного принципа!

И это было совсем не то, что он собирался сказать. Это снова пришло из области Сиамских Близнецов и Тысячелетнего Царства, где жизнь растет в волшебной тишине, как цветок, и хотя сказанное им не было взято с потолка, указывало оно как раз на границы мысли, которые обманчивы и пустынные. Взгляд Агаты напоминал расколотый агат. Скажи он ей в эту секунду чуть больше или дотронься до нее рукой, случилось бы что-то, что испарилось бы прежде, чем она смогла бы определить, что это было. Ибо Ульрих не хотел сказать больше. Он взял какой-то фрукт и нож и принялся чистить плод. Он был счастлив, оттого что расстояние, еще недавно отделявшее его от сестры, слилось в безмерную близость, но был и рад, когда им в этот миг помешали.

С хитрым видом командира патруля, застигнутого врасплох противника на биваке, в кухню заглянул генерал.

— Простите, что помешал! — воскликнул он, входя. — Но tete a tete с братом, сударыня, не такое уж страшное преступление!

А к Ульриху он обратился со словами:

— Тебя ищут, как иголку в стоге сена!

И тогда Ульрих сказал генералу то, что он хотел сказать Агате. Но сначала спросил:

— Кто ищет?

— Я же должен был повести тебя к министру! — упрекнул его Штумм. Ульрих отмахнулся.

— Да уже и не нужно, — сказал генерал добродушно. — Старик-то как раз ушел. Но мне, по моим собственным надобностям, придется еще, когда сударыня найдет себе лучшее общество, чем твое, допросить тебя насчет войны религий, если ты согласишься вспомнить свои же слова.

— Мы как раз об этом и говорим, — ответил Ульрих.

— Как интересно! — воскликнул генерал. — Сударыня, значит, тоже занимается моралью?

— Мой брат вообще только о морали и говорит, — поправила его Агата с улыбкой.

— Сегодня это был прямо гвоздь программы! — вздохнул Штумм. — Лейнсдорф, например, всего несколько минут назад сказал, что мораль так же важна, как еда. Я так не думаю! — сказал он, с удовольствием склоняясь над сладостями, поданными ему Агатой. — Это была шутка.

Агата утешила его.

— Я тоже так не думаю! — сказала она.

— У офицера и у женщины должна быть мораль, но они не любят говорить об этом! — продолжал импровизировать генерал. — Разве я не прав, сударыня?

Рахиль усердно вытирала своим передником кухонный стул, который она принесла генералу, и слова его поразили ее в самое сердце; у нее чуть не хлынули слезы.

А Штумм снова теребил Ульриха:

— Так как же обстоит дело с войной религий? — Но не успел Ульрих раскрыть рот, как он уже снова прервал его словами: — У меня, знаешь ли, такое чувство, что и твоя кухня ищет тебя по всем комнатам, и я опередил ее только благодаря своей воинской выучке. Я должен, значит, использовать время. Мне уже, понимаешь, не нравится то, что там происходит! Нас просто шельмуют! А она... как бы это сказать? Она отпустила поводья! Знаешь, что решили?

— Кто решил?

— Многие уже ушли. Некоторые остались и очень внимательно прислушиваются к происходящему, — разъяснил генерал. — Кто решает, сказать, таким образом, нельзя.

— Тогда, пожалуй, лучше будет, если ты сперва скажешь, что они решили, — нашел Ульрих.

Штумм фон Бордвер пожал плечами.

— Ну, ладно. Но в процедурном смысле слова это, к счастью, никакое

не решение, — уточнил он. — Ибо все ответственные лица, слава богу, вовремя удалились. Можно, значит, сказать, что это всего лишь частное постановление, предложение, голос меньшинства. Я буду стоять на том, что официально мы ничего об этом не знаем. Но ты должен сказать своему секретарю, чтобы ничего не попало в протокол. Извините, сударыня, — обратился он к Агате, — что я говорю о делах.

— Но что, собственно, случилось? — спросила она.

Штумм сделал широкий жест.

— Фейермауль... если сударыня помнит этого молодого человека, которого мы пригласили, собственно, только затем... как бы это сказать?... потому что он представитель духа времени, а нам ведь все равно пришлось приглашать и оппозиционных представителей. Можно было, значит, надеяться, что, несмотря на все, и даже с какими-то духовными стимулами, удастся поговорить о вещах, имеющих, увы, большое значение. Ваш брат в курсе дела, сударыня. Предполагалось свести министра с Лейнсдорфом и с Арнгеймом, чтобы посмотреть, не возражает ли Лейнсдорф против некоторых... патриотических концепций. И в общем-то я вполне доволен, — доверительно обратился он снова к Ульриху, — в этом отношении все уладилось. Но пока это происходило, Фейермауль и другие... — Тут Штумм счел необходимым вставить пояснение для Агаты: — Так вот, представитель мнения, что человек есть такое мирное и нежное создание, с которым нужно ласково обращаться, и представители, утверждающие приблизительно противоположное, а потому уверенные, что для порядка нужна сильная рука и все такое, — этот Фейермауль и эти другие вступили в спор и, прежде чем тому удалось помешать, приняли общее постановление.

— Общее? — удостоверился Ульрих.

— Да. Я только рассказал все так, словно это забавная шутка, — заверил его Штумм, с удовольствием признав теперь невольный комизм своего изложения. — Никто этого не ждал! А поскольку сегодня мне еще довелось как бы по делам службы посетить Моосбругера, то теперь все в министерстве будут убеждены, что это моих рук дело!

Тут Ульрих расхохотался и стал время от времени прерывать смехом дальнейший рассказ Штумма, что вполне понимала только Агата, а сам его друг несколько раз довольно обиженно замечал, что у Ульриха, должно быть, разошлись нервы. Но то, что произошло, слишком соответствовало образцу, только что нарисованному сестре Ульрихом, чтобы его не обрадовать. Группа Фейермауля вышла на арену в последний момент, чтобы спасти то, что еще можно было спасти. Цель в таких случаях бывает

менее ясна, чем намерение. Молодой поэт Фридель Фейермауль — в кругу близких именовавшийся Пепи, ибо он восторгался старой Веной и старался походить на молодого Шуберта, хотя родился в венгерском провинциальном городке, — верил в миссию Австрии и верил, кроме того, в человечество. Ясно, что такая кампания, как параллельная акция, если он не участвовал в ней, должна была с самого начала беспокоить его. Как могла процветать без него общечеловеческая кампания с австрийским оттенком или австрийская кампания с оттенком общечеловеческим! Высказал это он, впрочем, пожимая плечами, только своей приятельнице Докукер, но та, как вдова, делающая честь своей родине, и к тому же хозяйка блистательного салона, превзойденного салоном Диотимы только в последний год, говорила это каждому влиятельному лицу, с которым ей случалось иметь дело. Так пошел слух, что параллельная акция в опасности, если не... это «если не» и эта «опасность» оставались, разумеется, немного неопределенными, ибо сперва следовало заставить Диотиму пригласить Фейермауля, а уж там было бы видно. Но толки о какой-то опасности, исходящей от отечественной акции, насторожили тех бдительных политиков, что не признавали «отечества», а признавали только материнское начало, народ, который жил в навязанном ему браке с государством, терпя всяческие помыкания с его стороны; они давно уже подозревали, что из всей параллельной акции выйдет лишь новый гнет. И хотя они из вежливости это скрывали, предотвращению такой опасности они придавали меньше значения — ведь отчаявшиеся гуманисты среди немцев всегда попадались, но в целом они оставались угнетателями и паразитами государства! — чем полезному указанию на то, что сами немцы признают, как опасен их народный дух. Поэтому госпожа Докукер и поэт Фейермауль получили благотворную поддержку, в причины которой они вдаваться не стали, и Фейермауль, обладавший репутацией человека чувства, загорелся мыслью сказать ни больше ни меньше как самому военному министру что-нибудь в пользу любви и мира. Почему именно военному министру и какая отводилась ему роль, оставалось опять-таки неясно, но сама мысль была так великолепна и драматична, что никаких других подтверждений она и не требовала. Это находил и Штумм фон Бордвер, вероломный генерал, которого любознательность приводила порой в салон госпожи Докукер без ведома Диотимы; кроме того, благодаря его же усилиям, первоначальное мнение, что магнат военной промышленности Арнгейм есть составная часть опасности, уступило место мнению, что мыслитель Арнгейм есть важная составная часть добра.

До сих пор, стало быть, все шло так, как то соответствовало

ожиданиям участников, и тот факт, что состоявшийся сегодня разговор министра с Фейермаулем не дал, несмотря на помощь госпожи Доукер, ничего, кроме нескольких блесков фейермаулевского ума и терпеливого внимания к ним его превосходительства, — этот факт тоже был в порядке вещей. Но потом у Фейермауля нашлись резервы; а поскольку его войско состояло из молодых и немолодых литераторов, надворных советников, библиотекарей и нескольких друзей мира, — короче, из людей разного возраста и положения, объединенных любовью к старому отечеству и его общечеловеческой миссии, любовью, с одинаковым пылом вступавшейся за восстановление отмененных конных омнибусов с их исторической тройкой и за венский фарфор, и поскольку в течение вечера эти верные защитники старины вступали в разнообразные контакты со своими противниками, которые тоже ведь не размахивали открыто ножами, то и дело возникали дискуссии, где мнения сталкивались как попало. Это соблазнило и Фейермауля, когда его отпустил военный министр, а назидательное внимание госпожи Доукер было чем-то на время отвлечено. Штумм фон Бордвер мог только сказать, что Фейермауль вступил в чрезвычайно оживленную беседу с каким-то молодым человеком, описание которого не исключало, что это был Ганс Зепп. Во всяком случае, это был один из тех, кому нужен козел отпущения, чтобы взвалить на него вину за все беды, с которыми они не могут справиться; ведь национальное чванство есть лишь тот особый случай, когда по искреннему убеждению выбираешь себе такого козла отпущения, который не состоит с тобой в кровном родстве и вообще как можно меньше похож на тебя самого. Известно, что когда злишься, это большое облегчение — вылить злость на кого-то, даже если он и ни при чем; но менее известно это относительно любви. А между тем дело тут обстоит точно так же, и любовь часто случается выливать на кого-то, кто ни при чем, поскольку другой возможности вылиться она не находит. Фейермауль, например, был деятельный молодой человек, способный в борьбе за собственную выгоду быть весьма недобрым, но его коньком был «человек», и как только он начинал думать о человеке вообще, его неудовлетворенная доброта не знала удержа. Ганс Зепп, напротив, был, в сущности, добрый малый, у которого даже не хватало духу обмануть директора Фишеля, но зато его пунктиком был «не-немецкий человек», на которого он злобно сваливал вину за все, чего не мог изменить. Одному богу известно, о чем они говорили друг с другом сначала; должно быть, они сразу сели каждый на своего конька и двинулись один на другого, ибо Штумм сказал:

— Право, не пойму, как это получилось, но вдруг рядом оказались

другие, потом сразу набежала целая толпа, и наконец их обступили все, кто был в комнатах!

— А ты знаешь, о чем они спорили? — спросил Ульрих.

Штумм пожал плечами.

— Фейермауль крикнул ему: «Вы хотите ненавидеть, и ненавидеть не способны! Ибо каждому человеку свойственна от рождения любовь!» Или что-то в этом роде. А тот кричал: «А вы хотите любить? Но на это вы способны еще меньше, вы, вы...» Дословно передать не могу, ибо из-за мундира я должен был держаться на некотором расстоянии.

— О, — сказал Ульрих, — это уже самое главное! — И он повернулся к Агате, ища глазами ее взгляда.

— Самое главное — резолюция! — напомнил Штумм.

Они чуть не съели друг друга, и вдруг, ни с того ни с сего, из этого получилась совместная и весьма подлая резолюция! При всей своей округлости Штумм казался воплощением серьезности.

— Министр тут же удалился, — сообщил он.

— Какую же они вынесли резолюцию? — спросили брат и сестра,

— Не могу сказать точно, — ответил Штумм, — ибо я, конечно, тоже сразу исчез, а они тогда еще не кончили. Да такое и не запомнишь. Что-то в пользу Моосбругера и против военных!

— Моосбругер? С чего бы это? — засмеялся Ульрих.

— «С чего бы это?»! — ехидно повторил генерал. — Тебе хорошо смеяться, а я остаюсь вот с таким носом! Или, в лучшем случае, у меня будет писанины на целый день. Разве, имея дело с подобными людьми, можно сказать «с чего бы»?! Может быть, виноват этот старый профессор, который сегодня везде выступал за повешение и против милосердия. А может быть, причина в том, что в последние дни газеты опять занялись этим чудовищем. Во всяком случае, речь вдруг зашла о нем. Это надо отменить! — заявил он с несвойственной ему твердостью.

В эту минуту в кухню почти следом друг за другом вошли Арнгейм, Диотима, даже Туцци и граф Лейнсдорф. Арнгейм услышал голоса, будучи в передней. Он собирался уже тайком уйти, ибо возникший переполох дал ему надежду уклониться на сей раз от объяснения с Диотимой, а на следующий день он опять уезжал на какое-то время. Но любопытство побудило его заглянуть в кухню, и поскольку Агата увидела его, вежливость не позволила ему удалиться. Штумм сразу же засыпал его вопросами о положении вещей.

— Могу привести вам даже подлинный текст, — ответил, улыбаясь, Арнгейм. — Кое-что было настолько забавно, что я не удержался и

украдкой записал.

Он извлек из бумажника карточку и, расшифровывая свои стенографические заметки, медленно прочел содержание проектируемого манифеста:

— «По предложению господ Фейермауля и... — другую фамилию я не разобрал, — отечественная акция постановила: каждый должен быть готов умереть за собственные идеи, но тот, кто заставляет людей умирать за чужие идеи — убийца!» Так было предложено, — прибавил он, — и у меня не было впечатления, что что-то еще изменят!

Генерал воскликнул:

— Это дословный текст! Именно это слышал и я! До чего же тошнотворны эти интеллектуальные дебаты!

Арнгейм кротко сказал:

— Это говорит о том, что нынешняя молодежь хочет стабильности и руководства.

— Но там же не только молодежь, — с отвращением возразил Штумм, — даже лысые стояли и поддакивали!

— Тогда это говорит о потребности в руководстве вообще, — сказал Арнгейм, приветливо кивнув головой. — Это сегодня потребность всеобщая. Резолюция основана, если не ошибаюсь, на одной современной книге.

— Вот как? — сказал Штумм.

— Да, — сказал Арнгейм. — И конечно, резолюцию эту нужно игнорировать. Но если бы удалось использовать ту душевную потребность, которая в ней выражается, это окупилось бы. Генерал явно несколько успокоился; он повернулся к Ульриху:

— У тебя есть какая-нибудь идея, что можно тут сделать?.

— Конечно! — ответил Ульрих.

Внимание Арнгейма было отвлечено Диотимой.

— Так изволь, — тихо сказал генерал, — выкладывай! Я предпочел бы, чтобы руководство осталось за нами!

— Ты должен ясно представить себе, что, собственно, произошло, — сказал Ульрих не торопясь. — Люди ведь совершенно правы, когда один упрекает другого за то, что тот хотел бы любить, если бы только мог любить, а второй отвечает первому, что в точности то же самое относится и к ненависти. Это относится вообще ко всем чувствам. В ненависти есть сегодня какая-то уживчивость, а, с другой стороны, чтобы испытывать к человеку то, что было бы действительно любовью... я утверждаю, — коротко сказал Ульрих, — что таких двух человек еще не существовало на

свете!

— Это, конечно, очень интересно, — быстро прервал его генерал, — ибо мне совершенно непонятно, как ты можешь это утверждать. Но завтра я должен буду писать отчет о сегодняшнем вечере и потому заклинаю тебя принять это во внимание! В армии самое важное — чтобы всегда можно было доложить о каком-то прогрессе. Известный оптимизм необходим даже при поражении, такова специфика профессии. Так как же мне представить то, что произошло, как прогресс?

— Напиши, — подмигнув, посоветовал Ульрих, — «это было не что иное, как просто-напросто месть моральной фантазии»!

— Но ведь так в армии не пишут! — раздраженно ответил Штумм.

— Тогда не употребляй этих слов, — продолжал Ульрих серьезно, — и напиши так: все творческие эпохи отличались строгостью. Нет глубокого счастья без глубокой моральности. Нет моральности, если для нее нет какой-то прочной базы. Нет счастья, которое не основывалось бы на каком-то убеждении. Без морали не живут даже животные. Но человек сегодня уже не знает, с какой моралью...

Штумм прервал и эту спокойно, казалось бы, лившуюся диктовку:

— Дорогой мой, я могу говорить о моральном состоянии какого-то подразделения, о морали боя или о морали какой-нибудь бабенки, но всегда о морали в каком-то конкретном смысле. А о морали вообще говорить в военном рапорте так же нельзя, как о фантазии и о господе боге. Ты же сам знаешь!

Диотима смотрела, как Арнгейм стоит у окна ее кухни, это было странно интимное зрелище, после того как они за весь вечер обменялись только несколькими осторожными словами. Она вдруг почувствовала сейчас противоречивое желание продолжить прерванный разговор с Ульрихом. В голове ее царил приятное отчаяние, которое, врываясь одновременно с разных сторон, ослабляется и превращается чуть ли не в отрадно-спокойное ожидание. Давно предвиденный крах Собора был ей безразличен. Неверность Арнгейма была ей, как она думала, тоже почти безразлична. Он смотрел на нее, когда она входила, и на миг старое чувство вернулось: их, соединяло живое пространство. Но потом она вспомнила, что Арнгейм уже несколько недель избегает ее, и мысль «Сексуальный трус!» возвратила ее коленям силу, чтобы величаво прошествовать к нему. Арнгейм видел это — как она глядит на него, как медлит, как сокращается расстояние; над замерзшими дорогами, бесконечное множество которых соединяло их, витало предчувствие, что они снова оттают. Он стоял спиной к остальным, но в последний момент он и Диотима сделали поворот,

который привел их к Ульриху, генералу Штумму и другим, находившимся на другой стороне.

Во всех своих формах, от наитий необыкновенных людей до связующей народы пошлятины, то, что Ульрих называл моральной фантазией, или, проще говоря, чувством, представляет собой одно сплошное вековое брожение без выбраживания. Человек — существо, не способное обойтись без восторга. А восторг — это состояние, когда все его чувства и мысли проникнуты одним и тем же духом. Ты думаешь, что восторг, чуть ли не наоборот, — это состояние, когда одно чувство чрезвычайно сильно и — говорят же: увлеченность! — увлекает за собой все другие! Нет ты ничего не хотел об этом сказать? Тем не менее это так. Это и так тоже. Но сила такого восторга лишена опоры. Чувство и мысль получают стойкость только друг от друга, только в совокупности, они должны быть как-то одинаково направлены и увлекать друг друга в одинаковой мере. И ведь всеми средствами — наркотиками, воображением, внушением, верой, убеждениями, а часто только с помощью упрощающей все на свете глупости — человек стремится достичь состояния, подобного этому. Он верит в идеи не потому, что они иногда верны, а потому, что он должен верить. Потому что он должен содержать в порядке свои эмоции. Потому что он должен заткнуть какой-то иллюзией дыру между стенами своей жизни, дыру, через которую его чувства иначе разбегутся куда попало. Правильнее было бы, пожалуй, не отдаваться преходящим иллюзорным состояниям, а хотя бы искать условий для подлинного восторга. Но хотя в общем число решений, зависящих от чувства, бесконечно больше числа решений, которые можно принять чистым разумом, и хотя все события, волнующие человечество, порождает фантазия, оказывается, что надличный порядок наведен только в вопросах разума, а для чувства не сделано ничего, что заслуживало бы названия совместного усилия или хотя бы намекало на отчаянную необходимость такого усилия.

Приблизительно так — под понятные протесты генерала — говорил Ульрих.

Он видел в событиях этого вечера, хотя они были довольно бурными и при неблагоприятном истолковании могли иметь даже серьезные последствия, только пример бесконечного беспорядка. Господин Фейермауль был ему в этот момент так же безразличен, как любовь к человечеству, национализм так же безразличен, как господин Фейермауль, и напрасно спрашивал его Штумм, как дистиллировать из этого крайне личного мнения идею ощутимого прогресса.

— Доложи, — отвечал Ульрих, — что это Тысячелетняя Религиозная Война. И никогда еще люди не были так плохо оснащены для нее, как в наше время, потому что мусор «напрасно прочувствованного», который одна эпоха наваливает на другую, образовал уже высокую гору, а никаких мер против этого не предпринимается. Таким образом, военное министерство может спокойно ждать следующего всеобщего бедствия.

Ульрих предсказывал будущее, не подозревая о том. Да его и не интересовали действительные события, он боролся за свое блаженство. Он пытался не упустить из виду ничего, что могло бы этому блаженству воспрепятствовать. Поэтому он и смеялся и вводил в заблуждение других, делая вид, что он издевается и преувеличивает. Он преувеличивал для Агаты; он продолжал свой разговор с ней, и не только этот последний. На самом деле он сооружал бастион мыслей против нее, зная, что в определенном месте этого бастиона есть маленькая задвижка: стоит потянуть ее — и все будет затоплено и погребено чувством. И думал он непрестанно, в сущности, об этой задвижке.

Диотима стояла близ него и улыбалась. Чувствуя какие-то усилия Ульриха ради сестры, она грустно растрогалась, забыла сексологию, и что-то открылось — наверно, будущее, но немного, во всяком случае, открылись и ее губы.

Арногейм спросил Ульриха:

— А по-вашему, против этого можно что-либо предпринять?

Тон, каким он задал этот вопрос, давал понять, что он увидел за преувеличением серьезность, но находит преувеличенной и ее.

Туцци сказал Диотиме:

— Во всяком случае, нельзя допускать, чтобы все это получило огласку.

Ульрих ответил Арногейму:

— Неужели это не очевидно? Перед нами сегодня слишком много возможностей чувствовать и жить. Но разве эта трудность не тождественна той, которую преодолевает разум, когда оказывается перед тьмой фактов и целой историей теорий? А для него мы нашли незавершенную, но все же строгую линию поведения, которую мне незачем вам описывать. Так вот, я спрашиваю вас, не возможно ли нечто подобное и для чувства? Мы же, несомненно, хотим понять, зачем мы явились на свет, это главный источник всякого насилия в мире. И другие эпохи пытались сделать это своими недостаточными средствами, а великий век опыта вообще еще не направлял на это свой ум...

Арногейм, который быстро все схватывал и любил прерывать,

умоляюще положил руку ему на плечо.

— Да ведь это означало бы растущую связь с богом! — воскликнул он приглушенно и предостерегающе.

— Разве это было бы самое страшное? — ответил Ульрих не без насмешливой язвительности по поводу этого опрометчивого страха. — Но так далеко я и не заходил!

Арнольд сразу взял себя в руки и улыбнулся:

— После долгого отсутствия найти кого-то неизменившимся — сущая радость. В наши дни это бывает так редко! — сказал он. Впрочем, он и правда обрадовался, как только почувствовал себя в безопасности благодаря этой доброжелательной обороне. Ульрих мог ведь и вернуться к тому нескладному предложению службы, и Арнольд был благодарен ему за то, что он с безответственным упрямством чурался всяких земных дел. Нам надо бы при случае об этом поговорить, — прибавил он сердечно. — Мне неясно, как вы представляете себе это практическое применение наших теоретических взглядов.

Ульрих знал, что это действительно еще неясно. Он ведь имел в виду не «жизнь исследователя», не жизнь «в свете науки», а «поиски чувства», подобные поискам истины, с той только разницей, что дело тут было не в истине. Он поглядел вслед Арнольду, который направился к Агате. Там стояла и Диотима; Туцци и граф Лейнсдорф уходили и приходили. Агата болтала со всеми и думала: «Почему он со всеми говорит?! Ему следовало уйти со мной! Он обесценивает то, что сказал мне!» Некоторые слова, до нее долетавшие, нравились ей, но все-таки причиняли ей боль. Все, что исходило от Ульриха, снова причиняло ей теперь боль, и ей вдруг еще раз в этот день захотелось убежать от него. Она не решалась поверить, что ее, при ее односторонности, было бы ему достаточно, и мысль, что они вскоре отправятся домой просто как двое знакомых, сплетничающих о проведенном вечере, была ей невыносима!

А Ульрих продолжал думать: «Арнольд никогда этого не поймет!» И дополнил это: «Человек науки ограничен именно в чувстве, а уж человек практический и подавно. Это так же необходимо, как устойчивое положение ног, если надо что-то схватить руками». При обычных обстоятельствах он и сам был таким. Как только он начинал думать о чем-либо, хотя бы даже о самом чувстве, он, допускал чувство лишь с оглядкой. Агата называла это холодностью; но он знал: если хочешь быть полностью чем-то другим, надо сначала, как при смертельном риске, отказаться от жизни, ибо нельзя представить себе, как оно пойдет дальше! Его это влекло, и сейчас он этого уже не боялся. Он долго глядел на сестру. На

оживленную игру речи на ее не затронутом этой речью, глубинном лице. Он хотел попросить ее уйти с ним. Но, прежде чем он покинул свое место, с ним заговорил Штумм, снова подошедший к нему.

Славный генерал любил Ульриха; он уже простил ему шутки о военном министерстве, да и слова о «религиозной войне» Штумму почему-то понравились, в них было что-то торжественно-воинское, как дубовые листья на форменной фуражке или громкое «ура» в день рождения кайзера. Он взял своего друга под руку и отвел Ульриха в сторону, чтобы их не слышали.

— Знаешь, ты, по-моему, прекрасно сказал, что все события — порождение фантазии, — начал он. — Конечно, это больше мое личное, чем мое официальное мнение по этому поводу.

Он предложил Ульриху папиросу.

— Мне надо идти домой, — сказал Ульрих.

— Твоя сестра великолепно проводит время, не мешай ей! — сказал Штумм. — Арнгейм ухаживает за нею вовсю. А сказать я тебе хотел вот что: никому теперь нет настоящей радости от великих идей человечества. Ты должен дать какой-то новый толчок. Я хочу сказать: время проникается новым духом, и его-то ты и должен взять в свои руки!

— Как ты додумался до этого?! — недоверчиво спросил Ульрих.

— Так уж. — Штумм не стал вдаваться в подробности и настойчиво продолжал: — Ты же тоже за порядок, судя по всему, что ты говоришь. И вот я спрашиваю себя: человек больше добр или ему больше нужна сильная рука? Это характерно для нашей сегодняшней потребности в определенности. Словом, я ведь уже сказал тебе, что я успокоился бы, если бы ты снова взял на себя руководство Акцией. Иначе просто неизвестно, что выйдет из всех этих разговоров!

Ульрих засмеялся.

— Знаешь, что я теперь сделаю! Я сюда больше не приду! — сказал он счастливо.

— Почему же? — вознегодовал Штумм. — Окажутся правы те, кто говорит, что ты никогда не обладал настоящей силой!

— Если бы я открыл людям свои мысли, они бы и подавно так говорили! — со смехом ответил Ульрих, освобождаясь от своего друга.

Штумм рассердился, но затем его добродушие победило, и, пожимая плечами, он сказал:

— Эти истории чертовски сложны. Я даже подумывал, что самое лучшее было бы, если бы за все эти неразрешимые вещи взялся вдруг какой-нибудь настоящий дурак, такая Жанна д'Арк, он, может быть, и

помог бы нам!

Взгляд Ульриха искал сестру и не находил ее. Когда он спросил о ней Диотиму, из комнат как раз вернулись Лейнсдорф и Туцци и сообщили, что все расходятся.

— Я сразу сказал, — возбужденно бросил хозяйке дома его сиятельство, то, что они говорили, — это не настоящее их мнение. И госпожу Докукер осенила поистине спасительная мысль: решили продолжить сегодняшнее собрание в другой раз. Но Фейермауль, или как там его, прочтет тогда какое-то длинное свое стихотворение, и дело пойдет спокойнее. Из-за спешности я, конечно, позволил себе дать согласие и от вашего имени!

Тут только Ульрих узнал, что Агата вдруг попрощалась и покинула дом без него; ему передали, что она не хотела мешать ему своим решением.

**ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО
ПОСМЕРТНО!**

Человек, вступивший в жизнь Агаты у могилы поэта, профессор Август Линднер, видел перед собой, шагая вниз по долине, картины спасения.

Если бы, попрощавшись, она поглядела ему вслед, ей бросилось бы в глаза, как прямо, словно аршин проглотил, спускался он, чуть приплясывая, по каменистой дороге, ибо это была странно веселая, гордая и все-таки нерешительная походка. Линднер нес шляпу в руке и время от времени поглаживал свои волосы; так славно-свободно стало у него на сердце.

«Как мало людей, — говорил он себе самому, — с действительно отзывчивой душой!» Он представил себе душу, способную целиком переноситься в сочеловека, сострадать самым тайным его болям и опускаться в его глубокую слабость. «Какая эта надежда! — воскликнул он про себя. — Какая чудесная близость божественной милости, какое утешение и какой праздник!» Но тут же ему подумалось, как мало на свете людей, способных хотя бы только внимательно выслушать ближнего; ибо он принадлежал к тем благонамеренным, которые перескакивают с пятого на десятое, не усматривая тут никакой разницы. «Как мало, например, серьезного интереса в обычных вопросах о нашем благополучии, — подумал он. — Попробуй только подробно ответить, что у тебя действительно на сердце, и вскоре увидишь перед собой скучающий и отсутствующий взгляд!»

Ну, он-то этой ошибки не допускал! Защита слабого была, по его принципам, необходимой и особой гигиеной сильного, который без такого благотворного самоограничения слишком легко грубеет; и образование тоже нуждалось в добрых делах для защиты от присущих ему опасностей. «Кто расхваливает нам „универсальное образование“, — подкрепил он себя мысленным возгласом, сладостно освеженный молнией, внезапно пущенной в его коллегу-педагога Хагауэра, — тому, право, надо бы сперва дать совет: узнай, каково у человека на душе! Знание через сочувствие в тысячу раз важнее, чем знание через книги!» По-видимому, то, что он сейчас мысленно перебирал, с одной стороны, в связи с либеральным понятием образования, а с другой — в связи с супругой своего собрата по профессии, было старым расхождением во мнениях, ибо очки Линднера сверкали, как два щита бойца двойной мощи. В присутствии Агаты он

смущался; а увидь она его сейчас, он показался бы ей офицером, но офицером отнюдь не легкомысленного отряда. Ведь поистине мужественная душа готова помочь, и готова помочь потому, что она мужественна. Он задался вопросом, правильно ли он вел себя при виде красивой женщины, и ответил себе: «Было бы неверно, если бы гордое требование подчиняться закону было прерогативой тех, кто слишком для этого слаб; и получилась бы удручающая картина, если бы хранителями и строителями нравственности были только бездарные педанты; поэтому долг живых и сильных — стремиться к дисциплине и ограничению всей инстинктивной мощью своего здоровья; они должны поддерживать слабых, тормозить беспечных и сдерживать необузданных!» У него было такое впечатление, что он это сделал. Подобно тому как благочестивая душа Армии спасения пользуется военной формой и воинскими обычаями, Линднер поставил себе на службу кое-какие солдатские формы мысли, он не пугался даже уступок ницшеанскому «сильному человеку», который для буржуазного ума той эпохи был еще камнем преткновения, а для Линднера и точильным камнем. Он обычно говорил о Ницше, что нельзя утверждать, будто тот был плохим человеком, что его теории, правда, гиперболичны и далеки от жизни, но причиной тому его пренебрежение к состраданию; ибо таким образом ему остался неведом чудесный ответный дар слабого, заключающийся в том, что он, слабый, делает сильного нежным! И, противопоставляя этому собственный опыт, Линднер, полный радостных намерений, думал: «Действительно великие люди никогда не делают себя предметом скучного культа, чувство их величия они вызывают у других тем, что склоняются к ним, а то даже и жертвуют собой ради них!» Победительно и с дружелюбным, призывающим к добродетели порицанием он заглянул в глаза молодой парочке, которая, крепко обнявшись, поднималась ему навстречу. Парочка, однако, была довольно ординарная, и молодой шалопай, составлявший мужскую ее часть, зажмурил глаза, отвечая на этот взгляд, неожиданно высунул язык и сказал: «Фи!» Линднер, который не был готов к этой издевательской и грубой угрозе, испугался, но он сделал вид, что не заметил ее. Он любил активность, и взгляд его стал искать полицейского, который должен был быть поблизости для официальной защиты чести, но при этом нога его наткнулась на камень, резкое движение споткнувшегося спугнуло стайку воробьев, уютно устроившуюся на куче конских яблок, и воробьиный переполох предостерег Линднера, заставив его в последний миг, прежде чем он с позором упал бы, перепрыгнуть через двойное препятствие с напускной небрежностью. Он не стал оглядываться и через несколько мгновений был

очень доволен собой. «Надо быть твердым, как алмаз, и нежным, как мать!» — подумал он старой формулой семнадцатого века.

Ценя также добродетель скромности, он ни в какой другой момент не стал бы утверждать ничего подобного по поводу себя самого, но уж так разволновала кровь Агата! С другой стороны, отрицательный полюс его чувств составляло то, что эта небесно нежная женщина, которую он застал в слезах, как ангел пречистую деву в росе, — о, он не хотел зазнаваться, но как все-таки сразу делает человека заносчивым слабость к поэзии! — он продолжил поэтому строже: то, что эта несчастная женщина намеревалась нарушить данный богу обет; ибо нарушением обета богу виделось ему ее желание расторгнуть брак. К сожалению, он не сказал ей это с нужной решительностью, стоя лицом к лицу с ней, — боже, какая опять близость в этих словах! — да, к сожалению, он не сказал это достаточно решительно; он помнил только, что говорил вообще о слишком вольных нравах и о защитных средствах от них. Имени бога, кстати, он наверняка при этом не поминал, разве что невзначай, в каком-нибудь ходячем обороте речи; и непринужденность, естественная, прямо-таки непочтительная серьезность, с какой Агата спросила его, верит ли он в бога, оскорбляла его даже при воспоминании. Ибо кто благочестив воистину, тот не позволяет себе просто из прихоти и грубо-откровенно думать о боге. Да, как только Линднер вспомнил эту наглость, он почувствовал к Агате такое отвращение, словно наступил на змею. Он твердо решил, что если ему случится еще раз ее увещать, то царить тут будет крепкий разум, который только и приличествует земным делам и потому-то и существует в мире, что негоже каждому невоспитанному человеку утруждать бога своими давно разрешенными задачами; а потому он уже и сейчас призвал разум на помощь, и ему тут же пришло в голову кое-что, что следовало бы сказать этой заблудшей. Например, что брак — это не частное дело, а общественный институт; что перед ним стоит величественная задача — развивать чувство ответственности и солидарности, закалять народ, приучая человека переносить жестокие трудности; и даже, пожалуй, хотя это можно вставить лишь с величайшим тактом, что как раз продолжительность брака делает его лучшей защитой от чрезмерных желаний. Он представлял себе, может быть и по праву, человека набитым чертями мешком, который нужно покрепче завязывать, а завязку он видел в непоколебимых принципах.

Каким образом этот участливый человек, чья физическая часть ни в одном направлении, кроме длины, не отличалась избыточностью, пришел к убеждению, что надо обуздывать себя на каждом шагу, было, конечно,

загадкой, легко разгадать которую можно было только зная, какая от этого польза. Когда он уже дошел до подножия холма, путь его пересекала колонна солдат, и он с нежной растроганностью смотрел на потных молодых людей, сдвинувших на затылок фуражки и при оступелых от усталости лицах похожих на вереницу пыльных гусениц. Его отвращение к легкомыслию, с каким Агата подходила к вопросу о разводе, мечтательно смягчилось при этом зрелище радостью, что такое случится с его вольнодумным коллегой Хагауэром, а это чувство все же напоминало ему о необходимом недоверии к человеческой природе. Поэтому он решил — если такой случай действительно, и притом не по его вине, еще раз представится — без всякого снисхождения показать Агате, что эгоистические силы действуют, в конце концов, лишь разрушительно и что, как ни велико ее личное отчаяние, оно менее важно, чем нравственное понимание, что подлинный пробный камень жизни только совместная жизнь.

Но вопрос, представится ли еще раз такой случай, явно и был той точкой, куда так взволнованно устремились духовные силы Линднера. «Есть много людей с благородными свойствами, которые у них просто не слились еще в нерушимое убеждение», — собирался он сказать Агате; но как сделать это, если он больше не увидит ее; и все же мысль, что она могла бы его навестить, противоречила всем его представлениям о нежной и чистой женственности. «Надо сразу показать ей это со всей решительностью!» — положил он себе, а уж приняв решение, больше не сомневался в том, что она действительно явится. Он энергично настраивал себя сперва самоотверженно разобрать с ней причины, которые она приведет в свое оправдание, и только потом убедить ее в ее заблуждениях. С непоколебимым терпением хотел он поразить ее в самое сердце, и, после того как он представил себе и это, в собственное его сердце вошло благородное чувство братской внимательности и заботливости, родственной посвященности, по поводу которой он отметил, что ей вообще следовало бы наложить свою печать на взаимоотношения полов. «Мало кто из мужчин, — воскликнул он в восторге, — представляет себе, какую глубокую потребность испытывают благородные существа женского пола в благородстве мужчины, который без всякого сексуального кокетства обращается к человеческому началу в женщине!» Мысли эти, по-видимому, наделили его крыльями, ибо он не заметил, как оказался на конечной остановке трамвая, но вдруг очутился возле вагона и, прежде чем войти, снял и протер запотевшие от внутреннего жара очки. Затем он сел в угол, оглядел пустой вагон, достал деньги на билет, посмотрел в лицо

кондуктору и почувствовал бодрую готовность двинуться в обратный путь в замечательном коммунальном устройстве, именуемом городским трамваем. Сладко зевнув, он вылил из себя усталость от прогулки, чтобы собраться с силами для новых обязанностей, и подытожил удивительные мечты, которым он предался, словами: «Забывать себя — это все-таки всего здоровее для человека!»

Против непредвиденных порывов страстного сердца есть только одно надежное средство — строжайшая планомерность; и ей-то, вовремя к ней привыкнув, обязан был Линднер и своими успехами в жизни, и верой, что от природы он человек страстный и недисциплинированный. Он вставал рано утром, летом и зимой в один и тот же час, и мыл с помощью маленького железного умывальника лицо, шею, руки и седьмую часть своего тела, каждый день, конечно, другую, после чего вытирал остальное тело мокрым полотенцем, благодаря чему купанье, процедуру, отнимающую много времени и сладострастную, можно было ограничить одним вечером раз в две недели. В этом была умная победа над материей; и кому случалось когда-либо наблюдать, сколь скудными возможностями омовения и сколь неудобными постелями довольствовались лица, вошедшие в историю, тот вряд ли отвергнет предположение, что между железными кроватями и железными людьми существует какая-то связь, хотя мы и не хотим преувеличивать ее, потому что тогда нам следовало бы спать просто уж на гвоздях. Тут, стало быть, перед размышлением стояла вдобавок и посредническая задача, и, помывшись в отсвете стимулирующих примеров, Линднер и вытиранием пользовался лишь в меру для того, чтобы, ловко орудуя полотенцем, дать телу подвигаться. Ведь это же роковое заблуждение — считать основой здоровья животную часть человека, тогда как физическая сопротивляемость зиждется на духовном и нравственном благородстве; и даже если это не всегда справедливо применительно к отдельно взятому человеку, то тем справедливее это по большому счету, ибо сила народа есть следствие здорового духа, а не наоборот. Линднер поэтому особым и тщательным образом разработал систему растираний, которая избегала движений наудачу, лишь бы поэнергичнее, превращающих эту процедуру в обычное мужское идолопоклонство, и обеспечивала участие в деле всей личности, соединяя движения тела с прекрасными внутренними задачами. Особенно противно ему было опасное преклонение перед молодцеватой подтянутостью, которая, придя извне, уже и в его отечестве представлялась кое-кому идеалом; отмежевание от нее непременно входило в его утренние упражнения. Выполняя их, он весьма осмотрительно заменял ее политически мудрым поведением при гимнастическом манипулировании

своими членами и соединял напряжение воли со своевременной уступчивостью, а преодоление боли — с разумной человечностью, и когда он, в виде заключительного упражнения смелости, прыгал, например, через поваленный стул, то происходило это с такой же долей сдержанности, как и самоуверенности. Такое развитие всего богатства человеческих задатков превращало для него телесные упражнения, с тех пор как он приступил к ним несколько лет назад, в подлинные упражнения в добродетели. Но столько же следовало бы мимоходом сказать и против скверного духа бренного самоутверждения, который под флагом гигиены обладал здоровой вообще-то идеей спорта. И еще кое-что против особой женской формы этого скверного духа — косметического ухода за телом. Линднеру было лестно принадлежать к тем немногим, которые правильно распределяли свет и тени и тут, и, будучи готов повсюду находить в духе времени неиспорченное зерно, он признавал и нравственную обязанность обладать как можно более здоровым и благообразным видом. Сам он ежеутренне тщательно ухаживал за бородой и волосами, коротко стриг ногти и содержал их в строжайшей чистоте, мазал брильянтином голову и смягчающим кремом натруженные за день ноги; кто бы, с другой стороны, стал отрицать, что светская женщина заполняет свой день чрезмерным вниманием к телу? Но если уж действительно иначе нельзя, — он готов был нежно идти женщинам навстречу, тем более что среди них могли оказаться и жены могучих мужей, — если купанья, ванны для лица, кремы и примочки, массажисты и парикмахеры действительно должны чуть ли не непрерывно сменять друг друга, то в качестве противовеса такой односторонней заботе о теле он выдвигал сформулированное им в публичной речи понятие заботы о внутренней красоте или, короче, о душе. Пусть, например, мытье напоминает нам о внутренней чистоте, умащение — о долге перед душой, массаж — о руке судьбы, в которой мы пребываем, а педикюр — о том, что мы и в своих сокрытых глубинах должны быть красивы. Так распространял он видевшуюся картину на женщин, предоставляя, однако, им самим приспособливать частности к потребностям их пола.

Возможно, правда, что человека неподготовленного зрелище, которое являл Линднер, неся свою службу красоты и здоровья, и уж особенно во время умыванья и вытиранья, заставило бы рассмеяться: его движения вызывали ассоциацию с многократно повернутой лебединой шеей, причем не округлой, а состоящей из заостренностей колена и локтя; его освобожденные от очков близорукие глаза мученически глядели вдаль, словно взгляд их сразу же натыкался на преграду, а в бороде кривились от

боли напряжения мягкие губы. Но кто способен был видеть духовным взором, тому открывалось зрелище хорошо продуманного взаимопорождения внешних и внутренних сил; и когда Линднер думал при этом о бедных женщинах, проводящих целые часы в ванной и гардеробной и односторонне подогревающих свою фантазию культом любви, он редко удерживался от мысли, как полезно было бы им поглядеть на него. Они невинно и наивно приветствуют современную гигиену тела и занимаются ею, не подозревая, по своему неведению, что такое большое внимание животному началу куда как легко будит притязания, которые могут разрушить жизнь, если не взять их под строгий контроль.

Вообще все, с чем он ни соприкасался, Линднер превращал в нравственное требование; и был ли он одет или не был, каждый час дня вплоть до погружения в лишенный сновидений сон был заполнен у него важным содержанием, каковому этот час был отведен раз навсегда. Спал он семь часов: его преподавательская нагрузка, ограниченная министерством ввиду его одобряемой в верхах литературной деятельности, требовала от него от трех до пяти часов и день, куда входили и лекции по педагогике, которые он читал в университете дважды в неделю; пять часов подряд — это почти двадцать тысяч часов за десятилетие! — отводились на чтение; два с половиной часа служили писанию собственных его трудов, без задержек, как прозрачный ключ, бивших из внутренних пластов его личности; на трапезы уходил один час в день; один час посвящался прогулке и заодно удовольствию от больших специальных и жизненно важных проблем, а другой был отдан передвижению, связанному с работой, и заодно тому, что Линднер называл малым раздумьем, — заминке ума на содержании только что закончившегося и предстоящего занятия; другие отрезки времени были тоже, частью раз навсегда, частью с чередованием в пределах недели, отведены на одевание и раздевание, гимнастику, письма, хозяйственные дела, учреждения и полезное общение. Естественно также, что исполнение этого плана жизни следовало не только по главным и строгим линиям, но и включало в себя всяческие особенности, например, воскресенье с его неповседневными обязанностями, или большую загородную прогулку, происходившую раз в две недели, или купанье, и что сюда входила также ежедневная двойная деятельность, еще не упомянутая, — к примеру, общение Линднера с сыном во время трапез или упражнение характера в терпеливом преодолении непредвиденных трудностей при быстром одевании.

Такого рода упражнения характера не только возможны, но и крайне полезны, и у Линднера было органическое пристрастие к ним. «В том

малом, что я делаю как надо, я вижу образ всего великого, что делается в мире как надо», — сказано уже у Гете, и в этом смысле какая-нибудь трапеза может служить школой самообладания и полем победы над алчностью с таким же успехом, как задача жизни; да, на примере недоступного никакой логике сопротивления запонки глубокий ум способен научиться даже обращению с детьми. Линднер, конечно, вовсе не смотрел на Гете как на образец во всем; но сколько сладостного смирения находил он в том, что пытался собственноручно вбить гвоздь в стенку, старался самостоятельно заштопать порванную перчатку или чинил испорченный звонок: если он при этом и попадал молотком по пальцам или укалывался иголкой, то боль, пусть не сразу, но все-таки через несколько ужасных секунд побеждалась радостью при мысли о предприимчивости человеческого духа, таящейся даже в таких малых навыках и в их приобретении, избавленным от которого заносчиво мнит себя ныне, в общем себе же во вред, человек образованный! Тогда он с удовольствием чувствовал, как воскресает в нем гетевский дух, и наслаждался этим тем более, что чувствовал все-таки и свое превосходство, благодаря технике нового времени, над любительскими поделками классика и над радостью, которую доставляет иной раз благоразумная ловкость. Линднер вообще не делал кумира из старого автора, жившего в лишь наполовину просвещенном и потому переоценивавшем просвещение мире, и брал его за образец скорее в прелестно малом, чем в большом и серьезном, не говоря уж о пресловутой чувственности этого обольстительного министра.

Его почтительность была, таким образом, тщательно взвешена. С некоторых пор, однако, в ней появилась какая-то странная досада, которая часто заставляла Линднера задумываться. Он всегда считал свой взгляд на героическое более правильным, чем взгляд Гете. О Сцеволах, сующих руки в огонь, о закалывающихся Лукрециях, о Юдифях, отрубающих голову посягнувшему на их честь, «мотивах», которые Гете всегда нашел бы значительными, хотя сам не брался за них, — Линднер был невысокого мнения; больше того, несмотря на авторитет классиков, он был даже убежден, что в наши дни место этих мужчин и женщин, совершивших преступления во имя тех или иных личных убеждений — не на пьедестале, а в зале суда. Их тяге к тяжелым увечьям он противопоставлял «сознательный и социальный» взгляд на мужество. В разговорах и мыслях он доходил даже до того, что ставил выше этих деяний хорошо продуманную запись в классный журнал или ответственное решение вопроса о том, как укорить свою экономку за чрезмерное усердие, поскольку тут нельзя руководствоваться только собственными страстями, а

надо учитывать и резоны другого. И когда он высказывал такие вещи, ему казалось, что он, одетый в благопристойное штатское платье позднего века, оглядывается на крикливый моральный костюм старины.

Оттенок смешного, связанный с такими примерами, отнюдь не ускользал от него, но он называл его смехом духовного плебса; и у него было на то два твердых основания. Во-первых, он не только утверждал, что любой повод одинаково годится и для укрепления, и для ослабления человеческой природы; нет, поводы менее значительные казались ему даже более пригодными для ее укрепления, чем великие возможности, ибо блестящее служение добродетели невольно развивает и человеческую тягу к гордыне и тщеславию, тогда как служение незаметное, каждодневное и есть чистая, без прикрас добродетель. А во-вторых, при планомерном использовании морального народного достояния (это выражение, наряду с солдатским словечком «муштра», Линднер любил за сочетание в нем чего-то крестьянского с чем-то совершенно новым) «малыми возможностями» нельзя было пренебрегать и потому, что безбожная, выдуманная «либералами и масонами» вера, будто великие человеческие свершения рождаются на пустом месте, хотя бы это и называли гениальностью, устаревала уже тогда. Более резкий свет общественного внимания уже обнаружил в «герое», которого прежняя эпоха сделала надменным феноменом, неутомимого и кропотливого работника, который готовит из себя первооткрывателя долгим и прилежным учением и должен, если он атлет, обращаться со своим телом так же осторожно, как оперный певец со своим голосом, а если он политический реформатор, то твердить на бесчисленных собраниях одно и то же. И Гете — он ведь так и прожил себе жизнь бюргером-аристократом — понятия об этом не имел, а Линднер видел, что дело идет к тому! Поэтому было понятно, что он считал себя защитником лучшей части Гете от его тленной части, предпочитая рассудительную обходительность, которой тот в такой отрадной мере обладал, его трагизму; и можно, пожалуй, утверждать, что это тоже был результат зрелого размышления, если Линднер, не по какой-либо иной причине, а потому, что он был педант, считал себя человеком, которому угрожают опасные страсти. Недаром вскоре после этого одной из излюбленнейших человеческих возможностей стало подчинение какому-то «режиму», одинаково успешно применяемое и против ожирения тела, и в политике, и в духовной жизни. При этом терпение, послушание, уравновешенность, хладнокровие и другие очень добротные свойства становятся главными составными элементами человека в частном плане, а все необузданное, насильственное, маниакальное и опасное, без чего он,

как неудержимый романтик, тоже не может обойтись, прекрасно находит место в режиме. Наверно, эта любопытная склонность подчиняться режиму, жить утомительной, неприятной и скудной жизнью по предписанию врача, тренера или другого тирана, хотя с таким же неуспехом можно было бы плюнуть на это, есть уже результат движения к муравьиному государству работников и воинов, к которому приближается мир; но тут и пролегла граница, перешагнуть которую Линднер был уже неспособен и до которой видящий взгляд его не дотягивался, потому что это запрещала ему его доля гетевского наследства.

Не то чтобы с этим не могло примириться его благочестие, ведь предоставлял же он божественное богу, а неразбавленную святость святым; но он и подумать не мог о том, чтобы отказаться от своей личности, и идеалом мира ему представлялось общество вполне ответственных нравственных личностей, которое, как штатская рать божья, хоть и борется против нестойкости низменной природы и делает из будней святыню, но и украшает ее великими произведениями искусства и науки. Поэтому, проверь кто-нибудь подсчетом распорядок его дня, он увидел бы, что при любой вариации в итоге получалось только двадцать три часа, до полных суток не хватало, таким образом, шестидесяти минут, и из этих шестидесяти минут сорок были раз навсегда отведены беседе и любовному вниканию в устремления и душевный склад других людей, к чему он причислял также посещение художественных выставок, концертов и увеселений. Он ненавидел эти мероприятия. Они почти каждый раз оскорбляли его душу своим содержанием, и, на его взгляд, в этих бесплановых и переоцениваемых уладах находила выход пресловутая неврастения современности с ее избытком раздражителей и ее настоящими страданиями, с ее ненасытностью, нестабильностью, любопытством и ее неизбежным падением нравов. Он даже потрясенно улыбался в жидкую свою бороду, когда видел в таких случаях, как «людишки мужского и женского пола» с горящими щеками идолопоклонствуют перед культурой. Они не знали, что жизненная сила возрастает от сосредоточения, а не от распыления. Они все страдали от страха, что у них нет времени на все, и не знали, что располагать временем означает не что иное, как не располагать временем на все. Линднер находил, что скверное состояние нервов вызвано не работой и ее спешностью, которые принято обвинять в эту эпоху, а, наоборот, идет от культуры и гуманности, от передышек, от перерывов в работе, от незанятых минут, когда человек хочет жить для самого себя и ищет чего-то, что он мог бы считать прекрасным или доставляющим удовольствие или важным: от этих-то минут и исходят миазмы нетерпения,

несчастья и бессмысленности. Так он чувствовал, и, будь на то его воля, то есть будь все так, как виделось ему в такие мгновения, он вымел бы все эти храмы искусства железной метлой, и праздники труда и созидания, тесно связанные с насущным делом, заняли бы место тех мнимых торжеств духа; ничего, собственно, не надо было делать, кроме как отнимать у целой эпохи ежедневно по несколько минут, которые обязаны своим больным бытием неверно понятой либеральности. Но на то, чтобы отстаивать это всерьез, публично, а не только намеками, у него никогда не хватало решимости. И Линднер вдруг поднял глаза, ибо во время этих мечтаний он все еще ехал в трамвае; он почувствовал раздражение и подавленность, как то бывает при нерешительности и помехах, и на миг ему смутно показалось, что он все время думал об Агате. Ей выпала и та честь, что недовольство, которое началось простодушно, как радость от Гете, слилось теперь с ней, хотя на то не видно было никаких причин. По привычке Линднер поэтому наставил себя сам: «Посвяти часть своего одиночества спокойному размышлению о своем ближнем, особенно если ты с ним не согласен: может быть, тогда ты лучше поймешь и сумеешь использовать то, что тебя отталкивает, пощадишь его слабость и ободрить его добродетель, которая, возможно, просто запугана!» — прошептал он немymi губами. Это было одно из заклинаний, изобретенных им против сомнительных выходов так называемой культуры и обычно вселявших в него спокойствие, чтобы их выносить; но успеха не было, и справедливость оказалась явно не тем, чего ему на этот раз не хватало. Он вынул часы. Подтвердилось, что Агате он уделит больше времени, чем ему было отпущено.

Но он не смог бы сделать это, если бы в его расписании дня не были предусмотрены еще двадцать минут на неизбежные потери времени; и оказалось, что на этом счету убытков, от этого неприкосновенного запаса, драгоценные капли которого были смазочным маслом его ежедневной работы, даже в этот необычный день у него останутся десять минут, когда он войдет в дом. Выросло ли благодаря этому его мужество? Ему вспомнилось, уже второй раз за сегодняшний день, другое его правило: «Чем непоколебимей твое терпение, — сказал Линднер Линднеру, — тем вернее попадешь ты другому в сердце!» А попасть в сердце доставляло ему удовольствие, соответствовавшее и героическому началу его натуры; что те, в кого так попадают, никогда не наносят ответного удара, не играло тут никакой роли.

Брат и сестра на следующее утро

Об этом человеке и зашла опять речь у Ульриха с сестрой, когда они снова увиделись наутро после внезапного исчезновения Агаты со собрания у кухни. Накануне Ульрих вскоре после нее тоже покинул взволнованное спорами собрание, но ему не удалось спросить ее, почему она сперва сама подошла к нему, а потом ушла от него, ибо она заперлась и то ли уже спала, то ли нарочно не ответила, когда он, прислушавшись, спросил, спит ли она. Таким образом, день, когда она встретила этого чудного незнакомца, кончился так же взбалмошно, как начался. На следующий день от нее тоже не удавалось получить ответ. Подлинных своих ощущений она и сама не знала. Когда она думала о вторгшемся к ней письме своего супруга, перечитать которое она не могла заставить себя, хотя время от времени видела письмо рядом с собой, ей казалось неправдоподобным, что с момента его получения не прошло и суток; так часто за истекшее время менялось ее состояние. Порой ей думалось, что к этому письму поистине применимо ходячее выражение «призраки прошлого»; тем на менее она и в самом деле боялась его. А порой оно вызывало у нее лишь маленькое неудовольствие, которое мог бы вызвать и неожиданный вид остановившихся часов, но иногда ее приводило в оцепенелую задумчивость то, что мир, откуда пришло это письмо, притяжал быть реальным для нее миром. Все, что нисколько не задевало ее внутренне, необозримо окружало ее внешне и там все еще не отпускало. Она невольно сравнила с этим все то, что произошло между нею и братом после прихода письма. Это были прежде всего разговоры, и хотя один из них довел ее даже до мыслей о самоубийстве, его содержание забылось, хотя, наверно, еще готово было воскреснуть и не пережилось. Значит, не так уж оно было и важно, о чем шел тот или иной разговор, и, оглядывая свою теперешнюю, щемящую сердце жизнь в свете письма, она проникалась впечатлением глубокого, постоянного, беспримерного, но бессильного волнения. От всего этого она чувствовала себя в это утро отчасти вялой и отрезвевшей, отчасти нежной и беспокойной, как то бывает с больным, когда спадет жар.

Лишь с виду поэтому без всякой связи она вдруг сказала:

— Проявлять участие, чтобы самому ощущать, каково на душе у другого, наверно, неопишимо трудно!

Ульрих ответил:

— Есть люди, воображающие, что они на это способны.

Он был в дурном и язвительном расположении духа и понял ее только наполовину. При ее словах что-то отодвинулось в сторону, уступив место чувству досады, которое осталось накануне, хотя он его и презирал. На том этот обмен мнениями пока кончился.

Утро принесло дождливый день и заперло брата и сестру в их доме. Листья деревьев скучно блестели перед окнами, как мокрый линолеум; мостовая за просветами в листве сверкала, как калоша. Глаза не глядели на эту мокрядь. Агата вздохнула и сказала:

— Мир напоминает сегодня наши детские.

Она намекала на голые верхние комнаты в отцовском доме, удивленную встречу с которыми они оба отпраздновали. Это казалось притянутым за волосы; но она прибавила:

— Первая печаль человека среди своих игрушек — она всегда возвращается!

После долго стоявшей в последнее время хорошей погоды ожидание невольно сулило снова прекрасный день и сейчас наполняло душу чувством несостоявшейся радости и нетерпеливой грустью. Ульрих тоже выглянул теперь в окно. За серой, струящейся стеной воды маячили невыполненные проекты прогулок, зеленые просторы и бесконечный мир; и может быть, за нею мелькало и то желание побыть одному и свободно податься куда глаза глядят, сладкая боль которого есть страстотерпение и вместе же новое воскресение любви. Еле сохраняя что-то из этого в выражении лица и всего тела, он повернулся к сестре и почти ожесточенно спросил ее:

— Я-то, наверно, не принадлежу к людям, которые могут участливо вникать в заботы других?

— Нет, вот уж нет! — ответила она и улыбнулась ему.

— Но как раз на то, что воображают такие люди, — продолжал он, ибо только сейчас понял, сколь серьезны были ее слова, — а они воображают, будто можно страдать вместе, — как раз на это они способны меньше, чем кто бы то ни было. У них есть разве что умение медицинских сестер угадывать, что хотел бы услышать страждущий...

— Но, значит, они и знают, что ему на пользу, — возразила Агата.

— Отнюдь нет! — упорнее повторил Ульрих. — Вероятно, они вообще утешают лишь самым фактом, что говорят: кто много говорит, тот по капле разряжает боль другого, как дождь — электричество тучи. Это общеизвестное облегчение любого горя при помощи разговора!

Агата промолчала.

— Такие люди, как твой новый друг, — сказал Ульрих теперь вызывающе, — действуют, может быть, тоже как средства от кашля: они не устраняют катара, но смягчают вызываемое им раздражение, и тогда он проходит сам собой!

При любых других обстоятельствах он мог бы ждать, что сестра согласится с ним, но чудная со вчерашнего дня Агата с ее внезапной слабостью к человеку, в чьих достоинствах Ульрих сомневался, упрямо улыбнулась, играя пальцами. Ульрих вскочил и настойчиво сказал:

— Да я же знаю его, хотя и чуть-чуть. Я несколько раз слышал, как он говорил!

— Ты назвал его даже «скучным ослом», — вставила Агата.

— А почему бы и нет?! — защитил это Ульрих. — Такие люди, как он, способны разделять чувства другого меньше, чем кто бы то ни было! Они даже не знают, что это означает. Они просто не чувствуют трудности, чудовищной сомнительности этого требования!

Тут Агата спросила:

— Почему это требование кажется тебе сомнительным?

Теперь промолчал Ульрих. Он даже закурил, чтобы подтвердить, что не станет отвечать, ведь они уже достаточно говорили об этом накануне! Агата тоже знала это. Она не хотела вызывать новое объяснение. Эти объяснения были так же обворожительны и разрушительны, как созерцание неба, когда на нем видны серые, розовые и желтые города из облачного мрамора. Она подумала: «Как прекрасно было бы, если бы он ничего не сказал, кроме: „Я хочу любить тебя, как себя самого, и тебя мне легче так любить, чем всех других женщин, потому что ты моя сестра!“»

И поскольку он не говорил этого, она взяла ножнички и тщательно обрезала вылезшую где-то нитку, так тщательно, словно сейчас это было единственным в мире, что заслуживало полного ее внимания. Ульрих наблюдал за этим с таким же вниманием. Она предстала сейчас всем его чувствам более обольстительной, чем когда-либо, и что-то из того, что она таила, он угадал, хотя и не все. Ибо она тем временем успела принять решение: если Ульрих способен забыть, что она сама смеется над тем незнакомцем, возмнившим, что он тут поможет, то он, Ульрих, и не узнает этого сейчас от нее. А кроме того, с Линднером у нее было связано какое-то полное надежды предчувствие.

Она не знала его. Но то, что он самоотверженно и убежденно предложил ей свою помощь, внушило ей, по-видимому, доверие, ибо радостная мелодия сердца, твердые трубные звуки воли, уверенности и гордости, благотворно противоположные собственному ее состоянию,

казалось, слышались ей, ободряя ее, за всем комизмом этого эпизода. «Как бы ни были велики трудности, они ничего не значат, если хотеть всерьез!» — подумала она и, внезапно охваченная раскаяньем, нарушила молчание приблизительно так, как срывают цветок, чтобы над ним могли склониться две головы, и прибавила к первому своему вопросу второй: — Помнишь, ты же всегда говорил, что «люби ближнего» так же отличается от долга, как ливень блаженства от капли удовлетворенности? Она удивилась горячности, с какой Ульрих ответил ей:

— Иронию своего состояния я прекрасно вижу. Со вчерашнего дня, да, наверно, и всегда, я только и делал, что набирал войско доводов в пользу того, что эта любовь к этому ближнему никакое не счастье, а чудовищно грандиозная, наполовину неразрешимая задача! Вполне понятно, стало быть, что защиты ты искала у человека, который понятия не имеет обо всем этом, и я на твоём месте сделал бы то же самое!

— Но ведь неправда, что я это делаю! — коротко возразила Агата.

Ульрих не мог не бросить на нее столь же благодарный, сколь и недоверчивый взгляд.

— Вряд ли стоит говорить об этом, — заверил он ее. — Да я, собственно, и не хотел. — Он помедлил мгновение и продолжил: — Но видишь ли, если надо любить ближнего как себя самого и даже если любишь его как нельзя больше, то в сущности это все-таки обман и самообман, потому что просто нельзя чувствовать вместе с ним, как болит у него голова или палец. Это нечто совершенно невыносимое — невозможность действительно принимать участие в том, кого любишь, и нечто совершенно простое. Так устроен мир. Мы носим свою шкуру шерстью внутрь и не можем вывернуть ее. И этот ужас нежности, этот кошмар остановившегося приближения — людям по-настоящему хорошим, «хорошим без дураков», он неведом. То, что они называют своим участием, даже служит им тут заменой, чтобы они не чувствовали, что им чего-то недостает!

Агата забыла, что только что сказала нечто, столь же похожее, сколь и не похожее на ложь. Она видела, что в словах Ульриха сквозь разочарование светилось видение такой взаимопричастности, перед которой обычные доказательства любви, доброты и участия теряли свое значение; и она поняла, что он потому чаще говорил о мире, чем о себе, что надо было, вероятно, вынуть себя из себя, как снимают дверь с петель, и соотнести с реальностью, если то было чем-то большим, чем пустые мечтания. В этот миг она была очень далеко от робко строгого человека с жидкой бородой, который хотел сделать ей добро. Но она была не в

состоянии сказать это. Она только взглянула на Ульриха, а затем отвела глаза, ничего не говоря. Затем что-то сделала, затем они опять взглянули друг на друга. Очень скоро показалось, что молчание длится уже много часов.

Мечта быть двумя людьми и одним целым — на самом деле эффект этой выдумки весьма походил в иные минуты на эффект сновидения, переступившего границы ночи, да и сейчас это состояние колебалось между верой и отрицанием в такой сумятице чувств, где разуму уже нечего было делать. Возвращала чувство к реальности только не поддающаяся никаким влияниям природа тел. Тела эти — потому что они ведь любили друг друга — простирали перед ищущим взглядом свое бытие к сюрпризам и восторгам, которые расцветали снова и снова, как парящий в потоках вожделения павлиний хвост, но когда взгляд не был прикован только к стоглавному зрелищу, устраиваемому любовью любви, а пытался проникнуть к существу, которое там, в глубине, думало и чувствовало, тела эти превращались в жестокие тюрьмы. Одно находилось тогда снова перед другим, как уже часто раньше, и не знало, что сказать, потому что все, что еще могла бы сказать или повторить страстная тоска, требовало слишком наклонного движения, для которого не было никакой твердой опоры.

И вскоре и физические движения невольно из-за этого замедлились и замерли. За окнами дождь все еще наполнял воздух своим дрожащим занавесом из капель и усыпляющим шумом, через однотонность которого лилась с небесных высот тоска. Агате казалось, что тело ее одиноко уже много веков; и время текло, словно оно стекало с водой с неба. Свет в комнате был теперь как полый серебряный шестигранник. Синие, сладковатые ленты дыма небрежно сжигаемых папирос обвивали ее и Ульриха. Она уже не знала, предельно чутка ли она и нежна или нетерпеливо-неприятна к брату, чьей выдержкой она восхищалась. Она поискала его взгляда и нашла его оцепенело повисшим в этой ненадежной атмосфере, как две луны. И в тот же миг, причем это не было рождено ее волей, а пришло как бы извне, поток за окнами стал вдруг мясистым, как взрезанный плод, и его набухшая мягкость втиснулась в пространство между нею и Ульрихом. Может быть, ей было стыдно и она даже немного ненавидела себя из-за этого, но ею стало овладевать совершенно чувственное веселье, не только то, что называют раскованностью чувств, вовсе нет, но также, и даже прежде всего, добровольное и свободное отрешение чувств от мира. И она успела предупредить это и даже скрыть от Ульриха, вскочив и покинув комнату под простейшим предлогом, что забыла о каком-то деле.

По небесной лестнице в чужое жилье

Но как только это было совершено, она приняла решение навестить странного человека, предложившего ей свою помощь, и сразу же приступила к действиям. Она хотела признаться ему, что уже не знает, как ей быть. У нее не было о нем четкого представления: каков в действительности человек, которого ты видел сквозь слезы, высохшие в его обществе, тебе не так-то легко разглядеть. Поэтому она размышляла о нем по дороге. Она думала, что размышляет трезво; на самом же деле это происходило самым фантастическим образом. Торопливо шагая по улицам, она несла перед глазами свет из комнаты брата. Но свет этот вовсе не был правильным, думала она; скорее она сказала бы, что все предметы в этой комнате вдруг потеряли самообладание или какой-то разум, который вообще-то, наверно, в них был. Но если самообладание или разум потеряла только она, то это все равно не ограничивалось ею самой, ибо вызвало и в предметах такое освобождение, при котором все двигалось чудом. «В следующую минуту это счистило бы с нас кожуру одежды, как серебряный ножик, причем мы бы действительно и пальцем не шевельнули!» — думала она.

Но постепенно она успокаивалась теперь благодаря дождю, который с шумом лил ей на шляпу и пальто безобидную серую воду, и мысли ее становились умереннее. Может быть, этому помогала и простая, наспех накинута одежда, направляя ее воспоминания к прогулкам без зонтика и верхнего платья в школьные годы и к временам невинным. Она даже неожиданно вспомнила, шагая, одно простодушное лето, которое провела с подругой и ее родителями на небольшом острове на севере; там, среди сурового великолепия неба и моря, они обнаружили гнездовье морских птиц, лощину, полную белых, мягких перьев. И она поняла: человек, к которому ее влекло, напоминал это гнездовье. Образ этот ее обрадовал. Правда, в те времена, при строгой искренности, неотделимой от потребности юности в опыте, она вряд ли позволила бы себе так нелогично, так именно по-юношески незрело, как старалась теперь, предаться при мысли о мягком и белом сверхъестественному страху. Страх этот относился к профессору Линднеру; но и сверхъестественное относилось к нему.

Полное уверенности чувство, что все, с чем она встречается, находится

в сказочной связи с чем-то скрытым, было знакомо ей по всем бурным периодам ее жизни; она ощущали это как что-то близкое, чувствовала это позади себя и была склонна ждать часа чуда, когда ей останется только закрыть глаза и откинуться назад. А Ульрих не видел помощи в сверхъестественных мечтах, и его внимание было чаще всего, казалось, занято тем, чтобы бесконечно медленно превращать сверхъестественный смысл в естественный. Агата усмотрела тут причину того, что уже в третий раз за одни сутки покинула его, убегая в смутном ожидании чего-то, что взяло бы ее под охрану и дало ей отдохнуть от тягот или хотя бы только от нетерпения ее страстей. Как только она успокаивалась, она сама оказывалась снова с ним рядом и видела всю целительность того, чему он ее учил; и сейчас тоже это продлилось какое-то время. Но как только в ней снова ожило воспоминание о том, что «чуть» не случилось дома, — и все-таки не случилось! — она опять пришла в полную растерянность. То она хотела теперь убедить себя, что на помощь им, если бы они выдержали еще один миг, пришла бы бесконечная сфера невообразимого, то упрекала себя за то, что не подождала, что сделает Ульрих; в конце концов, однако, она стала мечтать о том, что правильнее всего было бы просто уступить любви и на головокружительной небесной лестнице, по которой они поднимались, уделить измученной чрезмерными требованиями природе ступеньку для отдыха. Но, едва сделав эту уступку, она показалась себе похожей на тех незадачливых героинь сказок, которые не умеют владеть собой и по женской слабости преждевременно нарушают молчание или какой-нибудь другой обет, после чего все рушится под грохот грома.

Когда теперь ее ожидание снова обратилось к тому, кто должен был указать ей выход, на его стороне были не только те преимущества, какие приписывает порядку, уверенности, доброй строгости распушенность отчаяния; этот незнакомец обладал еще и тем особым отличием, что говорил о боге уверенно и без эмоций, словно ежедневно бывал в его доме и давал понять, что там презируют всякие химеры и страсти. Что же могло предстоять ей у него? Задав себе этот вопрос, она стала печатать шаг и вдохнула холод дождя, чтобы отрезветь совсем; и тут ей представилось вполне вероятным, что Ульрих, хоть он и судит о Линднере односторонне, судит все-таки правильнее, чем она, ибо до разговоров с Ульрихом, когда ее впечатление от Линднера было еще свежим, она и сама думала о нем довольно насмешливо. Она удивилась своим ногам, которые все же несли ее к нему, и даже села и ехавший в том же направлении омнибус, чтобы ускорить дело.

В тряске, среди людей, походивших на штуки грубого мокрого белья,

ей было трудно сохранить в целости внутреннюю свою постройку, но она стояла с ожесточенным лицом и защищала ее от разрушения. Она хотела донести ее до Линднера невредимой. Она даже уменьшила ее. Все ее отношение к богу, если уж применять это имя к такому авантюризму, ограничивалось тем, что перед ней каждый раз возникал сумеречный двойной свет, когда жизнь делалась слишком угнетающей и противной или, что было ново, слишком прекрасной. Тогда она, ища, неслась на него. Вот и все, что она могла честно об этом сказать. А результата никогда не бывало. Так говорила она себе под толчки колес. И при этом она замечала, что теперь ей и вообще-то весьма любопытно, как выйдет ее незнакомец из этого дела, которое доверялось ему словно бы как заместителю бога; ведь для данной цели великая неприступность должна была уделить ему и немного всезнания, потому что Агата тем временем, стиснутая всякого рода людьми, твердо решила ни за что не признаваться ему сразу во всем. А выйдя, она странным образом обнаружила в себе глубоко спрятанную уверенность, что на этот раз все будет не так, как обычно, и что она готова и на свой страх и риск вывести совершенно непостижимое из сумеречного двойного света на яркий свет. Может быть, она тотчас же взяла бы назад эти слишком сильные слова, если бы они вообще дошли до ее сознания; но там были сейчас не слова, а просто удивленное чувство, от которого кровь ее взвивалась огнем.

Тот, на пути к кому находились столь страстные чувства и фантазии, сидел тем временем в обществе своего сына Петера за обедом, каковой подавался у него, по доброму обычаю старины, еще ровно в полдень. В его окружении не было роскоши или, лучше сказать, излишеств; ибо второе слово открывает нам смысл, затемняемый первым. «Роскошь» тоже ведь обозначает нечто излишнее, без чего можно обойтись и что накапливается праздным богатством; «излишество», напротив, не столько излишне и в этом смысле равнозначно «роскоши», сколько избыточно и обозначает тогда чуть чрезмерную уютность быта или то удобство, то щедрое изобилие европейской жизни, которого лишены только совсем уж бедные. Линднер различал эти два понятия роскоши, и если роскоши в первом смысле в его жилье не было, то во втором смысле она в нем была. Как только отворялась входная дверь, открывая умеренно просторную переднюю, уже складывалось это своеобразное впечатление, о котором невозможно было сказать, откуда оно шло. Оглядевшись, нельзя было недосчитаться ни одного из приспособлений, изобретенных, чтобы служить человеку и приносить ему пользу. Подставка для зонтиков, спаянная из листового металла и окрашенная эмалевой краской, заботилась о дождевом

зонтике.

Шершавый половик снимал с башмаков грязь, если ее оставлял неочищенной особым для этого веничек. В настенном футляре торчали две платяных щетки, и вешалка для верхней одежды тоже имелась. Прихожая освещалась электрической лампочкой, было даже зеркало, и все эти вещи находились в полнейшем порядке и своевременно обновлялись при повреждениях. Но лампочка была самая тусклая и позволяла различать только общие очертания предметов, вешалка была только о трех крючках, зеркало вминало лишь четыре пятых лица взрослого человека, а толщина и качество коврика были как раз таковы, что сквозь него ты чувствовал пол и не утопал в мягкости.

Если, впрочем, бесполезно описывать дух места через такие подробности, то достаточно было просто войти, чтобы ощутить его в целом, почувствовать особое дыхание не строгости и не небрежности, не зажиточности и не бедности, не пикантности и не пресности, а как раз того вытекающего из двух отрицаний утверждения, что лучше всего выражают слова «отсутствие расточительности». Это, однако, — стоило войти во внутренние комнаты, — отнюдь не исключало чувства красоты, даже уюта, которые заметны были во всем. На стенах висели хорошие гравюры в рамках, окно у линднеровского письменного стола было украшено цветным стеклышком с изображением рыцаря, чопорным движением освобождавшего от какого-то дракона какую-то деву, а в выборе расписных ваз, где стояли красивые бумажные цветы, в приобретении, хотя он не курил, пепельницы, да и во множестве мелочей, как бы бросающих свет на тот серьезный круг обязанностей, который представляет собой содержание дома, Линднер дал вкусу большую волю. И все-таки везде и через все пробивалась двенадцатириберная строгость формы комнат, словно бы напоминая о суровости жизни, суровости, которую и среди приятного нельзя забывать; и даже там, где, оставшись от прошлого, какая-нибудь женственная недисциплинированность — вышитое крестом покрывальце, подушечка с розами или абажур юбочкой — нарушала это единство, оно было достаточно сильно, чтобы не дать сибаритскому началу вовсе выйти из рамок.

Тем не менее в этот день, и не в первый раз со вчерашнего дня, Линднер опоздал к трапезе почти на четверть часа. Стол был накрыт; тарелки, по три, одна на другой, перед каждым из двух мест, глядели на него круглыми глазами упрека; стеклянные подставочки, на которых ножи, ложки и вилки застыли, словно пушечные стволы на лафетах, и свернутые трубкой салфетки в кольцах выстроились как армия, брошенная на

произвол судьбы своим командиром. Торопливо захватив с собой почту, которую он обычно просматривал перед обедом, Линднер с нечистой совестью поспешил в столовую и не понял от смущения, что его, собственно, там встретило — это могло быть чем-то похожим на недоверие, потому что в ту же минуту с другой стороны, и так же поспешно, туда вошел его сын Петер, словно он только и ждал отца.

Светлая личность и шалопай Но еще и Агата

Петер был довольно видный малый лет семнадцати, в котором рослость Линднера сочеталась с более плотным телосложением, ее укорачивавшим; он доставал отцу только до плеч, но его голова, похожая на большой угловато-круглый кегельный шар, покоилась на крепко-мясистой шее, объема которой хватило бы папе и на бедро. Вместо школы Петер провел время на футбольной площадке, а возвращаясь домой, имел несчастье заговорить с какой-то девушкой, у которой мужская его красота добила полубещания новой встречи; опаздывая поэтому, он украдкой прошмыгнул в дом и к двери столовой; так до последнего момента и не придумав, на что сослаться, он, к своему удивлению, не услышал в столовой никаких звуков и, вбежав туда, уже приготовился изобразить на лице скуку долгого ожидания, когда вдруг столкнулся с отцом и донельзя смутился. Его красное лицо покрылось еще более красными пятнами, и он сразу же обрушил на отца потоки слов, боязливо косясь на него, когда думал, что тот не замечает этого, и смело глядя отцу в глаза, когда чувствовал их взгляд на себе. Это было хорошо рассчитанное и не раз проверенное поведение, имевшее целью создать впечатление до неразумия откровенного и несдержанного молодого человека, способного на что угодно, только не на то, чтобы что-нибудь утаить. Но если и это не помогало, Петер не стеснялся отпустить как бы нечаянно какое-нибудь непочтительное или другое корбящее отца словцо, которое действовало как громоотвод и уводило молнию от более опасных путей. Ибо Петер боялся отца, как боится преисподняя неба, боялся с самолюбием поджариваемого мяса, на которое взирает с высоты дух. Он любил футбол, но при этом больше любил наблюдать с видом знатока и высказывать веские мнения, чем напрягаться самому. Он собирался стать летчиком и когда-нибудь совершать подвиги, но он представлял себе это не как цель, ради которой надо трудиться, а как личную предрасположенность, словно был по природе своей способен в один прекрасный день полететь. И то, что его нелюбовь к труду противоречила наставлениям школы, не оказывало на него никакого действия. Этому сыну признанного педагога вообще было наплевать на уважение учителей; он довольствовался тем, что был самым

сильным физически в своем классе, а если кто-нибудь из соучеников казался ему слишком умным, он был готов восстановить сносное соотношение ударом кулака в нос или в живот. Известно, что и таким способом можно быть уважаемым человеком, и способ этот имел только тот недостаток, что его нельзя было применять дома против отца, да и знать о нем отцу следовало как можно меньше. Ибо перед этим духовным авторитетом, который его воспитал и держал в мягких тисках, неистовство Петера выливалось в жалобные попытки протеста, которые Линднер-старший называл жалким криком страстей. Поскольку Петер был сызмала знаком с прекрасными принципами, ему было трудно оставаться глухим к их правде, и потрафлять своей честью и строптивости он мог только индейскими военными хитростями, избегая открытой словесной борьбы. Применяясь к своему противнику, он, впрочем, пользовался и множеством слов, но никогда не снисходил при этом до потребности говорить правду, что было, по его понятиям, недостойной мужчины болтливостью.

Так и на этот раз сразу посыпались его уверения и ужимки, но они не встретили никакого противодействия со стороны наставника. Наспех перекрестив тарелку с супом, профессор Линднер ел серьезно, молча и торопливо. Лишь изредка, да и то не надолго и несосредоточенно, останавливался его взгляд на проборе сына. С помощью гребенки, воды и большого количества помады пробор этот был проложен сегодня в его густых, рыжевато-каштановых волосах как узкоколейная дорога в неподатливой лесной чаще. Когда Петер чувствовал на нем взгляд отца, он опускал голову, чтобы прикрыть подбородком красный, кричаще красивый галстук, которого его воспитатель еще не видел. Ибо в следующий миг глаза отца могли мягко расшириться от такого открытия, а его рот последовать за ними и произнести слова о «подчинении моде хлыщей и шутов» или о «социальном кокетстве и рабском тщеславии», Петера обижавшие. Но на сей раз этого не случилось, и лишь через некоторое время, когда меняли тарелки, Линднер сказал добродушно и неопределенно — неясно было даже, имеет ли он в виду галстук или его назидание вызвано лишь чем-то безотчетно увиденным:

— Людям, которые должны еще упорно бороться со своим тщеславием, следует избегать всякой броскости в своем внешнем виде!

Петер воспользовался этой неожиданной несобранностью отца, чтобы рассказать историю об отметке «неудовлетворительно», полученной им якобы из рыцарских побуждений, потому что он, когда его вызвали отвечать после одного из товарищей, нарочно показал себя неподготовленным, чтобы, ввиду неслыханных требований, просто

невыполнимых для слабых учеников, его не затмить.

Профессор Линднер только покачал головой по этому поводу.

Но когда убирали со стола после второго и подавали десерт, он начал задумчиво и осторожно:

— Знаешь, как раз в годы величайшего аппетита можно одержать самые важные победы над собой, причем не путем нездорового голодания, а отказываясь иной раз от любимого блюда после достаточного насыщения!

Петер промолчал и не показал своего согласия с этим, но голова его снова покрылась сплошь, даже за ушами, ярко-красными пятнами.

— Было бы неверно, — озабоченно продолжал отец, — если бы я наказал тебя за это «неудовлетворительно», ведь поскольку ты вдобавок еще и по-детски врешь, тут налицо такое отсутствие нравственного понятия о чести, что сперва надо возделывать почву, чтобы, пав на нее, наказание могло оказать свое действие. Поэтому я ничего не требую от тебя, кроме того, чтобы ты сам это понял, и уверен, что тогда ты и сам накажешь себя!

В эту минуту Петер с живостью указал на свое слабое здоровье, а также на переутомление, которые могли вызвать его отставание в школе в последнее время и лишали его возможности закалить свой характер отказом от последнего блюда.

— Французский философ Конт, — спокойно ответил на это профессор Линднер, — обычно и без особого повода жевал после обеда вместо десерта черствый хлеб, просто чтобы думать о тех, у кого нет даже черствого хлеба. Это благородная черта, напоминающая нам, что любое упражнение в умеренности и простоте имеет глубокое социальное значение!

У Петера уже давно сложилось крайне неблагоприятное представление о философии, но теперь отец вызвал у него неприятные воспоминания и о литературе, продолжил:

— Писатель Толстой тоже говорит, что умеренность — это первая ступень к свободе. У человека много рабских страстей, и для успешной борьбы со всеми ими надо начинать с самых элементарных — чревоугодия, праздности и чувственности.

Профессор Линднер произносил каждое из этих трех слов, часто встречавшихся в его увещаниях, так же безлично, как другие; и задолго до того, как Петер стал связывать со словом «чувственность» определенные представления, он уже знал о необходимости борьбы с нею наряду с чревоугодием и праздностью, не думая при этом о чем-либо другом, чем отец, которому при этом и не нужно было уже ни о чем думать, ибо он был

уверен, что с этого начинается элементарный курс самоопределения. Вот почему и получилось, что в день, когда Петер, хоть и не зная еще чувственности в ее вожденнейшем виде, все-таки уже прикоснулся к ее юбкам, он вдруг проникся злобным отвращением к привычке отца холодно связывать ее с чревоугодием и праздностью: только сказать это напрямик он не посмел, а вынужден был солгать и воскликнул:

— Я простой человек и не могу сравнивать себя с писателями и философами!

Несмотря на волнение, он выбрал слова не наобум.

Его воспитатель промолчал.

— Я голоден! — прибавил Петер еще более страстно.

Линднер улыбнулся скорбно и презрительно.

— Я погибну, если мне не давать есть вдоволь! — почти захныкал Петер.

— Человек отвечает на всякое вторжение и нападение извне прежде всего посредством голосового аппарата! — заметил отец.

И «жалкий крик страстей», как называл это Линднер, умолк. В этот особенно мужской день Петер не хотел плакать, но необходимость дать красноречивый отпор ужасно тяготила его. Ему ничего больше не приходило в голову, и даже ложь была ему в этот миг ненавистна, потому что для того, чтобы прибегнуть к ней, надо говорить. В глазах его чередовались кровожадность и жалобное нытье. Когда дело дошло до этого, профессор Линднер добродушно сказал ему:

— Ты должен серьезно поупражняться в молчании, чтобы в тебе говорил не взбалмошный и необразованный человек, а рассудительный и воспитанный, чьи слова несут мир и твердость! — Затем он задумался с дружелюбным выражением лица. — Если хочешь сделать других добрыми, то нет лучшего способа, — сообщил он сыну результат, к которому пришел, — чем быть добрым самому. Вот и Маттиас Клаудиус говорит: «Не могу придумать ничего лучшего, чем быть самому таким, какими хочешь сделать детей».

И с этими словами профессор Линднер добродушно и решительно отодвинул от себя сладкое, не притронувшись к нему, хотя это было его любимое блюдо — сваренный на молоке рис с сахаром и шоколадом, и такая любовная непреклонность отца заставила сына последовать его примеру с зубовным скрежетом.

Тут вошла экономка и доложила о приходе Агаты. Август Линднер растерянно поднялся. «Значит, все-таки!» — сказал ему до ужаса отчетливый немой голос. Он был готов почувствовать себя возмущенным,

но был готов также проникнуться братской кротостью, которая полна нравственной чуткости, и две эти противоположности учинили во всем его теле дикую кутерьму, прежде чем ему удалось отдать простое распоряжение, чтобы даму проводили в гостиную.

— Ты подождешь меня здесь! — строго сказал он Петеру и удалился широким шагом. Петер же заметил в отце что-то необычное, он только не знал — что; так или иначе, это придало ему достаточно легкомыслия и храбрости, чтобы после ухода отца и краткого промедления запустить в рот полную ложку шоколадного порошка, затем ложку сахара и наконец большую ложку риса, шоколада и сахара, что он несколько раз повторил, прежде чем на всякий случай пригладил оставшееся в мисках.

Агата же некоторое время сидела одна в чужом доме и ждала профессора Линднера, ибо тот ходил взад и вперед в другой комнате, собираясь с мыслями, перед тем как предстать перед этой красивой и опасной женщиной. Она огляделась и почувствовала вдруг страх, словно забралась слишком высоко по веткам пригрезившегося дерева и боялась, что ей уже не выбраться целой и невредимой из его мира сучьев и листьев. Множество мелочей смущало ее, и в убогом вкусе, в них сказывавшемся, неприветливая суровость самым поразительным образом сочеталась с какой-то своей противоположностью, для которой Агата от волнения не сразу нашла название. Неприветливость эта напоминала, пожалуй, замерзшую неподвижность рисунков мелом, но в то же время комната выглядела и так, словно в ней стояли какие-то нежные, какие-то бабушкины запахи лекарств и мазей, и какой-то старомодный и немужской дух, направленный на человеческое страдание с неприятной старательностью, витал в этих стенах. Агата потянула носом. И хотя воздух не содержал ничего, кроме ее фантазий, ее чувства увели ее далеко назад, и она вспомнила теперь тот боязливый «запах неба», тот полувыветрившийся и лишенный своей пряности, тот приставший к сукну сутан аромат ладана, которым веяло от ее учителей, когда она девочкой вместе со своими подружками воспитывалась в благочестивом заведении и отнюдь не умирала от благочестия. Ибо, как ни утешителен этот запах для людей, связывающих с ним все правильное, в сердцах подраставших, полных мирской строптивости девочек он был живым напоминанием о запахах протеста, которые воображение и первый опыт связывают с усами мужчины или с его энергичными щеками, благоухающими после бритья пудрой и крепким одеколоном. Видит бог, и этот запах тоже не исполняет того, что он обещает! И пока Агата сидела в ожидании на одном из аскетических, несмотря на мягкость, линднеровских кресел, пустой запах

мира наглухо сомкнулся вокруг нее с пустым запахом неба, как два полых полушария, и ей почудилось, что она должна сейчас наверстать какой-то невнимательно выслушанный урок жизни.

Она поняла теперь, где находилась. С нерешительной готовностью попыталась она приспособиться к этому окружению и припомнить доктрины, от которых она, может быть, слишком рано позволила себе отвернуться. Но сердце ее при этой готовности дрожало, как лошадь, не поддающаяся никаким уговорам, и колотилось в неистовом страхе, как то бывает, когда есть чувства, которые хотят предостеречь разум и не находят слов. Тем не менее она через несколько мгновений снова сделала такую попытку; и чтобы поддержать ее, она стала думать при этом о своем отце, который хоть и был либерален и сам никогда не упускал случая выставить напоказ свою несколько поверхностную просвещенность, принял, несмотря на это, решение отдать ее, Агату, на воспитание в монастырскую школу. Она почувствовала себя склонной понять это как своего, рода очистительную жертву и как вынужденную, вызванную тайной неуверенностью попытку сделать однажды противоположное тому, в чем считаешь себя убежденным; и поскольку во всякой непоследовательности она чувствовала что-то родное, эта ситуация, в которую она сама поставила себя, на миг почудилась ей каким-то таинственным, безотчетно-дочерним повторением. Но и этот второй, добровольно форсированный благочестивый трепет скоро прошел; и похоже было, что, когда ее отдали под слишком душеспасительный присмотр, она раз навсегда утратила способность находить в вере якорную стоянку для своих волнующих ощущений. Ибо стоило ей только снова осмотреть свое окружение, как она вдруг почувствовала — почувствовала с жестокой чуткостью молодых к дистанции, которая существует между бесконечностью учения и конечностью учителя и даже соблазняет судить по слуге о хозяине, — что не может удержаться от смеха при виде дома, где она сидела в добровольном плену и чего-то ждала.

Однако она невольно вонзила ногти в дерево кресла, ибо стыдилась нерешительности. И больше всего ей хотелось сейчас как можно скорее и сразу швырнуть в лицо дерзнувшему утешать незнакомцу, если бы он соблаговолил наконец появиться, все, что ее угнетало. Скверную операцию с завещанием — совершенно непростительную, если подумать об этом без упрямства. Письма Хагауэра, отвратительно, как плохое зеркало, искажающие ее облик, хотя полностью отрицать сходство она не может. И еще, пожалуй, то, что она хотела уничтожить этого человека, но все-таки не убить по-настоящему, и что она хоть и вышла когда-то за него замуж, но

тоже не по-настоящему, а в слепоте презрения к себе самой. В жизни ее были одни только необычные половинчатости, но тогда, в конце концов, следовало бы, все объединяя, сказать и о том, что маячило между Ульрихом и ею, а такого предательства она ведь никак не могла совершить! Она чувствовала злость, как ребенок, всегда донимаемый слишком трудными задачами. Почему свет, который она иногда видела, каждый раз тут же угасал, как качающийся среди темного простора фонарь, чьи лучи то проглатывает, то выпускает на волю мрак?! У нее не было уже никакой решимости, и вдобавок она вспомнила, как Ульрих сказал однажды, что тот, кто ищет этот свет, должен преодолеть бездну, где нет ни дна, ни моста. Значит, он сам в глубине души не верил в возможность того, чего они вместе искали? Так она думала, и хотя она не осмеливалась усомниться по-настоящему, она все же была глубоко потрясена. Никто, значит, не мог ей помочь, кроме как сама бездна! Эта бездна была богом — ах, что она знала! С отвращением, презрительно осматривала она мостики, надеявшиеся переправить туда, смиренность комнаты, благочестиво развешанные по стенам картинки, все, что симулировало интимные отношения с ним. Она была одинаково близка и к тому, чтобы смириться самой, и к тому, чтобы в ужасе отвернуться. И больше всего ей хотелось, пожалуй, еще раз убежать; но, вспомнив, что она все время убегает, она еще раз подумала об Ульрихе и показалась себе «страшной трусихой». Молчание дома было ведь уже как безветрие перед бурей, и швырнул ее, Агату, сюда напор этого приближения. Так смотрела она на все теперь, не совсем уже без улыбки; и естественно, что тут ей вспомнилось еще кое-что из сказанного Ульрихом, ибо он однажды сказал: «Человек никогда не считает себя совершенным трусом; ведь, испугавшись чего-нибудь, он убегает от этого как раз на такое расстояние, при котором он снова кажется себе героем!» Вот она и сидела здесь!

Важный разговор

В этот миг вошел Линднер, собираясь сказать столько же, сколько его гостя; но все вышло иначе, когда они оказались друг перед другом. Агата сейчас же перешла в наступление словами, которые, к ее удивлению, вышли куда более обыкновенными, чем то соответствовало бы их предыстории.

— Вы, наверно, помните, что я просила вас кое-что объяснить мне, — начала она. — Вот я и пришла. Я хорошо помню, что вы сказали против моего развода. Может быть, я поняла это потом даже лучше!

Они сидели за большим круглым столом, и разделяла их вся длина его диаметра. По сравнению с последними мгновениями своего одиночества Агата после появления Линднера почувствовала себя сперва тонущей, но затем обретшей под ногами твердую почву; стоя на ней, она бросила слово «развод» как приманку, хотя ей было и правда любопытно узнать мнение Линднера.

И он действительно ответил почти в тот же миг:

— Я прекрасно понимаю, почему вы требуете от меня этого объяснения. Вам всю жизнь нашептывали, что вера в сверхчеловеческое и вытекающая из нее покорность заповедям принадлежит средневековью! Вы узнали, что наука покончила с такими сказками! Но уверены ли вы в том, что так оно и есть?!

Агата, к своему удивлению, заметила, что чуть ли не на каждом третьем слове губы его атакующе выпячивались под жидкой растительностью. Она не ответила.

— Задумывались ли вы об этом? — строго продолжал Линднер. — Знаете ли вы поистине тьму вопросов, которые с этим связаны? Я вижу: вы их не знаете! Но вы отмахиваетесь от этого великолепным жестом, даже не зная, наверно, что действуете просто по нашептыванию чужой воли!

Он полез на рожон. Осталось неясным, каких нашептывателей имел он в виду. Он чувствовал, что его понесло. Его речь была длинным туннелем, который он прорыл в горе, чтобы по ту ее сторону обрушиться на представление «ложь вольнодумцев», красовавшееся там в хвастливом свете. Он не имел в виду ни Ульриха, ни Хагауэра, но он имел в виду обоих, он имел в виду всех.

— И даже если бы вы задумались, — он восклицал это, смело

повышая голос, — и были убеждены этими лжеучениями в том, что тело — всего лишь система мертвых частиц, душа — игра гормонов, общество — куча механико-экономических законов; и даже если бы это было правильно, до чего куда как далеко, — то я не признал бы за такими мыслями знания истины жизни! Ведь у того, что зовется наукой, нет никаких полномочий объяснять своими внешними методами то, что живет в человеке как внутренняя, духовная уверенность. Истина жизни — это знание, не имеющее начала, и факты истинной жизни передаются не доказательством: кто живет и страдает, тот носит их в себе как таинственную власть высших запросов и как живое истолкование себя самого!

Линднер встал. Глаза его сверкали, как два проповедника на возвышении, образованном его длинными ногами. Он взирал сверху вниз на Агату с властными чувствами. «Почему он сразу так много говорит? — подумала она. — И что у него против Ульриха? Он же едва знаком с ним, а говорит явно против него!» Тут женский опыт в вызывании чувств быстрее, чем то сделало бы размышление, вселил в нее уверенность, что Линднер говорит так лишь потому, что он смешным образом ревнует. Она посмотрела на него снизу вверх с обворожительной улыбкой. Высокий, тонкий и вооруженный, он стоял перед нею и казался ей гигантским воинственным кузнечиком какой-то древней эры. «Господи, — думала она, — сейчас я опять скажу что-нибудь, что его рассердит, и он опять напустится на меня; где я?! какую игру я веду?!» Ее смущало то, что, хотя Линднер вызывал у нее смех, она никак не могла отделаться от иных его слов, таких, как «знание, не имеющее начала» или «живое истолкование» — слов таких диких ныне, но втайне знакомых ей, как будто она сама всегда употребляла их, не помня, однако, что когда-либо слыхала их прежде. Она подумала: «Это ужасно, но отдельные свои слова он уже оставил у меня в сердце, как детей!»

Линднер заметил, что произвел на нее впечатление, и удовлетворенность этим немного смягчила его. Он видел перед собой молодую женщину, в которой, казалось, подозрительно чередовались волнение и напускное равнодушие, даже лихость; а поскольку он мнил себя большим знатоком женской души, он не смутился от этого, зная, что красивые женщины чрезвычайно подвержены соблазну гордыни и тщеславия. Он вообще редко смотрел на красивое лицо без доли сочувствия. Наделенные им люди были, по его убеждению, почти всегда мучениками своей блестящей наружности, которая совращает их, толкает к спеси и неотделимым от нее сердечной холодности и любви к показному.

Но бывает все-таки, что за красивым лицом таится душа, и сколько неуверенности скрывалось порой за надменностью, сколько отчаяния — под маской легкомыслия! Часто это даже люди особого благородства, которым просто недостает помощи правильных и непоколебимых убеждений. И постепенно Линднера опять целиком захватила мысль, что человек благополучный должен проникнуться настроением человека обездоленного; и когда он так и сделал, он увидел, что в форме лица и тела Агаты есть то прелестное спокойствие, которое свойственно только великому и благородному, а колено ее в складках одежды показалось ему даже коленом Ниобы. Его удивило, что у него возникла именно эта аналогия, но тут, по-видимому, благородство его нравственной боли автоматически связалось с подозрительным представлением о множестве детей, ибо он чувствовал, что его влечение не меньше, чем его страх. Он заметил теперь и ее грудь, дышавшую быстрыми, маленькими волнами. Ему стало жутко, и, не приди ему снова на помощь его жизненный опыт, он почувствовал бы даже растерянность; но в самый щекотливый момент его опыт подсказал ему, что в этой груди заключено что-то невысказанное и, судя по всему, что он знал, тайна эта связана с уходом от его коллеги Хагауэра; и это спасло его от постыдного сумасбродства, сразу предоставив ему возможность пожелать обнажения этой тайны вместо обнажения этой груди. Он пожелал этого изо всех сил, и соединение греха с рыцарским умерщвлением дракона греха предстало ему в пылающих красках, подобных тем, что светились на цветном стеклышке в его кабинете.

Агата прервала эти мысли вопросом, который задала ему спокойно, даже сдержанно, после того как снова взяла себя в руки.

— Вы сказали, что я действую по чьему-то наущению, подчиняюсь какому-то чужому влиянию. Что вы имели в виду?

Линднер смущенно поднял взгляд, покоившийся на ее сердце, к ее глазам. Этого еще никогда не случалось с ним: он не помнил, что он сказал под конец. Он видел в этой молодой женщине жертву свободомыслия, которое сбивает с толку эпоху, и за радостью победы забыл об этом.

Агата повторила вопрос с небольшим изменением:

— Я поведала вам, что хочу развестись с профессором Хагауэром, а вы ответили мне, что я действую по чьему-то наущению. Мне могло бы быть полезно узнать, что вы под этим подразумеваете. Повторяю вам, что ни одна из обычных причин не подходит вполне. Даже антипатия не была непреодолима по общепринятым меркам. Я просто пришла к убеждению, что ее не следует преодолевать, а надо безмерно увеличить!

— Кто убедил вас в этом?

— Этот-то вопрос вы и должны помочь мне разрешить.

Она снова взглянула на него с мягкой улыбкой, которая обладала, так сказать, ужасно глубоким вырезом и обнажала внутреннюю грудь так, словно ее прикрывал лишь черный кружевной платок.

Линднер непроизвольно защитил от этого глаза движением руки, сделавшей вид, что она поправляет очки. Правда состояла в том, что храбрость в его мировоззрении, как и в чувствах, демонстрируемых им Агате, играла ту же трусливую роль. Он был из тех, кто понял, что смирению легче одержать победу, если оно сперва пристукнет гордыню, а ученая его натура заставляла его пуще любой другой гордыни бояться гордыни свободной науки, которая упрекает веру в том, что она ненаучна. Если бы ему сказали, что святые с молитвенно поднятыми пустыми руками устарели и что ныне их следует изображать с саблями, пистолетами или еще более новыми орудиями в кулаке, это его, пожалуй, и возмутило бы, но он не хотел, чтобы оружие, имеющееся у знания, было запретно для веры. Это было почти целиком ошибкой, но не он один ее совершал: потому-то он и обрушился на Агату словами, которые заслуживали бы почетного места в его публикациях, — да и, наверно, занимали его там, — но были неуместны по отношению к доверившейся ему женщине. Видя, в какой скромной задумчивости сидит перед ним посланец враждебных ему сторон мира, отданный в его руки доброй или демонической судьбой, он сам это чувствовал и не знал, что ответить.

— Ах! — сказал он как можно отвлеченнее и пренебрежительнее и случайно попал почти в самую точку. — Я имел в виду господствующий ныне дух, который заставляет молодых опасаться, что они покажутся глупцами, даже невеждами, если не будут разделять всех современных суеверий. Откуда мне знать, какие модные лозунги у вас на уме — самовыражение?! Согласие с жизнью?! Культура личности?! Свобода мысли или искусства?! Во всяком случае все, кроме велений вечной и простой нравственности.

Удачное усиление «глупцами, даже невеждами» обрадовало его своей тонкостью и восстановило его боевой дух.

— Вы, наверно, удивляетесь, — продолжал он, — что в разговоре с вами я придаю большое значение науке, не зная, занимались ли вы ею хоть сколько-нибудь...

— Нисколько! — прервала его Агата. — Я невежественная женщина.

Она подчеркнула это с видимым удовольствием, в котором была, может быть, какая-то напускная неблагочестивость.

— Но это ваша среда! — настойчиво уточнил Линднер. — И свобода

ли нравов или свобода науки — в том и другом находит выражение одно и то же освободившийся от морали дух!

Агате и эти слова показались скучными теньями, падавшими как бы от чего-то более темного, находившегося неподалеку от них. Она не собиралась скрывать свое разочарование, но показала его со смехом:

— Вы недавно посоветовали мне не думать о себе, а сами говорите все обо мне, — насмешливо возразила она Линднеру.

Тот повторил:

— Вы боитесь показаться себе несовременной!

В глазах Агаты мелькнуло раздражение.

— Просто поразительно, до чего не подходит ко мне то, что вы говорите!

— А я говорю вам: «За вас дорого заплачено, не становитесь рабами людей!»

Эта интонация, не вязавшаяся со всем его обликом, как тяжелый цветок с хилым стеблем, развеселила Агату. Она спросила настойчиво, чуть ли не грубо:

— Так что же мне делать? Я жду от вас определенного ответа.

Линднер проглотил комок в горле и потемнел от серьезности.

— Делайте то, что вы обязаны делать!

— Я не знаю, что я обязана делать!

— Тогда вам надо поискать себе обязанностей!

— Но я ведь не знаю, что такое обязанности!

Линднер язвительно усмехнулся.

— Вот вам и свобода личности! — воскликнул он. — Сплошной обман! Вы же видите по себе: когда человек свободен, он несчастен! Когда человек свободен, он призрак! — прибавил он, еще чуть повысив от смущения голос. Затем снова понизил его и заключил убежденно: — Обязанность, долг — это то, что возвысило человечество над собственными его слабостями верным самопознанием. Обязанность, долг — это одна и та же истина, которую признавали все великие люди или на которую они интуитивно указывали. Обязанность, долг — это плод многовекового опыта и результат ясновидения одаренных. Но обязанность, долг — это и то, что в тайной глубине души хорошо знает и самый простой человек, если только он искренен!

— Это была песнь при дрожавших свечах, — с похвалой констатировала Агата.

Неприятно было, что и Линднер чувствовал, что пропел фальшиво. Ему следовало сказать что-то другое, но он не решался определить, в чем

тут отступление от подлинного голоса его сердца. Он позволил себе только мысль, что это юное существо должно быть глубоко разочаровано мужем, если оно так дерзко и ожесточенно злится на себя, и что, несмотря на все осуждение, которое оно вызывает, оно достойно более сильного мужа; но ему показалось, что за этой мыслью вот-вот последует другая, еще куда более опасная. Агата между тем медленно и очень решительно качала головой; и с той невольной твердостью, с какой один взволнованный человек позволяет другому подбить себя на то, что доводит щекотливую ситуацию до полного взрыва, она продолжила:

— Но мы говорим о моем разводе! И почему вы сегодня уже не упоминаете о боге? Почему не скажете мне просто: «Бог велит, чтобы вы остались с профессором Хагауэром»? Я-то ведь не могу представить себе, чтобы он мог такое приказывать!

Линднер недовольно пожал своими высокими плечами; поднимая их, он, казалось, и сам устремлялся ввысь.

— Я никогда не говорил с вами об этом, просто вы сами делали такие попытки! — резко возразил он. — А что касается прочего, то пожалуйста не думайте, что бог печется о маленьких эгоистических распрях нашего чувства! На то есть закон, которому мы должны подчиняться! Или вам кажется это недостаточно героическим, поскольку человеку нужно сегодня во всем «личное»? Ну, так я противопоставлю вашим претензиям более высокий героизм — героическую покорность!

Каждое его слово говорило значительно больше, чем то вправе был позволить себе мирянин, даже лишь в мыслях; Агате снова оставалось только улыбаться в ответ на столь грубый сарказм, если она не хотела встать и уйти, и она делала это с такой естественностью и уверенностью, что Линднер раздражался и терялся все больше. Он видел, как его мысли тревожно роятся, непрестанно усиливая жгучий хмель, который отнимал у него рассудительность и ослаблял его волю сломить строптивый ум и, может быть, спасти оказавшуюся перед ним душу.

— Наш долг мучителен! — воскликнул он. — Наш долг может быть отвратительным и тошнотворным! Только не думайте, что я хочу быть адвокатом вашего супруга и стою на его стороне по своей природе. Но вы должны подчиняться закону, потому что это единственное, что дарует нам прочный мир и защищает нас от нас же!

Теперь Агата высмеяла его; она угадала, какое оружие давали ей импульсы, исходившие от ее развода, и повернула нож в ране.

— Во всем этом я мало что понимаю, — сказала она. — Но можно мне откровенно поделиться с вами одним впечатлением? Когда вы злитесь, вы

делаетесь немного скабрезным!

— Ах, перестаньте! — возмутился Линднер. Он отшатнулся с одним лишь желанием не допускать такого ни в коем случае. Он протестующе поднял голос, заклиная сидевший перед ним греховный призрак. — Дух не смеет подчиняться плоти и ее чарам и страхам! Даже в форме отвращения! И знайте: даже если обуздание плотской досады, которого, видимо, потребовала от вас школа брака, мучительно, все равно вы не должны убегать от него. Ибо в человеке живет потребность в освобождении, и мы так же не должны быть рабами отвращения нашей плоти, как не должны быть рабами ее любострастия. Ведь это вы, конечно, хотите услышать, иначе вы не пришли бы ко мне! — заключил он столь же величественно, сколь и злобно.

Он стоял перед Агатой, вытянувшись во весь рост, волоски бороды и усов шевелились у его губ. Он никогда не говорил таких слов ни одной женщине, кроме своей умершей жены, но тогда чувства его были другие. Ибо теперь к ним примешивалось сладострастие, словно он, замахиваясь бичом, наказывал земной шар, и в то же время они были боязливы, словно его, как сорванную шляпу, вихрем понесла ввысь эта проповедь покаяния.

— Сейчас вы опять говорили странно! — бесстрастно заметила Агата с намерением сбить с него наглость несколькими сухими словами; но потом она вообразила, с какой высоты предстоит ему упасть, и предпочла кротко смириться: она умолкла и продолжила голосом, который как бы стал глухим от раскаяния:

— Я пришла просто потому, что хотела, чтобы вы мною руководили.

Линднер растерянно и усердно продолжал размахивать словесным бичом; он подозревал, что Агата нарочно сбивает его с толку, но не находил в себе силы повернуть назад и положился на будущее.

— Быть на всю жизнь привязанным к человеку без физического влечения к нему — это, конечно, тяжкое наказание! — воскликнул он. — Но разве именно в том случае, когда партнер у нас недостойный, мы не навлекли на себя это наказание тем, что были недостаточно внимательны к знакам внутренней жизни?! Многие женщины бывают ослеплены внешними обстоятельствами, и кто знает, не наказывают ли нас для того, чтобы растормозить нас! Голос у него вдруг сорвался. Агата, слушая его, кивала головой в знак согласия; но представить себе Хагауэра ослепительным соблазнителем было выше ее сил, и ее милые глаза это выдали. Линднер, предельно растерявшись, заверещал фистулой:

— Ибо кто жалеет розог, ненавидит дитя, а кто его любит, тот и наказывает!

Соппротивление его жертвы окончательно превратило теперь стоявшего на твердой почве философа жизни в певца наказаний и волнующих обстоятельств, которыми они сопровождаются. Он был опьянен неведомым ему ощущением, рожденным тесной связью его моральных уколов гостье с возбуждением всей его мужественности, ощущением, которое символически, как он сам теперь понимал, можно было назвать сладострастным.

Но «наглая завоевательница», хотя ей пора уже было наконец предаться отчаянию и отбросить тщеславие женской своей красоты, деловито отозвалась и на его угрозы розгой, тихо спросив:

— Кто наказывает меня? Кого вы имеете в виду?

А это нельзя было высказать! Линднер вдруг потерял отвагу. Между волосами у него выступил пот. Невозможно было назвать в такой связи имя бога. Его взгляд, направленный вперед, как двузубец, медленно отошел от Агаты. Агата это почувствовала. «У него, значит, тоже язык не поворачивается!» — подумала она. Ей доставило бы безумное удовольствие дергать этого человека до тех пор, пока у него не сорвалось бы с языка то, чего он не хотел выдать ей. Но на сей раз было достаточно; разговор дошел до крайней границы. Агата поняла, что это была пылающая и прозрачная от пылания отговорка, чтобы не сказать решающего. Впрочем, и Линднер знал теперь, что все, что он говорил, да и все, что его волновало, да и само преувеличение, шло только от боязни преувеличений, самым развязным из которых было, на его взгляд, приблизиться к тому, что должно оставаться скрытым за высокими словами, с нескромными инструментами эмоций и чувств, на что явно толкала его эта «преувлеченная» молодая женщина. Он назвал это теперь про себя «оскорблением скромности веры». Ибо за эти мгновения кровь у Линднера отхлынула от головы и потекла своим обычным путем; он проснулся, как человек, увидевший себя голым вдали от двери своего дома, и вспомнил, что не смеет отпустить Агату без утешения и назидания. Глубоко вздохнув, он отступил от нее, погладил бороду и с укором сказал:

— У вас беспокойный характер и вы фантазерка!

— А у вас странные представления о галантности! — холодно сказала Агата, ибо ей уже расхотелось продолжать.

Между тем Линднер счел необходимым для своей реабилитации сказать еще кое-что:

— Вам следовало бы научиться в школе реальности неумолимо обуздывать свою субъективность, ибо того, кто не обладает этим умением, его фантазии быстро повергнут наземь!

Он осекся, ибо эта странная женщина все еще исторгала голос у него из груди совершенно вопреки его воле.

— Горе тому, кто порывает с обычаем, он порывает с реальностью! — прибавил он тихо.

Агата пожала плечами.

— Надеюсь увидеть вас в следующий раз у нас! — предложила она.

— На это я вынужден ответить: нет, никогда! — горячо и теперь вполне по-земному запротестовал Линднер. — Между вашим братом и мною существуют такие противоречия во взглядах на жизнь, что лучше нам избегать всяких контактов, — прибавил он в свое оправдание.

— Придется мне, значит, прилежно посещать школу реальности, — спокойно ответила Агата.

— Нет! — повторил Линднер, но при этом как-то странно, чуть ли не угрожающе, преградил ей путь, ибо она уже приготовилась уйти. — Ни в коем случае! Вы не должны ставить меня в неловкое положение перед коллегой Хагауэром, навещая меня без его ведома!

— Вы всегда так страстны, как сегодня? — насмешливо спросила Агата, вынудив его этим дать ей дорогу. Она чувствовала, что сейчас выдохлась, но вообще-то стала сильнее. Страх перед ней, которого не сумел скрыть Линднер, толкал ее к действиям, чуждым истинному ее состоянию; но если требования брата легко обескураживали ее, то этот человек вернул ей свободу распоряжаться собственной душой, как она пожелает, и ее утешало то, что она смущает его.

«Может быть, я как-то уронил свое достоинство?» — спросил себя Линднер, когда она ушла. Он напряг плечи и несколько раз прошелся по комнате. Наконец он решил продолжить общение и облек свою неловкость, очень при этом большую, в солдатские слова: «Надо обладать твердой волей, чтобы быть храбрым, несмотря ни на какую неловкость!»

Петер же, когда Агата поднялась, отшмыгнул от замочной скважины, где он не без удивления подслушивал, что напевает отец «этой дурехе».

Начало ряда удивительных событий

Вскоре после этого визита повторилось то «невозможное», что почти уже физически витало вокруг Агаты и Ульриха, и случилось это поистине без того, чтобы что-то случилось.

Они переодевались для какого-то вечернего развлечения, в доме не было никого, кроме Ульриха, чтобы помочь Агате, начали они не вовремя и потому находились уже четверть часа в ужасной спешке, когда наступила небольшая пауза. На спинках мебели и на всех плоскостях комнаты еще было разложено по частям почти все обмундирование, надеваемое на себя женщиной в таких случаях, и Агата как раз склонилась над своей ступней со всей внимательностью, какая нужна при натягивании тонкого шелкового чулка. Ульрих стоял у нее за спиной. Он видел ее голову, ее шею и эту почти голую спину; туловище склонилось над поднятым коленом немного вбок, а на шее напряженно круглили три складки, тонкие и веселые, проносясь по ясной коже, как три стрелы; прелестная телесность этой картины, возникшая из мгновенно растекшейся тишины, казалось, лишилась своей рамки и перешла в тело Ульриха так неожиданно и непосредственно, что он покинул свое место и — не совсем так безотчетно, как развеивается на ветру полотнище флага, но и без преднамеренья — подкрался на цыпочках поближе и неожиданно для нагнувшейся впился с ласковой дикостью зубами в одну из этих стрел, причем рука его обняла сестру. Затем зубы Ульриха так же осторожно отпустили укушенную; правая его рука охватила ее колено, и, прижав левой ее туловище к своему, он пружинисто выпрямился и высоко поднял ее. Агата при этом испуганно вскрикнула.

До сих пор все протекало так же озорно и шутливо, как многое прежде, и если оно и переливалось красками любви, то с робким, по сути, намерением скрыть ее более опасную необычную природу под таким веселым и хорошо знакомым нарядом. Но когда Агата, преодолев испуг, почувствовала, что не столько летит по воздуху, сколько покоится в нем, избавленная от всякой тяжести и управляемая вместо нее мягкой силой постепенно замедляющегося движения, одна из тех случайностей, над которыми никто не властен, сделала так, что она показалась себе в этом состоянии удивительно умиротворенной, прямо-таки отрешенной от всяких земных тревог; изменившим равновесие ее тела движением, которое она

никогда не смогла бы повторить, она смахнула с себя и самую последнюю шелковинку тяжести, повернулась, падая, к брату, и, продолжая как бы и в паденье подъем, упала облаком счастья ему на руки. Ульрих отнес ее, мягко прижимая ее тело к себе, через темнеющую комнату к окну и поставил рядом с собой под слабый свет вечера, который залил ее лицо, как слезы. Несмотря на силу, потребовавшуюся для этого, и на принуждение, испытанное сестрой со стороны Ульриха, то, что они сделали, казалось им странно далеким от силы и принуждения; это можно было, пожалуй, снова сравнить с удивительной пылкостью картины, которая для руки, дотрагивающейся до нее извне, есть всего лишь смешная, покрытая красками плоскость. Точно так же и у них не было на уме ничего, кроме физического процесса, заполнившего целиком их сознание, и все же наряду с природой невинной, поначалу даже грубоватой шутки, приводящей в движение все мышцы, он обладал другой природой, которая предельно нежно расслабляла все члены и в то же время опутывала их несказанной чувствительностью. Они вопросительно обняли друг друга за плечи. Братство телесной их стати передалось им так, словно они поднялись из одного корня. Они посмотрела друг другу в глаза с таким любопытством, словно ничего подобного доселе не видели. И хотя того, что, в сущности, произошло, они не смогли бы рассказать, потому что слишком горячо в этом участвовали, они все-таки, казалось им, знали, что только что вдруг оказались на миг внутри этого общего состояния, на границе которого уже так долго медлили, которое уже так часто друг другу описывали и на которое все же смотрели всегда только извне.

Если трезво проверить, — а они оба украдкой так и сделали, — то вряд ли это представляло собой нечто большее, чем восхитительный случай, и в следующий миг или, по крайней мере, с возобновлением какого-либо занятия свелось бы на нет; однако этого не произошло. Напротив, они отошли от окна, зажгли свет, принялись снова за свои дела, но вскоре от них отказались; и без всяких предварительных объяснений по этому поводу Ульрих пошел к телефону и сообщил туда, где их ждали, что они не приедут. На нем был уже вечерний костюм, но незастегнутое платье Агаты еще свисало у нее с плеча, и только теперь принялась она приводить свои волосы в надлежащий порядок. Посторонние шумы, примешивавшиеся к его голосу в аппарате, и возникающая связь с миром нисколько не отрезвили Ульриха; он сел напротив сестры, прекратившей свое занятие, и когда взгляды их встретились, ничто не было так несомненно, как то, что решение принято и любые запреты им безразличны. Однако вышло иначе. Их согласие оповещало их о себе с

каждым вздохом; это было упорно выстраданное согласие — освободиться наконец от тягости страстной тоски, — и выстраданное так сладко, что мысли об осуществлении почти отрывались от них и уже соединяли их в воображении, подобно тому как буря гонит перед волнами пелену пены; но еще большее желание велело им не двигаться, и они были не в состоянии еще раз потянуться друг к другу. Они хотели это сделать, но жесты плоти стали для них невозможны, и они чувствовали какое-то неопишное предостережение, не имевшее ничего общего с велениями пристойности. Из мира более совершенного, хотя еще смутного соединения, от которого они прежде вкусили как бы мечтательно-символически, на них дохнуло более высоким велением, повеяло более высоким предвестием, любопытством или предвиденьем.

Они помолчали в растерянности и задумчивости и, уняв свое волнение, медленно начали говорить.

Ульрих сказал бездумно, как говорят в пустоту:

— Ты луна...

Агата поняла это.

Ульрих сказал:

— Ты улетала на луну и была мне снова подарена ею...

Агата промолчала: так лунные разговоры сердце вбирает в себя целиком.

Ульрих сказал:

— Это символ. «Мы были вне себя», «мы обменялись телами, не прикасаясь друг к другу» — это тоже символы! Но что такое символ? Толика реальности с очень большой долей преувеличения. И все-таки я мог бы поклясться, что, как это ни невозможно, преувеличение было очень ничтожным, а реальность была почти уже огромна!

Он не стал говорить больше. Он подумал: «О какой реальности я говорю? Разве есть вторая?»

Если покинуть сейчас их беседу, чтобы заняться возможным сравнением, ее по меньшей мере соопределившим, то можно, пожалуй, сказать, что реальность эта была больше всего сродни фантастически измененной в лунные ночи реальности. Ведь и ее тоже не понять, если видеть в ней только повод для известной мечтательности, которой днем лучше не давать воли, — нет, чтобы судить верно, надо представить себе совершенно невероятное: что на одном участке земли все чувства действительно меняются словно по волшебству, как только он уходит от пустой хлопотливости и окупается в высокочувствительную телесность ночи! В шепоте соития света и теней не только тают и образуются заново

внешние соотношения, но и внутренние сдвигаются воедино по-новому: произнесенное слово теряет упрямый собственный смысл и приобретает соседний. Все уверения выражают лишь одно-единственное текучее событие. Ночь обнимает все противоречия своими мерцающими материнскими руками, и у груди ее ни одно слово не лживо и не правдиво, а каждое есть то несравненное рождение духа из тьмы, которое познает человек в новой мысли. Поэтому все происходящее в лунные ночи обладает природой неповторимого. Оно обладает природой усиленного. Несвоекорыстной природой щедрости и уступки. Каждое сообщение есть дележ без зависти. Каждое даяние — получение. Каждое зачатие вплетено множеством сторон в волнение ночи. Просто быть — это единственный подступ к знанию того, что происходит. Ибо «я» в эти ночи ничего не удерживает, ни сгустка владения собой, ни даже воспоминаний; усиленная самость переливается в беспредельную самоотверженность. И эти ночи полны нелепого чувства, что случится что-то небывалое, чего обедневший разум дня и представить себе не может. И не уста мечтают, а тело, от головы до ног, над теменью земли и под светом неба оно впряжено в волнение, вибрирующее между двумя светилами. И шепот со спутниками полет совершенно неведомой чувственности, это не чувственность того или иного человека, а чувственность земного, всего вообще, что хочет быть ошущенным, это открывшаяся вдруг нежность мира, которая непрестанно дотрагивается до всех наших чувств и до которой дотрагиваются наши чувства. Ульрих, правда, никогда не замечал за собой особого пристрастия к мечтанью при луне; но если обычно глотаешь жизнь без всякого чувства, то иногда много позднее ощущаешь на языке уже ставший призрачным ее вкус; и вот все, чего он не домечтал при луне, все небрежно и одиноко, пока он не узнал сестру, проведенные ночи он снова вдруг ощутил как бесконечные, залитые серебром кусты, как лунные блики в траве, как развесистые яблони, поющий мороз и позолоту на черной воде. Это были сплошь детали, не связанные друг с другом и никогда не составлявшие совокупности, но теперь они смешались, как запахи множества трав в аромате хмельного зелья. И когда он сказал это Агате, она это тоже почувствовала.

Поэтому все, что он сказал, Ульрих в конце концов подытожил утверждением:

— То, что нас в первый миг обратило друг к другу, можно, пожалуй, назвать жизнью лунных ночей!

И Агата глубоко вздохнула. Это могло означать что угодно; и означало, наверно: почему же ты не знаешь такого волшебства, чтобы нам не

разлучаться в последний миг?! Она вздохнула так естественно и откровенно, что и сама этого не заметила.

И этим опять началось движение, клонившее их друг к другу и разделявшее их. Каждое сильное волнение, вместе изведенное двумя людьми до конца, оставляет в них голую интимность изнеможения; даже спор делает это, так что уж говорить о нежности чувств, прямо-таки высасывающей мозг из костей! И, слушая, как жалуется Агата без слов, Ульрих чуть не обнял ее растроганно и восхищенно, как любовник наутро после первых бурь. Его рука уже коснулась ее плеча, все еще обнаженного, и она с улыбкой вздрогнула от этого прикосновения, но в глазах ее сразу же показался и нежеланный отвод. Станные картины возникали теперь у него в голове: Агата за решеткой. Или испуганно делающая ему знаки на все большем расстоянии, в то время как ее отрывает от него разлучная сила чужих кулаков. Затем и сам он оказался не только бессильно оставленным, но как бы и разлучающим... Может быть, то были вечные картины любовного сомнения, только истрепанные обыденщиной, а может быть, и нет. Он рад был бы поговорить об этом с ней, но Агата уже отвела от него взгляд к отворенному окну и замедленно встала. Лихорадка любви была в их телах, но тела эти не отваживались на повторение, а за окном, занавески которого были почти раздвинуты, находилось то, что отняло у них силу воображения, без которой плоть только груба или малодушна. Когда Агата сделала первые шаги в этом направлении, Ульрих, угадав ее согласие, погасил свет, чтобы видна была ночь. Луна поднялась за вершинами сосен, чернота которых с зеленоватым отливом тяжеломерно выделялась на фоне сине-золотой высоты и бледно светящейся дали. Недовольно разглядывала Агата эту глубокую, маленькую часть мира.

— Значит, всего-навсего лунная романтика?! — спросила она.

Ульрих посмотрел на нее, не отвечая. Ее светлые волосы стали в полумраке при белесости ночи огненными, ее губы были открыты тенями, ее красота была прискорбна и неотразима. Но, наверно, и он виделся ей таким же — с синими глазницами на белом лице, ибо она продолжала:

— Знаешь, на кого ты сейчас похож? На «лунного Пьеро»! Это призывает к осторожности!

Она хотела немного обидеть его — в волнении, от которого чуть не плакала. Ведь все никчемные молодые люди казались себе когда-то в бледной маске по-лунному одинокого Пьеро, напудренного до меловой белизны, с алыми, как кровь, губами, к тому же покинутого Коломбиной, которой они никогда не обладали, скорбно оригинальными; это изрядно низводило любовь к лунным ночам в область смешного. Но Ульрих, на

большую поначалу муку сестре, с готовностью согласился с ней.

— И от «Смейся, паяц!» тоже у тысяч мещан, когда они слышали эту арию, пробегал по спине озноб глубочайшего сочувствия, — заверил он ее горько. Но затем прибавил тихим шепотом: — То-то и оно, что подозрителен весь этот круг чувств! И все-таки вид у тебя сию минуту такой, что я за это отдал бы все воспоминания своей жизни!

Рука Агаты нашла руку Ульриха. Ульрих продолжал тихо и страстно:

— Наша эпоха понимает блаженство чувства просто как убажнение чувств и обесценила лунный хмель, сведя его к сентиментальной распущенности. Ей и невдомек, что он должен быть либо непонятным психическим недугом, либо фрагментом другой жизни!

У этих слов — именно потому, что она, возможно, преувеличивали — была вера и были тем самым крылья авантюры.

— Спокойной ночи! — неожиданно сказала Агата и взяла их с собой. Она высвободилась и задернула занавеску так поспешно, что картина, где они стояли на лунном свете, исчезла одним махом; и прежде, чем Ульрих зажег свет, Агате удалось выбраться из комнаты.

Ульрих дал ей для этого предостаточно времени.

— Сегодня ты будешь спать так нетерпеливо, как перед выходом на большую экскурсию, — крикнул он ей вдогонку.

— Так я и сделаю! — раздалось в ответ под хлопанье двери.

Когда они наутро снова увиделись, издали было сперва такое впечатление, словно ты в обычном жилище наткнулся на необычную картину, даже такое, словно ты среди вольной природы видишь значительное произведение искусства; тут неожиданно перед тобой возникает в чувственной реальности остров смысла, возвышение и уплотнение духа над жидкой низменностью бытия! Но когда они потом подошли друг к другу, они были смущены, и от прошедшей ночи в их взглядах оставалась только усталость, затемнявшая эти взгляды нежным теплом. Кто знает, вызывала ли бы, впрочем, любовь такое же восхищение, если бы она не утомляла! Когда они заметили отголоски вчерашнего волнения, это снова осчастливило их; так влюбленные гордятся тем, что чуть не умерли от наслаждения. Однако радость, которую они доставили друг другу, была не только таким чувством, она волновала еще и глаза: представшие им краски и формы были размытыми и расплывчатыми, и все же они резко выделялись, как букет цветов, плывущий по темной воде. Они очерчивались настойчивее обычного, но так, что нельзя было сказать, вызвано ли это ясностью зримого или его более глубокой взволнованностью. Впечатление это в такой же мере относилось к четкой области восприятия и внимания, как и к смутной области чувства; от этого-то оно и пребывало между внутренним миром и внешним, как пребывает между вдохом и выдохом задержанное дыхание, и нелегко было, что как-то странно не вязалось с силой этого впечатления, различить, принадлежит ли оно сфере физики или обязано своим возникновением лишь повышенной внутренней заинтересованности. Они оба вовсе и не хотели различать это, ибо их сдерживала какая-то стыдливость рассудка; и впоследствии она тоже долгое время заставляла их держаться на расстоянии друг от друга, хотя их чувствительность упрочилась и, пожалуй, могла навести на мысль, что границы и между ними самими, и между ними и миром немного сместились. Снова настала летняя погода, и они много времени проводили на воздухе: в саду цвели цветы и кусты. Когда Ульрих смотрел на какой-нибудь цветок — что отнюдь не было старой привычкой нетерпеливого некогда человека, он теперь порой не видел конца созерцанию, да и начала его, в общем-то, тоже. Если он случайно знал название цветка, это было спасением в мире бесконечности. Тогда золотые звездочки на голом стебле

означали «лютик», а те ранние листики и кисти были «сиренью». Если же он названия не знал, он призывал садовника, ибо тогда этот старик называл какое-нибудь незнакомое слово, и все снова приходило в порядок, и древнее волшебство, состоящее в том, что обладание верным именем защищает от необузданной дикости вещей, являло свою успокаивающую силу. как десятки тысяч лет назад. Но случалось и так, что Ульрих оказывался перед такой веточкой или лепестком один на один, без помощников, и даже Агаты поблизости не было, чтобы разделить с ней неведение. Тогда ему вдруг казалось совершенно невозможным понять светло-зеленость молодого листка, и таинственно ограниченное богатство формы чашечки лепестков становилось ничем не прерываемым кругом бесконечного разнообразия. К тому же такой человек, как он, если он не обманывал себя, что было недопустимо хотя бы ради Агаты, вряд ли мог верить в стыдливое свидание с природой, свидание, шепот, быстрые взгляды, благочестие и немая музыка которого — это скорее привилегия особой простоты, воображающей, стоит лишь ей положить голову в траву, что ее щекочет в шею сам бог, хотя в будни она ничего не имеет против того, чтобы природой занималась зеленая торговля. Ульрих испытывал отвращение к этой расхожей, дешевой мистике, которая в основе своей постоянной экзальтированности донельзя беспутна, и предпочитал бессильные попытки обозначить словами какую-нибудь до осязаемости отчетливую краску или описать одну из тех форм, что сами так бездумно и убедительно за себя говорили. Ибо в таком состоянии слово не режет, и плод остается на ветке, хотя уже кажется, что он у тебя во рту; это, пожалуй, первая тайна светлой, как день, мистики. И Ульрих старался объяснить это сестре, хотя и с той скрытой целью, чтобы это не исчезло в один прекрасный день, как мираж.

Но благодаря этому после страстного состояния утверждалось понемногу состояние более спокойного, порой даже чуть ли не рассеянного разговора, которое служило им заслоном друг от друга, хотя они и видели этот заслон насквозь. Они лежали обычно в саду на двух шезлонгах, каковые всегда носили вслед за солнцем; это весеннее солнце в миллионный раз озаряло ежегодно творимые им чудеса; и Ульрих говорил многое из того, что приходило ему в голову и осторожно там закруглялось, как луна, которая была теперь совсем бледной и грязноватой, или как мыльный пузырь. Так и случилось, причем довольно скоро, что он заговорил о той досадной и часто проклинаемой нелепости, что всякое понимание предполагает известную поверхностность, тягу к поверхности, что, кстати, находит выражение в словах «схватывать», «улавливать» и

связано с тем, что первоначальные сведения были ведь поняты не порознь, а одно в сцеплении с другим и потому неизбежно соединены больше на периферии, чем в глубине. Затем он продолжал:

— Если, значит, я утверждаю, что этот газон перед нами зеленый, то звучит это очень определенно, но сказал я не так уж много. Право, не больше, чем если бы сообщил тебе о каком-нибудь прохожем, что он из семьи Грюнов.^[5] А сколько, бог ты мой, Грюнов на свете! Уж лучше мне удовлетвориться замечанием, что этот зеленый газон зелен по-газонному или даже что он зелен, как газон, недавно политый небольшим дождиком... — Он лениво прищурился, глядя на молодую, освещенную солнцем траву, и сказал: — Ты, наверно, и правда так это описала бы, ибо ткани приучили тебя к наглядным определениям. Я же, пожалуй, мог бы и измерить цвет: длина его волны приблизительно пятьсот сорок миллионных миллиметра. И тогда этот зеленый цвет оказывается вроде бы пойманным и пригвожденным к определенной точке! Но он тут же от меня ускользает, ведь посмотри — в этом цвете земли есть же и что-то материальное, вообще не поддающееся цветовым определениям, потому что оно иное, чем тот же зеленый цвет шелка или шерсти. И мы снова возвращаемся к глубокому открытию, что зеленая трава зелена не как-нибудь, а по-травяному!

Агата, которую призвали в свидетели, нашла очень понятным, что понять ничего нельзя, и ответила:

— Я советую тебе посмотреть как-нибудь ночью на зеркало: оно темное, оно черное, ты вообще почти ничего не видишь. И все-таки это «ничего» есть совершенно явно что-то иное, чем «ничего» остальной темноты. Ты угадываешь стекло, удвоение глубины, какую-то еще оставшуюся способность мерцать — и все-таки ты совершенно ничего не обнаруживаешь!

Ульрих посмеялся над готовностью сестры так сразу и погубить репутацию знания; он отнюдь не считал, что понятия ничего не стоят, и отлично знал, на что они способны, даже когда делал вид, что это не совсем так. Подчеркнуть он хотел неуловимость отдельных ощущений, которые по понятной причине приходится испытывать в одиночку, даже будучи вдвоем. Он повторил:

— Ведь «я» никогда не воспринимает свои впечатления и порождения по отдельности, а всегда в связях, в реальном или выдуманном, сходном или несходном соответствии с другим. Поэтому все, что имеет название, примыкает друг к другу разными сторонами и точками, как звенья больших и необозримых совокупностей, одно опирается на другое и находится под

общим с ним напряжением. Но поэтому же, — продолжил он вдруг иначе, — если связи эти по какому-либо поводу перестают действовать и ни одна внутренняя цепь не срабатывает, то опять-таки сразу оказываешься перед неопикуемой и бесчеловечной, даже перед ниспровергнутой и превращенной в хаос вселенной!

Так возвратились они снова к своей исходной точке, но Агата почувствовала сверх того темную вселенную, бездну мироздания, бога, который должен был ей помочь!

Брат сказал:

— Понимание уступает место неизбывному удивлению, и малейшее впечатление — вот эта травинка или мягкие звуки, когда твои губы вон там произносят какое-нибудь слово, — становится ни с чем не сравнимым, одиноким, как мир, обретаёт неисчерпаемую эгоистичность и глубоко одурманивает!..

Он умолк, нерешительно покрутил в руке стебелек и обрадованно услышал, как Агата, с виду столь же беспечно, сколь и поверхностно, восстановила вещественность разговора. Ибо теперь она ответила:

— Если бы было суше, я улеглась бы на траву! Давай уедем! Так хочется полежать на лугу, скромно вернувшись к природе, как выброшенный башмак!

— Но это только и значит быть уволенным от всех чувств, — возразил Ульрих. — А одному богу известно, что бы из нас вышло, если бы чувства тоже не шли косяками, все эти любви, и ненависти, и страдания, и добрые порывы, которые принадлежат как бы каждому в отдельности. Мы, наверно, лишились бы всякой способности действовать и думать, ибо наша душа создана для того, что повторяется, а не для того, что выходит из ряда вон...

Он был угнетен, полагая, что продвинулся в никуда, и, беспокойно нахмурившись, испытующе посмотрел на лицо сестры.

Но лицо Агаты было еще яснее, чем воздух, который ею окружал и играл ее волосами, когда она ответила что-то наизусть:

— «Не знаю, где я, еще ищущ себя, хочу узнать об этом, услышать весть. В родник его любви, как в море, я погружен, где ничего не видишь и ничего не осязаешь — одну лишь воду».

— Откуда это? — с любопытством спросил Ульрих и только теперь заметил, что она держит в руках книгу, взятую из его собственной библиотеки.

Агата не дала ее ему и прочла, не отвечая:

— «Я превзошел предел способностей своих, дошел до темной силы.

Я слышать стал без звука, без света видеть. Сердце мое бездонным стало, душа любви лишилась, ум форму потерял, моя природа утратила вещественность»

Тут Ульрих узнал том и улыбнулся, и только теперь Агата сказала:

— Из твоих книг. — И, закрывая том, закончила наизусть свою цитату призывом: — «Являешься ли ты самим собой иль нет? Я ничего об этом не знаю, я не сведущ в том, и я в себе несведущ. Влюблен я, но не ведаю в кого. Во мне ни верности, ни вероломства нет. Что я такое? Я сам не сведущ в своей любви. Сердце у меня полно любовью и пусто от любви же!»

Ее хорошая память вообще не любила перерабатывать свои воспоминания в понятия, а сберегала их чувственно порознь, как запоминают стихи, отчего в словах ее всегда как-то трудноописуемо участвовали душа и тело, даже если она говорила что-нибудь совсем невзначай. Ульрих вспомнил сцену перед похоронами отца, когда она прочла ему дико-прекрасные стихи Шекспира. «Как дик ее нрав по сравнению с моим! — подумал он. — Мало же позволил я себе сегодня сказать!» Он перебрали уме объяснение «светлой, как день, мистики», которое дал ей: в общем это было не больше, чем признание им возможности временно отступать от привычного и проверенного порядка в восприятии; а если смотреть на это так, то их впечатления подчинялись просто более эмоциональному закону, чем закон обычного опыта, и походили на детей из буржуазной семьи, попавших в труппу бродячих актеров. Больше он значит, сказать не осмелился, хотя пространство между ним и сестрой было уже много дней полно незавершенных событий! И постепенно он задался вопросом, нельзя ли все-таки поверить в большее, чем он позволил себе.

После столь энергичной кульминации этого диалога Агата и он снова вытянулись в своих шезлонгах, и тишина сада покрыла отзвучавшие слова. Поскольку было сказано, что Ульрих задался одним вопросом, надо, пожалуй, добавить, что многие ответы предшествуют своим вопросам, как спешащий человек развевающимся полам своего распахнутого плаща. Мысль, занимавшая Ульриха, была поразительна, и не веры она, в сущности, требовала, а вызывала, появившись, удивление и впечатление, что такую мысль, наверно, нельзя будет уже забыть, а это ввиду ее притязаний было немного неловко. Ульрих привык думать не столько безбожно, сколько освобожденно от бога, что по-научному значит предоставлять всякое возможное обращение к богу чувствам, потому что оно ведь не способствует познанию, а может только завлечь в бездорожье.

И в эту минуту он тоже нисколько не сомневался в том, что это — единственно правильное, ведь самые осязаемые достижения человеческого ума появлялись чуть ли не только с тех пор, как он стал избегать встречаться с богом. Но мысль, одолеваящая его, говорила: «Что, если именно это небожественное есть не что иное, как современный путь к богу?! У каждого времени был собственный, соответствовавший его сильнейшим умственным способностям путь к нему; так не наша ли это судьба, судьба эпохи умного и предприимчивого опыта — отвергнуть все мечты, легенды и мудреные понятия лишь потому, что, вновь обратившись к нему на вершине познания и открытия мира, мы вступим с ним в отношения начинающегося опыта?!»

У этого вывода не было никакой доказательности, Ульрих это знал; мало того, большинству он показался бы даже абсурдным, и это не беспокоило Ульриха. Собственно, он и сам не должен был приходить к нему. Научный метод — ведь он, Ульрих, совсем еще недавно находил это законным — состоит, кроме как из логики, в том, что понятия, добытые на поверхности, «опытом», погружают в глубину явлений и объясняют последние на основании первых; земное опустошают и опошляют, чтобы им овладеть, и напрашивалось возражение, что не следовало бы распространять это и на небесное. Но это возражение Ульрих теперь оспаривал: пустыня — не возражение, она всегда была родиной небесных видений; а кроме того, перспектив, которые еще не достигнуты, нельзя и предвидеть! От него ускользнуло при этом, что он находился еще в одном, может быть, противоречии с самим собой или свернул со своего направления: апостол Павел называет веру уверенным ожиданием вещей, на которые надеешься, и убежденностью в существовании вещей, которых не видишь; и противоречие этому нацеленному на хватание определению, ставшему убеждением людей образованных, принадлежало к самому сильному из того, что носил в сердце Ульрих. Вера как уменьшительная форма знания была противна его естеству, она всегда — «рассудку наперекор»; зато ему было дано видеть в «догадке по честному разумению» особое состояние и поприще для предприимчивых умов. Позднее ему еще должно было стоять немалых хлопот то, что это противоречие теперь ослабилось, но пока он ничего такого не замечал, ибо в эту минуту существовал сонм побочных мыслей, его занимавших и забавлявших.

Он перебирал примеры. Жизнь становилась все более однообразной и безличной. Во все удовольствия, волнения, разновидности отдыха, даже в страсти, проникало что-то типическое, механическое, статистическое, серийное. Воля к жизни стала широкой и плоской, как медлящая перед

устьем река. Воля к искусству стала уже чуть ли не подозрительна себе самой. Похоже было, что время начинает обесценивать индивидуум, не будучи в силах возместить эту потерю новыми коллективными свершениями. Это было лицо времени. И это лицо, которое так трудно было понять, которое он когда-то любил и пытался поэтически претворить в kloчущий кратер гремящего вулкана, потому что чувствовал себя молодым, как тысячи других, и от которого он, как эти тысячи, отвернулся, потому что не справился с безобразным до ужаса зрелищем, — лицо это преобразилось, стало спокойным, лукаво-прекрасным и светящимся изнутри благодаря одной-единственной мысли! А что, если обесценивает мир не кто иной, как сам бог? Разве мир тогда снова не обретает смысла и радости? И разве бог не должен был бы уже обесценить его, если бы приблизился к нему хоть на шаг? И разве не было бы уже единственным настоящим приключением увидеть хотя бы проблеск этого?! Мысли эти обладали неразумной последовательностью череды приключений и были такими чужими в голове Ульриха, что ему казалось, будто он видит сон. Время от времени он осторожно поглядывал на сестру, словно боясь, что она заметит, что он вытворяет, и несколько раз видел при этом ее светлорусую голову как свет на свету перед небом, и воздух, игравший в ее волосах, играл, казалось ему тогда, и с облаками.

Когда это происходило, она тоже приподнималась и удивленно оглядывалась. Она пыталась тогда представить себе, каково это — быть избавленной от всех чувств жизни. Даже пространство, — этот всегда одинаковый, бессодержательный куб, — наверно, изменилось бы, думала она. Закрывая на миг глаза и затем открывая их снова, отчего сад представлял ей девственным, словно был только что сотворен, она замечала, — и была в этом какая-то отчетливость и бесплотность видения, — что направление, связывающее ее с братом, выделено из всех других. Сад «обступал» эту линию, и хотя ни в деревьях, ни в дорожках, ни в других частях реального окружения ничего не менялось, в чем она легко могла убедиться, все соотносилось с этой связью как с осью и потому заметным образом незримо менялось. Пусть это звучало противоречиво, но она могла бы с таким же правом сказать, что мир там сладостнее, а может быть, и горестнее; самое любопытное, что казалось, будто видишь это воочию. Кроме того, было что-то необычное в том, что все окружающие предметы представляли до жути покинутыми, но и восхитительно до жути одушевленными, они, казалось, нежно умирали или находились в страстном обмороке, словно их только что покинуло что-то безымянное, придававшее им прямо-таки человеческую чувственность и

чувствительность. И подобное тому, что произошло с ощущением пространства, произошло с чувством времени; этот конвейер, этот эскалатор с его жуткой причастностью к смерти в иные мгновенья, казалось, останавливался, а в иные — без связи тек снова. На какой-нибудь один внешний миг оно, время, вдруг исчезало внутренне, и не было никаких признаков того, прекращалось ли оно на час или на минуту. Один раз Ульрих застиг сестру за этими опытами и, видимо, что-то из них угадал, ибо сказал тихо и с улыбкой:

— Есть прорицание, что для богов тысячелетие не дольше, чем моргнуть глазом!

Затем они снова откинулись назад, слушая дальше мечтательные речи тишины.

Агата думала: «Все это совершил только он; и все-таки он каждый раз сомневается, когда улыбнется!» Но солнце лило свое устойчивое тепло, как снотворное, на его раскрытые губы, Агата чувствовала это по своим губам и ощущала себя единой с ним. Она попыталась перевоплотиться в него и угадать его мысли, что считалось у них, собственно, непозволительным, ибо шло извне, а не от творческого участия, и как нарушение правила требовало тем большей секретности. «Он не хочет, чтобы из этого вышла только любовная история!» — подумала она и прибавила: «Таков и мой вкус!» И сразу вслед за этим подумала: «После меня он не будет любить ни одной другой женщины, ибо это уже не любовная история; это вообще последняя любовная история, какая может быть!» И прибавила: «Мы будем, наверно, как бы последними могиканами любви!» Сейчас она была способна говорить с собой и этим тоном, ибо, совсем честно отдавая себе отчет, знала, что, конечно, и этот заколдованный сад, где она находилась с Ульрихом, больше желание, чем действительность. Она не думала в самом деле, что Тысячелетнее Царство могло уже начаться, как ни отдавало твердой почвой это однажды употребленное Ульрихом название. Она чувствовала себя даже совсем утратившей силу желать и там, где обычно возникали ее мечты — она не знала, где это, до горечи трезвой. Она помнила, что до эпохи Ульриха фантазировать ей было, в сущности, легче, сон наяву, как тот, в каком сейчас качалась ее душа, уводил ее за пределы жизни, в бодрствование после смерти, к близости бога, к силам, которые ее подхватывали, или только в соседство с жизнью, к прекращению понятий и переходу в леса и луга представлений — никогда ведь не становилось ясно, что это такое! И вот она попыталась вспомнить эти старые представления. Но пришли ей на память только гамак, натянутый между двумя огромными пальцами в раскачиваемый бесконечным терпением; затем что-то тихо

высящееся над тобой, как два высоких дерева, между которыми чувствуешь себя приподнятым и исчезнувшим; и наконец пустота, непонятным образом обладавшая осязаемым содержанием... Вот, пожалуй, и все промежуточные создания интуиции и иллюзии, в которых когда-то находила утешение ее тоска. Но были ли эти создания действительно только промежуточными и половинчатыми? К удивлению Агаты, она постепенно стала замечать что-то очень странное. «Право, — подумала она, — не даром говорят: озаряло! И чем дольше озаряет, тем ярче!» Ведь то, что она когда-то воображала, было почти во всем тем самым, что теперь спокойно и твердо стояло перед ней, как только она приказывала взглянуть глазами! Беззвучно вошло это в мир. Правда, — в отличие от того, как это ощутил бы, наверно, догматик, — бог остался далек от ее приключения, но зато она не была больше в этом приключении одна. Таковы были единственные два изменения, которыми отличалось исполнение от предвестия, и отличалось в пользу земной естественности.

В последовавшее за этим время они отдалились от своих знакомых и удивили их тем, что под предлогом своего отъезда отрезали им какой бы то ни было доступ к себе.

Большей частью они тайком находились дома, а выходя, избегали мест, где могли встретить людей одного с ними круга; они посещали, однако, увеселительные заведения и маленькие театры, где им это, по их мнению, не грозило, но вообще-то, покидая дом, обычно просто отдавались течению большого города, которые, будучи отражением его потребностей, с точностью приливов и отливов нагнетают людскую массу в одном месте и рассасывают в другом, в зависимости от времени суток. Они предавались этому занятию без определенных намерений. Им доставляло удовольствие делать то, что делали многие, и вести вместе с другими такой образ жизни, который временно снимал с них душевную ответственность за их собственный. И никогда еще город, где они жили, не казался им одновременно таким красивым и таким чужим. Дома в совокупности являли внушительную картину, даже если в чем-то или порознь красивы не были; шум тек по разреженному жарой воздуху, как поднявшаяся до крыш река; на сильном, приглушенном глубиной улиц свету у людей был более страстный и более таинственный вид, чем они того, наверно, заслуживали. Все звучало, выглядело, пахло — так незаменимо и незабываемо, словно давало понять, каким оно предстает в своей моментальности себе самому; и брат с сестрой принимали это приглашение радостно повернуться к миру.

Тем не менее происходило это не без сдержанности, ибо они ощущали сплошной разлад. То таинственное и неопределенное, что связывало их самих, хотя говорить об этом свободно они не могли, отделяло их от других людей, но та же страсть, которую они постоянно чувствовали, потому что споткнулась она не столько о запрет, сколько об обетование, оставила их и в состоянии, сходном с тяжкими перерывами в физической близости. Лишенное выхода желание откатывало назад в тело и наполняло его нежностью, такой же неопределенной, как день поздней осени или ранней весны. И хотя к каждому человеку и ко всему миру они, конечно, не испытывали таких чувств, как друг к другу, они все-таки чуяли сердцем прекрасную тень возможности этого, и сердце не могло ни целиком поверить нежной этой иллюзии, ни целиком уйти от нее, что бы ему ни

встречалось.

Это создало у добровольных близнецов впечатление, что благодаря своему ожиданию и своему аскетизму они стали чутки ко всем неизбытым симпатиям мира, но также и к пределам, которыми ограничивают всякое чувство реальности и здравомыслие; и им стала хорошо видна своеобразная двусторонность жизни, погашающая всякое великое устремление низким. Она привязывает к каждому прогрессу какой-то регресс и к каждой силе — какую-то слабость; она никому не дает права, которого бы не отняла у другого, не улаживает ни одного осложнения, не учинив нового беспорядка, и даже величие создает, кажется, лишь для того, чтобы почестями, ему причитающимися, осыпать в следующий раз пошлость. Так поистине неразрывная и, быть может, глубоко необходимая связь соединяет все смелые человеческие усилия с осуществлением их противоположности и делает жизнь — независимо от всех других противоречий и разногласий — для людей умных, или, стало быть, умных тоже только наполовину, довольно несносной, но в то же время и заставляет их искать этому объяснения.

И судили об этой связанности почетной и оборотной сторон жизни тоже очень по-разному. Благочестивые мизантропы видели в этом следствие земной бренности; сорвиголовы — самую смачную филейную часть жизни; люди средние чувствуют себя в этом противоречии так же уютно, как между своей правой и своей левой рукой; а кто думает осторожно, тот просто говорит, что мир создан не для того, чтобы соответствовать людским понятиям. На это смотрели, стало быть, как на несовершенство мира или человеческих представлений, это переносили и с детской кротостью, и с грустью, и с упрямым равнодушием, и в общем-то принимать на этот счет какие-либо решения — скорее вопрос темперамента, чем почтенная задача разума. Но если мир наверняка создан не для того, чтобы соответствовать человеческим требованиям, то человеческие понятия наверняка созданы для того, чтобы соответствовать миру, ибо такова их задача; и почему как раз в области справедливого и прекрасного они никогда этого не добиваются, остается, стало быть, странно открытым вопросом. Прогулки без цели показывали это наглядно, как книжка с картинками, и рождали разговоры, сопровождавшиеся изменчивым волнением перелистыванья.

Ни один из этих разговоров не разбирал свой предмет обстоятельно и полностью, каждый зато обращался к самым разным ассоциациям; при этом связь мыслей в целом становилась все шире, расчлененность по конкретным поводам, следовавшим один за другим, то и дело отступала

перед приливом побочных наблюдений, и тянулось это с потерями и приобретениями долго, прежде чем явственно стал виден итог.

Так Ульрих — случайно или нет, убежденно или наудачу — прежде всего допустил возможность, что предел, поставленный чувству, так же, как забегание жизни вперед и ее отставание или, по меньшей мере, ее влияние туда и сюда, — словом, ее духовная ненадежность, выполняют некую бесполезную задачу, а именно — создать и сохранить какое-то среднее состояние жизни.

Он не требовал от мира, чтобы тот был декоративным парком гения. История мира лишь на его вершинах, а вернее, может быть, на патологических наростах, есть история гения и его творений; в основном же это история среднего человека. Он — материал, с которым история работает и который вновь и вновь из нее воскресает. Может быть, это внушил миг усталости. Может быть, Ульрих просто вообще думал, что все среднее, не очень высокое, прочно и обладает наилучшими шансами на сохранение своего вида; следовало предположить, что это первейший закон жизни — сохранять себя самое, и так, наверно, оно и было. Но такое начало содержало, безусловно, и другой ракурс. Ведь пусть несомненно, что среднему человеку людская история обязана отнюдь не своими взлетами; все равно, если взять все вместе, гениальность и глупость, героизм и безволие, она есть история миллионов стимулов и противодействий, свойств, решений, установлений, страстей, знаний и заблуждений, которые он, средний человек, получает со всех сторон и раздает во все стороны. В нем и в ней смешаны одни и те же элементы; и потому она, в любом случае, представляет собой историю среднего уровня, или, в зависимости от того, как посмотреть, средний уровень миллионов историй, и даже если ей суждено вечно колебаться вокруг посредственного, что может быть в конце концов нелепее, чем обижаться на средний уровень за его средность!

А в эти мысли вторглось и воспоминание о вычислении средних величин, как их понимает теория вероятностей. С холодным, почти бесстыдным спокойствием правила вероятности начинаются уже с того, что события идут то так, то этак и могут даже обернуться своей противоположностью. Для образования и утверждения среднего уровня нужно поэтому, чтобы больших и особенных величин было гораздо меньше, чем средних, чтобы они даже почти никогда не появлялись и чтобы так же обстояло дело с несоразмерно малыми величинами. Те и другие остаются, в лучшем или худшем случае, крайними величинами, причем не только в расчетах, но и, судя по опыту, везде, где царят близкие к

случайности обстоятельства. Пусть опыт этот получен при страховании от града и составлении отчетов о смертности; но малой вероятности крайних величин явно соответствует то, что и в истории односторонние построения и абсолютное осуществление непомерных требований редко бывали прочными. И если, с одной стороны, это кажется половинчатостью, то, с другой, это довольно часто способствовало спасению человечества от предприимчивого гения не меньше, чем от охваченной жадой действия глупости. Ульрих невольно все шире распространял аспект вероятности на духовные и исторические события, а механическое понятие среднего переводил в область нравственного; и вернулся таким путем к той самой двусторонности жизни, с которой начал. Ведь границы и перемены идей и чувств, их тщетность, загадочная и обманчивая связь между их смыслом и осуществлением его противоположности — все это и подобное заключено уже как внутреннее следствие в допущении, что одно так же возможно, как другое. А допущение это и есть основной тезис, откуда черпает свое содержание теория вероятностей, и ее определение случая; тот факт, что оно определяет также и ход вещей в мире, позволяет, значит, сделать вывод, что все пошло бы лишь чуть-чуть иначе, чем идет, если бы сразу было предоставлено только случаю.

Агата спросила, не есть ли это нарочитое омрачение правды и романтический пессимизм — приравнять ход вещей к случаю.

— Вот уж нет! — воспротивился Ульрих. — Мы начали с тщетности всех смелых ожиданий, и нам она показалась какой-то коварной тайной. Но, сопоставляя ее теперь с правилами вероятности, мы объявляем эту тайну, которую, насмешливо обыгрывая знаменитый антоним, можно назвать «изначальной дисгармонией» мироздания, — крайне неприязнительной по той причине, что просто ничего не происходит с нею вразрез! Развитие предоставлено себе самому, никаких духовно регламентирующих законов ему не навязывается; оно подчинено как бы случайности; и хотя при этом не может возникнуть истинное, но, по крайней мере, вероятное становится обоснованным при этой же предпосылке! Одновременно, исходя из вероятного, мы можем объяснить себе и исключительную стабильность среднего, весьма нежелательный рост которого ощутим повсеместно. В этом нет ничего романтического и, возможно даже, ничего мрачного. Это, пожалуй, — рады мы тому или не рады, — скорее некая предприимчивая попытка!

Больше, однако, он говорить об этом не пожелал и оставил эту многообещающую затею, не выйдя за пределы введения. У него было такое чувство, что он неловко и затрудненно коснулся чего-то великого. Этим

великим была глубокая двусмысленность мира, состоящая в том, что он кажется идущим и вперед, и назад, одновременно и ошеломляет, и окрыляет; и в том, что на духовного человека он не может производить иного впечатления уже потому, что его, мира, история — это не история человека значительного, а явно история среднего человека, чей смущенный и двусмысленный лик накладывает на мир свой отпечаток. Отяжелена же была эта мысль-наитие попыткой дать знакомой природе среднего человека путем сопоставления с природой вероятности фон не вполне исследованной новизны. Основная мысль была и при этом сопоставлении как будто проста: ведь среднее есть всегда и что-то вероятное, и средний человек — это сгусток всяческой вероятности. Но, сопоставив сказанное им с тем, что об этом еще можно было бы сказать, Ульрих почти отчаялся продолжать то, что начал своим противопоставлением вероятности и истории.

Агата сказала с нарочитой нерешительностью:

— Наша домоправительница заморожена лотереей и надеется на выигрыш! Если, значит, я достойна понять тебя верно, то задача истории — оставлять все более усредненный человеческий тип и обеспечивать его жизнь, в пользу чего, вероятно, многое говорит или хотя бы нашептывает. А для этого ей, мол, проще и вернее всего подчиниться случаю, предоставив распределять и смешивать события его законам?

Ульрих кивнул головой.

— Одно вытекает из другого. Если бы у человеческой истории вообще была задача и задача заключалась в этом, то история не могла бы быть лучше, чем она есть, и странным образом достигла бы цели тем, что у нее нет цели!

Агата засмеялась.

— И поэтому ты утверждаешь, что низкий потолок, под которым мы живем, выполняет «небесполезную» задачу?

— Глубоко необходимую задачу; благоприятствует среднему уровню! — подтвердил Ульрих. — Для этой цели он заботится о том, чтобы никакое чувство и никакая воля никогда не вырастали до неба!

— Пусть бы уж лучше было наоборот! — сказала Агата. — Тогда я не устала бы слушать, пока все не узнала!

Такой разговор, как этот — о гении, среднем уровне и вероятности, казался Агате потерей времени, потому что он занимал только разум, не затрагивая души. Не совсем так смотрел на это Ульрих, хотя он был искренне недоволен тем, что сказал. Ничего там не было твердого, кроме положения: если что-либо есть игра случая, то итог показывает такое же

распределение выигрышей и проигрышей, как сама жизнь. Но из того, что вторая часть такого условного предложения правдива, отнюдь не следует, что правдива и первая! Обратимость отношения нуждается для правдоподобия в более точном сравнении, которое только и дало бы возможность перенести понятия вероятности на исторические и духовные события и противопоставить друг другу два таких разных аспекта. А охоты делать это сейчас у Ульриха не было; но чем больше он чувствовал свое упущение, тем тверже убеждался в важности затронутой задачи. Не только растущее влияние духовно нерадивых масс, из-за которого человечество становится все более средним, придавало важность любому вопросу о структуре среднего; но и по другим причинам, в том числе общего и духовного плана, основной вопрос, какова же природа вероятности, все больше, кажется, стремится занять место вопроса о природе истины, хотя первоначально был лишь подсобным средством для решения отдельных задач.

Все это можно было выразить и словами, что «вероятный человек» и «вероятная жизнь» начали мало-помалу подниматься на место «истинного» человека и «истинной» жизни, оказавшихся-де пустой фантазией и симуляцией; на что-то подобное Ульрих и намекнул прежде, сказав, что весь этот вопрос не что иное, как следствие беспечного развития. Смысл всех таких замечаний явно не был еще вполне ясен ему самому, но именно эта слабость наделяла их способностью озарять, как зарницы, широкие дали, и он знал такое множество примеров современной жизни и современного мышления, к которым они подходили, что ощущал сильную потребность превратить эмоциональное понимание их в более ясное. Необходимость продолжения была, таким образом, налицо, и он решил непременно вернуться к этому при более удобном случае.

Он улыбнулся от удивления, обнаружив, что такое намерение уже толкает его, хотя он этого не хотел, рассказать Агате о чем-то старом, что он прежде по сомнительной прихоти часто называл «миром событий все в том же роде». Это был мир тревоги без смысла, текущей, как ручей через песок без зелени; он назвал его сейчас миром «вероятного человека». С освеженным любопытством наблюдал он за человеческими потоками, берегами которых они с сестрой следовали и которые своими страстями, привычками и незнакомыми радостями отвлекали их от них самих: то был мир этих страстей и радостей, а не мир все еще влекущей возможности! Потому-то это и был мир преград, которые вводят в границы и самое разгульное чувство, мир среднего состояния жизни. Впервые не просто эмоционально, а так, словно ждешь чего-то на самом деле, он подумал о

том, что разница, не позволяющая мирскому чувству в одном случае успокоиться и свершиться, упрочиться, а в другом — обрести поступательное мирское движение, объясняется, может быть, двумя в корне различными состояниями или видами этого чувства.

Оборвав свои мысли, он сказал: «Взгляни!», и до сознания обоих дошло то, что открывалось глазам. Это было, когда они переходили одну известную и, если можно так сказать, общеуважаемую площадь. Здесь находился новый университет, эпигонская постройка в стиле барокко, перегруженная мелкими деталями; неподалеку от него находилась дорогостоящая, о двух башнях «неоготическая» церковь, похожая на удачную карнавальную шутку, а задний план, рядом с двумя невыразительными университетскими учреждениями и дворцом банка, составляло большое мрачно-убогое здание суда и тюрьмы. Быстрый и массивный экипаж пересекал эту картину, и один-единственный взгляд способен был охватить и добротность состоявшегося, и подготовку дальнейшего преуспевания, в одинаковой мере побуждая восхищаться человеческой деятельностью и отравляя дух незаметным осадком незначительности. И, не меняя по сути темы разговора, Ульрих продолжал:

— Предположи, что к власти над миром пришла шайка бандитов, у которой нет за душой ничего, кроме самых грубых инстинктов и принципов! Даже на этой дикой почве появились бы через некоторое время творения духа! А еще через какое-то время, когда дух развился бы, он уже преградил бы дорогу себе самому же! Урожай растет, а его содержание уменьшается — словно плоды приобретают вкус тени, когда все ветки полны!

Он не спросил почему. Он выбрал это сравнение, просто чтобы выразить, что, на его взгляд, большая часть того, что называется культурой, находится между состоянием шайки бандитов и праздной зрелостью, ибо если так оно и было, то это ведь извиняло и за весь разговор, на который он сбился, хотя начало положил какой-то нежный первый оттенок.

Устремленность мыслей к значительному и начинающийся разговор об этом

Если кто-нибудь говорит о двусторонности и беспорядочности человеческой натуры, это предполагает, что он считает себя способным представить себе лучшее ее устройство.

Верующий человек может так считать, а Ульрих таковым не был. Напротив: веру он подозревал в тенденции к опрометчивости, и было ли содержание этого духовного поведения земной выдумкой или неземной идеей, само оно, как способ душевного продвижения, напоминало ему потуги курицы летать. Только Агата составляла тут исключение; он утверждал, что завидует ее способности верить рьяно и опрометчиво, и ощущал женственность ее недостатка иногда почти так же физически, как одно из других половых отличий, знать о которых — ослепляющее блаженство. Он прощал ей эту неподдаваемость учету даже тогда, когда она казалась ему, в сущности, непростительной, например, в контактах с такой смешной персоной, как профессор Линднер, насчет которых сестра многое — от него скрывала. Он чувствовал рядом с собой скрытность тепла ее тела и вспоминал одно страстное утверждение, имевшее приблизительно тот смысл, что человек не бывает для самого себя красивым или безобразным, хорошим или дурным, значительным или нудным, а что достоинства его зависят всегда от того, верят ли в него или сомневаются в нем. Это было лихое замечание, полное великодушия, но и грешившее неточностью, которая допускала самые разные выводы; и тайный вопрос, не восходит ли уж оно к этому козлу набожности, к этому мужчине Линднеру, о котором он почти ничего не знал, ревниво взбаламутил водной быстрый подземный поток его мыслей. Но, думая об этом, Ульрих не смог вспомнить, было ли вообще это замечание сделано Агатой, а не им самим, и одно казалось ему столь же возможным, как и другое. Тут волна ревности растеклась нежной пеной благодаря этой нераспознаваемости во всех душевных и физических отличиях, и он мог бы теперь высказать то, в чем, собственно, состояло его предубеждение против всякой готовности верить. Верить чему-то и верить во что-то — это душевные состояния, которые, заимствуя силу у другого состояния, используют или даже расточают ее для себя; но это другое состояние было не только, как то напрашивалось прежде всего, твердым

состоянием знания, но могло быть, напротив, еще менее материальным состоянием, чем сама вера. И что именно в эту сторону ведет все, что волнует его и сестру, — это обстоятельство подбивало Ульриха высказаться; но его мысли были еще далеки от того, чтобы пуститься туда, и поэтому он не высказался, а предпочел поскорее переменить тему.

Даже ведь и гениальный человек носит, пожалуй, в себе некую меру, которая могла бы дать ему право считать, что все в мире прямо-таки необъяснимым образом движется так же назад, как и вперед; но кто гениален? Первоначально Ульрих не испытывал ни малейшей потребности думать об этом; но вопрос этот не отпускал его, он не знал почему.

— Надо отличать гениальность как видовое понятие от гениальности как личной превосходной степени, — начал он, еще не найдя подходящего выражения. — Раньше я иногда думал, что есть вообще только две существенные породы людей, которые не смешиваются, — порода гениев и порода глупцов. Но люди из породы гениев, или гениальные, еще не суть гении. Гений, которым любуются, возникает по-настоящему лишь на бирже тщеславий. В его лучах сияют зеркала окружающей глупости. Он всегда связан с чем-то, что дает ему еще и престиж, как дают его, например, деньги или награды. Как бы, значит, ни были велики его заслуги, внешность его — это, собственно, чучело гениальности...

Агата прервала его, ей было любопытно другое:

— Хорошо, а сама гениальность?

— Если из чучела вынешь солому, то, наверно, она и останется, — сказал Ульрих, но опомнился и недоверчиво прибавил. — Я так и не знаю, что гениально, и не знаю, кто бы должен был это решать!

— Сенат знатоков! — сказала Агата с улыбкой. Она знала довольно идеократические порой взгляды брата, которыми он не раз донимал ее в разговорах, и немного лицемерно напомнила ему своими словами о знаменитом, но за две тысячи лет так и не выполненном требовании философии, чтобы управление миром было доверено академии мудрейших.

Ульрих кивнул головой.

— Это известно еще со времен Платона. И если бы удалось это осуществить, то после него во главе правящего духа оказался бы, наверно, платоник, и так продолжалось бы до тех пор, пока в один прекрасный день — бог весть почему — истинными философами не сочли бы последователей Плотина. Так же обстоит дело с тем, что сегодня считается гениальным. А что сотворили бы плотиники с платониками, как не то, что делает всякая истина с заблуждением: она неумолимо уничтожает его. Бог поступил осторожно, установив, что из слона получается снова только

слон, а из кошки — кошка. А вот из философа получается сперва попугай, а затем антифилософ.

— Значит, пусть бог сам и решает, что гениально! — нетерпеливо воскликнула Агата, и с гордостью, и слегка ужасаясь этой мысли, и сознавая ее опрометчивую запальчивость.

— Боюсь, что это ему наскучит? — сказал Ульрих. — По крайней мере христианскому богу. Он падок на сердца, и ему наплевать, много ли у них разума. Впрочем, я думаю, что церковное пренебрежение к обывательской гениальности имеет и свои плюсы!

Немного подождав. Агата сказала просто:

— Прежде ты говорил иначе!

— Я мог бы ответить тебе, что языческая вера, будто все волнующие человека идеи покоились прежде в божественном уме, была, наверно, прекрасна. Но что трудно думать о божественных эманациях с тех пор, как среди того, что для вас важно, находятся такие идеи, которые называются пироксилин или пневматика, — тут же возразил Ульрих. Затем, однако, помедлил, словно с него было достаточно шутливого тона, и вдруг поведал сестре то, что она хотела узнать. Он сказал: — Я всегда, чуть ли не от природы, верил, что дух, раз ты чувствуешь в себе его силу, обязывает тебя также снискать ему авторитет в мире. Я верил, что жить стоит только значительно, и желал себе никогда не делать ничего безразличного. И то, что из этого следует для общей цивилизации, выглядит, может быть, утрированно-высокомерно, но неизбежно вот что: терпимо только гениальное, и на людей средних надо нажимать, чтобы они рождали его или соглашались с ним! Что-то из этого, в смеси со множеством прочего, составляет даже общее убеждение. Мне поэтому действительно совестно ответить тебе, что я никогда не знал, что гениально, да и теперь не знаю, хотя несколько минут назад непринужденно намекнул, что склонен приписывать это свойство не столько какому-то особому человеку, сколько какой-то человеческой разновидности.

Намерения у него были, кажется, не такие плохие, и, когда он умолк, Агата постаралась поддержать разговор.

— Разве у тебя самого не может слететь с языка упоминание о каком-нибудь гениальном акробате? — спросила она. — похоже, что сегодня понятие это обычно предполагает что-то трудное, необыкновенное и особенно удачное. — Началось это с певцов. И если тот, кто поет выше остальных, называется гениальным, то нечему бы не называться гениальным тому, кто прыгает выше! Но так можно прийти в конце концов к гениальности легавого пса. И мужчины неробкого десятка считают ее

даже более добротной, чем гениальность мужчины, который вытягивает свои голосовые связки из горла. Двойное словоупотребление тут явно мешает ясности. Кроме гениальности удачи, гениальности, которая простирается на все, так что и глупейший анекдот может быть гениальным «в своем роде», есть еще высота, достоинство и значение того, что удастся, — словом, какой-то ранг гениальности.

Веселое выражение вытеснило серьезность из глаз Ульриха, и поэтому Агата потребовала продолжения, которое он, казалось, держал про себя.

— Я вспомнил, что вопрос о гениальности я как-то обсуждал с нашим другом Штуммом, — сказал Ульрих. — И он настаивал на необходимости различать военное и штатское понятия гениальности. Чтобы ты поняла его, мне надо, пожалуй, объяснить тебе кое-что из кайзеровской и королевской военной сферы. Гениальными войсками — само словосочетание уже диковинно! — у нас принято называть, — продолжал он, — инженерные войска. Они служат для фортификационных и тому подобных работ и состоят из солдат и унтер-офицеров, а также офицеров, у которых нет особого будущего. Разве что они пройдут «высшие гениальные курсы», после чего попадут в «гениальный штаб». «Выше гения в армии находится, стало быть, гениальный штабист, — говорит Штумм фон Бордвер. А уж еще выше, конечно, только генеральный штаб, потому что это — самое умное из всего, что создано богом». Так пытался он, хотя все еще с удовольствием называет себя антимилитаристом, убедить меня в том, что надлежащее применение гения регламентированно и сохранится только в армии, а во всей штатской болтовне об этом такого порядка, увы, как раз и нет. И когда он все так передергивает, что правда видна прямо как на ладони, нам на руку следовать за его путеводной нитью.

Но то, что присовокупил к этому насчет неодинаковых понятий гениальности Ульрих, имело в виду не столько высшую ступень гения, сколько ту главную форму гениального или значительного, сомнительность которой представлялась ему более конфузной и досадной. Ему казалось, что легче судить о чем-то чрезвычайно значительном, чем о просто значительном. Первое есть только шаг за пределы того, ценность чего уже неоспорима, стало быть, нечто, основанное как-никак на более или менее традиционной системе духовных ценностей, а второе требует сделать первый шаг в неопределенное и бесконечное пространство, а это почти не дает возможности убедительно отличить значительное от незначительного. Естественно поэтому, что словоупотребление предпочитало ориентироваться на гениальность степени и удачливости, чем на гениальную ценность того, что именно удастся; но понятно также, что

возникшая привычка называть гениальной любую трудноподражаемую ловкость связана с нечистой совестью, и, разумеется, не с какой иной, чем с нечистой совестью невыполненной задачи и забытого долга. Брат и сестра посетовали на это шутливо и невзначай, но продолжили разговор серьезно.

— Яснее всего становится это, — сказал Ульрих сестре, — когда обращаешь внимание, что бывает почти только случайно, на один малозаметный внешний признак, а именно — на нашу привычку произносить слова «гений» и «гениальный» по-разному, а не так, словно второе происходит от первого.

Как то случается с каждым, кому вдруг укажут на какое-нибудь обыкновение, которое он не замечал, Агата немного удивилась.

— Я тогда, после разговора со Штуммом, заглянул в гриммовский словарь, — извинился Ульрих. — Военный термин «гений», «солдат гениальных войск», стало быть, пришел к нам, как многие военные выражения, из французского языка. Инженерное, дело называется там *le genie*; и с этим связаны *arme du genie*, *ecole du genie*, а также английское *engine*, французское *engin* и итальянское *ingegno macchina*, искусное орудие; а восходит вся эта семейка к позднелатинским *genium* и *ingenium* — словам, чье твердое «г» превратилось в дороге в мягкое «ж» и чье главное значение — «сноровка» и «умение». Это сочетание похоже на несколько старомодную формулу «искусства и ремесла», которой нас порой еще радуют сегодня какие-нибудь официальные надписи или написания. Отсюда, стало быть, идет раскисшая уже дорога и к гениальному футболисту, даже к гениальной охотничьей собаке или гениальному скакуну, но последовательно было бы произносить это «гениальный» так же, как то «гений». Ибо есть еще вторые «гений» и «гениальный», значение которых тоже налицо во всех языках и восходит не к «*genium*», а к «*genius*», к чему-то большему, чем человеческое, или по крайней мере благоговейно — к духу и душе как к самому высокому в человеке. Вряд ли нужно добавлять, что оба эти значения везде безнадежно смешались и перепутались, уже много веков назад, и в языке, и в жизни, и не только в немецком. Но в нем — что характерно — больше всего, так что это, можно сказать, особенно немецкая черта — не отделять гениальность от находчивости. К тому же в немецком языке черта эта имеет историю, которая меня в одном пункте очень волнует.

Агата слушала это растянутое объяснение, как то бывает в подобных случаях, немного доверчиво и на грани скуки, но ожидая поворота, который избавит от такой неуверенности.

— Ты не сочла бы меня занудой, если бы я предложил тебе, чтобы мы

с тобой снова отныне пользовались выражением «осененный гением»? — спросил Ульрих.

Улыбка сестры и движение ее головы невольно выдали, что ей претит этот устаревший оборот речи, к которому пристал запах старых сундуков и одежд.

— Устаревшее выражение, — признал Ульрих, — но хороший был момент, когда им пользовались! Я, как уже сказал тебе, справлялся по этому поводу. И если то, что мы находимся на улице, тебе не мешает, я еще раз взгляну, что можно сказать тебе на этот счет!

Он с улыбкой извлек из кармана листок бумаги и расшифровал несколько исписанных карандашом мест.

— Гете, — объявил он. — «Я увидел раскаяние и покаяние, доведенные до карикатуры и, поскольку всякая страсть заменяет гений, „поистине осененные гением“. В другом месте: „Ее осененное гением спокойствие часто шло мне навстречу в блестящем восторге“. Виланд: „Плод часов, осененных гением“, Гельдерлин: „Греки — все еще прекрасный, осененный гением и радостный народ“. И такой же смысл этого оборота можно найти, еще у молодого Шлейермахера. Но уже у Иммермана можно встретить „гениальное хозяйничанье“ и „гениальную безалаберность“. Вот тебе этот постыдный переход понятия в то расхоженеряшливое, которое и сегодня заключено в слове „гениальный“, употребляемом обычно в насмешку.

Он повертел листок, спрятал его в карман и еще раз извлек.

— Но предыстория и предпосылки прослеживаются и раньше, — добавил он. — Уже Кант порицает «модный той гениеобразной свободы мышления» и раздраженно говорит о «гениальничающих людях» и «гениальничающих болванах». Так злит его изрядный отрезок немецкой духовной истории, ибо и до него, и не в меньшей мере, что характерно, после него, в Германии то с энтузиазмом, то с неодобрением говорили о «натиске гениальности», «лихорадке гениальности», «буре гениальности», «прыжках гениальности», «кличах гениальности», «крике гениальности», и даже у философии не всегда были чистые ногти, и менее всего тогда, когда она считала, что может высосать у себя из пальца независимую истину.

— А как определяет Кант, что такое гений? — спросила Агата, которую с этим знаменитым именем связывало только воспоминание о том, как она слышала, что он превзошел все.

— В природе гения он выделял творческое начало и оригинальность, «оригинальный дух», благодаря чему Кант и поныне пользуется величайшим влиянием, — ответил Ульрих. — Гете позднее, правда,

опирался на него, даже описывая гениальность такими словами: «налицо у многих предметов, и самые отдаленные легко относят ее друг к другу — без всякого эгоизма и самодовольства». Но эта точка зрения очень рассчитывает на работу разума и ведет к тому несколько гимнастическому представлению о гениальности, жертвой которого мы оказались.

Агата спросила, недоверчиво смеясь:

— Ну, так теперь ты знаешь, что такое «гений», «гениальный» и «осененный гением»?

Ульрих пожал плечами в ответ на эту насмешку.

— Во всяком случае мы выяснили, что немцы, если уж не видно строгого кантовского «оригинального духа», находят гениальным и всякое экстравагантное и бросающееся в глаза поведение, — сказал он.

Человек, по сути говорящее животное, — единственное животное, которое и для продолжения рода нуждается в разговорах. И говорит он при этом не только потому, что говорит и без этого; нет, похоже на то, что его любвеохотливость связана с его словоохотливостью в самом существе, связана так таинственно-глубоко, что это напоминает древних, по чьей философии бог, люди и вещи возникли из «логова», под которым они поочередно подразумевали святой дух, разум и речь. Но вот даже психоанализ и социология не сообщили об этом ничего существенного, хотя обе эти новейшие науки уже могут соревноваться с католицизмом по части вмешательства во все человеческие дела. Надо, значит, самому как-то взять в толк, что разговоры играют в любви большую роль, чем все другое. Она — самое разговорчивое из всех чувств и состоит в большой своей части целиком из разговорчивости. Если человек молод, то эти распространяющиеся на все разговоры относятся к явлениям роста; если он созрел, то они составляют его павлиний хвост, который, даже если он состоит уже только из одних стволов перьев, распускается тем энергичнее, чем позже он это делает. Причина тому заключена, может быть, в пробуждении созерцательного мышления благодаря чувствам любви и в его прочной связи с ними; но это, пожалуй, пока только видоизменяет вопрос, ибо хотя слово «созерцание» употребляется почти так же часто, как слово «любовь», оно не яснее.

Этим, впрочем, не решается, следует или нет квалифицировать как любовь то, что соединяло Агату и Ульриха, хотя говорили они друг с другом ненасытно. Да и то, что они говорили, вращалось вокруг любви, всегда и каким-либо образом, спору нет. Но о любви, как и обо всех чувствах, можно сказать, что пыл ее тем больше уходит в слова, чем дальше ей покуда до действий; и то, что после первоначальных сильных и неясных душевных волнений заставляло их предаваться разговорам и казалось им иногда каким-то волшебством, было прежде всего неведением, как им действовать. Но связанная с этим робость перед собственным чувством и любопытство проникнуть за его контуры делали их разговоры в словесной форме более поверхностными порой, чем они были в глубине.

Трудности, где их не ищут

Как обстоит дело со столь же знаменитым, сколь и охотно практикуемым примером любви между двумя так называемыми лицами разного пола? Это особый случай заповеди «люби ближнего своего, не зная, каков он» и проверка отношения, существующего между любовью и действительностью.

Друг из друга делают себе кукол, которыми играли уже в любовных мечтах.

А то, что другой полагает, думает и действительно представляет собой, не влияет на это?

Пока его любишь и поскольку его любишь, все очаровательно; но не наоборот. Ни одна женщина не любила мужчину за его мнения и мысли, ни один мужчина не любил женщину за ее мысли и мнения. Они играют лишь важную второстепенную роль. Кроме того, об этом можно сказать то же, что и о злости: если непредвзято понимаешь то, что думает другой, обезоруженной оказывается не только злость, но обычно, вопреки ее ожиданию, и любовь.

Но ведь, особенно вначале, восторг по поводу сходства мнений играет часто главную роль?

Слыша голос женщины, мужчина слышит, что ему вторит чудесный скрытый оркестр, а женщины — самые невольные чревоушители; ничего не говоря, они слышат свои умнейшие ответы. Это каждый раз маленькое благовествование; человек выходит из облаков к другому человеку, и все, что он выражает, кажется тому небесным венцом, сделанным как по мерке для его собственной головы! Позднее чувствуешь себя, конечно, как проспавшийся пьяный.

А дела! Разве дела любви, ее верность, ее жертвы и знаки внимания не лучшее ее доказательство? Но дела двусмысленны, как все немое! Если вспоминаешь свою жизнь как подвижную цепь событий и поступков, то жизнь кажется пьесой, из диалогов которой ты не запомнил ни слова, а у сцен которой, как это ни однообразно, одинаковые кульминации!

Значит, любят не по заслугам и не в награду, а в антифонном пении смертельно влюбленных бессмертных душ?

То, что любим бываешь не так, как того заслуживаешь, — горе всех старых дев обоих полов!

Ответ этот дала Агата. Жутковато прекрасная беспричинность любви и легкий хмель несправедливости вышли на свет из прошлых романов, примилив ее даже с недостатком достоинства и серьезности, в котором она из-за своей игры с профессором Линднером порой винила себя и которого всегда стыдилась, когда снова оказывалась вблизи Ульриха. Завел же разговор Ульрих, и в ходе разговора ему захотелось выведать у Агаты кое-какие воспоминания, ибо об этих радостях она судила так же, как он о своих.

Она посмотрела на него со смехом.

— Ты никогда не любил человека больше всего на свете и не презирал себя за это?

— Смею ответить отрицательно. Но не стану возмущенно отрекаться от этого, — сказал Ульрих. — Это могло случиться.

— Ты никогда не любил человека вопреки жутковатой убежденности, — взволнованно продолжала Агата, — что этот человек, все равно с бородой ли, с женской ли грудью, которого ты, как тебе кажется, хорошо знаешь и ценишь и который не перестает говорить о себе и тебе, в сущности, лишь в гостях у любви? Можно отбросить его взгляды и его заслуги, можно изменить его судьбу, можно приделать к нему другую бороду и другие ноги, можно откинуть чуть ли не его самого и все же любить его!.. То есть насколько его вообще любишь, — добавила она смягчающе.

Голос ее звучал глубоко, с беспокойной, как от огня, яркостью в глубине. Она теперь виновато опустила на стул, потому что в невольном пылу вскочила с него.

Ульрих тоже почувствовал себя немного виноватым из-за этого разговора и улыбнулся. Ни одного слова не собирался он говорить о любви как об одном из современных двойственных чувств, которые, в соответствии с новейшей модой, называют «амбивалентными», понимать это надо приблизительно так, что душа по-мошеннически подмигивает левым глазом, когда поднимает для клятвы правую руку. Его просто забавляло, что ничего, собственно, не важно для того, чтобы любовь возникла и длилась. Это значит, что любят кого-то вопреки всему или, если угодно, ни из-за чего; а это значит, что либо все фантазия, либо эта фантазия — единое целое, подобно тому как целостен мир, где и воробей не упадет с крыши так, чтобы этого не заметил Всеведущий.

— Значит, тут вообще ничего не важно! — воскликнула, заключая, Агата. — Неважно, что человек представляет собой, неважно, что думает, неважно, чего хочет, неважно, что делает!

Им было ясно, что они говорили об уверенности души, или, поскольку такого громкого слова лучше избежать, о неуверенности, которую — употребляя это слово скромно, неточно и обобщенно — оба они чувствовали в душе. А то, что речь шла о любви, об изменчивости и метаморфозах которой они напоминали друг другу, происходило лишь потому, что любовь — одно из самых сильных и самых определенных чувств и все же чувство настолько подозрительное перед строгим чувством упорядочивающего познания, что колеблет даже его. Началось же это у них уже тогда, когда они только вышли на солнце любви к ближнему; и, вспомнив утверждение, что даже при этом прекрасном порыве не знаешь, действительно ли любишь людей, и реальных ли людей, или тебя обманывает, и благодаря каким свойствам, какая-то преобразующая реальность фантазия, Ульрих показал честную готовность скрепить узлом существующие между чувством и знанием проблематичные отношения, скрепить хотя бы сейчас и так, как они вырисовываются из только что умолкшей беседы.

— Оба эти противоречия тут всегда налицо и составляют квадригу, — сказал он. — Человека любят, потому что его знают. И потому что не знают. И его узнают, потому что любят его. И не узнают, потому что любят его. И порой это усиливается настолько, что вдруг становится очень ощутимо. Тогда наступают те скверные мгновения, когда Венера сквозь Аполлона и Аполлон сквозь Венеру глядят на пустой шляпный болван и очень удивляются, что прежде видели там нечто другое. Если любовь оказывается сильней удивления, она вступает в борьбу с ним и иногда опять выходит из этой борьбы победительницей — хотя и измученной, отчаявшейся и неизлечимо раненной. Если же она не так сильна, то дело пойдет к борьбе между лицами, которые мнят себя обманутыми: к оскорблениям, к грубым вторжениям действительности, к предельному бесчестию, которые должны исправить то, что ты оказался в дураках...

Он достаточно часто претерпевал эти бури любви, чтобы быть в состоянии описывать их сегодня в свое удовольствие.

Но Агата положила этому конец.

— Если ты ничего не имеешь против, я заметила бы, что в общем-то эти дела, затрагивающие супружескую и несупружескую честь, очень переоценивают! — возразила она и приняла снова удобную позу.

— Любовь в целом переоценивают! Безумец, который в помутнении рассудка достает нож и протыкает им ни в чем не повинного человека, случайно оказавшегося на месте его галлюцинации, — в любви он нормален! — определил Ульрих и рассмеялся.

Удобная поза и покойный солнечный свет, нежный без назойливости, благоприятствовали этим разговорам; а возникали они чаще всего между двумя шезлонгами, стоявшими не столько под защитой и в тени дома, сколько на затененном свету, шедшем из сада и умерявшемся утренней еще свежестью стен. Не надо, впрочем, думать, будто шезлонги стояли там потому, что у брата и сестры из-за бесплодности их отношений — бесплодности, в обычном смысле наличной, а в высшем, возможно, еще грозившей, было намерение обсудить на шопенгауэровско-индийский манер обманчивую сущность любви и защититься анализом от ее соблазняющего продолжить жизнь дурмана; нет, то, что останавливало выбор на полутенях, на щадящем и сдержанно любопытном, объяснялось проще. Сама тема разговора была такова, что в бесконечном опыте, благодаря которому понятие любви только и становится ясным, намечались самые разные соединительные пути, ведущие от одного вопроса к другому. И два вопроса, как любят своего ближнего, которого не знают, и как — самого себя, которого знают еще меньше, — привели, вызвали любопытство к вопросу, охватывающему оба, — как вообще любят; или другими словами — что это «в сущности» такое — любовь. Это может показаться на первый взгляд резонерством, да и правда слишком уж это рассудочный для любовной пары вопрос. Но он приобретает сумасшедшинку, стоит лишь распространить его на миллионы любовных пар и их многообразие.

Эти миллионы различны не только как индивидуумы (в чем их гордость), но и по образу их действий, по разновидностям объекта и отношений. Иногда о любовных парах вообще нельзя говорить, и все же можно говорить о любви; иногда можно говорить о любовных парах, но не о любви — это дело несколько более обычное. И вообще слово это охватывает столько же противоречий, сколько воскресенье в провинциальном городке, где в десять часов утра крестьянские парни идут на мессу, в одиннадцать отправляются в публичный дом на боковой улочке, а в двенадцать приходят в трактир на главной площади выпить и закусить. Есть ли смысл исследовать такое слово со всех сторон? Но, употребляя его, действуют бессознательно, словно при всех различиях усматривают тут что-то общее!.. Это небо и земля: любить трость для прогулок или честь, и

никому не пришло бы в голову валить то и другое в одну кучу, если бы не было привычки делать это изо дня в день. Другие разновидности различного, как небо и земля, и все же одного и того же можно назвать словами, сказав: любить бутылку, любить табак и еще худшие яды. Шпинат и движение на свежем воздухе. Спорт или ум. Правду. Женщину, ребенка, собаку. Те, кто об этом говорил, добавили: бога. Красоту, родину и деньги. Природу, друга, профессию и жизнь. Свободу. Успех, власть, справедливость или просто добродетель. Все это любят; короче, с любовью соединяют почти столько же вещей, сколько есть видов стремлений и оборотов речи. Но в чем различие и в чем общность любовей?

Может быть, полезно вспомнить слово «вилка». Есть вилка для еды, навозные вилы, развилка дорог, вилка при стрельбе, вилка в шахматах и другие вилки; и у всех у них есть один существенный признак — «вилкообразность». Это решающее впечатление от весьма разных вещей, которые так называются, — их вилкообразная форма, их вилочность. Если отправляться от этих вещей, то оказывается, что все они подпадают под одно и те же понятие; если исходить из первоначального впечатления вилкообразности, то оказывается, что впечатления от разных видов вилок его наполняют и дополняют. Общее — это, значит, форма, внешность, вид, а различия определяются прежде всего разными видами, которые она может принять; а затем и предметами, имеющими такую форму, их материалом, назначением и тому подобным. Но если каждую вилку можно сравнить непосредственно с каждой и чувственно воспринять, хотя бы даже она существовала лишь в виде рисунка мелом или только в нашем представлении, то не так обстоит дело с разными обликами любви; и весь смысл данного примера сводится к вопросу, нет ли и тут, соответственно вилкообразности вилок, какого-то главного признака, чего-то любовного, любверодящего или любвеобразного во всех случаях. Но любовь не поддается чувственному познанию, ее нельзя воспринять зрением или каким-нибудь другим чувством, она — такой же факт морального характера, как умышленное убийство, справедливость или презрение; а это, среди прочего, значит, что возможна весьма извилистая, но крепкая разнообразными опорами цепь сравнений между ее примерами, отдаленнейшие из которых могут несколько, до диаметральной даже противоположности, не походить друг на друга и все-таки соединены между собой проходящей от одного к другому связью. Говоря о любви, можно, стало быть, добраться до ненависти; и все же причиной тому не многоупоминаемая «амбивалентность», раздвоенность чувств, а как раз полная целостность жизни.

Тем не менее и такое слово могло бы предшествовать намечающемуся продолжению. Ибо даже если отказаться от вилок и подобных невинных паллиативов, образованная беседа разделяется сегодня с сутью любви весьма бойко, умудряясь при этом изъясняться так увлекательно, словно эта самая суть кроется во всех явлениях любви, как вилкообразность в навозных вилах или в салатной вилке. Тогда говорят, — и Ульриха с Агатой тоже могла толкнуть на это всеобщая привычка, — что главное во всем, связанном с любовью, либидо, или говорят, что это эротика. У обоих этих слов не одинаковая история, но все же, особенно имея в виду современность, сопоставимая. Когда психоанализ (поскольку эпохе, нигде не пускающей в духовные глубины, любопытно узнать, что у нее есть глубинная психология) начал превращаться в дежурную философию, внося авантюризм в обывательский быт, все на свете стали объяснять через либидо, вследствие чего об этом ключевом и даже похожем на отмычку понятии можно сказать все, что угодно, и нельзя ничего сказать толком. И совершенно так же обстоит дело с эротикой; только те, кто убежденно возводит к ней все физические и психологические связи на свете, придавали своей эротике это первостепенное значение уже и прежде. Нельзя перевести «либидо» как «инстинкт и влечение, сексуальное или пресексуальное», а «эротика» — как «духовная, даже сверхчувственная нежность»: к переводу пришлось бы приложить особый исторический экскурс. Скука такого занятия превращает незнание в удовольствие. А этим было предопределено то, что разговор, шедший между двумя шезлонгами, не пошел по наметившемуся направлению, а нашел привлекательным и отдохновенным процесс примитивно-непритязательный: просто насчитать как можно больше примеров того, что зовется любовью, нагромождая их как при какой-нибудь игре и с нарочитой непринужденностью не пренебрегая и самыми дурацкими.

И, уютно болтая, они классифицировали приходившие им в голову примеры — по чувству, по объекту, на который оно направлено, и по действию, в котором оно выражается. Удобно было также сперва разобрать то или иное поведение и посмотреть, заслуживает ли оно более или менее в прямом или переносном смысле своего названия. Так собирався всякого рода материал с разных сторон.

Но в первую очередь речь невольно зашла о чувстве; ведь вся природа любви — это, казалось бы, сплошное чувствование. Тем поразительнее ответ, что чувства в любви меньше всего. Для чистой неопытности она как сахар и зубная боль; не совсем, пожалуй, так сладка и не совсем так болезненна, и притом беспокойна, как мучимое слепнями животное. Быть

может, не каждому, кого самого мучит любовь, это сравнение покажется образцовым; однако и обычное ее описание мало чем, в сущности, от него отличается: всяческие страхи, охи и ахи, сладкое страданье, смутное желание! Испокон веков кажется, что ничего более точного об этом состоянии не удавалось сказать. Но такая невыразительность чувства характерна не только для любви. Счастлив ли он или печален, человек тоже узнает не так категорично и просто, как отличает гладкое от шершавого, да и другие чувства тоже не так-то легко распознаются чисто чувственным путем, хочется сказать — на ощупь. Потому уже при таком повороте беседы следовало сделать одно замечание, которое могло по достоинству дополнить его, — о неодинаковых задатках и развитии чувств. Такую формулировку предпослал своему замечанию Ульрих, а мог бы сказать: задатки, развитие и закрепление.

Ибо он начал с хорошо известного по опыту, что каждое чувство приносит с собой убедительную уверенность в нем, — такова, видно, самая его основа, — и прибавил, что по столь же общим причинам надо предположить, что уже на уровне этой основы начинается и различие чувств. Вот примеры тому. У любви к другу иное происхождение и иные главные черты, чем у любви к девушке, у любви к женщине отцветшей иные, чему любви к женщине священно неприступной; и уж в корне отличны друг от друга чувства, расходящиеся еще дальше, такие, как — чтобы не отвлекаться от любви — любовь, преклонение, похотливость, подчиненность или всякие разновидности любви и отвращения. Если принять оба эти предположения, то чувства должны быть от начала до конца тверды и прозрачны, как кристаллы. И все же нет чувства, которое было бы безусловно тем, чем оно кажется; и ни наблюдение над собой, ни действия, которые данное чувство вызывает, не дают никакой уверенности насчет него. Это различие между самоуверенностью и неуверенностью чувств, несомненно, не так мало. Но оно становится вполне естественным, если рассматривать возникновение чувства в связи с его психологическими и социальными причинами. Причины эти обуславливают в общих чертах, так сказать, только вид чувства, не определяя его в деталях; ведь каждому инстинкту и каждой жизненной ситуации, приводящей его в движение, соответствует целый поток чувств, которые могут отдать им должное. И то, что налицо вначале, можно, пожалуй, назвать основой чувства, находящегося еще между бытием и небытием; но, пожелав описать эту основу, не скажешь о ней, как бы она ни была устроена, ничего точнее, чем то, что она есть нечто такое, что в ходе своего развития и в зависимости от многих привходящих обстоятельств или их отсутствия вырастет в то

чувство, которое должно было из него получиться. Значит: у каждого чувства есть, кроме своих изначальных задатков, еще и судьба; а поскольку позднейшее его развитие и вовсе завесит от привходящих условий, то нет чувства, которое уже сначала было бы явно самим собой, нет, может быть, даже такого, которое было бы несомненно чувством и ничем другим. Иначе говоря, из этого взаимодействия задатков развития следует, что в области чувства преобладают не частое наличие и однозначное осуществление, а прогрессирующее приближение и приблизительное осуществление. И нечто подобное можно сказать обо всем, что постигается чувством.

Этим кончилось сделанное Ульрихом замечание, содержавшее приблизительно эти объяснения в этой последовательности. Не менее коротко и преувеличенно, чем утверждение, что чувства в любви меньше всего, можно было, значит, сказать, что любовь, поскольку она есть чувство, нельзя распознать по чувству. Это, кстати, проливало некоторый свет на вопрос, почему он назвал любовь моральным событием. А три имени существительных — задатки, развитие и закрепление — были главными узлами, которые связывали упорядоченное понимание феномена чувства; во всяком случае — с определенной принципиальной позиции, на которую Ульрих охотней всего становился, когда нуждался в таком объяснении. Но поскольку доскональный разбор всего этого поставил бы большие требования и мог увести в доктринерство, Ульрих отставил начатое на этой точке.

Продолжение разошлось по двум направлениям. Судя по вышесказанному об этой беседе, тут должна была наступить очередь объекта и действий любви, чтобы определить по ним, к чему приводит ее весьма неодинаковый феномен; и наконец узнать, что же это «в сущности» такое — любовь. Потому-то речь о роли действий в определении чувства заходила даже в связи с его началом, — а уж в связи с его позднейшей судьбой она и подавно должна была зайти снова. Но Агата задала еще один вопрос; возможно, предположила она, — а у нее были причины если не подозревать, то бояться такого подозрения, — что выбранное братом объяснение годится только для слабого чувства или для опыта, который знать не хочет о сильных.

Ульрих ответил:

— Ничего подобного! — Как раз при величайшей своей силе чувство бывает не самым уверенным. При величайшем страхе бываешь парализован или кричишь, вместо того чтобы бежать или защищаться. В величайшем счастье есть часто какая-то особенная боль. Даже слишком большое усердие «только во вред», как говорят. И вообще можно

утверждать, что при сильнейшем чувствовании чувства, как при затмении, теряют цвет и пропадают. Может быть, весь известный нам мир чувств приспособлен только для среднего уровня жизни и на высших ее ступенях прекращается, подобно тому как и начинается не на низших.

Косвенно к этому относилось и то, с чем сталкиваешься, наблюдая за собственными чувствами, особенно глядя на них «через лупу». Они становятся тогда неясными, и различить их трудно. Но отчетливость силы, теряемую ими при этом, они должны были бы хоть как-то возместить отчетливостью внимания к ним, а даже этого не происходит... Так отвечал Ульрих, и это сопоставление угасания чувства при самосозерцании и на высших ступенях его проявления случайным не было. Ибо и то и другое — состояния, когда действия прекращены или затруднены, а поскольку связь между «чувствовать» и «действовать» так тесна, что многие считают ее единством, то оба примера дополняли друг друга не без умысла.

Избегал же он сказать как раз то, что они оба знали по личному опыту, — что с высшей ступенью любовного чувства действительно может быть связано состояние умственного угасания и физической беспомощности. Поэтому он несколько насильственно отвел разговор от значения, которое имеют действия для чувств, — отвел, как бы намереваясь снова коснуться классификации любви по объектам. На первый взгляд эта несколько причудливая возможность и в самом деле лучше отвечала задаче упорядочить многозначное. Ведь если, к примеру, это богохульство — обозначать любовь к богу тем же словом, что и любовь к рыбной ловле, то дело тут, несомненно, в различии того, на что любовь направлена; и так же можно судить о значении объекта по всяким другим примерам. Огромные различия в любовное отношение к чему-то вносит, значит, не столько любовь, сколько это что-то. Так, есть объекты, которые делают любовь богатой и здоровой; и другие, которые делают ее бедной и болезненной, словно это зависит только от них. Есть объекты, которые должны ответить на любовь, чтобы она развернулась во всей своей силе и своеобразии; и есть объекты, при которых всякое подобное требование было бы наперед бессмысленно. Попросту говоря, этим отличается отношение к живым существам от отношения к неодушевленным предметам; но даже и будучи неодушевленным, объект — подлинный партнер любви, и его свойства влияют на ее свойства.

Чем неравноценнее этот партнер, тем кривее, чтобы не сказать искаженнее страстью, становится она сама.

— Сравни, — призывал Ульрих, — здоровую любовь молодых людей друг к другу и комично преувеличенную любовь одинокого человека к

собаке, кошке или птенцу. Посмотри, как страсть между мужчиной и женщиной угасает или становится докучливой, — как нищий, которому не подают, — если на нее не отвечают или отвечают не в полной мере. Не забудь также, что при неравенстве союза, как то бывает между родителями и детьми или хозяином и слугой, между мужчиной и объектом его честолюбия или порочности, взаимность любви — это нечто очень ненадежное, просто-напросто пропащее. Везде, где регулирующий естественный обмен между состоянием и партнером любви нарушен, она вырождается, как нездоровая ткань!

Эта мысль, кажется, привлекала его чем-то особенным. Он готов был распространиться подробнее и привести множество примеров; но пока Ульрих обдумывал их, что-то, во что он не метил, но что, как полевой аромат, оживило намеченный путь ожиданием, чуть ли не по ошибке, казалось бы, отвлекло мысль к тому, что зовется в живописи натюрмортом, а по-немецки *Stilleben* — «тихой жизнью».

— В какой-то мере смешно, что человек ценит хорошо написанного омара, — продолжал Ульрих без перехода, — блестящую, как зеркало, гроздь винограда и подвешенного за лапы зайца, вблизи которого всегда оказывается еще и фазан. Ведь человеческий аппетит смешон, а написанный аппетит еще смешней, чем естественный.

И у обоих было такое чувство, что это замечание связано с их темой глубже, чем казалось внешне, и входило в продолжение того, чего они не стали говорить о самих себе.

Ведь в подлинных натюрмортах — вещах, животных, растениях, пейзажах и человеческих телах, изгнанных в круг искусства, — выказывает себя нечто иное, чем то, что они изображают, а именно — таинственный демонизм записанной жизни. Есть знаменитые картины такого рода, оба знали, следовательно, что имелось в виду; но лучше Говорить не об определенных картинах, а о некоей разновидности картин, которая к тому же не образует школы, а возникает беспорядочно, по манию мироздания. Агата спросила, по какому признаку можно ее узнать. Явно отказавшись назвать какую-либо решающую приметку, Ульрих медленно, с улыбкой и без колебаний сказал:

— Волнующее, неясное, бесконечное эхо!

И Агата поняла его. Как-то чувствуешь, что ты на взморье. Жужжат букашки. Воздух приносит сотни луговых запахов. Мысль и чувство суется вдвоем. Но перед главами пустыня моря, за которую ты не отвечаешь, и все, что имеет значение на берегу, растворяется в однообразном движении бесконечного зрелища. Она подумала о том, что

все истинные натюрморты могут вызывать эту счастливую ненасытную грусть. Чем дольше смотришь на них, тем яснее становится, что изображенные предметы как бы стоят на пестром берегу жизни с глазами, которые видят чудеса, и с отнявшимся языком.

Ульрих ответил теперь другой перифразой.

— В сущности, все натюрморты изображают мир шестого дня творения — когда бог и мир были еще наедине, без человека! — И, увидев вопросительную улыбку сестры, сказал: — По-человечески, стало быть, они вызывают, наверно, ревность, таинственное любопытство и печаль!

Это был почти «экспромт», и даже не худший; он отметил это с неудовольствием, ибо не любил этих обточенных, как шары, и наспех позолоченных внезапных мыслей. Но он не сделал никаких попыток поправить себя, да и сестра не задала никаких вопросов. Ибо надлежало объяснить по поводу жутковатого искусства натюрморта обоим мешало его странное сходство с их собственной жизнью.

Оно играло в ней большую роль. Нет нужды подробно повторять все, уходящее в общие воспоминания детства, вновь пробудившиеся при встрече и с тех пор придававшие всем впечатлениям и большинству разговоров какую-то странность, но нельзя умолчать о том, что во всем этом всегда ощущалась одурманенность натюрморта. Непроизвольно, не предполагая ничего определенного, чем можно было бы руководствоваться, они поэтому обратили свое любопытство на все, что могло быть родственно сущности натюрморта; и получился примерно вот какой диалог, который, как веретено, еще раз накрепко и заново прокрутил их разговор!

Если приходится молить о чем-то невозмутимый, не дающий ответа лик, человека тянет в хмель отчаяния, агрессии или унижения. Зато такое же потрясающее, но несказанно прекрасное ощущение — упасть на колени перед неподвижным ликом, на котором жизнь угасла несколько часов назад, оставив на нем отсвет, как заход солнца.

Этот второй пример есть даже трафарет чувства, если вообще можно что-либо так назвать! Мир говорит о торжественности и достоинстве смерти; сотни, если не тысячи лет существует поэтический мотив лежащей в гробу возлюбленной; существует целая поэзия смерти, особенно лирическая, с ним родственная. В этом есть, наверно, что-то ребяческое. Кто представляет себе, что смерть дарит ему самую благородную из возлюбленных? Тот, у кого нет храбрости или возможности обладать живой!

От этой поэтической ребячливости идет прямая линия к ужасам заклинания духов умерших; вторая — к мерзости настоящей некрофилии;

может быть, третья — к патологическим противоположностям — эксгибиционизму и насилию.

Это, может быть, странные сравнения, и отчасти они очень неаппетитны. Но если пренебречь этим и посмотреть на них, так сказать, с медицинско-психологической точки зрения, то окажется, что у всех у них есть одно общее: невозможность, неспособность, отсутствие естественной храбрости или храбрости для естественной жизни.

Из них также можно извлечь вывод, — если уж прибегать для такой цели к рискованным сравнениям, — что молчание, бессилие и любая ущербность партнера связаны с эффектом перенапряжения души.

В основном, таким образом, повторяется то, что было уже сказано раньше, — что неравноценный партнер делает любовь кривой; надо бы только добавить, что выбрать велит его часто уже изначальная кривизна чувства. И наоборот, партнер отвечающий, живой, действующий держит в порядке и определяет чувства, а без него они вырождаются в обман.

Ну, а натюрморт, его странное очарование разве не обман тоже? Даже чуть ли не эфирная некрофилия?

И все-таки похожий обман есть и во взглядах счастливо любящих как выражение самого высшего для них. Они глядят друг другу в глаза, не могут вырваться и исходят в бесконечном, растяжимом, как резина, чувстве!

Так приблизительно начался их диалог, но на этом месте нить его, в сущности, повисла — и довольно — надолго, прежде чем побежала дальше. Они действительно посмотрели друг на друга и впали из-за этого в молчание.

Но если нужно замечание, которое объяснило бы это и вообще оправдало еще раз подобные разговоры и выразило бы их смысл, то сказать можно, пожалуй, то, что Ульрих, понятно, оставил в эту минуту немой мыслью, а именно — что любить вовсе не так просто, как хочет уверить природа, доверяя инструменты для этого любому халтурщику среди своих порождений.

Солнце тем временем поднялось выше; оставив шезлонги, как лодки на берегу, в мелкой тени у дома, они лежали на лужайке в саду подо всей глубиной летнего дня. Они лежали так уже довольно долго, и хотя обстановка изменилась, это не дошло до их сознания как перемена. Не дошло до него как перемена, собственно, и затишье в разговоре; он застрял, не оставив ощущения оборванности.

Бесшумный поток тусклых снежинок пуха, летевшего от группы отцветших деревьев, парил на солнечном свету; и дыхание, которое несло его, было таким легким, что ни один лист не дрожал. Никаких теней не падало оттуда на зелень газона, но она, казалось, становилась темней изнутри, как глаза. Нежно и расточительно одетые молодым летом в листву деревья и кусты, стоявшие в стороне или составлявшие задний план, производили впечатление растерянных зрителей, которые в своей веселой одежде были застигнуты врасплох и, очарованно застыв, участвовали в этом похоронном шествии природы и ее празднике. Весна и осень, речь и молчание природы, да и волшебство жизни и смерти смешивались в этой картине; сердца, казалось, остановились, были вынуты из груди, присоединялись к этому молчаливому шествию по воздуху. «Тут сердце было вынуто у меня из груди», — сказал один мистик; Агата вспомнила о нем.

Помнилось ей также, что она сама прочла эти слова Ульриху, найдя их в одной из его книг.

Произошло это здесь, в саду, неподалеку от того места, где они теперь находились. Воспоминание стало полнее. На ум ей пришли и другие слова, которые она тогда воскресила в его памяти: «Ты ли это или это не ты? Я не знаю, где я; да и не хочу знать!» — «Я превзошел своих возможностей предел, дошел до темной силы! Влюблен я, но не ведаю, в кого! Сердце у меня полно любовью и пусто от любви же!» Опять, стало быть, зазвучал в ней плач мистиков, в чье сердце бог проник так глубоко, как шип, коснуться которого нельзя ничьим пальцам. Много таких блаженных плачей прочла она тогда Ульриху. Сейчас она воспроизводила их, быть может, неточно, память обходится несколько своевластно с тем, что она хочет услышать; но она поняла, что имелось в виду, и приняла решение. Таким таинственно покинутым и оживленным, как в этот миг осыпания

лепестков, сад, значит, уже однажды выглядел; и было это как раз после того, как ей в руки попали мистические исповеди, имевшиеся среди книг Ульриха. Время остановилось, тысячелетие весило столько же, сколько глазом моргнуть, она достигла Тысячелетнего Царства, бог даже, может быть, давал ощутить себя. И пока она, хотя время ведь не должно было больше существовать, ощущала это одно за другим; и пока брат, чтобы она не боялась этого сна, был рядом, с ней, хотя и пространство тоже, казалось, перестало существовать, мир, несмотря на эти противоречия, был, казалось, сплошь наполнен преображением.

То, что с ней было с тех пор, не могло не показаться ей словоохотливо-умеренным по сравнению с предшествовавшим; да и как, впрочем, могло оно еще больше расшириться и подтвердиться, раз уж потеряло почти телесно теплую непосредственность первой внезапной мысли об этом! При таких обстоятельствах Агата решила осмотрительно встретить на сей раз восторг, который в тот раз охватил ее в этом саду почти как в сказке. Она узнала, почему связала с ним название «Тысячелетнее Царство». Это было эмоционально-звонкое словцо, оно было почти осязаемо, как предмет, но разуму оставалось неясным. Оттого ей вольно было обходиться с этим представлением так, словно Тысячелетнее Царство могло начаться в любую минуту. Его называют также царство любви, это Агата знала тоже; однако лишь в последнюю очередь подумала она о том, что оба эти названия существуют с библейских времен и означают царство божье на земле, предстоящее начало которого понимается в совершенно реальном смысле. Кстати, и Ульрих, не проникаясь из-за этого верой в Писание, употреблял порой эти слова так же непринужденно, как сестра; и уж вовсе не удивило ее потому, что она словно бы сразу знала, как надо вести себя в Тысячелетнем Царстве. «В нем надо держаться совсем тихо, — говорила ей какая-то интуиция. — Нельзя оставлять место никаким желаниям; даже желанию спрашивать. Отказаться надо и от сновидения, с какой устраивают дела. Надо отнять у своего ума все его орудия и помешать ему самому быть орудием. Надо освободить его от знания и от хотения; надо отделаться от реальности и от стремления обратиться к ней. Нужно сдерживать себя до тех пор, пока голова, сердце и части тела не станут сплошным молчанием. Но стоит лишь достичь такой высшей самоотверженности, как соприкоснутся наконец внешний и внутренний миры, словно выпал клин, который разделял мироздание...»

Может быть, это вовсе и не было трезво обдуманно. Но ей казалось, что если по-настоящему захотеть, то все это достижимо; и она собралась с силами, словно хотела притвориться мертвой. Но вскоре оказалось, что

совсем остановить мысли, сигналы чувств и воли — такая же невозможная задача, какой было в детстве не согрешить между исповедью и причастием; и после некоторых усилий она совсем отказалась от этой попытки. Она поймала себя на том, что держалась своего намерения лишь внешне и что ее внимание давно отвлеклось от него. Сейчас оно было сосредоточено на далеком от этой темы вопросе, далеком просто чудовищно: она, самым глупым образом и страстно желая этой глупости, спрашивала себя: «Была ли я действительно когда-либо ожесточенной, злой, исполненной ненависти и несчастной?» Ей вспомнился один человек без фамилии, у которого не было фамилии, потому что она взяла ее себе и унесла с собой. Когда она подумала о нем, она ощутила свою фамилию как шрам, но она уже не почувствовала ненависти к Хагауэру, и теперь она повторила свой вопрос с тем несколько грустным упрямством, с каким глядят вслед откатившейся волне. Куда делась охота чуть ли не смертельно обидеть его? Она почти в рассеянности потеряла ее и, видимо, полагала, что та найдется где-нибудь поблизости. К тому же Линднер мог быть прямо-таки заменителем этого желания вражды; ибо и об этом спрашивала она себя и думала мельком о нем. Может быть, ей показалось тут удивительным, как много уже всякого с ней случалось; ведь молодым людям удивление по поводу того, сколько они уже перечувствовали, просто более присуще, чем старшим, для которых непостоянство страстей и состояний жизни так же привычны, как перемены погоды. Но что могло так задеть за живое Агату, как то, что в тот же миг на фоне коловращения жизни, вереницы ее страстей и состояний, на фоне причудливого потока чувства — где молодость, мало о том зная, кажется себе природно-великолепной, — что на этом фоне снова загадочно выделилось каменно ясное небо неподвижной мечтательности, от которой она только что пробудилась?

Мысли ее, значит, все еще были в сфере похоронного шествия осыпавшихся лепестков; но уже не двигались с ним и на его безмолвно-торжественный лад; нет, Агата думала «о том о сем», как это можно назвать, в отличие от того душевного состояния, в котором жизнь длится «тысячу лет» без единого взмаха крыльев. Это различие между двумя душевными состояниями было ей очень ясно; и немного смущенно она увидела, сколь часто именно оно или что-то весьма родственное ему уже затрагивалось в ее разговорах с Ульрихом. Невольно обратилась она к брату и, не спуская глаз с окрестного зрелища, спросила с глубоким вздохом:

— Не кажется ли и тебе в такую минуту и по сравнению с ней бранным все остальное?

Эти несколько слов разорвали облачную тяжесть молчания и

воспоминаний. Ибо и Ульрих глядел на бесцельно летящую пену лепестков; а поскольку его мысли и воспоминания были настроены на тот же тон, что и сестрины, не требовалось никакого другого введения, чтобы дать ему возможность сказать ей то, что давало ответ и на ее молчаливые мысли. Он медленно потянулся и отозвался:

— Я уже давно — уже в том состоянии, когда мы говорили о так называемом натюрморте, да, собственно, и каждый день, — хотел тебе кое-что сказать, даже если это и не попадает в самую точку. Существует — если преувеличить эту противоположность — два способа жить страстно и две разновидности страстного человека. Можно каждый раз реветь, как ребенок, от злости, горя или восторга, освобождаясь от своего чувства коротким, ничтожным взрывом. В этом случае — а он обычен — чувство есть в конечном счете обыденный посредник обыденной жизни; и чем оно горячее и возбудимее, тем больше напоминает оно беспокойство в клетке хищников в час кормления, когда мимо решеток проносят мясо, а вскоре после этого сытую усталость. Разве не так? А другой способ быть страстным и действовать страстно таков: сдерживаешь себя и не идешь на действия, к которым тянет и гонит тебя каждое чувство. И в этом случае жизнь становится похожей на жутковатый сон, в котором чувство поднимается к вершинам деревьев, к шпилям башен, к зениту... Об этом мы, более чем вероятно, и думали, когда еще делали вид, что говорим о картинах и ни о чем, кроме картин.

Агата с любопытством приподнялась.

— Не говорил ли ты уже как-то, — спросила она, — что есть два разных в своей основе способа жить и что они прямо-таки тождественны различным тональностям чувства? Один — это способ «мирского» чувства, которое никогда не находит покоя и осуществления. Другой — не помню, называл ли ты его как-либо, но его следовало бы назвать способом «мистического» чувства, которое долго звучит в унисон, но никогда не доходит до «полной реальности»?

Хотя говорила она нарочито медленно, она поторопилась и кончила смущенно.

Ульрих, однако, довольно хорошо понял, что он, по-видимому, сказал, и поморщился, словно во рту у него было что-то слишком горячее; и попытался улыбнуться. Он сказал:

— Если я имел в виду это, то тем неприятнее, пожалуй, должен я выразиться теперь! Две эти разновидности страстного бытия я по знакомому примеру назову просто разновидностью, наделенной аппетитом, и, в противоположность ей, лишенной его. Ведь в каждом человеке есть

голод, который ведет себя как хищный зверь. И есть в то же время не голод, а что-то свободное от жадности и сытости и созревающее нежно, как виноград на осеннем солнце. И даже в каждом из наших чувств есть и то, и другое.

— То есть прямо-таки вегетативные, а то и вегетарианские задатки наряду с животными?

Доля удовольствия и подтрунивания была в этом вопросе Агаты.

— Почти! — отвечал Ульрих. — Может быть, животное и растительное начала как главная противоположность влечений — это и есть глубочайший кладезь для философа! Но разве я хочу быть им! Утверждать я осмеливаюсь лишь то, что уже сказал, и сказал в конце: что образец, а может быть, даже и происхождение обоих видов страстного бытия уже содержится в каждом чувстве. В каждом чувстве можно различить эти две стороны, — продолжал он. Но затем он, странным образом, говорил только о той, которую назвал наделенной аппетитом. Она стремится к действию, к движению, к наслаждению. Из-за нее чувство превращается в произведение, или в идею и убеждение, или в разочарование. Все это формы его разрядки, но они могут быть и формами его преобразования и усиления. Ибо этим путем чувство меняется, притупляется, уходит в свой результат и находит в нем свой конец. Или оно замыкается в нем, превращая свою живую силу в аккумулярованную, которая позднее вновь возвращает ему живую, и при случае с процентами на проценты. — И разве благодаря этому не становится понятным хотя бы то, что бодрая деятельность нашего мирского чувства и его бречность, по поводу которой ты так приятно вздохнула, не составляют для нас большой разницы, даже если она и глубока? — заключил пока Ульрих свой ответ.

— Ты, конечно, совершенно прав! — согласилась Агата. — Господи, весь этот труд чувства, его мирское богатство, это хотенье и радость, деятельность и неверность — ни из-за чего, только из-за того, что оно понуждает! — вместе со всем, что узнаешь и забываешь, о чем думаешь и чего страстно хочешь и что все-таки забываешь опять, это ведь прекрасно, как дерево, полное яблок всевозможных цветов, но и аморфно-однообразно, как все, что каждый год одинаково наливается и опадает!

Ульрих кивал головой, слушая этот дышавший неистовством и покорностью ответ сестры.

— Наделенной аппетитом части чувств мир обязан всеми своими творениями и всей красотой, всяческим прогрессом, но и всей тревогой и, в конечном счете, всем своим бессмысленным коловращением, — подтвердил он. Знаешь ли ты, кстати, что под «наделенной аппетитом»

подразумевается просто та доля, которая принадлежит в каждом чувстве нашим инстинктам? Значит, — прибавил он, — мы тем самым сказали, что не чему иному, как инстинктам, мир обязан красотой и прогрессом.

— И своей смутной тревогой, — повторила Агата. — Обычно говорят именно это. Поэтому мне кажется полезным не упускать из виду другое! Ведь это по меньшей мере неожиданно, что своим прогрессом человек должен быть обязан тому, что принадлежит, в сущности, животной ступени!

Он улыбнулся. Теперь он тоже приподнялся и полностью повернулся к сестре, словно хотел ее просветить, но продолжал сдержанно, как человек, старающийся словами, которых он ищет, наставить сперва себя самого.

— Ядром активно действующих чувств человека, — сказал он, — и ты по праву говорила тут о животных задатках, служат, несомненно, те несколько инстинктов, которые есть и у животного. Когда дело касается главных чувств, это совершенно ясно: ведь в голоде, гневе, радости, упрямстве или любви никакая психологическая вуаль не прикрывает голого хотения!..

Казалось, он будет продолжать в том же роде. Но хотя этот разговор, возникший из мечтания природы, из зрелища летящих лепестков, которое все еще как-то странно-бессобытийно витало в душе, ни одним словом не затушевывал вопроса, решавшего судьбу брата и сестры, а, наоборот, от первого до последнего слова находился под влиянием этого символа, под полным тайного смысла знаком «случившегося без того, чтобы что-то случилось» и происходил в настроении мягкой подавленности, — хотя все так и было, разговор все же привел под конец к противоположности такой главной идеи и ее эмоциональной окраски, — когда Ульрих счел нужным подчеркнуть созидательную деятельность сильных инстинктов, а не их вредное действие. Столь ясная реабилитация инстинктов, и тем самым импульсивного и вообще деятельного человека ибо это имело и такой смысл — могла, спору нет, принадлежать «западному, европейскому, фаустовскому мироощущению», именуемому так на книжном языке в отличие от всякого другого, которое на том же самооплодотворяющемся языке должно именоваться «восточным» или «азиатским». Он вспомнил эти спесивые модные словечки. Но в намерения брата и сестры не входило, да и не отвечало бы их привычкам, придавать тому, что глубоко волновало их, обманчивый смысл такими подхваченными, не укоренившимися как следует словами; нет, все, о чем они говорили друг с другом, говорилось всерьез и думалось взаправду, даже если и родилось в эмпиреях.

Поэтому Ульриху доставило удовольствие подвести под нежный туман

чувства объяснение в духе естественных наук; доставило — хотя выглядело это поддержкой «фаустовскому началу» — на самом деле лишь потому, что верный природе ум обещал исключить всякие чрезмерные иллюзии. Во всяком случае, он намекнул на попытку такого объяснения. Тем более странно, правда, было то, что намекнул он на нее лишь в связи с тем, что назвал аппетитом чувства, но совсем не обратил внимания на возможность применить мысль подобного рода и к лишенной аппетита стороне, хотя поначалу придавал ей, безусловно, не меньший вес. Произошло это не без причины. То ли психологическое и биологическое расчленение этой стороны чувств казалось ему более трудным, то ли он считал его лишь досадным вспомогательным средством — и так могло быть, и так; но больше всего повлияло на него нечто другое; да он и предвидел это уже несколько раз с той минуты, когда тяжелый вздох Агаты выдал мучительное и блаженное противоречие между прошлыми тревожными жизненными страстями и той, как бы непреходящей, которая была сродни вневременной тишине под летящими лепестками. Ибо — повторяя то, что он уже на разные лады повторял, — не только в каждом отдельном чувстве различимы два типа задатков, в силу и в зависимости от характера которых оно может развиться в страсть, но есть еще и два типа людей, или в каждом человеке есть эпохи его судьбы, различные тем, что перевес берут то одни, то другие задатки.

Он всегда видел в этом большую разницу. Люди одного пошиба, это уже упоминалось, энергично хватают все и берутся за все: они перемахивают через препятствия как водопад или, вскипая пеной над ними, устремляются дальше новым путем; их страсти сильны и изменчивы, и результат — резко расчлененный жизненный путь, не оставляющий ничего, кроме отшумевшего гула. К этому типу людей относилось понятие наделенности аппетитом, когда Ульрих хотел сделать из него главное понятие страстной жизни; ибо другой тип, в противоположность этому, как нельзя более не соответствует этому понятию: он робок, задумчив, уклончив, нерешителен, полон мечтаний и тоски, склонен уходить в себя в своей страсти. Иногда — в мыслях, о которых сейчас речь не шла, — Ульрих пользовался для него и определением «созерцательный», прилагательным, употребляемым обычно иначе, лишь в тепловатом значении слова «многодумный»; но для него оно имело больший, чем этот обычный, смысл, было чуть ли не равнозначно вышеупомянутому «восточно-нефаустовский». Может быть, в этом «созерцательный», особенно в сочетании с «наделенный аппетитом», как его противоположностью, вырисовывалось главное различие жизни. Это

привлекало Ульриха сильнее, чем какое-то преследующее учебные цели понятие. Но что все такие многосложные и претенциозные понятия можно было свести к двуслойности, которая есть уже у каждого чувства, — эта простейшая возможность объяснения доставляла ему все-таки удовольствие.

Конечно, ему было ясно, что оба типа человеческого бытия, поставленные тут на карту, не могли означать ничего другого, как человека «без свойств» — в противоположность наделенному всеми свойствами, какие только может предъявить человек. Одного из них можно было назвать и нигилистом, мечтающим о мечтах бога, — в противоположность активисту, который, однако, при своей нетерпеливой манере действовать, тоже в каком-то роде богомечтатель, а никак не реалист с ясным и дельным взглядом на мир. «Почему же мы не реалисты?» — спросил себя Ульрих. Они оба не были реалистами, ни он, ни она, в этом их мысли и действия давно уже не оставляли сомнений; но нигилистами и активистами они были, и порою одним, порою другим, как уж складывалось.

notes

Примечания

1

Цветы зла (фр.).

Сердечное согласие (фр.). Имеется в виду Антанта — блок Великобритании, Франции и царской России.

3

Его величество.

4

Имеется ввиду австро-прусская война, окончившаяся поражением Австрии.

Фамилия Грюн (от grün нем.) значит «зеленый».